This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.

+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.

+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использовапия

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях.
  Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.

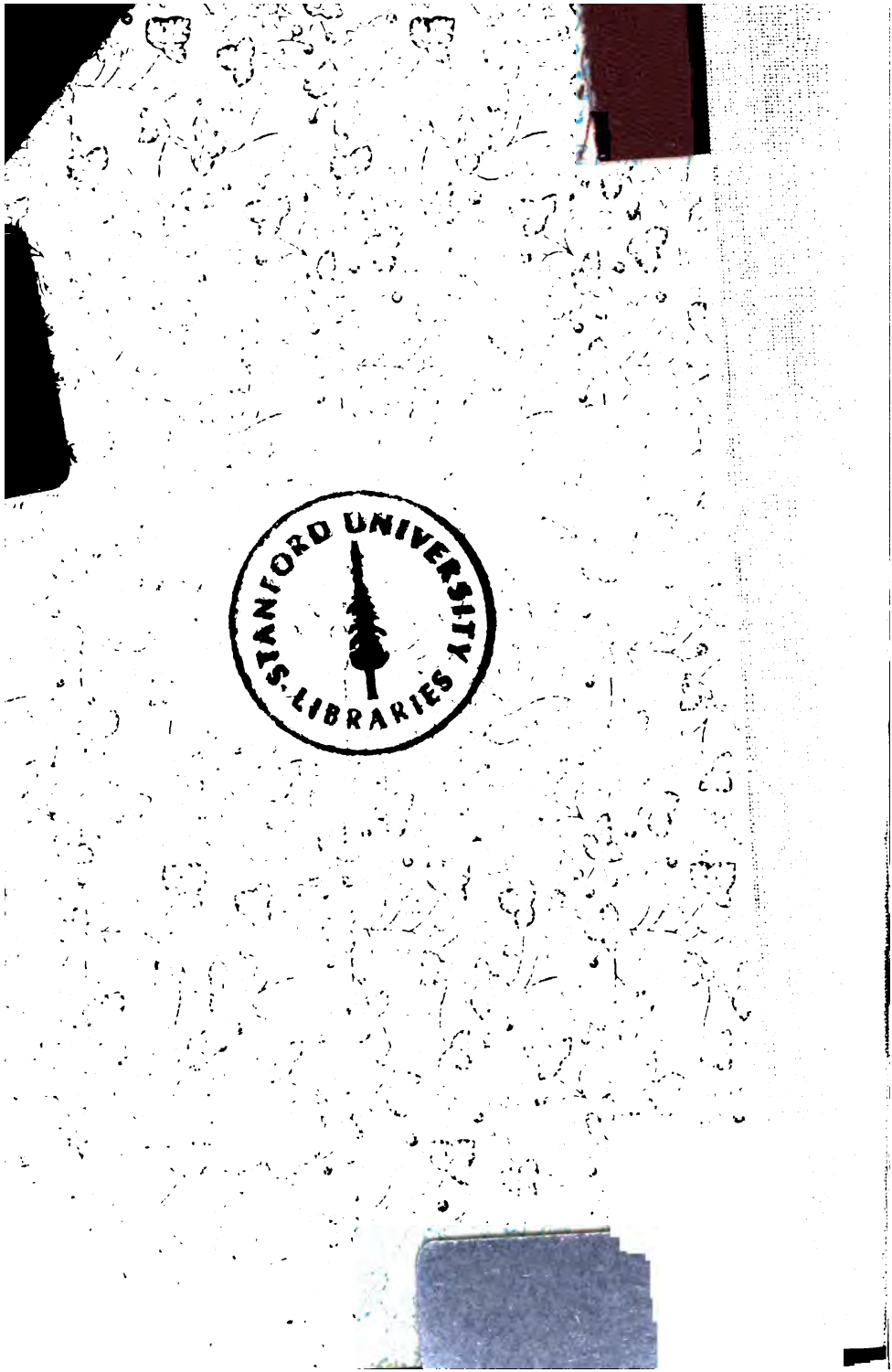
- Не отиравляйте автоматические заиросы.
  Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.

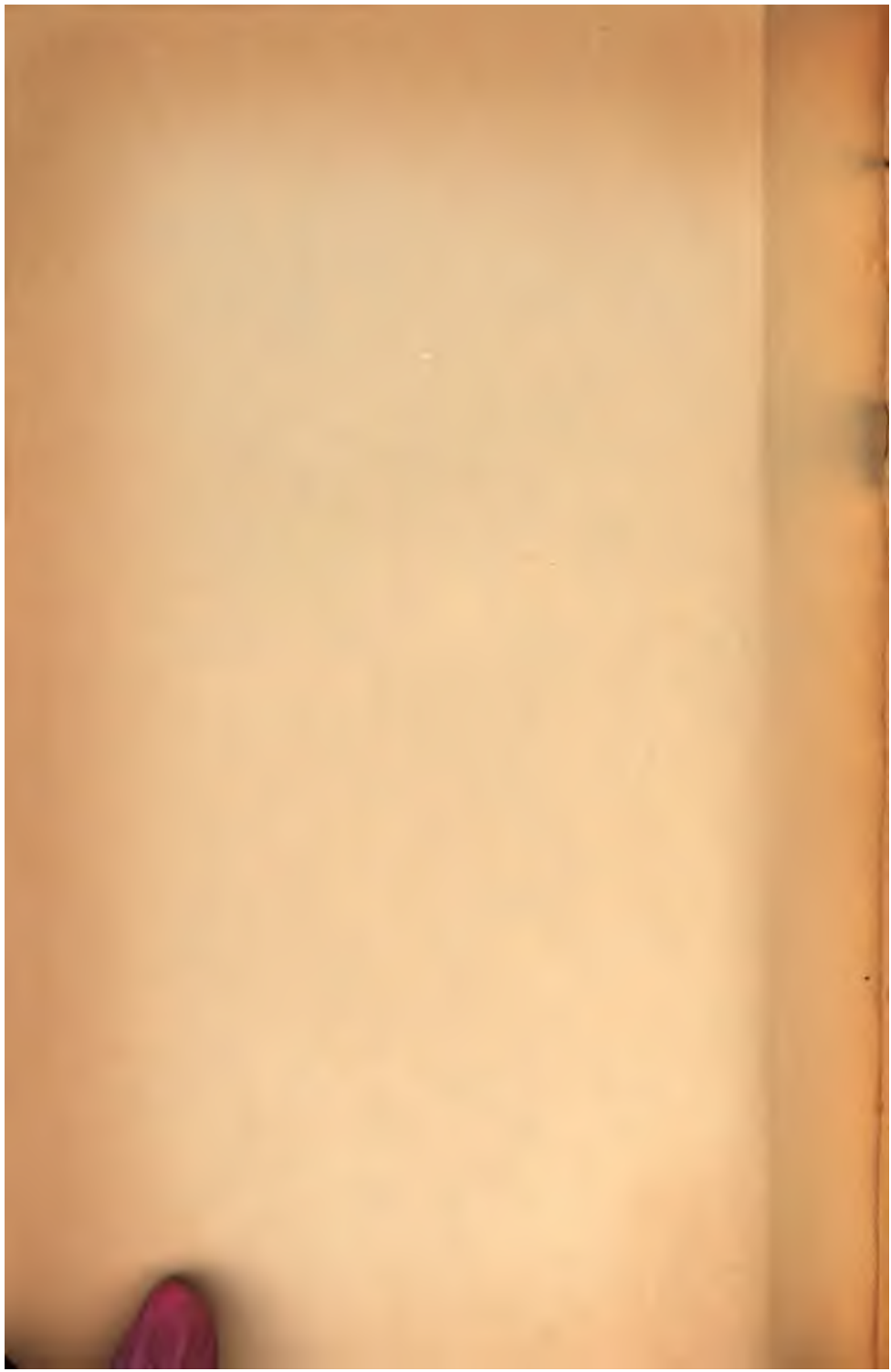
- Не удаляйте атрибуты Google.
  В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.

- Делайте это законно.
  Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

О программе Поиск кпиг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице `http://books.google.com/`


STANFORD UNIVERSITY
S. LIBRARIES



Вс. С. СОЛОВЬЕВЪ.

ВЕЛИКІЙ РОЗЕНКРЕЙЦЕРЪ.

Романъ XVIII вѣка, въ трехъ частяхъ

СЪ ЭПИЛОГОМЪ.

(Окончаніе романа «Волхвы»).

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
ИЗДАНІЕ Н. Ѳ. МЕРТЦА.
1904.

Дозволено цензурою. С.-Петербургъ, 27 мая 1904 года.

Типографія Т-ва «Народная Польза». Спб., Коломенская 39, соб. д.

Великій Розенкрейцеръ.

РОМАНЪ XVIII ВѢКА.

„Іисусу же рождшуся въ Виѳлеемѣ Іудейстѣмъ во дни царя Ирода се волсви отъ востока пріидоша во Іерусалимъ... и падше поклонишася Ему, и отверзше сокровища своя, принесоша Ему дары: злато, ливанъ и смурну.

(Еванг. отъ Матѳ. гл. II, 1, 11).

„И аще имамъ пророчество, и вѣмъ тайны вся и весь разумъ, и аще имамъ всю вѣру, яко и горы преставляти, любве же не имамъ, ничтоже есмь".

(Первая посл. къ Коринѳ. Ап. Павла, гл. XIII, 2.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

I.

Императрица была очень огорчена мгновенной и таинственной смертью молодой графини Зонненфельдъ. Впечатлѣніе было тѣмъ болѣе сильно, что эта смерть случилась такъ близко отъ нея, въ зданіи дворца, въ помѣщеніи камеръ-фрейлины Каменевой.

Царица чувствовала большую симпатію къ покойной; узнавъ объ ея безвременной смерти, она даже не удержалась отъ слезъ,—а она рѣдко поддавалась такой слабости. Ей представилось юное, прелестное лицо бывшей княжны Калатаровой такимъ, какимъ она видѣла его въ первый разъ, нѣсколько лѣтъ тому назадъ, когда молодая дѣвушка, почти ребенокъ, была ей представлена. Ей вспомнился слишкомъ внезапный и необдуманный бракъ княжны съ нѣмецкимъ дипломатомъ, потомъ скандалъ развода и послѣднее свиданіе съ графиней Еленой. Недаромъ царицѣ было какъ-то особенно тяжело послѣ этого свиданія—вѣдь, ужъ тогда преображенное, болѣе чѣмъ когда-либо прекрасное, исполненное страданія лицо молодой женщины ясно говорило о приближавшейся катастрофѣ. Вѣдь и тогда, если-бы

только царица хотѣла разобраться въ своихъ впечатлѣніяхъ, она должна была видѣть, что такія страданія не могутъ пройти, не могутъ кончиться ничѣмъ инымъ, какъ смертью.

Да, она могла-бы все видѣть и понять, могла-бы знать, что это свиданіе ея съ несчастной красавицей — послѣднее свиданіе. Только, вѣдь, человѣкъ все понимаетъ и обо всемъ догадывается слишкомъ поздно, когда уже нечѣмъ помочь, когда судьба совершилась. Да и чѣмъ-бы она могла помочь? Передъ судьбою все могущество, вся власть человѣческая—ничтожны...

И вотъ графиня Зонненфельдъ умерла, умерла отъ страданія, котораго нельзя было пережить. Но въ чемъ заключалось это страданіе, это безысходное горе ея жизни—царица не знала. И ей захотѣлось узнать эту тайну.

У великой Екатерины было свойство весьма немногихъ людей, являющееся въ большинствѣ случаевъ однимъ изъ признаковъ геніальности и объясняющее необычайную плодотворность дѣятельности царицы—она умѣла заключить въ себѣ цѣлый міръ самыхъ противоположныхъ интересовъ, не имѣющихъ ровно никакого между собою отношенія. Она умѣла отдаваться каждому изъ этихъ интересовъ всецѣло и съ необыкновенной легкостью переходила отъ одного къ другому, въ теченіе нѣсколькихъ часовъ производила смѣну самыхъ разнородныхъ занятій.

Каждый день ея проходилъ такъ: одинъ часъ—кипучая законодательная работа, другой часъ—обсужденіе различныхъ текущихъ государственныхъ дѣлъ, третій—творческое вдохновеніе, изображеніе жизни въ формѣ литературныхъ произведеній, по преимуществу комедій—этой самой сжатой и живой литературной формѣ. Затѣмъ, не чувствуя никакого утомленія и забывая всѣ только-что покинутыя ею занятія, какъ будто ихъ никогда не было, царица призывала къ себѣ внука, великаго князя Александра, и давала ему урокъ—вела съ нимъ строго обдуманную бесѣду, которая всегда прибавляла что-нибудь къ развитію будущаго наслѣдника русскаго престола.

Но вотъ и этотъ часъ прошелъ, великій князь удаляется. Теперь передъ государыней цѣлая груда запечатанныхъ пакетовъ. Ея корреспонденты изъ разныхъ мѣстъ Россіи, а также заграничные друзья ея, главнымъ образомъ баронъ Гриммъ, сообщаютъ ей о всевозможныхъ дѣлахъ и предметахъ. И она не пропускаетъ ничего, заинтересована всѣмъ, начиная отъ вопросовъ большой важности и кончая самыми мелочными дѣлами. На каждое письмо готовъ ея отвѣтъ, принято новое рѣшеніе, созрѣваетъ новый планъ...

Затѣмъ наступаетъ злоба дня и царица, свѣжая и свободная отъ всякихъ заботъ, отъ всякихъ тревогъ и постороннихъ мыс-

лей, будто только что проснувшаяся послѣ крѣпкаго, освѣжающаго сна отдается этой злобѣ дня. Ея невѣроятная память хранитъ въ себѣ цѣлую безконечность впечатлѣній, она никого и ничего не забываетъ, знаетъ подробно все, относящееся не только до окружающихъ ее людей, но даже и до такихъ лицъ, о которыхъ она имѣетъ свѣдѣнія лишь по наслышкѣ. Что разъ вошло въ мозгъ или въ чувство этой удивительной женщины, то ужъ и не исчезаетъ, а живетъ въ нихъ, незамѣтно переходя изъ настоящаго въ прошедшее и навсегда затѣмъ сохраняясь въ складахъ всеобъемлющей памяти. Внутренній міръ Екатерины—это самая удивительная лабораторія, и заглядывать въ эту лабораторію всегда интересно для наблюдателя жизни...

Такимъ образомъ и теперь, подъ впечатлѣніемъ смерти графини Зонненфельдъ, царица на извѣстное время всецѣло отдалась смутившимъ ее впечатлѣніямъ. Она вообще не любила думать о смерти и гнала отъ себя мысль о ней,—эта-же безвременная смерть существа юнаго, прекраснаго, исполненнаго всякихъ талантовъ, рожденнаго, казалось, для долгой и счастливой жизни, глубоко возмутила ее. Одинъ мигъ—и нѣтъ человѣка, и вмѣстѣ съ человѣкомъ рушится, уничтожается цѣлый разнообразный міръ, въ немъ заключавшійся... Время!.. Она оглядывалась назадъ и видѣла, какъ невѣроятно быстро мчится это время, съ какой ужасающей торопливостью уходятъ годы одинъ за другимъ. Такъ недавно сама она была молода, и жизнь казалась ей какою-то безконечностью, а теперь вотъ уже давно ушла молодость... Кто знаетъ, быть можетъ, скоро придетъ смерть, внезапно, нежданно-негаданно, и оборветъ всѣ разнообразныя, вѣчно трепещущія нити, связывающія царицу съ окружающей ее жизнью и мощно вліяющія на эту окружающую жизнь.

Екатерина чувствовала, что она не можетъ умереть, что она не должна умереть, что ей необходимо жить долго, и для себя, и для другихъ. А между тѣмъ она не могла справиться съ поднимавшимися въ ея душѣ сомнѣніями, не могла отогнать отъ себя, въ извѣстныя минуты, призрака смерти—и мучилась этимъ.

Она всѣмъ говорила, что проживетъ долго. Въ одномъ полушутливомъ, полусерьезномъ разговорѣ со своимъ пріятелемъ Дидро, или, какъ его называли при дворѣ, господиномъ Дидеротомъ, она нѣсколько лѣтъ тому назадъ, разсуждая о Петрѣ Великомъ, сказала:

— О, я еще не скоро съ нимъ увижусь, хотя мнѣ и очень хочется съ нимъ побесѣдовать. Раньше какъ въ восемьдесятъ лѣтъ я не сдѣлаю ему визита...

А между тѣмъ, говоря это, она съ ужасомъ помышляла о

томъ, что этотъ визитъ можетъ произойти и гораздо раньше. Какъ-бы то ни было, теперь снова, мучительно и почти болѣзненно, она думала о смерти. И въ то-же время ей хотѣлось, страстно хотѣлось разглядѣть и узнать то тайное горе, которое безжалостно свело въ могилу красавицу графиню. Конечно, ей не трудно было догадаться, что это горе была любовь. Да, это ясно!—Екатерина изъ словъ несчастной молодой женщины, во время ихъ послѣдняго свиданія, поняла это. Но любовь къ кому? Кого такъ безнадежно, такъ смертельно могла любить красавица? Кто могъ нанести такой ударъ сердцу этой пятнительной женщины? И какая связь можетъ быть между ея нежданной смертью и другой красавицей, Зиной Каменевой? Вѣдь, онѣ не знали другъ друга, между ними не было и не могло быть ничего общаго. Зина совсѣмъ ребенокъ—что-же общаго? А между тѣмъ, вѣдь, не можетъ быть никакого сомнѣнія въ связи между смертью графини и Зиной! Къ ней являлась несчастная, у нихъ было какое-то объясненіе — объ этомъ знаетъ Марья Савишна Перекусихина, которая все знаетъ,—и во время этого объясненія графиня упала мертвой.

Царицѣ было извѣстно, что Зина Каменева не отходила отъ гроба покойницы и выражала всѣ признаки особенно тяжкаго горя, какъ будто умерла ея самая дорогая, самая близкая подруга. Царица ѣздила поклониться праху усопшей и видѣла Зину у гроба, похудѣвшею, измученною.

Графиню похоронили. Зина вернулась къ себѣ и цѣлую недѣлю пролежала. Роджерсонъ, по приказанію царицы, нѣсколько разъ въ день навѣщалъ ее и каждое утро докладывалъ Екатеринѣ о состояніи больной.

Роджерсонъ не видѣлъ ровно ничего особеннаго въ этой болѣзни. Молодая дѣвушка очень впечатлительна и чувствительна; нежданная смерть хоть и совсѣмъ посторонней для нея женщины, но у нея на глазахъ, во время разговора съ нею, не могла не потрясти ее. Въ первые дни она была возбуждена, проявляла усиленную дѣятельность, ну, а затѣмъ неизбѣжно произошла реакція, ослабленіе.

Однако, юность и хорошее здоровье, въ соединеніи съ лекарствами, по увѣренію Роджерсона, дѣйствовали быстро. Прошло нѣсколько дней — и лейбъ-медикъ объявилъ императрицѣ, что камеръ-фрейлина Каменева совсѣмъ здорова, совсѣмъ поправилась, что ее даже вредно держать въ ея комнатахъ, что она должна приступить къ исполненію своихъ обязанностей и вообще смѣна впечатлѣній, развлеченія и доброта государыни окончательно изгладятъ въ ней всѣ слѣды пережитаго потрясенія.

Въ тотъ-же день Зина была призвана къ царицѣ. Внимательно взглянувъ на молодую дѣвушку, Екатерина увидѣла, что Роджерсонъ правъ, что Зина дѣйствительно выздоровѣла. На ея щеки вернулась здоровая краска. Но все-же она очевидно вовсе не спокойна, въ ней замѣтна какая-то особенная задумчивость, какой прежде не было. Это понятно, — иначе быть не можетъ. Екатерина рѣшилась осторожно вывѣдать и узнать интересовавшую ее тайну.

II.

— Дитя мое,—сказала царица въ то время, какъ Зина, склонясь, цѣловала ея руку:—я очень рада, что ты здорова и что розы попрежнему цвѣтутъ на твоихъ щечкахъ.

И при этомъ она нѣжно погладила Зину по щекѣ своей маленькой мягкой рукою.

— Но дѣло въ томъ, что ты у меня въ долгу, ты пропустила не одно дежурство, а посему изволь-ка подежурить и сегодня, и завтра. Мнѣ нынче какъ-то не по себѣ, ужо вечеромъ у меня не будетъ никакого пріема и я не двинусь съ мѣста. Въ восемь часовъ я позову тебя и ты будешь мнѣ читать.

Зина даже вспыхнула отъ удовольствія. За все время пребыванія ея во дворцѣ у нея выдался одинъ только такой счастливый вечеръ, мѣсяца два тому назадъ: въ теченіе трехъ часовъ она была наединѣ съ государыней и читала ей. Екатерина нѣсколько разъ прерывала чтеніе и бесѣдовала съ Зиной о прочтенномъ. Эти три часа пролетѣли для смолянки какъ сонъ, и вернувшись къ себѣ, она даже всплакнула отъ радости и спросила себя, за что ей такое счастье? Великая, мудрая, обожаемая царица была такъ близка къ ней, такъ задушевно говорила съ нею, съ такой несказанной добротою и ласковостью поучала ее, открывала передъ нею сокровищницу своей мудрости. Теперь, когда, не смотря на вернувшееся здоровье, въ ея душѣ было очень смутно, тоскливо и даже страшно—на чемъ лучше могла она упокоиться и отдохнуть, какъ не на близости къ царицѣ, какъ не на этихъ часахъ чтенія, на интимной бесѣдѣ съ нею? Зина чувствовала себя теперь особенно одинокой, ближе царицы у нея никого не было. Никого не любила она такъ, съ такимъ дѣтскимъ обожаніемъ, какъ царицу.

Зина весь день ждала этихъ завѣтныхъ восьми часовъ. Наконецъ они пробили, она у государыни, въ ея рабочемъ кабинетѣ, гдѣ никого нѣтъ, гдѣ все погружено въ тихій полумракъ, озаряемый только четырьмя восковыми свѣчами, поставленными на письменномъ столѣ и прикрытыми абажуромъ.

Царица съ видомъ какъ-бы нѣкотораго утомленія полулежитъ на своемъ любимомъ, мягкомъ и низкомъ креслѣ, прислонясь къ его покатой спинкѣ. Волосы ея уже расчесаны на ночь и спрятаны подъ бѣлымъ чепчикомъ. Она запахнулась въ свой сѣрый атласный халатъ, мягкія складки котораго обрисовываютъ ея полную фигуру. Ея маленькія ноги въ теплыхъ туфляхъ вытянуты и лежатъ на большой подушкѣ, и тутъ-же, возлѣ этихъ ногъ, свернувшись, спитъ любимая бѣлая собачка царицы, Лэди.

При входѣ Зины, царица указала ей на стулъ возлѣ письменнаго стола, ближе къ свѣчамъ, и на раскрытую книгу, лежавшую на столѣ.

Зина съ нѣсколько робкой, но въ то-же время радостной улыбкой присѣла на стулъ и подвинула къ себѣ книгу.

— Боюсь, что ты будешь пенять на меня,—сказала царица:— чтеніе на сей разъ врядъ-ли займетъ тебя. Это очень серьезная книга, сочиненіе великаго Монтескье. Она написана не для такихъ юныхъ головъ, какъ твоя, но что дѣлать! Мнѣ непремѣнно надо сегодня побесѣдовать съ Монтескье, а у самой что-то глаза болятъ...

— Однако, — прибавила она: — быть можетъ я и не права: ты умна, ты хорошо училась, ты серьезна, а великій писатель излагаетъ свои мысли такъ ясно, что, пожалуй, онъ и тебя заинтересуетъ. Постарайся читать внимательно, и если чего не поймешь, остановись и спроси меня — это будетъ и для меня полезно—разъяснить глубокую мысль.

Зина приступила къ чтенію. Она старалась заинтересоваться мыслями Монтескье, но къ ужасу своему замѣтила, что это ей никакъ не удается. Она просто отдавалась сначала пріятному ощущенію тишины этой комнаты, близости къ ней обожаемой царицы, потомъ эти пріятныя ощущенія переходили въ тревожныя, ей вспоминались всѣ послѣдніе мучительные дни, все, что пережила, все, что она узнала,—и трепетъ наполнялъ ее, и она спѣшила уйти отъ своего страха снова въ тишину этой комнаты и въ близость любимой царицы.

Уже нѣсколько страницъ книги прочтено, но она не помнитъ ни одного слова изъ прочтеннаго, будто не она это читала. А царица сейчасъ остановитъ ее, сейчасъ спроситъ. Что-же она скажетъ? Вѣдь она должна будетъ признаться, что была далеко и что ни одно, какъ есть ни одно слово, не осталось въ ея памяти.

Царица, дѣйствительно, ее остановила.

— Ну и что-же, сказала она: — неправда-ли, вѣдь это все такъ ясно и просто сказано? Простота и ясность—признакъ

генія. Геній умѣетъ облечь самую глубокую, самую тонкую, почти неуловимую мысль въ простую и ясную форму...

Но вдругъ она остановилась и пристально взглянула на Зину.

— Ты меня не слышишь! Ты читала—и сама не знаешь, что такое прочла—я вижу это по твоимъ глазамъ. Или я ошибаюсь?

Зина готова была расплакаться.

— Нѣтъ, ваше величество, вы не ошибаетесь,—прошептала она:—я...

Она не могла докончить фразы, въ груди ея какъ-бы поднялось что-то, сдавило ей горло и наконецъ вырвалось неудержимымъ, громкимъ рыданіемъ.

Екатерина повернулась въ креслѣ, потомъ встала съ него и подошла къ Зинѣ. Она обняла ее.

— Дитя, ты еще не совсѣмъ здорова,—сказала она:—успокойся. Это я виновата, твой свѣжій и цвѣтущій видъ обманулъ меня.

Говоря такъ, она уже отлично понимала, что успокоить Зину можно однимъ только способомъ—дать ей выплакаться и затѣмъ заставить ее высказать все, что у нея на душѣ. Теперь незачѣмъ ее даже ни о чемъ спрашивать, надо быть только ласковой съ нею—и она сама все скажетъ. Въ этомъ разсчетѣ Екатерина и устроила чтеніе, и теперь, глядя на рыдавшую Зину, она видѣла вѣрность своего разсчета. Все, что Зина пережила и узнала, давило ее невыносимо. Подъ этой тяжестью она не могла жить и не умѣла сама разобраться въ себѣ, не умѣла отвѣтить себѣ на самые важные вопросы. Былъ одинъ только человѣкъ, который могъ-бы помочь ей въ этомъ—это добрый священникъ, молившійся тогда рядомъ съ нею у гроба графини и сказавшій ей слова, навѣки въ ней запечатлѣвшіяся. Но этого добраго священника нѣтъ, и она не знаетъ, гдѣ искать его, не знаетъ, когда онъ придетъ къ ней, а кромѣ него единственное существо, подъ защиту котораго она должна прибѣгнуть, которому она можетъ открыть свою душу—это царица.

Въ годы Зины, въ хаосѣ мучительныхъ ощущеній, нахлынувшихъ съ такою силой, одиночество невозможно—отъ такого одиночества можно сойти съ ума. И вотъ инстинктивное чувство самосохраненія заставляетъ Зину довѣриться царицѣ и разсказать ей, какъ на духу, все. Екатеринѣ стоило однимъ словомъ ободрить ее и, конечно, она сказала это ободрительное слово.

— Успокойся,—произнесла она, ласково и въ то-же время властно глядя въ глаза Зины:—успокойся и разскажи мнѣ все, что съ тобой было за это послѣднее время. Открой мнѣ, что

было общаго между тобой и графиней Зонненфельдъ? Почему она очутилась у тебя и у тебя умерла? Я знаю, какъ тебѣ все это тяжело, какъ тебѣ, можетъ быть, трудно говорить объ этомъ, но увѣряю тебя, дитя мое, что разъ ты мнѣ скажешь откровенно—тебѣ станетъ легче. Не смущайся ничѣмъ, главное—не скрывай ничего. Ты сама должна понимать, что никто не дастъ тебѣ лучшаго совѣта какъ я, что только мнѣ и можешь ты открыть свою душу какъ матери—вѣдь я для тебя замѣняю мать.

Вся душа Зины такъ и кинулась навстрѣчу словамъ этимъ. Она прилала головою къ рукѣ царицы и, покрывая эту руку поцѣлуями и моча ее своими слезами, начала исповѣдь. Зина ничего не скрыла, она передала царицѣ не только всю сцену свиданія своего съ обезумѣвшей отъ горя графиней Зонненфельдъ, но и всѣ свои собственныя ощущенія: свою встрѣчу съ таинственнымъ и ужаснымъ человѣкомъ во время праздника въ Смольномъ монастырѣ, дѣйствіе на нее его непостижимаго взгляда, отъ котораго она потеряла сознаніе, тогда, на эстрадѣ, во время исполненія роли вестадки.

Императрица внимательно и все съ возраставшимъ изумленіемъ ее слушала. Она видѣла, что на разсказъ Зины можно положиться, что передъ нею совсѣмъ раскрыта душа этой чистой дѣвушки и она можетъ читать въ ней все, до самой глубины. Тайна, интересовавшая ее, была теперь ей извѣстна, предположеніе ея оказалось вѣрно: графиня Зонненфельдъ умерла отъ безнадежной любви и отъ ревности къ Зинѣ. А между тѣмъ разъясненія все-же нѣтъ.

III.

Напрасно ясный, спокойный и могучій разумъ царицы старался выяснить себѣ всю эту таинственную исторію, напрасно силился онъ раздѣлить исповѣдь Зины на двѣ части: на дѣйствительность, естественную, очевидную, и на фантастичность экзальтированной дѣвичьей души. Никакъ не удавалось царицѣ совершить это раздѣленіе. И къ тому-же она ясно видѣла, что фантастичности въ Зинѣ гораздо меньше, чѣмъ можно было это предположить,—въ ней только большая чувствительность, воспріимчивость къ впечатлѣніямъ.

А событіе все-же остается непостижимымъ, таинственнымъ, все же приходится произнести слова, надъ которыми такъ часто смѣялась царица: колдовство, чары...

Какой вздоръ! Да, это вздоръ, а между тѣмъ безъ этого

задача все становится еще непонятнѣе, еще невозможнѣе и ко всему этому непонятному и невозможному присоединяется еще одно обстоятельство: какимъ образомъ сама она, Екатерина, ничего и никого не забывавшая, все помнившая и всегда дѣйствовавшая въ ясной, насквозь пронизанной свѣтомъ бдагости, какимъ образомъ она забыла о существованіи человѣка, играющаго такую фатальную роль во всей этой исторіи? Какимъ образомъ, въ теченіе долгихъ мѣсяцевъ, она не вспомнила объ этомъ новомъ князѣ Захарьевѣ-Овиновѣ, который такъ заинтересовалъ ее, котораго она хотѣла непремѣнно разглядѣть, разспросить, изучить?..

Онъ появился передъ нею, остановилъ на себѣ ея вниманіе—и вдругъ исчезъ, какъ будто его никогда не было. Проходили мѣсяцы—и она ни разу о немъ не вспомнила, а между тѣмъ вѣдь она должна была о немъ вспомнить и должна была его видѣть—онъ все время былъ очевидно здѣсь, вблизи отъ нея. Ей стоило только позвать его—и онъ-бы явился, но она о немъ забыла, какъ ни разу въ жизни ни о комъ не забывала. А вотъ теперь онъ является героемъ таинственной, такъ опечалившей ее исторіи, онъ — причина смерти прекрасной женщины, въ судьбѣ которой она была заинтересована, онъ-же смутилъ покой этой младенческой души, которая теперь разсказываетъ ей свою непонятную тайну!

«Колдунъ! Чародѣй!»—мелькнуло въ мысляхъ Екатерины, но при этихъ двухъ словахъ ей вспомнился другой колдунъ, чародѣй, мнимый графъ Фениксъ, дѣлавшій, но не сдѣлавшій золота въ лабораторіи князя Потемкина. Ей припомнилась прелестная итальянка, чуть не смутившая покоя ея собственнаго сердца.

— Колдунъ! Чародѣй! — повторяла себѣ Екатерина и прибавляла:—однако нѣтъ такого колдуна и чародѣя, котораго нельзя было-бы разоблачить и удалить, и обезсилить. Это даже гораздо легче сдѣлать съ колдуномъ, чѣмъ съ самымъ обыкновеннымъ человѣкомъ, ибо всякій колдунъ или чародѣй непремѣнно боится такихъ вещей, какихъ не боится обыкновенный человѣкъ. Онъ боится правосудія, боится закона, такъ какъ знаетъ за собою черезчуръ много большихъ и малыхъ грѣшковъ.

Какимъ чародѣемъ являлся этотъ мнимый графъ Фениксъ, какъ одурачилъ онъ многое множество людей, вовсе даже не глупыхъ и достойныхъ лучшей участи, чѣмъ быть одураченными пріѣзжимъ авантюристомъ, а между тѣмъ—одно ея желаніе, одно ея слово—и гдѣ теперь этотъ человѣкъ? И гдѣ теперь эта хорошенькая итальянка?..

Такъ думала царица, но передъ нею, вмѣстѣ съ этими мы-

слями, возставалъ, во всѣхъ малѣйшихъ подробностяхъ вспомнившійся ей образъ Захарьева-Овинова—и она не могла, не хотѣла глядѣть на него тѣми-же глазами, какими глядѣла на графа Феникса. Неужели и онъ такой-же шарлатанъ и обманщикъ? Нѣтъ, этого быть не можетъ.

Что-то въ глубинѣ ея мысли, въ глубинѣ ея сознанія говорило ей, что теперь она имѣетъ дѣло съ человѣкомъ совсѣмъ иного сорта, а между тѣмъ... а между тѣмъ что-же все это значитъ? Къ чему вся эта непостижимая путаница таинственностей... и за что будетъ страдать этотъ прелестный ребенокъ? За что этотъ такъ невѣроятно забытый ею человѣкъ губитъ живыя души? Что-же теперь дѣлать? Конечно, прежде всего надо призвать этого человѣка и разглядѣть его. Если онъ погубилъ прекрасную графиню, если онъ силился зачаровать Зину, то, вѣдь, ее-то, царицу, онъ не зачаруетъ!

И у царицы явилось страстное желаніе какъ можно скорѣе видѣть Захарьева-Овинова. Появится онъ передъ нею—и всякая таинственность исчезнетъ. Вѣдь, всякая таинственность существуетъ только издали, пока не видишь предмета. Стоитъ придти въ соприкосновеніе съ нимъ—и таинственности конецъ, вступаетъ въ права дѣйствительность, и неизмѣнные, точные, ясные законы природы начинаютъ дѣйствовать.

Остановясь на этой мысли, императрица сразу успокоилась и рѣшила, не откладывая этого дѣла, какъ и вообще она не откладывала своихъ рѣшеній, увидѣть Захарьева-Овинова.

Только что эта мысль созрѣла въ головѣ ея, только что хотѣла она обратиться къ Зинѣ съ тѣмъ, чтобы окончательно ее успокоить, преподать ей здравые совѣты и внушить увѣренность, что ничего нѣтъ таинственнаго на свѣтѣ, что все объясняется легко и просто—стоитъ только приложить къ этому объясненію здравый разсудокъ,—какъ занавѣсь тихой комнаты шевельнулась и передъ царицей, въ слабомъ полусвѣтѣ, обрисовалась спокойная, блѣдная и прекрасная фигура Захарьева-Овинова.

Даже слабый крикъ вырвался изъ груди Екатерины, а бѣдная Зина прижалась къ ней, пряча свою голову въ ея колѣняхъ. Мигъ—и царица, невольнымъ движеніемъ, протерла себѣ глаза, изумляясь своей галлюцинаціи. Вотъ она откроетъ глаза—и, конечно, никого нѣтъ! А между тѣмъ она открыла ихъ и... Захарьевъ-Овиновъ по-прежнему былъ передъ нею.

Онъ сдѣлалъ нѣсколько шаговъ впередъ, почтительно, низко поклонился и произнесъ своимъ безстрастнымъ голосомъ:

— Ваше величество приказали мнѣ явиться и пройти сюда.

Онъ еще разъ церемоніально поклонился. И въ то-же время

его глаза остановились прямо, спокойно на глазахъ царицы. Она хотѣла говорить—и не могла, хотѣла встать — и не въ силахъ была шевельнуть ни однимъ членомъ.

IV.

Однако, такъ не могло продолжаться. Еще нѣсколько мгновеній, и Екатерина, конечно, очнулась-бы отъ неожиданности. Она, навѣрно, поборола-бы въ себѣ невольный трепетъ и растерянность, вызванную этимъ совершенно невѣроятнымъ появленіемъ. Ея сильный, холодный умъ призналъ-бы въ этомъ появленіи только очень оригинальную и рѣдкую случайность, а затѣмъ Захарьеву-Овинову пришлось-бы отдать государынѣ подробный и ясный отчетъ въ его дѣйствіяхъ.

Онъ долженъ былъ-бы объяснить, какимъ это образомъ, не нарушая законовъ природы и законовъ приличій, онъ проникъ сюда, во внутренніе царскіе покои? Какимъ образомъ онъ зналъ, что найдетъ здѣсь царицу? Какъ его не остановили по дорогѣ? И наконецъ, что означаютъ его слова: «Ваше величество приказали мнѣ явиться и пройти сюда»?

Вѣдь, царица очень хорошо знала, что она не отдавала и не могла отдать такого приказанія, что она сейчасъ только еще намѣревалась пригласить его и, можетъ быть, даже сюда въ эту самую комнату. Значитъ, въ этихъ словахъ его заключалась ложь.

Онъ, этотъ мнимый чародѣй, этотъ губитель сердецъ и жизней, осмѣлился солгать ей, царицѣ, ее мистифицировать, съ ней шутить, когда она не подала ему никакого повода для подобныхъ шутокъ. Иной разъ она очень любила шутки, иной разъ она вовсе не прочь была и отъ мистификаціи, но вовсе не въ такихъ обстоятельствахъ. Да, Захарьеву-Овинову пришлось-бы очень серьезно отвѣтить за свои странные поступки.

Онъ отлично зналъ и понималъ это, и хотя вовсе не боялся никакой отвѣтственности, но подобное объясненіе съ царицей совсѣмъ не входило въ его планы. Онъ не желалъ особенно изумлять ее, а уже тѣмъ болѣе не желалъ открываться передъ нею. Не желалъ онъ также терять времени и любоваться произведеннымъ имъ впечатлѣніемъ.

Еще нѣсколько мгновеній, царица овладѣетъ собою и тогда ему будетъ предстоять во всякомъ случаѣ нелегкая борьба, на которую потребуется значительная затрата его жизненной силы. Такая затрата была излишня, не вызвалась крайней, неотврати-

мой потребностью, а потому, въ нравственномъ отношеніи, была для него преступной. И онъ не сталъ терять времени.

Его блестящій взглядъ измѣнилъ свое выраженіе, сдѣлался пронзительнымъ, почти страшнымъ. Екатерина не выдержала этого взгляда. Она мгновенно какъ-бы потеряла сознаніе, осталась неподвижной, съ застывшимъ лицомъ, съ широко раскрытыми глазами, зрачки которыхъ внезапно расширились.

Но, вѣдь, царица была не одна. Спрятавшись головою въ ея колѣни, трепетала Зина. Захарьевъ-Овиновъ склонился, прикоснулся рукою къ головѣ дѣвушки и ея трепетъ исчезъ, и при первыхъ звукахъ его голоса, говорившаго ей:—«встань!»— она послушно приподняла голову съ колѣнъ Екатерины, потомъ поднялась и, сдѣлавъ нѣсколько шаговъ, опустилась въ кресло.

Захарьевъ-Овиновъ глядѣлъ на нее, совсѣмъ забывая объ императрицѣ. Лицо его помертвѣло, онъ даже схватился рукою за сердце, такъ оно у него усиленно и непривычно забилось. Но онъ тотчасъ-же подавилъ въ себѣ волненіе. Онъ снова спокойно подошелъ къ Зинѣ и взялъ ее за руку.

— Можешь-ли ты отвѣчать мнѣ?—спросилъ онъ, и услышалъ тихій отвѣтъ:

— Могу.

— Знаешь-ли ты, что судьба приводитъ насъ другъ къ другу и что мы не должны бороться противъ этой судьбы?

— Знаю.

Онъ остановился на мгновеніе.

«И она это знаетъ!» пронеслось въ его мысляхъ.

— Ты боишься меня,—сказалъ онъ: — зачѣмъ-же ты меня боишься? Неужели мы для того встрѣтились и для того родилась невидимая, но чувствуемая и мной и тобою связь между нами, чтобы я тебя погубилъ? Развѣ я могу погубить тебя?

И шепотъ Зины ему отвѣтилъ: «можешь»!

— Да, конечно, могу! — вскрикнулъ онъ: — но я не сдѣлаю этого. Нѣтъ, ты не знаешь, ты не ясно читаешь въ той туманной дали, которая отверзается теперь передъ тобою; я читаю въ ней яснѣе тебя, я давно привыкъ читать въ ней и я говорю тебѣ: не на погибель сводитъ насъ судьба, а на спасеніе.

Онъ самъ не зналъ, что скажетъ это, а между тѣмъ сказалъ, сказалъ помимо себя, по вдохновенію, и эти слова вырвались изъ самой глубины его души, изъ той глубины, въ которую, можетъ быть, онъ и не заглядывалъ.

— Но твой страхъ, твой ужасъ предо мною для тебя слишкомъ мучительны,—продолжалъ онъ, все крѣпче и крѣпче сжимая руку Зины: — и ты не должна меня бояться. Ты должна

довѣрять мнѣ, ибо я другъ твой, ибо ближе меня никого у тебя не было, нѣтъ и не будетъ. Я не искалъ тебя, а нашелъ— и мы съ тобой связаны такимъ узломъ, который ни ты, ни я развязать не можемъ, а разорвать его было-бы гибельно. Я не звалъ тебя, а вотъ уже не мало времени ты вблизи меня, и я не разъ тебя чувствовалъ. Ты врывалась въ жизнь мою, я отстранялъ тебя, я не глядѣлъ на тебя, я думалъ, что мнѣ тебя не надо. Я забывалъ тебя, но не могъ забыть съ первой нашей встрѣчи и ты, поверхъ всего, не разъ мелькала передо мною. Я очень страдаю, я очень несчастливъ, и твоя душа — первое существо, которому я признаюсь въ этомъ... Да, я признаюсь въ моемъ тайномъ, для меня самого непонятномъ страданіи твоей душѣ, съ которой говорю теперь, и душа твоя, освобождаясь отъ матеріи, должна помнить о моемъ страданіи. Въ это послѣднее время я узналъ, что и ты страдаешь, и мнѣ тяжко стало отъ твоего страданія, и я почувствовалъ, что между нами завязанъ крѣпкій узелъ. Ты не должна страдать, ибо, я боюсь, не вынесешь такихъ мученій. И вотъ я пришелъ къ тебѣ для того, чтобы освободить тебя отъ страданій. За этимъ я здѣсь, за этимъ, не теряя ни одной минуты, забывъ все и всѣхъ, я спѣшилъ къ тебѣ и нашелъ тебя. Перестань-же страдать! Будь спокойна! Моя душа приказываетъ тебѣ это—слышишь-ли ты меня?

— Слышу.

Тогда Захарьевъ-Овиновъ отошелъ отъ нея и приблизился къ царицѣ. И ее онъ тоже взялъ за руку и сталъ говорить ей. Онъ говорилъ:

— Царица, поручаю тебѣ эту юную душу, не отвращай отъ нея своего сердца. Слышишь-ли меня? Исполнишь-ли это?

— Исполню,—прошептала Екатерина.

— А теперь я сейчасъ разбужу тебя, но ты забудешь все, забудешь свое изумленіе при моемъ видѣ и мое присутствіе здѣсь не покажется тебѣ страннымъ. Я пришелъ не для тебя, а для нея, но и къ тебѣ, къ твоей силѣ, къ твоему великому разуму влечетъ меня. Мнѣ ничего не надо отъ твоего могущества—ты царствуешь въ одной сферѣ, а я царствую въ другой и твою сферу, со всѣмъ твоимъ могуществомъ,—я вижу съ моей высоты, и она кажется мнѣ ничтожной. Но ты царица, истинная царица, и когда придетъ время, ты поднимешься въ иныя сферы и въ нихъ скажется твоя царственная мощь. Только не скоро еще настанетъ для тебя это время и ни приблизить его, ни отдалить—я не могу, я не хочу вмѣшиваться въ жизнь твою! Мы можемъ только обмѣниваться мыслями, но мы чужды другъ другу, ибо между нами пока—разверзтая пропасть.

Онъ замолчалъ. Еще разъ онъ остановилъ взглядъ свой на Зинѣ, потомъ выговорилъ:

— Проснитесь!

Легкое движеніе его руки—и царица, а за нею и Зина вышли изъ своей неподвижности. Странное выраженіе ихъ лицъ исчезло. Онѣ обѣ очнулись.

Захарьевъ-Овиновъ сидѣлъ передъ Екатериной, а она глядѣла на него съ благосклонной улыбкой и ничто въ ея лицѣ не показывало ни изумленія, ни неудовольствія. Передъ нею былъ человѣкъ, котораго она пожелала видѣть, съ которымъ намѣрена была имѣть небезъинтересную для нея бесѣду.

V.

Прошло всякое изумленіе и, вмѣстѣ съ этимъ изумленіемъ, забылись за нѣсколько минутъ передъ тѣмъ интересовавшіе и смущавшіе ее вопросы. Какъ царица, въ теченіе долгихъ мѣсяцевъ, не помышляла о князѣ Захарьевѣ-Овиновѣ, такъ теперь вдругъ забыла о судьбѣ несчастной Елены Зонненфельдъ, и о вліяніи на эту несчастную судьбу сидѣвшаго передъ нею человѣка. Больше того, она забыла, что этотъ человѣкъ покушается на спокойствіе Зины Каменевой. Она помнила только то, что онъ «разрѣшалъ» ей помнить. Въ какое негодованіе пришла-бы она, еслибъ могла понять это, съ какимъ-бы могучимъ порывомъ воли постаралась-бы сбросить съ себя это чужое, непрошенное вліяніе. И, можетъ быть, ей-бы и удалось вернуть себѣ всю свою внутреннюю свободу, а Захарьеву-Овинову пришлось-бы признать себя побѣжденнымъ и убѣдиться, что существуетъ не одна его сила и что съ нимъ можно бороться.

Но, вѣдь, его истинная сила и заключалась въ томъ, что онъ не давалъ возможности одумываться, онъ захватывалъ человѣка врасплохъ и все время держалъ его какъ-бы въ туманѣ, изъ-за котораго было видно лишь то, что онъ «разрѣшалъ» видѣть.

Такимъ образомъ, эта бесѣда, начавшаяся самымъ необычнымъ образомъ, свелась на самую обыкновенную бесѣду. Царица разспрашивала Захарьева-Овинова объ умственномъ движеніи въ западной Европѣ и съ глубокимъ интересомъ слѣдила за его отвѣтами и разъясненіями. Скоро она убѣдилась, что передъ нею человѣкъ, дѣйствительно много знающій, много думавшій. Отсутствіе въ немъ какого-либо увлеченія, критическій анализъ, приправленный нѣсколько насмѣшливымъ скептицизмомъ—все это ей нравилось.

— Теперь вы здѣсь оглядѣлись,—внезапно прервала она

его:—дѣла ваши устроены, отъ Европы вы взяли все, что она могла вамъ дать, и всѣмъ этимъ вы должны послужить Россіи. Это ваша прямая обязанность передъ родиной.

— Каждый человѣкъ непремѣнно кому-нибудь и чему-нибудь служитъ...—началъ было Захарьевъ-Овиновъ.

Но она его перебила.

— Я говорю не о такой службѣ и вы хорошо меня понимаете. Мнѣ нужны просвѣщенные, разумные люди для государственной работы...

— У васъ ихъ достаточно, ваше величество, и вы обладаете драгоцѣннѣйшимъ даромъ государей—находить нужныхъ людей въ нужныя минуты. Только на сей разъ, останавливая на мнѣ вашъ выборъ, вы обращаетесь къ недостойному: я совсѣмъ неспособенъ къ практической дѣятельности, мои познанія и занятія такого рода, что я могу только принести вредъ, а не пользу.

Въ лицѣ Екатерины мелькнуло раздраженіе.

— Вы отказываетесь... Что-же руководитъ вашимъ отказомъ? Не просто-ли лѣнь кабинетнаго ученаго?

— Нѣтъ, не лѣнь,—отвѣтилъ онъ:—всякое дѣло только тогда можетъ развиваться и приносить благотворные результаты, когда человѣкъ отдаетъ ему всѣ свои силы, проникнутъ сознаніемъ пользы своей дѣятельности, заинтересованъ ею. А я, осмѣливаюсь прямо это высказать вашему величеству, ибо иначе говорить съ вами не могу и не смѣю, я не способенъ заинтересоваться ни однимъ изъ дѣлъ, какія вы мнѣ поручите...

— Почему же?

— Потому что мое міровоззрѣніе, мои занятія и пріобрѣтенныя познанія увлекли меня слишкомъ далеко отъ практическихъ и государственныхъ интересовъ.

— И эти интересы кажутся вамъ недостойными того, чтобы обратить на нихъ вниманіе,—съ добродушной насмѣшливостью перебила Екатерина.

— Далеко не такъ, ваше величество, и я не въ такой мѣрѣ заслуживаю насмѣшку. Я признаю большое значеніе за предметами, даже несоизмѣримо болѣе мелкими, чѣмъ государственная дѣятельность. Міръ—большая, стройная машина и каждый винтъ и винтикъ въ ней весьма важенъ, ибо безъ него вся машина можетъ прійти въ негодность. Машина эта правильно дѣйствуетъ лишь въ томъ случаѣ, когда въ ней все до мельчайшихъ винтиковъ на своемъ мѣстѣ. Зная это—я и не могу становиться не на свое мѣсто.

— Если вамъ угодно ограничиться общими фразами,—замѣтила царица:—то, конечно, мы ни до чего не договоримся. Я сама очень люблю отвлеченныя разсужденія, сама не прочь отъ

философіи, только наполнить всю жизнь однѣми мыслями, безъ дѣла—это и холодно, и скучно...

Она пристально на него посмотрѣла, такъ пристально, что ему на мгновеніе стало даже неловко.

— И я вамъ скажу,—продолжала она:—мнѣ жаль васъ: со всей вашей ученостью, со всѣмъ вашимъ пренебреженіемъ къ обычнымъ людскимъ интересамъ, вамъ иногда, и даже очень часто, бываетъ невыносимо скучно, невыносимо холодно.

— Невыносимо скучно, невыносимо холодно?!—какъ-то неопредѣленно, полувопросительно повторилъ онъ ея слова.

— А мнѣ вотъ и тяжко, можетъ быть, порою, и тревожно, и жутко, но ни скучно, ни холодно никогда не бываетъ. Вы ушли отъ живой жизни, и думаете, что стали выше ея, но это неправда! Слышите-ли—это заблужденіе! Жизнь и то, что можетъ она дать человѣку, сильнѣе всего, да, сильнѣе всего. Если вы считаете себя выше ея радостей, то это единственно оттого, что вы не знаете этихъ радостей, не испытали ихъ. Вы находите, что быть философомъ и ни въ чемъ не чувствовать потребности—выше, чѣмъ быть владыкой. Но это вамъ кажется только оттого, что вы никогда не были владыкой и никогда имъ не будете...

Екатерина начинала говорить съ увлеченіемъ и не замѣтила, какъ, при послѣднихъ словахъ ея, лицо Захарьева-Овинова стало вдругъ мрачнымъ.

«Она вызываетъ меня,—подумалъ онъ:—хочетъ доказать мнѣ мое ничтожество. Я играю въ ея глазахъ очень жалкую роль... такая роль меня не смущаетъ... но зачѣмъ-же вдругъ показалось мнѣ что-то особенное въ словахъ ея?.. Неужели какая-нибудь «земная» власть, какое-нибудь земное величіе можетъ имѣть для меня хоть что-либо притягательное и хоть на мигъ избавитъ мою душу отъ невыносимой тоски и скуки?.. Какое противорѣчіе!»

И онъ уже не слышалъ того, что говорила теперь Екатерина. Онъ опустилъ голову и въ его застывшемъ лицѣ, въ его неподвижной позѣ сказывалось глубокое страданіе. Зина, все время сидѣвшая молча, совсѣмъ притихнувъ и почти не спускавшая съ него глазъ, сразу-же замѣтила происшедшую въ немъ перемѣну, прочла въ его глазахъ страданіе. Чувство жалости и тревоги охватило ее.

— Государыня!—трепетно и страстно вскричала она:—убѣдите его, что онъ не правъ, во всемъ, во всемъ... Посмотрите, какъ онъ страдаетъ, какъ онъ несчастенъ!..

Но при звукахъ этого голоса Захарьевъ-Овиновъ очнулся отъ своихъ мыслей. Не могъ-же онъ допустить такого оборота разговора. Онъ явился сюда, воспользовавшись своими знаніями

и умѣньемъ проникать всюду, оставаясь совсѣмъ не замѣтнымъ для людей, которые не должны были его видѣть, только съ цѣлью отрѣшить Зину отъ ея страданій. Онъ остался здѣсь, потому что усталъ, потому что давно, давно ему хотѣлось отдохнуть, и онъ безсознательно почувствовалъ себя отдыхающимъ въ одной атмосферѣ съ Зиной, въ ощущеніи ея близости. Только поэтому онъ и не уходитъ. Онъ и теперь еще не хотѣлъ уйти. Онъ взглянулъ на Зину, и она мгновенно замолкла, позабывая свою тревогу. Взглянулъ на царицу и она не обратила вниманія на слова Зины. Разговоръ продолжался и съ личной почвы перешелъ въ сферу общихъ интересовъ. Раздраженіе Екатерины прошло, теперь она снова внимательно слушала Захарьева-Овинова, и онъ снова выросталъ въ глазахъ ея. Онъ говорилъ о томъ, что въ западной Европѣ готовятся такія общественныя бури и грозы, какихъ не помнитъ человѣчество.

— Вы, пожалуй, скажете что во многомъ виноваты мои друзья философы съ Вольтеромъ во главѣ?—замѣтила Екатерина.—Впрочемъ, я очень не буду стоять за нихъ... Я сама въ нихъ разочаровалась.

— Да; они не мало работаютъ въ дѣлѣ разрушенія всего строя европейской жизни,—сказалъ Захарьевъ-Овиновъ.—Но они все-же не иное что, какъ орудіе судьбы, слагающейся изъ длиннаго ряда причинъ и слѣдствій.

Скоро Захарьевъ-Овиновъ совсѣмъ увлекъ вниманіе царицы. Онъ кончилъ тѣмъ, что сталъ говорить какъ пророкъ и рисовалъ ужасающую картину бѣдствій, грозящихъ западной Европѣ. Екатерина, вообще недовѣрчиво относившаяся ко всякимъ пророчествамъ, на этотъ разъ невольно вѣрила пророку.

— Надѣюсь, однако, что всѣ эти бѣдствія не коснутся Россіи?—спросила она, даже съ нѣкоторой робостью ожидая отвѣта.

— Нѣтъ, не коснутся, ваше величество!—рѣшительно сказалъ Захарьевъ-Овиновъ.—Вы слишкомъ ясно все видите и велика ваша сила. Вы неспособны на непоправимыя ошибки и всегда во-время умѣете остановиться.

Екатерина благодарно взглянула на своего собесѣдника. Почему-то сдержанная похвала была ей особенно пріятна.

Но время шло. Царица посмотрѣла на часы и протянула Захарьеву-Овинову руку. И онъ ушелъ, безмолвно простясь съ Зиной, которая, по приказанію царицы, проводила его за нѣсколько комнатъ. Теперь ужъ ничего таинственнаго не было въ его присутствіи въ этихъ аппартаментахъ—не онъ первый, не онъ послѣдній выходилъ такъ отъ царицы.

VI.

«Вы находите, что быть философомъ выше, чѣмъ быть владыкой только потому, что никогда не были владыкой и никогда имъ не будете!»—эти слова Екатерина запечатлѣла въ памяти Захарьева-Овинова. Слова эти преслѣдовали его и теперь, въ тишинѣ его рабочаго кабинета. Тоска, не покидавшая его со времени смерти графини Зонненфельдъ, съ каждымъ днемъ становилась все невыносимѣе и къ тоскѣ этой все яснѣе и настойчивѣе примѣшивалось чувство недовольства собою, сомнѣнія въ себѣ.

Это было совсѣмъ новое чувство для великаго розенкрейцера. До сихъ поръ онъ никогда его не испытывалъ. Онъ всю жизнь только шелъ впередъ, упорно поднимался по лѣстницѣ познаній и всегда хранилъ въ себѣ, хоть и безсознательно, глубокую увѣренность въ томъ, что идетъ по истинному пути, что дѣлаетъ именно то, что ему слѣдуетъ дѣлать. Быстрый и необычайный успѣхъ шелъ за нимъ по пятамъ, возносилъ его все выше и онъ, самъ того не замѣчая, начиналъ считать себя центромъ вселенной, могучимъ властелиномъ природы, ее побѣдителемъ. Все, что онъ видѣлъ вокругъ себя—онъ почиталъ своимъ законнымъ владѣніемъ.

Но вотъ, выйдя изъ своего уединенія, онъ столкнулся съ людскою толпой, которая представлялась ему толпой пигмеевъ—и сразу эта толпа дохнула на него горемъ и страстью, тоской и смертью. И онъ услышалъ, что горе и страсть, тоска и смерть—исходятъ отъ него. И онъ почувствовалъ, не смотря на всѣ доводы разсудка, почувствовалъ всѣмъ своимъ существомъ, что это такъ. Развѣ это—его задача?

Онъ страшно одинокъ, ему холодно, онъ задыхается... Ему говорятъ, что онъ несчастливъ—и братъ Николай, и Каліостро, и Зина, и царица—всѣ сразу видятъ его страданіе, его несчастіе... Да развѣ онъ даромъ получилъ власть надъ природой, развѣ онъ не великій носитель знака Креста Розы, развѣ онъ можетъ быть недостойнымъ своего имени? Происходитъ нѣчто непонятное и ужасное... и великій старецъ молчитъ... и насмѣшливыя слова царицы все повторяются въ памяти. Такъ неужели дѣйствительно его побѣда надъ природой не полна, неужели въ немъ остались задатки тлѣнія и его можетъ еще, когда онъ отрѣшился отъ всего земнаго, увлечь снова этотъ жалкій міръ преходящихъ формъ? Но, вѣдь, царица не знала, кому она говорила о невозможности стать владыкой. Вѣдь, онъ не владыка только оттого, что никакое земное владычество не можетъ удо-

влетворить и хоть на мгновеніе увлечь владыку высшей области, истиннаго владыку въ царствѣ духа...

Зачѣмъ-же все повторяются и повторяются въ памяти слова ея? Быть можетъ, въ нихъ указаніе... Да, указаніе... Необходимо провѣрить свои силы...

Захарьевъ-Овиновъ остановился на этомъ рѣшеніи.

Когда-то великій старецъ, отецъ розенкрейцеровъ, говорилъ ему, тогда еще готовившемуся къ высшимъ посвященіямъ: «Вся жизнь, во всѣхъ своихъ проявленіяхъ и формахъ, создана Божественною Волей. Человѣкъ, какъ существо, созданное по образу и подобію своего Творца, заключаетъ въ себѣ великіе задатки творческой силы и, въ томъ случаѣ, если его воля не противорѣчитъ Божественной Волѣ и гармонируетъ съ нею, онъ можетъ развить ее до громадныхъ размѣровъ. Въ такихъ условіяхъ человѣкъ можетъ создавать формы жизни. Истинный адептъ обладаетъ такою волей, которая способна созданія воображенія надѣлить объективной, дѣйствительной жизнью — насколько дѣйствительна жизнь всякихъ видимыхъ формъ въ области матеріи...»

Тогда эти слова старца казались розенкрейцеру необычайными. Но съ тѣхъ поръ онъ уже убѣдился, что въ нихъ заключалась истина. И вотъ теперь, для того, чтобы испытать себя и провѣрить, онъ рѣшился воспользоваться своею силою и— призвать къ жизни цѣлый міръ, полный земныхъ обольщеній, дѣйствительный міръ, котораго онъ будетъ единственнымъ владыкой...

Порывистымъ движеніемъ отперъ онъ одинъ изъ ящиковъ своего бюро, вынулъ изъ этого ящика маленькую шкатулку. Подъ давленіемъ его пальца, щелкнула невидимая пружина, крышка шкатулки быстро отскочила. Въ глубинѣ оказался небольшой граненый флаконъ. Великій розенкрейцеръ осторожно его откупорилъ и влилъ себѣ въ ротъ нѣсколько капель темной жидкости. Потомъ онъ снова закупорилъ флаконъ, помѣстивъ его въ шкатулку. Опять щелкнула пружина, шкатулка заперлась. Тогда онъ поставилъ ее въ ящикъ, заперъ бюро. По всей комнатѣ отъ откупоренной жидкости разлилось сильное и пряное благоуханіе и въ то же время въ самомъ Захарьевѣ-Овиновѣ стали происходить быстрыя измѣненія...

Теперь глаза его метали искры, румянецъ залилъ блѣдныя щеки, онъ весь будто выросъ, будто новая, могучая сила наполнила его. Еще мигъ—и онъ поблѣднѣлъ, пошатнулся и упалъ въ кресло. Еслибы кто-нибудь изъ домашнихъ теперь его увидѣлъ, то, по всѣмъ признакамъ, почелъ бы за мертваго. Но былъ уже поздній часъ ночи, двери стояли на запорѣ, никто не могъ войти къ нему...

Онъ очнулся какъ-бы отъ легкаго забытья, открылъ глаза— и улыбка скользнула по лицу его. Вокругъ него все измѣнилось. Онъ находился не въ уединенной комнатѣ петербургскаго дома, а на обширной открытой верандѣ, украшенной дивными мраморными изваяніями и увѣшанной гирляндами невиданно-прекрасныхъ цвѣтовъ, разносившихъ невѣдомо-сладостное благоуханіе. Передъ нимъ, изъ-за громадной арки, открывалась волшебная панорама сада, залитаго теплымъ солнечнымъ свѣтомъ: вдали, съ одной стороны, рисовались голубыя очертанія дальнихъ горъ, съ другой—синѣло и золотилось море, сливавшееся съ горизонтомъ.

Онъ приподнялся съ шелковыхъ, разшитыхъ причудливыми золотыми узорами подушекъ, взглянулъ на себя и увидѣлъ, что и самъ онъ преобразился. На немъ, вмѣсто его обычнаго платья, была мягкая, шелковистая и легкая какъ пухъ одежда, сотканная изъ невиданной ткани, красиво и широко драпировавшая его фигуру. На ногахъ—легкія золотыя сандаліи. Онъ сдѣлалъ нѣсколько шаговъ, чувствуя небывалую бодрость въ тѣлѣ, приливъ жизни, энергіи, веселья.

Это былъ не сонъ. Онъ отлично сознавалъ, что за минуту передъ тѣмъ упалъ въ свое кресло и закрылъ глаза именно затѣмъ, чтобы «такъ» проснуться. Да, но зачѣмъ помнить то, что онъ оставилъ за собою,—эти воспоминанія будутъ мѣшать настоящему. Онъ захотѣлъ забыть—и забылъ все.

Онъ остановился посреди веранды и три раза медленно хлопнулъ въ ладони. Чрезъ мгновеніе передъ нимъ былъ человѣкъ мужественнаго и привлекательнаго вида, одѣтый въ такую-же широкую одежду, какъ и онъ. Человѣкъ этотъ склонился передъ нимъ съ пріятной и веселой улыбкой и проговорилъ:

— Мой повелитель, я счастливъ, что вижу тебя здоровымъ и бодрымъ, надѣюсь—нездоровье твое прошло.

— Другъ мой, Саторъ,—произнесъ великій розенкрейцеръ:— я дѣйствительно чувствую избытокъ силъ и большую легкость всѣхъ членовъ. Сонъ подкрѣпилъ меня.

Говоря это, онъ ужъ окончательно отрѣшился отъ той дѣйствительности, которая окружала его нѣсколько минутъ передъ тѣмъ и представлялась ему единственно-существующей! Теперь онъ всецѣло былъ въ иной дѣйствительности и зналъ только ее. Человѣкъ, бывшій передъ нимъ и названный имъ Саторомъ, оказывался какъ-бы давно ему извѣстнымъ, онъ будто провелъ съ нимъ долгіе годы. Онъ любилъ этого человѣка и считалъ его самымъ близкимъ и преданнымъ своимъ другомъ.

— Сегодня свѣтлый праздничный день,—между тѣмъ говорилъ Саторъ:—а потому надо отложить всѣ работы и заботы. Весь

твой счастливый народъ предается сегодня веселью и пиршества готовы въ твоихъ чертогахъ. Мой повелитель, позволь проводить тебя въ термы. Цѣлебная ванна еще болѣе освѣжитъ тебя и ты предстанешь передъ дворомъ своимъ во всемъ присущемъ тебѣ царственномъ блескѣ и величіи.

Великій розенкрейцеръ въ роскошныхъ термахъ. Толпа молчаливыхъ, расторопныхъ служителей его окружаетъ. Онъ во мгновеніе раздѣтъ и погружается въ теплую, благоуханную влагу, которая бурлитъ и пѣнится вокругъ его тѣла, съ каждой новой секундой усиливая въ немъ самыя сладостныя, неизъяснимыя ощущенія. Но пора выйти изъ этой чудной ванны. Десятокъ проворныхъ рукъ растираютъ его бархатистыми тканями, возбуждая во всѣхъ членахъ живительную теплоту и бодрость, потомъ облекаютъ его въ новыя одежды и удаляются съ глубокими поклонами.

Онъ одинъ—и на мгновеніе остается недвижимымъ, наслаждаясь никогда неизвѣданной свѣжестью и бодростью духа и тѣла. Жизнь бьетъ въ немъ ключемъ и стремленіе къ радостямъ и веселью его охватываетъ. Едва касаясь мозаичнаго пола подошвами золотыхъ сандалій, онъ стремится теперь впередъ черезъ амфиладу позлащенныхъ солнцемъ чертоговъ — и вотъ онъ передъ громадной террасой, наполненной безчисленной толпой народа.

При его появленіи вся эта толпа какъ бы замираетъ, но мигъ—и неудержимые восторженные клики привѣтствуютъ владыку. Невѣдомо откуда раздаются звуки сладостной музыки, гармонично выражающей его душевное настроеніе. Онъ величественно и благосклонно кланяется на всѣ стороны, не различая, не видя отдѣльныхъ лицъ. Всѣ эти лица сливаются для него въ одно громадное существо, которымъ онъ владѣетъ и которое боготворитъ его.

Саторъ подводитъ къ нему нѣкоторыхъ избранныхъ и онъ небрежно прислушивается къ словамъ робкаго, восторженнаго почтенія.

Звуки музыки все сладостнѣе и теперь къ нимъ примѣшивается стройное пѣніе. Благоуханная теплота разлита въ воздухѣ — вокругъ жужжаніе толпы, впереди—за бѣломраморной колоннадой, изъ-за тропической растительности сада, мелькаютъ горы, синѣетъ море. Но теперь великаго розенкрейцера манитъ новое наслажденіе: онъ замѣчаетъ сверкающіе золотомъ и хрусталемъ столы, полные удивительныхъ яствъ и напитковъ. Онъ подаетъ рукою знакъ—и вотъ онъ за столомъ, и все, что только воображеніе человѣческое могло придумать для удовлетворенія вкуса, предложено ему расторопными слу-

гами. Однако аппетитъ его удовлетворенъ, кубокъ живительной влаги огнемъ пробѣжалъ по жиламъ, и онъ бросаетъ взоръ по сторонамъ. Рядомъ съ нимъ Саторъ, но кто-же съ другой его стороны, чье присутствіе онъ вдругъ почувствовалъ всѣмъ существомъ своимъ? Рядомъ съ нимъ женщина — воплощеніе юности и граціи, и онъ видитъ, что вся красота этихъ чертоговъ, этой лучезарной природы,—ничто въ сравненіи съ ея красотою. И ея красота не прячется, не скрывается за ревнивыя ткани нарядовъ. Нарядъ ея простъ и не скрываетъ ея прелестей.

Неудержимое влеченіе къ этому прекрасному созданію, кипучая страсть наполняетъ великаго розенкрейцера. Онъ сознаетъ, что готовъ сейчасъ отдать все, весь міръ, за нее одну, и что съ нею самая мрачная темница станетъ раемъ, а безъ нея даже и блескъ солнца померкнетъ. И онъ жадно отдается своимъ ощущеніямъ. Гдѣ-то, въ глубинѣ его сознанія, блѣдно мелькаетъ другой образъ, напоминающій ему, что это страсть неудовлетворенная, побѣждаемая, подавленная. Теперь же она торжествуетъ.

Онъ не отрываясь глядѣлъ на свою сосѣдку. Ея глаза полуопущены, но изъ подъ длинныхъ рѣсницъ онъ чувствуетъ мерцаніе ея взгляда. Вотъ она обернулась къ нему и ея мелодическій голосъ произнесъ:

— Мой повелитель, за что ты сердитъ на меня, такъ сердитъ, что до сихъ поръ не сказалъ мнѣ ни одного слова?

— Я любуюсь, Сильвія, — отвѣтилъ онъ: — и мой взглядъ долженъ и безъ словъ сказать тебѣ очень многое.

Она улыбнулась. О, эта улыбка! Онъ почувствовалъ ея прикосновеніе, легкое, мгновенное пожатіе руки—и едва удержался, чтобы не обнять ее, чтобъ не покрыть ее всю ненасытными поцѣлуями, забывая, что они не одни, что взгляды тысячной толпы устремлены на нихъ...

Потомъ, послѣ пира, когда солнце зашло за горы, когда на темнѣвшемъ небѣ высыпали звѣзды, и благоуханная прохлада разлилась повсюду, — въ таинственныхъ, волшебныхъ аллеяхъ былъ праздникъ. Великій розенкрейцеръ не покидалъ Сильвію— и она шептала ему рѣчи страсти, безумныя клятвы, наивныя признанія. И онъ былъ счастливъ. Потомъ наступила ночь, еще болѣе таинственная, еще болѣе волшебная...

VII.

Время стало проходить и прошло его не мало. Да ибо истинное исчисленіе времени въ человѣческой жи исходитъ не минутами, часами и днями, а получаемыми впечатлѣніями. Не даромъ говорится о человѣкѣ, сразу пережившемъ внутреннюю грозу и бурю, огромное горе или счастіе, что онъ въ день одинъ пережилъ многіе годы. Въ этомъ выраженіи нѣтъ ничего фантастическаго и преувеличеннаго. Взгляните на подобнаго человѣка повнимательнѣе—и вы увидите въ немъ такую внѣшнюю и внутреннюю перемѣну, которая можетъ быть результатомъ только очень долгаго времени.

Такъ и великій розенкрейцеръ, находясь внѣ времени, исчисляемаго часовой стрѣлкой, прожилъ много. Сначала онъ былъ какъ въ чаду, жадно воспринимая невѣдомыя ему впечатлѣнія, опьяняясь ими и даже не имѣя возможности хоть на мгновеніе заглянуть вглубь себя и сказать себѣ: «я счастливъ!» Но уже эта самая невозможность самоуглубленія, отсутствіе внутреннихъ вопросовъ и стремленій—показывали, что онъ весь—въ настоящемъ и это настоящее его удовлетворяетъ. А такое состояніе и есть естественное «земное» счастье.

Однако оно было непродолжительно. Оно стало удаляться незамѣтно, но быстро. Началось съ того, что притупилось «чувство удивленія» передъ всѣми этими неслыханными красотами природы и искусства, передъ сказочнымъ блескомъ и роскошью, передъ поклоненіемъ толпы и сознаніемъ своего могущества. Затѣмъ явилась «привычка» ко всему этому. Еще шагъ—и, вслѣдствіе привычки, созрѣло «равнодушіе»; изумительный праздникъ красоты, блеска и могущества превратился въ будни, въ самые монотонные будни.

Великій розенкрейцеръ уже не замѣчалъ теперь сказочнаго великолѣпія своихъ чертоговъ и даже позабылъ свои первоначальныя впечатлѣнія. Онъ подолгу работалъ съ Саторомъ и другими своими приближенными, но мало-по-малу, самъ того не замѣчая, отказывался отъ собственной иниціативы въ этой работѣ. Дѣла, относившіяся до блага безчисленнаго народа, которымъ управлялъ онъ, какъ-то мало находили отголоска въ его сердцѣ. Онъ доволенъ былъ, слыша увѣренія Сатора, что люди благоденствуютъ, что все благополучно. Онъ удалялъ отъ себя тѣхъ, кого Саторъ находилъ недостойными высокаго положенія и довѣрія властелина. Онъ находился въ твердой увѣренности, что Саторъ надежный и вѣрный другъ, человѣкъ большой мудрости и опытный въ дѣлахъ управленія, что онъ

неспособенъ ошибаться ни въ рѣшеніяхъ дѣлъ, ни въ людяхъ. Поэтому ему даже въ голову не приходило искать новыхъ людей и подвергнуть дѣйствія и рѣшенія Сатора критикѣ и провѣркѣ.

Когда занятія утомляли и въ то-же время не удовлетворяли, такъ какъ эта дѣятельность не была его призваніемъ,—онъ искалъ тѣлеснаго отдыха и наслажденій. Онъ спѣшилъ въ термы и погружался въ клокочущую влагу цѣлебнаго источника. Эта ванна хоть и освѣжала его, но ея дѣйствіе было почти неощутимо—и онъ уже не могъ вызвать въ себѣ прежнихъ необычайно сладостныхъ впечатлѣній...

Долѣе всего прожила его страсть къ Сильвіи. Но вотъ даже и чувство его къ красавицѣ притупилось. То, что было его блаженствомъ,—тоже обратилось въ привычку и уже не удовлетворяло его жажды новыхъ, неизвѣданныхъ впечатлѣній.

Онъ позналъ, что такое неудовлетворенность, скука. И въ то-же время въ немъ началъ пробуждаться иной человѣкъ или, вѣрнѣе, къ нему возвращались всѣ его свойства, знанія и силы. Туманъ спадалъ съ его глазъ. Онъ снова ощутилъ за собою и передъ собою—вѣчность. Его мудрость, наконецъ, вернулась и показала ему истину.

И онъ увидѣлъ, что окруженъ обманомъ и фальшью. Онъ увидѣлъ, что его другъ, всесильный Саторъ, вовсе не мудрецъ, а опытный царедворецъ, безсовѣстно пользующійся своимъ положеніемъ, отстраняющій всѣми способами, даже и грубой клеветою, всякаго свѣжаго и самостоятельнаго человѣка и, поэтому, творящій рядъ несправедливостей и ошибокъ. И всѣ эти несправедливости, и всѣ эти ошибки падаютъ на властителя.

Вслѣдъ за очарованіемъ въ Саторѣ и другихъ приближенныхъ, его ждало разочарованіе въ красавицѣ Сильвіи...

Была дивная, душистая ночь и аллеи волшебнаго сада озарялись полной луною. Эта ночь манила къ счастью, къ поэтическимъ мечтамъ, къ возвышеннымъ и плодотворнымъ мыслямъ. Но мрачно и тоскливо было въ душѣ великаго розенкрейцера. Онъ покинулъ свое ложе и, будто блѣдный призракъ, прошелъ рядъ безмолвныхъ чертоговъ. Его тѣнь скользила по широкимъ мраморнымъ ступенямъ террасы. Онъ въ саду среди благоуханной тишины, подъ густыми вѣтвями могучихъ померанцевъ. Онъ сидитъ неподвижно, склонивъ голову и будто прислушиваясь къ душевному голосу, который тоскливо и страстно ему плачется: «Не держи меня въ неволѣ, выпусти изъ темницы, дай расправить ослабѣвшія крылья»!

Но вотъ другой тихій голосъ достигаетъ его слуха. Онъ вздрогнулъ, затаилъ дыханіе, прислушивается...

— Къ чему твои сомнѣнія,—шепчетъ знакомый нѣжный го-

лось, близко шепчетъ, въ душистой бесѣдкѣ, со всѣхъ сторонъ закрытой невиданными причудливыми цвѣтами:—къ чему твои сомнѣнія—они только портятъ и сокращаютъ эти быстротечныя минуты счастья!

— Но я не могу избавиться отъ этихъ сомнѣній, — отвѣчаетъ другой, незнакомый голосъ:—я жадно, съ мученіемъ слѣжу за тобою, за каждымъ твоимъ шагомъ, движеніемъ, взглядомъ... И когда я вижу, что ты улыбаешься властелину и нѣжно на него смотришь—мое сердце разрывается и я едва въ силахъ удерживать крикъ отчаянія и ненависти къ этому человѣку... Страшное сомнѣніе закрадывается мнѣ въ душу и шепчетъ: она его любитъ!..

— Еслибъ я любила его—развѣ ты могъ-бы ко мнѣ приблизиться, развѣ ты былъ-бы со мною теперь въ этой бесѣдкѣ? Если я здѣсь—значитъ люблю тебя...

— Но, вѣдь, ты любила его?

— Никогда я не любила его... Отказываться отъ его любви было-бы безуміе, да и невозможно это: онъ властелинъ, одно его слово—и о сопротивленіи нечего думать... Или исполненіе его воли, или погибель. Саторъ сказалъ мнѣ это, а Саторъ безпощаденъ...

— Да, но взгляни хорошенько въ свое сердце... Вѣдь, онъ—властелинъ, въ немъ власть и сила, несокрушимое могущество—и все это—его обаяніе. Женское сердце склоняется передъ силой и боготворитъ ее.

— Можетъ быть, можетъ быть и я полюбила-бы его за могущество и преклонилась-бы передъ нимъ, только для этого надо было одно—чтобъ онъ не полюбилъ меня. Да, тогда бы, еслибъ онъ не замѣчалъ меня, а замѣтивъ остался-бы ко мнѣ равнодушенъ, можетъ быть я и увлекалась-бы имъ, можетъ быть я и добивалась-бы его любви и въ этой борьбѣ сама опалила-бы свое сердце. Но онъ полюбилъ меня и я сразу увидѣла, какъ онъ трепещетъ и млѣетъ отъ моего взгляда, отъ моего прикосновенія... Гдѣ-же его сила? Гдѣ-же его могущество? Онъ не властелинъ для меня, а рабъ мой... А я раба любить не могу... Я презираю его, онъ мнѣ жалокъ, смѣшенъ... Я должна выносить любовь его... Но и въ его объятіяхъ я все-же всегда съ тобою, мой милый, мой ненаглядный, и отъ него я спѣшу къ тебѣ, чтобы ты скорѣе согрѣлъ меня, чтобы ты стеръ своими сладкими поцѣлуями его ненавистные поцѣлуи...

Властелинъ не хотѣлъ больше слушать. На мгновеніе больно забилось его сердце и онъ растерялся отъ неожиданности и грубости этого обмана. Но онъ сейчасъ-же и понялъ, что обманъ этотъ возбуждаетъ въ немъ не горе, не обиду, а только глубо-

кое отвращеніе. Да развѣ самъ онъ любилъ ее? Развѣ самъ онъ не началъ отрезвляться отъ своей животной страсти, отъ грубаго поклоненія матеріальной красотѣ? Любовь! развѣ это любовь? Онъ не знаетъ, что такое любовь, не знаетъ, гдѣ искать и гдѣ найти ее... Стыдъ поднялся въ немъ, и пусто и тоскливо стало въ его сердцѣ.

Онъ медленно приблизился къ бесѣдкѣ; онъ уже хотѣлъ распахнуть благоухающія вѣтви и сказать: «прочь, скорѣе прочь съ глазъ моихъ, прочь изъ моего волшебнаго сада!» Но онъ не коснулся душистыхъ вѣтвей, не произнесъ ни слова и неслышно удалился. Снова тѣнь его мелькнула на широкихъ мраморныхъ ступеняхъ терассы.

Онъ оглянулъ этотъ садъ, утопавшій въ лунномъ блескѣ, эти далекія блѣдныя горы, море, колоннады и портики своихъ чертоговъ и перенесъ взглядъ выше, къ темному небу, усѣянному міріадами звѣздъ, трепетавшихъ въ загадочномъ мерцаніи. И безпредѣльность охватила его.

«Зачѣмъ ихъ гнать отсюда!—думалъ онъ:—они у себя, они такая-же часть этой земли, какъ цвѣты и деревья, какъ вода и камни... Они у себя, а я—пришлецъ въ этомъ мірѣ временныхъ формъ, на мгновеніе остановившихся призраковъ. Я искалъ здѣсь то, чего не могъ найти—и долженъ уйти отсюда!»

Все выше и выше поднимался взглядъ его. Душа напрягала послѣднія усилія...

Онъ открылъ глаза, поднялся съ кресла и глубокій вздохъ, вздохъ освобожденія вырвался изъ груди его. Свѣчи догорали на столѣ, блѣдное зимнее утро заглядывало въ окна...

VIII.

Рано утромъ во дворъ дома Захарьева-Овинова въѣхало нѣсколько нагруженныхъ подводъ. Въ этомъ обстоятельствѣ не было ровно ничего удивительнаго, такъ какъ время отъ времени именно такія подводы приходили то изъ одной, то изъ другой княжеской вотчины и привозили всевозможные сельскіе продукты, какъ для домашняго продовольствія, такъ и на продажу. Но на этотъ разъ оказалось нѣчто несовсѣмъ обыкновенное: на одной изъ подводъ, между огромными кулями, прикрытая со всѣхъ сторонъ ими, оказалась женщина.

Мужики-возчики, остановясь во дворѣ, на своемъ обычномъ мѣстѣ, окружили эту подводу, стащили съ нея куль и такимъ образомъ дали женщинѣ возможность слѣзть съ подводы.

На первый взглядъ это была крестьянка, но очевидно изъ

очень зажиточныхъ. Она была закутана въ длинный суконный шушунъ и съ яркимъ персидскимъ платкомъ, обвязывавшимъ ея голову, такъ что изъ всего лица были видны глаза. Когда она слѣзла съ подводы, то во всѣхъ ея движеніяхъ совсѣмъ не оказалось робости, присущей крестьянкамъ, пріѣзжавшимъ изъ деревенской глуши въ петербургскій княжескій домъ. Она спустила съ лица платокъ, освободила ротъ и довольно повелительно крикнула одному изъ мужиковъ:

— Пахомка! Ступай-ка ты да оповѣсти кого слѣдъ о томъ, что я пріѣхала. Куда идти не знаю, а не на дворѣ-же мнѣ стоять, и такъ за ночь вся какъ есть перезябла. Коли попъ тутъ, такъ ты его тащи съ собою.

— Сейчасъ, матушка, сейчасъ! — отозвался весьма охотно и съ нѣкоторымъ подобострастіемъ Пахомка.—Вѣстимо, чего тебѣ среди двора оставаться, мигомъ батюшку отца Николая доставлю.

Пахомка, передернувъ плечами, маленькой рысцою въ своихъ огромныхъ лаптяхъ, побѣжалъ къ одной изъ домовыхъ пристроекъ.

Теперь можно было поближе разглядѣть пріѣхавшую женщину. Большая, плотная, еще молодая, лѣтъ тридцати съ небольшимъ, она производила очень выгодное впечалѣніе. У нея были бойкіе, черные глаза, крупный, неопредѣленной формы, но вовсе недурной русскій носъ и сочныя, полныя губы, изъ-за которыхъ, при каждомъ ея словѣ, такъ и сверкали бѣлые крѣпкіе зубы. Очевидно это лицо, въ хорошія минуты, могло быть и очень веселымъ, и очень пріятнымъ, но теперь матушка, видимо, находилась въ раздраженномъ состояніи, что, конечно, объяснялось долгимъ путемъ и значительной усталостью.

Мужики возились вокругъ подводъ. Вотъ изъ домоваго строенія показалось нѣсколько дворовыхъ, со всѣхъ ногъ бѣжавшихъ къ подводамъ. Просторный дворъ княжескаго дома оживился.

Черезъ нѣсколько минутъ въ домѣ уже знали, кто такая пріѣзжая. Къ ней съ любопытствомъ подходили и почтительно ей кланялись.

— А батюшки-то дома нѣту!—вдругъ сказалъ кто-то.

— Какъ нѣту!—воскликнула пріѣхавшая.—Куда-же это онъ въ такую рань?

Нѣсколько человѣкъ усмѣхнулись.

— Что за рань! Для батюшки отца Николая рани не бываетъ, что день, что ночь, для него едино. Коли не у службы Божіей, такъ по больнымъ ходитъ. Больныхъ-то нынѣ, съ самаго лѣта, охъ, какъ много по Питеру. Ну вотъ его и зовутъ.

— Онъ-то тутъ причемъ?—въ недоумѣніи воскликнула пріѣ-

ѣзжая.—Что-жъ это, въ Питерѣ своихъ поповъ нѣтъ что-ли
Тотъ изъ дворовыхъ, къ которому она обратилась съ этим словами, почесалъ у себя въ затылкѣ и недоумѣло глядѣлъ на нее

— Своихъ-то поповъ, питерскихъ, не мало и у каждаго из нихъ свои дѣла есть: на всѣхъ требъ хватитъ. А батюшка-то отецъ Николай, развѣ онъ...

— Что?.. Развѣ онъ что?

— Онъ не для требъ, а для цѣленія души и тѣла. Сколько народу за него теперича молится! Не человѣкъ онъ—ангелъ Угодникъ Божій.

— Это кто-же такой угодникъ Божій?—насмѣшливо спросила матушка, но тутъ-же и замолчала, увидя произведенное этими ея словами полное недоумѣніе.

Въ это время передъ ней очутился княжескій дворецкій, важнаго вида человѣкъ. Матушка даже смутилась, его увидя и не зная, за кого принять его. Видъ у него царственный, на плечахъ накинута шуба лисья, а изъ подъ шубы кафтанъ выглядываетъ весь золотомъ зашитый. Матушка почтительно, по-русски, по-деревенски, поклонилась. Дворецкій отвѣтилъ ей такимъ-же почтительнымъ поклономъ и густымъ басомъ произнесъ:

— Такъ это ты, матушка, отца Николая супруга?

— Я, а то кѣмъ-же мнѣ быть?—нѣсколько оторопѣвъ, произнесла молодая женщина.

— А въ такомъ разѣ, пожалуй, сударыня матушка, я тебя въ покойчикъ батюшки и проведу. Самого его нѣту, да у заутрени я его видѣлъ и онъ мнѣ сказалъ, что скоро будетъ; къ одному только больному, тутъ недалече, хотѣлъ зайти. Онъ безпремѣнно скоро будетъ; ножалуй, матушка, за мною.

Пріѣзжая, очевидно, подавляемая совсѣмъ неожиданными и новыми мыслями, послѣдовала за дворецкимъ.

Онъ проводилъ ее въ княжескій домъ съ задняго хода. И вотъ она въ чистой и по-барски убранной комнатѣ. На полу разостланъ мягкій коверъ, всюду наставлены большія кресла; въ правомъ углу богатый кіотъ съ образами.

Она остановилась смущенная.

«Неужто это моего попа тутъ такъ ублажаютъ, — невольно мелькнуло у нея въ головѣ. — То-то онъ и застрялъ! Какъ не сбѣжать въ такія палаты! Да не можетъ то быть!..»

Но послѣднее сомнѣніе тотчасъ-же исчезло. Изъ растворенной двери въ слѣдующую комнату она увидѣла брошенную на кресло знакомую ей деревенскую рясу отца Николая, да притомъ и въ этой богатой комнатѣ, гдѣ она стояла, на нее такъ и пахнуло тѣмъ неуловимымъ запахомъ, да и не запахомъ, а чѣмъ-то совсѣмъ неосязаемымъ, но хорошо знакомымъ ей и указы-

вавшимъ яснѣе всего на то, что здѣсь именно, въ этихъ богатыхъ покояхъ, живетъ никто иной, какъ отецъ Николай.

— Чай, иззябли въ дорогѣ, матушка, да и проголодались? Я сейчасъ сбитню горяченькаго прикажу приготовить и пришлю тебѣ закусить.

Проговоривъ эти слова, дворецкій съ поклономъ вышелъ.

Пріѣзжая, совсѣмъ растерявшаяся и какъ-то притихшая, продолжала стоять посреди комнаты и медленно развязывала платокъ на головѣ. Вотъ она сняла этотъ платокъ, потомъ сняла свой длинный шушунъ изъ грубаго сукна на заячьемъ мѣху и долгое время не знала, куда все это дѣвать, такъ ей казалось неподходящимъ положить свои деревенскія вещи на барскія, крытыя бархатомъ кресла. Наконецъ, она рѣшилась и осторожно сложила на самое дальнее кресло, въ уголку, сложила да и присѣла тутъ-же, опустивъ руки вдоль колѣнъ, какъ это всегда дѣлаютъ женщины изъ русскаго народа, погруженныя въ задумчивость. Она невольно сравнивала свои обычныя, еще такъ недавно покинутыя впечатлѣнія, съ тѣмъ, что ее теперь окружало.

Она выросла въ глухой деревнѣ, въ средѣ почти ничѣмъ не отличавшейся отъ крестьянской. Домикъ ея отца, въ которомъ она и теперь жила съ мужемъ, немногимъ разнился отъ крестьянской избы. Но она хорошо знала, что есть люди, которые живутъ совсѣмъ иначе. Она, съ дѣтства, время отъ времени, пользуясь каждой возможностью, забиралась въ давно покинутый барскій домъ, гдѣ тщательно сохранялась княжеская обстановка временъ царицы Анны.

Робко, съ замирающимъ сердцемъ бродила она по обширнымъ покоямъ, казавшимися ей особенно обширными послѣ домашней деревенской тѣсноты. Она разглядывала каждую вещь, иной разъ вовсе не имѣвшую въ себѣ ровно ничего замѣчательнаго, сдѣланную грубо, аляповато, но казавшуюся ей чудодѣйственной,—и безсознательная тоска и зависть наполняли ее и каждый разъ, возвращаясь изъ барскаго дома къ себѣ, она вздыхала.

Это стремленіе къ той жизни, для которой она не была предназначена, было въ ней врожденно, инстинктивно. Но время шло и дѣтскія мечтанія исчезали, жизнь вступала въ свои права. Бродить по барскому дому, отдаваться чувству тоски и зависти было теперь некогда: мать померла, отецъ дряхлѣлъ, все хозяйство было на ея рукахъ. На подмогу ей оказывался всего одинъ работникъ, тоже старикъ, совсѣмъ почти глухой и плохо видѣвшій однимъ глазомъ.

Покойная ея мать была отличной хозяйкой и держала поповскій домикъ съ огородомъ въ большой исправности, и дочка

вышла хорошей хозяйкой и работницей. Время шло быстро, он уже заневѣстилась. Изъ Кіева явился Николай.

Когда ей старикъ отецъ объявилъ, что это ея женихъ, о ничего не возразила, вышла замужъ безъ всякихъ разсужден безъ всякой борьбы съ собою. Все это было въ порядкѣ вещ иначе и не могло съ ней случиться, слава Богу, что женихъ не противенъ, а напротивъ онъ даже заинтересовалъ ее. концѣ-концовъ, какъ-бы то ни было, онъ не деревенщина, ро съ княжескимъ сыномъ, потомъ учился въ Кіевѣ, не мало че навидался, иной разъ станетъ разсказывать — интересно вы дитъ. Правда, есть въ немъ что-то странное, не такой онъ, ка другіе люди молодые, какихъ она встрѣчала, а и то сказать встрѣчала-то она немногихъ, такъ что судить точно и не мог Но съ первыхъ-же дней своей семейной жизни она увидала, ч между нею и ея мужемъ что-то не совсѣмъ ладно: до свад были чужими, а послѣ свадьбы еще больше чужими стали, ро и не понимаютъ другъ-друга. Что-же, онъ такъ уменъ, а такъ глупа? Ничуть себя она глупой не считаетъ и хотя и росла въ деревнѣ, а не такова совсѣмъ, какъ деревенскія баб и читать и писать умѣетъ, отецъ всему выучилъ. Книгъ не м прочла, да и отъ природы Богъ разумомъ не обидѣлъ...

Невѣдомо куда привели-бы теперь матушку ея мысли, думать-то оказалось некогда: проворный и ласковый человѣ съ поклонами и поздравленіями со счастливымъ пріѣздомъ, вне въ комнату сбитень медовый въ большомъ мѣдномъ сосудѣ ручкой, на подобіе чайника. Онъ накрылъ столъ чистою, бѣл скатертью, потомъ уставилъ его всякимъ съѣстнымъ, в заманчивымъ, особенно послѣ дальней дороги и недостат грубой пищи.

Пріѣзжая сразу покончила со всѣми своими мыслями всѣми волновавшими ее чувствами и принялась кушать и съ большимъ аппетитомъ, даже съ наслажденіемъ.

Во время этого ея занятія снова отворилась дверь, и в нату вошелъ самъ отецъ Николай. Онъ, вѣроятно, прошел двору, какъ всегда это дѣлалъ, очень быстро; во всякомъ сл его прихода никто не замѣтилъ, и никто не успѣлъ сооб ему о пріѣздѣ его жены. При видѣ ея среди комнаты, за за комъ, онъ въ первое мгновеніе вздрогнулъ. Свѣтлое его какъ-бы омрачилось, но это только былъ одинъ мигъ,—и ясное спокойствіе разлилось по всѣмъ его чертамъ.

— Настасья Сильвестровна! Пріѣхала! Вотъ нежданно, н данно! — вскричалъ онъ, подходя къ женѣ. — Все-ли благ лучно? Въ добромъ-ли здоровьи? Ну, мать,—съ пріѣздомъ! Об бызаемся.

Все это онъ проговорилъ такъ быстро, его движенія были такъ порывисты, что матушка едва успѣла проглотить положенный въ ротъ кусокъ, и сама не замѣтила, какъ трижды, по обычаю, облобызалась съ мужемъ или, вѣрнѣе трижды его губы беззвучно приложились къ ея круглымъ горячимъ щекамъ.

Затѣмъ отецъ Николай придвинулъ себѣ стулъ, сѣлъ рядомъ съ нею и глядѣлъ на нее свѣтлымъ, почти радостнымъ взглядомъ. Глаза его, какъ прозрачные голубые камни, въ которыхъ отражалось солнце, такъ и свѣтились, такъ и искрились. Но именно это сіяющее выраженіе его лица, именно этотъ поразительно ясный свѣтъ, изливавшійся изъ его глазъ, произвели самое раздражающее дѣйствіе на матушку.

То, что она подавила было въ себѣ, о чемъ перестала думать въ теплотѣ, богатствѣ и новизнѣ этой обстановки, но съ чѣмъ она ѣхала сюда и чѣмъ и была полна, выѣзжая на княжескій дворъ,—теперь сразу заполонило ее.

— Что-же ты ухмыляешься, попъ!—вскричала она страстнымъ голосомъ.—Радъ, вишь,—жена пріѣхала? Лиси, передъ кѣмъ хочешь, обманывай, кого знаешь, а меня не обманешь. Чай, у тебя кошки на сердцѣ скребутся. Не ждалъ, думалъ: гдѣ ей глупой бабѣ—не надумается. А вотъ и надумалась—взяла, да тутъ! И ни коимъ манеромъ ты меня отсюда не выживешь, ты тутъ—и я тутъ, потому ты мнѣ мужъ, а я тебѣ жена.

— Матушка, да я вовсе и не желаю выживать тебя, Богъ съ тобой. Здорова ты—ну, вотъ и я доволенъ, а что пріѣхала ты, такъ это напрасно.

— Ну, вотъ! Ну, вотъ, совсѣмъ небось, отъ меня хотѣлъ избавиться, анъ нѣтъ, анъ вотъ-же тебѣ!.. Ты здѣсь—и я здѣсь!—съ деревенской ухваткой, сверкнувъ глазами и раздувая ноздри, крикнула матушка.

Отецъ Николай качнулъ головою и чуть слышно вздохнулъ, а она между тѣмъ продолжала:

— А ты вотъ что мнѣ скажи, попъ, кто ты таковъ теперь сталъ? Какъ величать надо? Жилъ ты былъ знаменскій попъ Микола—ну, а нынче-то кто-же? Въ бояре что-ли попалъ? Или архіереемъ при живой женѣ сдѣлался? Кто ты таковъ? Чего ты такъ барствуешь, покажись-ка, покажись. Батюшки мои, ряса-то, ряса!

Она оглядывала и ощупывала его шелковую синюю рясу, которую недавно ему подарилъ старый князь.

— И тебѣ это не совѣстно въ такихъ шелкахъ-то? Вѣдь, это что-жъ такое? Жена, вонъ, деревенщина, въ затрапезьи ходитъ, а онъ, поди ты, въ шелкахъ какихъ!

Отецъ Николай тоже осматривалъ теперь свою рясу.

— Красиво,—сказалъ онъ:—и на ощупь пріятно, это мнѣ нашъ болящій князь онамеднись подарилъ и приказалъ носить, такъ мнѣ какъ-же не носить-то?

— А ты-бы ему, князю-то болящему,—перебила матушка:—и сказалъ-бы: на что мнѣ, молъ, князь, али тамъ—сіятельство ваше—такая ряса. Не пристало мнѣ, деревенскому попу, въ шелкахъ ходить, а вотъ, коли милость ваша будетъ, этотъ самый шелкъ женѣ-бы на платье для праздника.

— Вотъ это точно. Не догадался, матушка, прости, не догадался,—разводя руками, сказалъ отецъ Николай.—А и то сказать, кабы и догадался, такъ не сталъ-бы такихъ словъ говорить князю—не мое это совсѣмъ дѣло.

Матушка махнула рукою, поднялась изъ за стола и прошлась по комнатѣ.

— Да что тутъ съ тобой толковать,—мрачно произнесла она. — А вотъ ты мнѣ скажи: домой-то въ деревню-то ты думаешь когда быть? Али совсѣмъ здѣсь ужъ останешься? Вѣдь, ты подумай только, сколько времени прошло, такъ ты сбѣжалъ-то тогда! Тебя такъ многіе, чай, по нашимъ мѣстамъ въ бѣгахъ и считаютъ!

Отецъ Николай сидѣлъ задумавшись.

— Да, вѣдь, Семенъ Петровичъ священствуетъ? — наконецъ спросилъ онъ.— Вѣдь, прихожанамъ никакого отъ моего отсутствія нѣтъ убытка...

Матушка, очевидно, не могла равнодушно выносить ни словъ его, ни его спокойнаго тона.

— Ну, что-же такое, что попъ Семенъ! Онъ знаменской церкви іерей поставленный или ты? При дѣлѣ ты или безъ дѣла? Жена я тебѣ или нѣтъ? Вотъ ты мнѣ на что отвѣть. Два раза наши подводы сюда ходили, писала я тебѣ, что-же ты мнѣ не отвѣчалъ?

— Какъ, матушка, не отвѣчалъ? — изумленно перебилъ ее отецъ Николай.—Оба раза я тебѣ отвѣтствовалъ.

— Да что ты мнѣ отвѣтствовалъ-то? Живъ, молъ, и здоровъ, чего и тебѣ желаю,—вотъ и весь отвѣтъ твой былъ.

— А отвѣтъ былъ таковъ потому, что нечего другого было мнѣ сказать тебѣ. Коли было-бы что, я-бы и сказалъ, коли-бы зналъ, когда вернусь, то я-бы и отписалъ, а вотъ какъ тогда, такъ и теперь не знаю ни срока, ничего не знаю, все во власти Божіей! Есть у меня здѣсь дѣло, я и живу, не будетъ дѣла—домой поѣду, тамъ, можетъ, тоже дѣло найдется. Не могу я отсюда выѣхать.

— До почему-же не можешь? Упрямая ты, несуразная голова!

Но отецъ Николай молчалъ, и она, глядя на него, знала, что онъ такъ ей ничего и не отвѣтитъ, и уже она привыкла къ этому его особенному въ иныя минуты молчанію. Но это-то молчаніе всего болѣе и раздражало ее, и теперь она уже какимъ-то почти шипящимъ голосомъ заговорила:

— Да и я-то дура, что хочу отъ тебя чего-нибудь добиться! Аспидъ ты, мучитель мой, и ничего больше! Ну и молчи! Мнѣ словъ твоихъ не надо. Дойду и до самого князя. Нынче дойду, безпремѣнно, затѣмъ и пріѣхала. Разскажу ему все, какъ на духу, скажу ему, каковъ ты есть извергъ... Онъ, небось, тебя за святого считаетъ, обошелъ ты его своими лисьими рѣчами, а вотъ, увидимъ еще, какъ это князь на твои настоящіе поступки посмотритъ, что ты съ женой дѣлаешь, какъ ты ее одну оставляешь! Хоть съ голоду помирай, тебѣ нѣтъ дѣла... Да и не къ князю, къ владыкѣ пойду... ко всѣмъ вельможамъ пойду, не могу больше терпѣть отъ тебя, довольно! Натерпѣлась... не одинъ годъ... Всю молодость мою ты загубилъ!

Сначала отецъ Николай при каждомъ ея словѣ вздрагивалъ, когда ея слова больно въ немъ отзывались, но вотъ онъ сдѣлалъ надъ собою усиліе, губы его зашептали что-то, и мгновенно онъ пересталъ слышать слова жены, онъ ушелъ всецѣло въ иной міръ, въ иную область мыслей и ощущеній.

Матушка волновалась все больше и больше. Она была въ такомъ состояніи, что ей очевидно необходимо было наговориться досыта, излить всю свою душу, высказать передъ мужемъ все, что кипѣло въ ней за эти мѣсяцы его отсутствія. Она осыпала его цѣлымъ градомъ упрековъ и насмѣшекъ, не задумываясь надъ словами,—но онъ ничего не слышалъ.

Онъ спокойно глядѣлъ передъ собою свѣтлыми сіявшими глазами и не видѣлъ ни ее, ни этой комнаты, видѣлъ совсѣмъ иное, и она, наконецъ, взглянувъ на него, поняла это. Она поняла, что все ея краснорѣчіе пропало даромъ. Отчаяніе, злоба и раздраженіе охватили ее, еще мигъ и она, кажется, кинулась-бы на мужа съ кулаками, но ей, по счастью, пришло въ голову, что все-же она въ княжескомъ домѣ; она побѣжала въ сосѣднюю комнату и тамъ громко зарыдала.

IX.

Отецъ Николай разслышалъ это рыданіе. Онъ всталъ, быстро направился къ женѣ, увидалъ ее сидящею въ креслѣ, съ лицомъ, закрытымъ руками, и склонился надъ нею.

— Настя! Настя!—тихо и ласково произнесъ онъ, касаясь

рукою ея головы.—Ну, чего ты? Чего? Зачѣмъ плачешь?—успокаивалъ онъ ее и опять погладилъ по головѣ.

Она уже ощутила это прикосновеніе, отъ котораго повѣяло на нее чѣмъ-то теплымъ, успокоительнымъ, отраднымъ. Ей стоило только отдаться этому первому ощущенію—и тишина и спокойствіе наполнили-бы ея душу, она внутрѣнно прозрѣла-бы и увидала-бы все совсѣмъ въ иномъ свѣтѣ, но никогда, ни разу, въ подобныя минуты, не могла она отдаться этому спасительному ощущенію—сила противленія была въ ней велика. Каждый разъ вся ея душа возмущалась противъ мужа. Она и теперь порывисто подняла голову и отстранила отъ себя его ласкающую руку.

— Ну, чего ты? Что я тебѣ далась, малый ребенокъ что-ли, или дура?—гнѣвно сверкнувъ глазами, крикнула она.—Чего ты меня по головѣ гладишь, ровно кошку или собаку какую?! Самъ истерзалъ человѣка, жизнь погубилъ всю и думаетъ, скажетъ: «Настя, Настя», а я такъ хвостомъ и завиляю. Я тебѣ не звѣрь, а человѣкъ, жена твоя законная, такъ ты меня уважать долженъ, заботиться обо мнѣ, а не губить...

— Настя, Христа ради, не говори ты такихъ напрасныхъ словъ, вѣдь, ими ничему не поможешь и отъ нихъ тебѣ только станетъ хуже. Возьми лучше въ толкъ да разумъ, коли можешь, и скажи мнѣ, чего тебѣ отъ меня надо? Въ чемъ я передъ тобою повиненъ? Богъ видитъ: все, что могу, я готовъ сдѣлать, скажи только...

— О, душегубецъ!—проскрежетала Настасья Сильверстовна, заламывая руки.—Ну, есть-ли какой способъ выслушивать эти льстивыя слова отъ такого человѣка! Вѣдь, знаетъ, знаетъ, что меня-то ужъ своимъ лживымъ смиреніемъ провести не можетъ—и все-жъ-таки донимаетъ.. Да закричи ты на меня! Бей ты меня! Покажись ты какъ есть, все-же легче тогда будетъ, поговорю я съ тобой какъ слѣдуетъ. Ну, чего ты тянешь всю душу? Чего ты юродивымъ представляешься? Чего, вишь, я хочу! Въ чемъ онъ, вишь, виноватъ! Да вотъ, скажи ты мнѣ, коли есть въ тебѣ душа человѣческая, скажи мнѣ правду, наконецъ, зачѣмъ ты на мнѣ женился? Зачѣмъ тебѣ понадобилось всю жизнь терзать меня? Ну, говори! Только не молчи—говори, хоть разъ въ жизни говори мнѣ правду.

Онъ опустилъ голову.

— Жена, я никогда не лгалъ тебѣ, только во многихъ случаяхъ молчу, ибо молчаніе лучше словъ напрасныхъ.

— Знаю я твое молчаніе! Ну теперь не молчи, говори, говори мнѣ: зачѣмъ ты на мнѣ женился?

— На иной вопросъ не легко сразу отвѣтить, Настя. Вотъ

ты мнѣ и теперь такой вопросъ задаешь... Я самъ себѣ его никогда не задавалъ и онъ для меня вновѣ, но, коли хочешь, отвѣчу тебѣ на него, да и себѣ сразу отвѣчу. Зачѣмъ, говоришь, я на тебѣ женился? Видно такъ нужно было. Сама знаешь, отецъ былъ іереемъ и дѣдъ тоже; самъ я отъ дѣтскихъ лѣтъ любилъ пуще всего въ мірѣ молитву, храмъ Божій, да и потомъ, возрастая, учился Писанію, исторіи церковной, богословскимъ наукамъ и зналъ я, тогда-же зналъ, что нѣтъ и не можетъ у меня быть иного призванія, какъ священство. Такъ вотъ я и готовился, по примѣру отца и дѣда, въ священнослужители. Только было у меня время сомнѣній, разбиралъ я въ себѣ, достоинъ-ли я такого высокаго служенія... провѣрялъ себя... Ахъ, Настя, ты напрасно думаешь, что легко быть священникомъ, что легко поднять на себя такую обязанность! Вѣдь ежели человѣкъ недостоинъ, ежели человѣкъ съ нечистымъ серцемъ совершаетъ великія Господни таинства, то вѣдь эти таинства сожгутъ его невидимымъ огнемъ, сожгутъ—и на вѣки! Вѣдь ежели онъ въ душѣ своей не вѣритъ въ тѣ слова, какія произноситъ въ церкви, если онъ хоть на малое мгновеніе усумнится въ томъ, что совершаетъ,—онъ погубитъ свою душу, ибо ложь передъ алтаремъ Господнимъ такой грѣхъ, послѣ котораго человѣку не подняться! Вотъ когда я все это понялъ,—я и усумнился. Долго молился, долго разбирался въ душѣ своей, наконецъ рѣшилъ съ трепетомъ, но съ надеждой на Бога, на Его милосердіе, на Его поддержку... и когда я рѣшилъ, то я многое понялъ. Я понялъ, что мнѣ нужно для того, чтобы быть священникомъ.

Настасья Сильверстовна сидѣла теперь молча, съ широко-раскрытыми глазами и вслушиваясь въ слова мужа. Такъ съ нею онъ доселѣ еще никогда не говорилъ и вообще на этотъ разъ самъ онъ ей казался какъ-то чуденъ. Слова его были до того необычны, что на короткое время улеглось въ ней ея раздраженіе и она слушала. Онъ продолжалъ:

— Кончивъ однимъ изъ лучшихъ въ училищѣ, я былъ призванъ начальствомъ и было мнѣ предложено священническое мѣсто въ Кіевѣ.

— Ну да, я знаю это,—перебила Настасья Сильверстовна:—отчего-же ты не взялъ этого мѣста? Былъ-бы поди ужъ и протопопомъ, да и для меня нашелся-бы другой человѣкъ, съ которымъ, быть можетъ, жилось-бы лучше.

— Я было сначала отъ мѣста-то не отказывался, — продолжалъ отецъ Николай:—да только вдругъ потянуло меня на родину. Межъ товарищами моими былъ одинъ человѣкъ хорошій, и ему сильно хотѣлось занять то мѣсто, которое мнѣ предлагали. Онъ давно уже на то мѣсто разсчитывалъ, я про то не

зналъ, а вотъ какъ было оно мнѣ назначено, да стало то извѣстно между товарищами, онъ мнѣ и сказалъ, а я и обрадовался; пришелъ да и говорю начальству: «въ село родное хочется», да и князю о томъ написалъ. Князь прислалъ свое согласіе, начальство было меня отговаривать стало: «пропадешь ты тамъ, говорятъ, въ глуши. Пусть, говорятъ, по деревнямъ тѣ идутъ, кто ни аза не знаетъ, а ты не на то учился». Я смолчалъ, потому насъ такъ пріучили—молчать передъ начальствомъ, а сказать хотѣлось, что куда-же идти тому, кто что-нибудь смыслитъ, какъ не въ народъ темный. Да не въ томъ дѣло. Вотъ я и рѣшилъ, да и поѣхалъ, ну, а потомъ, сама знаешь: какъ-же я могъ на тебѣ не жениться—вѣдь иначе меня въ іереи не посвятили-бы, да и прихода знаменскаго не могъ-бы я получить, потому твой отецъ священствовалъ и только твой мужъ могъ быть на этомъ мѣстѣ—сама это все знаешь!

— Да я-то тутъ причемъ?—Я-то тутъ въ чемъ виновата?—снова приходя въ раздраженіе и наступая на мужа, заговорила матушка.—Коли я тебѣ была такъ ненавистна, ты-бы и ушелъ, ну, я не знаю что... ну, поѣхалъ-бы въ Москву. Князь тебѣ-бы все устроилъ—ты вѣдь хоть и не съ той стороны, а родней ему приходишься... свой... Я-то тутъ причемъ? За что ты меня погубилъ, вотъ что ты скажи?

— Ахъ, опять ты эти слова! — сказалъ вздыхая отецъ Николай. — Конечно, коли-бы я зналъ, что въ этомъ чья-нибудь погибель, я-бы и не показывался въ нашу деревню, да развѣ могъ я тогда знать это? Развѣ я тогда зналъ это?—возвысилъ онъ вдругъ голосъ и блеснулъ своими свѣтлыми глазами:—когда я и теперь этого не знаю! Когда я и теперь... и теперь, болѣе чѣмъ когда-либо, думаю, что не погибель наша была въ этомъ бракѣ, а скорѣе спасеніе!

Настасья Сильверстовна злобно засмѣялась.

— Ну, попъ, опять блаженнымъ прикидываешься, либо и впрямь спятилъ! Хорошо нашелъ спасеніе! Я не по тебѣ, ты не по мнѣ, ужъ чего-же тутъ! Да только то, вотъ видишь-ли, что отъ меня ты дурного никогда ничего не видывалъ. Я баба работящая. Кабы не я, такъ ты-бы въ деревнѣ голодомъ сидѣлъ. Во всю жизнь никакого непотребства у меня и въ головѣ не было, а ты... ты?

— Ну, что-же я?—спокойно сказалъ отецъ Николай.

Но она не могла договорить. Ея кулаки сжимались, бѣшенство душило ее, снова изъ глазъ такъ и брызнули слезы—женскія слезы злобы и безсильнаго бѣшенства.

— Успокойся, Настя! Это ты съ дороги что-ли такъ разстроилась? Эхъ, горе ты мое, горе! Какъ подумаешь, что такъ

легко было-бы тебѣ стать и спокойной, и довольной, и счастливой—ужъ молюсь я объ этомъ Богу, молюсь, да видно еще рано.

— Не замасливай, не замасливай!—вырвалось вдругъ у матушки.

У нея вообще были всегда очень быстрые переходы отъ одного состоянія къ другому.

— Вѣдь не скрылось отъ меня, какъ тебя ошеломило при моемъ видѣ—тебѣ любо было позабыть, что я есть на свѣтѣ!

— Нѣтъ, я не забывалъ о тебѣ, а это правду ты сказала, что я въ первую минуту, какъ увидѣлъ тебя, смутился; смутился я потому, что, сдается мнѣ, тебѣ вовсе пріѣзжать не слѣдовало.

— А почему это?

— А потому, что ты здѣсь себя только, видишь-ли, больше разстраиваешь, только больше себя мучаешь, вредишь себѣ. Тамъ, въ деревнѣ, такому человѣку, какъ ты, гораздо, не въ примѣръ легче, тамъ ты въ работѣ, спокойна. Работа—все лѣченье твое душевное, въ работѣ тебѣ не приходитъ никакихъ мыслей, а тутъ вотъ... онѣ уже и пришли. Тамъ, въ деревнѣ, тебѣ некому завидовать, а тутъ ты каждому завидовать станешь, и ропотъ въ тебѣ явится и, охъ, много грѣховъ всякихъ! Поэтому я и смутился—но уже разъ ты пріѣхала, что тутъ дѣлать! Мое смущеніе прошло, я возрадовался, что вижу тебя здоровой, хотѣлъ разспросить о томъ, и о другомъ, о всѣхъ сосѣдяхъ и прихожанахъ, а ты меня сейчасъ-же встрѣтила разными упреками. Ну что мнѣ съ тобой дѣлать—нѣтъ, видно, тебѣ исцѣленія!

— А! такъ мнѣ нѣтъ исцѣленія! Тутъ вотъ не успѣла въ домъ я войти, а ужъ о разныхъ твоихъ дѣлахъ наслушалась изрядно. Видишь-ли, ты тутъ святымъ угодникомъ сталъ, цѣлителемъ недуговъ... разныя болѣзни лучше всякаго дохтура излѣчиваешь! Ну, батюшка, отецъ Николай, ты вотъ меня болящею считаешь, вотъ излѣчи меня, чтобы я стала здоровой, чтобы сердце у меня не закипало каждый разъ, какъ гляжу на тебя, да слушаю всѣ твои рѣчи... Ну, если ты такой великій цѣлитель и сила тебѣ такая Богомъ дана, ты вотъ и излѣчи меня!

Отецъ Николай опустилъ глаза и по его свѣтлому лицу мелькнула тѣнь печали.

— Какой я цѣлитель!—со вздохомъ сказалъ онъ.—Что славу про меня такую пустили, въ томъ я не причиненъ, я ее не искалъ, не желалъ, о ней не думаю. Я только дѣлаю то, что долженъ дѣлать по своему призванію и по обязанности моего сана. Какой я цѣлитель? Люди сами исцѣляются своею вѣрою, а я только молюсь съ ними. Кабы могъ я съ тобой молиться, Настя, и твоя душа была-бы исцѣлена. Да ты сама не хочешь

этой молитвы. Захочешь, сможешь молиться вмѣстѣ со мною, ну, и воспрянешь здоровой для новой жизни, а пока не можешь, я насильно не властенъ тебѣ открыть глаза.

— Уйди ты, — вдругъ произнесла Настасья Сильверстовна, подбоченясь и становясь въ вызывающую позу: — лучше уйди! Уйди, потому моего терпѣнья съ тобой, наконецъ, не хватитъ. Уйди ты отъ грѣха, комедіанъ, не то, право, я за себя не отвѣчаю... А что къ князю я пойду на тебя жаловаться, это вотъ какъ Богъ святъ! Затѣмъ я пріѣхала сюда.

Онъ хотѣлъ сказать что-то, но она наступала на него, глаза ея метали искры, ноздри такъ и ходили, зубы такъ и сверкали.

Онъ наклонилъ голову и, подавивъ вздохъ, тихо вышелъ и заперъ за собой двери.

X.

Въ подобныя минуты, которыхъ не мало было за всю супружескую жизнь отца Николая, когда послѣ безумныхъ рѣчей, грубыхъ упрековъ, рыданій, брани и даже иной разъ побоевъ, разсвирѣпѣвшая матушка прогоняла отъ себя мужа и онъ, видя, что безсиленъ передъ нею, покорно уходилъ — ему было куда уйти! Зимою онъ спѣшилъ за околицу, по большой дорогѣ, лѣтомъ — въ лѣсъ, въ поле, и тишина деревенской природы его скоро успокаивала, и въ мигъ одинъ, при взглядѣ на торжественность Божьяго міра, при первыхъ словахъ молитвы, въ его душѣ стихалъ невольный ропотъ, стихали тоска и томленье. Онъ хорошо понималъ, что ему посланъ крестъ, что его жена — это испытаніе для него, и ему только тяжело было видѣть ее такою, и онъ только молился о томъ, чтобы Господь простилъ ее и снялъ, наконецъ, слѣпоту съ ея очей. О себѣ, о несправедливостяхъ и обидахъ ему наносимыхъ, объ этой грубой, оскверняющей человѣка брани, объ этихъ полученныхъ имъ побояхъ — имъ, мужчиной, отъ женщины — онъ, конечно, не думалъ. Въ мигъ одинъ Божіе солнце, вѣтеръ или дождикъ снимали съ него всю эту паутину, всю эту грязь и пыль, онъ снова дышалъ правильно и спокойно, снова всеобъемлющее чувство любви наполняло его душу и онъ, увидя себя въ уединеніи, падалъ на колѣни и поклонялся Творцу своему, и благодарилъ его за все, за великое душевное счастіе, ему данное и за эти мгновенія, казавшіяся ему теперь такими ничтожными испытаніями. Онъ съ жаромъ, со всею силою, на какую былъ способенъ, молился о томъ, чтобы Творецъ и впредь не покидалъ его, чтобы онъ всегда, во всѣ дни и часы своей жизни, чувствовалъ въ себѣ связь съ Богомъ,

могучее трепетаніе невидимой нити, протянутой отъ Творца ко всему творенію...

Теперь-же ему некуда было идти, просторъ и тишина полей, лѣсовъ и большой дороги были отъ него далеко. Едва онъ успѣлъ запереть за собой двери своего помѣщенія, какъ къ нему подбѣжалъ одинъ изъ дворовыхъ.

— Батюшка! Пожалуй сюда, давно тебя поджидаютъ!

— Гдѣ? Кто?—еще весь полный только-что испытанныхъ ощущеній, растерянно спросилъ отецъ Николай.

— А тутъ вонъ на крыльцѣ, у людскихъ, двѣ женщины пришли, Христомъ Богомъ просятъ, въ ноги кланяются, чтобы повидать тебя.

— Иду, иду.

И отецъ Николай, второпяхъ захвативъ шапку и на ходу порывисто надѣвая на себя шубу, поспѣшилъ туда, гдѣ его ждали.

У крыльца въ людской флигель онъ увидѣлъ двѣ женскія фигуры, изъ которыхъ одна такъ и кинулась ему навстрѣчу, подбѣжала и упала ему въ ноги. Это была женщина уже немолодыхъ лѣтъ, судя по одеждѣ не изъ простыхъ, съ лицомъ, носившимъ на себѣ слѣды былой красоты и нѣкотораго изящества.

— Батюшка, благослови!—прошептала она.

Отецъ Николай склонился надъ ней, благословилъ ее, причемъ она схватила его за руку и долго не выпускала, покрывая поцѣлуями.

— Дочь моя, встань! Что ты мнѣ покланяешься... Не хорошо! Не слѣдъ!

Но женщина не вставала съ колѣнъ, будто застыла въ своемъ молитвенномъ положеніи и все продолжала покрывать руку отца Николая поцѣлуями.

Онъ совсѣмъ растерялся и вдругъ тоже упалъ на колѣни и поклонился ей.

— Поднимись, дочь моя,—шепталъ онъ:—а то что-же мы съ тобой такъ другъ передъ другомъ на колѣняхъ стоять будемъ, не гоже, совсѣмъ не гоже.

Тогда женщина очнулась, встала, а за нею всталъ и отецъ Николай.

— Чѣмъ могу служить тебѣ?—произнесъ онъ, но въ тотъ-же самый мигъ онъ уже зналъ въ чемъ дѣло. — Твой мужъ... твоя дочь...—неожиданно для самого себя говорилъ онъ:—вѣдь, горе и испытанія слабыхъ людей часто ведутъ къ грѣху. Да, грѣхъ... но Богъ милостивъ... я приду молиться съ вами, приду, приду... не бойся, не обману тебя. Приду сейчасъ, дай только спросить эту...

Женщина, для которой въ словахъ отца Николая все было ясно, которая убѣдилась, что этотъ человѣкъ знаетъ все то, что она собиралась разсказать ему, осталась неподвижной, потрясенной и въ то же время надежда, приведшая ее къ этому священнику, о которомъ, только нѣсколько дней тому назадъ она узнала, все росла и росла въ ея сердцѣ. «Да, онъ таковъ, какъ о немъ говорили, онъ все знаетъ, все видитъ, онъ спасетъ насъ».

Между тѣмъ отецъ Николай подошелъ къ другой женщинѣ, стоявшей у крыльца. Эта была моложе, лѣтъ подъ сорокъ, съ лицомъ блѣднымъ и спокойнымъ, по виду и одеждѣ — зажиточная мѣщанка, либо купчиха. У нея на рукахъ, закутанный въ теплое одѣяло, покоился ребенокъ, но ребенокъ не маленькій, не грудной, а по росту судя этакъ лѣтъ трехъ или четырехъ.

Взглянувъ на ребенка, отецъ Николай даже вздрогнулъ, такое у него было ужасное и въ то же время жалкое лицо. Это было человѣческое лицо, но младенческаго, благообразнаго въ немъ ничего не оказывалось. Это было несчастное уродливое существо съ блуждающимъ, безсмысленнымъ взглядомъ, съ открытымъ и безпрерывно жующимъ ртомъ.

Губы отца Николая зашептали молитву, онъ благословилъ ребенка, потомъ мать.

— Бѣдный, бѣдный!—прошепталъ онъ.—Сколько ему лѣтъ? Съ рожденія онъ у тебя боленъ?

— Съ рожденія, батюшка,—тихо отвѣтила женщина.—Давно это, ему, вѣдь, шестнадцать лѣтъ.

— Шестнадцать!

— Да, на вешняго Миколу семнадцать будетъ. Сначала, какъ родился, росъ было, даже шибко росъ, а потомъ вдругъ пересталъ, такъ вотъ и остался.

— Ну, мать, пойдемъ въ горницу, разскажи мнѣ свою нужду, пойдемъ.

Они взошли на крыльцо; столпившіеся слуги разступились передъ ними и поспѣшили отпереть двери въ довольно просторную и чистую горницу, въ которой черезъ нѣсколько мгновеній отецъ Николай очутился наединѣ съ женщиной и ея сыномъ. Онъ сѣлъ на лавку и жестомъ пригласилъ ее помѣститься рядомъ съ собой.

— Что-жъ у тебя, мать? — внезапно совсѣмъ успокаиваясь и глядя своими свѣтлыми глазами то на женщину, то на мальчика, спросилъ священникъ.

Та опустила глаза, потомъ подняла ихъ на него. Это были тихіе, спокойные, грустные глаза, въ которыхъ выражалась большая прямота и большая покорность, безропотность.

— Да вотъ, батюшка, — начала женщина: — я, вѣдь, издалека—вологодская, у мужа моего торговля въ Вологдѣ, живемъ въ достаткѣ: всего вволю, домъ свой, большой... такъ надо сказать—почти что по-барски живемъ, и что ни задумаетъ мой хозяинъ, Митрій Степановичъ, то ему и удается.

— Человѣкъ-то онъ, твой хозяинъ, какой—хорошій?

— Хорошій онъ человѣкъ, батюшка, ничего дурного про него сказать нельзя. Ну, тамъ, не знаю, можетъ въ своемъ торговомъ дѣлѣ чѣмъ когда и покривилъ душою, не знаю я про то... а для меня всегда былъ добръ и ласковъ. Почитай съ малолѣтства я его и знала, сосѣди мы, старѣе онъ меня годовъ на семь.

— По доброй волѣ вы поженились?

— По доброй, батюшка, по доброй. Крѣпко мы съ нимъ слюбились и вотъ живемъ безъ малаго лѣтъ девятнадцать и ничего такого промежъ насъ, до сей поры, не выходило.

— За что-же это вамъ такое Господь наказаніе послалъ? Дѣтей-то другихъ у тебя нѣтъ, что-ли?

— Есть, батюшка, какъ не быть, двѣ, ужъ большія, дѣвочки, сынокъ старшенькій, разумный такой, почтительный паренекъ вышелъ, а вотъ этотъ второй родился.

— Наказаніе Божіе!

— Это ты, батюшка, святое слово сказалъ, да, наказаніе мнѣ... мнѣ окаянной! Одна я въ томъ виною. Какъ была я тяжела вотъ этимъ Николушкой, болѣзнь на меня напала, чаяла не доношу, да и сама не встану, вотъ тутъ я и взмолилась Богу да обѣты дала: первое дѣло пѣшкомъ сходить на Москву, поклониться угодникамъ, а второе дѣло три года работать, каждую свободную минуту работать... Я, видишь ты, батюшка, золотомъ шить мастерица, такъ вотъ и обѣщалась покровъ въ соборъ вышить, это разъ, а другое—остальныя мои работы продать, а на вырученныя деньги промѣнять образъ въ золоченой ризѣ въ соборъ придѣлу св. Николая угодника и на неугасимую лампаду. Вотъ дала я эти всѣ обѣты и полегчало мнѣ, и хворость мою всю какъ рукой сняло: доносила я дитю совсѣмъ здоровая, да и отъ бремени разрѣшилась благополучно. Ребеночекъ, Николаемъ мы его назвали, тоже здоровъ былъ, и позабыла я, грѣшная, окаянная, мои обѣты, работать-то работала, да съ лѣнцою, не то что въ три, а въ четыре года только и вышила одну пелену, а о томъ, что въ Москву идти пѣшкомъ къ святымъ угодникамъ, да образъ въ золоченой ризѣ съ неугасимой лампадкой въ соборъ поставить, объ этомъ совсѣмъ забыла. И года не прошло съ рожденія Николушки, уже примѣчать мы стали въ немъ что-то неладное, а потомъ все хуже, да хуже, а къ четыремъ годамъ и рости совсѣмъ пересталъ, такъ несмышленоч-

комъ и остался. Всѣ дѣти здоровыя, всѣ дѣти красивыя, а этотъ вишь ты какой! Всякій отъ него отвернется, только материнское сердце на него и глядѣть-то можетъ. И будто у меня память кто отнялъ, не думаю я о своемъ окаянствѣ, о томъ, что обманула Господа Бога, о томъ, что не сдержала обѣтовъ своихъ, только ропотъ во мнѣ иной разъ, большой ропотъ: за что, молъ, Господь наказалъ, за что, молъ, и мы, родители, страдать должны, глядя на наше дѣтище, да и оно ни въ чемъ неповинное, — не то человѣкъ, не то звѣрь. Да какое тамъ, хуже звѣря!

— Ну, ну и что-же?—весь превратясь во вниманіе, нетерпѣливо спрашивалъ отецъ Николай.

— Вотъ такъ оно и было до этого лѣта; лѣтомъ стою я въ соборѣ передъ иконою Николая угодника, вдругъ будто голосъ надо мной: «А гдѣ твои обѣты? Гдѣ-же твоя работа? Гдѣ неугасимая лампада? Была-ли ты у московскихъ угодниковъ? Отъ Бога получила, а Богу не дала, и дитя свое погубила». Ровно ножемъ пырнуло мнѣ прямо въ сердце, такъ оно все кровью и облилось, упала я тогда: молиться хочу, да и не могу, побѣжала я къ батюшкѣ духовнику, разсказываю ему, а онъ мнѣ и говоритъ: «Да, это очень велико твое прегрѣшеніе, должна ты теперь замолить грѣхъ свой. Иди по обѣту». Вотъ мнѣ отъ этихъ словъ и стало легче. Черезъ три дня вышла я съ моимъ Николушкой, пришла на Москву; поклонилась св. угодникамъ, а теперь иду на Валаамъ и въ Соловки.

— Мать, пѣшкомъ все ходишь? И сына носишь?—воскликнулъ отецъ Николай.

— А то какъ-же, батюшка? Обѣтъ такой былъ: пѣшкомъ чтобы!

— Вѣдь, мальчикъ вонъ какой большой, тяжелъ чай?

— Сначала-то это точно куда какъ тяжелъ былъ. Иной разъ иду, иду и невтерпежъ станетъ, сяду и заплачу; ну, а теперь тяжести никакой не чувствую, такъ что порой даже забываю, что онъ у меня на рукахъ.

— А мужъ-то, когда ты ему сказала, что пойдешь одна... съ сыномъ, пѣшкомъ, на Москву, а потомъ въ Соловки... Онъ что-же? Онъ такъ и отпустилъ тебя?

Женщина подняла на священника изумленный взглядъ.

— А то какъ-же, батюшка? Какъ-же ему меня не отпустить было? Горько-то оно горько, ухъ, какъ горько было разставаться! И его жаль, и дѣтишекъ жаль, слезами они заливаются, да и у хозяина слеза прошибла. А чтобы не отпустить—какъ-же онъ могъ? Себѣ онъ что-ли врагъ! Вѣдь, знаетъ, что надо.

И все это она сказала такъ просто, такъ убѣдительно. Лицо отца Николая освѣтилось какимъ-то особеннымъ свѣтомъ,

вскочилъ онъ съ лавки и порывисто, неровною походкою, въ очевидномъ волненіи, весь сіяющій, такъ и заходилъ по комнатѣ.

— Ахъ, ты счастливая!—воскликнулъ онъ вдругъ почти подбѣгая къ изумленной женщинѣ. — Да и сынъ твой счастливый, дай мнѣ его... дай!

И онъ взялъ дрожащими руками у матери это уродливое созданіе, безсмысленно на него глядѣвшее, и съ несказанной нѣжностью сталъ осѣнять его крестнымъ знаменіемъ, цѣловалъ его, поцѣловалъ его въ страшное лицо, цѣловалъ его руки и ноги.

— Батюшка, что-же ты меня-то не благословилъ на мое хожденіе?

— Чего мнѣ тебя благословлять, мать! Богъ тебя благословилъ, самъ Богъ, слышишь, благословилъ тебя! Милости Его надъ тобою и надъ твоимъ сыномъ!

— Батюшка, батющка! Такъ неужто Николушка мой несчастненькій здоровъ будетъ? Неужто Богъ проститъ мнѣ мое окаянство?

— Проститъ! Проститъ! Онъ уже давно простилъ тебя! А Николушка твой... зачѣмъ ему быть здоровымъ... зачѣмъ? ему и такъ хорошо... хорошо у твоей груди, тепло ему у нея... Онъ счастливый! И ты и онъ, вы оба счастливѣе вельможъ и царей земныхъ... счастливѣе меня грѣшнаго! Вы убогіе... У Бога вы, значитъ, подъ Его покровомъ. Его сила надъ вами и въ васъ! Его святою силою идешь ты, мать, не чувствуя тяжести своего дѣтища... Широкая дорога передъ тобою и приведетъ она тебя къ Богу, къ великому блаженству. Счастливая ты, мать, Христосъ съ тобою!

И онъ жадно, жадно глядѣлъ на нее, крестилъ ее и затѣмъ охватилъ ея голову и прижался къ ея лбу губами.

— Спасибо, родная, что пришла ко мнѣ, что дала взглянуть на себя, душѣ теплѣе стало, веселѣе, на сердцѣ радостнѣе!

Теперь женщина уже ничему не изумлялась и глядѣла на священника ласково и любовно. Тихія слезы катились у нея изъ глазъ.

— Батюшка,—сказала она наконецъ:—хоть и полегчало мнѣ, какъ дошла я до Москвы, а все-же до сей вотъ минуты была я въ туманѣ, а ты вотъ снялъ съ меня этотъ туманъ, великое тебѣ спасибо! Подкрѣпилъ ты меня, и теперь нѣтъ ужъ во мнѣ ни страха, ни трепета, ни за себя, ни за Николушку, ни за хозяина, ни за дѣтушекъ... Спасибо тебѣ, батюшка!

Она поклонилась ему низко, большимъ русскимъ поклономъ. Онъ еще разъ благословилъ ее съ Николушкой и свѣтлый, бодрый, будто окрыленный, вышелъ изъ горницы.

XI.

Въ сѣняхъ отца Николая дожидалась женщина, къ которой онъ обѣщалъ пойти. Увидя ее, онъ подалъ ей знакъ и торопливой, нервной походкой устремился къ воротамъ. Женщина едва за нимъ поспѣвала. Казалось, не она, а онъ ведетъ ее. Онъ стремился будто давно знакомой ему дорогой, быстро прошелъ улицу, обернулся, взглянулъ на свою спутницу и, прежде чѣмъ она могла словомъ или знакомъ его направить,—рѣшительно свернулъ въ сторону. Потомъ онъ остановился передъ воротами очень невзрачнаго домика и сказалъ:

— Мать, ступай впередъ.

Она скользнула въ калитку, обошла кругомъ грязный, загроможденный всякой рухлядью дворъ, и съ усиліемъ отперла низенькую дверцу. Когда эта дверца пропустила ее, съ ней вмѣстѣ прошелъ и отецъ Николай. Они очутились въ просторномъ, но неимовѣрно грязномъ и дымномъ помѣщеніи. Два маленькихъ заледенѣвшихъ окна едва освѣщали картину той полной нищеты, которая уже не только не можетъ, но и не хочетъ, въ своемъ безнадежномъ отчаяніи, прикрывать свои язвы и свое безобразіе.

Однако и въ этой дымной, холодной полумглѣ быстрый и ясный взглядъ священника сразу разглядѣлъ все, что ему надо было видѣть. Онъ разглядѣлъ въ углу, на жалкомъ подобіи кровати, фигуру спавшаго человѣка, прикрытаго лохмотьями. Отъ этой фигуры онъ перевелъ глаза къ одному изъ окошекъ. Тамъ, стараясь примоститься поближе къ свѣту, сидѣла, съ работой въ рукахъ, молодая дѣвушка. Несмотря на крайнюю бѣдность одежды, нечесанные волосы и вообще неряшливый видъ, это была очень красивая дѣвушка и каждый глядя на нее, долженъ былъ сказать себѣ, что дѣвушка эта навѣрное родилась не въ бѣдности и не для бѣдности. Она медленно подняла свои большіе глаза на пришедшихъ, затѣмъ тотчасъ-же опустила ихъ къ шитью и осталась неподвижной, равнодушной.

— Катюша, ахъ, Боже мой, да что-же это ты?.. Подойди-же подъ благословеніе батюшки!—растерянным голосомъ произнесла женщина, съ которой пришелъ отецъ Николай.

Молодая дѣвушка не тронулась съ мѣста и не произнесла ни слова.

— Оставь ее, мать,—сказалъ священникъ:—я благословлю ее въ свое время, теперь-же она насъ не слышитъ. Сядемъ, и повѣдай мнѣ свое горе.

Они кое-какъ помѣстились на старомъ большомъ сундукѣ и

отецъ Николай, склонивъ голову и глядя свѣтлыми глазами поверхъ всего окружающаго, въ безпредѣльное пространство, услышалъ скорбную повѣсть. Говорившая ему женщина родилась въ богатой дворянской семьѣ, выросла въ холѣ, вышла замужъ за человѣка своего круга, помѣщика Метлина, и жила нѣсколько лѣтъ спокойно и счастливо. Родилось двое здоровыхъ, красивыхъ дѣтей, мальчикъ и дѣвочка. Дѣти ужъ подростать стали. И вдругъ, будто сразу прорвалось что-то, посыпались на эту счастливую семью, одно за другимъ, всевозможныя несчастія.

Метлинъ, самъ того не желая и не по своей винѣ, поссорился съ богатой и вліятельной роднею. Родня стала всячески притѣснять его, завела съ нимъ тяжбу, задарила всѣхъ судей и неправильно оттягала у него почти все имѣніе. Да и не только своимъ имѣніемъ, а и женинымъ приданымъ онъ долженъ былъ поплатиться. Пожаръ усадьбы, гдѣ они жили, уничтожилъ остальное. Никто изъ родныхъ и близкихъ людей не вступился—всѣ отвернулись какъ отъ зачумленныхъ.

Собрали Метлины кое-какія крохи и перебрались съ дѣтьми въ Петербургъ, надѣясь доказать свою правоту и вернуть незаконно отнятое имѣніе. Жили въ бѣдности, но не замѣчали ея, не теряли бодрости духа, вѣрили въ торжество правды. А время шло. Прошло четыре года. Сынъ, прекрасный и добрый мальчикъ, отрада и надежда родителей, не выдержалъ лишеній, простудился зимою въ легкой одеждѣ и, проболѣвъ, прометавшись въ жару нѣсколько дней, умеръ. Всѣ старанія Метлина доказать свою правоту остались напрасны — кромѣ вѣчныхъ неудачъ, оскорбленій онъ ничего не видѣлъ. Жить стало совсѣмъ нечѣмъ. Пробовалъ искать службы—и тутъ не повезло, не удалось ему найти себѣ хоть какого-нибудь маленькаго мѣста. Чтобы не умереть съ голоду, приходилось иной разъ ходить на поденщину. Жена съ дочкой, уже выросшей, ходили по домамъ, выпрашивая себѣ работу—шитье, вязанье, все что можно было достать.

— Думала я, батюшка—говорила Метлина отцу Николаю:— что уже хуже съ нами быть не можетъ, а случилось худшее, подкараулило насъ такое горе, какого я и во снѣ не видывала, а сны-то мнѣ снились, ухъ, какіе страшные, да тяжкіе!.. Терпѣлъ мой Петръ Ильичъ, все терпѣлъ и никогда не слыхала я отъ него рѣчей богохульныхъ... А тутъ, вдругъ, вернулась я домой съ Катюшей, этому ужъ восемь мѣсяцевъ будетъ,—гляжу на него и не узнаю: не онъ совсѣмъ; лицо страшное, глаза кровью налиты, дышетъ тяжело, зубы стучатъ, кулаки сжаты: «довольно, говоритъ, будетъ! нѣтъ, говоритъ, на свѣтѣ ни правды, ни Бога, ихъ глупые да счастливые люди выдумали!» Кинулась

я къ нему, обняла его, слезами обливалась: «батюшка мой, очнись, что ты говоришь, не бери грѣха на душу, не губи себя». А онъ какъ оттолкнетъ меня, да такое вымолвилъ, что повторить у меня и языкъ не повернется. Съ тѣхъ поръ запилъ, запилъ, иной разъ дня по три, по четыре пропадаетъ, вернется пьяный, и вотъ, завалится, спитъ... Бываетъ, и деньги у него водятся, а откуда тѣ деньги, придумать не могу, да и боюсь думать...

Рыданія подступали ей къ горлу, но она удержала ихъ и продолжала:

— И этого горя видно мало было. Катюша моя, на отца что-ли глядя, стала на себя не похожа. По цѣлымъ днямъ молчитъ, по ночамъ плачетъ. А потомъ, вотъ точь въ точь какъ онъ: будетъ, говоритъ, довольно! Я ей ротъ зажимаю, а она отъ меня и руками и ногами. Вотъ ужъ третью недѣлю она меня изводитъ. Не могу, говоритъ, больше такъ жить, либо повѣшусь, либо, забывъ стыдъ, стану жить въ палатахъ... Вотъ ея рѣчи! Батюшка, спаси ты насъ, на тебя только и надежда!

— Не на меня, а на Бога,—тихо сказалъ отецъ Николай.— Молись, мать.

— Молилась я, батюшка, молилась. Безъ молитвы-то какъ-бы я прожила! И вѣра была, крѣпкая вѣра... А теперь, теперь и хочу молиться, да не могу... душа знать молчитъ, на молитвенныя слова не откликается... и вѣра... ищу ее—и нѣтъ...

— А ты все-же молись и ищи вѣры...

Онъ уже самъ молился. На него уже сходилъ молитвенный трепетъ и онъ уже искалъ, жадно и тревожно, той спасительной и надежной нити, которая поднимала, окрыляла всю его душу и проводила его въ общеніе съ высшей, святой, всемогущей силой. Онъ подошелъ, почти шатаясь, къ спящему человѣку и простеръ къ нему руки.

— Встань!—произнесъ онъ.

И человѣкъ приподнялъ голову, сѣлъ на кровати и изумленно, воспаленными глазами, глядѣлъ на священника. Дѣвушка у окна тоже было повернула голову; но затѣмъ вдругъ, рѣзкимъ движеніемъ, склонилась еще ниже надъ своей работой.

XII.

— Кто это, кто? Чего вамъ отъ меня надо?—шепталъ Метлинъ.

Недоумѣніе, робость, даже ужасъ изображались въ его воспаленныхъ глазахъ. Дрожь пробѣгала по его тѣлу. Это былъ человѣкъ лѣтъ около пятидесяти, крупнаго и сильнаго сложенія,

съ лицомъ еще сохранившимъ слѣды породистой красоты и благородства. Но долгія лишенія, несчастія и пьянство послѣднихъ мѣсяцевъ исказили, измозжили это лицо, придали ему болѣзненную одутловатость и вся эта большая, сильно исхудалая фигура какъ-то съежилась, сгорбилась и производила жалкое впечатлѣніе, говорила о паденіи, о безпомощности.

Въ послѣднее время, находясь почти постоянно въ болѣзненномъ возбужденіи, подъ вліяніемъ вина, Метлинъ, мало-по-малу, начиналъ жить какой-то фантастической жизнью. Онъ переставалъ ясно отличать дѣйствительность отъ своихъ болѣзненныхъ представленій и галлюцинацій, и то, и другое путалось передъ нимъ и въ немъ смѣшивалось. Онъ жилъ въ яркомъ, мучительномъ бреду, ему чудились несуществующія въ дѣйствительности лица и эти лица были такъ реальны, ощутимы, что онъ говорилъ съ ними, и они ему отвѣчали.

Ему и теперь казалось, что передъ нимъ одно изъ такихъ лицъ. Только онъ еще въ первый разъ видѣлъ такое лицо, и оно ни сколько не было похоже на прежніе, всегда мучившіе его призраки.

Полные внутреннимъ свѣтомъ глаза отца Николая неотразимо влекли его къ себѣ, и въ то же время ему становилось страшно, такъ какъ эти глаза глубоко проникали ему въ душу и вицѣли въ ней то, чего никто не долженъ былъ видѣть.

— Кто это? кто?—повторилъ онъ, и ему хотѣлось уйти, спрятаться отъ этого всевидящаго взора. Ему невыносимымъ становилось новое, охватывавшее его ощущеніе своей нравственной наготы передъ незваннымъ, непрошеннымъ свидѣтелемъ.

Между тѣмъ отецъ Николай вдругъ охватилъ его голову руками и прижалъ ее къ своей груди. Это было невольное движеніе, видимое выраженіе того, что должно было совершиться. Человѣкъ, полный вѣры и силы, взялъ, весь горя сожалѣніемъ и любовью, больную измученную голову обезсиленнаго человѣка въ полное, непосредственное общеніе съ собою и дѣйствовалъ на этого человѣка всѣмъ своимъ внутреннимъ міромъ. Такое воздѣйствіе не могло остаться безплоднымъ, и совершилось именно то, чего «хотѣлъ» отецъ Николай: больной, измученный человѣкъ быстро начиналъ выходить изъ своего тумана и бреда.

Огонь, палившій его внутренности, угасалъ; мучительное безпокойство смѣнилось тихимъ, почти пріятнымъ утомленіемъ. Міръ призрачныхъ представленій померкъ, дѣйствительность выступила въ своей обычной простотѣ и рельефности—и Метлинъ понялъ, увидѣлъ, что онъ у себя, среди своей нищенской обстановки, что какой-то человѣкъ въ одеждѣ священника прижимаетъ къ своей груди его голову—и что ему тепло, и странно, и отрадно на груди этой.

Но вотъ еще разъ, не въ забытьи, не подъ вліяніемъ винныхъ паровъ, а отъ вернувшагося сознанія тяжкихъ бѣдъ и надломившей его непосильной борьбы, въ немъ поднялось отчаяніе, возмущеніе, мучительная злоба. Онъ оторвалъ свою голову отъ груди священника, отстранился и глядѣлъ на отца Николая мрачными, холодными и злыми глазами. Ему теперь припомнилось, какъ недавно, сквозь пьяный бредъ свой, онъ слышалъ голосъ жены; она говорила съ кѣмъ-то о святомъ человѣкѣ, священникѣ, который помогаетъ въ разныхъ бѣдахъ и напастяхъ. И онъ сообразилъ, что это и долженъ быть тотъ самый священникъ; жена привела его, и вѣрно этотъ ея святой человѣкъ хочетъ спасти его, Метлина, отъ запоя. Когда онъ сообразилъ это, злоба, какъ кипяткомъ, обдала его сердце, и все у него внутри будто вспыхнуло. Ему захотѣлось надругаться надъ этимъ «святымъ» человѣкомъ и выгнать его вонъ;—какъ смѣлъ онъ прійти къ нему? Онъ нищій—но все-же онъ у себя хозяинъ, и ему никого не надо!

Но что-то будто сковывало ему языкъ.

— Зачѣмъ вы пришли ко мнѣ? Мнѣ васъ не нужно, я еще не умираю!—съ трудомъ произнесъ онъ.

Отецъ Николай ничего не отвѣтилъ.

— Да, я понимаю,—продолжалъ Метлинъ—и жалкая, насмѣшливая усмѣшка скривила его лицо:—понимаю!.. Ты хочешь, батюшка, наставлять меня на путь истинный, толковать мнѣ о грѣхахъ моихъ, о моемъ окаянствѣ и о милосердіи Божіемъ!.. Напрасный трудъ—я ужъ давно, на шкурѣ своей извѣдалъ, къ чему ведетъ истинный путь... а Богъ... до него такъ высоко, что Онъ не видитъ насъ и не слышитъ...

— Замолчи!—вдругъ воскликнулъ отецъ Николай съ такою силой, что Метлинъ не былъ въ состояніи произнести слова, будто внезапно онѣмѣлъ.—Замолчи, несчастный, не богохульствуй... не помышляй о томъ, чего не можешь постигнуть!.. Не видитъ, вишь, и не слышитъ! А вспомни-ка, обращался-ли ты къ Творцу и Господу такъ, чтобы Онъ тебя видѣлъ и слышалъ? Молился-ли Ему всей глубиной своей души... съ той несокрушимой вѣрой, какая должна исходить отъ малаго безпомощнаго дитяти къ отцу, въ которомъ все его спасеніе, все его упованіе? Полагался-ли ты на Него безропотно, съ терпѣніемъ и кротостью?..

Метлинъ внезапно отрѣшился отъ всѣхъ своихъ ощущеній, отъ своего гнѣва и злобы, онъ вдумывался въ слова священника и понималъ, что никогда не вѣрилъ въ Бога, какъ въ отца, никогда не превращался, обращаясь къ Нему, въ безпомощнаго ребенка, никогда не полагался на Него безропотно и съ терпѣ-

ніемъ. Въ немъ всегда было именно нетерпѣніе, ропотъ, возмущеніе несправедливостью, медлительностью Божьей защиты.

— Но, если я слабъ, Богъ долженъ укрѣпить меня, а не терзать черезъ мѣру!—вдругъ воскликнулъ онъ.

Отецъ Николай покачалъ головою.

— Кто-жъ это сказалъ тебѣ, что ты знаешь мѣру своихъ силъ! Всякое испытаніе, посылаемое человѣку, есть только пища души, и душа, вкушая сію пищу, можетъ и должна крѣпнуть, расти, очищаться. Но человѣкъ свободенъ, а посему можетъ погубить свою душу, предавшись злу, которое сторожитъ его особливо во времена испытаній. Вотъ и ты: твоя душа уже начинала крѣпнуть и очищаться благодаря пищѣ испытаній. Ты, среди бѣдъ и несчастій, становился добрѣе, чище, снисходительнѣе, кротче, умнѣе, чѣмъ во времена благополучія. Такъ-ли я говорю?

— Такъ!—прошепталъ Метлинъ, не спуская глазъ съ отца Николая.

Священникъ продолжалъ:

— Но ты допустилъ въ себя зло и внезапно ослабѣлъ, и началъ шататься, и усумнился въ добрѣ и въ правдѣ, въ Богѣ, и душа твоя стала разрушаться. Но Богъ милосердъ, Онъ приходитъ на помощь слабости человѣческой! Если ты почуешь Бога, если почувствуешь и поймешь, что Онъ видитъ тебя и слышитъ—ты спасенъ.

— О, еслибъ я могъ это!—отчаянно воскликнулъ Метлинъ.

— Пожди еще малое время съ терпѣніемъ, и увидишь, что Господь снизойдетъ даже и къ тѣлесной твоей слабости. Онъ знаетъ мѣру силъ человѣка и чрезмѣрно не испытуетъ. Вѣрь, что Онъ придетъ тебѣ на помощь безъ промедленія, я обѣщаю тебѣ это, а когда увидишь Божью помощь, то откажись на вѣки отъ зла и омой свою грѣховную душу добромъ и любовью.

Отецъ Николай поднялся съ сіяющимъ лицомъ.

— Вѣришь-ли, что я тебя не обманываю, что спасеніе твое близко?

— Вѣрю!—воскликнулъ Метлинъ, вдругъ падая на колѣни и осѣняя себя крестнымъ знаменіемъ. Миръ и радость теперь наполнили его душу. Ничего не измѣнилось вокругъ него—тѣ-же горе и бѣды были позади, та-же безысходная нищета въ настоящемъ, тотъ-же голодъ и холодъ, а между тѣмъ душа его ликовала, и онъ безъ ужаса, съ надеждой смотрѣлъ впередъ—онъ вѣрилъ.

Его жена тоже молилась и громко плакала,—и это были благодарныя, освѣжающія слезы.

Одна Катюшка по прежнему сидѣла у окна. Только теперь

она ужъ не дѣлала вида, что работаетъ. Она бросила работу свою на полъ и блѣдная, съ дрожащей по временамъ нижней губою, во всѣ глаза смотрѣла на отца Николая. Вотъ онъ благословилъ ея отца, потомъ мать. Онъ подходитъ къ ней. Она вскочила и остановилась передъ нимъ, сверкая глазами. Его рука уже поднимается для благословенія.

— Лгунъ! обманщикъ!—вдругъ злобно крикнула Катюша и, очевидно не владѣя собою, выбѣжала изъ комнаты во дворъ, какъ была, въ одномъ платьѣ.

Метлины, ошеломленные, въ ужасѣ, даже не тронулись съ мѣста.

— Богъ милостивъ!—сказалъ отецъ Николай, перекрестился и поспѣшно вышелъ. Когда онъ проходилъ по двору, то почувствовалъ на себѣ злобный взглядъ Катюши. Она дѣйствительно глядѣла на него изъ полуотворенной двери въ сосѣднее помѣщеніе. Отъ этого взгляда легкая дрожь пробѣжала по тѣлу священника—и онъ сталъ молиться за несчастную дѣвушку.

XIII.

Въ это время Настасья Селиверстовна, находившаяся въ полномъ одиночествѣ, продолжала получать нежданныя впечатлѣнія. Когда отецъ Николай ушелъ, и ей стало ясно, что онъ не скоро вернется, она, мало-по-малу, начала утихать. Ея горячее сердце успокоилось. Она теперь чувствовала, что «отошла» съ дороги, совсѣмъ отогрѣлась, напиталась, что ей хорошо и пріютно въ этихъ богатыхъ княжескихъ покояхъ. Она обходила то одну, то другую комнату, съ любопытствомъ по нѣскольку разъ разглядывала каждую вещь и любовалась каждымъ кресломъ, столомъ или шкапомъ... Незамѣтно и безсознательно чувство довольства охватывало ее. «Вотъ-бы пожить здѣсь—вольготно, въ свое удовольствіе!» — невольно говорила она самой себѣ. Потомъ она остановилась на такой мысли: «да, вѣдь, не выгонятъ-же отсюда, не пошлютъ на кухню жену, когда мужъ живетъ въ барскихъ палатахъ. Гдѣ онъ, тамъ и она... вотъ придетъ кто-нибудь—она такъ прямо и скажетъ: тащите, молъ, сюда и мнѣ кровать да перину, съ дороги, молъ, притомилась, соснуть хочу... Ну и притащутъ кровать да перину, расположится она тутъ, какъ боярыня... А тамъ, дальше, видно будетъ...»

Дверь скрипнула... Это навѣрное тотъ человѣкъ, что ѣду ей и сбитень принесъ. Она ему и скажетъ. Но на порогѣ двери былъ вовсе «не тотъ человѣкъ», а молоденькая дѣвица въ

богатой господской одежѣ и красоты неописанной. Настасья Селиверстовна совсѣмъ растерялась и даже ротъ разинула,— въ жизнь свою она такой красоты не видывала. Но долгое смущеніе было не въ характерѣ «матушки», а потому она тотчасъ-же оправилась, поклонилась не безъ достоинства и проговорила:

— Что прикажешь, сударыня; за какимъ дѣломъ пожаловала?

Вошедшая дѣвица робко сдѣлала нѣсколько шаговъ впередъ, подняла глаза на матушку и нетвердымъ голосомъ сказала:

— Мнѣ надо-бы видѣть отца Николая... Я знаю, его нѣтъ теперь дома... но не могу-ли я обождать его здѣсь... вѣдь, онъ здѣсь живетъ?

— Здѣсь-то, здѣсь... — какъ-то раздумчиво протянула Настасья Селиверстовна и замолчала.

Одинъ глазъ ея полуприщурился и не то насмѣшливо, не то подозрительно глядѣлъ на молодую дѣвушку. Та смутилась еще больше, покраснѣла и почти испуганно спросила:

— А вы... вы кто-же?

— Я-то кто?.. Я моего мужа жена. Вотъ изъ села пріѣхала— и диву даюсь: всѣмъ-то до моего попа дѣло, на расхватъ онъ... и впрямь видно народъ здѣсь съ придурью, своихъ, вишь, поповъ мало, за деревенскаго ухватились...

И при этомъ, глаза «матушки», упорно устремленные на молодую дѣвушку, очень ясно и краснорѣчиво прибавляли: «И ты, молъ, дѣвка, съ придурью!.. Ну чего влѣзла, убирайся-ка по добру по здорову, пока хуже не вышло!..»

— Скажи ты мнѣ, сударыня,—вдругъ, послѣ небольшой передышки, воскликнула матушка:—скажи мнѣ. Никакъ я, вишь, того въ толкъ взять не могу, ну на что вотъ хоть-бы твоей милости мой отецъ Николай?

Но матушкѣ, недоумѣніе и раздраженіе которой возрасло до высшей степени, не пришлось договорить, не пришлось услышать отвѣта на недающій ея покоя вопросъ. Вошелъ отецъ Николай, и все лицо его такъ и освѣтилось радостью, когда онъ увидѣлъ молодую дѣвушку. Та-же радость, только борящаяся со смущеніемъ, отразилась въ глазахъ юной красавицы.

— Добро пожаловать!—воскликнулъ священникъ, прямо подходя къ ней и благословляя ее.—Я поджидалъ васъ и ежели бы вы не нашли меня, то я самъ-бы нашелъ васъ... Сердце сердцу вѣсть подаетъ... Такъ то!

Онъ какъ бы совсѣмъ не замѣчалъ присутствія жены. Онъ ласково положилъ руку на плечо дѣвушки, указывая ей на кресло и приглашая ее садиться. Потомъ онъ взглянулъ на жену и спокойно сказалъ:

— Настя, прошу тебя, оставь насъ, намъ надо побесѣдовать безъ свидѣтелей.

Вся кровь бросилась въ голову Настасьи Селиверстовны. Она уже хотѣла по свойски выразить свое негодованіе, у нея уже вертѣлось на языкѣ такое слово, которое навѣрно должно было заставить непрошенную посѣтительницу удалиться. Отецъ Николай почувствовалъ все это и остановилъ на женѣ пристальный, рѣшительный взглядъ.

— Настя!—повторилъ онъ, и она въ первый разъ въ жизни присмирѣла передъ его взглядомъ и словомъ, и хотя съ явнымъ неудовольствіемъ, даже со злобой, но все же молча вышла изъ комнаты и заперла за собою дверь. Будто какая невидимая сила заставила ее опуститься въ кресло, далеко отъ этой двери, такъ что ей никакъ невозможно было слышать разговора отца Николая съ пришедшей къ нему дѣвушкой. Да она и не стала бы подслушивать, эта мысль даже и не пришла, не могла прійти ей въ голову,—она во всю свою жизнь дѣйствовала прямо, открыто, была совсѣмъ чужда хитростей и уловокъ. А главное, она была полна своего рода собственнымъ достоинствомъ.

Вотъ это то чувство собственнаго достоинства, ея самолюбіе страдали теперь чрезвычайно. Она считала себя гораздо крупнѣе, значительнѣе и умнѣе своего мужа: во все время своей супружеской жизни она все болѣе и болѣе проникалась убѣжденіемъ, что не только ихъ домъ держится единственно ею, но что и самъ отецъ Николай безъ нея—ничто. Развѣ онъ что-нибудь умѣетъ, развѣ онъ знаетъ, какъ надо жить, какъ надо относиться къ людямъ?

Нѣсколько разъ приходилось ему, благодаря своему «чудачеству» и непониманію, наживать себѣ большія непріятности и подвергаться гнѣву начальства. Въ такихъ случаяхъ что онъ дѣлалъ? Да ровно ничего, молчалъ, не защищался и не оправдывался, вообще держалъ себя такъ, какъ будто дѣло его вовсе не касалось. Не приходи она всякій разъ ему на помощь, онъ-бы теперь, несмотря на свои отношенія къ князю Захарьеву-Овинову, которыми, вдобавокъ, никогда не пользовался, былъ-бы ужъ пожалуй лишенъ прихода. Мѣстное духовенство его почему-то не долюбливало и вообще враговъ у него оказывалось не мало. Но она, узнавая о грозящей непріятности, начинала дѣйствовать, ѣхала въ городъ, находила доступъ ко всѣмъ нужнымъ лицамъ, умѣла поговорить съ ними и возвращалась домой, отстранивъ непріятность. Она принималась очень горячо, даже черезчуръ горячо объяснять мужу, чѣмъ онъ ей обязанъ. Выражалъ-ли онъ ей, по крайней мѣрѣ, свою благодарность, цѣнилъ ее... Ничуть.

Такъ было всегда. И вдругъ все измѣнилось. Отецъ Николай, никогда почти и въ городъ то не ѣздившій, собрался и уѣхалъ въ Питеръ. При этомъ онъ выказалъ непреоборимую рѣшительность, о которую разбились всѣ усилія, доводы и натиски Настасьи Селиверстовны.

— Князь боленъ, умираетъ, ему тяжко, я долженъ его видѣть, потому и ѣду,—объяснилъ отецъ Николай и больше отъ него ничего нельзя было добиться. Пришлось его отпустить и снарядить въ дорогу, что Настасья Селиверстовна и сдѣлала со всей своей привычной добросовѣстностью и заботливостью. Провожая мужа, она наказывала ему не мѣшкать въ Питерѣ и возвращаться какъ можно скорѣе во избѣжаніе непріятностей съ начальствомъ.

— Ни дня не медли,—повторяла она: — самъ знаешь, рады будутъ тебѣ ногу подставить, такъ ты на это не напрашивайся.

— Тамъ видно будетъ... Все образуется...—какъ-то загадочно, будто про себя, говорилъ отецъ Николай.

И вотъ стали проходить недѣли за недѣлями, а его все нѣтъ. Настасья Селиверстовна рвала и метала, ждала его ежедневно, боялась что вотъ-вотъ и окажутся послѣдствія его долгой отлучки: назначатъ новаго священника. Что тогда? Но ничего подобнаго не случилось и она поняла, что князь все устроилъ, что пребываніе отца Николая въ Питерѣ не ставится ему въ вину начальствомъ. Тогда въ ней поднялась досада, которую она достаточно ясно и высказала въ своей бесѣдѣ съ мужемъ.

Но теперь была уже не досада, а явившееся сознаніе, что происходитъ нѣчто непостижимое, что ихъ роли измѣнились. Здѣсь, въ Питерѣ, въ этой чудной столицѣ, гдѣ все для нея—диво, гдѣ, несмотря на всю свою душевную крѣпость, она невольно робѣетъ, гдѣ она—ничто и сама себѣ кажется совсѣмъ не на мѣстѣ,—онъ, ея мужъ, «юродивый самодуръ», какъ она его очень искренно называла, онъ у себя дома, на своемъ мѣстѣ. Ото всѣхъ ему почетъ, всѣмъ онъ нуженъ, всѣ его на рукахъ носятъ! Вотъ ужъ и боярышни-красавицы, какихъ она отродясь не видывала, къ нему прибѣгаютъ, да съ нимъ о своихъ дѣлахъ тайныхъ совѣщаются! Этого только недоставало! А жену—вонъ! Не мѣшай, молъ, незванная помѣха!..

Конечно, тутъ-же Настасья Селиверстовна соображала, что онъ—священникъ, что ничего нѣтъ предосудительнаго въ томъ, если къ нему хоть-бы и боярышня-красавица обратится за совѣтомъ, за утѣшеніемъ, и что, въ такомъ случаѣ, ихъ бесѣда должна быть наединѣ... Но именно то обстоятельство, что во всемъ этомъ нѣтъ ничего предосудительнаго, и доводило ее до нестерпимаго раздраженія.

лицо у него стало, какъ онъ увидѣлъ эту красавицу!.. ке вся такъ и просіяла... А онъ-то, онъ-то: за плечо е, молъ, сердцу вѣсть подаетъ... Кабы не ты ко мнѣ, я-бы къ тебѣ!. А, каково! Я-то вѣдь тутъ... И на меня, будто на собаку: вонъ пошла!..»—вотъ въ какую опредѣленную форму вылились наконецъ всѣ помышленія и чувства матушки.

Горькая обида наполнила ея сердце и къ этой обидѣ примѣшалось еще что то непонятное, незнакомое. И это непонятное и незнакомое было горьче всякой обиды, кипучѣе гнѣва, сильнѣе злобы.

«Сердце, молъ, сердцу вѣсть подаетъ!...»—почти во весь голосъ повторила Настасья Селиверстовна. Голова ея склонилась, она закрыла лицо руками—и заплакала такъ тихо, такъ горько, какъ не плакивала ни разу въ жизни.

XIV.

Если-бъ Настасья Селиверстовна подошла теперь къ двери и отворила ее, она увидѣла-бы, что юная красавица склонилась къ отцу Николаю, а онъ держитъ руку на головѣ ея и глядитъ такъ нѣжно, такъ любовно, съ такимъ восхищеніемъ во взглядѣ. Священникъ дѣйствительно, всѣмъ существомъ своимъ, любовался на это чудное Божье созданіе, на эту раскрывавшуюся передъ нимъ чистую дѣвическую душу, еще болѣе прекрасную, чѣмъ ея оболочка. Еще никогда не встрѣчалъ отецъ Николай такого созданія и радовался, что ему пришлось съ нимъ встрѣтиться.

Ему не надо было выводить изъ смущенія свою посѣтительницу, убѣждать ее быть съ нимъ откровенной. Зина Каменева, почувствовавъ себя съ нимъ наединѣ, сразу забыла всю свою робость и все свое смущеніе. Ей не трудно было, въ нѣсколько минутъ, передать ему все: онъ понималъ ее на полусловѣ, его ничто не изумляло, все было для него ясно. А между тѣмъ ея исповѣдь была гораздо сложнѣе той, которую она такъ недавно и съ меньшей искренностью передавала императрицѣ. Дѣло въ томъ, что съ тѣхъ поръ прошли часы, прошли цѣлыя сутки, и во время этихъ сутокъ все измѣнилось въ душѣ Зины.

Когда она, послѣ встрѣчи съ Захарьевымъ-Овиновымъ, вернулась отъ императрицы въ свои комнаты, она сразу изумилась происшедшей вокругъ нея перемѣнѣ. Все на своемъ мѣстѣ, все какъ было, а между тѣмъ ничего прежняго не осталось. Въ эти послѣдніе дни Зинѣ очень часто дѣлалось жутко, когда она одна оставалась у себя. Что-то мучительное, даже болѣе мучи-

тельное, чѣмъ панический страхъ, охватывалъ ее. Это былъ ужасъ, происходившій отъ неизвѣстности и непониманія.

Она ничего не видѣла ни передъ собой, ни въ себѣ самой: въ ней совершалось нѣчто ужасное и отвратительное. Она испытывала такое ощущеніе, будто глухой глубокой ночью пришла на кладбище и всѣ мертвецы встали изъ могилъ и окружаютъ ее, и она не въ силахъ бѣжать отъ нихъ и должна отдаться имъ во власть.

Только вспоминая слова священника и то чувство успокоенія и защиты, которое она ощутила подъ его вліяніемъ, она нѣсколько отдыхала, но впечатлѣніе это скоро проходило и снова туманъ и ужасъ охватывали ее. Образъ добраго священника исчезалъ и его мѣсто занималъ другой, страшный образъ, отъ котораго некуда было спрятаться и нечѣмъ было защищаться.

Теперь-же сразу все измѣнилось. Вотъ этотъ образъ здѣсь, въ ней, наполняетъ ее, а между тѣмъ прежняго ужаса, прежняго страха уже нѣтъ. Она знаетъ, что непонятный и ужасный человѣкъ никогда не уйдетъ отъ нея, что она никогда отъ него не избавится, но уже она его не боится. Онъ тотъ-же самый, она не узнала ничего такого, что могло-бы измѣнить ея взглядъ на него, то-же самое тяжкое и таинственное преступленіе лежитъ на немъ, та-же самая мучительная смерть неповинной жертвы стоитъ между ними, а все-же она не боится уже этого призрака, не боится его вліянія на ея собственную жизнь. Она еще не знаетъ, какимъ путемъ должна дойти до успокоенія, не знаетъ, чѣмъ онъ сниметъ съ себя свое тяжкое преступленіе и чѣмъ она его оправдаетъ, но уже разъ у нея явилась увѣренность, что есть оправданіе, что можно смыть это преступленіе, и все измѣнилось.

Вѣдь, она уже сказала себѣ въ тѣ часы и минуты, когда здѣсь, послѣ похоронъ графини Зонненфельдъ, лежала, охваченная слабостью, больная, измученная, она уже сказала себѣ, что любитъ этого преступника! Какой ужасъ, какая мука заключалась въ этомъ словѣ! Она сама считала себя преступницей, какимъ-то чудовищемъ—вѣдь, только чудовище можетъ любить его! И она напрягала всѣ свои силы, чтобы доказать себѣ невѣрность этого, чтобы убѣдить себя въ томъ, что она ошибается, что она его не любитъ, не можетъ любить его, что чувство, которое онъ къ себѣ возбуждаетъ въ ней, вовсе не любовь, а только ужасъ, ненависть, отвращеніе.

Но нѣтъ, она знала, что его любитъ, и терзалась этимъ чувствомъ, и говорила себѣ, что передъ нею погибель, что она такая-же жертва, какою была графиня Зонненфельдъ и такъ-же безвременно погибнетъ, какъ погибла та. Что сдѣлаетъ онъ?

Какимъ образомъ будетъ ее преслѣдовать? Какое оружіе употребитъ для ея погибели—это все равно—она будетъ бороться съ нимъ и погибнетъ въ борьбѣ. Она его любитъ, съ этимъ уже нечего дѣлать, въ этомъ-то и заключается погибель, и, конечно, никакими муками, никакими терзаніями не вынудитъ онъ у нея признанія въ этомъ позорномъ чувствѣ...

Такъ было нѣсколько дней тому назадъ, такъ было не далѣе какъ еще сегодня, а вотъ теперь уже совсѣмъ не то, теперь она уже не страшится своего чувства, уже не можетъ сказать, что ее неминуемо ждетъ погибель. Правда, въ ней мелькнула мысль: «а вдругъ въ этомъ-то непонятномъ превращеніи ея мыслей и ощущеній, именно въ томъ, что она неизвѣстно почему измѣнила свой взглядъ на него, что онъ уже въ ней не возбуждаетъ ни страха, ни отвращенія, что именно въ этомъ и заключается ея окончательное паденіе и его торжество. Это-то и значитъ, что онъ околдовалъ ее, что онъ овладѣлъ ея душою, и она погибла...»

Но такая мысль мелькнула въ ней,—и исчезла. Безграничная жалость къ нему наполнила ея сердце и, если-бы царица сказала ей теперь, что немедленно и навсегда избавитъ ее отъ страшнаго колдуна, что устранитъ его изъ ея жизни и судьбы, она стала-бы умолять не дѣлать этого. А главное, она ужъ не могла теперь быть откровенной съ царицей, она низачто не призналась-бы ей въ своихъ новыхъ ощущеніяхъ въ наполнявшей ее жалости къ человѣку, отъ котораго она только-что искала защиты.

Между тѣмъ ей невыносимо и мучительно было оставаться одной со своей тайной, ей нужно было найти себѣ защитника, который-бы помогъ ей выполнить задачу. Да, задачу, и эта задача уже была ясна передъ нею: она должна спасти «его», вырвать изъ мрака и зла его душу, дать ему свѣтъ, жизнь и счастье. Когда эта задача открылась ей, она почувствовала мучительный и въ то-же время блаженный трепетъ и вдругъ ей показалось, что она только-что проснулась къ жизни, что до сихъ поръ она не жила, не существовала, что до сихъ поръ былъ какой-то сонъ, а теперь началась дѣйствительность, явь. У нея будто выросли крылья, стало такъ широко, привольно, свободно. Явилась цѣль жизни.

И она вспомнила о добромъ священникѣ. Только онъ можетъ быть ея помощникомъ и защитникомъ, только онъ все пойметъ, и объяснитъ ей и укажетъ путь. Но, гдѣ онъ, какъ найти его?

Съ этими мыслями она заснула. Что ей всю ночь грезилось блѣдное лицо съ загадочнымъ, могучимъ и теперь уже не страшнымъ взглядомъ, что ея сердце всю ночь билось и замирало,—

это понятно. Но вотъ что случилось при ея пробужденіи: ея горничная замѣтила ей, что она опять поблѣднѣла, что, вообще, она плохо поправляется.

— Позвольте вамъ доложить, барышня, вы-бы къ отцу Николаю съѣздили,—говорила горничная:—помолился-бы онъ съ вами и всю хворость какъ рукой-бы сняло.

— Кто это отецъ Николай?—съ забившимся сердцемъ и боясь еще вѣрить, спросила Зина.

— А нешто вы, барышня, не слыхали?! Отецъ Николай, священникъ, святой человѣкъ, онъ изъ деревни пріѣхалъ, стараго князя Овинова отъ смерти спасъ... Князь-отъ совсѣмъ кончался, а онъ помолился... и князь ожилъ... Теперь много народу къ отцу Николаю ходитъ, и всѣмъ онъ помогаетъ...

— Да гдѣ-же, гдѣ онъ живетъ?—почти задыхаясь спрашивала Зина.

— А въ княжескомъ домѣ, у самаго этого Овинова князя... и доступъ къ нему свободный, кто хошь приходи... Многіе ходятъ, и изъ простонародья, и бары...

Зина себя не помнила отъ радости. Она увидѣла въ этомъ помощь свыше, Божье благословеніе ея начинаніямъ. Какъ могло быть иначе? Кто-же это видѣлъ и слышалъ ея чувства и мысли? Кто, въ первую же минуту, отвѣтилъ на ея вопросы и далъ ей всѣ нужныя указанія? Вѣдь, не слѣпой-же случай! Она уже ясно сознаетъ теперь и ощущаетъ, что кто-то, безгранично могучій, ведетъ ее и направляетъ судьбу ея.

Въ первую-же свободную минуту она поѣхала къ отцу Николаю, въ домъ князя Захарьева-Овинова. Вѣдь это «его» домъ, «онъ» живетъ здѣсь,—но ей не было это страшно.

И вотъ все это она разсказала священнику. Разсказала въ краткихъ словахъ и о себѣ, о своемъ дѣтствѣ, воспитаніи, о своемъ теперешнемъ положеніи при дворѣ и о милостяхъ царицы.

XV.

Казалось, отецъ Николай слушалъ ее разсѣянно и даже о другомъ думалъ; казалось, онъ давно уже зналъ все то, о чемъ она ему говорила. Ея голосъ дрогнулъ, когда она начала признаніе въ любви своей. Не стыдилась она этого признанія, но страшилась,—а вдругъ священникъ скажетъ ей, что чувство ея ужасно и погибельно, что она должна съ нимъ бороться, какъ съ дьявольскимъ навожденіемъ, и побороть его.

Но отецъ Николай положилъ ей на голову свою руку, и его тихій голосъ сказалъ ей:

— Люби его и спаси его своей любовью... Только ты одна и можешь принести ему спасеніе. Извлеки его изъ мрака, покажи ему свѣтъ, свѣтъ добра, любви и милосердія!

Вѣдь, это было то, что сама она себѣ говорила!

— Батюшка, такъ научите меня, какъ мнѣ быть, что мнѣ дѣлать... Я ничего не знаю и не понимаю... Я чувствую, что онъ на краю погибели, я готова отдать жизнь свою, чтобы спасти его... но въ чемъ его погибель, отъ чего спасать его... и какъ?

— Его погибель въ томъ, что онъ не знаетъ и не ощущаетъ Бога любви, что онъ никого и ничего не любитъ. Онъ ищетъ въ разумѣ то, что можетъ найти только въ сердцѣ... и сердце его закрыто. Онъ пошелъ за мудростью разума и, когда нашелъ ее, возмнилъ себя богомъ... Онъ уподобился падшему ангелу... Но онъ рожденъ человѣкомъ, способнымъ познать мудрость сердца и вступить въ общеніе съ истиннымъ Богомъ любви, а посему мудрость разума пригнетаетъ его... Не знаю, понятны-ли тебѣ слова мои?

Зина жадно слушала.

— Понятны, батюшка,—воскликнула она:—я не сумѣла-бы сказать это, но я понимаю...

— Ну, такъ вотъ видишь-ли... коли бы раньше все это было— ничего съ нимъ нельзя было бы сдѣлать. Онъ еще не понималъ своего несчастія, онъ весь былъ — гордость... выше знанія и мудрости своего разума ничего не видѣлъ. Такимъ я его здѣсь встрѣтилъ. Но съ тѣхъ поръ въ немъ перемѣна большая... его разумъ довелъ его до преступленія—ты знаешь о чемъ я говорю,— онъ извѣдалъ муки, сердце его дрогнуло и почти раскрылось. Теперь онъ уже самъ знаетъ свое несчастіе, онъ самъ невольно стремится отъ разума къ сердцу... Только не знаетъ пути. И ты покажешь ему путь, черезъ тебя, познавъ тщету мудрости разума, дойдетъ онъ до мудрости сердца... Иначе быть не можетъ... не даромъ ваша встрѣча... Господь посылаетъ въ тебѣ ему ангела-хранителя.... Слава Тебѣ, Господи!..

Но Зина опустила голову, ея глаза подернулись слезами, и она задумалась.

— Нѣтъ... что-же я?.. Развѣ я могу... развѣ я умѣю?.. Развѣ я достойна?.. И какъ я все это сдѣлаю?—шептала она.

Отецъ Николай улыбнулся.

— Ты пришла ко мнѣ съ вѣрой, надеждой и любовью, пришла окрыленная... зачѣмъ же духъ унынія тебя боретъ? Не поддавайся ему. Пока—ты достойна, оставайся такою... Можешь-ли? Умѣешь-ли? Какъ оно будетъ? Да зачѣмъ-же тебѣ думать объ этомъ? Все будетъ такъ, какъ угодно Богу. Проси Его помощи, вѣрь, надѣйся, люби—только вѣрь, надѣйся и люби не на словѣ,

а дѣломъ, всей своей душою, каждой минутой своей жизни. Тогда ты увидишь, какъ вокругъ тебя и въ самой станетъ образовываться и развертываться цѣпь событій, по которымъ ты дойдешь, съ Божьей помощью, проходя звено за звеномъ, до своей цѣли. И всѣ событія эти будутъ очень просты и чудесными, непонятными покажутся они только людямъ, объятымъ слѣпотою. Для человѣка, пришедшаго въ общеніе съ Богомъ, чуящаго Его,—все въ жизни сей просто, ясно и понятно. Такой человѣкъ съ равнымъ спокойствіемъ плыветъ и по тихимъ водамъ, и по бушующимъ волнамъ, ибо надежный кормчій правитъ его ладьею... Все сбудется... все отъ тебя зависитъ... ты звана на дѣло спасенія драгоцѣнной души человѣческой... Будь-же не только званной, но избранной!..

Зина не проронила ни одного слова, ни одного звука—и каждое слово, произнесенное отцомъ Николаемъ, глубоко запечатлѣвалось въ ея сознаніи. Несмотря на свою молодость, она уже о многомъ думала и знала гораздо больше того, что входило въ программу ея институтскаго образованія. Но все, что она знала и о чемъ думала, было такъ ничтожно и блѣдно передъ этими немногими словами священника, въ которыхъ открылся ей цѣлый новый міръ. Она восприняла истину этихъ словъ навсегда, навсегда проникласъ ею.

— Ну, вотъ и все!—внезапно измѣняя тонъ, весело и бодро воскликнулъ отецъ Николай.—Да благословитъ тебя Богъ, мое дитя доброе и хорошее... Мы будемъ видаться и, если надо, я буду съ тобою. Иди-же съ миромъ и спокойно жди...

— Какъ мнѣ свѣтло, какъ мнѣ хорошо... никогда такъ не бывало!—безсознательно высказала Зина наполнявшее ее чувство, приникая къ рукѣ священника.

Она уже уходила, но онъ остановилъ ее.

— Подожди-ка... Мнѣ хочется задать тебѣ одну малую работу!

— Что прикажете, батюшка?

— Богъ прикажетъ, родная!.. Царица благоволитъ къ тебѣ, царица милостива и справедливость любитъ, можешь ли склонить на милость и справедливость ея сердце?

И отецъ Николай разсказалъ Зинѣ о Метлиныхъ, прося ее похлопотать передъ царицей за эту несчастную семью. Конечно, Зина съ большою радостью взалась за дѣло и обѣщала, при первой-же возможности, доложить обо всемъ Екатеринѣ.

XVI.

Отецъ Николай проводилъ свою гостью до порога, еще разъ нѣжно благословилъ ее и обернулся, полный спокойной радости. Передъ нимъ, держась за ручку отворенной двери, стояла Настасья Селиверстовна. Былъ мигъ, когда онъ даже не узналъ ее—такое новое, необычное выраженіе отразилось на ея лицѣ. Ея щеки поблѣднѣли, глаза померкли, подернулись будто облакомъ печали. Все, что было въ ней грубаго, невѣжественнаго—исчезло. Теперь она, несмотря на деревенскій нарядъ, ужъ не казалась полумужичкой—это была серьезная, прекрасная въ своей природной силѣ и въ своей глубокой грусти женщина.

Но вотъ злая усмѣшка искривила ея губы — и впечатлѣніе измѣнилось.

— Ужъ ускользнула! А жаль!—воскликнула Настасья Селиверстовна, кивая головою по направленію къ двери, въ которую вышла Зина.—Право слово, жаль! Я-бы съ нею поговорила, онабы, царевна-то эта невиданная, Недотрога Кирбитьевна, можетъ и мнѣ-бы въ грѣхахъ своихъ покаялась...

— Что ты, Настя, Господь съ тобою... за что ты?.. Что она тебѣ сдѣлала?..—растерянно проговорилъ отецъ Николай.

— Что-жъ она могла-бы сдѣлать!—неестественно засмѣялась Настасья Селиверстовна: — она хоть и птица въ шелку да въ пуху, а я все старая дура-деревенщина, а тронь она меня хоть пальцемъ—и какъ есть вотъ ничегошеньки отъ нея-бы не осталось—паръ одинъ! Говори, кто такая?—измѣняя тонъ, повелительно и въ тоже время какъ-бы трепетно спросила она.

— Тебѣ-то на что, Настя?

— Кто такая?

Настасья Селиверстовна ужъ оставила ручку двери и ближе подходила къ мужу.

— Дѣвица благородная, Каменева, царицына камеръ-фрейлина.

— Это что-жъ такое за слово? Какъ ты сказалъ?.. Это служанка царская, что-ли?

— Нѣтъ, слуги—тѣ изъ простого званія... а это, ну какъ тебѣ сказать... ну—наперсница, ближняя боярышня...

Настасья Селиверстовна была озадачена.

— Вишь ты!.. Да вѣрно-ли это? Можетъ, Микола, ты это путаешь... тебѣ-то что ни скажи, ты, простота, всему повѣришь.

— Богъ съ тобой, Настя, коли говорю, значитъ, такъ оно и есть.

— Ну, такъ я тебѣ, попъ, вотъ что скажу: куда ты суешься? Твое-ли дѣло съ боярышнями, да царскими наперсницами знаться... И чего тебѣ надо? Не въ свои сани не садись, знай свой приходъ, свою деревню, а не то добромъ не кончится...

Она вдругъ притихла, голосъ ея упалъ, сдѣлался почти ласковымъ и она продолжала:

— Нечего намъ съ тобою грызться, никакой свары заводить я не хочу, а лучше вотъ что: сядемъ-ка мы рядкомъ, да потолкуемъ ладкомъ. Добромъ прошу тебя: поѣдемъ въ деревню; пожилъ здѣсь, долго пожилъ—ну и будетъ. Ѣдемъ что-ли? А?

Она взглянула ему въ глаза.

— Теперь объ отъѣздѣ мнѣ еще нельзя думать... Не отъ меня зависитъ...

— Отъ кого-же... ужъ не отъ наперсницы-ли этой?

Отецъ Николай добродушно усмѣхнулся.

— А, вѣдь, ты это, Настя, вѣрно сказала: такъ оно и выходитъ, что теперь мой отъѣздъ наиболѣе всего отъ нея именно и зависитъ... Да, отъ нея...

Огнемъ вспыхнули глаза Настасьи Селиверстовны.

— Такъ ты еще надо мною издѣваешься... Ты еще похваляешься... Гдѣ-же совѣсть въ тебѣ?.. Господи только этого и не доставало!..

Она задыхалась. Еще мигъ—и должна была произойти одна изъ тѣхъ возмутительныхъ сценъ, какими была полна домашняя жизнь отца Николая.

Но вдругъ Настасья Селиверстовна замолкла, сѣла на стулъ, какъ-бы утомленная прислонилась къ его спинкѣ и осталась неподвижной.

Отецъ Николай нѣсколько разъ прошелся по комнатѣ. Она не шелохнулась. Необычное грустное выраженіе ея лица снова поразило его.

XVII.

Къ чему-же привелъ великаго розенкрейцера сдѣланный имъ опытъ? Давно, давно, еще въ далекіе юные годы, онъ ужъ понялъ и почувствовалъ, что никакія блага міра, никакое земное могущество не въ силахъ удовлетворить стремленій его духа и дать ему счастье. Это убѣжденіе и направило его по исключительному и трудному пути, которымъ онъ бодро шелъ всю свою жизнь, стремясь къ дивному идеалу сверхчеловѣческаго знанія и могущества. Теперь уже надломленный тоскою, уже смущаемый невольно сомнѣніями, — а эти сомнѣнія не могли не

представляться ему чудовищными и погибельными, такъ как они грозили обратить въ ничто весь великій трудъ его жизни, онъ дрогнулъ отъ насмѣшливыхъ словъ Екатерины. Въ немъ заговорили его гигантская гордость и не менѣе гигантское самолюбіе.

Онъ будетъ владыкой, еще болѣе, несравненно болѣе могущественнымъ, чѣмъ она. Онъ испытаетъ, узнаетъ въ дѣйствительности то, что до сихъ поръ понималъ лишь разумомъ... Онъ создалъ цѣлый новый міръ, владычествовалъ въ этомъ мірѣ и ушелъ изъ него по окончаніи опыта. Кто-же правъ — онъ или царица? Конечно, онъ. Земная власть, выше какой быть не можетъ, земная красота, очаровательнѣе которой ничего нельзя выдумать, полная чаша земныхъ наслажденій, доступныхъ лишь крайне малому числу избранныхъ смертныхъ,—все это не только его не удовлетворяло, но оказалось еще гораздо ничтожнѣе, обманчивѣе и грубѣе, чѣмъ онъ предполагалъ. Онъ стремительно ушелъ отъ всего этого и когда почувствовалъ и увидѣлъ себя въ иной сферѣ, то вздохнулъ всей грудью, вздохомъ облегченія и радости.

«Зачѣмъ это былъ не сонъ, не бредъ?.. Зачѣмъ я понапрасну загрязнилъ себя и ослабилъ свои силы»?..—думалъ онъ.

Какъ не сонъ, какъ не бредъ? Развѣ, возвратясь къ дѣйствительности, онъ полагалъ, что мраморные чертоги, волшебный садъ, и Саторъ, и Сильвія, все это было реально, существовало само по себѣ, внѣ его воображенія? Да, онъ былъ совершенно увѣренъ въ этомъ и ничто въ мірѣ не могло убѣдить его въ противномъ. Онъ признавалъ одну дѣйствительность безотносительную, полную, неизмѣнную, дѣйствительность жизни духа, міра духовныхъ явленій. Но едва появляются частицы матеріи, видимыя и осязаемыя матеріальными органами, какъ тотчасъ-же возникаетъ пестрый, постоянно мѣняющійся и постоянно преходящій міръ формъ, создаваемыхъ едино-реальною творческою силою духа. И чѣмъ грубѣе, матеріальнѣе форма, тѣмъ она призрачнѣе. Развѣ видимые и осязаемые предметы производятъ одинаковыя представленія и впечатлѣнія во всѣхъ людяхъ, животныхъ, въ насѣкомыхъ? Вотъ человѣкъ, не духъ, а плоть; его видятъ, осязаютъ, слышатъ и чувствуютъ люди, животныя, насѣкомыя, и всѣмъ этимъ существамъ, видящимъ его, осязающимъ, слышащимъ и чувствующимъ, онъ представляется совершенно различнымъ. Такъ развѣ онъ неизмѣненъ, то-есть реаленъ? Для каждаго живого существа онъ таковъ, какимъ оно можетъ, способно его понимать и воспринимать,—значитъ, онъ только игра формъ, преходящее, призрачное явленіе...

Захарьевъ-Овиновъ зналъ, что это такъ: трудъ и опытъ цѣ-

лой жизни доказали ему это. Поэтому ему было ясно, естественно и просто, что та жизнь, которую онъ велъ въ чудныхъ чертогахъ, съ Саторомъ и Сильвіей, настолько-же реальна или, вѣрнѣе, настолько-же нереальна, какъ и эта жизнь его въ отцовскомъ петербургскомъ домѣ. Только эта жизнь ему «дана», а ту онъ самъ «взялъ». Онъ могъ ее «взять», потому что овладѣлъ таинствами природы, потому что долгіе годы погружался въ дивную лабораторію, гдѣ создаются, крѣпнутъ и торжествуютъ творческія силы духа...

Какъ-же ему признавать сномъ и бредомъ свое владычество Сатора и Сильвію, когда онъ знаетъ, что можетъ, если захочетъ, ко всему этому вернуться? Ему стоитъ только извѣстнымъ, привычнымъ способомъ направить свою волю и проглотить нѣсколько капель эссенціи, тайна которой открыта ему его учителемъ-старцемъ. Эссенція эта въ одинъ мигъ произведетъ различныя измѣненія въ его организмѣ, ослабитъ матерію, освободитъ духъ, поможетъ волѣ сосредоточиться, провѣрить всю свою творческую силу, и онъ снова тамъ, среди формъ, вызванныхъ имъ къ жизни!

Какой-же это сонъ и бредъ, когда онъ можетъ любого человѣка, обладающаго нѣкоторыми качествами, вовсе не рѣдкими въ людяхъ, съ помощью эссенціи и своего желанія, перенести вмѣстѣ съ собою въ міръ своего владычества, въ общество Сатора и Сильвіи, и жить тамъ съ нимъ общей, видимой, слышимой, осязаемой и чувствуемой жизнью!..

Да, онъ можетъ все это, только... только вотъ онъ чувствуетъ себя утомленнымъ, ослабѣвшимъ, и говоритъ себѣ: «зачѣмъ я понапрасну загрязнилъ себя и ослабилъ свои силы?..» Можно «взять», «создать» себѣ жизнь, но даже и для великаго розенкрейцера это не безопасно, ибо такое творчество легко можетъ оказаться «превышеніемъ власти» и подлежать тяжелой отвѣтственности, болѣзненно отразиться на духовномъ, то-есть единореальномъ существѣ человѣка.

А главное—поглотившій столько силъ опытъ оказался жалкимъ, нестоющимъ и переходъ отъ «созданной» жизни къ «данной» явился освобожденіемъ, радостью. Но освобожденіе и радость были только относительны. Прошло немного времени,—и великій розенкрейцеръ почувствовалъ обычную тягость, тоску, томленіе и недовольство собою. Такъ жить нельзя... такъ можно задохнуться... дышать нечѣмъ! Въ чемъ-же разгадка мучительной тайны, недающейся мудрому и гордому побѣдителю природы?..

Стукъ въ дверь даже заставилъ вздрогнуть Захарьева-Овинова,—такъ онъ былъ далекъ отъ всякихъ внѣшнихъ проявле-

ній жизни. Онъ отперъ двери и слуга подалъ ему письмо, пришедшее издалека. Онъ машинально разорвалъ конвертъ и увидѣлъ почеркъ отца розенкрейцеровъ. Болѣе чѣмъ столѣтнею, но еще твердою рукою великаго старца было начертано:

«Сынъ мой, по полученіи этого письма моего немедленно соберись въ путь и спѣши на годичное наше собраніе. Я изумленъ, что долженъ писать тебѣ объ этомъ и напоминать твою обязанность, исполненіе которой особенно необходимо для тебя въ этомъ году. Чувствую и знаю, что безъ письма моего ты-бы не явился. Но какія-бы обстоятельства ни удерживали тебя, что-бы ни происходило въ твоей внутренней жизни—бросай все, забудь все — и пріѣзжай. Это не совѣтъ мой, не просьба, а строгое приказаніе, ибо, пока, я какъ отецъ могу приказывать моему сыну».

«Отецъ!—прошепталъ Захарьевъ-Овиновъ. — Что сынъ твой можетъ сказать тебѣ, и что ты ему отвѣтишь?!».

Да, великому старцу не измѣнило его ясновидѣніе. Онъ зналъ, въ своемъ далекомъ уединеніи, что надо требовать къ себѣ сына, что безъ отчаго строгаго приказа онъ не явился-бы на годичное собраніе братьевъ-учителей, на то собраніе, которое должно было стать его послѣднимъ, высочайшимъ торжествомъ. Онъ завтра же соберется въ путь, онъ явится въ назначенный день и часъ, ибо ослушаніе немыслимо; онъ явится, какъ явятся и всѣ розенкрейцеры высшихъ степеней, разсѣянные по различнымъ странамъ,—но лучше-бы ему не являться. Смутитъ его появленіе, смутитъ многихъ, а пуще всего смутитъ оно великаго старца.

XVIII.

Время шло. Прошелъ часъ, прошелъ другой, а Захарьевъ-Овиновъ сидѣлъ неподвижно, съ закрытыми глазами, съ лицомъ, прекрасныя черты котораго почти исказились отъ глубокаго душевнаго страданія. Письмо выпало изъ рукъ его—и онъ забылъ и о самомъ старцѣ, и о предстоявшемъ на завтра своемъ отъѣздѣ.

Все яснѣе и яснѣе возникало въ немъ такое представленіе: ему казалось, что онъ одинъ среди безконечнаго пустого и темнаго пространства. Безконечность этого пространства, его темнота не смущали его и не пугали, но сознаніе своего одиночества было невыносимо. Одинъ, одинъ! Ни души живой, нигдѣ, никогда!.. Но развѣ это возможно, развѣ это не безсмысленно?.. И онъ мчался съ безумной, мучительной быстротою, и звалъ отчаяннымъ голосомъ живое существо, которое-бы могло его по-

нять. Но никто не откликался, никого не было. Одинъ, одинъ!..

Никогда, ни разу въ жизни у него не было такого отвратительнаго, страшнаго кошмара. Но онъ вдругъ понялъ, что вся его жизнь была осуществленіемъ этого кошмара, что онъ въ дѣйствительности, въ той единственной духовной дѣйствительности, которую признавалъ, былъ всегда одинокимъ среди безпредѣльнаго пространства. Даже друзья-розенкрейцеры, даже самъ отецъ-старецъ, даже Елена Зонненфельдъ ни разу не нарушили этого полнаго одиночества. Старца и двухъ-трехъ братьевъ онъ любилъ головою, Елену любилъ кровью, но никого изъ нихъ не любилъ сердцемъ, не любилъ душою. Остальные-же люди для него совсѣмъ не существовали. Даже братъ Николай былъ для него призракомъ, на мгновеніе останавливавшимъ его вниманіе и затѣмъ безслѣдно пропадавшимъ.

Какъ-же онъ могъ жить въ этомъ отвратительномъ, ужасномъ одиночествѣ? Онъ могъ жить въ немъ, потому что не замѣчалъ его. Жилъ — и томительно ждалъ, жилъ — и скучалъ, жилъ — и обманывалъ себя; наконецъ, во все это послѣднее время, жилъ—и страдалъ съ каждымъ часомъ все сильнѣе и сильнѣе.

Но видно чаша его страданій переполнилась. Дальше—нельзя. Теперь онъ видитъ, понимаетъ весь ужасъ своего положенія, теперь онъ отчаянно зоветъ къ себѣ живую душу и знаетъ, что безъ этой родной души онъ погибъ, что кто-бы не былъ человѣкъ, какихъ-бы высотъ знанія и силы онъ ни достигъ, но, оставаясь въ сердечномъ и душевномъ одиночествѣ, онъ неминуемо свергнется со своей высоты и расшибется въ дребезги.

Онъ знаетъ это, видитъ, чувствуетъ, онъ ужъ летитъ внизъ, съ ужасающей быстротою, ощущаетъ смертельный холодъ бездны подъ собою и, напрягая послѣднія усилія, зоветъ, зоветъ. И нѣтъ отвѣта! Но вотъ, среди безнадежнаго мрака, будто какой лучъ свѣта, будто чей-то шорохъ, чье-то приближеніе. Будто чье-то теплое, живое дыханіе коснулось его—и разомъ трепетъ жизни пробѣжалъ по его измученнымъ, ослабѣвшимъ членамъ. Онъ ощутилъ біеніе своего сердца, новое, отрадное біеніе. Будто что-то таяло въ груди его. Никогда неизвѣданная, сладостная теплота охватила его...

И онъ почувствовалъ, съ восторженной, небесной радостью, съ неизъяснимымъ блаженствомъ, что онъ не одинъ...

Все исчезло. Онъ совсѣмъ очнулся. Ясность и тонкость ощущеній—пропали. Не было остроты и невыносимости недавнихъ страданій, но такъ-же не было и живительной теплоты, только-что испытанной. Восторженная радость полувспомнилась какъ отлетѣвшая, ускользнувшая греза, которую, при пробужденіи, невозможно уловить и вспомнить...

Голова его была тяжела. Онъ чувствовалъ себя утомленнымъ. Его потянуло на воздухъ. Онъ одѣлся и вышелъ изъ дому съ намѣреніемъ пройтись, освѣжиться. Сойдя съ крыльца, онъ подошелъ къ воротамъ, ведшимъ во дворъ, и услышалъ близко отъ себя слабый, радостный возгласъ.

Передъ нимъ была Зина—она въ это время, выйдя отъ отца Николая, высматривала свою карету, оставшуюся на улицѣ и почему-то отъѣхавшую довольно далеко отъ воротъ.

— Вы здѣсь?.. Какимъ образомъ?..—спросилъ онъ и голосъ его дрогнулъ, и въ глазахъ сверкнула радость; но онъ не далъ себѣ отчета ни въ смущеніи своемъ, ни въ своей радости.

— Да къ чему я спрашиваю,—продолжалъ онъ:—вы были у моего брата... Николая...

— Брата?

Она подняла на него изумленные глаза.

— А вы не знали, что Николай братъ мнѣ, двоюродный, что мы съ дѣтства были вмѣстѣ, вмѣстѣ выросли? И онъ не сказалъ вамъ этого?

— Нѣтъ, князь, онъ не сказалъ мнѣ... Боже мой, какъ это хорошо, какъ я рада!

Она ничего не понимала, не могла сообразить, какъ такое можетъ быть,—но вотъ оно такъ — и большая радость наполняетъ ее. Вообще Захарьевъ-Овиновъ увидѣлъ въ ней большую перемѣну. Онъ могъ убѣдиться, какъ послушно ея душа исполняетъ его приказаніе. Она его не боится, она глядитъ ему прямо въ глаза своими ясными, дѣтски-чистыми глазами. Неуловимая, покинувшая его греза, блаженство и теплота на мигъ вернулись въ его сердце. Но это слишкомъ долго одинокое, охладѣвшее сердце все еще само себя не понимало и отдаляло свое выздоровленіе, свое возрожденіе. Онъ все еще считалъ себя ея будущимъ путеводителемъ, охранителемъ, наставникомъ, отцомъ и братомъ—и въ своей гордынѣ не понималъ, что самъ долженъ умолять ее поднять его, спасти и исцѣлить.

— Я радуюсь нашей встрѣчѣ—сказалъ онъ, сжимая ея руку:—завтра я уѣзжаю заграницу и на долгое время:

Она испуганно на него взглянула, сердце ея почти перестало биться. Но это было одинъ мигъ, — ей вспомнились слова отца Николая и спокойствіе вернулось къ ней.

— Но я вернусь, я вернусь,—продолжалъ онъ: — мы будемъ встрѣчаться, мы встрѣтились не случайно.

Онъ сказалъ ей то, что ей надо было отъ него услышать.

— Прощайте,—серьезно и спокойно произнесла она:—когда вы будете далеко, тамъ, куда вы ѣдете, иногда вспоминайте обо мнѣ... я буду за васъ молиться...

Ея карета подъѣхала. Мигъ — и она ужъ захлопнула за собою дверцу.

Она уѣхала. Ему захотѣлось вернуть ее, сказать ей что-то, что-то очень, очень важное, необходимое. Ему захотѣлось ослушаться старца, не уѣзжать... Но онъ отогналъ отъ себя все это...

На слѣдующій день все было готово къ его отъѣзду. Онъ пришелъ проститься съ отцомъ и засталъ у него отца Николая. Старый князь былъ съ виду спокоенъ и довольно бодръ.

— Куда ты ѣдешь—не спрашиваю,—сказалъ онъ: — это не мое дѣло, но желалъ-бы знать, когда вернешься.

— Я напишу вамъ объ этомъ, батюшка, теперь-же самъ еще опредѣлить не могу. При первой возможности пріѣду.

— Я буду ждать тебя,—со вздохомъ произнесъ князь.

— Вотъ и онъ тоже говоритъ, что придется мнѣ тебя дожидаться... Дай-то Богъ поскорѣй-бы!—прибавилъ онъ, кивнувъ на отца Николая.

Тотъ посмотрѣлъ на брата очень внимательно, прямо въ глаза, будто стараясь прочесть въ нихъ. И онъ прочелъ.

— Можетъ, нашъ князь вернется и скорѣе, чѣмъ самъ думаетъ,—сказалъ онъ и подошелъ прощаться.

Старый князь почувствовалъ что-то новое, необычное, когда сынъ поцѣловалъ его руку. Это было не прежнее холодное прикосновеніе. Отецъ Николай тоже почувствовалъ теплый братскій поцѣлуй на губахъ своихъ.

— Я-бы остался, хотѣлось-бы остаться, да ѣхать необходимо!—невольно вырвались эти слова у Захарьева-Овинова, когда онъ выходилъ изъ отцовской спальни.

Какъ это было на него непохоже! Старикъ и священникъ переглянулись.

Конецъ первой части.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

I.

Осеннее, но все еще теплое солнце заливало улицы Страсбурга. По направленію къ Кельскому мосту стремились толпы народа. На самомъ мосту и на набережной замѣчалось необыкновенное оживленіе. Изъ окрестныхъ ресторановъ и кабачковъ была вынесена, кажется, вся мебель, и каждый стулъ отдавался въ наемъ за большую плату. Сразу никакъ нельзя было понять, что это такое происходитъ, только на всѣхъ лицахъ ясно читались возбужденіе, любопытство и ожиданіе.

Мужчины и женщины, собираясь въ кучки, вели между собою оживленную бесѣду. Вслушиваясь въ эти разговоры, можно было, наконецъ, мало-по-малу, понять, что кого-то ждутъ, кто-то долженъ въѣхать въ городъ черезъ Кельскій мостъ.

Въ одной группѣ собралось нѣсколько пожилыхъ людей и скоро къ нимъ подобрался старикъ, очень бѣдно, даже черезчуръ бѣдно одѣтый, съ трясущейся головою, съ бѣгающимъ, не-то пугливымъ, не-то дерзкимъ взглядомъ. Онъ нѣкоторое время стоялъ, вслушиваясь въ разговоръ. Важнаго вида человѣкъ, одѣтый во все черное, объяснялъ:

— Проникнуть эту тайну мудрено, но нѣтъ сомнѣнія въ томъ, что онъ дѣлаетъ людямъ столько добра, сколько давно никто не дѣлалъ. Да, добро имъ дѣлаемое такъ велико, что нельзя его признать иначе, какъ за добраго генія...

— Что-же говорятъ о немъ? Кто онъ такой?—раздалось сразу нѣсколько голосовъ.

Говорившій глубокомысленно пожалъ плечами.

— Кто онъ! Этого никто не знаетъ. Онъ совершаетъ чудеса, у него, говорятъ, бываютъ небесныя видѣнія, онъ бесѣдуетъ съ ангелами...

— Бесѣдуетъ съ ангелами!—внезапно оживляясь и трясясь всѣмъ тѣломъ, вдругъ воскликнулъ бѣдно одѣтый старикъ.— Сколько лѣтъ этому человѣку? Ради Бога, сколько ему лѣтъ?

— Сколько лѣтъ! Да можетъ быть столько, сколько нашему отцу Адаму, или графу Сенъ-Жермену!—съ усмѣшкой отвѣчалъ ему сосѣдъ.—Чего тутъ спрашивать о его годахъ, развѣ для такихъ необычайныхъ людей, для такихъ благодѣтелей человѣчества, существуютъ метрическія записи? У подобныхъ людей нѣтъ возраста, или, вѣрнѣе—имъ столько лѣтъ, сколько они желаютъ, чтобы казалось. Многіе говорятъ, что графу Каліостро болѣе трехъ тысячъ лѣтъ, но что на видъ ему нельзя никакъ дать болѣе тридцати-шести. Вотъ мы черезъ полчаса, черезъ часъ сами объ этомъ судить будемъ.

Но трясущійся старикъ уже не слышалъ и отошелъ отъ говорившихъ.

— Тридцать-шесть лѣтъ... тридцать-шесть-лѣтъ!—шамкалъ онъ про себя своимъ беззубымъ ртомъ:—тому негодяю теперь должно быть столько-же... И съ нимъ бесѣдуютъ ангелы... А что, если это онъ самый и есть? Останусь непремѣнно, я долженъ его увидѣть...

Время проходило. Толпы любопытныхъ густѣли. Мальчишки то и дѣло бѣгали за мостъ и возвращались съ вѣстями. Вотъ, наконецъ, они бѣгутъ, машутъ платками и кричатъ во все горло:

— Ѣдутъ! Ѣдутъ!

Всѣ устремились ближе къ мосту, напирая другъ на друга, взбирались на стулья, ломая ихъ. Раздались женскія взвизгиванія, послышалась брань, потомъ все стихло.

За мостомъ, въ залитой солнцемъ дали, показалось что-то. Что-то двигалось, вотъ ближе, ближе, теперь уже можно было различить нѣсколько экипажей. Они въѣхали на мостъ. Потомъ показались всадники, цѣлый кортежъ... Кортежъ приближался. Можно было подумать, что это въѣзжаетъ въ городъ король,—такое множество было экипажей и всадниковъ, прислуга въ залитыхъ золотомъ ливреяхъ, экипажи, нагруженные тюками и, наконецъ, богатая открытая коляска.

Толпа крикнула въ одинъ голосъ и замахала шапками и платками навстрѣчу этой открытой колясѣ. Въ ней важно, съ олимпійскимъ спокойствіемъ возсѣдалъ красивый, стройный человѣкъ съ энергичнымъ лицомъ и блестящими черными глазами. Одежда его поражала своимъ великолѣпіемъ, драгоцѣнные камни такъ и сверкали на немъ въ солнечномъ блескѣ. Рядомъ съ нимъ помѣщалась прелестная молодая женщина, красота которой спорила съ богатствомъ наряда.

— Да здравствуетъ божественный Каліостро! Да здравствуетъ благодѣтель человѣчества!—раздавалось въ толпѣ все восторженнѣе и неудержимѣе — и красивый, сверкавшій драгоцѣнными камнями человѣкъ приподнималъ свою маленькую треугольную

шляпу, украшенную галунами и бѣлыми страусовыми перьями, и кланялся толпѣ съ такимъ величіемъ, съ такой благосклонной улыбкой, съ такой торжественностью и граціей, какимъ могъ позавидовать любой король.

Его спутница тоже кивала направо и налѣво своей хорошенькой головкой и отвѣчала милыми улыбками на каждый букетъ цвѣтовъ, прилетавшій къ ея ногамъ въ коляску. Скоро графъ Каліостро и его жена—хорошенькая Лоренца—были буквально засыпаны душистыми цвѣтами.

Теперь экипажъ подвигался шагомъ: густая толпа окружала его со всѣхъ сторонъ. Фанатическій восторгъ изображался на всѣхъ лицахъ.

— Да здравствуетъ божественный Каліостро! Да здравствуетъ благодѣтель человѣчества!—повторялось все громче и громче.

Но вотъ къ колискѣ, отчаянно работая локтями, протискался бѣдноодѣтый старикъ съ трясущейся головою, вотъ уже онъ у самой дверцы, онъ ухватился за нее, впился взглядомъ своихъ слезящихся глазъ въ лицо Каліостро и крикнулъ:

— А! это ты, Джузеппе Бальзамо! Это ты, негодяй! Отдай мнѣ мои шестьдесятъ унцій золота! Отдай шестьдесятъ унцій золота, слышишь,—ты укралъ ихъ у меня—отдай!

Старческій голосъ былъ полонъ злобы, и въ немъ звучала такая увѣренность, такая сила правды, что вся толпа мгновенно притихла, и экипажъ остановился.

Лоренца слабо вскрикнула, а Каліостро вздрогнулъ. Но еще мигъ—и то-же спокойное величіе было на лицѣ знаменитаго путешественника. Онъ будто не слышалъ словъ старика, будто не видѣлъ эту ужасную въ своей злобѣ, въ своемъ безобразіи фигуру, ухватившуюся за дверцу коляски. Вмѣстѣ съ тѣмъ надъ онѣмѣвшей толпою, невѣдомо откуда, будто сверху, будто съ неба, прозвучалъ громкій голосъ: «устраните безумца, одержимаго адскими духами!»

Многіе упали на колѣни при звукахъ этого голоса, пораженные величіемъ, красотою и спокойствіемъ графа Каліостро. Нѣсколько сильныхъ рукъ сразу протянулись къ дрожавшему старику. Вотъ его оттащили отъ коляски. Онъ слабо бился, онъ силился крикнуть что-то, но ему связали руки, всунули въ ротъ платокъ и увлекли подальше въ сторону.

— Да здравствуетъ благодѣтель человѣчества! — крикнули разомъ сотни голосовъ, и новые цвѣты посыпались въ коляску.

Толпа начала разступаться и коляска, сопровождаемая всадниками и другими экипажами, теперь уже свободно катилась по городскимъ улицамъ. Народъ бѣжалъ слѣдомъ, весело крича; въ окнахъ домовъ появлялись мужскія и женскія головы, махали

платками, сыпались цвѣты—и такъ продолжалось до тѣхъ поръ, пока коляска не остановилась передъ большимъ зданіемъ, вокругъ котораго уже ожидала новая народная толпа.

Весь Страсбургъ зналъ, что это зданіе вотъ уже около мѣсяца было нанято посланцемъ знаменитаго графа Каліостро и устроено для помѣщенія многочисленныхъ больныхъ. Теперь къ его пріѣзду здѣсь было собрано болѣе двухсотъ человѣкъ мужчинъ, женщинъ и дѣтей, страдавшихъ самыми различными недугами. Въ толпѣ уже знали, что божественный Каліостро, осчастливившій Страсбургъ своимъ посѣщеніемъ, намѣревается прожить здѣсь долгое время, по крайней мѣрѣ такъ должно было казаться, потому что для него былъ отдѣланъ, съ необыкновеннымъ великолѣпіемъ, роскошный домъ. Знали также, что онъ прежде, чѣмъ отдохнуть съ дороги, желаетъ оказать свое первое благодѣяніе городу Страсбургу — излѣчить всѣхъ больныхъ, собравшихся въ его лѣчебницѣ. Такъ оно и было.

Каліостро, разбросавъ наполнявшіе коляску цвѣты, поднялся во всемъ своемъ великолѣпіи. Дверца распахнулась, онъ ловко соскочилъ со ступеньки экипажа, самъ вынесъ изъ него прелестную Лоренцу и, взявъ ее подъ руку, сопровождаемый огромной свитой и множествомъ любопытныхъ, вошелъ въ подъѣздъ лѣчебницы. Здѣсь, въ большой залѣ, находились всѣ больные.

Великолѣпный графъ, не отпуская отъ себя Лоренцу, подходилъ къ каждому, каждому глядѣлъ въ глаза своими проницательными черными глазами, клалъ руку то на голову, то на плечи больныхъ, говорилъ каждому: «теперь вы свободны отъ вашей болѣзни, она прошла и не вернется, вы здоровы»,—и шелъ дальше. И люди, всѣ эти мужчины, женщины и дѣти, за мгновеніе передъ тѣмъ страдавшіе и жалобными стонами выражавшіе свои страданія, почувствовавъ прикосновеніе знаменитаго цѣлителя, услышавъ его слова, объявлявшія имъ о ихъ исцѣленіи, мгновенно чувствовали себя дѣйствительно освобожденными отъ болѣзни.

Когда Каліостро обошелъ всѣхъ и безъ всякихъ признаковъ утомленія направился уже обратно къ выходу изъ залы, всѣ эти больные, какъ одинъ человѣкъ, стѣснились вокругъ него, упали передъ нимъ на колѣни и благодарили за свое исцѣленіе. Всѣ они здоровы.

Изъ числа людей, пробравшихся въ залу за чудодѣемъ, было и нѣсколько скептиковъ, городскихъ врачей и иныхъ лицъ, смѣявшихся надъ божественнымъ Каліостро, не вѣрившихъ въ него.

Эти люди теперь рѣшительно не знали, что думать, они были свидѣтелями дѣйствительнаго чуда. Чудо это совершилось на глазахъ у сотенъ людей, о чудѣ этомъ черезъ часъ будетъ

городъ, и имъ не останется никакой возможности
ь то, чему и сами они были свидѣтелями. Они за-
утромъ, собрались здѣсь, такъ какъ въ лѣчебницу
ѣхъ и всѣмъ разрѣшали бесѣдовать съ больными.
овъ, изъ вида больныхъ они хорошо знали, что это
ритворщики, что это была вовсе не комедія, что здѣсь собрались настоящіе больные, страдавшіе самыми разнообразными болѣзнями,—и вотъ они здоровы!..

— Да здравствуетъ божественный Каліостро! да здравствуетъ благодѣтель человѣчества!—снова, еще неудержимѣе раздаются голоса кругомъ и сопровождаютъ великолѣпнаго графа и его подругу отъ лѣчебницы до его новаго отеля. Здѣсь ихъ ждетъ отдыхъ, а затѣмъ пріемъ именитыхъ людей города Страсбурга и богатое пиршество.

II.

Европейское общество послѣдней четверти XVIII вѣка совмѣщало въ себѣ двѣ крайности: съ одной стороны подготовлялось такъ называемое царство разума, то-есть опрокидываніе,—кровавое, безпощадное и безсмысленное,—всѣхъ издавна сложившихся устоевъ жизни, за ужасами котораго слѣдовалъ грубый матеріализмъ. Съ другой стороны, кажется, никогда еще, даже въ самыхъ, казалось-бы, просвѣщенныхъ умахъ, не кипѣло такой безумной жажды чудеснаго, таинственнаго, необычайнаго,—и слѣдствіемъ этого являлось иной разъ почти дѣтское легковѣріе. Эти двѣ противоположности, двѣ крайности, уживались не только въ цѣломъ обществѣ, но даже и въ отдѣльныхъ лицахъ, наперекоръ здравому разсудку, онѣ могли совмѣщаться. Одинъ и тотъ-же человѣкъ являлся сегодня отрицателемъ, завтра впадалъ въ удивительный фетишизмъ.

Въ особенности французское общество, болѣе чѣмъ общество какой-либо другой страны, являло собою подобное странное зрѣлище. Французская натура весьма впечатлительна, сензитивна, нервна, а потому французы ранѣе другихъ почувствовали въ воздухѣ, которымъ дышалъ весь западно-европейскій міръ, какую-то духоту, какъ-бы сгущеніе электричества, какъ-бы приближеніе страшной грозы. Слѣпая, стихійная сила надвинулась на Европу, жизнь выходила изъ своей обычной колеи, воздухъ наполнялся чѣмъ-то вреднымъ, раздражающимъ, сдавливающимъ дыханіе; ни умъ, ни чувства не находили себѣ исхода и метались, то въ одну, то въ другую сторону.

Только этимъ болѣзненнымъ настроеніемъ и можно объяснить продолжительность и необычайность успѣха такого, хотябы и дѣйствительно исключительнаго, человѣка какъ Каліостро. Положительно ни одинъ изъ людей, записавшихъ свои имена въ исторіи послѣдней четверти XVIII вѣка, не пользовался такой громадной популярностью, какъ Каліостро. Пройдетъ еще немного лѣтъ со времени описываемыхъ дней появленія его въ Страсбургѣ,—его бюсты будутъ красоваться чуть не въ каждомъ французскомъ домѣ; весь Парижъ, первый центръ умственнаго европейскаго движенія, будетъ нарасхватъ раскупать эти бюсты и съ благоговѣйнымъ молитвеннымъ трепетомъ читать надпись надъ ними: «Божественный Каліостро». Изумительному иностранцу будутъ воздаваться царственныя почести, и самъ король Франціи издастъ указъ, по которому малѣйшее оскорбленіе, нанесенное Каліостро, будетъ признаваться оскорбленіемъ величества.

Теперь Каліостро, недавно изгнанный изъ Петербурга, по приказу Екатерины и какъ-бы забывшій свое имя графа Феникса, подъ которымъ онъ былъ извѣстенъ въ Россіи, еще недостигъ вершины своей славы, но уже быстро восходилъ на эту вершину.

Задолго до его пріѣзда въ Страсбургъ, какъ мы уже видѣли, весь городъ ожидалъ его. Его ловкіе эмиссары распустили среди населенія самые разнообразные, самые невѣроятные о немъ разсказы, и этимъ разсказамъ почти всѣ вѣрили.

Первый-же день его появленія былъ первой рѣшительной побѣдой, одержанной имъ во Франціи. Вѣсть объ излѣченіи имъ больныхъ молніей пролетѣла по городу и вечеромъ къ его столу, въ его отелѣ, собралась вся страсбургская знать, считая для себя за честь воспользоваться его приглашеніемъ.

Каліостро и хорошенькая Лоренца встрѣчали гостей среди положительно царственной обстановки. Къ этой обстановкѣ приглашенные уже были приготовлены, но все-же она превзошла самыя смѣлыя ихъ ожиданія. Нельзя было не восхищаться обширными залами отеля, гдѣ богатство соединялось со вкусомъ и гдѣ въ обстановкѣ было даже что-то сказочное. Если-бы изъ числа страсбургцевъ, вступившихъ теперь въ отель Каліостро, былъ кто-нибудь, знакомый съ петербургскимъ дворцомъ свѣтлѣйшаго князя Потемкина-Таврическаго, то этотъ человѣкъ понялъ-бы, откуда у Каліостро взялся этотъ капризный восточный вкусъ, съ какихъ чертоговъ при устройствѣ своего отеля онъ бралъ копію. Эта удивительная таинственная и прелестная гостиная, посреди которой Каліостро и Лоренца любезно принимали пріѣзжающихъ, была даже точнымъ подражаніемъ, во

всѣхъ мельчайшихъ подробностяхъ, одной изъ гостиныхъ потемкинскаго дворца.

Но, никто изъ жителей Страсбурга не только не бывалъ въ чертогахъ русскаго всесильнаго вельможи, но даже и о Россіи имѣлъ самыя смутныя, фантастическія представленія. Никто не дѣлалъ никакихъ сравненій, всѣ только восхищались—и великолѣпіе обстановки еще болѣе содѣйствовало тому благоговѣйному трепету, съ которымъ приглашенные подходили къ Каліостро. Многіе изъ нихъ принадлежали къ старымъ дворянскимъ фамиліямъ, занимали высокія должности, обладали значительнымъ состояніемъ и по своему характеру являлись людьми независимыми, гордыми, даже чванными. Но всѣ эти ихъ свойства мгновенно исчезали передъ Каліостро. Эти гордые, чванные господа обыкновенно принижались въ его присутствіи, склонялись передъ нимъ, какъ передъ королемъ. Конечно, еслибы Каліостро пожелалъ только, они стали-бы цѣловать его руку. Всѣ наперерывъ, въ самыхъ отборныхъ выраженіяхъ, объяснили знаменитому иностранцу и его хорошенькой подругѣ до какой степени они счастливы, видя ихъ въ стѣнахъ стараго города Страсбурга, и при этомъ съ жаднымъ любопытствомъ спрашивали, долго-ли городъ Страсбургъ будетъ имѣть счастіе считать въ числѣ своихъ жителей графа Каліостро и его супругу.

Каліостро всѣмъ отвѣчалъ, что онъ пріѣхалъ сюда вовсе не съ тѣмъ, чтобы уѣхать, но что продолжительность его пребыванія въ городѣ будетъ зависѣть отъ самого города. Онъ слишкомъ много путешествовалъ, и ему пора отдохнуть—если ему будетъ хорошо здѣсь, если онъ увидитъ, что можетъ дѣлать дѣйствительное добро жителямъ, то никуда и не уѣдетъ.

И всѣ оставались необыкновенно довольны этимъ отвѣтомъ.

Одинъ за другимъ гости подходили къ Каліостро, сопровождаемые своими женами, сыновьями, дочерьми, почтительно представляясь, объясняя подробно свои имена, титулы и званія. Затѣмъ мужчины цѣловали руку у Лоренцы и отходили. Для каждаго и для каждой и у Каліостро и у Лоренцы было ласковое слово, любезная улыбка, крѣпкое пожатіе руки.

Но и во время этого торжественнаго представленія все-же, однако, не обошлось безъ нѣсколько комичныхъ сценъ. Такъ, напримѣръ, одинъ набожный страсбургскій сановникъ, толстый и красный, съ добродушнымъ и въ то же время серьезнымъ лицомъ, остановился передъ Каліостро и громозвучнымъ голосомъ, на всю гостиную, потребовалъ отъ него, чтобы онъ далъ ему честное слово въ томъ, что онъ не знакомъ съ дьяволомъ.

Каліостро хотѣлъ было обратить это въ шутку, но толстый

господинъ такъ наступалъ на него, а на всѣхъ лицахъ выразилось такое вниманіе, что онъ немедленно принялъ серьезный видъ и далъ требуемое отъ него слово. Тогда толстякъ все еще не успокоился, онъ снялъ съ себя крестъ и заставилъ Каліостро перекреститься и поцѣловать крестъ. Когда и это было исполнено, онъ вздохнулъ полной грудью и, опять таки на всю гостиную, проговорилъ:

— Ну, теперь можно и поѣсть и выпить, а то шелъ сюда и все думалъ: ну, а что, коли все это одно только дьявольское навожденіе! Посадятъ за столъ, начнешь ѣсть, проглотишь кусокъ, а вдругъ это не мясо, а камень; выпьешь стаканъ добраго вина,—а вдругъ это не вино, а адскій пламень. Ну, а сами знаете, господа, что такое камень, облитый адскимъ пламенемъ, да еще въ человѣческомъ желудкѣ! Съ однимъ изъ моихъ предковъ случилось вотъ именно такое...

Онъ ужъ хотѣлъ даже разсказать эту исторію, но его не слушали. Дверь въ обширную, въ два свѣта, столовую распахнулась, и громкій голосъ залитаго въ золото дворецкаго провозгласилъ, что обѣдъ поданъ. Всѣ устремились въ столовую и, надо сказать правду, нашлось не мало гостей, какъ мужчинъ, такъ и женщинъ, которые съ благодарностью глядѣли на толстаго сановника—тѣ сомнѣнія, о которыхъ онъ говорилъ, были и у нихъ, только они не рѣшались, конечно, ихъ высказать. Теперь сомнѣній не оставалось—таинственный хозяинъ перекрестился и поцѣловалъ крестъ,—значитъ, можно пить и ѣсть. И гости отдали полную честь роскошному хозяйскому обѣду.

Каліостро былъ очень оживленъ и очаровывалъ всѣхъ своими разсказами о путешествіяхъ по различнымъ странамъ, о самыхъ необыкновенныхъ явленіяхъ природы, о многомъ неслыханномъ и чудесномъ, чему онъ былъ свидѣтелемъ. Къ концу обѣда онъ даже совсѣмъ пересталъ стѣсняться, толковалъ, какъ очевидецъ, о такихъ событіяхъ, которыя происходили за нѣсколько сотъ лѣтъ передъ тѣмъ,—и никому даже въ голову не могло придти изумляться этому. Если-бы онъ объявилъ, своимъ мелодичнымъ голосомъ и южнымъ неправильнымъ акцентомъ, о томъ, что онъ старшій братъ Адама—и въ этомъ ему теперь повѣрили-бы.

III.

Наконецъ обѣдъ конченъ. Гости приглашены изъ столовой въ прекрасный залъ, гдѣ было можно свободно помѣстить болѣе тысячи человѣкъ. Яркій свѣтъ безчисленныхъ лампъ наполнялъ

эту прекрасную комнату, бѣлыя блестящія стѣны которой были украшены лѣпной работой, изображавшей таинственные предметы, очевидно имѣвшіе оккультное значеніе. Вообще, весь этотъ залъ былъ отдѣланъ въ древне-египетскомъ стилѣ и на входившихъ въ него со всѣхъ сторонъ глядѣли изображенія сфинксовъ и іероглифы. Нѣжнымъ и ласковымъ голосомъ Лоренца объявила гостямъ, что скоро начнется сеансъ «голубковъ». Гости затаили дыханіе, у многихъ вырвались возгласы восторга, иныхъ пробрала дрожь паническаго страха.

Дѣло въ томъ, что въ числѣ необыкновенныхъ разсказовъ, всюду распространяемыхъ эмиссарами Каліостро, на первомъ планѣ всегда стоялъ разсказъ о чудесахъ, производимыхъ «голубками». Всѣ уже знали, что подъ этимъ именемъ слѣдуетъ понимать вовсе не птицъ, а дѣтей, мальчиковъ и дѣвочекъ отъ семи и до десятилѣтняго возраста, посредствомъ которыхъ выражается необыкновенная сила графа Каліостро и происходятъ удивительныя ясновидѣнія, а также сношенія съ міромъ ангеловъ.

Въ обширныхъ печатныхъ и письменныхъ матеріалахъ, относящихся до Каліостро, сохранился разсказъ очевидца объ этомъ первомъ его сеансѣ «голубковъ» въ Страсбургѣ. И вотъ что заключается въ этомъ разсказѣ:

Голубки, посредствомъ которыхъ Каліостро могъ сноситься съ міромъ чистыхъ духовъ должны были обладать полнѣйшей дѣтской чистотою и невинностью. Изъ множества приведенныхъ къ нему дѣтей Каліостро выбралъ шесть мальчиковъ и шесть дѣвочекъ, которые показались ему особенно подходящими, и сдалъ ихъ Лоренцѣ. Она удалилась съ ними изъ залы и черезъ нѣсколько минутъ вернулась: шесть мальчиковъ. и шесть дѣвочекъ слѣдовали за нею, но уже совершенно преображенные. Дѣти были одѣты въ длинныя бѣлыя туники, опоясанныя золотыми поясками; волосы ихъ тщательно разчесаны и надушены какой-то особой ароматичной эссенціей.

Каліостро подводилъ этихъ дѣтей къ мраморному, поставленному посреди зала столу, на которомъ стоялъ сосудъ, наполненный водою. Онъ размѣстилъ дѣтей вокругъ стола, заставилъ ихъ взяться за руки, такъ что они образовали непрерывную цѣпь; затѣмъ онъ произнесъ надъ ними какія-то слова на непонятномъ языкѣ и каждаго по очереди заставлялъ глядѣть въ сосудъ съ водою. Всѣ эти шесть мальчиковъ и шесть дѣвочекъ, поглядѣвъ въ воду нѣсколько мгновеній, восклицали, что они видятъ ангеловъ.

Тогда Каліостро вышелъ изъ зала и вернулся въ новомъ костюмѣ. Между присутствовавшими пронесся говоръ, что это

одѣяніе Великаго Копта, Какъ-бы-то ни было, на немъ была надѣта длинная прямая одежда изъ чернаго шелка, по которому были вышиты красные іероглифы. На головѣ у него былъ золотой уборъ египетскаго іерофанта, сдерживаемый на лбу обручемъ, состоявшимъ изъ драгоцѣнныхъ каменьевъ. На груди у него красовалась зеленая длинная лента, вся вышитая золотомъ и тоже сверкавшая драгоцѣнными камнями. На широкомъ красномъ поясѣ висѣла шпага, заканчивавшаяся рукояткой въ формѣ креста. Въ этомъ странномъ костюмѣ онъ былъ особеннно красивъ, и на лицѣ его выражалось такое величіе, такая необыкновенная важность, и, вообще, отъ всей его фигуры вѣяло такой таинственностью, что все собраніе притихло подъ вліяніемъ мистическаго ужаса и почтенія.

Торжественной поступью подошелъ онъ къ столу, возлѣ котораго стояли «голубки». Внезапно, невѣдомо откуда, появились два служителя, въ одеждѣ египетскихъ рабовъ, какъ они изображены на ѳивскихъ памятникахъ. Эти два служителя подвели дѣтей къ Великому Копту, и каждому изъ подводимыхъ дѣтей онъ клалъ руку сначала на голову, потомъ на глаза, потомъ на грудь, и въ то-же время другою рукою дѣлалъ надъ дѣтьми странные знаки.

Послѣ этой первой церемоніи одинъ изъ служителей поднесъ Каліостро на бѣлой бархатной подушкѣ маленькую золотую палочку. Коліостро взялъ ее, постучалъ ею по столу и спросилъ:

— Что дѣлаетъ въ эту минуту человѣкъ, который сегодня утромъ, при въѣздѣ въ городъ, вздумалъ оскорбить великаго Копта?

Дѣти наклонились къ сосуду съ водою, стали глядѣть въ него, и вотъ одна маленькая дѣвочка крикнула:

— Я вижу его—онъ спитъ!

Шепотъ удивленія пронесся по залу, хотя, собственно говоря въ восклицаніи дѣвочки не было ровно ничего изумительнаго: мало-ли что ей могло показаться! И какая-же возможность была провѣрить сказанное ею?

Эта мысль невольно мелькнула у нѣкоторыхъ изъ гостей, еще сохранившихъ извѣстную долю хладнокровія. Великій Коптъ, очевидно, понялъ это, а потому, обращаясь къ собранію, онъ сказалъ:

— Всякій можетъ задать теперь вопросы и затѣмъ провѣрять отвѣты. Именно все дѣло въ этой провѣркѣ, и безъ нея въ отвѣтахъ голубковъ нѣтъ ничего интереснаго.

Тогда гости, а въ особенности дамы, заволновались; наконецъ одна изъ нихъ робко возвысила голосъ и спросила, что дѣлаетъ ея мать, находящаяся теперь въ Парижѣ.

Одинъ изъ «голубковъ» отвѣтилъ, что ея мать теперь присутствуетъ на спектаклѣ и сидитъ между двумя стариками, но провѣрить этотъ отвѣтъ было также трудно, какъ и первый, на вопросъ, заданный самимъ Каліостро.

Спросившая дама почувствовала на себѣ нѣсколько полунасмѣшливыхъ взглядовъ, смутилась, замолчала и сѣла на свое мѣсто. Но первый шагъ уже былъ сдѣланъ, желающихъ спрашивать оказывалось теперь много. Вотъ новый женскій голосъ спрашиваетъ:

— Сколько лѣтъ моему мужу?

Проходитъ нѣсколько мгновеній—и никакого отвѣта. Тогда раздаются восторженные возгласы мужчинъ и дамъ, окружающихъ ту, которая спросила; даже хлопали отъ восторга въ ладоши. Дѣло въ томъ, что отвѣта никакого голубки и не могли дать, такъ какъ спросившая дама была не за-мужемъ.

Такимъ образомъ первое поползновеніе разставить сѣти Великому Копту и его «голубкамъ» не привело ни къ чему, и уже никому въ голову не приходило продолжать подобныя поползновенія.

Каліостро съ довольной улыбкой обратился къ собранію.

— Я предлагаю каждому,—сказалъ онъ:—написать что-нибудь на бумажкѣ, затѣмъ заклеить эту бумажку и передать ее кому-либо на храненіе для того, чтобы могли ее распечатать и прочесть во всеуслышаніе.

Еще не совсѣмъ понимая, что изъ этого будетъ, третья дама написала нѣсколько словъ на любезно предложенной кѣмъ-то изъ присутствовавшихъ бумажкѣ, аккуратно свернула ее и передала сосѣду.

Тогда Каліостро обратился къ «голубкамъ», и велѣлъ имъ смотрѣть въ воду.

— Кто-нибудь изъ нихъ сейчасъ увидитъ въ водѣ отвѣтъ на вопросъ, заданный письменно,—объявилъ онъ.

И дѣйствительно, вотъ маленькій девятилѣтній мальчикъ закричалъ:

— Я вижу слова въ водѣ... слова, но они не совсѣмъ ясны...

— Смотри пристальнѣе!—спокойно и торжественно сказалъ Каліостро.—Сейчасъ слова эти будутъ явственны, такъ что ты можешь ихъ прочесть.

Мальчикъ внимательно, жадно глядитъ въ воду. Вотъ проходитъ нѣсколько мгновеній, и онъ радостнымъ голосомъ говоритъ:

— Теперь ясно, теперь видно каждую букву...

— Читай!

Мальчикъ громко прочелъ:—«вы его не получите!»

Тогда всѣ кинулись къ господину, державшему заклеенную бумажку, развернули ее и стали читать. Дама написала: «получу-ли я согласіе короля на мою просьбу о томъ, чтобы сыну моему былъ данъ полкъ?»

Никто не могъ скрыть изумленія и восхищенія, и только дама, написавшая вопросъ, оказалась смущенной. Она должна была вѣрить, что если написанное ею угадано и если отвѣтъ прочтенъ маленькимъ мальчикомъ въ водѣ, то уже не можетъ быть никакого сомнѣнія въ вѣрности этого отвѣта: ея сынъ не получитъ полка. Она готова была плакать.

Какъ-бы то ни было, наиболѣе сомнѣвавшіеся изъ гостей графа Каліостро были теперь убѣждены. Одинъ только тучный, красный господинъ, заставившій передъ обѣдомъ Великаго Копта дать ему слово, что онъ незнакомъ съ дьяволомъ, перекреститься и поцѣловать крестъ, снова почувствовалъ въ себѣ присутствіе духа сомнѣнія. Онъ подобрался къ своему сыну и приказалъ ему незамѣтно выйти изъ зала, какъ можно скорѣй бѣжать домой, узнать, что дѣлаетъ въ эту минуту его мать и затѣмъ вернуться сюда.

Молодой человѣкъ, которому вовсе непріятно было, хотя и на короткое время, уходить и который жадно, влюбленными глазами слѣдилъ за прелестной Лоренцой, тѣмъ не менѣе, не смѣя ослушаться отцовскаго приказа, вышелъ изъ зала. Тогда сомнѣвающійся толстякъ выступилъ впередъ нѣсколько покачиваясь. Успокоенный на счетъ дьявола, онъ за обѣдомъ хорошо познакомился со всѣми винами погреба графа Каліостро, лицо его пылало, глаза метали искры. Громовымъ голосомъ, обращаясь къ «голубкамъ», онъ возгласилъ:

— Что дѣлаетъ въ настоящее время моя жена?

Дѣти нѣсколько времени глядѣли въ воду, но молчали и вдругъ, невѣдомо откуда, какъ-бы воздухѣ, какъ съ потолка раздался звучный голосъ:

— Ваша жена теперь играетъ въ карты съ двумя сосѣдками.

Этотъ невѣдомо откуда раздавшійся таинственный, странный голосъ повергъ въ трепетъ не только дамъ и дѣвицъ, но и многихъ мужчинъ. Даже самъ толстякъ едва удержался на ногахъ, бормоча:

— Чортъ возьми! Вотъ такъ штука!

Однако, онъ быстро оправился и объявилъ, что сейчасъ всѣ узнаютъ, правду-ли сказалъ голосъ. Онъ послалъ домой сына, который сейчасъ долженъ вернуться.

Теперь всѣ взгляды устремились на дверь. Наконецъ, молодой человѣкъ появился. Не успѣлъ онъ еще войти, какъ толстякъ крикнулъ ему.

— Говори сейчасъ, что дѣлаетъ твоя мать?

— Я засталъ ее играющей въ карты съ нашими сосѣдками, госпожей Дюперу и госпожей де-ла-Маделонетъ,—проговорилъ молодой человѣкъ.

Трепетъ не то восторга, не то ужаса прошелъ по залу; нѣкоторыя дамы не выдержали и, закрывъ лицо руками, не владѣя собою, кинулись вонъ изъ зала, а затѣмъ изъ этого отеля, гдѣ совершались такія непонятныя вещи, такія неслыханныя чудеса.

IV.

Случайно, либо нѣтъ, но «голубокъ» сказалъ правду: бѣдный старикъ съ трясущейся головою, который ухватился за дверцу коляски Великаго Копта, назвалъ ~~назвалъ~~ «божественнаго благодѣтеля человѣчества» негодяемъ и требовалъ отъ него шестьдесятъ унцій золота,—спалъ. Онъ спалъ въ маленькой грязной мансардѣ, въ самомъ бѣдномъ кварталѣ Страсбурга. Его изрядно помяли, оттаскивая отъ коляски, потомъ онъ, напрягая всѣ свои силы, освободился изъ рукъ тащившихъ и бившихъ его людей, затерялся въ толпѣ и исчезъ. Онъ считалъ себя въ безопасности, ему на умъ не пришло, чтобы кто-нибудь могъ слѣдить за нимъ, онъ побрелъ по улицѣ и, кое-какъ охая отъ боли, дотащился до своей мансарды.

Онъ даже не подумалъ объ обѣдѣ, не чувствовалъ голода, легъ на жесткій матрацъ, подложивъ себѣ подъ голову какое-то тряпье и сталъ предаваться своимъ думамъ.

Въ немъ поднялась безконечная злоба, временно забытая и отодвинутая на задній планъ необходимостью защищаться и спасаться бѣгствомъ. Но теперь, въ безопасности, онъ всецѣло предался этой злобѣ. Время отъ времени онъ приподнимался на кровати и громко бранился, изыскивая самыя ужасающія проклятія, обращаемыя имъ на голову того человѣка, котораго такъ торжественно встрѣтилъ городъ Страсбургъ.

Откуда-же взялась эта злоба, эта ненависть къ Великому Копту? Что общаго было между нищимъ-старикомъ и божественнымъ Каліостро? Почему старикъ, какъ безумный, уцѣпился за коляску и кричалъ о своихъ шестидесяти унціяхъ золота? Для того, чтобы понять это, надо вернуться назадъ за двадцать лѣтъ, въ Палермо. Старикъ этотъ былъ оттуда родомъ, имя его было Марано. Тогда онъ вовсе не былъ жалкимъ нищимъ, хотя и жилъ довольно бѣдно, но эта бѣдность являлась только кажущеюся и происходила отъ скупости Марано.

Марано былъ ростовщикъ. Жадность и скупость соединялись въ немъ, какъ это очень часто бываетъ, съ различными предразсудками, съ вѣрою во все таинственное. У него была одна цѣль въ жизни — деньги — и для достиженія этой цѣли онъ не разъ уже сходился со всевозможными шарлатанами, которые въ концѣ-концовъ его обманывали. Онъ по цѣлымъ годамъ только и искалъ встрѣчи съ людьми, которые выдавали себя за дѣлателей философскаго камня, и на эти таинственные опыты уже употребилъ не мало денегъ. Конечно, никогда онъ ничего не добился, разочарованіе слѣдовало за разочарованіемъ, но онъ былъ неисправимъ.

Вотъ съ нѣкотораго времени онъ сталъ слышать объ одномъ юношѣ, тоже обитателѣ Палермо, жизнь котораго была полна необыкновенной таинственности. Юношу этого звали Джузеппе Бальзамо, ему тогда было всего семнадцать лѣтъ, но, несмотря на этотъ нѣжный возрастъ, онъ уже пользовался въ Палермо большой извѣстностью, и ему приписывалась сверхъестественная власть. Родители его были бѣдные, простые люди, но, несмотря на это, онъ сумѣлъ пустить слухъ, что онъ вовсе не сынъ этихъ бѣдныхъ людей, а происходитъ отъ какой-то великой азіатской принцессы. Ему тѣмъ болѣе легко было увѣрить въ этомъ легковѣрныхъ людей, что видъ его и манеры совсѣмъ не подходили къ тому кругу, въ которомъ онъ выросъ. Онъ былъ очень красивъ, держалъ себя важно, съ большимъ достоинствомъ, относился ко всѣмъ свысока и въ то-же время умѣлъ привлекать каждаго своею симпатичностью. Его магнетическое вліяніе было неотразимо. Стоило ему поглядѣть пристально въ глаза кому-либо, подержать кого-либо за руку—и этотъ человѣкъ уже чувствовалъ къ нему симпатію, безсознательно ощущалъ какую-то съ нимъ связь, подпадалъ подъ его вліяніе. Говорить онъ былъ мастеръ, фантазія его не знала предѣловъ.

Всѣ эти свойства помогали ему вести въ Палермо очень веселую жизнь, легко добывать деньги и спускать ихъ, не думая о завтрашнемъ днѣ. Въ немъ была еще одна особенность: онъ умѣлъ, когда дѣло касалось его лично, напустить на себя такую таинственность, подъ которой, каждому казалось, скрывается нѣчто полное значенія и необычайности. Весьма многіе въ Палермо были совершенно увѣрены, что онъ вызываетъ духовъ и постоянно находится въ общеніи съ ангелами, что при ихъ посредствѣ онъ узнаетъ самыя скрытыя вещи, и, вообще, много чрезвычайно интереснаго.

Марано долго вслушивался въ эти разсказы о Джузеппе Бальзамо и, наконецъ, ему страстно захотѣлось познакомиться съ этимъ другомъ небожителей. Сдѣлать это было нетрудно и скоро

одинъ изъ знакомыхъ Марано привелъ къ нему знаменитаго молодого человѣка.

Когда еврей остался наединѣ съ другомъ небожителей, онъ опустился передъ нимъ на колѣни и почтительно поцѣловалъ его руку.

Бальзамо принялъ эти знаки почтенія какъ должное, а затѣмъ ласково поднялъ ростовщика съ полу и спросилъ его: чѣмъ онъ можетъ быть ему полезенъ? Зачѣмъ ему такъ понадобилось свиданіе съ нимъ?

Все лицо еврея, обыкновенно выражавшее недовѣрчивость, пугливость и жестокость, мгновенно преобразилось, оно сдѣлалось слащавымъ. Голосъ его дрожалъ, когда онъ произнесъ:

— Синьоръ! Благодаря вашему общенію съ духами, вамъ, конечно, это очень легко было-бы самимъ узнать, если-бы вы того захотѣли, и вы, конечно, отлично понимаете, чего мнѣ надо. Вы легко можете мнѣ помочь вернуть всѣ тѣ деньги, которыя я потерялъ, благодаря обманщикамъ и лжеалхимикамъ, и не только вернуть, но и дать мнѣ возможность пріобрѣсти гораздо больше. Умоляю васъ, не откажите мнѣ въ этомъ! Вы молоды, у васъ не можетъ быть черствaго сердца — пожалѣйте несчастнаго обманутаго человѣка. Вамъ ничего не стоитъ сдѣлать меня счастливымъ.

— Я съ удовольствіемъ окажу вамъ эту услугу,—важно сказалъ Бальзамо:—но для этого нужно, чтобы вы мнѣ довѣрились.

Марано такъ и задрожалъ весь отъ радости.

— Богъ мой! Я-ли не довѣряю вамъ! Только прикажите— все сдѣлаю.

И въ его словахъ дѣйствительно заключалась правда: съ этой минуты его довѣріе къ Бальзамо было безгранично, потому что передъ нимъ постоянно мелькали слитки золота, которое, какъ ему казалось, онъ легко можетъ получить при помощи удивительнаго юноши.

Со своей стороны, Бальзамо прекрасно видѣлъ и понималъ это и рѣшился воспользоваться фанатизмомъ еврея и его жадностью. Онъ назначилъ Марано свиданіе на слѣдующій день за городомъ, въ ранній утренній часъ.

Конечно, Марано не заставилъ себя ждать, онъ былъ на мѣстѣ раньше условленнаго времени.

Они встрѣтились у часовни, находившейся за городскими воротами. Бальзамо не произнесъ ни одного слова, сдѣлалъ знакъ еврею слѣдовать за нимъ, что тотъ, конечно, исполнилъ тоже въ полномъ молчаніи. Шли они около часу, наконецъ, остановились въ пустынной мѣстности, возлѣ какой-то пещеры. Тогда Бальзамо указалъ еврею на эту пещеру и произнесъ:

— Въ этомъ подземельѣ скрытъ огромный кладъ. Мнѣ запрещено самому имъ воспользоваться: я не могу ни взять его, ни употребить для себя безъ того, чтобы не потерять моего могущества и моей чистоты. Кладъ этотъ сторожатъ адскіе духи, но дѣло въ томъ, что адскіе духи могутъ быть въ мгновеніе обезсилены ангелами, которыхъ я могу вызвать. Такимъ образомъ, если вы хотите получить этотъ кладъ, то мнѣ остается только узнать, способны-ли вы исполнить всѣ необходимыя для этого требованія.

Еврей широко раскрытыми глазами, въ которыхъ теперь свѣтилась такая жадность, какую можно найти только у представителей этого племени, такъ и впился въ глаза Бальзамо.

— Только укажите, что мнѣ дѣлать,—дрожавшимъ голосомъ прошепталъ онъ:—я все исполню. Говорите скорѣе!

— Вы это узнаете не отъ меня,—таинственно произнесъ Бальзамо.—Станьте на колѣни!

Говоря это, онъ самъ опустился на землю въ умиленной молитвенной позѣ. Еврей поспѣшно послѣдовалъ его примѣру и въ то-же самое мгновеніе откуда-то сверху раздался ясный и мелодическій голосъ, произносившій слѣдующія слова:

«Шестьдесятъ унцій жемчуга, шестьдесятъ унцій рубиновъ, шестьдесятъ унцій брилліантовъ въ шкатулкѣ изъ золота въ сто двадцать унцій. Адскіе духи, хранящіе этотъ кладъ, передадутъ его честному человѣку, послѣдовавшему за нашимъ другомъ, если этому человѣку пятьдесятъ лѣтъ, если онъ не христіанинъ, если у него нѣтъ семьи: ни жены, ни дѣтей, ни друзей, если онъ никого нелюбитъ, если онъ никогда сознательно не дѣлалъ никому добра, если онъ совершенно равнодушенъ къ человѣческимъ страданіямъ, если онъ любитъ золото больше всего на свѣтѣ и если онъ не желаетъ, чтобы золото, которое онъ можетъ получить, когда-нибудь принесло кому-нибудь пользу!»

Голосъ замолкъ, и Марано съ настоящимъ вдохновеніемъ, съ трепетомъ радости, которую не могъ заглушить даже невольный страхъ, воскликнулъ:

— По счастію, я удовлетворяю всѣмъ этимъ условіямъ! Говорю это, положа руку на сердце, и отвѣчаю моей жизнью, что я именно такой человѣкъ, какого надо!

Тогда таинственный голосъ снова раздался:

«Въ такомъ случаѣ, пусть онъ положитъ у входа въ пещеру, прежде чѣмъ войти въ нее, шестьдесятъ унцій золота для духовъ, хранящихъ кладъ».

— Вы слышите?—сказалъ Бальзамо, остававшійся совершенно спокойнымъ и серьезнымъ, и затѣмъ быстрыми шагами сталъ удаляться отъ пещеры.

Еврей побѣжалъ за нимъ.

— Шестьдесятъ унцій золота!—восклицалъ онъ, вздыхая. — Да зачѣмъ-же это?

— Вы слышали голосъ? — невозмутимо сказалъ Бальзамо:— значитъ такъ надо.

И онъ прибавилъ шагу по направленію къ городу, не входя съ Марано ни въ какіе дальнѣйшіе разговоры.

— Синьоръ! Синьоръ! Остановитесь!—вскричалъ еврей, когда они уже входили въ городъ.—Шестьдесятъ унцій золота—неужели это послѣднее слово?

— Конечно, да, — съ раздраженіемъ въ голосѣ произнесъ юноша.

Еврея всего передернуло, но въ то-же время онъ такъ и вцѣпился въ рукавъ Бальзамо.

— Постойте!.. Куда-же вы! Погодите! Шестьдесятъ унцій золота! Когда-же? Завтра?.. Въ какой часъ?

— Да въ такой, какъ сегодня, въ шесть часовъ утра.

— Я явлюсь — съ глубокимъ вздохомъ произнесъ еврей, и они разстались.

На слѣдующее утро, въ назначенный часъ, они встрѣтились снова на этомъ самомъ мѣстѣ.

Бальзамо имѣлъ чрезвычайно равнодушный, спокойный видъ, а Марано трясся какъ въ лихорадкѣ. При немъ было шестьдесятъ унцій золота.

Они поспѣшно дошли до пещеры и еврей услышалъ тамъ снова воздушный голосъ, повторившій все, что было сказано наканунѣ.

Бальзамо стоялъ въ сторонѣ, погруженный, повидимому, въ задумчивость и какъ-бы не принимая никакого участія въ происходившемъ передъ нимъ.

Прошло еще нѣсколько минутъ, прежде чѣмъ Марано побѣдилъ свои сомнѣнія и свою жадность, и рѣшился положить шестьдесятъ унцій золота на назначенное мѣсто. Наконецъ, сдѣлавъ это, онъ приготовился войти въ пещеру, сдѣлалъ уже нѣсколько шаговъ, но тотчасъ-же вернулся, весь блѣдный, едва переводя дыханіе.

— Скажите мнѣ, увѣрьте меня, что нѣтъ никакой опасности—тамъ такъ темно и страшно! Увѣрены-ли вы, что ничего дурного со мной не можетъ случиться?

— Конечно, ничего дурного; вамъ нечего бояться, если счетъ золота вѣренъ.

Тогда еврей, наконецъ, рѣшился войти въ пещеру. Но онъ нѣсколько разъ оглядывался назадъ, и каждый разъ его взглядъ встрѣчался съ разсѣяннымъ, равнодушнымъ взглядомъ юноши.

Но, вотъ, онъ окончательно рѣшился и быстро двинулся впередъ, въ густой мракъ пещеры. Онъ сдѣлалъ въ темнотѣ шаговъ двадцать безъ всякаго препятствія, какъ вдругъ на него накинулись три фигуры и огласили сводъ пещеры страшными криками. Несчастный Марано почувствовалъ себя схваченнымъ. Напрасно онъ бился: крѣпкія, будто желѣзныя руки стискивали его, и при этомъ ужасный голосъ кричалъ надъ самымъ его ухомъ. Напрасно до полусмерти перепуганный еврей кричалъ въ свою очередь и звалъ къ себѣ на помощь ангеловъ-хранителей. Ангелы не появились, а черти вертѣли его все сильнѣе и сильнѣе. Наконецъ, на его спину посыпались тяжеловѣсные удары. Вотъ, онъ упалъ, и въ то-же время страшный голосъ приказывалъ ему оставаться неподвижнымъ и безгласнымъ. Если-же шевельнется, если произнесетъ хотя одно слово,— то будетъ убитъ на мѣстѣ.

Марано пролежалъ нѣсколько времени въ полной неподвижности. Когда, наконецъ, онъ пришелъ въ себя и увидѣлъ, что вокругъ него никого нѣтъ, онъ дотащился до выхода изъ пещеры.

Вотъ, свѣтъ дневной блеснулъ ему въ глаза. Кругомъ все тихо: ни чертей, ни ангеловъ, ни Бальзамо, а главное—у порога пещеры все пусто. На томъ мѣстѣ, гдѣ онъ оставилъ шестьдесятъ унцій золота, пусто, какъ будто это золото никогда тутъ и не лежало.

Долго, долго оглашалъ Марано окрестность своими проклятіями, потомъ онъ побѣжалъ въ городъ и подалъ жалобу на Бальзамо. Но, оказалось, что удивительный юноша уже скрылся изъ Палермо.

V.

Всѣ обстоятельства этого печальнаго происшествія возставали теперь въ воображеніи стараго еврея съ такой ясностью, какъ будто они произошли сегодня, сейчасъ. Удары, полученные имъ утромъ и мучительно ощущаемые старымъ тѣломъ казались ему тѣми, давнишними ударами. Онъ чувствовалъ себя въ темнотѣ пещеры, въ желѣзныхъ лапахъ невѣдомыхъ дьяволовъ; онъ переживалъ всѣ ужасныя ощущенія той минуты, когда понялъ свое несчастіе, когда увидѣлъ исчезнувшими безвозвратно шестьдесятъ унцій золота, составлявшихъ все его наличное состояніе.

Двадцать лѣтъ прошло съ тѣхъ поръ, ужасныя двадцать лѣтъ! Онъ уже не могъ болѣе подняться, несмотря на всю изво-

ротливость своего еврейскаго ума, несмотря на то, что ради денегъ готовъ былъ на самыя страшныя преступленія. Судьба какъ-бы смѣялась надъ нимъ, не давая ему возможности, даже посредствомъ преступленія, добыть достаточно денегъ, чтобы начать настоящій гешефтъ.

Онъ прожилъ двадцать лѣтъ, гонимый нуждою, терзаемый ненасытной и никогда неудовлетворяемой алчностью. Онъ покинулъ Палермо, гдѣ всѣ смѣялись надъ нимъ, какъ надъ глупцомъ, и гдѣ онъ потерялъ всякій кредитъ, началъ скитаться изъ города въ городъ, по Италіи, а затѣмъ, по Франціи, большей частью путешествуя пѣшкомъ, нерѣдко испытывая голодъ и ночуя подъ открытымъ небомъ.

Въ теченіе этихъ двадцати лѣтъ онъ перенесъ всѣ униженія, всѣ неудачи, какія только можетъ испытать человѣкъ. И вотъ, онъ встрѣчаетъ и узнаетъ того, кого считаетъ единственной причиной своихъ несчастій, своей мучительной, печальной жизни! Мошеннически отнятые у него шестьдесятъ унцій золота, очевидно, пошли въ прокъ негодяю и послужили основаніемъ его счастію, богатству, славѣ. Воръ, грабитель окруженъ теперь царственнымъ блескомъ, весь городъ склоняется передъ нимъ и называетъ божественнымъ, благодѣтелемъ человѣчества, а онъ, несчастный Марано, оборванный, томится въ нищетѣ и снова избитъ и снова опозоренъ...

Можно себѣ представить адъ, наполнявшій теперь душу еврея, тѣ ужасающія мученія, безсильную злобу, страшнѣе которой ничего не можетъ и быть для такой души.

Долго терзался измученный, избитый Марано на своемъ жалкомъ ложѣ, но, наконецъ, заснулъ въ изнеможеніи.

Если-бы не пришелъ этотъ спасительный сонъ, его организмъ не выдержалъ-бы, онъ навѣрно умеръ-бы отъ злобы и нравственныхъ мученій.

Такъ онъ проспалъ часъ, другой и третій. Уже давно стемнѣло. Вся низкая, закопченая мансарда погрузилась въ тишину и мракъ; изъ нея не доносилось ни одного звука. Но, вотъ раздался стукъ въ дверцу мансарды, стукъ этотъ повторился. Еврей испуганно открылъ глаза, прислушался, потомъ приподнялся и съ трудомъ спустилъ ноги съ кровати.

— Отворите!—разслышалъ онъ голосъ за дверью.

— Кто тамъ?—коснѣющимъ языкомъ спросилъ онъ.

Но стучавшійся не называлъ себя, и только повторялъ: «отворите!»

Въ этомъ голосѣ, неизвѣстномъ или неузнаваемомъ, Марано слышались и сила и рѣшимость; въ немъ было что-то такое особенное, вслѣдствіе чего еврей какъ-бы безсознательно, про-

тивъ воли и забывая всю свою трусливость, подошелъ къ двери и отворилъ. Но среди почти полнаго мрака, наполнявшаго мансарду, онъ не могъ разглядѣть, кто къ нему вошелъ. Онъ видѣлъ только слабыя очертанія какой-то темной, неопредѣленной фигуры и стоялъ неподвижно, ожидая и не соображая даже, что нужно высѣчь огонь и зажечь лампу. Пришедшій самъ это сдѣлалъ.

Въ то-же мгновеніе сдавленный крикъ ужаса вырвался изъ груди Марано. При свѣтѣ зажженной лампочки онъ увидѣлъ передъ собою закутанную въ черный плащъ мужскую фигуру и узналъ въ ней своего врага, Джузеппе Бальзамо. Да, передъ нимъ былъ тотъ, кого онъ менѣе всего могъ ожидать теперь видѣть, передъ нимъ былъ «божественный» графъ Каліостро, только что покинувшій свои чертоги послѣ знаменитаго сеанса «голубковъ», снявшій съ себя великолѣпную одежду великаго Копта и подъ видомъ скромнаго горожанина, нежелающаго вдобавокъ быть узнаннымъ, явившійся къ Марано.

Одинъ изъ надежныхъ шпіоновъ, какихъ у Каліостро теперь было много, еще днемъ сообщилъ ему, гдѣ живетъ и гдѣ, въ настоящее время, находится полоумный старикъ, задумавшій было нарушить торжественность въѣзда въ Страсбургъ знаменитаго цѣлителя и чароцѣя. Если-бы Марано вышелъ изъ своей мансарды, Каліостро зналъ-бы объ этомъ, и въ данную минуту всегда безошибочно могъ настигнуть его, гдѣ-бы онъ ни находился.

Первымъ движеніемъ стараго еврея, когда онъ узналъ, что передъ нимъ и у него этотъ заклятый врагъ, было броситься на Бальзамо. Но чувство самосохраненія сразу осилило всю ненависть: старикъ понялъ, что борьба будетъ неравная, а потому онъ не двигался съ мѣста, не шевелился ни однимъ членомъ, и только глаза его впивались въ красивое лицо Каліостро съ такимъ выраженіемъ злобы и ненависти, что становилось жутко. Но Каліостро было чуждо всякое чувство страха, даже едва замѣтная усмѣшка пробѣжала по лицу его.

— Марано, какъ ты глупъ!—сказалъ онъ.—Неужели двадцать лѣтъ жизни, и такой еще жизни, какую тебѣ пришлось прожить, не научили тебя благоразумію? Вѣдь, если ты теперь въ нищетѣ, если ты бѣдствовалъ все время, то единственно по своей глупости, и сегодня ты доказалъ эту глупость самымъ неоспоримымъ образомъ. Ну, чего ты дрожишь! Ну, чего ты глядишь на меня, будто съѣсть меня хочешь! Садись, успокойся и слушай меня.

Онъ повелительнымъ жестомъ указалъ ему на кровать, и Марано, послушно исполняя его приказаніе, присѣлъ на грязный матрацъ.

Каліостро сдѣлалъ къ нему нѣсколько шаговъ, остановился передъ нимъ и сталъ говорить.

— Конечно, это невѣроятно глупо, и ничего не можетъ быть нелѣпѣе и безразсуднѣе, какъ поддаваться своимъ чувствамъ. Какимъ образомъ ты не сообразилъ, что во время торжественной встрѣчи человѣка, котораго всѣ боготворятъ, нельзя накидываться на этого человѣка, и что, дѣлая это, можно подвергнуть себя только побоямъ. И это въ самомъ благопріятномъ случаѣ! Вѣдь, если-бы я захотѣлъ, если-бы я допустилъ, тебя избили-бы до смерти. Да, ты былъ-бы мертвъ и уже не оставалось-бы никого на свѣтѣ, кто могъ-бы разсказывать сказки о Джузеппе Бальзамо, о шестидесяти унціяхъ золота и о тому подобномъ вздорѣ. Если ты живъ, то единственно по моей милости, если я теперь передъ тобой и говорю съ тобою, то это доказываетъ, что я вовсе не таковъ, какимъ ты меня считаешь. Если я тебѣ что-нибудь долженъ, то я намѣренъ разсчитаться съ тобою и уплатить тебѣ не только твой капиталъ, но и хорошіе проценты, слышишь—хорошіе проценты за все время!..

Марано такъ дрожалъ, что его дрожь уже начала походить на конвульсіи. Онъ давно хотѣлъ говоритъ, но языкъ его не слушался. Въ немъ не было теперь уже страха, онъ снова проникся своимъ чувствомъ ненависти къ человѣку, благодаря которому испыталъ двадцать лѣтъ нищеты и нравственныхъ мученій. Наконецъ, онъ немного справился со своимъ волненіемъ.

— Ты снова издѣваешься надо мною!—страшнымъ голосомъ произнесъ онъ.—Мой капиталъ... проценты на мой капиталъ... Если-бы я даже былъ такимъ дуракомъ, чтобы повѣрить; если-бы ты дѣйствительно вздумалъ мнѣ вернуть все это, развѣ ты можешь вернуть мнѣ двадцать лѣтъ моей жизни?! Двадцать лѣтъ... Гдѣ они, эти двадцать лѣтъ? Отдай мнѣ ихъ! Отдай мнѣ мою жизнь, мою силу! Возьми отъ меня всѣ мои бѣдствія, горе, нищету, униженія, все, что я испыталъ въ теченіе этого долгаго времени... возьми!.. Отдай мнѣ двадцать лѣтъ моей жизни вмѣстѣ съ моими шестьюдесятью унціями золота! Отдай—и тогда уходи, а иначе не смѣй надо мной издѣваться! Ты видишь, я не боюсь тебя... Кто-бы ты ни былъ и какой-бы ты силой ни владѣлъ, я не боюсь тебя, слышишь-ли—не боюсь, потому что мнѣ терять уже нечего! Ты видишь, что я теперь сталъ! Мнѣ и жизни-то можетъ быть только на нѣсколько дней осталось!..

Онъ былъ страшенъ, онъ былъ отвратителенъ—и въ то же время жалокъ. Въ его страстныхъ словахъ, произнесенныхъ сдавленнымъ старческимъ голосомъ, звучала правда.

Каліостро между тѣмъ спокойно глядѣлъ на него и какъ-бы

облако не то задумчивости, не то даже грусти носилось по выразительнымъ чертамъ его лица.

Но вотъ Марано совсѣмъ замолчалъ.

— Да, старикъ,—сказалъ Каліостро:—конечно, твое положеніе печально, конечно, ни я, да и никто на всемъ свѣтѣ не можетъ вернуть времени, но ужъ такова твоя судьба, и я тебѣ скажу, что ты самъ виноватъ въ ней. Конечно, ты со мной не согласишься, а между тѣмъ это такъ: не я, не лишеніе тебя твоего золота причиной этихъ двадцати лѣтъ, проведенныхъ тобою, какъ ты говоришь, въ нищетѣ и въ разныхъ бѣдствіяхъ: единственная причина всего этого только ты самъ, только твои свойства,—и никто болѣе. Ты, вѣроятно, помнишь, что говорилъ невѣдомый голосъ въ пещерѣ? Ты тогда съ такою радостью признавалъ себя обладателемъ самыхъ возмутительныхъ качествъ, дѣлающихъ человѣка подобнымъ звѣрю, ставящихъ его даже гораздо ниже звѣря. Ну, такъ вотъ эти самыя качества и создали двадцать несчастныхъ лѣтъ твоей жизни. Былъ-бы ты инымъ—и жизнь твоя сложилась-бы инымъ образомъ. Но объ этомъ говорить намъ нечего; будь хоть теперь благоразуменъ, успокойся и пользуйся тѣмъ, чѣмъ еще можешь воспользоваться. Я нѣсколько разъ въ эти послѣдніе годы вспоминалъ о тебѣ и даже справлялся и узнавалъ, гдѣ ты находишься. Очень многое мнѣ извѣстно и о многомъ сообщаютъ мнѣ мои духи, но о тебѣ они сообщить мнѣ не хотѣли, и, опять-таки, въ этомъ виноватъ не я, а, значитъ, ты самъ. Если-бы я раньше встрѣтился съ тобою, для тебя было-бы лучше, по крайней мѣрѣ я, видишь-ли, времени не теряю: въ первую свободную минуту—я здѣсь. Успокойся!

И говоря это, онъ приподнялъ руки и положилъ ихъ на плечи Марано.

Первымъ инстинктивнымъ движеніемъ того было отстраниться отъ этого ужаснаго прикосновенія, но внезапно онъ почувствовалъ, какъ пріятная теплота распространилась по всѣмъ его членамъ, и онъ уже не думалъ отстраняться. Онъ жадно воспринималъ эту теплоту и поддавался возникавшему въ немъ ощущенію.

Прошла минута, другая—и онъ физически чувствовалъ себя такъ хорошо, такъ бодро, какъ давно, давно уже не чувствовалъ. Спокойный, даже почти ласковый взглядъ черныхъ красивыхъ глазъ Каліостро былъ устремленъ на него и не возбуждалъ въ немъ ненависти; въ немъ даже, какъ ни странно, какъ ни невозможно казалось это, пробудилось что-то похожее на симпатію къ этому непонятному человѣку, къ этому врагу. А Каліостро говорилъ:

— Вотъ, видишь, времени и жизни вернуть нельзя, но все-же кое-что и можно исправить. Видишь—ты снова бодръ, ты снова чувствуешь себя такимъ, какимъ былъ двадцать лѣтъ тому назадъ: тѣхъ мученій, какія были въ тебѣ, теперь нѣтъ, и все это произвелъ я, значитъ, ты относительно меня неправъ. Смотри!

Каліостро отступилъ на шагъ отъ еврея и подошелъ къ маленькому столу, на которомъ горѣла лампочка.

VI.

И вдругъ до изумленнаго слуха Марано достигъ знакомый, любимый звукъ—это былъ звукъ золота. Золото блеснуло ему въ глаза, много золота. Вотъ на столѣ, возлѣ лампочки, цѣлая кучка золотыхъ монетъ...

Марано почувствовалъ себя совсѣмъ обновленнымъ, совсѣмъ перерожденнымъ.

Онъ подбѣжалъ къ столу, ощупывалъ золотыя монеты, боясь, что это одинъ только призракъ, что онѣ того и жди пропадутъ, исчезнутъ безслѣдно. Но онѣ не исчезали. Золото, чистое золото, сверкающее, холодное и прекрасное пересыпалось въ дрожавшихъ рукахъ еврея и наполняло его блаженнымъ трепетомъ, трепетомъ страстно влюбленнаго человѣка, обнимающаго давно и безнадежно жданный предметъ своей страсти.

Еще минута—и Марано, совсѣмъ даже забывъ о присутствіи Каліостро, сталъ пересчитывать монеты. Онъ сложилъ ихъ въ равныя кучки, сосчиталъ и пересчиталъ снова.

— Двадцать да двадцать—сорокъ, сорокъ да сорокъ—восемьдесятъ,—въ страстномъ волненіи шептали его губы.

— Да, но тутъ не все... далеко не все! Гдѣ-же остальное?—вдругъ воскликнулъ онъ.—Ты сказалъ, что вернешь мнѣ все... и проценты... проценты за двадцать лѣтъ! Гдѣ-же это? Это далеко, слишкомъ далеко, тутъ всего двѣсти пятьдесятъ монетъ... только двѣсти пятьдесятъ!

Каліостро улыбнулся.

— Знаешь-ли, другъ мой,—спокойно сказалъ онъ:—если человѣкъ очень долго голодаетъ и вдругъ накинется невоздержно на пищу, то умретъ гораздо скорѣе, чѣмъ умеръ бы отъ голоду. Мнѣ очень легко отдать тебѣ все золото, о которомъ ты теперь мечтаешь, и даже гораздо больше того, но я не сдѣлаю этого, такъ какъ не желаю твоей погибели и не за этимъ пришелъ къ тебѣ. Собери хорошенько эти двѣсти пятьдесятъ монетъ

храни ихъ: онѣ будутъ услаждать часы твоего досуга, ты будешь перебирать ихъ, любоваться ими; увѣряю тебя—онѣ доставятъ тебѣ много удовольствія.

— Такъ, значитъ, ты обманулъ меня!—отчаянно воскликнулъ еврей.

— Нисколько, — все съ тѣмъ-же спокойствіемъ отвѣтилъ Каліостро.—Я, кажется, тебѣ доказалъ, что не желаю твоей погибели, спасая твою жизнь сегодня утромъ; не будь тутъ моей воли—тебя избили-бы до смерти. Я могъ-бы, конечно, не дать тебѣ ни одной монеты—а вотъ передъ тобою двѣсти пятьдесятъ, и онѣ принадлежатъ тебѣ. Ты все получишь, получишь даже больше, но для этого нужно, чтобы ты исполнилъ кое-какія условія.

— Какія?

— А вотъ какія. Завтра ты выѣдешь изъ Страсбурга, отправишься въ Германію, во Франкфуртъ-на-Майнѣ. Когда ты туда пріѣдешь, тебя встрѣтитъ человѣкъ и проведетъ въ нанятую для тебя и оплоченную за годъ впередъ квартиру, гдѣ ты будешь жить въ обстановкѣ, несравнено лучшей, чѣмъ та, въ какой я тебя видѣлъ въ Палермо, двадцать лѣтъ тому назадъ. Во Франкфуртѣ-на-Майнѣ очень много твоихъ соплеменниковъ, и они ведутъ тамъ большую торговлю, большія дѣла. Тебѣ никто не мѣшаетъ тоже заняться вмѣстѣ съ ними торговлей и дѣлами, которыя могутъ обогатить тебя. Все будетъ устроено такъ, что когда тебѣ понадобятся деньги, эти деньги будутъ являться во время, но если когда-нибудь, кому-нибудь ты произнесешь имя Джузеппе Бальзамо—въ тотъ-же день исчезнетъ все, у тебя не останется ни одного мѣднаго гроша, и ты умрешь въ нищетѣ, жестоко оплакивая свое безуміе. Джузеппе Бальзамо нѣтъ и не было—понимаешь-ли ты это? Никогда никакого Джузеппе Бальзамо ты не зналъ, сегодня утромъ ты дѣйствовалъ внѣ себя, будучи одержимъ адскими силами. Завтра, ровно въ десять часовъ утра, ты выйдешь изъ дому и пойдешь въ лѣчебницу графа Каліостро. Ты будешь идти по улицамъ и обращаться ко всѣмъ встрѣчнымъ, спрашивая: гдѣ лѣчебница знаменитаго цѣлителя, благодѣтеля человѣчества, графа Каліостро? Придя въ лѣчебницу, ты потребуешь, чтобы тебя провели къ божественному Каліостро и, увидя меня, ты падешь передо мной на колѣни и такъ убѣдительно, чтобы всѣ этому повѣрили—слышишь-ли ты, чтобы всѣ этому повѣрили—будешь просить у меня прощенья за то, что внѣ себя, наущенный адскими духами, осмѣлился публично назвать меня негодяемъ и требовать отъ меня шестидесяти унцій золота. Если ты не исполнишь всего, то пеняй на себя: тогда ты самъ откажешься отъ своего счастія. Если-же испол-

чишь все, то я буду благодѣтельствовать тебѣ такъ же, какъ благодѣтельствую многимъ.

Марано стоялъ ошеломленный, вдумываясь въ слова Каліостро а Каліостро между тѣмъ совершенно спокойно вынулъ изъ кармана кожаный мѣшочекъ и въ одинъ мигъ уложилъ въ него двѣсти пятьдесятъ золотыхъ монетъ. Марано, замѣтивъ это испустилъ отчаянный вопль и схватилъ Каліостро за руку, но тотъ мгновенно оттолкнулъ его, такъ что старикъ отлетѣлъ на нѣсколько шаговъ, и потерявъ равновѣсіе, упалъ на полъ.

— Будь спокоенъ,—сказалъ Каліостро:—эти деньги твои. Я тебѣ показалъ ихъ для того, чтобы ты познакомился съ ними и полюбилъ ихъ. И ты съ ними познакомился, ты ихъ очень любишь, но вотъ я сейчасъ замѣтилъ въ тебѣ одну, весьма скверную мысль. У тебя мелькнуло въ головѣ, забравъ эти деньги, завтра чѣмъ-свѣтъ скрыться и не придти въ лѣчебницу. Весьма вѣроятно, что эта мысль за ночь созрѣла-бы и укрѣпилась въ тебѣ, и ты привелъ-бы ее въ исполненіе. Этимъ ты только погубилъ-бы себя, а я, повторяю, вовсе не желаю твоей гибели. За ночь хорошенько обдумай всѣ мои слова и свое положеніе, откажись отъ своей глупости, которая погубила всю твою жизнь. Если двадцать лѣтъ тому назадъ Джузеппе Бальзамо нужны были твои шестьдесятъ унцій золота, то теперь графу Каліостро, владѣтелю неисчерпаемыхъ сокровищъ, умѣющему изъ всякой дряни дѣлать чистое золото, не могутъ быть нужны не только шестьдесятъ унцій золота, но и милліоны унцій, а о томъ, что графъ Каліостро владѣетъ дѣйствительно философскимъ камнемъ и умѣетъ дѣлать золото—объ этомъ знаетъ весь свѣтъ. Обдумай все хорошенько и пойми, наконецъ, глупый человѣкъ, что единственное твое спасеніе въ слѣпомъ послушаніи моимъ приказаніямъ и что я дѣйствую для твоей же пользы. Спокойно разбери все, сдѣлай завтра утромъ такъ, какъ я тебѣ сказалъ, и послѣ публичнаго покаянія за сегодняшній твой поступокъ, которое ты принесешь въ моей лѣчебницѣ, ты получишь этотъ мѣшочекъ. Надежный человѣкъ проводитъ тебя изъ города и удостовѣрится въ томъ, что ты уѣхалъ во Франкфуртъ-на-Майнѣ. Если въ твоихъ дѣйствіяхъ не будетъ искренности, если ты пожелаешь хоть въ чемъ-нибудь обмануть меня—знай, что ты погибъ. Ну, а затѣмъ прощай, я и такъ потерялъ съ тобою очень много времени.

Каліостро позвонилъ передъ евреемъ мѣшочкомъ съ золотомъ, затѣмъ спокойно положилъ его къ себѣ въ карманъ и вышелъ.

Долго еще стоялъ Марано совсѣмъ растерянный, собираясь съ мыслями, но мысли его не слушались; онѣ разбѣгались въ

разныя стороны, въ головѣ у него была какая-то пустота, какой-то туманъ носился передъ нимъ. Онъ улегся на кровать, и скоро тяжелый сонъ овладѣлъ имъ.

VII.

Каліостро увѣреннымъ шагомъ сошелъ съ темной старой лѣстницы и очутился на пустынной улицѣ. Весь этотъ бѣдный кварталъ Страсбурга, вставшій чуть-свѣтъ и принимавшійся рано за дневныя работы, ложился обыкновенно рано. На улицѣ была полнѣйшая темнота осенней ночи, только кое-гдѣ еще изъ маленькихъ оконъ лилась струйка свѣта; кое-гдѣ, трепетно мерцая догорала масляная лампочка въ фонарѣ.

Едва Каліостро сдѣлалъ нѣсколько шаговъ по улицѣ, какъ къ нему подошла какая-то фигура и шепнула:

— Господинъ мой, какія будутъ приказанія?

Онъ отвѣтилъ:

— Можешь идти за мною, но завтра съ семи часовъ утра возьми съ собою двухъ, трехъ людей, возвращайся къ этому дому и слѣди за старикомъ.

— Приказанія графа будутъ исполнены,—произнесъ тихій голосъ.

Каліостро двинулся по улицѣ и темная фигура послѣдовала за нимъ въ нѣкоторомъ отдаленіи.

Вечеръ былъ очень свѣжій; по временамъ налеталъ вѣтеръ; по небу ходили тучи, но дождя не было.

Каліостро быстро шелъ, вдыхая въ себя свѣжій воздухъ; послѣ тревожнаго дня ему было пріятно освѣжиться этой прогулкой и онъ даже замедлялъ шаги, соображая, что до его отеля уже недалеко. Теперь ужъ онъ на улицѣ, гдѣ жизнь еще не замерла, гдѣ еще не спятъ, гдѣ больше свѣта и онъ запахивается въ плащъ, пряча лицо свое, чтобы никто случайно не могъ его узнать.

Но кто его узнаетъ? Кому можетъ придти въ голову, глядя на эту фигуру, закутанную въ черный суконный плащъ, что это тотъ самый человѣкъ, о которомъ съ утра говоритъ весь городъ, который появился какъ волшебное видѣніе, весь залитый въ золото и драгоцѣнные камни, въ ореолѣ всевозможныхъ чудесъ.

Вотъ онъ свернулъ въ узенькій глухой переулокъ, какъ тѣнь скользнулъ вдоль каменной ограды, остановился у маленькой дверцы, скрытой за густыми разросшимися вьющимися растеніями, листья которыхъ уже пожелтѣли и медленно опадали.

Онъ вынулъ изъ кармана ключъ, отперъ эту потайную дверцу,

потомъ заперъ ее за собою и оказался въ саду. Это былъ садъ, примыкавшій къ заднему фасаду его отеля.

Черезъ минуту онъ отпиралъ уже другую замаскированную дверцу въ нижнемъ этажѣ самаго зданія, а еще черезъ минуту, пройдя узкій корридоръ, очутился передъ тяжелой двойной драпировкой.

Осторожно, беззвучно онъ раздвинулъ складки матеріи и заглянулъ: передъ нимъ просторная, богатая спальня, похожая на ту спальню, какая была у него съ Лоренцой въ Петербургѣ, въ домѣ графа Сомонова. Вотъ большой туалетъ и передъ нимъ женская фигура.

Прекрасное венеціанское зеркало отражаетъ хорошенькое, нѣсколько утомленное личико Лоренцы.

Увидавъ за собою мужа, она невольно вскрикнула отъ неожиданности: она не знала, что за тяжелой матеріей, задрапировывавшей всю комнату, находится потайная дверца.

Каліостро весело засмѣялся.

— Когда-же ты, наконецъ, привыкнешь къ моимъ внезапнымъ появленіямъ?—сказалъ онъ, крѣпко обнимая жену и покрывая ее поцѣлуями.—Знаешь-ли, что это даже можетъ внушить мнѣ кое-какія подозрѣнія. Гдѣ-бы ты ни была: одна-ли, или съ кѣмъ-нибудь, ты не должна смущаться. Что было въ твоихъ мысляхъ? О чемъ ты думала, если мое появленіе тебя смутило? Ну, говори-же мнѣ, моя Лоренца, о чемъ или о комъ ты думала? Говори прямо, безъ утайки, чтобы мнѣ не зачѣмъ было узнавать твои мысли инымъ способомъ. Ты хорошо знаешь, что тебѣ никогда не удастся что-либо скрыть отъ меня.

— Я вовсе не желаю этого,—совсѣмъ просто отвѣчала молодая женщина.—О чемъ я думала? Я думала о томъ, что мой Джузеппе дѣйствительно великій человѣкъ...

Онъ глядѣлъ ей въ глаза.

— Но,—перебилъ онъ:—ты находишь, что это величіе сопряжено съ большими волненіями и опасностями.

— Развѣ это не такъ?—робко спросила она.

— Конечно такъ; жизнь человѣческая—борьба, и все дѣло въ томъ, чтобы стать побѣдителемъ въ этой борьбѣ. Тишина, спокойствіе, отсутствіе всякой борьбы,—вѣдь, это сонъ, смерть, а я живой человѣкъ и живу борьбою. Знаешь-ли ты, что послѣ каждой неудачи я собираюсь съ новыми силами? Ты вотъ не любишь, моя маленькая Лоренца, думать, а если-бы ты любила думать, то вспомнила-бы, что каждая моя неудача есть непремѣнно начало новаго благополучія. Какъ ты была смущена, когда мы должны были выѣхать изъ Петербурга, а я тебѣ говорилъ

тогда, что все къ лучшему—и вотъ прошло короткое время и ты видишь, какую счастливую жизнь устроилъ я и себѣ, и тебѣ. Развѣ сегодняшній день, день полнаго торжества, не хорошій день? Развѣ надъ нами не горитъ ясное солнце? Развѣ тебѣ не нравится этотъ отель?

— Нѣтъ, Джузеппе, мнѣ здѣсь все очень нравится, все это такъ похоже на то, что мы оставили въ Петербургѣ. Ты хорошо сдѣлалъ, что подумалъ обо всемъ и все устроилъ такъ, какъ тамъ.

Онъ самодовольно улыбался.

— Да, я подумалъ обо всемъ. Да, этотъ отель—повтореніе петербургской роскоши, но замѣть разницу: тамъ для насъ все было чужой роскошью, а здѣсь—наша собственность. Этотъ отель принадлежитъ намъ, все, что видишь кругомъ себя,—твое, Приказавъ устроить эти комнаты лучшимъ мастерамъ, я думалъ о тебѣ, моя Лоренца, о твоемъ удовольствіи. Или я не угодилъ тебѣ?

Она обвила своими тонкими руками его шею и крѣпко его поцѣловала.

Въ этомъ поцѣлуѣ страстно любимой женщины была для него высшая награда. Онъ глядѣлъ теперь на нее долгимъ и нѣжнымъ взоромъ, въ которомъ выражался весь пламень любви, вся безграничная нѣжность, на какую было способно сердце этого страннаго человѣка.

— А все-же,—наконецъ сказалъ онъ:—все-же я замѣчаю въ тебѣ какое-то безпокойство, ты чѣмъ-то недовольна. Тебя что-то смущаетъ.

— Джузеппе,—очень серьезно сказала она:—я повторю твои же слова: на свѣтѣ ничто не можетъ быть полно и все только стремится къ гармоніи, но не достигаетъ ея никогда. Да, сегодняшній день—день нашего торжества, а между тѣмъ, вѣдь, и онъ омраченъ... Вотъ я только что думала о томъ: нѣтъ-ли гдѣ опасности для тебя, не ждетъ-ли насъ и здѣсь новая неудача? Мы въѣхали въ городъ, какъ король съ королевой, я никогда ничего подобнаго не могла себѣ представить... но этотъ ужасный старикъ... Гдѣ онъ? Кто онъ? Онъ знаетъ твое имя... въ его словахъ какое-то отвратительное обвиненіе. Неужели ты забылъ о немъ, объ этомъ старикѣ, и неужели это появленіе тебя не смутило? Гдѣ ты былъ? Откуда ты? Куда ты исчезъ, когда расходились и разошлись всѣ гости?

— Я просто почувствовалъ себя утомленнымъ, переодѣлся и сдѣлалъ пѣшкомъ прогулку по городу.

— А старикъ? Что-же о немъ думать?

— Забудь о немъ, пожалуйста, и не смущайся: это сумасшедшій, это одержимый бѣсами.

— Да, но онъ знаетъ твое имя!

— У меня много именъ,—задумчиво произнесъ Каліостро:— а настоящаго моего имени не знаетъ никто, не знаешь его и ты.

— Ты не разъ мнѣ говорилъ это, но это меня ничуть не успокоиваетъ. Этотъ старикъ...

— Оставь старика!—уже съ раздраженіемъ въ голосѣ возразилъ Каліостро.—Онъ самъ завтра явится въ лѣчебницу и, если его появленіе, его слова смутили кого-нибудь въ городѣ, то все это послужитъ только къ дополненію моего торжества.

— Ты увѣренъ въ этомъ?

— Да, я въ этомъ увѣренъ!—сказалъ Каліостро съ такою силою, что Лоренца сразу успокоилась и вздохнула полной грудью.

— Ты говоришь, что жизнь есть борьба, что ты любишь только борьбу,—черезъ минуту говорила она, раздѣваясь и приготовляясь ложиться спать:—можетъ быть ты и правъ, но... я все-же устала въ этой борьбѣ и мнѣ хотѣлось-бы, хоть на нѣкоторое время, пожить спокойно, на одномъ мѣстѣ, безъ всякихъ волненій и тревогъ, такъ, какъ живутъ другіе люди.

Она сама почти испугалась, что рѣшилась высказаться такъ прямо, но въ ея словахъ было столько искренности, столько затаенной грусти, ея голосъ прозвучалъ такою дѣйствительной душевной усталостью, что Каліостро вздрогнулъ и нѣсколько времени, молча, пристально глядѣлъ на нее.

— Лоренца,—наконецъ сказалъ онъ:—ты права: въ жизни какъ и въ морѣ—приливы и отливы, да и борьба не можетъ быть безъ передышки. Да, ты права, и я обѣщаю тебѣ успокоеніе. Мы здѣсь останемся долго и наша жизнь въ этомъ городѣ будетъ сплошнымъ нашимъ торжествомъ. Тебѣ нечего опасаться. Я очень радъ, что мы такъ заговорили сегодня съ тобою... Погляди на меня, Лоренца, и скажи: вѣришь-ли ты мнѣ?

— Вѣрю,—отвѣтила она.

— Ну, такъ слушай-же. Я знаю мою судьбу и знаю, что мы теперь вступили въ періодъ неомраченнаго ничѣмъ счастія, въ періодъ отдохновенія и блеска. Отбрось-же отъ себя всякія тревоги и знай, что чѣмъ болѣе ты будешь спокойной, чѣмъ сильнѣе будетъ въ тебѣ увѣренность въ томъ, что намъ нельзя ожидать ничего дурного, что передъ нами одно благополучіе—тѣмъ крѣпче и тѣмъ продолжительнѣе будетъ это благополучіе. Говорю тебѣ, Лоренца, надъ нами безоблачное небо, настали ясные дни и отъ насъ будетъ зависѣть, чтобы они были очень долгими.

— Ахъ, если-бы это отъ меня зависѣло!—страстно воскликнула Лоренца.—Что-же я могу? Я могу только исполнять твои приказанія, только слѣдовать за тобою и раздѣлять твою участь!

— Ты забыла одно,—тихимъ голосомъ произнесъ Каліостро,

сжимая ея руку:—ты забыла, что ты можешь любить меня, меня одного, такъ, какъ я люблю тебя. Люби меня такъ—и больше ничего не надо. Этой судьбою заранѣе опредѣлена вся наша жизнь. Мы сошлись не случайно—наша жизнь и наша будущность связаны крѣпко. Ужъ если мы говоримъ объ этомъ, я выскажу тебѣ страшную тайну, тайну, которую я давно храню въ себѣ и которая меня терзаетъ каждый разъ, какъ я о ней вспомню. Я знаю, слышишь-ли, Лоренца, я знаю, навѣрно знаю, что если мнѣ суждено погибнуть до времени, если блестящая жизнь моя, полная славы, полная блеска, должна прерваться на самой высотѣ удачи и счастія, то причиной этого будешь ты, только ты—и никто больше. Слышишь-ли, Лоренца, я знаю это!..

Онъ весь преобразился, его голосъ звучалъ нестерпимой душевной мукой, и въ то-же время онъ страстно глядѣлъ на жену свою, и въ то-же время она казалась ему самымъ прелестнымъ, самымъ чуднымъ созданіемъ въ мірѣ.

Лоренца была потрясена его словами, она безсознательно почувствовала въ нихъ какую-то истину, какой-то тайный смыслъ, полный значенія, и она глядѣла на своего Джузеппе трепещущая, поблѣднѣвшая, и губы ея шептали чуть внятно:

— Я люблю тебя, какъ-же... какъ-же я могу быть причиной твоей погибели? Зачѣмъ ты пугаешь меня? Вѣдь, ты только сейчасъ говорилъ мнѣ о томъ, чтобы я успокоилась, чтобы я ничего не страшилась въ будущемъ, что настали ясные дни... Ты сейчасъ говорилъ мнѣ это... а самъ...

Но онъ не слышалъ ее. Онъ почти упалъ въ кресло и закрылъ лицо руками. Передъ нимъ, сквозь закрытые глаза, сквозь руки, сжимавшія эти глаза, такъ что ничего нельзя было видѣть, все яснѣе и яснѣе обрисовывались страшныя, печальныя сцены, значеніе которыхъ онъ боялся объяснить себѣ.

За минуту спокойный, полный самообладанія—теперь этотъ человѣкъ внезапно, подъ натискомъ тяжелыхъ мыслей, впалъ въ полную слабость и доходилъ до отчаянія.

Лоренца своими горячими ласками едва могла привести его въ себя. Наконецъ, страстная любовь превозмогла все; подъ ея наплывомъ разлетѣлись всѣ призраки, затуманились и скрылись тѣни будущаго—и Джузеппе всецѣло, всѣмъ существомъ своимъ, отдался настоящей минутѣ, и жилъ ею, и былъ счастливъ...

VIII.

Еще не занималась на небѣ блѣдная заря осенняго дня, а старый Марано давно уже не спалъ. Онъ, какъ звѣрь, запертый въ клѣтку, метался по своей мансардѣ, потомъ въ изнеможеніи

упадалъ на матрацъ, потомъ снова вскакивалъ и снова метался. Чувство успокоенія и свѣжести, какое произвело въ немъ прикосновеніе Каліостро, давно исчезло. Теперь онъ походилъ на человѣка отравленнаго. Будто жгучій, мучительный ядъ наполнялъ весь его организмъ—этимъ ядомъ оказались двѣсти пятьдесятъ червонцевъ, которые онъ видѣлъ на своемъ столѣ, ощущалъ, пересыпалъ жадными руками и которые потомъ оказались въ карманѣ ужаснаго Джузеппе Бальзамо.

— О, злодѣй! О, извергъ!—въ безсильномъ бѣшенствѣ повторялъ Марано.—Ему мало было одинъ разъ обокрасть, погубить меня, онъ вотъ теперь обокралъ меня вторично. Воръ! Грабитель! Злодѣй!

Марано былъ дѣйствительно очень несчастнымъ человѣкомъ и несчастіе его заключалось вовсе не въ томъ, что въ теченіе двадцати лѣтъ онъ испытывалъ нужду—есть бѣдняки, есть даже нищіе, которыхъ тѣмъ не менѣе никакъ нельзя назвать несчастными,—несчастіе Марано заключалось не въ матеріальной нуждѣ, какъ таковой, а въ томъ, что онъ былъ лишенъ единственнаго блага, которое составляло всю сущность внутренняго міра, которое одно могло дать ему примиреніе съ жизнью. Въ его душѣ, съ тѣхъ поръ, какъ онъ себя помнилъ, никогда не было ничего, кромѣ любви къ золоту, страстной, непреоборимой любви. И вотъ цѣлые двадцать лѣтъ онъ былъ лишенъ единственнаго любимаго имъ предмета, и томился, хирѣлъ, состарѣлся и одряхлѣлъ до срока. Наконецъ, онъ увидѣлъ этотъ страстно обожаемый, доселѣ недостижимый предметъ, онъ увидѣлъ золото, осязалъ его, проникся мыслью, что это золото—его собственность и вдругъ... опять ничего нѣтъ; оно ускользнуло. Бальзамо говоритъ, что завтра онъ получитъ его снова, что стоитъ только быть послушнымъ, исполнять требованіе этого врага, выставляющаго себя чуть-ли не его благодѣтелемъ,—и золото станетъ приходить, и жизнь сдѣлается счастливой.

Но дѣло въ томъ, что Марано теперь ничему не вѣрилъ. Онъ зналъ только одно, что золото было вотъ здѣсь, на этомъ столѣ, а теперь его нѣтъ! И каждая новая минута приносила ему увѣренность, что это золото никогда не вернется. Его мученія становились невыносимыми. Наконецъ, онъ уже не могъ разсуждать: ни одна ясная, здоровая мысль не удерживалась въ головѣ его, онъ поддавался только своимъ ощущеніямъ—и они были ужасны.

Прошелъ еще часъ—и въ глазахъ еврея стало блуждать совсѣмъ дикое, безумное выраженіе. Передъ нимъ безпорядочно роились какіе-то давно позабытые образы, отрывки изъ пережитой жизни. Вотъ онъ видитъ себя на далекой родинѣ, въ Палермо, видитъ себя мальчикомъ. Онъ укралъ у отца такого-

же ростовщика, какимъ онъ самъ потомъ сдѣлался, нѣсколько мелкихъ монетъ и въ первый разъ въ жизни понялъ восторгъ, радость, блаженство. Онъ по нѣскольку разъ въ день, да и ночью, пробирается въ потаенный уголокъ стараго сада, гдѣ зарылъ свое сокровище, и отрываетъ его, и любуется имъ, пересчитываетъ каждую монету, разглядываетъ ее и цѣлуетъ.

Сначала онъ боялся, что его воровство будетъ открыто, что у него отнимутъ эти деньги, но отецъ ничего не замѣтилъ. Онъ въ полной безопасности, но ему и въ голову не можетъ придти истратить хотя часть своего сокровища на сласти, на какое-нибудь удовольствіе—онъ не для этого рисковалъ всѣмъ, присваивая деньги, онъ присвоилъ ихъ для того, чтобы имѣть ихъ, чтобы любоваться ими, наслаждаться ихъ видомъ, съ сознаніемъ того, что онѣ его собственность.

Цѣлые два года хитрый, осторожный какъ лисица, въ каждую свободную минуту прокрадывался мальчикъ въ завѣтный уголокъ сада и пересчитывалъ тамъ деньги. Въ теченіе этихъ двухъ лѣтъ его сокровище значительно возросло: ему не разъ удавалось снова забираться въ кассу отца и незамѣтно стягивать оттуда то одну, то двѣ маленькія монеты. Наконецъ, этого ему показалось мало, онъ почувствовалъ страстную любовь уже именно къ золоту: ему нужны были уже червонцы. Онъ осторожно пересчиталъ всѣ свои деньги, пошелъ въ самую дальнюю въ городѣ мѣняльную лавку, промѣнялъ тамъ монеты и получилъ за нихъ четыре червонца.

Скоро къ этимъ четыремъ червонцамъ прибавилось еще три изъ отцовской кассы. На этотъ разъ, въ виду пропажи такой значительной суммы, старый еврей заволновался, но такъ какъ подозрѣвать никого не могъ, и такъ какъ въ его карманѣ оказалась маленькая дырочка, то онъ рѣшилъ, что самъ потерялъ эти три червонца, поволновался, даже пострадалъ отъ этого— и потомъ успокоился.

Прошло еще немного времени и подросшій Марано уже пустилъ въ ходъ свои сбереженія, нажилъ на нихъ сто процентовъ, удвоилъ капиталъ; отцовское занятіе пришлось ему по вкусу.

Молодому еврею было всего двадцать лѣтъ, а между тѣмъ такого безсердечнаго и отвратительно жаднаго ростовщика никто еще не зналъ въ Палермо. Ожидать отъ него хотя-бы самаго слабаго проявленія человѣческаго чувства было нельзя, и вотъ теперь, въ болѣзненно растроенныхъ мысляхъ Марано, въ его воображеніи, мелькали одна за другой, перебивая другъ друга, различныя сцены изъ его жизни.

Онъ видѣлъ себя въ своемъ темномъ, затхломъ помѣщеніи въ Палермо, среди различныхъ вещей, оставленныхъ ему подъ

залогъ. Передъ нимъ мелькали разныя лица несчастныхъ людей, которыхъ нужда заставляла къ нему обращаться; ему чудились стоны, мольбы и слезы жертвъ его алчности и онъ злобно усмѣхался, вглядываясь въ эти призраки.

Наконецъ, и призраки исчезли, и ничего уже не вспоминалось. Теперь мелькали только обрывки какихъ-то непонятныхъ мыслей и все путалось. Вдругъ онъ вскакивалъ съ кровати, дрожа всѣми членами, подкрадывался къ столу, ему чудилось, что на столѣ опять лежитъ возлѣ лампы эта блестящая куча золота... всѣ двѣсти-пятьдесятъ червонцевъ.

Онъ осторожно приближалъ къ нимъ руку, схватывалъ... и въ рукѣ ничего—все исчезло! И онъ кидался на полъ въ яростномъ бѣшенствѣ, вскакивалъ снова, глядѣлъ на столъ, снова видѣлъ на немъ кучу золота—и опять она пропадала подъ его дрожавшими пальцами.

«Идти... идти, въ лѣчебницу... къ графу Каліостро!—пронеслось вдругъ въ его мысляхъ. — Надо идти... надо сказать... что сказать? Надо просить прощенья у графа Каліостро... у божественнаго... у благодѣтеля человѣчества, сказать, что вчера было дьявольское навожденіе, что духъ злобы подсказывалъ слова... Да!.. Гдѣ лѣчебница графа Каліостро?.. у всѣхъ спрашивать... Идти... Зачѣмъ? Кто это сказалъ?.. Да—для того, чтобы получить золото... золото—гдѣ оно? Гдѣ оно? Идти за нимъ... Кто это говоритъ, что надо ѣхать во Франкфуртъ-на-Майнѣ?.. Тамъ ждетъ домъ, богатые кліенты, дѣла, опять золото, много золота... Гдѣ оно?..»

Дикое, безумное выраженіе глазъ Марано все усиливалось. За припадкомъ бѣшенства и волненія наступилъ упадокъ силъ и онъ нѣкоторое время лежалъ неподвижно, какъ пластъ, на кровати, потомъ опять вставалъ и начиналъ метаться по комнатѣ, и снова глядѣлъ на столъ, но уже не видѣлъ на немъ золота...

«Оно тамъ... тамъ, въ лѣчебницѣ!..»

Наконецъ, онъ какъ-будто успокоился, взялъ свою ободранную, грязную войлочную шляпу, надѣлъ ее, вышелъ изъ мансарды, забывъ запереть за собою дверь, хотя всегда тщательно это дѣлалъ, и спѣшно, будто кто гналъ его, спустился съ лѣстницы.

Былъ уже день; городская жизнь давно началась; улицы наполнились народомъ. Старый еврей, съ блуждающимъ взглядомъ, весь оборванный, ужасный, отталкивающій, шатаясь, шелъ прямо передъ собою, Вдругъ онъ остановилъ встрѣтившагося ему человѣка и громко, на всю улицу, крикнулъ:

— Гдѣ лѣчебница графа Каліостро? Какъ мнѣ найти ее?

— А тебѣ зачѣмъ?—спрашивали его столпившіеся на этотъ крикъ люди.

— Тамъ... тамъ спасеніе!— растерянно произнесъ онъ.

Ему сказали, какъ пройти въ лѣчебницу, и онъ пошелъ снова, но сбился съ дороги, и опять останавливалъ встрѣчныхъ, и опять ихъ спрашивалъ, какъ пройти въ лѣчебницу.

Скоро по направленію къ лѣчебницѣ шелъ уже не онъ одинъ, а за нимъ цѣлая толпа любопытныхъ, желавшимъ увидѣть, что будетъ, исцѣлитъ-ли знаменитый иностранецъ этого помѣшаннаго старика.

Вотъ Марано у входа въ лѣчебницу. Его пропустили. Вся зала полна народомъ. Здѣсь снова, какъ и наканунѣ, собралось не мало больныхъ и еще гораздо больше любопытныхъ.

Графъ Каліостро въ своемъ роскошномъ нарядѣ, сопровождаемый многочисленной свитой, уже обходилъ больныхъ, налагалъ на нихъ руки и объявлялъ имъ, что они освобождены отъ болѣзни. Больные радостными возгласами привѣтствовали свое выздоровленіе, многіе кидались на колѣни передъ Каліостро, ловили и цѣловали его руки. По залѣ шелъ несмолкаемый едва сдерживаемый говоръ: всѣ передавали другъ-другу о поразительныхъ исцѣленіяхъ и о томъ, что вчера божественный Каліостро роздалъ бѣднымъ большую сумму денегъ, что этотъ Богомъ посланный человѣкъ принесъ счастіе всѣмъ несчастнымъ, всѣмъ больнымъ города Страсбурга.

Вотъ, наконецъ, и Марано, пробившись сквозь толпу, пропускавшую его охотно, чтобы только не прикоснуться къ его грязнымъ лохмотьямъ, увидалъ Каліостро. Онъ задрожалъ всѣмъ тѣломъ, шатаясь, кинулся къ нему, не устоялъ на своихъ слабыхъ ногахъ и упалъ въ нѣсколькихъ шагахъ отъ Каліостро, на полъ.

Великій Коптъ увидѣлъ его, подошелъ къ нему, наклонился и потомъ, обращаясь къ окружавшимъ, сказалъ:

— Вы видите этого человѣка? Кажется, это тотъ самый безумецъ, который вчера, во время моего въѣзда, кинулся къ моей коляскѣ и бранилъ меня, называя, не помню уже какимъ именемъ. Вѣдь, это онъ?

Всѣ, кто присутствовалъ вчера при въѣздѣ, признали стараго еврея.

— Что тебѣ надо, несчастный?—громкимъ и спокойнымъ голосомъ, на всю залу, спросилъ Каліостро.

Марано долго ничего не могъ вымолвить. Наконецъ его хриплый голосъ произнесъ:

— Дьяволъ вселился въ меня вчера, и онъ шепталъ мнѣ: «Иди, увидишь божественнаго Каліостро, закричи ему, что онъ негодяй, что онъ укралъ у тебя шестьдесятъ унцій золота... Требуй отъ него шестьдесятъ унцій золота».

Вся зала такъ и замерла, никто не проронилъ ни одного звука.

— Негодяй, отдай мнѣ мои шестьдесятъ унцій золота!— вдругъ напрягая послѣднія силы, завопилъ Марано—и смолкъ, схватывая себя за голову и очевидно силясь вспомнить что-то, что-то сообразить.

— Вотъ видите,—громозвучно произнесъ Каліостро:—видите, что врагъ человѣческаго рода дѣлаетъ иногда съ людьми. Очевидно, этотъ несчастный жаденъ, и дьяволъ, вселясь въ него, сулитъ ему золото. Шестьдесятъ унцій золота!.. Я думаю этотъ несчастный нищій никогда и не видалъ такой суммы! Что-же хочетъ дьяволъ съ этимъ золотомъ? Видите-ли, я... укралъ его шестьдесятъ унцій... я!.. не знаю, если-бы онъ сказалъ устами дьявола, что я укралъ у него пучекъ сѣдыхъ волосъ, это еще могло-бы имѣть смыслъ, но красть то, чего у меня столько, сколько я хочу...

Каліостро развелъ руками и усмѣхнулся, а затѣмъ, повернувшись къ слѣдовавшему за нимъ одному изъ своихъ секретарей, велѣлъ принести шкатулку, находившуюся въ сосѣдней комнатѣ.

Черезъ минуту шкатулка была принесена. Каліостро отперъ ее, и всѣ увидѣли, что она полна золотомъ.

Каліостро двумя пригоршнями взялъ червонцы и бросилъ ихъ на полъ, передъ трепетавшимъ въ конвульсіяхъ Марано. Старый еврей испустилъ отчаянный крикъ, кинулся впередъ и прильнулъ къ золоту, загребая его, прижимаясь къ нему лицомъ, цѣлуя монеты. Теперь онъ визжалъ, хохоталъ, рыдалъ, бѣсновался... Но вотъ все его тѣло конвульсивно вздрогнуло, онъ испустилъ глухой стонъ; его пальцы, сжимавшіе монеты, разжались, онъ вытянулся на полу—и остался неподвижнымъ.

Каліостро склонился надъ нимъ, повернулъ къ себѣ его лицо и сказалъ:

— Онъ умеръ. Вотъ для чего дьяволу нужно было золото— для того, чтобы убить этого человѣка! Его я воскресить не могу. Надъ нимъ совершился судъ Божій.

И всѣ видѣли, какъ при этихъ словахъ лицо Каліостро омрачилось; онъ опустилъ голову и нѣсколько времени простоялъ въ глубокой задумчивости.

Между тѣмъ, служители подняли Марано, который дѣйствительно былъ мертвъ. Секретарь подбиралъ золото и снова клалъ его въ шкатулку. Еще минута—и божественный Каліостро снова обходилъ больныхъ, снова исцѣлялъ ихъ и снова принималъ ихъ горячую благодарность. Теперь лицо его опять было спокойно, къ нему вернулось все его величіе.

Всѣ присутствовавшіе были потрясены, обсуждали смерть сумасшедшаго еврея и толковали о дьявольскихъ козняхъ, о томъ, какъ врагъ человѣческаго рода губитъ поддавшуюся ему

душу. Если въ комъ еще до сихъ поръ сохранилось непріятное впечатлѣніе отъ сцены, происшедшей у коляски во время въѣзда божественнаго Каліостро въ Страсбургъ—теперь это впечатлѣніе окончательно изгладилось. Всѣ только еще вѣрнѣе знали, что у Каліостро нѣтъ недостатка въ золотѣ, что онъ можетъ затопить золотомъ весь городъ Страсбургъ.

IX.

«Благодѣтель человѣчества» говорилъ старому еврею: «вѣдь, если-бы я захотѣлъ, если-бы я допустилъ, тебя убили-бы до смерти. Да, ты былъ-бы мертвъ—и никого-бы не осталось на свѣтѣ, кто могъ-бы разсказывать сказки о Джузеппе Бальзамо, о шестидесяти унціяхъ золота и о тому подобномъ вздорѣ...»

Теперь этотъ старый еврей, помимо своей воли, окончательно оправдалъ Каліостро въ глазахъ жителей Страсбурга. Оправдалъ—и умеръ. Еврея похоронили на счетъ благодѣтеля человѣчества. Еврей унесъ съ собою въ могилу всѣ сказки о Джузеппе Бальзамо,—значитъ, теперь не остается никого, кто могъ-бы повторять эти сказки и смущать ими торжество могущественнаго графа Каліостро!.. Нѣтъ, старыя тайны не умираютъ, и всегда остается нѣчто, способное вынести ихъ изъ мрака на свѣтъ. Тутъ-же, относительно сказокъ о Джузеппе Бальзамо, оставались, и помимо умершаго Марано, живые свидѣтели.

Первымъ изъ такихъ свидѣтелей—была Лоренцо. А затѣмъ, развѣ не хранилась эта тайна въ такомъ страшномъ мѣстѣ, откуда всегда могла грозить божественному Каліостро? Развѣ «великій носитель знака Креста-Розы», русскій князь Захарьевъ-Овиновъ, не доказалъ ему, въ какихъ сильныхъ и неумолимыхъ рукахъ находятся эти старыя сказки?

Но Каліостро не смущался. Лоренца, эта страстно-любимая жена его, добровольная, а еще болѣе невольная спутница и помощница его жизни,—всегда съ нимъ. Она—его послушное орудіе. Сны и видѣнія будущаго грозятъ какой-то бѣдою. Но это будущее далеко, о немъ не время думать... А Розенкрейцеры?—и о нихъ нечего думать; Захарьевъ-Овиновъ остался тамъ, въ Россіи; Лоренца, своими тайными способностями, поможетъ во-время замѣтить и отвратить опасность...

Да, положительно, Марано, старый полоумный еврей, былъ страшнѣе всѣхъ и всего, съ нимъ приходилось возиться, слѣдить за нимъ. Теперь его нѣтъ, препятствіе отстранено. Впечатлѣніе, произведенное на Каліостро сценой смерти стараго еврея, пропало, какъ пропадали и всѣ впечатлѣнія въ этой страстной и порывистой душѣ, жаждавшей наслажденій, блеска

и славы. Каліостро чувствовалъ подъ собою твердую почву, чувствовалъ все возраставшія свои силы. Онъ зналъ, да, зналъ, что звѣзда его счастья все выше и выше поднимается надъ его головою. И сознаніе это окрыляло его, усиливало его энергію, его неослабную, постоянную дѣятельность.

Онъ говорилъ себѣ:—«все къ лучшему»—и совсѣмъ искренне считалъ теперь свою неудачу въ Петербургѣ большимъ для себя благополучіемъ. То, что неудалось тамъ, среди сѣверныхъ снѣговъ, среди русскихъ варваровъ, то должно осуществиться въ самомъ центрѣ цивилизаціи. Пусть тамъ, въ Петербургѣ, обманутые имъ русскіе вельможи дѣлаютъ что угодно съ ложей Изиды! Онъ время отъ времени будетъ посылать имъ письма, будетъ поддерживать съ ними, такъ, на всякій случай, сношенія. А великая ложа египетскаго масонства будетъ имъ основана не на берегахъ Невы, а на берегахъ Сены, въ великомъ, чудномъ Парижѣ, въ этомъ роскошномъ средоточіи всего міра. Слава, которую онъ пріобрѣтетъ здѣсь, будетъ гораздо громче той славы, какая ожидала-бы его на далекомъ сѣверѣ...

Но Парижъ еще впереди, надо подготовить почву, надо явиться туда уже во всеоружіи побѣдителя и для этого предстоитъ нѣкоторое, даже быть можетъ довольно долгое время оставаться на послѣдней станціи—и эта послѣдняя станція—Страсбургъ. Отсюда до Парижа недалеко, здѣсь съ Парижемъ постоянное сообщеніе. Не Каліостро придетъ въ Парижъ, какъ проситель, искатель успѣха, а самъ великій городъ призоветъ его, и при первомъ-же его появленіи повергнетъ къ его ногамъ дань удивленія, восторговъ, поклоненій.

Да, здѣсь надо собраться съ силами и съ матеріальными средствами. Страсбургъ—городъ богатый. Граждане его, несмотря на сравнительную простоту нравовъ, обладаютъ огромными средствами...

Однако, зачѣмъ-же графу Каліостро, купающемуся въ золотѣ, «дѣлающему» золото,—думать о чьихъ-либо средствахъ?.. Приходилось думать. Дѣлать золото, даже и обладая философскимъ камнемъ, было, видно, довольно трудно, работа эта, видно, отнимала слишкомъ много времени,—по крайней мѣрѣ Каліостро предпочиталъ, когда возможно, пріобрѣтать деньги инымъ, болѣе простымъ, обыденнымъ способомъ.

Изъ Петербурга, благодаря удивительной щедрости и довѣрчивости нѣкоторыхъ русскихъ богачей, и прежде всего графа Сомонова, сдѣлавшихъ огромныя пожертвованія для дѣла всемірнаго распространенія египетскаго масонства, онъ вывезъ весьма крупныя суммы. По дорогѣ до Страсбурга эта богатая казна, которой могъ-бы позавидовать не одинъ владѣтельный принцъ, болѣе чѣмъ удвоилась поддержкой и приношеніями

многочисленныхъ масонскихъ ложъ, совсѣмъ подпавшихъ вліянію Великаго Копта. Такое богатство дало ему возможность поразить Страсбургъ роскошью, щедростью и благотворительностью. Но огромныя суммы уже были затрачены, и теперь каждый день уменьшалъ наличность капиталовъ. Слѣдовало позаботиться объ ихъ умноженіи.

Каліостро не сталъ терять времени. Что въ Петербургѣ требовало строжайшей тайны, что встрѣчало въ сѣверныхъ варварахъ недовѣріе, холодность и прямое обвиненіе въ обманѣ и шарлатанствѣ, то на почвѣ образованной, ученой Франціи было несравненно легче. Мистицизмъ, страсть къ необъяснимому, сверхъестественному, а главное жажда новизны, какого-нибудь захватывающаго, манящаго интереса, заставила почти всѣхъ богатыхъ и вліятельныхъ жителей Страсбурга, какъ мужчинъ такъ и женщинъ, заинтересоваться египетскимъ масонствомъ. Въ страсбургскихъ домахъ, съ перваго-же дня пріѣзда Каліостро, только и было разговоровъ, что о Великомъ Коптѣ, объ египетскомъ масонствѣ, объ учрежденіи въ Страсбургѣ великой ложи. Людей, желающихъ превратиться изъ мирныхъ гражданъ въ египетскихъ масоновъ, было сколько угодно. Оставалось только подвести ихъ подъ различныя категоріи и съ каждой изъ этихъ категорій собирать, сообразуясь съ обстоятельствами, болѣе или менѣе обильную жатву. Этимъ-то и занялся Каліостро.

Въ подобномъ дѣлѣ не было мастера ему равнаго. Онъ искусной и опытной рукою зажегъ свою лампочку, и на эту лампочку со всѣхъ сторонъ такъ и устремлялись мошки. И бились эти мошки зачарованныя непонятнымъ свѣтомъ, и стремились къ огню, не думая о томъ, что онъ можетъ опалить ихъ. Если этотъ огонь, зажженный Великимъ Коптомъ, и не опалялъ еще жителей Страсбурга, то, во всякомъ случаѣ, онъ хорошо и быстро вытрясалъ ихъ кошельки.

Казна графа Каліостро, опустошенная путешествіями, отдѣлкою отеля и благодѣяніями первыхъ дней, быстро наполнялась. Надо отдать справедливость благодѣтелю человѣчества. Онъ продолжалъ дѣлать добро и каковъ-бы ни былъ источникъ этого добра, оно существовало дѣйствительно. Бѣдные уходили изъ его отеля съ помощью, больные исцѣлялись...

Проходить молчаніемъ эту сторону дѣятельности знаменитаго авантюриста нельзя, да и самая его дѣятельность, его необычайная слава и значеніе въ общественной исторіи послѣдней четверти восемнадцатаго вѣка, его баснословные успѣхи, все это не могло-бы имѣть мѣста, если-бы онъ дѣйствительно не дѣлалъ много добра. Онъ былъ олицетвореніемъ огромной силы, соединенной съ такимъ-же огромнымъ безсиліемъ. Онъ обладалъ

дѣйствительно знаніемъ многихъ, совсѣмъ невѣдомыхъ тогда тайнъ природы, тѣхъ тайнъ, который въ наше время мало-помалу дѣлаются всеобщимъ достояніемъ. Рядомъ съ способностью къ самымъ наглымъ обманамъ, въ немъ были по-временамъ порывы искренняго добраго чувства. Самая беззастѣнчивая эксплуатація людскихъ слабостей, трескучее шарлатанство и всякаго рода мистификаціи чередовались въ немъ съ искреннимъ вдохновеніемъ, въ минуты котораго можно было говорить развѣ только о самообманѣ.

Онъ поперемѣнно черпалъ то изъ источника своей силы, то изъ источника своей слабости. Такимъ мы видимъ его во все продолженіе его жизни, среди величайшихъ успѣховъ и самаго низкаго паденія. Какимъ способомъ исцѣлялъ онъ людей отъ различныхъ болѣзней, посредствомъ-ли огромной, заключавшейся въ немъ самостоятельной магнетической силы, о существованіи которой въ человѣкѣ до сихъ поръ идетъ горячій и становящійся все болѣе и болѣе интереснымъ споръ? Посредствомъ-ли извѣстнаго ему свойства человѣческаго воображенія, являющагося, какъ теперь выясняется все убѣдительнѣе, дѣйствительной творческой силой?—Это все равно; фактъ тотъ, что онъ исцѣлялъ, и этому сохранилось много доказательствъ и свидѣтельствъ. Не подлежитъ сомнѣнію, что многое множество людей, страдавшихъ такими болѣзнями, противъ которыхъ оказывалась безсильной современная медицина, на зло этой медицинѣ становились здоровыми.

Откуда-бы ни исходили его деньги, но онъ ими уничтожалъ не мало страданій, нищеты, горя...

Городъ Страсбургъ, серьезно имъ облагодѣтельствованный, былъ-бы очень несправедливъ, если-бы вздумалъ подкладывать дрова въ костеръ его...

Теперь, при новыхъ открытіяхъ и опытахъ современной науки, знакомясь съ обширной литературой объ этомъ поразительномъ человѣкѣ, можно найти ему настоящее мѣсто и уяснить его истинное значеніе. Пора отрѣшиться отъ ложныхъ и пристрастныхъ взглядовъ. Каліостро вовсе не тотъ фантастическій, сказочный Бальзамо, несуществовавшій дѣятель и даже чуть-ли не главнѣйшій творецъ французской революціи, какимъ изображалъ его въ своихъ романахъ великій французскій сказочникъ, Дюма—отецъ. Но еще менѣе не тотъ онъ мелкій, безсмысленный и глупый шарлатанъ, какимъ хотятъ его представить въ нѣсколькихъ позднѣйшихъ романахъ, не имѣющихъ ни одного изъ блестящихъ достоинствъ произведеній французскаго романиста, и если чѣмъ поражающихъ, то единственно круглымъ невѣжествомъ ихъ авторовъ.

X.

Каліостро очень хорошо зналъ страсть человѣческую ко всякаго рода зрѣлищамъ, таинственнымъ обрядамъ и, вообще, ко всему, что дѣйствуетъ непосредственно на внѣшнія чувства. Мало этого—онъ и самъ былъ исполненъ этой страсти. Начиная съ сознательнаго обмана, приготовляя его обстановку, онъ мало-по-малу самъ увлекался этой обстановкой, входилъ въ свою роль, терялъ нить дѣйствительности и превращался въ истиннаго жреца. Онъ мистифицировалъ людей не только ради достиженія своихъ цѣлей, а и потому, что находилъ огромное наслажденіе въ такихъ мистификаціяхъ.

Ему, напримѣръ, вовсе не было никакой нужды увѣрять всѣхъ и каждаго въ своемъ безсмертіи и въ томъ, что онъ былъ личнымъ свидѣтелемъ историческихъ событій, происходившихъ за тысячу, за двѣ тысячи лѣтъ до его пребыванія въ Страсбургѣ,—а между тѣмъ онъ дѣлалъ это постоянно и вкладывалъ въ свои нелѣпые разсказы такую силу, что ему вѣрили. Да, какъ ни странно представить себѣ это, ему вѣрили очень серьезные, повидимому, люди того времени. Та очевидная, оскорбительная ложь, которая должна была сразу отвратить отъ него и заставить сомнѣваться даже и въ дѣйствительныхъ его познаніяхъ,—только привлекала къ нему.

Сколько разъ, въ откровенныя минуты, потребность въ которыхъ ощущается всякимъ человѣкомъ, говорилъ онъ своей Лоренцѣ,—единственному существу, съ которымъ могъ быть откровененъ:

«Люди, за очень малыми исключеніями, до того глупы, легковѣрны и ничтожны, что нѣтъ никакого грѣха пользоваться ихъ глупостью, легковѣрностью и ничтожностью, извлекая изъ нихъ всю пользу и для себя и для другихъ. Есть болѣзнь, страданіе, нищета, горе—всему этому надо помогать, не думая о глупости и ничтожности тѣхъ, кто страдаетъ. Пусть здоровые, счастливые и сытые даютъ мнѣ средства для такой помощи. И вдобавокъ, я возьму отъ нихъ наслажденіе любоваться зрѣлищемъ ихъ тупоумія... Я очень люблю такія зрѣлища...»

И онъ нерѣдко позволялъ себѣ подобныя забавы. Проходитъ онъ, напримѣръ, окруженный почтенными кавалерами и дамами, мимо картины, на которой изображенъ Александръ Македонскій. Вдругъ онъ останавливается, грустно смотритъ на эту картину и вздыхаетъ.

Всѣ такъ и впиваются въ него глазами.

— Бѣдный Александръ!—говоритъ онъ, будто уходя въ далекія воспоминанія:—одинъ только я помню прекрасныя черты твоего лица, одинъ я могъ-бы изобразить ихъ на полотнѣ!

— Такъ вы его знали, графъ? Неужели?!—спрашиваютъ кругомъ, съ наивной, искренней серьезностью.

— Какъ-же не знать... Одно время я былъ очень даже съ нимъ близокъ и, если-бы не безвременная его кончина... Но мнѣ тяжело, господа, предаваться этимъ печальнымъ воспоминаніямъ...

И всѣ поражены, всѣ такъ и тѣснятся вокругъ него и—ему вѣрятъ. Вѣдь, въ самомъ дѣлѣ, лестно, а главное—«ново» быть знакомымъ съ другомъ Александра Македонскаго!

Онъ даже и камердинера себѣ добылъ подходящаго. Этотъ камердинеръ, человѣкъ очень важнаго вида, исполненный самой подзадаривающей любопытство таинственности, скоро тоже сталъ популяренъ въ Страсбургѣ. Какъ-то одинъ изъ важнѣйшихъ сановниковъ города, находясь послѣ обильнаго обѣда въ отелѣ графа Каліостро, увидѣлъ этого камердинера и, когда тотъ проходилъ мимо, схватилъ его за ухо.

— Постой-ка разбойникъ,!—воскликнулъ веселый гость: — попался ты мнѣ, и знай, что я не выпущу твоего уха, пока не скажешь мнѣ, по истинной правдѣ, сколько лѣтъ твоему господину!

Камердинеръ задумался, будто припоминая и соображая что-то.

— Позвольте, сударь,—наконецъ, очень серьезно произнесъ онъ: — точно доложить вамъ, сколько лѣтъ графу — я не могу, я самъ этого не знаю. Онъ мнѣ всегда казался такимъ-же молодымъ, какъ и теперь. Все, что я могу вамъ сказать — это, что я нахожусь у него на службѣ со времени разложенія римской республики... Да, мы условились относительно моего жалованья какъ разъ въ тотъ самый день, когда Цезарь погибъ, умерщвленный въ сенатѣ...

Такъ ничего другого и нельзя было добиться отъ этого удивительнаго камердинера.

Послѣ подобныхъ интересныхъ воспоминаній «божественнаго» Каліостро, очень естественно, что находилось не мало людей, обращавшихся къ нему съ просьбою дать имъ рецептъ, если и не безсмертія, то хоть продленія жизни на нѣсколько столѣтій. Если такія лица вмѣстѣ съ тѣмъ заинтересовывались и египетскимъ масонствомъ и вносили на дѣло его процвѣтанія значительную сумму,—они получали рецептъ. Въ числѣ изданій того времени существуетъ брошюра, носящая такое заглавіе: «Секретъ возрожденія или физическое усовершенствованіе. Открытіе великаго Каліостро». Вотъ какъ начинается эта брошюра:

«Кто хочетъ достигнуть такого усовершенствованія своего физическаго организма, тотъ долженъ каждыя пятьдесятъ лѣтъ удаляться, сопровождаемый однимъ только близкимъ человѣкомъ, въ деревню, во время майскаго полнолунія. Среди полной деревенской тишины необходимо запереться въ уединенной

спальнѣ и въ продолженіе сорока дней держать самую строгую діэту: ѣсть очень мало, всего нѣсколько ложекъ супу и въ небольшомъ количествѣ нѣжныхъ и прохлаждающихъ овощей и салату. Пить можно только или дистиллированную, или дождевую майскую воду. Ѣда должна начинаться жидкимъ, то-есть водою, и кончаться крѣпкимъ, то-есть бисквитомъ или коркой хлѣба. На семнадцатый день слѣдуетъ пустить себѣ кровь въ незначительномъ количествѣ и затѣмъ принять по шести «бѣлыхъ капель» утромъ и вечеромъ... На сороковой день принимаютъ первое зерно «первобытнаго вещества...» и т. д.

Достаточно и этого курьезнаго образчика, чтобы видѣть, какимъ вздоромъ угощалъ Каліостро своихъ поклонниковъ. Если эта брошюрка, какъ легко, конечно, догадаться, только насмѣшка надъ его «рецептами», все-же въ ней очень вѣрно сказывается суть дѣла. Рецептъ дается, но тайна не въ томъ, какъ надо поступать и что надо ѣсть и пить, а въ какихъ-то «бѣлыхъ капляхъ» и зернахъ «первобытнаго вещества». Но секретъ этихъ бѣлыхъ капель и первобытнаго вещества могъ быть открытъ только посвященнымъ во всѣ тайны египетскаго масонства...

Такимъ образомъ, любознательный человѣкъ, жаждавшій вѣчной молодости, самъ того не замѣчая, все болѣе и болѣе втягивался въ болото заманчивой неизвѣстности и за каждое новое, ничего не открывающее ему открытіе, щедро расплачивался. Когда богатыхъ и тароватыхъ жертвователей собралось достаточно, ложа Изиды была открыта, и состоялось первое ея засѣданіе въ томъ самомъ «египетскомъ» залѣ отеля Каліостро, гдѣ онъ давалъ свой первый сеансъ «голубковъ». Масоны обратились къ Великому Копту и спросили его, правда-ли, что онъ сынъ знаменитаго графа Сенъ-Жермена, слава чудесъ котораго еще недавно гремѣла по всей Европѣ и который вдругъ безслѣдно исчезъ.

Каліостро отвѣчалъ:

— Нѣтъ, это неправда. Я не сынъ его и не могу быть его сыномъ, ибо, во всякомъ случаѣ, я не моложе его. Но я глубоко его почитаю и еще очень недавно я и жена моя получили отъ него высшее посвященіе... Узнали отъ него нѣкоторыя новыя тайны.

— Такъ графъ Сенъ-Жерменъ живъ? Гдѣ-же онъ? — взволнованно спрашивали слушатели.

— Онъ живетъ въ Гольтштейнѣ, на лонѣ природы, — отвѣчалъ Каліостро: — но доступъ въ его чудный замомъ весьма затруднителенъ. Впрочемъ, хотя мы съ нимъ и никогда не встрѣчались, все-же очень хорошо знали другъ друга по репутаціи и онъ съ большой радостью принялъ меня и мою жену. Онъ назначилъ намъ свиданіе въ два часа ночи. Я и графиня

надѣли бѣлыя туники и явились въ замокъ. Подъемный мостъ опустился при нашемъ приближеніи и какой-то человѣкъ гигантскаго роста проводилъ насъ въ едва освѣщенный залъ. Вдругъ громадныя двери открылись передъ нами и мы увидѣли озаренный тысячами свѣчей, сіяющій храмъ. На возвышеніи, подъ золотымъ балдахиномъ, возсѣдалъ графъ Сенъ-Жерменъ съ таинственнымъ знакомъ на груди, свѣтъ котораго былъ ярче солнечнаго. Полупрозрачная, дивной красоты женская фигура порхала вокругъ балдахина, въ рукахъ у нея былъ сосудъ съ надписью: «элексиръ жизни». Немного поодаль, передъ громадныхъ размѣровъ зеркаломъ, мы увидѣли другую то яснѣющую, то почти совсѣмъ пропадающую фигуру. Таинственный, невѣдомо кому принадлежащій голосъ проговорилъ:

«Кто вы? Откуда? Чего вы желаете?»

Тогда мы съ женой преклонили колѣна, и я отвѣчалъ:

«Я пришелъ поклониться сыну природы, отцу истины, служить ему и получить отъ него посвященіе въ его великія тайны!»

Таинственный голосъ сказалъ:

«Чего желаетъ подруга твоихъ долгихъ дней?»

Тогда моя жена отвѣчала:

«Слушаться и служить».

Внезапно наступилъ мракъ, вокругъ насъ происходило что-то страшное и ужасный голосъ, близко надъ нами, возгласилъ: «горе тому, кто не въ силахъ выдержать испытаній!..»

Страсбургскіе масоны слушали этотъ разсказъ все съ возраставшимъ благоговѣніемъ. Каліостро увлекался больше и больше. Онъ не договаривалъ, замолкалъ на самыхъ интересныхъ мѣстахъ, дразнилъ своихъ слушателей. Когда засѣданіе было окончено, новые египетскіе масоны разошлись по домамъ какъ въ туманѣ и, конечно, никто изъ нихъ не былъ-бы въ состояніи сказать, въ чемъ-же собственно заключалось это первое, такъ жданное ими засѣданіе ложи Изиды, и какія тайны имъ открыты. Но они не отдавали себѣ ни въ чемъ отчета, они были уже зачарованы.

На слѣдующій-же день во всему Страсбургу ходилъ разсказъ о таинственномъ посвященіи и еще болѣе таинственныхъ испытаніяхъ въ замкѣ графа Сенъ-Жермена. А черезъ два дня къ Лоренцѣ явилась депутація самыхъ молодыхъ и красивыхъ страсбургскихъ дамъ съ просьбой открыть дамскую ложу Изиды, въ первомъ засѣданіи которой непремѣнно должны быть «посвященія» и «испытанія». Прелестныя дамы города Страсбурга почему-то особенно жаждали «испытаній».

XI.

Прелестная Лоренца, несмотря на всѣ увѣренія мужа, что солнце надъ ними ярко свѣтитъ и что наступили долгіе безоблачные дни, все-же никакъ не могла почесть себя счастливой. Да и вообще вся ея жизнь, гдѣ-бы и съ кѣмъ-бы она ни находилась, въ какія-бы обстоятельства ни ставило ее перемѣнчивое счастье ея повелителя,—была совсѣмъ неестественной и, въ сущности, печальной жизнью.

Это происходило отъ ея личныхъ, присущихъ ей свойствъ, отъ того, что, несмотря на видимые признаки здоровья, она страдала, съ самаго дѣтства, сложной, удивительной нервной болѣзнью. Эта-то болѣзнь и сдѣлала ее какъ-бы нарочно созданной для роли помощницы Каліостро—только благодаря этой болѣзни онъ и могъ развить въ ней тѣ исключительныя способности, которыя проявляются лишь въ томъ случаѣ, если нарушено физическое равновѣсіе человѣческаго организма...

Жизнь Лоренцы состояла изъ постоянной смѣны самыхъ разнообразныхъ ощущеній. Дѣйствительность, среди которой она находилась, часто исчезала для нея и замѣнялась то уловляемымъ ею, а то и совсѣмъ безсознательнымъ бредомъ, видѣніями.

Безсознательнаго, именно того, чѣмъ пользовался Каліостро, было очень много, и потому въ жизни Лоренцы, въ ея дняхъ и ночахъ, существовали удивительные пробѣлы: минуты и часы, которыхъ она не знала, не понимала, во время которыхъ она какъ-бы совсѣмъ «отсутствовала».

Такая странная жизнь, постоянная смѣна болѣзненныхъ, нервныхъ ощущеній, естественно влекли и ее къ новизнѣ, ко всему, что могло поглотить ея вниманіе. Въ первые дни пребыванія въ Страсбургѣ ее занимала новая обстановка и та, принадлежащая теперь ея мужу и ей, почти царственная роскошь, какой до сихъ поръ у нихъ все-же никогда и нигдѣ не было. Но вотъ она присмотрѣлась ко всему этому, и опять начала томиться и скучать.

Такимъ образомъ депутація страсбургскихъ дамъ была очень кстати, да къ тому-же и Каліостро, узнавъ объ этой депутаціи, возбудилъ въ женѣ интересъ къ новой, предлагавшейся ей роли.

Вернувшись послѣ обхода своей лечебницы, онъ распорядился, чтобы никого къ нему не пускали, чтобы двери отеля стояли нѣсколько часовъ на запорѣ—и, взявъ подъ руку Лоренцу, обходилъ съ нею удивительныя, таинственныя залы, живо объясняя ей для чего и какимъ образомъ устроено то и другое.

Онъ былъ въ самомъ лучшемъ настроеніи духа. Оживленіе Лоренцы, интересъ, который изображался на ея прелестномъ, такъ дорогомъ для него лицѣ, все это наполняло его положительнымъ счастьемъ. Онъ далъ ей серьезный урокъ, какъ ей слѣдуетъ вести себя въ роли верховной жрицы, что дѣлать, что говорить и, вмѣстѣ съ нею, приступилъ къ различнымъ приготовленіямъ.

Когда все было готово, Лоренца написала одной изъ пріѣзжавшихъ къ ней дамъ, что, по зрѣломъ обсужденіи, готова исполнить желаніе благородныхъ жительницъ Страсбурга, и что проситъ пріѣхать къ ней немедленно двухъ или трехъ представительницъ вновь образующагося кружка для окончательныхъ переговоровъ. Когда дамы пріѣхали, она торжественно объявила имъ, что согласна устроить въ Страсбургѣ дамскую ложу Изиды и давать всѣмъ желающимъ уроки истинной магіи, но съ тѣмъ, чтобы на собраніяхъ этой ложи никогда не присутствовалъ ни одинъ мужчина. Число новыхъ жрицъ Изиды должно быть не менѣе тридцати шести. Тогда стали составлять списокъ.

Въ Страсбургѣ очень легко набралось тридцать шесть молодыхъ женщинъ, удовлетворявшихъ требованіямъ, заявленнымъ Лоренцой. Требованія эти состояли въ слѣдующемъ: каждая молодая дама, желающая начать изученіе магіи и вступить въ ложу, должна сдѣлать взносъ не менѣе ста луидоровъ. Затѣмъ, ей ставилось въ непремѣнную обязанность, въ теченіе двухъ недѣль вести строго уединенную, такъ сказать, монастырскую жизнь. Вотъ и все. По окончаніи указаннаго срока, графиня Каліостро назначала день открытія ложи. Всѣ дамы съ радостью согласились на эти условія.

Съ нетерпѣніемъ ожидавшійся день пришелъ. Было одиннадцать часовъ вечера, когда въ гостиной Лоренцы собрались всѣ до одной интересныя неофитки.

Лоренца въ этотъ вечеръ была мало похожа на всегдашнюю мечтательную, прелестную и робкую женщину, какой она всѣмъ казалась. Она встрѣтила своихъ гостей съ величіемъ, достойнымъ древней жрицы. Обойдя пріѣзжихъ и убѣдясь, что всѣ въ сборѣ, она попросила дамъ въ сосѣднюю комнату, гдѣ онѣ должны были снять съ себя свои наряды и облечься, съ помощью ловкихъ, почему-то замаскированныхъ прислужницъ, въ приготовленныя для нихъ одежды.

Всѣ были до такой степени заинтересованы и находились въ такомъ нервномъ возбужденіи, что даже переодѣваніе, которое, конечно, при другихъ обстоятельствахъ, потребовало-бы не мало времени, совершилось очень быстро. Не болѣе какъ черезъ четверть часа Лоренца уже снова была окружена дамами, превра-

тившимися въ какихъ-то древне-греческихъ красавицъ. Всѣ онѣ были теперь въ бѣлыхъ туникахъ съ цвѣтными поясами и оказались раздѣленными, по цвѣту этихъ поясовъ, на шесть группъ, въ каждой по шести дамъ. Принадлежавшія къ первой группѣ имѣли черные пояса, ко второй—голубые, къ третьей—красные, къ четвертой—фіолетовые, къ пятой—розовые и, наконецъ, принадлежавшія къ шестой группѣ были опоясаны лентами неопредѣленнаго, моднаго тогда цвѣта, который назывался «impossible».

Ихъ головы обвивалъ длинный, прозрачный вуаль, на ногахъ были легкія сандаліи съ золотыми завязками.

Изъ этихъ четырехъ предметовъ: вуаля, бѣлой туники, пояса и сандалій состояла вся ихъ одежда. Сама Лоренца оказалась въ такой-же бѣлой туникѣ, съ такимъ-же вуалемъ на головѣ, только поясъ у нея былъ золотой съ ярко-пурпуровыми крапинками, казавшимися каплями крови. Золото этого пояса означало власть, пурпуровый цвѣтъ крапинокъ—истинное познаніе.

Изъ гостиной Лоренца повела дамъ въ самый лучшій, только что оконченный отдѣлкой залъ отеля. Залъ этотъ, съ высокимъ куполомъ, походилъ на храмъ. По стѣнамъ стояло тридцать шесть креселъ, обтянутыхъ чернымъ атласомъ. Залъ освѣщался сверху, съ купола; благоуханія наполняли его и легкій дымокъ невидимыхъ курильницъ, разносившійся всюду, способствовалъ фантастичности впечатлѣнія.

Напротивъ той двери, въ которую вошли неофитки, помѣщался высокій, сверкавшій золотомъ тронъ и по обѣимъ сторонамъ его стояли двѣ какія-то странныя, темныя, живыя человѣческія фигуры.

Лоренца, пройдя черезъ залъ, величественной походкой поднялась по ступенямъ трона и остановилась на возвышеніи, озаряемомъ лившимся сверху свѣтомъ.

Она была прекрасна въ своей легкой бѣлой одеждѣ, обрисовывавшей ея стройныя формы. Да и вообще всѣ эти тридцать шесть молодыхъ женщинъ, въ ихъ новой роли и новомъ видѣ, оказывались гораздо интереснѣе, чѣмъ въ самыхъ модныхъ и богатыхъ нарядахъ. Ихъ мужья и поклонники остались-бы довольны такимъ превращеніемъ; но ни мужей, ни поклонниковъ не было, чтобы взглянуть на нихъ: это было первое засѣданіе дамской ложи Изиды, входъ въ которую, какъ уже извѣстно, строго запрещался каждому мужчинѣ. Что-же касается двухъ темныхъ фигуръ, стоявшихъ по сторонамъ трона, то невозможно было рѣшить кто это: женщины или мужчины.

Когда всѣ дамы размѣстились на своихъ креслахъ, свѣтъ, озарявшій залъ, началъ понемногу блѣднѣть, наконецъ, совсѣмъ почти померкъ: весь залъ оказался теперь въ таинственной по-

лутьмѣ, въ легкомъ дыму ѳиміама, въ полной, торжественной тишинѣ.

Тогда Лоренца сдѣлала знакъ и двѣ таинственныя фигуры сбросили съ себя закутывавшую ихъ кисею. Онѣ оказались красивыми, молодыми женщинами въ древне-египетскихъ костюмахъ.

Лоренца обратилась къ дамамъ и сказала:

— Встаньте съ вашихъ креселъ, поднимите правую руку и обопритесь ею о колонну, которая рядомъ съ каждой изъ васъ. Отстегните застежки туники на лѣвомъ бедрѣ...

Всѣ дамы немедленно исполнили это приказаніе. Тогда двѣ юныя египтянки вышли на середину зала и на мгновеніе остановились. Слабое мерцаніе, озарявшее съ купола то мѣсто, гдѣ онѣ стояли, дало возможность всѣмъ дамамъ разглядѣть, что въ рукахъ у этихъ красивыхъ египтянокъ находятся большіе сверкающіе мечи. Затѣмъ египтянки стали подходить поочереди къ каждой дамѣ и шелковыми шнурками всѣхъ ихъ привязали другъ къ другу за правую руку и за лѣвую ногу. Такимъ образомъ вокругъ всего зала образовалась непрерывная цѣпь.

Когда это было исполнено, среди вновь наступившей полной тишины, Лоренца возвысила голосъ. Никто никогда не слыхалъ отъ нея ничего подобнаго. Она прекрасно выучила свой урокъ и декламировала съ большимъ одушевленіемъ. Ея звонкій, милый голосъ, какъ серебряный колокольчикъ, раздавался по залу и уносился въ глубину купола. Она говорила:

— Сестры мои, вотъ вы всѣ связаны, и это служитъ символомъ вашего положенія въ обществѣ. Какъ женщины, вы находитесь въ зависимости отъ вашихъ мужей. Какого-бы знаменитаго рода вы ни были, какія-бы громкія имена ни носили, какими-бы богатствами ни владѣли,—вы въ цѣпяхъ. Всѣ мы съ дѣтства посвящены жестокимъ богамъ. Ахъ, если-бы, сбросивъ это постыдное иго, мы сумѣли-бы соединиться и вмѣстѣ отстаивать наши права! Тогда мы-бы скоро увидѣли нашихъ теперешнихъ повелителей у нашихъ ногъ, умоляющихъ насъ о снисхожденіи, добивающихся малѣйшаго знака нашего вниманія.

Но воинственно было только начало рѣчи Изидиной жрицы. Скоро тонъ ея измѣнился.

— Однако,—говорила она:—оставимъ мужчинъ, ихъ ужасныя опустошительныя войны, ихъ скучные и непонятные для насъ законы, займемся тѣмъ, чтобы владычествовать надъ общественнымъ мнѣніемъ, очищать нравы, развивать умы, помогать людямъ въ бѣдахъ и несчастіяхъ. Такая дѣятельность наша, всегда намъ доступная, несравненно важнѣе и святѣе всей мужской горделивой дѣятельности!

Таково было вступленіе къ открытію ложи.

Когда Лоренца замолчала, всѣ тридцать шесть дамъ стали восторженно ей апплодировать. Прекрасныя египтянки распутали шелковые узлы, освободили неофитокъ и Лоренца объявила:

— Получите свободу и будьте свободны также и въ обществѣ. Свобода—это первая потребность каждаго созданія; пусть-же всѣ силы вашего духа будутъ направлены къ тому, чтобы ея достигнуть. Но можете-ли вы на себя положиться? Увѣрены-ли вы въ своихъ силахъ? Какое ручательство дадите вы мнѣ въ томъ, что не окажетесь слабыми? Вы должны немедленно подвергнуться испытаніямъ силы вашего духа!

У молодыхъ дамъ такъ и забились сердца при этихъ словахъ. Онѣ все еще продолжали съ особеннымъ нетерпѣніемъ ожидать именно обѣщанныхъ испытаній.

— Раздѣлитесь на шесть группъ, по цвѣту вашихъ поясовъ,—сказала Лоренца:—и пусть каждая группа пройдетъ въ одну изъ дверей, находящихся передъ вами. Знайте, что тамъ, за этой дверью, ожидаютъ васъ ужасныя испытанія. Идите, мои сестры, двери открыты, и блѣдная, скромная луна освѣщаетъ земную природу!

XII.

Каждая изъ молодыхъ дамъ, пройдя въ указанныя египтянками двери, очутилась въ незнакомой и такой-же таинственной, какъ и весь этотъ отель, обстановкѣ. Обширныя помѣщенія, гдѣ увидѣли себя неофитки, такъ-же, какъ и залъ, не имѣли оконъ. Свѣтъ проникалъ откуда-то сверху и свѣтъ этотъ дѣйствительно походилъ на лунный. Онъ придавалъ всѣмъ предметамъ, находившимся вокругъ, поэтическій неопредѣленный колоритъ, и мѣнялъ ихъ очертанія. Что это было? Не то комната, не то садъ—по крайней мѣрѣ со всѣхъ сторонъ надъ возбужденными и любопытными молодыми женщинами свѣшивались древесныя вѣтки, отовсюду выглядывали на нихъ загадочныя изображенія какихъ-то бѣлыхъ мраморныхъ лицъ, еще болѣе загадочныхъ при голубоватомъ освѣщеніи; покрытыя свѣжимъ дерномъ скамьи были разставлены тамъ и здѣсь, и легкія сандаліи дамъ утопали въ мягкомъ, пушистомъ коврѣ.

Надо было только удивляться, какимъ образомъ такая фантастическая обстановка могла такъ скоро создаться въ страсбургскомъ отелѣ. Но было и еще нѣчто, чему можно было гораздо болѣе удивиться, что указывало на необыкновенную ловкость Великаго Копта: въ двѣ недѣли, назначенныя дамамъ Лоренцой для приготовленія къ первому засѣданію ложи Изиды.

Каліостро успѣлъ ознакомиться со всѣми обстоятельствами жизни молодыхъ неофитокъ, проникнуть во всѣ ихъ семейныя и иныя тайны и подготовить имъ именно такія испытанія, которыя какъ нельзя лучше подходили къ ихъ характеру, свойствамъ, наклонностямъ и обстоятельствамъ ихъ жизни.

Если-бы Каліостро сразу могъ расширить свой отель, чтобы вмѣстить въ него для каждой изъ тридцати-шести дамъ отдѣльное помѣщеніе, результаты были-бы, конечно, еще поразительнѣе... Но это оказалось невозможнымъ. Отсюда явилась необходимость раздѣлить дамъ на группы, обозначивъ это раздѣленіе цвѣтомъ ихъ поясовъ. Въ этомъ раздѣленіи на группы прежде всего и выказалось искусство Каліостро.

Каждая группа состояла изъ женщинъ, которыхъ можно было подвергнуть болѣе или менѣе общимъ испытаніямъ. Молодыя дамы оказались сразу въ атмосферѣ своихъ страстей, вкусовъ и грѣшковъ...

Сначала онѣ были однѣ въ этихъ таинственныхъ помѣщеніяхъ и все съ возраставшимъ нетерпѣніемъ ждали, что такое съ ними случится.

Но вотъ вблизи отъ нихъ, изъ-за зеленыхъ вѣтвей, раздался шорохъ и передъ ними показались какія-то фигуры. Фигуры эти при своемъ приближеніи, мало-по-малу теряли свои фантастическія очертанія и даже иногда оказывались имъ знакомы. Нѣкоторыя изъ дамъ узнавали рядомъ съ собою черты того человѣка, который былъ имъ дороже всего, или которымъ онѣ, по меньшей мѣрѣ, были сильно заинтересованы.

Почти каждая изъ нихъ должна была услышать самыя страстныя признанія въ любви, самыя нѣжныя клятвы, какихъ можетъ быть до этой таинственной ночи онѣ и не слыхали... Но онѣ знали, что ихъ задача — оставаться холодными какъ ледъ, и всѣ онѣ очень храбро выдерживали это испытаніе. Внутреннее чувство подсказывало имъ, что строгость, которую онѣ должны выказать,—не вѣчный обѣтъ. Такимъ образомъ, самыя нѣжныя и слабыя изъ молодыхъ страсбургскихъ дамъ оказались непреклонными...

Испытанія крѣпости сердца были окончены; оставались еще другія — и вотъ, изъ-за тѣхъ же зеленыхъ вѣтвей стали показываться дамамъ всевозможные призраки, чудовищнаго вида фигуры. Дамы, проникнутыя желаніемъ оказаться достойными посвященія и достигнуть познанія таинствъ высшей магіи, побѣдоносно боролись съ невольнымъ страхомъ,—только нѣкоторыя изъ нихъ закрывали глаза и старались не глядѣть на окружавшіе ихъ ужасы.

«Что же будетъ еще?»—спрашивали себя неофитки, когда

всѣ страшные призраки исчезли, и снова все вокругъ стало тихо.

Прошло нѣсколько минутъ: никто не появлялся, ничто не показывалось. Тогда молодыя дамы поняли, что испытанія окончены, что онѣ вышли изъ нихъ побѣдительницами. Сознаніе своего торжества, своей силы наполнило ихъ, и онѣ устремились назадъ, къ тѣмъ дверямъ, изъ которыхъ прошли сюда. Онѣ снова въ залѣ, снова въ облакахъ куреній. Передъ ними величественно-прекрасная жрица Изиды.

Лоренца поздравила ихъ съ окончаніемъ испытаній и пригласила каждую помѣститься на черномъ атласномъ креслѣ и отдохнуть.

Когда всѣ размѣстились, вдругъ наверху, въ самой вышинѣ купола, послышался странный, неопредѣленный звукъ, будто что то треснуло, открылось. Дамы подняли кверху глаза и съ изумленіемъ увидѣли, какъ съ купола спускается на огромномъ золотомъ шарѣ человѣкъ.

Яркій свѣтъ сосредоточился на этомъ явленіи. Шаръ опустился до полу, и сидѣвшій на немъ человѣкъ оказался самъ Великій Коптъ, самъ божественный Каліостро. Онъ былъ подобно новымъ адепткамъ, въ самомъ легкомъ, древне-греческомъ одѣяніи...

— Это геній истины!—воскликнула жрица Изиды.—Я желаю, чтобы вы отъ него узнали всѣ тайны, которыя издавна стараются скрыть отъ женщинъ. Безсмертный Каліостро вмѣщаетъ въ себѣ всю мудрость вѣковъ, онъ знаетъ все, что было, что есть и что будетъ...

Молодыя дамы знали пока одно, а именно, что великій Каліостро очень красивъ въ своемъ древне-греческомъ нарядѣ. Онъ принялъ граціозную позу на золотомъ шарѣ и обратился къ прелестному собранію.

— Дочери земли!—воскликнулъ онъ:—магія, истинная магія, о которой ходятъ такіе разнорѣчивые слухи, на которую давно уже такъ клевещутъ, въ сущности есть ни что иное, какъ секретъ дѣлать добро человѣчеству. Магія—это посвященіе въ таинства природы и власть пользоваться этими таинствами по своему усмотрѣнію. Вы не можете болѣе сомнѣваться въ магическихъ силахъ. Силы эти переходятъ предѣлъ возможнаго, и это было вамъ доказано въ только что пройденныхъ вами испытаніяхъ. Каждая изъ васъ видѣла того, кто близокъ и дорогъ ея сердцу, говорила съ нимъ, а между тѣмъ, вѣдь, вы говорили только съ призраками, только съ тѣнями, созданными магіей, а не съ живыми людьми! Вы видѣли только образъ человѣка, а не самого человѣка. Когда вы отсюда выйдете и встрѣтитесь съ

тѣми, кто, какъ вамъ казалось, былъ такъ отъ васъ близокъ нѣсколько минутъ тому назадъ,—спросите ихъ, и вы убѣдитесь, что эти дорогіе вамъ люди не имѣютъ ни малѣйшаго понятія о томъ, гдѣ вы находились сегодня и кого вы видѣли. Такимъ образомъ, не сомнѣвайтесь болѣе въ могуществѣ магіи и по возможности чаще являйтесь въ этотъ храмъ, гдѣ самыя удивительныя тайны будутъ вамъ открыты. Первое посвященіе, пройденное вами, очень хорошее предзнаменованіе для васъ. Вы доказали, что достойны быть посвященными въ высочайшія тайны, узнать великую истину, но я вамъ буду сообщать ее не сразу, а понемногу, по мѣрѣ того, какъ вы будете въ состояніи воспринимать ея отдѣльныя части. На сегодня узнайте только одно, что высочайшая цѣль египетскаго масонства, догму и ритуалъ котораго я перенесъ сюда изъ самой глубины Востока,—это счастье человѣчества, безпредѣльное счастье! Всякій посвященный египетскій масонъ, мужчина или женщина, непремѣнно пользуется такимъ безпредѣльнымъ счастьемъ. Оно состоитъ равно въ душевной ясности, въ удовольствіяхъ разума и наслажденіяхъ тѣла. Такова эта высокая цѣль. Для достиженія ея знаніе открываетъ намъ тайны. Знаніе проникаетъ всю природу и такое знаніе—магія. Пока не спрашивайте меня ни о чемъ больше, живите счастливо, любите миръ и гармонію, обновляйте духъ вашъ нѣжными волненіями... Любите добро и дѣлайте его по сколько можете,—все остальное ничтожно!

Окончивъ эту рѣчь, божественный Каліостро снова поднялся на своемъ золотомъ шарѣ и снова исчезъ въ глубинѣ купола. Теперь яркій свѣтъ озарилъ залъ. Внезапно полъ посрединѣ ушелъ внизъ и передъ изумленными взорами дамъ поднялся, какъ по волшебству, большой длинный столъ, роскошно сервированный и уставленный самыми тонкими кушаньями и винами. Серебро такъ и блестѣло; хрусталь такъ и переливался цвѣтами радуги; букеты душистыхъ цвѣтовъ, поставленные въ прекрасныхъ вазахъ, наполняли залъ новыми ароматами. Двѣ проворныя египтянки, отбросивъ свои страшные мечи и привѣтливо улыбаясь, поставили къ этому волшебному столу кресла и приглашали дамъ садиться.

Лоренца тоже любезно улыбалась. Она заняла свое мѣсто во главѣ стола и такимъ образомъ начался самый изысканный и веселый ужинъ. Новопосвященныя отбросили свою неловкость, свои страхи. Нѣсколько глотковъ чудеснаго вина оживили ихъ, вселили въ сердца ихъ радость; искренній смѣхъ раздался подъ таинственными сводами храма. Вдобавокъ ко всему, невѣдомо откуда, вдругъ раздались звуки музыки, а когда ужинъ былъ оконченъ, волшебный столъ снова опустился и полъ зала ока-

зался на своемъ мѣстѣ, двѣ египтянки превратились въ искусныхъ танцовщицъ. Онѣ протанцовали передъ страсбургскими дамами всѣ древне-египетскіе и иные восточные танцы, въ которыхъ можетъ быть и мало было древняго, египетскаго и восточнаго, но которые дамамъ все же очень понравились.

Эти таинственныя египтянки, очевидно, обладали большими способностями: онѣ прекрасно умѣли говорить по-французски и объяснили молодымъ адепткамъ всю свою родословную. Оказалось, что каждый изъ нихъ, несмотря на видимую ихъ юность, по нѣсколько тысячъ лѣтъ и что онѣ уже существовавали и также точно танцовали во времена первыхъ фараоновъ.

Когда, наконецъ, всѣ удовольствія были окончены, Лоренца улыбнулась и весело сказала:

— Я должна извиниться передъ вами, мои дорогія гостьи, быть можетъ, вы недовольны, и конечно имѣете на то право, вы навѣрное ожидали гораздо большаго, гораздо болѣе серьезнаго. И вотъ ваше первое посвященіе окончилось хорошимъ ужиномъ, музыкой и танцами! Я обѣщала вамъ первый урокъ магіи; если вы недовольны этимъ урокомъ, покиньте ложу Изиды; если довольны,—я готова всегда, по первому вашему желанію, продолжать подобные уроки!

Прекрасная Лоренца все милѣе и милѣе улыбалась. Ея хорошенькіе глаза такъ и ласкали всѣхъ этихъ адептокъ и горячая маленькая рука, украшенная дорогими кольцами и браслетами, крѣпко сжимала ихъ руки. Вся фигура Изидиной жрицы дышала очарованіемъ и симпатичностью.

Не нашлось ни одной изъ тридцати-шести адептокъ, которая-бы выразила ей свое неудовольствіе. Всѣ оказались въ восторгѣ и отъ посвященія, и отъ урока магіи, однимъ словомъ—отъ всего этого вечера. Горячими рукопожатіями и поцѣлуями благодарили страсбургскія дамы графиню Каліостро, прося ее только объ одномъ, чтобы засѣданія великой ложи Изиды происходили какъ можно чаще.

Она обѣщала имъ это.

Было уже три часа ночи. Дамы поспѣшили снять съ себя свои туники и переодѣться въ тѣ платья, въ которыхъ сюда пріѣхали...

Адептки египетскаго масонства вернулись домой совсѣмъ очарованными. Дамской ложѣ Изиды предстояло въ Страсбургѣ прочное процвѣтаніе.

XIII.

Послѣ подобнаго рода продѣлокъ и великолѣпно организованныхъ зрѣлищъ Каліостро оставался въ полномъ спокойствіи своей совѣсти. Онъ искренно находилъ, что не дѣлалъ этимъ никому вреда, а напротивъ — доставлялъ глупымъ людямъ удовольствіе, а себѣ, кромѣ удовольствія, и пользу.

Но онъ не могъ избавиться отъ одного ощущенія, находившаго на него почти всегда послѣ такихъ удовольствій, даже если они оканчивались не только мороченіемъ людей, но и доводили его самого до вдохновенія, до самообмана, — онъ утомлялся, ему становилось душно въ этой низменной, мертвой атмосферѣ. Всѣ лучшія стороны его духовнаго организма болѣзненно трепетали и требовали для себя простору, требовали дѣятельности въ иной, высшей сферѣ.

И онъ спѣшилъ въ эту иную, высшую сферу. Онъ запирался въ самыхъ далекихъ, никому недоступныхъ комнатахъ своего отеля, соединенныхъ маленькой дверцей съ его спальней и будуаромъ Лоренцы. Здѣсь, чувствуя близость любимой женщины и въ то же время въ полной тишинѣ, въ полномъ уединеніи, онъ оказывался окруженнымъ грудами книгъ, бумагъ и всевозможными предметами, необходимыми для производства различныхъ химическихъ опытовъ и работъ.

Онъ сбрасывалъ съ себя свой роскошный костюмъ, сверкавшій золотомъ и драгоцѣнными камнями, снималъ всѣ свои перстни, цѣпочки, кружева. Снималъ, наконецъ, съ головы свой искусно завитой парикъ, надѣвалъ простую рабочую блузу и превращался въ совсѣмъ новаго человѣка, въ такого человѣка, какимъ никто никогда не зналъ и не видалъ его, кромѣ Лоренцы.

Это былъ уже не графъ Каліостро, не графъ Фениксъ, не Великій Коптъ, не современникъ Александра Македонскаго, а Джузеппе Бальзамо. И опять-таки это былъ не тотъ юный Джузеппе Бальзамо, котораго двадцать лѣтъ тому назадъ знали въ Сициліи и въ Италіи. Это былъ человѣкъ настолько могучій плотью и духомъ, что вся безпорядочность, всѣ мытарства и низкія дѣянія его жизни какъ-то сглаживались, придавливались горячей и плодотворной работою лучшихъ сторонъ его разума и духа.

Въ своей рабочей блузѣ, съ гладко обстриженной головою, съ задумчивымъ сосредоточеннымъ выраженіемъ умнаго и красиваго лица, этотъ новый Джузеппе Бальзамо являлся замѣчательнымъ, вдохновеннымъ ученымъ, талантливымъ ученикомъ оккультистовъ всѣхъ направленій, страстнымъ искателемъ тайнъ

природы, изслѣдователемъ и знатокомъ древнихъ наукъ—алхиміи, кабалистики, астрологіи.

Его познанія во всѣхъ этихъ предметахъ были гораздо глубже, чѣмъ это могло казаться сразу, судя по тѣмъ незамысловатымъ пріемамъ и по тѣмъ вовсе не глубокимъ рѣчамъ, которыми онъ обыкновенно морочилъ людей. Но дѣло въ томъ, что онъ слишкомъ высоко цѣнилъ истинное знаніе, для того чтобы профанировать его въ сношеніяхъ съ глупцами. Онъ находилъ, что для этихъ глупцовъ достаточно всякаго вздора и мишуры и почти никогда не показывалъ настоящаго золота своихъ знаній. Это золото берегъ онъ для самого себя и для тѣхъ рѣдкихъ случаевъ, когда его аудиторія состояла изъ настоящихъ знатоковъ.

Каліостро принимался за работу страстно, увлекался ею, ловилъ, гдѣ только могъ, зерна новыхъ знаній. Ему удавалось иногда добывать эти зерна, но въ концѣ концовъ онъ видѣлъ, что ихъ все же слишкомъ мало, что не сложить ему изъ этихъ зеренъ цѣлую гору, взобравшись на которую можно окинуть орлинымъ окомъ всѣ явленія міросданія.

Еще не въ очень давнее время ему страстно хотѣлось взобраться на такую гору. И онъ пошелъ къ такимъ людямъ, которые могли помочь ему въ этомъ великомъ дѣлѣ. Онъ пошелъ къ розенкрейцерамъ и убѣдился, что тамъ, на вершинѣ розенкрейцерской лѣстницы посвященій, должно быть дѣйствительно хранятся величайшія тайны. Но подняться по этой лѣстницѣ—значило на вѣки отказаться отъ всѣхъ радостей жизни, отъ всего, безъ чего онъ не могъ существовать.

И вотъ онъ оказался ренегатомъ и навлекъ на себя справедливый гнѣвъ розенкрейцеровъ. Онъ зналъ, что одинъ неловкій шагъ его, одно вырвавшееся изъ его устъ слово—и онъ не избѣгнетъ ихъ страшнаго мщенія. Но онъ вовсе не желалъ ихъ выдавать, ему этого вовсе было не надо. Онъ просто добровольно отказался отъ возможности дальнѣйшихъ посвященій. А тѣ тайны природы, которыя были ему открыты, онъ узналъ инымъ путемъ. Онъ узналъ эти тайны въ своихъ не фантастическихъ, а дѣйствительныхъ путешествіяхъ по Востоку. Онъ изучалъ ихъ, будучи внимательнымъ ученикомъ знаменитаго, уже умершаго кабалиста, котораго онъ называлъ Альтотасомъ.

Наконецъ, онъ и теперь, не только въ теоріи, но и на практикѣ, изучилъ многія тайны природы съ помощью Лоренцы. Она, сама того не зная, давала ему полные смысла и значенія уроки, она открывала ему невѣдомыя способности души человѣческой, помогала ему иной разъ быть дѣйствительно безконечно выше всего окружающаго, видѣть, не трогаясь съ мѣста, все, что

творится на земномъ шарѣ, видѣть и знать не только настоящее, но и будущее.

Иногда до глубины ночи засиживался Каліостро въ своей лабораторіи и ни малѣйшаго движенія, ни малѣйшаго шороха не слышалось вокругъ него. Иногда случалось такъ, что среди самой горячей работы, онъ вдругъ останавливался, покидалъ книгу или какую-нибудь реторту—и начиналъ чутко прислушиваться.

Онъ слышалъ шаги, шаги приближались. Маленькая дверца неслышно отпиралась и передъ нимъ появлялась Лоренца. Онъ весь превращался во вниманіе, и при первомъ же взглядѣ на жену, уже зналъ—кто передъ нимъ:—Лоренца или «Серафина». Лоренца—это была любимая имъ жена, которая проснулась и, убѣдясь, что уже поздній часъ ночи, а мужъ еще работаетъ, встала и пришла къ нему просить его прекратить работу и лечь спать. Серафина была та-же Лоренца, но уже превращенная въ совсѣмъ иное существо. Она тоже встала и пришла сюда, но она вовсе не здѣсь, а гдѣ-нибудь далеко, и онъ можетъ послать ее во всѣ предѣлы земного шара, и она мгновенно очутится гдѣ ему угодно и скажетъ ему все, что видитъ, все, что дѣлается тамъ, куда онъ послалъ ее.

Съ этой Серафиной для него не существуетъ пространства и времени, онъ видитъ тѣхъ и другихъ людей, которые такъ или иначе его интересуютъ, знаетъ всѣ ихъ поступки, всѣ ихъ намѣренія, даже помыслы. Съ помощью этой дивной Серафины для него нѣтъ тайнъ — и онъ является дѣйствительно могущественнѣйшимъ человѣкомъ.

Одна бѣда лишь въ томъ, что не всегда Лоренца способна становиться Серафиной и что онъ не имѣетъ средствъ всегда, когда того хочетъ, приводить ее въ состояніе этого полнаго ясновидѣнія. Онъ всегда можетъ усыпить ее и, въ состояніи такого усыпленія, заставить тѣмъ или инымъ способомъ служить своимъ цѣлямъ. Но подобное усыпленіе совсѣмъ не то. Оно—ничто въ сравненіи съ ея ясновидѣніемъ.

Иногда задается такое время, что Лоренца въ теченіе недѣль двухъ, трехъ, каждую ночь превращается въ Серафину; иногда проходятъ мѣсяцы—и Серафина ни разу не является. Эти-то мѣсяцы отсутствія Серафины всегда и бывали труднымъ временемъ для Каліостро. Въ эти-то мѣсяцы обыкновенно и случались съ нимъ всякія невзгоды.

Въ послѣднее время, во все время пребыванія въ Петербургѣ, Серафина не существовала. Появляйся она—вѣроятно, не было-бы фіаско, испытаннаго имъ въ сѣверной столицѣ. Зная все, онъ сумѣлъ бы восторжествовать надъ всѣми кознями своихъ недоброжелателей, надъ нерасположеніемъ императрицы Екате-

рины и даже, наконецъ, надъ силою великаго розенкрейцера. Будь Серафина въ Петербургѣ, онъ показалъ-бы тамошнимъ адептамъ египетскаго масонства такія чудеса, что всѣ они безвозвратно сложили-бы у ногъ его и свою жизнь, и свою душу, и всѣ свои милліоны.

Но Серафина не являлась. Она явилась одинъ только разъ по пути изъ Россіи въ Страсбургъ, и это ея появленіе имѣло огромныя послѣдствія. Нѣсколько богатѣйшихъ масонскихъ ложъ, благодаря Серафинѣ, то-есть благодаря невѣроятнымъ познаніямъ и могуществу графа Каліостро, доказаннымъ имъ публично, въ засѣданіяхъ ложъ, превратили всѣ эти ложи въ его собственность.

Здѣсь, въ Страсбургѣ, Серафина тоже уже нѣсколько разъ появлялась, хотя эти явленія ея были и очень кратковременны, иногда продолжались всего двѣ, три минуты, такъ что Каліостро не успѣвалъ узнавать отъ нея всего, что ему было надо...

Черезъ нѣсколько дней послѣ перваго засѣданія женской ложи Изиды, когда Каліостро, по обычаю, работалъ ночью въ своей лабораторіи, дверь отворилась и передъ нимъ появилась Серафина. Онъ осторожно подошелъ къ ней и спросилъ ее:

— Гдѣ ты, Серафина?

— Я по дорогѣ въ Петербургъ,—отвѣчалъ нѣжный голосокъ Лоренцы.

— Хорошо, спѣши скорѣй туда.

— Я уже тамъ... вотъ Нева... вотъ улицы Петербурга... Куда мнѣ теперь?

— Въ домъ князя Захарьева-Овинова,—сказалъ Каліостро.— Гдѣ онъ, что онъ дѣлаетъ?

— Его нѣтъ въ домѣ,—отвѣчала Лоренца.—Его нѣтъ въ Петербургѣ, онъ уѣхалъ... Онъ спѣшитъ по Германіи, онъ въ Нюренбергѣ...

— Зачѣмъ?

— Постой... вижу!... Онъ спѣшитъ на засѣданіе... къ старымъ, ученымъ, сильнымъ людямъ... Это такое важное засѣданіе, и на немъ должны рѣшиться большія вещи...

— Будетъ-ли это засѣданіе имѣть какое-нибудь отношеніе ко мнѣ? Будетъ-ли Захарьевъ-Овиновъ говорить обо мнѣ?—не безъ волненія спросилъ Каліостро.

— Да, будетъ.

— Что же мнѣ грозитъ?

Серафина на мгновеніе замолчала.

— Вижу!—вдругъ радостно воскликнула она.—Тебѣ нечего бояться... Онъ совсѣмъ другой сталъ... Онъ тебѣ не врагъ... жалѣетъ тебя, даже любитъ... онъ всѣхъ любитъ и даже всѣхъ

жалѣетъ... О, какая въ немъ борьба идетъ! То свѣтъ въ душѣ, то мракъ... Тебѣ надо ѣхать!—внезапно прибавила Серафина.

— Куда?

— Въ Нюренбергъ.

— Это въ Нюренбергѣ будетъ засѣданіе?

— Да, и тамъ будетъ... только онъ спѣшитъ въ другое мѣсто... въ другое засѣданіе... къ старикамъ.

— Гдѣ-же это?

Но Серафина уже исчезла. Каліостро едва успѣлъ подхватить падавшую Лоренцу и снесъ ее въ спальню. Она спала теперь естественнымъ, спокойнымъ сномъ.

На слѣдующее утро, прочитывая свою корреспонденцію, Каліостро увидѣлъ письмо, печать котораго ему была знакома. Онъ быстро разорвалъ конвертъ и прочелъ латинскія строки, гдѣ значилось:

«Годичное собраніе въ N. О мѣстѣ будетъ сообщено своевременно. Пріѣзжай, если помнишь клятву, данную учителю. Albus».

Каліостро уже ничего не страшился. Онъ былъ спокоенъ. Черезъ день въ Страсбургѣ узнали, что благодѣтель человѣчества куда-то уѣхалъ, но вернется въ самомъ непродолжительномъ времени.

XIV.

Одинъ изъ дикихъ уголковъ южной Германіи. Кругомъ лѣсъ и горы.

Мимо скалъ, пропадая въ расщелинахъ, исчезая въ глубинѣ лѣса, поднимаясь по кручамъ и лѣпясь у овраговъ, тянется мало кому вѣдомая дорога. До ближайшаго города далеко,—скорой ѣзды не менѣе двѣнадцати часовъ. Два, три бѣдныхъ селенія съ какой-нибудь сотней жителей горцевъ, ничего и никого незнающихъ, кромѣ своихъ односельчанъ, кромѣ своего лѣса и горъ,—только и нарушаютъ полное безлюдье этой мѣстности.

Рѣдкій путешественникъ, какой-нибудь студентъ, слишкомъ засидѣвшійся и заучившійся, и во время лѣтнихъ вакацій задумавшій сдѣлать путешествіе пѣшкомъ въ глубь дикой горной страны, зайдя сюда, останавливается и спрашиваетъ себя:—«куда-же дальше?» Вѣковыя ели и поросшія мохомъ скалы остаются безмолвными на этотъ вопросъ, да и бѣдный горецъ, встрѣтясь студенту, немногое ему скажетъ. Онъ скажетъ ему:

— Да куда-жъ тутъ! Тутъ идти некуда—тутъ горы...

— А дорога эта куда ведетъ?

— Дорога-то? Идетъ она къ Небельштейну.

— Что это такое—Небельштейнъ?

— А вотъ та гора, это и есть Небельштейнъ. Тамъ былъ замокъ бароновъ фонъ-Небельштейновъ, а теперь отъ него почти ничего и не осталось.

— И никто не живетъ тамъ?

— А кто его знаетъ! Старикъ тамъ какой-то, пожалуй, даже и два старика, только ихъ почти никто никогда не видитъ, да и невѣдомо кто такіе тѣ старики... Думать о нихъ совсѣмъ не слѣдъ—еще неравно бѣду на себя какую накличешь... Колдуны тамъ живутъ—вотъ что! Чертовщина всякая творится въ старомъ замкѣ.

И горецъ такъ сумѣетъ напугать вовсе неробкаго студента, что тотъ уложитъ въ сумку свою храбрость, свою жажду приключеній и любовь къ неизвѣстному—и повернетъ съ едва обозначенной, заросшей травою дороги въ мѣста менѣе дикія, болѣе интересныя, болѣе заманчивыя для молодого воображенія.

Проходятъ года. Все такъ-же тихо, пустынно и уединенно вокругъ Небельштейна. Умерли старики-колдуны или нѣтъ? Какъ живутъ они тамъ, отрѣшенные отъ всего міра? Или можетъ ихъ нѣтъ совсѣмъ и существуютъ они только въ воображеніи горцевъ?

Нѣтъ, по прежнему развалины стараго замка обитаемы. Если-бы студентъ, смущенный горцемъ, все-же рѣшился-бы взобраться на вершину Небельштейна, то онъ увидѣлъ-бы, что и самая дорога, чѣмъ ближе къ вершинѣ, становится все лучше и лучше, онъ увидѣлъ-бы на одномъ изъ лѣсныхъ поворотовъ, передъ собою, чрезвычайно оригинальную и красивую картину стараго замка, со всѣхъ сторонъ обросшаго елями и густымъ кустарникомъ, высѣченнаго въ скалѣ, и то тамъ, то здѣсь выглядывающаго то древней бойницей, то округлостью колонны, то готическими, узорными, будто кружевными окнами. Въ часы тихой глухой ночи онъ замѣтилъ-бы то тамъ, то здѣсь струйку невѣрнаго, мерцающаго свѣта, исходящую изъ почти совсѣмъ закрытыхъ зеленью оконъ...

Впрочемъ, только это и могъ-бы онъ увидѣть, такъ какъ, если-бы захотѣлъ проникнуть въ самый замокъ, то это никакъ не могло ему удаться. Сколько-бы ни стучался онъ въ глухозапертыя старыя желѣзныя двери—никто не откликнулся-бы на стукъ его.

Для того, чтобы узнать, что такое происходитъ въ замкѣ и кто его обитатели, надо было выломать эти двери, а такая работа была не подъ силу и нѣсколькимъ крѣпкимъ людямъ, да никто ни о чемъ подобномъ и не думалъ...

Но видно и у старыхъ колдуновъ стараго замка бываютъ иной разъ гости. Вотъ тихимъ, но холоднымъ вечеромъ какой-то всадникъ приближается по заросшей дорогѣ къ замку Небельштейну. Бодрый конь видимо притомился—немало часовъ везетъ онъ всадника, все впередъ и впередъ, по лѣсамъ и горамъ, поднимаясь выше и выше. И всадникъ должно быть хорошо знакомъ съ мѣстностью: не смущаютъ его никакія препятствія, не останавливается онъ, а только объѣзжаетъ извилистыми тропинками встрѣчныя селенія, чтобы съ кѣмъ-нибудь не встрѣтиться.

Послѣднее человѣческое жилье осталось назади. Скоро полная темнота окутаетъ горы, а всадникъ и не думаетъ объ этомъ. Темнота застигла его въ лѣсу, но онъ увѣренной рукой направляетъ своего коня и наконецъ поднимается къ самому замку. Онъ подноситъ ко рту свистокъ и пронзительный, какой-то странный, необычный свистъ оглашаетъ пустынную окрестность.

Разъ, два и три—три раза звонкіе, вызывающіе звуки прорѣзали застывшій ночной воздухъ, проникли всюду, и вотъ, среди нависшихъ еловыхъ вѣтвей, дикаго кустарника и густыхъ, засохшихъ уже, по времени года, вьющихся растеній, мелькнулъ свѣтъ. Послышался лязгъ и скрипъ отворявшейся тяжелой, желѣзной двери. На порогѣ этой двери появился съ фонаремъ въ рукѣ сгорбившійся старикъ съ длинной сѣдой бородою. Онъ приподнялъ руку къ глазамъ, заглядывая во мракъ.

— Добро пожаловать господинъ!—воскликнулъ онъ старческимъ, но еще бодрымъ голосомъ.—Добро пожаловать! Часъ уже поздній, немного осталось часовой стрѣлкѣ пройти до полуночи, до полуночи великаго нынѣшняго дня!

— Здравствуйте, другъ мой Бергманъ! — отвѣтилъ всадникъ, спрыгивая съ коня. — Напрасно боялись вы, что я не пріѣду.

— Не боялся я...—какъ-то нерѣшительно проговорилъ старикъ:—а только... только часъ уже поздній! Дайте-ка лошадь, я проведу ее на конюшню, а сами берите фонарь и идите прямо, знаете куда, они уже въ сборѣ. Съ утра уже въ сборѣ... и все ждутъ васъ.

Всадникъ передалъ старику коня, принялъ изъ рукъ его фонарь и вошелъ въ дверь. Когда свѣтъ отъ фонаря озарилъ лицо его, въ этомъ таинственномъ посѣтителѣ стараго замка легко было узнать Захарьева-Овинова.

Онъ поднялся по знакомой ему узкой каменной лѣстницѣ и невольно остановился. Цѣлый рой воспоминаній нахлынулъ на него въ этихъ старыхъ вѣковыхъ стѣнахъ, гдѣ провелъ онъ самое знаменательное время своей жизни. Сердце его какъ-то защемило, едва слышный вздохъ вылетѣлъ изъ груди его. Но

вдругъ онъ выпрямился, поднялъ голову и твердой поступью пошелъ впередъ по длинному сырому корридору, гдѣ гулко раздавались его шаги.

Вотъ небольшая дверь, въ глубинѣ корридора. Онъ повернулъ ручку, отворилъ дверь и вошелъ. И снова рой старыхъ воспоминаній какъ будто-бы налетѣлъ на него, охватилъ его со всѣхъ сторонъ и сталъ добираться до его сердца. Но это было одно мгновеніе.

Онъ сбросилъ свой плащъ, свою шляпу и спѣшнымъ шагомъ направился въ глубину обширной, слабо озаренной комнаты. Четверо людей поднялись ему навстрѣчу, но онъ уже былъ у стараго высокаго кресла, въ которомъ сидѣлъ величественнаго вида старецъ. Онъ склонился съ сыновнимъ благоговѣніемъ къ рукѣ этого старца, крѣпко ее цѣлуя.

— Привѣтъ тебѣ, сынъ мой!—раздался надъ нимъ знакомый голосъ, и этотъ голосъ теплою волною пробѣжалъ по всему его существу.

Онъ поднялъ голову, ихъ взоры встрѣтились и нѣсколько мгновеній они остались оба неподвижными въ крѣпкомъ объятіи другъ у друга.

Наконецъ, Захарьевъ-Овиновъ также крѣпко обнялся и съ четырьмя присутствовавшими лицами.

— Отецъ!—затѣмъ сказалъ онъ:—братья мои! Извините меня, если я заставилъ себя ждать. Я сдѣлалъ что могъ... да и, наконецъ, сегодняшній день еще въ нашемъ распоряженіи.

— Нѣтъ,—произнесъ старецъ:—тебѣ не въ чемъ извиняться. Мы тебя ждали, твердо зная, что, если ты живъ, то явишься нынѣ раньше полуночи... и ничто намъ не указывало на то, что тебя нѣтъ въ живыхъ. Садись на свое мѣсто.

И онъ указалъ ему своей тонкой изсохшей рукой на кожаное кресло рядомъ съ собою.

Захарьевъ-Овиновъ сѣлъ, и еще разъ его быстрый, блестѣвшій взглядъ остановился на этихъ дружественныхъ лицахъ, озаряемыхъ свѣтомъ большой лампы, поставленной на столъ.

Да, всѣ въ сборѣ. Вотъ маленькій французъ Роже Левекъ, все съ тѣми-же ясными голубыми глазами, все съ той-же глубокой морщиной, пересѣкающей лобъ. Онъ, какъ и всегда, въ своей темной и скромной одеждѣ, въ которой навѣрно недавно еще можно было его видѣть въ Парижѣ, на лѣвомъ берегу Сены, въ его запыленной лавочкѣ букиниста. Рядомъ съ нимъ важный, величественный баронъ Отто фонъ-Мелленбургъ. По другую сторону стола профессоръ Іоганнъ Абельзонъ, крошечный, юркій, проворный и привычно то и дѣло вертящійся на своемъ креслѣ и сверкающій могучими, такъ и проникающими

въ глубь души глазами. Вотъ и старый графъ Хоростовскій, почти неестественно тощій, съ тонкими ввалившимися губами, съ безпокойнымъ и умнымъ выраженіемъ старческихъ слезящихся глазъ.

Всѣ въ сборѣ, всѣ сразу кажутся такими-же, какими были они въ послѣднее годичное засѣданіе, въ этой-же самой комнатѣ, а между тѣмъ Захарьевъ-Овиновъ видѣлъ въ нихъ большую перемѣну. Перемѣна была и въ прекрасномъ старцѣ. Онъ какъ-будто осунулся и, не измѣнявшійся долгіе годы, будто сразу постарѣлъ.

На всѣхъ лицахъ была замѣтна какъ-бы тѣнь печали.

XV.

Захарьевъ-Овиновъ откинулъ голову на спинку кресла. Вся его поза указывала на нѣкоторое утомленіе. Онъ испытующимъ, невеселымъ взглядомъ обводилъ присутствовавшихъ.

Старый Гансъ фонъ-Небельштейнъ вынулъ изъ кармана маленькій золотой ящичекъ, открылъ его и протянулъ Захарьеву-Овинову. Тотъ молча взялъ изъ ящичка кусокъ какого-то темнаго вещества и положилъ его себѣ въ ротъ. Между тѣмъ старецъ говорилъ:

— Прими, мой сынъ, это угощеніе. По счастію, для подкрѣпленія человѣческихъ силъ послѣ долгаго пути, для уничтоженія чувства усталости, голода и жажды, намъ не надо накрывать на столъ, подавать всякія кушанья, приготовленныя изъ мяса убитыхъ животныхъ, и вина, дѣйствіе которыхъ, такъ или иначе, въ большей или меньшей степени, а все-же всегда нездорово и нежелательно отзывается на человѣческомъ организмѣ. Мы можемъ ограничиться маленькимъ кусочкомъ этого чуднаго темнаго вещества, заключающаго въ себѣ чистѣйшую эссенцію лучшихъ цѣлебныхъ и могучихъ произведеній природы. Если тебѣ недостаточно одного кусочка, возьми еще. Въ моей лабораторіи только-что изготовленъ свѣжій запасъ этой чудной пищи, поддерживающей мои старыя силы.

Но Захарьевъ-Овиновъ отрицательно покачалъ головою. Онъ уже чувствовалъ во всемъ тѣлѣ свѣжесть и бодрость, какъ будто не ѣхалъ весь день и весь вечеръ верхомъ почти не останавливаясь, какъ будто не провелъ болѣе сутокъ безо всякаго питья и пищи. О, еслибъ, вмѣстѣ съ этою бодростью и свѣжестью тѣла, маленькій, ароматный кусочекъ, таявшій теперь на языкѣ его, могъ наполнить и сердце его такою-же бод-

ростью, вернуть ясность и спокойствіе душѣ его! ... ельду.
оставалась неспокойной, и тоска сжимала сердц...

— Отецъ,—медленно сказалъ онъ:—этой пи...
комъ достаточно для моего тѣла, но духъ мой ...
кое-же точно смущеніе замѣчаю я и въ тебѣ, и въ ...
Недавно, въ дорогѣ, занялся я комбинаціями чиселъ и знако..., вспомнилъ твои первые уроки, данные мнѣ здѣсь, въ этой комнатѣ, за этимъ столомъ. Въ результатѣ моей работы оказалось нѣчто несовсѣмъ для меня понятное, ибо, какъ всѣмъ намъ извѣстно, каждая работа съ числами и знаками приводитъ къ ясному выводу только тогда, когда мы можемъ подписать его съ помощью нашего разума. Мой-же разумъ въ послѣднее время иногда останавливается и говорить не хочетъ. Но я знаю, и вы конечно, это знаете, что нынѣшній день не походитъ на прежніе подобные дни, что онъ имѣетъ особенное, исключительное значеніе въ нашей общей жизни, въ дѣлѣ, которому мы служимъ, быть можетъ, и въ цѣлой судьбѣ человѣческаго знанія. Вотъ это все мнѣ сказалъ мой разумъ, это я еще яснѣе понимаю теперь, глядя на васъ...

Гансъ фонъ-Небельштейнъ опустилъ свою прекрасную старческую голову, и въ то-же время глаза его грустно и пытливо глядѣли на Захарьева-Овинова.

— Великій братъ!—воскликнулъ Абельзонъ: — ты продолжаешь нашъ разговоръ, прерванный твоимъ появленіемъ. Мы именно остановились на томъ, что ты сейчасъ высказалъ. Мы всѣ знаемъ и чувствуемъ то, что ты знаешь и чувствуешь, и мы спрашивали нашего отца, что это значитъ? Ты вошелъ—онъ не успѣлъ намъ отвѣтить. Теперь, отецъ, когда къ вопросу нашему присоединился и носитель знака Креста-Розы, прерви свое молчаніе, открой намъ то, предчувствіе чего насъ всѣхъ такъ тревожитъ!

— Сегодняшній день, или вѣрнѣе эта ночь все вамъ откроетъ,—отвѣтилъ старецъ:—я же, пока еще не совершилось то, что должно совершиться, не могу сказать вамъ ничего больше. Вамъ извѣстно, что я не всевѣдущъ, что если я и могу читать ясно въ грядущей судьбѣ, то столь-же ясно и твердо знаю, какъ тому училъ и всѣхъ васъ и въ чемъ сами вы убѣдились, что судьба не уничтожаетъ свободы воли въ человѣкѣ.

Всѣ вы знаете, что въ великой книгѣ природы все написано широкими общими чертами. Въ этой книгѣ указаны пути, по которымъ струится міровая жизнь, но воля человѣка, не измѣняя основныхъ, предвѣчныхъ законовъ, можетъ направлять и сглаживать различныя теченія жизни, можетъ производить болѣе

въ менѣе значительныя видоизмѣненія въ судьбѣ. И уже въ особенности способна на это воля людей, которые, подобно вамъ, умѣли разгадать загадки великаго Сфинкса, которые не разъ видѣли, какою безпредѣльной творческой силой обладаетъ воля, если она дѣйствуетъ въ гармоніи съ божественными законами.

Такимъ образомъ, я знаю судьбу сегодняшняго дня только условно. Не станемъ-же упреждать событій, которыхъ мы сами должны быть главнѣйшими двигателями. Не будемъ терять времени на отвлеченную бесѣду.

Но разъ мы всѣ проникнуты сознаніемъ, что нынѣшнее собраніе наше особенно знаменательно, что намъ предстоятъ самыя великія рѣшенія,—сосредоточимъ-же все вниманіе наше на прошломъ братства, взглядимся въ его настоящее, и только тогда мы познаемъ и рѣшимъ будущее, ибо, какъ извѣстно вамъ, будущее есть непреложный, безошибочный результатъ прошедшаго и настоящаго.

XVI.

— Мы здѣсь вдали отъ всего, что такъ или иначе можетъ мѣшать намъ,—продолжалъ онъ послѣ нѣкотораго молчанія:—слова наши никогда не коснутся слуха непосвященныхъ. Мы здѣсь въ полномъ единеніи истиннаго братства, родства не по плоти, а по духу. Вы называете меня своимъ отцомъ, а я васъ называю своими сынами. Заглянемъ-же вмѣстѣ въ далекую глубь временъ... Вы знаете, какіе разнорѣчивые разсказы и слухи ходятъ о нашемъ братствѣ и какъ мало правды во всѣхъ этихъ слухахъ и разсказахъ. Намъ-же вѣдома истина. Ни я, когда еще вращался въ міру, ни вы—не способствовали распространенію того мнѣнія, будто общество розенкрейцеровъ существовало въ доисторическія времена Гермеса-Тота, что оно процвѣтало при царѣ Хирамѣ и при Соломонѣ. Никто изъ насъ не говорилъ посвящаемымъ братьямъ, что оно основано Розенкрейцеромъ, родившимся въ 1378 году и умершимъ ста шести лѣтъ въ 1484 году. Мы знаемъ, что названіе нашего братства происходитъ не отъ имени Розенкрейцера, а отъ креста, центръ котораго состоитъ изъ круговъ, расположенныхъ подобно лепесткамъ розы, и что наша крестовая роза есть величайшій символъ, взглянувъ на который мы наглядно видимъ всѣ тайны природы, заключенныя въ этомъ символѣ... Мы знаемъ, что своей настоящей, до сегодня существующей организаціей братство наше обязано мудрому Валентину

Андрээ изъ Вюртемберга, который въ первый разъ предсѣдательствовалъ въ засѣданіи учителей-розенкрейцеровъ въ 1600 году. Засѣданіе это происходило здѣсь, въ этомъ старомъ замкѣ Небельштейнѣ, въ этой комнатѣ, гдѣ мы теперь находимся. Съ тѣхъ поръ, вотъ уже сто восемьдесятъ лѣтъ, въ этой комнатѣ ежегодно происходятъ подобныя засѣданія. Вотъ уже восемьдесятъ лѣтъ, какъ я принялъ высшее посвященіе и духовную власть главы розенкрейцеровъ изъ рукъ моего дяди Георга фонъ-Небельштейна и собственноручно опустилъ въ никому невѣдомую могилу прахъ этого великаго учителя... Тогда мнѣ было тридцать лѣтъ, теперь мнѣ—сто десять...

Онъ остановился и видно было по лицу его, что передъ нимъ воскресли, ожили давнія воспоминанія.

— Мы знаемъ все это,—сказалъ Захарьевъ-Овиновъ:—но, вѣдь, во всѣхъ даже и превратныхъ толкахъ о нашемъ братствѣ заключается много истины. Во всякомъ случаѣ, хотя братство и создалось сравнительно въ недавнее время, мы прямые наслѣдники древнѣйшихъ мудрецовъ и чувствуемъ свою связь съ ними, мы учились въ одной общей школѣ и съ Соломономъ, и съ Пиѳагоромъ, и со всѣми смѣлыми мужами, разгадывавшими загадки Сфинкса, срывавшими покровы съ Изиды и понимавшими таинственный смыслъ символа Креста-Розы.

— Конечно,—сказалъ старецъ:—истина едина, и всякій, кто сумѣлъ открыть хоть частицу ея,—былъ, есть и будетъ нашъ братъ. Въ этомъ смыслѣ розенкрейцеры всегда существовали, существуютъ и будутъ существовать, пока не исчезнетъ человѣчество. И всегда въ силу высшаго закона, подобные розенкрейцеры легко будутъ приходить, когда того пожелаютъ, въ общеніе другъ съ другомъ и помимо всякаго организованнаго братства... Но я теперь говорю именно объ организованномъ обществѣ, въ главѣ котораго нахожусь и которое имѣетъ опредѣленныя задачи и цѣли. Это величайшее изъ человѣческихъ учрежденій, находясь во времени и пространствѣ, можетъ быть подвержено случайностямъ. Наша обязанность охранять его отъ всякихъ случайностей, беречь его тайну, строго и неусыпно слѣдить за тѣмъ, чтобы каждый изъ посвященныхъ, отъ самаго слабаго ученика и до учителя, исполнялъ свои обязательства. Наша обязанность—отыскивать людей, способныхъ стать истинными розенкрейцерами, помогать имъ, развивать ихъ, слѣдить за ними. Наконецъ, наша обязанность—карать измѣнниковъ, ибо человѣкъ, владѣющій великими тайнами природы, открытыми ему нами, и злоупотребляющій своими познаніями, долженъ погибнуть, для того, чтобы изъ-за одного преступника не погибли тысячи невинныхъ. Вы знаете, что дѣятельность главы

нашего братства, не требуя отъ него передвиженій, требуетъ, однако, много времени, много силъ, большую затрату силъ! Пока я былъ въ состояніи — я исполнялъ всѣ мои обязанности, до сегодня я знаю все, что относится къ братству, за всѣмъ слѣжу; я не упустилъ ничего, и дѣятельность каждаго брата, какова-бы ни была степень его посвященія и гдѣ-бы онъ ни жилъ—мнѣ извѣстна. Я направляю и укрѣпляю достойныхъ, или посредствомъ инструкцій, даваемыхъ мною одному изъ насъ, учителей, или иными, извѣстными мнѣ, способами. Но мнѣ сто десять лѣтъ и, хотя я еще могу жить и работать, у меня уже не прежнія силы, я уже становлюсь слишкомъ слабъ для исполненія обязанностей главы братства. Въ этомъ для васъ нѣтъ ничего новаго. Вы знаете, что мнѣ пора передать мою власть въ болѣе крѣпкія руки. Сегодня мы собрались здѣсь прежде всего для этой передачи. Я открылъ засѣданіе, но закрыть его долженъ новый глава розенкрейцеровъ...

Старецъ замолчалъ и пытливымъ, строгимъ взглядомъ впился въ глаза Захарьева-Овинова, на котораго пристально глядѣли и учителя. Но никто изъ нихъ ничего не прочелъ на внезапно будто застывшемъ, будто окаменѣвшемъ лицѣ великаго розенкрейцера.

Старецъ заговорилъ снова:

— Мой преемникъ извѣстенъ, и преемство въ средѣ нашей происходитъ не въ силу желанія или нежеланія нашего, а по праву истиннаго знанія, силъ и внутреннихъ качествъ...

— Вотъ человѣкъ!—дрогнувшимъ голосомъ воскликнулъ онъ, указывая на Захарьева-Овинова:—вотъ человѣкъ, давно, съ дѣтства своего предназначенный для великой власти! Мы слѣдили за нимъ, привлекли его къ себѣ, и съ нашею помощью онъ быстро поднялся по лѣстницѣ посвященій. Всѣ испытанія пройдены имъ, и еще недавно онъ одержалъ огромную послѣднюю побѣду надъ матеріальной природой...

Снова остановился старецъ, и взглядъ его такъ и впивался въ Захарьева-Овинова, силясь проникнуть въ глубину души его и прочесть въ ней все, до самаго дна. Но великій розенкрейцеръ заперъ свою душу, и старецъ тщетно стучался въ эти до сихъ поръ всегда открытыя для него двери.

— Да! — почти съ негодованіемъ произнесъ онъ:—часъ насталъ! Мои силы ослабѣли... его силы возрасли... Я готовъ передать ему власть мою и провести остатокъ дней моихъ въ ничѣмъ уже не возмущаемой тишинѣ... Сынъ мой, гдѣ знакъ твоего великаго посвященія?

Захарьевъ-Овиновъ поднялся со своего кресла, быстро разстегнулъ на груди свой камзолъ, и чудный знакъ Креста-Розы сверкнулъ своимъ таинственнымъ, непонятнымъ свѣтомъ.

— Свѣтоносецъ!—едва слышно прошепталъ старецъ, въ то время какъ четверо учителей встали со своихъ мѣстъ и почтительно, но также и съ какимъ-то какъ-бы ужасомъ поклонились великому розенкрейцеру. — Свѣтоносецъ! готовъ-ли ты принять нынѣ власть изъ рукъ моихъ? Ты знаешь, какъ страшна эта власть для тѣхъ, противъ кого она должна направляться, какими могучими средствами она владѣетъ, и ты знаешь также, что еще болѣе страшна она для того, кто облеченъ ею, ибо эта высшая, могущественная власть налагаетъ и высшія, самыя тяжкія обязанности... Еще недавно мнѣ нечего было говорить тебѣ объ этомъ и спрашивать тебя, согласенъ-ли ты занять мое мѣсто... Теперь-же,—прибавилъ онъ грустнымъ и въ то-же время негодующимъ тономъ:—приходится спрашивать...

— Отчего?—произнесъ Захарьевъ-Овиновъ тѣмъ холоднымъ, металлическимъ голосомъ, отъ котораго странно и холодно становилось на душѣ у слушателей.

— Отчего?.. Праздный вопросъ!.. Хорошъ-бы я былъ отецъ, хороши были-бы они учителя, еслибъ намъ не было вѣдомо, что ты способенъ отказаться... Чтожъ! У всякаго человѣка свободная воля... а у тебя ея много, больше чѣмъ у другихъ... Мы ждемъ твоего отвѣта.

На нѣсколько мгновеній подъ древними низкими сводами воцарилась глубокая тишина. Поблѣднѣвшее лицо старца выражало скорбь. Четверо учителей, тоже блѣдные, затаивъ дыханіе, ждали.

Захарьевъ-Овиновъ сдѣлалъ шагъ и склонился передъ старцемъ.

— Отецъ! передай мнѣ бремя твоей великой власти!—твердымъ голосомъ сказалъ онъ.

XVII.

Гансу фонъ-Небельштейну и учителямъ показалось, что они не такъ слышатъ.

«Онъ... онъ не отказывается?.. Онъ такъ прямо и твердо принимаетъ власть?.. Какъ-будто онъ все тотъ-же, какимъ былъ годъ тому назадъ... Что-же это значитъ?»—Вѣдь, всѣ они были почти увѣрены въ его отказѣ, готовились къ нему. Имъ предстояло потребовать отъ него полнаго отчета, полной исповѣди и затѣмъ, общими усиліями, постараться успокоить его сомнѣнія; его непонятное душевное возмущеніе и снова вернуть его на тотъ путь, по которому онъ такъ побѣдоносно шелъ всю жизнь и гдѣ ему предстояло, подобно солнцу, свѣтить всему міру, жаждущему истиннаго познанія.

Но они знали всю силу его духа, всю его твердость, и борьба съ нимъ страшила ихъ, и они тревожно помышляли о томъ, что будетъ если они потерпятъ пораженіе... Ихъ знанія оказались неполными... они неясно прочли въ душѣ... Онъ согласенъ!..

Съ невольнымъ крикомъ радости всѣ они кинулись къ великому розенкрейцеру. Трепещущій старецъ поднялся со своего кресла и обнялъ Захарьева-Овинова.

— Вѣдь, я говорилъ,—торжественно произнесъ онъ:—что воля человѣка видоизмѣняетъ судьбу! Не думаю я, что мы совершенно избавились отъ грозной опасности, но все-же самое страшное насъ миновало: мы не услышали его отказа... Его воля явилась побѣдительницей надъ всѣми враждебно и мрачно складывавшимися электро-магнитными вліяніями. Итакъ, сынъ мой, я иду на покой и уступаю тебѣ свое мѣсто... Но... вѣдь, то, что произойдетъ сейчасъ... оно безповоротно. Актъ передачи власти въ нашемъ братствѣ,—величайшій актъ, какъ велика и сама власть. Я отказываюсь отъ власти своей не по своему желанію, а потому, что «не могу», не въ силахъ сохранить эту власть. Кромѣ тебя, никому я не въ правѣ передать ее, ибо никто ее не вынесетъ и еслибъ я вздумалъ назвать своимъ преемникомъ не тебя, а кого-либо другого, то это были-бы пустыя слова, и только.

— Мы всѣ очень хорошо и давно это знаемъ,—сказалъ Захарьевъ-Овиновъ.—Развѣ я могъ выразить свое согласіе такъ легкомысленно? Я принимаю власть главы розенкрейцеровъ въ силу своего права, въ силу того, что пришелъ часъ совершиться этому.

И старикъ, и учителя вздохнули полной грудью: до этихъ словъ они все еще почти не смѣли вѣрить.

Гансъ фонъ-Небельштейнъ ступилъ шагъ по направленію къ одной изъ стѣнъ комнаты—и вдругъ часть этой стѣны мгновенно какъ-бы осѣла, и среди огромныхъ старыхъ камней образовалось довольно значительное отверстіе. Въ немъ помѣщалось нѣсколько десятковъ старинныхъ фоліантовъ и рядъ свертковъ пергамента.

— Вотъ,—сказалъ старецъ, подходя къ отверстію и вынимая оттуда одинъ свертокъ пергамента:—здѣсь хранятся у меня самыя рѣдчайшія книги. Нѣкоторыя изъ нихъ чудеснымъ образомъ, ибо слѣпого случая не бываетъ въ природѣ, уцѣлѣли отъ пожара Александрійской библіотеки, другія достигли моего стараго замка, послѣ многихъ столѣтій скитаній по всему міру, изъ глубины древней Азіи. Третьи, наконецъ, суть творенія вѣдомыхъ и невѣдомыхъ мыслителей среднихъ вѣковъ. Затѣмъ, въ

этихъ свертках, собраны всѣ документы, относящіеся до нашего братства съ перваго дня его основанія. Здѣсь хранятся списки всѣхъ братьевъ, ихъ curriculum vitae, здѣсь, наконецъ, три акта передачи верховной власти, скрѣпленные подписями свидѣтелей. Уже почти годъ тому назадъ я приготовилъ четвертый актъ, по которому передаю свою власть носителю знака Креста-Розы...

Онъ развернулъ свертокъ, бывшій у него въ рукахъ, и громко, торжественно прочелъ его. Въ этомъ актѣ, написанномъ по-латыни, значилось, что «глава всемірнаго братства розенкрейцеровъ, баронъ Гансъ фонъ-Небельштейнъ, достигнувъ стодесятилѣтнаго возраста, и послѣ восьмидесятилѣтняго управленія братствомъ, чувствуетъ приближеніе старческой слабости. Не въ силахъ будучи съ прежней энергіей и добросовѣстностью управлять всемірнымъ братствомъ, онъ отказывается навсегда и безповоротно отъ своей верховной власти и всецѣло, при свидѣтеляхъ, великихъ учителяхъ розенкрейцерахъ: Роже Левекѣ, баронѣ фонъ-Мелленбургѣ, графѣ Хоростовскомъ и Іоганнѣ Абельзонѣ передаетъ ее князю Юрію Захарьеву-Овинову. Носитель знака Креста-Розы принимаетъ верховную власть въ братствѣ по праву своего знанія, своей силы, пройдя всѣ посвященія отъ низшаго до высшаго, оставивъ за собою всѣ испытанія и достигнувъ той свободы духа, которая требуется для законнаго верховенства надъ братьями. И Гансъ фонъ-Небельштейнъ, отходящій на покой глава розенкрейцеровъ, и великіе учителя-свидѣтели клянутся своимъ именемъ розенкрейцеровъ, клянутся страшной клятвой отнынѣ повиноваться во всемъ, касающемся братства, новому главѣ его».

Когда это чтеніе было окончено, старецъ поднялъ глаза на слушателей и дрогнувшимъ голосомъ спросилъ ихъ согласія. Четыре учителя наклонили головы и сказали:

«Согласны».

— Въ такомъ случаѣ произнесите за мною установленную клятву,—возвышая голосъ, воскликнулъ старецъ.

И пять голосовъ, сливаясь подъ низкими древними сводами, произнесли:

«Клянемся предвѣчной истиной, которой служимъ, клянемся гармоніей божественныхъ законовъ, клянемся великимъ символомъ Креста-Розы безпрекословно повиноваться въ каждомъ дѣлѣ, имѣющемъ какое-нибудь отношеніе до нашего священнаго братства, повиноваться съ полнымъ дѣтскимъ подчиненіемъ великому носителю знака Креста-Розы, законному, вновь утвержденному и прославленному главѣ и отцу нашему, князю Юрію Захарьеву-Овинову!»

Старецъ и четыре учителя стали на колѣни, затѣмъ поднялись и снова, почти до земли, поклонились Захарьеву-Овинову. А онъ во все это время стоялъ неподвижно, какъ каменное изваяніе, и на блѣдномъ, будто мраморномъ лицѣ его ничего не выражалось, только глаза горѣли неестественнымъ блескомъ. Когда розенкрейцеры встали, поклонясь ему, и онъ обнялъ каждаго изъ нихъ, начиная со старца, всѣ подошли къ столу и подписали актъ.

Тогда Захарьевъ-Овиновъ взялъ этотъ актъ, еще разъ пробѣжалъ его глазами, свернулъ пергаментъ, перевязалъ его лентой и положилъ въ отверстіе въ стѣнѣ, на то мѣсто, откуда вынулъ его старецъ. Мигъ—и тяжелые камни, повинуясь невидимому механизму, снова поднялись, стѣна сравнялась, и никто не сказалъ-бы, что въ ней заключается потайной шкапъ, хранящій быть можетъ самые драгоцѣнные манускрипты во всемъ мірѣ.

Всѣ размѣстились по своимъ мѣстамъ.

— Тяжелое бремя спало съ плечъ моихъ,—сказалъ Гансъ фонъ-Небельштейнъ:—давно ждалъ я этого часа, давно къ нему готовился. Теперь,—обратился онъ къ Захарьеву-Овинову:—потребуй отъ меня отчета во всѣхъ моихъ дѣйствіяхъ за послѣдній годъ, съ того дня, какъ мы были здѣсь собраны въ засѣданіи.

— Мнѣ не надо никакого отчета—отвѣчалъ Захарьевъ-Овиновъ:—я знаю всѣ дѣла братства, всѣ дѣйствія его членовъ и особаго труда знать это не составляетъ, такъ какъ послѣдній годъ былъ очень тихимъ годомъ. У насъ прибавилось нѣсколько братьевъ, получившихъ первыя посвященія. Всѣ розенкрейцеры низшихъ степеней теперь собраны въ Нюренбергѣ.

— Да, и завтра-же мы туда отправляемся,—сказали учителя:—каждый къ своей секціи.

— О розенкрейцерахъ никто не говоритъ,—между тѣмъ продолжалъ Захарьевъ-Овиновъ:—о нихъ забыли, а кто ихъ вспоминаетъ, тотъ или вовсе не вѣритъ, что они когда-либо были на свѣтѣ, или думаетъ, что братство, осмѣянное уже болѣе полутораста лѣтъ тому назадъ, въ первое-же время своего возникновенія, давно не существуетъ. Какія надежды подаютъ новые, въ послѣднее время посвященные члены? Объ этомъ пусть скажутъ ихъ руководители... Одинъ изъ розенкрейцеровъ, находящійся подъ твоимъ руководствомъ, братъ Albus (Захарьевъ-Овиновъ обратился къ Абельзону), попался на пути моемъ: это Джузеппе Бальзамо, называвшій себя въ Россіи графомъ Фениксомъ, извѣстный въ Европѣ подъ именемъ графа Калиостро. Онъ только одинъ за послѣднее время нарушаетъ тишину, господствующую въ братствѣ. Это человѣкъ большихъ способ-

ностей и немалыхъ знаній, человѣкъ, могущій причинить большое зло, хотя въ немъ не одинъ мракъ, и даже не знаю я чего въ немъ больше—мрака или свѣта. Это несчастное, погибшее существо. Онъ много зла собирался сдѣлать на моей родинѣ, но я не допустилъ этого...

— Это измѣнникъ!—перебилъ Абельзонъ.—Онъ въ Нюренбергѣ, я съ нимъ увижусь. Онъ долженъ подлежать карѣ. Тебѣ придется начать свое владычество смертнымъ приговоромъ. Тяжкая обязанность! Но, вѣдь, я, руководитель этого измѣнника, буду ея исполнителемъ—и рука моя не дрогнетъ!

— Я не начну своего владычества смертнымъ приговоромъ,— спокойно сказалъ Захарьевъ-Овиновъ:

— Какъ? Но, вѣдь, онъ измѣнникъ!—воскликнули разомъ всѣ, даже старецъ.

— Нѣтъ,—все такъ-же спокойно отвѣтилъ новый глава розенкрейцеровъ:—имя нашего братства ни разу и нигдѣ не было произнесено имъ, да и не будетъ произнесено. Онъ несчастный человѣкъ, не намъ быть его палачами, онъ самъ себѣ палачъ. Онъ самъ, достойный лучшей участи, ежедневно подписываетъ свой смертный приговоръ—и въ концѣ-концовъ погибнетъ. Спасти его нельзя, я это знаю. Но мы еще поговоримъ о немъ съ тобою, Albus, и ты... или мы его еще увидимъ въ Нюренбергѣ. Теперь-же не въ немъ дѣло...

Глаза его блеснули и загорѣлись новымъ огнемъ; неподвижное лицо внезапно будто ожило и глубокое страданіе, которое сразу съ изумленіемъ и невольнымъ страхомъ замѣтили розенкрейцеры, изобразилось на немъ.

— Отецъ,—сказалъ онъ, обращаясь къ старцу:—помнишь-ли ты мои былыя мечтанія, помнишь-ли священный трепетъ, наполнявшій меня, когда ты говорилъ о неизбѣжности, о близости той минуты, которую я теперь переживаю? Ты помнишь, что я жаждалъ этой минуты не ради власти, а ради того высшаго совершенства, достиженіе котораго сдѣлаетъ меня ея достойнымъ. Я говорилъ тебѣ, что тогда я упьюсь наконецъ и насыщусь, я, всю жизнь терзаемый голодомъ и жаждой! И ты отвѣчалъ мнѣ: «Да, ты упьешся, ты насытишься!»... Отецъ, я занялъ твое мѣсто... Отецъ, ты никогда не лгалъ, ты не можешь лгать... Я попрежнему голоденъ, попрежнему жажду—напой и накорми меня!..

У всѣхъ такъ и упало сердце. Всѣ сразу почувствовали, что грозившая бѣда, та бѣда, которую и отецъ и учителя почли уже минувшей, снова надвигается, что она даже страшнѣе, чѣмъ имъ казалось. Полное молчаніе было отвѣтомъ новому главѣ розенкрейцеровъ.

— Или я говорю неясно!—воскликнулъ онъ, и еще болѣе невыносимое страданіе изобразилось на лицѣ его.—Слышишь, отецъ, я голоденъ, я жажду, я задыхаюсь! Это ли вѣнецъ работы всей жизни, великихъ познаній, доведшихъ меня до власти, почитаемой нами величайшей властью въ мірѣ? Глава розенкрейцеровъ, мудрецъ изъ мудрецовъ земныхъ!... Въ чемъ-же мудрость моя, въ чемъ-же и твоя мудрость, если ты не могъ и не можешь напоить меня и насытить, и если я самъ не могу этого?...

— О какой пищѣ, о какомъ питьѣ говоришь ты, сынъ мой?— едва ворочая языкомъ и съ ужасомъ глядя на Захарьева-Овинова прошепталъ старецъ.

— Я говорю о счастьи,—внезапно овладѣвая собой и холодѣя, произнесъ Захарьевъ-Овиновъ.—Я полагалъ, что достигнувъ этой вершины, на которой нахожусь теперь, я достигну предѣла знаній. Между тѣмъ теперь я знаю, что передо мною все та же безпредѣльность. Я полагалъ, что вѣнецъ нашихъ усилій, нашей работы—безмятежность души и счастіе, а между тѣмъ, если до сихъ поръ я не считалъ себя послѣднимъ изъ несчастливцевъ, то единственно потому, что не понималъ этого. Отецъ, я несчастливъ и вмѣстѣ со мною несчастливы и вы всѣ!..

Нельзя себѣ представить того впечатлѣнія, какое эти слова произвели на розенкрейцеровъ. Будто громъ ударилъ надъ ними, будто вѣковыя стѣны стараго замка обрушились и придавили ихъ. Всѣ эти мудрецы и самъ стодесятилѣтній старецъ, вмѣщавшій въ себѣ всю мудрость тысячелѣтій жизни человѣчества, въ первый разъ остановились на мысли о счастіи и несчастіи. Всѣ они почувствовали въ словахъ Захарьева-Овинова громадное, роковое значеніе и поняли, поняли всѣмъ существомъ своимъ, что прожили всю жизнь, не зная, что такое счастіе, никогда не испытавъ его, никогда даже о немъ не подумавъ. Весь ужасъ, наполнявшій душу Захарьева-Овинова и вырывавшійся изъ этой измученной, такъ недавно еще холодной, но теперь горѣвшей неугасимымъ огнемъ души, передался имъ. И всѣ они сидѣли неподвижно, какъ зачарованные, глядя въ метавшіе искры глаза великаго розенкрейцера и ожидая новаго, страшнаго удара.

XVIII.

— Сынъ мой,—выговорилъ наконецъ Гансъ фонъ-Небельштейнъ:—въ словахъ твоихъ заключается такая безконечность отчаянія и такое тяжкое обвиненіе всѣмъ намъ, и прежде всѣхъ мнѣ,

что я даже не могу себѣ представить, какъ подобныя слова прозвучали подъ этими сводами... Отъ кого мы ихъ услышали?! Вѣдь, мы не авгуры, морочившіе народъ... наши знанія—не обманъ, не шарлатанство. А если мы обладаемъ дѣйствительными познаніями, скрытыми отъ другихъ людей, если мы наслѣдники и носители всей мудрости человѣчества, то, вѣдь, въ этой мудрости, въ этомъ знаніи и заключается все высшее счастіе, какое способенъ вмѣщать въ себѣ и испытывать человѣкъ, находящійся въ тѣлѣ...

— Отецъ, мы не разъ говорили обо всемъ этомъ и теперь нечего повторять старое и извѣстное,—перебилъ Захарьевъ-Овиновъ.—Отвѣчайте мнѣ всѣ прямо, ибо вопросъ мой—не пустой вопросъ и на него не можетъ быть условнаго отвѣта: счастливы-ли вы?

— Да, мы счастливы!—отвѣтили розенкрейцеры, стараясь вложить въ этотъ отвѣтъ какъ можно больше убѣдительности и спокойствія. Ихъ «стараніе», конечно, не ускользнуло отъ пристальнаго взгляда Захарьева-Овинова—и едва замѣтная, печальная усмѣшка скользнула по губамъ его.

— Разберемъ ваше счастье!—сказалъ онъ.

Всѣ сидѣли теперь какъ-то уныло, будто осужденные, и тревога выражалась во всѣхъ взглядахъ, обращенныхъ на великаго розенкрейцера.

— Братъ мой, Роже Левекъ!—воскликнулъ онъ, приближаясь къ скромному французу и кладя ему руку на плечо.—Итакъ, ты счастливъ?! Упорнымъ многолѣтнимъ трудомъ, проводя безсонныя ночи за древними книгами и манускриптами и впиваясь пытливымъ умомъ въ тайный смыслъ символовъ, ты достигъ большихъ знаній. Ты понялъ единство природы и, сдѣлавъ изъ этого единства выводъ о возможности производить чистое золото изъ низшихъ металловъ, ты, съ помощью нашего великаго учителя (онъ указалъ на старца), приступилъ къ «дѣланію». Ты началъ съ алхимической работы надъ самимъ собою, а потому безошибочно добылъ то чудное, первобытное вещество, того символическаго «краснаго льва», крупинка котораго легко можетъ превратить въ чистое золото огромный кусокъ желѣза. Передъ тобой открыты тайны видѣнія въ астральномъ свѣтѣ, чтенія и направленія чужихъ мыслей. Въ твоихъ рукахъ истинная власть и ты... ты по прежнему сидишь въ своей пыльной лавочкѣ букиниста и ѣшь свой салатъ въ тавернѣ, и подвергаешься презрительному обращенію каждаго нахала...

Роже Левекъ вскочилъ со своего кресла.

— Кто говоритъ это?!. Ты... ты!—внѣ себя вскричалъ онъ.—Да, вѣдь, это нѣчто непостижимое! Такъ говорить можетъ не-

посвященный слѣпецъ! И мнѣ странно отвѣчать тебѣ, что если я сижу въ своей лавочкѣ, если я не дѣлаю золота, умѣя его дѣлать, то это именно, вѣдь, потому только, что мои знанія истинны... Я умѣю дѣлать золото, и потому оно для меня не дороже всякаго булыжника, валяющаго на улицѣ... Я легко могу окружить себя всѣми благами міра—и потому они мнѣ не нужны. Я добровольно остаюсь въ своей лавочкѣ—и это даетъ мнѣ право на званіе великаго учителя, которое для меня дороже всего...

— И ты счастливъ сознаніемъ своего великаго учительства?—тихо, покачавъ головою, произнесъ Захарьевъ-Овиновъ.—Не говори этого, не говори о своемъ счастіи, когда я знаю, что теперь, сейчасъ вотъ, ты отдалъ-бы всѣ свои знанія, всѣ свои силы, всю свою власть, чтобы, какъ двадцать пять лѣтъ тому назадъ, прижать къ своей груди твою Матильду и твоего маленькаго Жана, которыхъ смерть отняла у тебя во время морового повѣтрія, въ тотъ страшный день, когда ты и самъ былъ на краю могилы...

Роже Левекъ пошатнулся, схватился за голову руками — и безсильно упалъ въ кресло. Вся тоска и всѣ сердечныя муки этихъ двадцатипяти лѣтъ, тоска и муки, въ которыхъ онъ никогда не признавался не только передъ кѣмъ-либо, но и передъ собою, вдругъ нахлынули на него, вызванныя этими нежданными словами. И подъ напоромъ непобѣдимой, прорвавшей свои оковы силы—глухое рыданіе вырвалось изъ груди его.

— Вотъ, какъ ты счастливъ, великій учитель!—грустно сказалъ Захарьевъ-Овиновъ и, отойдя отъ него, приблизился къ Абельзону.

— Братъ Albus, — началъ онъ спокойно и прямо глядя въ могучіе, страшные глаза маленькаго человѣка:—и ты тоже счастливъ? Ты взялъ свое имя—Albus для того, чтобы подъ этимъ бѣлымъ покровомъ скрыть мракъ, который часто, часто бываетъ въ душѣ твоей... Но, вѣдь, не только природу, а и меня не обманешь!.. Ты не производилъ внутренней алхимической работы, и я прямо скажу тебѣ, что она была-бы неудачна, — да и ты самъ это знаешь. Но у тебя достаточный запасъ «краснаго льва», и если-бы ты захотѣлъ — этотъ запасъ произвелъ-бы столько золота, что ты-бы могъ построить изъ него цѣлый замокъ. Только тебѣ этого не надо... О, ты безупречный розенкрейцеръ! Ты развилъ свою волю до высочайшихъ предѣловъ и она можетъ производить то, что темные люди называютъ чудесами. Ты по праву занялъ въ братствѣ мѣсто великаго учителя. Ты никогда не пользовался своими знаніями и своею властью для того, чтобы дѣлать то, что мы называемъ зломъ,—и въ этомъ-то и сказалась твоя желѣзная воля. Ты крѣпкими узами опуталъ себя, но не по-

бѣдилъ въ себѣ, а только насильственно сковалъ страшнаго, лютаго звѣря... Этотъ звѣрь живъ и рвется изъ неволи, томитъ и грызетъ тебя. По жизни своей, по своимъ дѣйствіямъ ты стоишь на высотѣ, которой не достигаютъ страсти. А между тѣмъ эти страсти бушуютъ въ душѣ твоей. Я изумляюсь тебѣ и уважаю тебя, ибо такая сила воли достойна уваженія! Но я тебя знаю. Не равнодушіе въ тебѣ ко всѣмъ благамъ міра, не возвышеніе надъ человѣческими слабостями, не спокойный взглядъ на человѣчество сверху внизъ... О, если-бы ты развязалъ свою душу, снялъ съ нея насильственно надѣтыя на нее цѣпи,—ты-бы ринулся въ самую глубину страстей, упился-бы кровью, насладился-бы чужими страданіями! Ты ненавидишь человѣчество, въ тебѣ кипитъ кровь твоихъ предковъ-евреевъ. Ты вмѣщаешь въ себѣ всю ненависть своего племени къ другимъ народамъ. О, ты жестокъ, братъ Albus, и бываешь радъ, когда братство поручаетъ тебѣ карать измѣнника. Ты вотъ и теперь стремился къ роли палача и требовалъ, чтобы я подписалъ смертный приговоръ, и говорилъ мнѣ, что рука твоя не дрогнетъ... Да, ты можешь испытывать злобныя, страшныя наслажденія, которыхъ лишаешь себя силой своей воли, силой своего разума,—а счастья все-же ты не знаешь и не зналъ никогда, ибо счастье не есть наслажденіе злобы и мести. Опровергни меня, если можешь!..

Но Абельзонъ молчалъ, лицо его страшно поблѣднѣло, и удивительные глаза, сила которыхъ заставляла каждаго смиряться и замолкать, безсильно опустились передъ спокойнымъ, холоднымъ взглядомъ великаго розенкрейцера.

— Баронъ фонъ-Мелленбургъ,—обратился Захарьевъ-Овиновъ къ важному, величественному нѣмцу:—скажи мнѣ, одержалъ-ли ты побѣду надъ своимъ честолюбіемъ, не приходятъ-ли къ тебѣ до сихъ поръ минуты, когда ты готовъ отказаться отъ великаго учительства и бѣжать изъ братства, захвативъ съ собою всѣ знанія, какія помогли-бы тебѣ удовлетворить твоей страсти? Не мечтаешь-ли ты о блескѣ и власти и не находишь-ли ту власть, которой обладаешь, незавидной, ибо она вѣдома только въ небольшомъ кружкѣ розенкрейцеровъ высшихъ посвященій?.. Ты тоже, какъ и братъ Albus, въ постоянной борьбѣ съ самимъ собою. Это-ли счастье? Что-же, или я клевещу на тебя?.. Скажи, что я клевещу—и я буду просить у тебя прощенія...

— Мы признали тебя своимъ главою, великій свѣтоносецъ,—медленно произнесъ баронъ фонъ-Мелленбургъ:—читая въ душѣ нашей, ты еще разъ доказываешь то, что мы уже знаемъ, то-есть твою власть и силу... И если ты началъ съ признанія своего голода и своей жажды, то для насъ нѣтъ униженія быть слабыми и несчастными, несмотря на всѣ наши знанія...

— Зачѣмъ-же ты такъ увѣренно отвѣтилъ на мой вопросъ, зачѣмъ объявилъ, что ты счастливъ?.. Почему-же ты подумалъ, что можешь скрыть отъ меня истину?

Баронъ фонъ-Мелленбургъ взглянулъ на старца, ища въ немъ поддержки. Но старецъ сидѣлъ неподвижно, сдвинувъ брови, съ почти потухшимъ взглядомъ, устремленнымъ въ одну точку. Онъ ни однимъ словомъ, ни однимъ движеніемъ не поддержалъ великаго учителя. Вѣдь, и онъ, величайшій изъ мудрецовъ, такъ-же точно обвинялся во лжи, въ легкомысленной лжи—и ему нечего было отвѣтить на это обвиненіе. Онъ только чувствовалъ свое униженіе, свое безсиліе, мучительно чувствовалъ напоръ бури, которая разразилась и съ которой нельзя бороться.

— А ты, графъ Хоростовскій, — обратился великій розенкрейцеръ къ другому сухому старику, сидѣвшему тоже опустивъ голову:—у тебя и помимо «краснаго льва» собраны несмѣтныя богатства, и лежатъ они какъ ненужный хламъ, непригодный ни для тебя, ни для другихъ. За всѣ долгіе годы твоей жизни ты не видалъ вокругъ себя ни одной улыбки, ты никому не сдѣлалъ сознательнаго зла, но и добра тоже не сдѣлалъ... И тебѣ холодно, и тебѣ скучно, и вотъ теперь ты сидишь съ опущенной головою, потому что въ первый разъ въ жизни я этими своими словами пробудилъ въ тебѣ сознаніе, что тебѣ холодно и скучно!..

Старый графъ только еще ниже опустилъ голову. Передъ нимъ мелькала вся его жизнь, прошедшая въ поискахъ за невѣдомымъ и въ нахожденіи того, что не давало никакого тепла, никакого счастья.

— Отецъ!—воскликнулъ тогда Захарьевъ-Овиновъ, подходя къ старцу Небельштейну, — твои знанія и твои силы громадны! Эти знанія, эти силы такъ велики, что если ты не нашелъ полнаго всесовершеннаго счастья, значитъ оно зависитъ не отъ силъ и не отъ знаній. А что ты не нашелъ его, этого счастья, доказываетъ мнѣ слабость твоего стараго тѣла, изъ-за которой ты передалъ мнѣ сегодня власть свою. Ты утомленъ жизнью, ищешь покоя, не хочешь воспользоваться тѣми средствами, которыя въ состояніи снова вернуть къ бодрости твое дряхлѣющее тѣло. Пусть непосвященные, слѣпые скептики считаютъ сказкой возможность продленія человѣческой жизни, но, вѣдь, мы съ тобой знаемъ, что это не сказка и вѣдомо мнѣ, что еще на много десятилѣтій ты могъ-бы поддержать въ себѣ тѣлесную силу. Однако, ты этого не хочешь, ты усталъ отъ земной жизни, тебѣ отрадно, мало-по-малу ослабѣвая, уйти въ иныя сферы. Отъ счастья не бѣгутъ, отецъ,—значитъ твое счастье не здѣсь...

— Ты въ этомъ правъ, сынъ мой, — мрачно отвѣтилъ старецъ:—но я жду конца твоей рѣчи и ужъ тогда тебѣ отвѣчу...

XIX.

— Конецъ приближается!—воскликнулъ Захарьевъ-Ос
болѣе и болѣе одушевляясь. — Мы должны быть преж
правдивы и мудры. Мы живемъ въ знаменитое время. Пр
идетъ немного лѣтъ,—и мы будемъ присутствовать при страшныхъ, кровавыхъ событіяхъ, которыя окажутся кризисомъ въ болѣзни человѣчества. Человѣчество оправится послѣ этого страшнаго кризиса, и начнется для него новая эра... Еще столѣтіе, другое, третье—и видъ земли измѣнится до неузнаваемости. Знанія человѣческія станутъ возрастать съ необычайной быстротою. Тайны природы, извѣстныя теперь лишь намъ, немногимъ избраннымъ, и хранимыя нами подъ великою печатью молчанія, мало-по-малу сдѣлаются общимъ достояніемъ. Бороться противъ этого нельзя и безполезно. Пройдетъ какихъ-нибудь полтораста, двѣсти лѣтъ— и то, что считается теперь безумной сказкой, станетъ для всѣхъ привычной дѣйствительностью. Однимъ словомъ, человѣчество пойдетъ по тому пути, по которому прошли мы всѣ, розенкрейцеры, въ теченіе нашей жизни. Какъ то, что мы знаемъ теперь, казалось намъ когда-то чудеснымъ и невозможнымъ, теперь-же представляется обычнымъ, а потому и не производитъ на насъ никакого впечатлѣнія,—такъ точно будетъ и съ человѣчествомъ... Какъ мы начали съ матеріи и перешли къ духу, познавъ, что міръ матеріальный есть только отраженіе духовнаго, — такъ и человѣчество начнетъ съ открытій въ области матеріи, обоготворитъ ее и затѣмъ... затѣмъ убѣдится, что тѣ-же самыя явленія происходятъ гораздо проще и лучше съ помощью духа. Мы въ значительной степени уничтожили препятствія, представляемыя намъ пространствомъ и временемъ, — и человѣчество легко достигнетъ этого. Мы знаемъ тайну производства золота,—и человѣчество откроетъ ее. Для насъ золото не имѣетъ никакой цѣны, точно также потеряетъ оно цѣну для всѣхъ, и надо будетъ найти что-нибудь новое, что имѣло-бы цѣну... Мы умѣемъ овладѣвать мыслями, чувствами и поступками людей, и въ то-же время знаемъ средства избѣгать подобнаго рабства, средства вѣрной защиты отъ постороннихъ вліяній. Мы видимъ безъ глазъ, слышимъ безъ ушей и сообщаемся другъ съ другомъ, не теряя времени и пренебрегая пространствомъ. Мы соединяемъ въ маленькомъ кусочкѣ вещества все, необходимое для питанія нашего организма на болѣе или менѣе долгое время. Мы на десятки лѣтъ останавливаемъ разрушеніе нашего тѣла. Все это станетъ доступно каждому человѣку... Какъ мы, овладѣвъ тайнами природы, живемъ и распоряжаемся въ области, со-

ствующей нашимъ познаніямъ, точно также и человѣчество будетъ распоряжаться въ этой области. Если-бы мы дожили до того времени, не увеличивъ нашихъ познаній, то изъ людей высшихъ, могущественныхъ—превратились-бы въ людей самыхъ обыкновенныхъ... Мы идемъ впереди, вотъ и все! Мы идемъ впереди, но человѣчество быстро насъ нагоняетъ. Во всѣ времена будутъ люди, которые пойдутъ впереди, и человѣчество всегда будетъ нагонять ихъ. Но какъ теперь мы, поднявшись на высоту знаній, живя и дѣйствуя въ болѣе широкой и свѣтлой области, чѣмъ другіе, не получили отъ этого счастья, такъ и человѣчество, въ какой-бы высокой области познаній ни оказалось, этимъ самымъ не достигнетъ еще счастія... А между тѣмъ, вѣдь, понятіе о счастіи существуетъ, оно не звукъ пустой. Существо человѣческое способно къ счастію и, достигая его, возвышаетъ и развиваетъ свою душу болѣе, чѣмъ знаніемъ, болѣе, чѣмъ силой и могуществомъ. Счастіе есть вѣнецъ жизни. Мы теперь должны, наконецъ, убѣдиться, не разсужденіями, а нашимъ внутреннимъ чувствомъ, что познанія не даютъ его, значитъ даетъ его нѣчто иное, чего у насъ нѣтъ, что мы просмотрѣли въ нашей мудрости. А, между тѣмъ, такъ какъ счастіе есть высшее благо, то какіе-же мы учителя, если не владѣемъ имъ и не можемъ дать его ученикамъ нашимъ?.. Мы несемъ съ собою свѣтъ, но тепла не несемъ, какіе-же мы учителя и въ чемъ значеніе нашего братства?..

— Тепло и свѣтъ!..—шептали губы старца.—Да, ты правъ... свѣтъ и тепло—это величайшее сочетаніе... это истинная, единая жизнь; но если мы не владѣемъ этой тайной... если мы пребываемъ въ заблужденіи, повѣдай намъ все, ты нашъ глава!..

— Если-бы я открылъ эту недоступную, невѣдомую намъ тайну, я не задыхался-бы, я не страдалъ-бы отъ голода и жажды!—съ тоскою въ голосѣ сказалъ Захарьевъ-Овиновъ.—Но я знаю человѣка, которому тепло, который счастливъ. Да, я его знаю, онъ сильнѣе меня, гораздо сильнѣе. Вы признаете меня своимъ главою, вы полагаете, что отнынѣ я владѣю высшей властью, а я вамъ говорю, что я безсиленъ передъ этимъ человѣкомъ. Склониться передъ нимъ, вручить ему власть надъ братствомъ! Но онъ съ улыбкой отвернется отъ этой власти... она ему не нужна... У него нѣтъ никакихъ знаній, а между тѣмъ въ рукахъ его величайшее могущество и онъ владѣетъ благомъ счастія. Вы знаете, что у меня есть сила исцѣлять человѣческія страданія, болѣзни. И вотъ я пыталъ свою силу—и ея не оказалось, а этотъ человѣкъ пришелъ и въ мигъ одинъ исцѣлилъ разрушавшееся, страшно страдавшее тѣло...

— Ты встрѣтилъ человѣка, обладающаго высшимъ могуществомъ,—и я не знаю этого человѣка!—съ сомнѣніемъ пока-

чавъ головою, перебилъ старецъ:—тутъ что-то не такъ... тутъ какая-то странная ошибка...

— Ты не знаешь его, отецъ, потому что его путь,—не нашъ путь. Я ничего не преувеличиваю. Человѣкъ этотъ во многомъ слабѣе меня, но во многомъ онъ гораздо сильнѣе. Я заговорилъ о немъ, такъ какъ онъ доказалъ мнѣ, что многія явленія, которыхъ мы достигаемъ только съ помощью высшихъ знаній, иногда даются человѣку помимо всякихъ знаній, и явленія эти самаго высшаго порядка.

— Тутъ нѣтъ ничего невозможнаго: это проявленіе безсознательной, но могучей воли.

— Нѣтъ, не воли, — вскричалъ великій розенкрейцеръ: — не воли, ибо воля—свѣтъ, а это—проявленіе тепла, того тепла, котораго у насъ нѣтъ! Человѣкъ, о которомъ я говорю, живетъ въ области высшей, чѣмъ наша.

— Гдѣ-же эта область? Ты самъ указалъ, что мы сумѣли отличить источникъ свѣта отъ его отраженія и перешли изъ области матеріи въ область духа...

— Да, но то, что мы называемъ духомъ, еще не духъ, а лишь тончайшая, высшая матерія, грубые осадки которой производятъ міръ формъ. Въ своей гордости, распознавъ тончайшій эѳиръ и узнавъ его свойства, мы объявили его Высшимъ Разумомъ и рѣшили, что онъ есть суть природы, ея первооснова, источникъ жизни и творчества. Мы сдѣлали себя творцами, вмѣстили въ себя единый Высшій Разумъ. Намъ, на вершинѣ розенкрейцерской лѣстницы, доступно все, мы все можемъ творить, а чего не можемъ, того и нѣтъ. Но вотъ мы творимъ однимъ свѣтомъ, безъ тепла и потому дрожимъ отъ холода... Значитъ, тепло не существуетъ? Нѣтъ, оно существуетъ, и мы со всѣми нашими знаніями эѳира, «астральнаго свѣта», со всѣмъ нашимъ холоднымъ, не дающимъ счастія творчествомъ, только жалкіе безумцы! Мнѣ не понадобилось далеко ходить за доказательствами того, что мы всѣ несчастны, я взялъ первое, что мнѣ попалось подъ руку,—и вы всѣ сознались въ своемъ несчастіи, въ полномъ невѣдѣніи высшаго блага, высшей истины!..

Всѣ поднялись со своихъ мѣстъ. Старецъ кинулся было къ Захарьеву-Овинову, стараясь помѣшать ему высказать до конца его мысль, ту мысль, которая становилась теперь всѣмъ понятной. Но великій розенкрейцеръ поднялъ руку,—и всѣ будто застыли на мѣстѣ.

— Братство розенкрейцеровъ объявило себя вмѣстилищемъ высшей истины, знанія и власти, — спокойно и твердо сказалъ онъ:—оно заблуждалось, но, пока это заблужденіе было искренно, братство не было за него отвѣтственно. Теперь-же заблужде-

ніе ясно: мы далеки отъ истины, знанія и власти. Я, законный глава розенкрейцеровъ, признаю преступнымъ обманывать людей обѣщаніемъ того, чего у насъ самихъ нѣтъ; я, зная свои силы, признаю себя слабымъ. Я не владѣю высшей истиной и лишенъ высшаго блага — счастья. Вы всѣ признаете себя еще болѣе слабыми, ибо мое жалкое богатство нѣсколько обширнѣе вашего. Но, если мы слабы и несчастны, у насъ все-же есть человѣческое достоинство и то благородство, которое не позволяетъ намъ быть «авгурами». Мужественно перенесемъ наше пораженіе, снимемъ съ себя принадлежащіе намъ знаки достоинства, которые, хотя мы до сегодня и не сознавались себѣ въ этомъ, только тѣшили нашу гордость и наше тщеславіе, превратимся въ скромныхъ искателей истины, а не учителей ея. Наше великое братство было заблужденіемъ. Такое братство можетъ быть только тамъ, гдѣ воздвигнутъ храмъ истиннаго счастія, озаренный свѣтомъ и теплом. Будемъ искать этотъ храмъ и, только найдя его и получивъ въ немъ высшее посвященіе, мы рѣшимъ вопросы духовной іерархіи, власти и славы. Только полная душевная гармонія и ея слѣдствіе, — невозмутимое довольство и счастіе,—облекутъ насъ истинной властью и дѣйствительными знаками этой власти. Поэтому я, глава розенкрейцеровъ, которому вы обязаны повиновеніемъ и ослушаться котораго не можете, если-бы и хотѣли, объявляю братство Креста-Розы въ настоящее время несуществующимъ!

Всѣ оставались неподвижными. Чуднымъ свѣтомъ вспыхнулъ таинственный знакъ на груди великаго розенкрейцера. Но вотъ онъ снялъ съ себя этотъ знакъ, и въ то-же мгновеніе онъ погасъ въ рукѣ его: теперь это была золотая, тонкой ювелирной работы, усыпанная брильянтами драгоцѣнность,—и только.

— Вотъ нашъ великій символъ!—сказалъ Захарьевъ-Овиновъ, показывая свой погасшій Крестъ-Розы «отцу» и «братьямъ».— Я не умаляю его значенія, въ немъ средоточіе свѣта разума; но въ немъ нѣтъ тепла—и, видите, онъ можетъ погаснуть. Вы называли меня «свѣтоносцемъ», мнѣ стоило обнажить грудь свою и, при блескѣ моего свѣта, всякій розенкрейцеръ падалъ ницъ, зная, что тотъ, кто смѣетъ носить на груди своей этотъ свѣтъ— облеченъ силой и властью. Да, этотъ знакъ прекраснѣе и важнѣе всѣхъ знаковъ отличія, носимыхъ монархами и государственными людьми міра! Когда я сумѣлъ найти и замкнуть чудный лучъ мірового свѣта въ этомъ драгоцѣнномъ символѣ— моя гордость торжествовала... но теперь я знаю, что моя тайна— не есть великая тайна, а только одно изъ тѣхъ открытій, къ которымъ быстро придетъ человѣчество. Минуетъ сотня лѣтъ— и лучи этого свѣта будутъ освѣщать своимъ голубымъ чуднымъ

сіяніемъ улицы городовъ, жилища людей, будутъ возвышать красоту женскихъ украшеній... Таинственный свѣтъ, который носить на себѣ теперь могу лишь я одинъ, будетъ сіять на головѣ и на груди танцовщицы на театральныхъ подмосткахъ, его станутъ продавать въ игрушечныхъ лавкахъ, какъ красивую забаву. Сначала для его сосредоточія, потребуются разныя приспособленія, потомъ все это упростится и, наконецъ, люди поймутъ, что можно его добывать такъ, какъ я его добываю, безъ всякихъ видимыхъ приспособленій...

— Итакъ,—заключилъ онъ: — пока мы не научились согдасовать свѣтъ съ тепломъ и не нашли счастія—мы не принадлежимъ къ высшему, всемірному обществу розенкрейцеровъ. Если когда-нибудь мы соберемся въ день нашихъ годичныхъ засѣданій подъ этими древними сводами—то это будетъ значить, что мы всѣ открыли великую тайну тепла, что мы нашли счастіе... Тогда, и только тогда возродится наше братство... О, еслибъ этотъ великій день насталъ для насъ! Пока-же братья, мы свободны отъ всѣхъ требованій нашего устава; пусть каждый изъ насъ идетъ въ жизнь и дѣлаетъ изъ своихъ дѣйствительныхъ знаній и силъ то употребленіе, какое ему укажутъ разумъ и совѣсть... Организація нашего братства такова, что временное или вѣчное прекращеніе его дѣятельности можетъ произойти безъ всякихъ потрясеній... Я сказалъ все. Отецъ, я жду твоего слова.

Старецъ поднялъ на него взглядъ, въ которомъ теперь ничего не было, кромѣ спокойствія.

— Сынъ мой,—сказалъ онъ:—гроза пронеслась надъ нами и оказалась животворной... Въ словахъ твоихъ и дѣйствіяхъ видна та истина и мудрость, которая высоко вознесла тебя... Ты правъ, и мы должны благодарить тебя за трудный и великій урокъ, который не унизитъ насъ, а поможетъ намъ возвыситься. Да, мы всѣ должны приступить къ испытанію... и мы разойдемся сегодня съ надеждой, что настанетъ день, который снова соединитъ насъ. Быть можетъ я не увижу этого дня... но онъ настанетъ! Вотъ и мое пророчество: подъ эти древніе своды еще придутъ блаженные сыны человѣчества и въ братскомъ общеніи обмѣняются здѣсь такими сокровищами, которыя вмѣстятъ въ себѣ всѣ блага матеріи и духа...

Розенкрейцеры крѣпко обнялись и, каждый со своими мыслями и чувствами, разошлись по мрачнымъ и сырымъ помѣщеніямъ замка, гдѣ старый Бергманъ приготовилъ имъ постели.

XX.

Прошло недѣли двѣ, и все совершилось такъ, какъ было предназначено новымъ главою братства розенкрейцеровъ. Это великое, таинственное братство на неопредѣленное время прекратило свою дѣятельность.

Въ древней, пустынной улицѣ Нюренберга, въ томъ ветхомъ домѣ, который принадлежалъ уже нѣсколько столѣтій фамиліи Небельштейновъ и гдѣ Захарьевъ-Овиновъ въ первый разъ увидѣлъ отца розенкрейцеровъ, — ежедневно, лишь наступала вечерняя темнота, происходили собранія братьевъ. Сначала поочередно каждый изъ четырехъ великихъ учителей собиралъ розенкрейцеровъ высокихъ посвященій, лично знавшихъ своего великаго учителя подъ его розенкрейцерскимъ именемъ, знавшихъ о существованіи носителя знака Креста-Розы и главы своего розенкрейцерства, но никогда ихъ не видавшихъ.

Великіе учителя передали посвященнымъ, что, вслѣдствіе очень важныхъ соображеній, отнынѣ, впредь до новаго распоряженія главы розенкрейцеровъ, періодическія собранія братства прекращаются. Никто не будетъ теперь получать никакихъ инструкцій, не будетъ отдавать отчета въ своей дѣятельности. Каждый становится совершенно свободнымъ въ своихъ поступкахъ и можетъ распоряжаться какъ угодно своими знаніями. Конечно, связь между розенкрейцерами не прерывается, и всякій по прежнему, если будетъ въ томъ нуждаться и того желать, таинственными путями получитъ всю нужную помощь и всѣ указанія. Но только этимъ и ограничится вліяніе высшихъ сферъ розенкрейцерства...

Розенкрейцеры были изумлены, опечалены и даже потрясены такимъ сообщеніемъ великихъ учителей. Каждый, естественно, пожелалъ узнать истинныя причины такого рѣшенія. Но учителя никому не хотѣли открыть тайны того, что произошло въ стѣнахъ замка Небельштейна. Новый глава розенкрейцеровъ допустилъ это молчаніе, и великіе учителя ограничились такимъ отвѣтомъ: «настало время испытанія истинной силы каждаго изъ братьевъ; когда испытанія будутъ окончены, тогда выяснятся дѣйствительные результаты дѣятельности каждаго».

Затѣмъ великіе учителя потребовали отъ посвященныхъ розенкрейцеровъ, чтобы каждый изъ нихъ, въ свою очередь, собралъ порученныхъ имъ неофитовъ и передалъ имъ рѣшеніе. Это было исполнено—и внезапно, само-собою, всемірное братство видоизмѣнилось, распалось, потеряло свою крѣпкую, опредѣленную форму, основанную на строгой іерархіи и на ритуалѣ.

При этомъ, надо сказать, въ каждомъ изъ собраній братьевъ

низшихъ посвященій произошло нѣчто странное. Каждый изъ розенкрейцеровъ-неофитовъ, услышавъ объясненіе своего руководителя, впадалъ въ какое-то особенное состояніе и, выйдя изъ засѣданія, забывалъ очень многое изъ того, что относилось до извѣстной ему организаціи братства. Все, что совершилось, то-есть неожиданное таинственное прекращеніе дѣятельности братства, представлялось ему естественнымъ и, мало-по-малу, переставало интересовать его...

Когда Абельзонъ, извѣстный руководимымъ подъ именемъ Albus'a собралъ въ старомъ домѣ Небельштейна свою секцію, въ числѣ приглашенныхъ не было Каліостро. Ему было указано другое время. И, явясь въ назначенный часъ, онъ, къ изумленію своему, не увидѣлъ никого, кромѣ Albus'a. При первомъ-же взглядѣ на удивительные глаза маленькаго человѣка, Каліостро понялъ, что если-бы Albus могъ на мѣстѣ растерзать его—онъ сдѣлалъ-бы это безъ всякаго промедленія — такая жестокость, злоба и ненависть свѣтились въ этихъ страшныхъ глазахъ. Но Каліостро былъ болѣе чѣмъ когда-либо увѣренъ въ своей силѣ— ясновидѣніе Серафины-Лоренцы не могло обмануть. Онъ зналъ навѣрное, что ему не предстоитъ никакой опасности.

«Благодѣтель человѣчества» почтительно поклонился своему учителю и спокойно ждалъ его слова.

— Джузеппе Бальзамо! — рѣзкимъ голосомъ воскликнулъ Абельзонъ, нервно дергаясь на креслѣ, на которомъ сидѣлъ:— ты не долженъ изумляться, что, вмѣсто розенкрейцерскаго собранія, на которое ты явился въ Нюренбергъ, ты видишь меня одного. Твоя дерзость не имѣетъ предѣловъ и только поэтому ты могъ воображать, что будешь когда-либо присутствовать на собраніи братьевъ...

Каліостро усмѣхнулся—и Абельзонъ едва сдержалъ себя, увидя эту усмѣшку.

— Я, твой бывшій руководитель,—какъ-то прошипѣлъ онъ:— призвалъ тебя для того, чтобы объявить тебѣ о твоемъ исключеніи изъ нашего великаго братства.

— Развѣ можно исключить изъ братства посвященнаго розенкрейцера, достигшаго моей степени? — спокойно и даже нѣсколько вызывающимъ тономъ спросилъ Каліостро.

— Ты нарушилъ всѣ клятвенныя обѣщанія, данныя мнѣ тобою... Ты измѣнникъ!..

— Если-бы я былъ измѣнникомъ,—перебилъ его все съ возраставшимъ спокойствіемъ Каліостро:—ты долженъ былъ-бы меня уничтожить... Но ты меня уничтожить не можешь, а потому я прошу тебя, великій учитель, выражаться осторожнѣе... Никто никогда не слыхалъ отъ меня имени братства.

Абельзонъ долженъ былъ призвать на помощь всю силу своей воли, чтобы не кинуться на этого дерзновеннаго и не задушить его.

— Если-бы ты хоть разъ въ жизни произнесъ кому-нибудь имя нашего братства,—повѣрь, никакія соображенія не остановили-бы меня, и теперь наступила-бы послѣдняя минута твоей жизни!—прошепталъ Albus.

— Моей или твоей—это еще неизвѣстно чьей!—такимъ-же шопотомъ отвѣтилъ ему Каліостро, пристально глядя ему прямо въ страшные глаза и спокойно вынося взглядъ ихъ.

— Ты видишь, великій учитель — прибавилъ онъ: — что ты сплоховалъ, что ты меня мало знаешь. Еще неизвѣстно — кто изъ насъ сильнѣе и, во всякомъ случаѣ, время твоего руководительства мною и моего естественнаго тебѣ подчиненія — окончено. Если-бы я захотѣлъ, слышишь-ли, если-бы я захотѣлъ оставаться въ братствѣ, я-бы потребовалъ теперь, въ силу своего права, признанія меня великимъ учителемъ. Но я самъ не хочу оставаться въ братствѣ по многимъ причинамъ. Я и явился сюда для того, чтобы объявить эти причины моего свободнаго, твердо рѣшеннаго мною выхода изъ братства...

— Какія-же это причины? Что ты можешь сказать въ свое оправданіе? — сдавливая въ себѣ всѣ свои ощущенія, спросилъ Абельзонъ.

— Тебѣ я не могу сообщить этого.

— Что такое? Кому-же, какъ не мнѣ?

— Тому, кто сильнѣе меня, а не слабѣе.

При этихъ словахъ Абельзонъ даже вздрогнулъ и такъ стиснулъ свои сухіе, крючковатые пальцы, что они захрустѣли. А Каліостро, между тѣмъ, говорилъ:

— Я объясню все носителю знака Креста-Розы. Съ тобою мнѣ говорить больше нечего, а онъ здѣсь... ты видишь — я не страдаю невѣдѣніемъ...

Дверь отворилась и вошелъ Захарьевъ-Овиновъ.

— Да, я здѣсь,—сказалъ онъ:—но... отъ невѣдѣнія до истиннаго вѣдѣнія еще очень далеко... твое всевѣдѣніе, Бальзамо, случайно! Оно принадлежитъ не тебѣ, а той душѣ, которую ты держишь въ неволѣ... Ты меня понимаешь... Братъ Albus,—ты свободенъ... ваши объясненія не приведутъ ни къ чему. Оставь насъ.

— Благодарю тебя за это освобожденіе! — воскликнулъ Абельзонъ.

Его глаза метнули злобные лучи свои не только на Каліостро, но и на Захарьина-Овинова. Онъ порывисто вскочилъ съ кресла и быстро вышелъ изъ комнаты. Каліостро проводилъ его насмѣшливымъ и торжествующимъ взглядомъ.

— Напрасно ты тѣшишь свои злыя чувства! — сказалъ Захарьевъ-Овиновъ.—Если-бы ты и Albus знали, сколько силы потеряли вы оба за эти краткія минуты взаимной злобы, то, быть можетъ, вы отнеслись-бы другъ къ другу съ инымъ, болѣе человѣчнымъ чувствомъ. Да и торжествовать тебѣ нечего: если Albus не сильнѣе тебя, то, вѣдь, я тебя сильнѣе, и ты знаешь это, слѣдовательно, если-бъ я поручилъ ему наказать тебя, какъ измѣнника, то ты бы и погибъ. Но ты знаешь, что я не желаю твоей гибели. Значитъ, вся твоя храбрость происходитъ только отъ сознанія твоей безопасности...

— Такъ ты считаешь меня трусомъ, свѣтоносецъ?—блѣднѣя, прошепталъ Каліостро.

— Нѣтъ,—отвѣчалъ Захарьевъ-Овиновъ:—я не считаю тебя трусомъ, но ты слишкомъ любишь жизнь, слишкомъ дорожишь ею, а потому не сталъ-бы пренебрегать серьезной опасностью. Но не будемъ терять времени. Всѣ причины твоего удаленія изъ братства розенкрейцеровъ мнѣ хорошо извѣстны. Знай, что отнынѣ ты не розенкрейцеръ. Я освобождаю тебя отъ всѣхъ твоихъ обязательствъ. Братство не возьметъ на себя тяжесть твоей кары, ты можешь быть на этотъ счетъ спокоенъ: ты самъ, своими поступками, готовишь себѣ страшную кару. Одно, что ты долженъ обѣщать мнѣ: это и впредь, никогда ни при какихъ обстоятельствахъ, не произносить имени розенкрейцеровъ, однимъ словомъ, поступать такъ, какъ будто ты никогда и не зналъ о существованіи братства! Мало этого, ты не долженъ никогда пользоваться чужимъ ясновидѣніемъ для того, чтобы узнавать что-либо, касающееся братства. Если ты сейчасъ дашь мнѣ это обѣщаніе,—я тебѣ повѣрю.

Каліостро склонился передъ Захарьинымъ-Овиновымъ и голосомъ, въ которомъ сказалась большая искренность, воскликнулъ:

— Великій свѣтоносецъ, обѣщаюсь тебѣ исполнить все, чего ты отъ меня требуешь. Никакая пытка не заставитъ меня произнести имени братства, и я ничего не буду узнавать о немъ!

— Я тебѣ вѣрю, несчастный братъ, — сказалъ Захарьевъ-Овиновъ.

— Не называй меня несчастнымъ,—внезапно вздрагивая, прошепталъ Каліостро. — О, я вижу твою мысль!.. Пытка... да, къ чему скрываться мнѣ передъ тобою, я уже не разъ видѣлъ, закрывая глаза, картины того, что меня ожидаетъ... онѣ запечатлѣны въ астральномъ свѣтѣ, а потому неминуемы... Я видѣлъ тюрьму... безжалостныхъ, пристрастныхъ судей... видѣлъ пытку... много ужаснаго... Но все-же не называй меня несчастнымъ... ужъ даже потому, что ты самъ несчастливъ, хоть, можетъ быть,

тебѣ и не предстоитъ тѣлесной пытки... Ты помнишь нашу бесѣду въ Петербургѣ... все, что я говорилъ тогда, могу повторить и теперь... ты доказалъ мнѣ, что ты сильнѣе меня, я долженъ былъ поневолѣ подчиниться твоему приказу... я чувствую, что это ты подѣйствовалъ на обстоятельства. Но, доказавъ мнѣ свое могущество, ты не доказалъ мнѣ, что счастливъ.

— Не ты научишь меня счастью, не ты укажешь мнѣ къ нему дорогу!—мрачно заговорилъ Захарьевъ-Овиновъ.

— Да, конечно, мы совсѣмъ разные люди, но все-же и у меня ты можешь кое-чему научиться, несмотря на свою великую мудрость. Говорилъ и говорю тебѣ, что я зналъ и знаю минуты истиннаго счастія, и эти минуты такъ свѣтлы, такъ прекрасны, что заставляютъ меня совсѣмъ забывать всѣ бѣды и ужасы, грозящіе мнѣ въ будущемъ.

— Быть можетъ ты правъ,—сказалъ, глядя ему въ глаза и читая въ душѣ его, Захарьевъ-Овиновъ:—но слушай эти послѣднія слова мои, послѣднія, такъ какъ врядъ-ли мы еще разъ встрѣтимся въ этой жизни: воля человѣка видоизмѣняетъ судьбу и заставляетъ блѣднѣть и испаряться образы, витающіе въ астральномъ свѣтѣ... Всѣ тѣ страшныя картины, которыя ты видишь съ закрытыми глазами, навсегда исчезнутъ и не повторятся въ матеріальной дѣйствительности, если ты измѣнишь жизнь свою, если уйдешь отъ всякихъ обмановъ и удовольствуешься скромной долей. Думается мнѣ, что и минутъ счастія у тебя тогда будетъ больше, и правильно разовьешь ты свои духовныя силы, и избѣгнешь заслуженной теперь тобою кары... Все еще отъ меня зависитъ. Удержи свою руку, не подписывай своего приговора... подумай о словахъ моихъ...

Каліостро опустилъ голову. Взглядъ его померкъ.

— Великій свѣтоносецъ,—сказалъ онъ:—я конечно не разъ буду думать о словахъ твоихъ... только... я, вѣдь, ужъ не розенкрейцеръ, не могу быть имъ... есть вещи, которыя сильнѣе моей воли... А ты... ты самъ... къ какой судьбѣ идешь ты?

— Я иду,—внезапно оживляясь, воскликнулъ Захарьевъ-Овиновъ:—я иду искать истиннаго счастья... я уже вижу во мракѣ къ нему дорогу... я уже чувствую, что найду его!..

— Желаю тебѣ этого.

Они молча обнялись и вмѣстѣ вышли изъ стараго дома. Свѣтъ полной луны озарялъ пустынную улицу. Они еще разъ взглянули другъ на друга и невольная взаимная симпатія блеснула въ ихъ взглядахъ. Ихъ руки встрѣтились въ крѣпкомъ пожатіи. Каліостро пошелъ налѣво, а Захарьевъ-Овиновъ—направо.

Конецъ второй части.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ.

I.

Въ домѣ стараго князя Захарьева-Овинова, въ первой комнатѣ помѣщенія, гдѣ продолжалъ жить отецъ Николай, да ужъ и не одинъ, а съ женою, передъ столомъ, накрытымъ чистой бѣлой скатерью, сидѣли двѣ женщины. На столѣ стоялъ чанъ съ горячимъ сбитнемъ, кувшинъ сливокъ и возвышалась цѣлая гора свѣжихъ саекъ и баранокъ. Вся эта комната, остававшаяся нетронутой, внушительной и непоходившая на жилую до самаго пріѣзда Настасьи Селиверстовны, теперь совсѣмъ измѣнила свой видъ. Она казалась гораздо менѣе внушительной и богатой, но зато въ ней сдѣлалось какъ-то теплѣе, уютнѣе. Въ то-же время въ ней царили теперь—порядокъ, чистота. Видно было, что здѣсь живетъ добрая хозяйка, обладающая настоящимъ хозяйскимъ глазомъ.

Эта добрая хозяйка, Настасья Селиверстовна, и была одной изъ женщинъ, сидѣвшихъ за столомъ, передъ чаномъ съ горячимъ сбитнемъ. Кончался уже третій мѣсяцъ пребыванія ея въ Петербургѣ и за это время она очень измѣнилась. Еслибъ ея деревенскія сосѣдки ее увидѣли, то непремѣнно всплеснули-бы руками и завопили: «матушка ты наша, Настасья Селиверстовна, какая бѣда тебѣ приключилась, кто тебя, сердечная, сглазилъ?..»

Дѣйствительно, Настасья Селиверстовна похудѣла и поблѣднѣла, хотя все еще оставалась достаточно полной. Излишняя густота краски сбѣжала съ круглыхъ щекъ ея, и эти щеки стали гораздо нѣжнѣе. Прекрасные черные глаза сдѣлались какъ-то глубже, вдумчивѣе и удивительно выиграли въ своемъ выраженіи.

Вообще Настасья Селиверстовна, на взглядъ всякаго истиннаго цѣнителя женской красоты, была теперь незаурядно красивой женщиной. А главное съ нея внезапно, за это короткое время, сошла ея деревенская грубость и угловатость.

Она сразу оглядѣлась въ столицѣ и сумѣла принять столичный видъ. На ней было очень ловко сшитое темное шерстяное платье, густые ея волосы были хитро и красиво причесаны. Никто не сказалъ-бы, что она всю жизнь прожила въ деревнѣ и до сихъ поръ почти и людей-то не видала. Она много стараній положила въ такое преобразованіе своей внѣшности, и старанія ея увѣнчались полнымъ успѣхомъ.

Оканчивая передъ большимъ княжескимъ зеркаломъ, стоявшимъ въ ея спальнѣ, свой туалетъ, она сама себѣ говорила: «ну чѣмъ-же я хуже ихъ, этихъ здѣшнихъ дамъ-мадамовъ?»— и если-бы при этомъ находился посторонній безпристрастный и вкусомъ обладающій зритель, онъ непремѣнно-бы воскликнулъ: «матушка, Настасья Селиверстовна, не хуже ты, а невпримѣръ лучше многихъ и многихъ здѣшнихъ дамъ-мадамовъ!»

Другая женщина, сидѣвшая рядомъ съ хозяйкой, тоже имѣла пріятную наружность и вообще вся ея фигура, ея голосъ, манеры сразу внушали къ ней довѣріе. Она уже была не молода и на ея блѣдномъ, изнуренномъ лицѣ долгіе годы страданій оставили свой неизгладимый отпечатокъ.

Женщина эта была Метлина. Повидимому, она пришла сюда не сейчасъ, а уже достаточное время бесѣдовала съ Настасьей Селиверстовной. По ея блестящимъ глазамъ и нервному оживленію, сказывавшемуся во всѣхъ ея движеніяхъ, можно было заключить, что она много и горячо говорила.

Она уже не въ первый разъ видѣла жену отца Николая, но видѣла ее мелькомъ и впервые пришлось ей съ нею разговориться и сблизиться. Она пришла теперь къ отцу Николаю, но не застала его, и матушка, гораздо болѣе обходительная и ласковая, чѣмъ въ первое время по своемъ пріѣздѣ, пригласила ее обождать, сказавъ, что отецъ Николай обѣщался вернуться черезъ часъ, самое большое—черезъ полтора часа времени. Замѣтивъ, что гостья озябла, матушка тотчасъ-же распорядилась относительно сбитня, послала прислуживавшую ей дворовую дѣвчонку за сайками и баранками, и принялась угощать Метлину.

Онѣ разговорились и Метлина рада была разсказать ласковой матушкѣ всѣ свои обстоятельства. Она теперь чувствовала потребность говорить объ этихъ обстоятельствахъ со всякимъ человѣкомъ, внушавшимъ ей къ себѣ довѣріе.

Настасья Селиверстовна, вся превратясь во вниманіе, съ большимъ интересомъ и участіемъ выслушала печальную повѣсть о многолѣтнихъ бѣдствіяхъ семьи Метлиныхъ.

— Сударыня моя! — воскликнула она, всплеснувъ руками, когда Метлина, дойдя въ своемъ разсказѣ до времени перемѣны ихъ судьбы, остановилась переводя духъ, тяжело дыша и чув-

ствуя большое утомленіе послѣ этого горячаго разсказа, во время котораго она какъ-бы снова пережила всѣ минувшія бѣды.—Сударыня моя! да какъ это Господь далъ вамъ силъ перенести такое? Въ жизнь свою такой жалости не слыхивала, а горя-то людского не мало навидалась... да и своя жизнь небольно красна, сколько разъ на свою бѣду плакалась. А вотъ теперь и вижу, что и бѣдъ-то со мною никогда никакихъ не бывало... какія тамъ бѣды! Вотъ у кого бѣды, вотъ у кого горе!.. Ну, что-же, сударыня, какъ-же это такъ вдругъ все у васъ перемѣнилось?

— А такъ вотъ,—снова оживляясь и вся такъ и просіявъ, заговорила Метлина.—Привела я тогда съ собою святого нашего благодѣтеля, отца Николая, помолился онъ съ нами и вмѣстѣ съ его молитвой пришло къ намъ благополучіе. Спасъ онъ моего мужа не только отъ лютой болѣзни, не только отъ тѣлесной погибели, но и отъ душевной. Совсѣмъ спасъ человѣка, изъ мертваго живымъ сдѣлалъ. Какъ сказалъ, уходя:—«вѣрьте, молитесь, пождите малое время, все измѣнится»,—такъ, по его слову, и сталось. Двухъ денъ, матушка, не прошло какъ позвали моего мужа во дворецъ къ самой царицѣ. Сразу-то мы испугались, особливо онъ, дрожитъ весь: куда это меня вести хотятъ,—говоритъ,—на какія новыя муки и обиды?! Не пойду я, никуда не пойду, зачѣмъ меня царица звать будетъ, не знаетъ она меня и знать не можетъ. Обманъ это одинъ, въ тюрьму видно меня ведутъ, совсѣмъ доканать враги хотятъ... Да благо я очнулась во-время и его на правду навела. А отецъ Николай-то, говорю, вѣдь, сказалъ онъ, что подождите, молъ, немного—все измѣнится. Это бѣда наша уходитъ, это счастье наше приходитъ,—говорю. Ну, тутъ и онъ понялъ. Снарядила я его какъ могла, а сама ждать осталась. Полъ-дня ждала, молилась. Сначала—нѣтъ-нѣтъ да и сомнѣніе охватитъ: а ну какъ это не счастье, а бѣда новая? Только отгоняла я эти сомнѣнія и совсѣмъ они ушли, а къ тому времени какъ мужу вернуться, я уже знала, навѣрно знала, что никакой бѣды нѣтъ и быть не можетъ, что онъ придетъ и разскажетъ мнѣ о своемъ благополучіи... Вернулся онъ такой радостный, такой свѣтлый, какимъ я его ни разу въ жизни не видала; кинулся ко мнѣ, обнялъ меня—давно ужъ мы съ нимъ не обнимались,—обнялъ да и заплакалъ. Плачетъ и цѣлуетъ меня, говорить хочетъ—и не можетъ. Наконецъ успокоила я его, онъ мнѣ разсказалъ все. Какъ привезли его во дворецъ къ камеръ-фрейлинѣ Каменевой, она съ нимъ и пошла къ самой государынѣ. Государыня приняла его милостиво, да такъ ласково, что онъ какъ вспомнилъ, такъ опять въ слезы—и говорить не можетъ... Успокоился, сталъ разсказывать. Сначала онъ оробѣлъ было пе-

редъ царицей, да говоритъ, не такова она, чтобы несчастному человѣку долго робѣть передъ нею. Справился онъ съ собою, все ей повѣдалъ безъ утайки. Она его слушала со вниманіемъ и приказала красавицѣ камеръ-фрейлинѣ со словъ его, все о дѣлахъ нашихъ записывать, относительно всѣхъ тяжбъ и тѣхъ людей, которые насъ обижали неправильно... Все, какъ есть все выслушала царица и отпустила его, сказавъ, что на другой-же день онъ узнаетъ ея рѣшеніе. «Терпѣли вы,—сказала государыня:—многіе годы, потерпите еще одинъ день, только одинъ день!»—съ тѣмъ его и отпустила. Ну, вотъ мы и потерпѣли, и на другой же день пріѣхала къ намъ, будто гостья небесная, добрый нашъ ангелъ, Зинаида Сергѣевна—отъ нея мы и узнали о рѣшеніи царицы. Мужъ мой получилъ въ самомъ дворцѣ должность смотрителя съ квартирою готовою и со всякимъ царскимъ жалованіемъ. Въ тотъ-же день мы и переѣхали... Ничего подобнаго и во снѣ намъ никогда не снилось! Послѣ нищеты нашей и грязи, послѣ голода и холода—въ теплыхъ да свѣтлыхъ хоромахъ на всемъ на готовомъ! Вѣдь, чуть съ ума не сошли отъ счастья. Вѣдь, первые-то дни нѣтъ-нѣтъ да и посмотримъ другъ на друга; на яву все это или во снѣ съ нами? Наконецъ, очнулись и стали благодарить Бога. Теперь отогрѣлись, сыты, довольны; въ благоденствіи... Это вотъ люди, которые всегда въ счастьѣ живутъ, такъ они не чувствуютъ, а вотъ мы поняли, и тѣломъ и душою, какая благодать въ жизни, какъ хорошо и отрадно бываетъ на Божьемъ свѣтѣ... А главное не то... ну, что ужъ мнѣ... а то, поймите, матушка, вѣдь, я мужа-то заживо хоронила! Вѣдь онъ образъ человѣческій терялъ, на глазахъ моихъ душу свою на вѣки губилъ. А тутъ, вѣдь, его узнать нельзя—другой человѣкъ совсѣмъ сталъ, да и какой человѣкъ-то!..

Она не выдержала и зарыдала. Настасья Селиверстовна такъ вся къ ней и кинулась.

— Успокойтесь, голубушка вы моя... Нѣтъ, плачьте, плачьте—это хорошія слезы, радостныя! Поняла я, все поняла, какъ не понять!.. Истинно, послѣ бѣдъ такихъ, велико ваше счастье, благодать Божья...

И сама она плакала, и обнимала, цѣловала Метлину.

Наконецъ обѣ онѣ, мало-по-малу, успокоились.

— А государыня-то мудрая, великая царица, — заговорила прерывающимся голосомъ Метлина: — она вѣдь не остановилась въ своихъ благодѣяніяхъ, она всѣ дѣла наши тяжебныя приказала вновь переизслѣдовать вѣрнымъ людямъ. Вчера мужъ пришелъ: сіяетъ весь! Правда, — говоритъ,—на свѣтъ Божій выходитъ, все неправильно у насъ отнятое, все, что наше по праву—все намъ возвращено будетъ»...

II.

Настасья Селиверстовна не слышала этихъ послѣднихъ словъ своей гостьи,—она вся была поглощена чѣмъ-то. Темныя брови ея сдвинулись.

— Да вы мнѣ вотъ что скажите, голубушка моя, — горячо воскликнула она: — мой-то отецъ Николай при чемъ тутъ? Къ чему это вы его-то своимъ благодѣтелемъ называете, къ чему такъ говорите, будто онъ захотѣлъ, да и сотворилъ вамъ все ваше благополучіе?! Что онъ пришелъ-то къ вамъ помолиться, да наставленіе вамъ пастырское сдѣлалъ? Такъ, вѣдь, то-же самое сдѣлалъ бы всякій священникъ... Тутъ еще благодѣянія нѣту!

Метлина даже руки опустила и глядѣла на нее съ изумленіемъ.

— Какъ, матушка!.. Богъ съ вами, что вы такое говорите! Да кто-же, какъ не отецъ Николай... все онъ одинъ... онъ!

Настасья Селиверстовна какъ-то передернула плечами и покачала головою.

— Много-бы онъ сдѣлалъ, кабы не камеръ-фрейлина!.. Много-бы и камеръ-фрейлина сдѣлала, кабы не царица!.. Что царица— ваша благодѣтельница, это вѣрно!

— Да развѣ я умаляю ея благодѣянія? — все съ тѣмъ же изумленіемъ проговорила Метлина. — И я, и мужъ — мы вѣкъ будемъ Бога о ней молить. Слово намъ скажи она и мы за нее, за нашу матушку, въ огонь и въ воду готовы... Но только не смущайте вы себя, — меня-то не смутите! Первый истинный благодѣтель нашъ — отецъ Николай, и никто другой. Погибали мы и погибли-бы, да Богъ сжалился и направилъ меня къ нему, къ нему потому, что только онъ одинъ и могъ помочь намъ. Вѣдь, я говорила вамъ, матушка: пришелъ онъ, святой человѣкъ, и принесъ намъ милость Божію. Душу мою обновилъ и спасъ душу моего мужа. Сказалъ: «вѣрьте, молитесь, пождите немного—и все будетъ»,—и по слову его сталось...

Но брови Настасьи Селиверстовны сдвинулись еще больше, по недавно еще нѣжному и растроганному лицу ея мелькнула недобрая усмѣшка.

— Скажите пожалуйста! — всплеснула она руками:—да что-же вы думаете, сударыня, развѣ мнѣ не пріятно было-бы узнать, что мужъ у меня такой угодникъ Божій? Только отъ словъ-то оно не станется... Ну, ладно, сказалъ онъ вамъ: пождите, все придетъ. Пошелъ онъ отъ васъ, а здѣсь, вотъ въ этой самой горницѣ, его поджидала камеръ-фрейлина... вспомнилъ онъ о васъ, разсказалъ ей про ваши бѣды, попросилъ ее поговорить

съ государыней. Ну, что-же тутъ такого? Всякій на его мѣстѣ сдѣлалъ-бы то-же самое, святости въ этомъ нѣту. А вотъ, хотѣла-бы я знать, кабы онъ эту самую камеръ-фрейлину не встрѣтилъ, или кабы камеръ-фрейлина не взялась съ государыней говорить, или не сумѣла-бы — ну-ка, вѣдь, вы-бы до сихъ поръ благополучія ждали! Или не такъ?

И она пытливо глядѣла на Метлину, и она боялась, что слова ея покажутся убѣдительными и что Метлина сознается въ своей ошибкѣ, признаетъ, что отецъ Николай во всемъ этомъ дѣлѣ не при чемъ. И хотѣлось ей, страстно, хотя и безсознательно хотѣлось, чтобы Метлина ее убѣдила во всемъ томъ, въ чемъ сама она, несмотря на все свое желаніе, никакъ не могла убѣдить себя.

— Нѣтъ,—спокойно и рѣшительно сказала Метлина:—мнѣ отъ васъ, ужъ извините меня, тяжко и слышать-то слова такія... Зачѣмъ гнѣвить Бога, зачѣмъ людямъ да случайности отдавать неправильно то, что принадлежитъ Богу... Добра царица, добра Зинаида Сергѣевна, а все-же этой доброты ихней мы и не увидали-бы... не онѣ тутъ, а батюшка...

Но Настасья Селиверстовна живо ее перебила:

— Богъ — вы говорите! — воскликнула она: — это такъ, а мужъ-то мой причемъ?.. Къ чему его-то вы къ Господу Богу равняете?!.. Это ужъ и грѣшно даже, сударыня, коли знать хотите!

Метлина снисходительно улыбнулась и взяла Настасью Селиверстовну за руку.

— Эхъ, матушка, какая вы право... неразборчивая, да горячая... А вы не торопитесь, да подумайте. Вотъ мы съ мужемъ много обо всемъ этомъ думали-передумали — и теперь-то все намъ такъ видно, какъ на ладони... Да и увидѣть-то не мудрено вовсе—надо только приглядѣться хорошенько... Всѣ мы созданія и чада Божіи и Отецъ нашъ не можетъ не видѣть насъ и не слышать... только мы-то сами отъ него отвращаемся, смотримъ всюду, только не на Него, а и захотимъ на Него взглянуть и къ Нему обратиться, такъ ужъ и не можемъ, ибо сами такъ ослабили свои очи, что не въ силахъ вынести свѣта Его. Такъ, что-ли я говорю, матушка?

— Такъ, такъ!—живо, съ волненіемъ въ голосѣ, воскликнула Настасья Селиверстовна.

— Вотъ и надобны Ему такіе люди, которые могутъ выносить Его лицезрѣніе, понимаютъ волю Его. Такимъ людямъ Онъ и даетъ способы творить Его волю и быть посредниками между Нимъ и ослѣпшими, въ разумѣ затемненными твореніями. Такіе люди—святые, Божіи посланцы, наши заступники и благодѣтели.

Безъ нихъ, думаю я, весь родъ-бы людской погибъ. Таковъ и батюшка, отецъ Николай.

— Святой?—тихо спросила Настасья Селиверстовна, и уже въ голосѣ ея не было задора, въ немъ прозвучалъ трепетъ.

— Да, святой,—съ глубокимъ убѣжденіемъ сказала Метлина.—Господи, да вамъ-ли, матушка, не знать этого? Вамъ на долю выпала такая благодать, такая милость Божія, такое счастье великое! Вы жена, сердечная, Богомъ данная подруга жизни святого человѣка... и вы какъ-бы сомнѣваетесь! Да что-же это такое? я и ума не приложу... Не мы съ мужемъ отыскали батюшкину святость—вѣдь, и всѣ, какъ есть всѣ здѣсь знаютъ... Вѣдь, онъ ежечасно благодатью Божіей да силою своей святой молитвы врачуетъ недуги, осушаетъ слезы, помогаетъ всѣмъ страждущимъ, оживляетъ мертвыхъ душою и приводитъ ихъ къ Богу!..

Тихія слезы струились изъ глазъ Настасьи Селиверстовны.

— Вотъ вы говорите,—шептала она:—мнѣ счастье великое... сердечная, Богомъ данная подруга жизни я ему... Отчего-же, отчего-же нѣтъ мнѣ счастія?

Метлина глубоко задумалась.

— Вотъ что!—наконецъ проговорила она:—не посѣтуйте вы на меня, матушка, на мое слово: думается такъ, что ежели нѣтъ вамъ съ нимъ счастія... стало быть вы... его не заслужили...

— Да, не любитъ онъ меня, совсѣмъ не любитъ, не думаетъ обо мнѣ нисколько... чужая ему я—вотъ мое горе! — воскликнула Настасья Селиверстовна страстно, мучительно, съ глубокою искренностью.

До пріѣзда въ Петербургъ она никогда не мучилась этимъ вопросомъ, даже никогда не спрашивала себя — любитъ-ли ее мужъ или нѣтъ. Какое ей было до этого дѣло?! Не требовала она отъ него любви и не нуждалась въ ней. А тутъ вотъ, пріѣхавъ сюда, съ первыхъ-же дней, такъ прямо и задала себѣ этотъ вопросъ, и рѣшила его въ отрицательномъ смыслѣ, и терзалась этимъ. Она теперь почти никогда не разговаривала съ отцомъ Николаемъ, она видимо очень на него сердилась, но, странное дѣло, — совсѣмъ перестала на него накидываться, не бранилась, не кричала, не мучила его своими злобными выходками и насмѣшками. Когда онъ былъ дома — она все больше молчала да глядѣла на него какъ-то мрачно и загадочно.

— Не любитъ онъ меня, вотъ что! — повторила она съ отчаяніемъ.

Метлина даже встала съ кресла почти въ негодованіи.

— Это онъ-то, батюшка отецъ Николай, васъ не любитъ?

Ахъ, грѣхъ какой!.. Да онъ каждаго, онъ всѣхъ, какъ есть всѣхъ любитъ... такъ какъ-же ему не любить васъ-то...

Она не договорила, потому что въ комнату вошелъ отецъ Николай—и его свѣтлый, сіяющій взглядъ сказалъ ей, что она права, что онъ любитъ всѣхъ, любитъ истинной, свѣтлой и сіяющей какъ солнце, дающей свѣтъ и тепло, любовью.

III.

— Такъ вотъ это кто у насъ въ гостяхъ?—радостно улыбаясь, воскликнулъ отецъ Николай,—пождали меня, отогрѣлись!.. Хорошо это, Настя, что ты добрую госпожу задержала!

Онъ благословилъ стремительно подошедшую къ нему Метлину и въ то время, какъ она цѣловала его руку, другую руку онъ положилъ ей на голову.

— Дочка?—спросилъ онъ:—объ ней ты пришла, моя госпожа добрая, поговорить?

— Батюшка, что-жъ вы спрашиваете,—дрогнувшимъ голосомъ сказала Метлина:—вѣдь, вы всегда въ моихъ мысляхъ читаете... вамъ Господь все открываетъ, что есть въ душѣ человѣка.

— Ну этого, мать, не говори, что я за сердцевѣдецъ... вонъ, сказываютъ, чужая душа—потемки!.. Только и въ потемкахъ ощупью пройти можно!—весело говорилъ онъ.—Не смущайся, госпожа, не унывай: унынiе—грѣхъ большой, охъ, какой большой грѣхъ!..

Онъ подошелъ къ столу и пододвинулъ себѣ кресло.

— И я прозябъ, на дворѣ-то морозецъ знатный!... Настя, ты-бы мнѣ сбитеньку горяченькаго, это хорошо.. А вы, госпожа моя, присядьте... поговоримъ, мать, поговоримъ безъ унынiя и съ надеждой на милость Божію о твоей дочкѣ...

Его присутствiе, его бодрость, его слова уже возымѣли свое всегдашнее дѣйствiе. Тѣнь глубокой грусти, начавшая скользить по лицу Метлиной, исчезла. Снова вернулось спокойствiе, тишина и міръ наполнили душу.

— Мнѣ-ли роптать, я-ли не взыскана Божіей милостью?—сказала Метлина.—Знаю я, что грѣхъ мнѣ смущаться и быть нетерпѣливой послѣ того, что случилось съ нами... Думаю я и такъ, что за что-же намъ «все»... и такъ ужъ чрезмѣрно получили... дано намъ много, а это горе оставлено... Только не могу я безъ тоски глядѣть на мое дитя единственное... а какъ тоска эта загрызетъ, вотъ и иду къ тебѣ, батюшка... что-бы ты тоску изъ души моей вынулъ да поддержалъ меня...

Отецъ Николай сдѣлалъ, съ видимымъ удовольствіемъ, нѣсколько глотковъ изъ чашки со сбитнемъ, поданной ему Настасьей Селиверстовной, но онъ быстро поставилъ чашку на столъ и замахалъ рукою.

— Нѣтъ, мать, не говори такъ!—воскликнулъ онъ:—Боже тебя сохрани отъ такихъ мыслей! Къ чему счеты подводить и мудрствовать: это, молъ, Господь далъ, а этого не дастъ. Благость и милосердіе Божіи неисчерпаемы, безпредѣльны, нѣтъ имъ счета, нѣтъ имъ мѣры! Это людская мудрость, въ семъ видимомъ мірѣ, все исчисляетъ, измѣряетъ и взвѣшиваетъ... Творецъ-же выше всего этого... и какъ только ты свяжешь Его числомъ, мѣрою и вѣсомъ, такъ тотчасъ-же потеряешь истинное о Немъ понятіе и низведешь Его съ неба на землю... Въ этомъ и есть великая ошибка человѣческой мудрости, вся слѣпота ея... Говорю тебѣ, Божья благость неисчерпаема, дары Его неисчислимы, только мы не можемъ ясно видѣть путей Божественнаго Промысла, а посему и склонны судить криво... Говорю тебѣ: вѣрь, молись, и гони отъ себя уныніе. Придетъ спасеніе твоей дочери... Какъ она? Что съ нею?

— Да все то-же, батюшка!.. Даже еще хуже, чѣмъ было прежде... Думала я, что все это зло въ ней, всѣ эти мысли грѣшныя и ужасныя отъ бѣдъ да отъ нищеты нашей были. Думала, все пройдетъ при перемѣнѣ жизни нашей. Вотъ теперь она въ довольствѣ и спокойствіи, въ теплѣ да холѣ... Я-ли ее не ублажаю, всего у нея вволю, въ свѣтлыхъ хоромахъ живетъ, сладко ѣстъ, мягко спитъ, ни работы никакой утомительной, ласку отъ меня да отъ отца видитъ: подумайте, батюшка, вѣдь, она у насъ одна, вѣдь, кого-же намъ и любить да баловать какъ не ее! Прежде и насъ вотъ она любила, добрей дочерью была въ самое тяжкое время... А теперь какъ будто у нея къ намъ ненависть... Ну, просто видѣть насъ не можетъ, противны мы ей... все ей противно... Успокаиваю я ее, усовѣщеваю, все ей показываю милость Божію надъ нами... Катюша, говорю, ну, какъ гибли мы, пропадали въ работѣ, холодѣ, голодѣ, тогда можно было дойти до грѣха, до отчаянія... А теперь-то, да погляди кругомъ себя... хорошо-то какъ! а отецъ-то взгляни на него, вѣдь, онъ возродился и духомъ и тѣломъ, вѣдь, его узнать нельзя...

— Что-же она?—спросилъ священникъ. Теперь въ лицѣ его уже не было веселья и оживленія, только въ глазахъ сіялъ все тотъ-же ясный, бодрящій свѣтъ.

— Да что она, батюшка! Слушаетъ, притихнетъ да вдругъ какъ закатится! Платье себѣ рветъ, мечется, кричитъ: «Дышать мнѣ нечѣмъ, давитъ меня! Гдѣ это хорошо? Ничего нѣтъ хоро-

шаго и быть не можетъ, на свѣтѣ все дурное, темное...» Да потомъ такое начнетъ говоритъ... повторять не хочется...

— Нѣтъ, ты все мнѣ скажи, безъ утайки, госпожа моя!— настоятельно попросилъ священникъ.

— Коли приказываешь... да нѣтъ, я и безъ всякаго приказу скажу... не осудишь... Про васъ это она, батюшка, въ безуміи своемъ... къ вамъ, благодѣтель нашъ, у нея особая какая-то злоба... Стану я ее уговаривать Богу помолиться, прошу ее со мною къ вамъ съѣздить, такъ она, какъ ваше имя услышала, такъ ее всю и начинаетъ дергать. «Это, говоритъ, обманщикъ! лицемѣръ! видѣть его не могу, ненавижу его!..» Закричитъ, закричитъ, затопочетъ... на полъ упадетъ, и бьется... Батюшка, да, вѣдь, это что-же? Вѣдь, она бѣсомъ одержима!..

Отецъ Николай сидѣлъ задумавшись. Настасья Селиверстовна, все время молча слушавшая, перекрестилась.

— Бѣсомъ!.. да, конечно, сила зла велика!—послѣ нѣкотораго молчанія произнесъ наконецъ священникъ.—Велика сила вражды и ненависти, только, вѣдь, любовь все превозмогаетъ... и Господь нашъ Іисусъ Христосъ оставилъ намъ оружіе, въ немъ-же запечатлѣна Имъ всепобѣждающая сила любви. Въ оружіи семъ все наше спасеніе... Госпожа моя, гдѣ же теперь дочь твоя?

— Да вотъ, батюшка, какое случилось,—трепетно сказала Метлина:—вѣдь, она у насъ съ недѣлю какъ стихла, не было этихъ ея бѣснованій... я и рѣшилась опять просить ее къ вамъ поѣхать со мною. Уговариваю, а она молчитъ, смотритъ такъ грустно, какъ будто ничего не видитъ... а потомъ и сказала: «Хорошо, говоритъ, матушка, поѣдемъ!»—и сказала-то странно такъ, со вздохомъ и будто не своимъ голосомъ. Обрадовалась я, одѣла ее, закутала, повезла. Отъѣхали мы немного, вдругъ она кричитъ извозчику: «стой!»—да такъ это у нея страшно вышло, что извозчикъ сразу остановился. Выскочила она изъ пошевней, бѣжитъ обратно домой и мнѣ кричитъ: «поѣзжайте вы, матушка, одна, а отъ меня ему скажите, чтобъ онъ не ждалъ меня—я себѣ не врагъ!»—такъ, этими самыми словами и сказала... Что-же мнѣ было дѣлать,—поѣхала я одна...

— А уѣдешь не одна!—вдругъ оживляясь, сказалъ отецъ Николай и поднялся съ мѣста.—Нечего времени терять, поѣдемъ-ка, мать, съ тобою въ домъ твой. Поборемся съ врагомъ и, коли Господь подастъ, побѣдимъ его. Обогрѣлись мы, Настя насъ сбитнемъ хорошимъ угостила—такъ и въ путь!

— Какъ мнѣ и благодарить васъ, батюшка, не знаю,—засуетившись и собирая свою теплую одежду повторяла Метлина.—Окрылилъ ты меня—легко такъ вдругъ стало...

— За что же благодарить?—весело говорилъ отецъ Николай, надѣвая шубу.—Я радъ, борьба съ такимъ врагомъ—дѣло хорошее... Бодрость во мнѣ, сила растетъ!.. И впрямь воиномъ себя чувствую... Благослови, Господи! не кровь человѣческую проливать буду... Идемъ, мать, спѣшимъ! Прости, Настя!..

Настасья Селиверстовна молча обнялась съ Метлиной и стояла, горделиво выпрямившись. Она поблѣднѣла, и глаза ея мрачно, загадочно, не мигая, глядѣли на отца Николая.

Вотъ и онъ, и Метлина скрылись за дверью.

Настасьѣ Селиверстовнѣ показалось, что въ комнатѣ вдругъ стало ужасно тихо, ужасно пустынно.

— Да что-жъ это?—прошептала она, заломивъ руки.—Одна, всегда одна... чужая... никому ненужная... а ему—только помѣха, тягость!..

И она понимала, что иначе быть не можетъ, и она его не винила. Куда-же ей, въ самомъ дѣлѣ, туда, за ними, въ незнакомый домъ, гдѣ онъ будетъ изгонять бѣса изъ порченой дѣвушки?.. Что-же она тамъ будетъ дѣлать—только мѣшать: кому она нужна?.. Онъ, котораго она прежде такъ низко ставила,—онъ всѣмъ нуженъ, онъ—святой... святой... А она—грѣшница, недостойная любви его... Вѣдь, вотъ, барыня эта такъ прямо и сказала... И барыня права...

Ей вспоминались прожитые года, вся ея семейная жизнь—и все теперь являлось передъ нею совсѣмъ въ иномъ свѣтѣ. Она все яснѣе и яснѣе начинала видѣть то, чего прежде не видѣла. Она вспоминала отвратительныя сцены, бывавшія между нею и мужемъ. Она всегда считала себя правой. Теперь-же ей очевидно стало, что всегда она бывала виновата, а онъ правъ. Онъ молчалъ, онъ выносилъ спокойно, невозмутимо—нападки, безсмысленные упреки, брань, побои... Онъ выносилъ все это не изъ слабости—теперь она начала понимать, что не изъ слабости...

Будто яркій свѣтъ ударилъ ей въ лицо—она закрыла глаза, краска стыда залила ея щеки.

Она все поняла—и ужаснулась.

IV.

Отецъ Николай, погруженный въ свои мысли или, вѣрнѣе, въ духовное приготовленіе къ той борьбѣ, которая его ожидала, совсѣмъ не замѣтилъ дороги. Метлина, видя его молчаливость и задумчивость и инстинктивно замѣчая его состояніе, не развлекала его разговоромъ. Но дорога показалась ей длинной.

Что-то тамъ происходитъ? Она ужъ даже раскаявалась, зачѣмъ оставила дочь одну. Вѣдь, она могла написать отцу Николаю, попросить его пріѣхать, и онъ не отказалъ-бы ей. А теперь мало-ли что могло случиться съ Катюшей, вѣдь, прошло сколько времени... Но она возвращается съ отцемъ Николаемъ. Богъ милостивъ!..

Эта мысль ее успокоивала, и она принималась про себя горячо молиться за дочь.

Наконецъ, доѣхали. Вонъ они у двери. Дверь имъ отворила Зина. Въ этомъ, собственно говоря, для Метлиной ничего не могло быть страннаго: Зина нерѣдко посѣщала ихъ и старалась, хотя до сихъ поръ и безуспѣшно, сблизиться съ Катюшей, развлечь ее, помочь ей выйти изъ страннаго состоянія, въ которомъ она находилась. Но, взглянувъ на лицо красавицы камеръ-фрейлины, Метлина невольно вздрогнула.

— Зинаида Сергѣевна, голубушка вы моя... Что случилось?

— Успокойтесь, пожалуйста,—дрожащимъ голосомъ выговорила Зина.

Въ то-же мгновеніе она замѣтила отца Николая.

— Ахъ, какое счастье,—воскликнула она:—батюшка, это самъ Богъ васъ посылаетъ!

Метлина уже бѣжала къ дочери. Отецъ Николай поспѣшно снималъ съ себя шубу, а Зина отрывисто, почти задыхаясь, ему говорила:

— Съ часъ тому прибѣжала ко мнѣ горничная дѣвушка... говоритъ: съ барышней худо, а ни отца, ни матери нѣтъ... Онъ съ утра по своей должности въ Царское уѣхалъ, а когда она вернется, не знаютъ, ждутъ, а ее все нѣтъ... Я поспѣшила и застала Катюшу такою... сами увидите, батюшка, что съ нею дѣлается... глядѣть ужасно... Пойдемте, ради Бога!..

Но звать отца Николая было нечего, онъ не шелъ, а почти бѣжалъ, хотя лицо его и оставалось не только спокойнымъ, а даже радостнымъ. Онъ чувствовалъ въ себѣ силу, притокъ необычайной бодрости, того особеннаго, неизъяснимаго состоянія, которое находило на него, когда надо было спасать ближняго.

Они въ комнатѣ Катюши. Метлина, какъ была, закутанная въ шубу, склонилась надъ кроватью дочери. Та лежитъ неподвижно, блѣдная, съ закрытыми глазами. Метлина обернулась въ ужасѣ къ отцу Николаю, зубы ея стучали:

— Батюшка!—простонала она:—что-же это... она умираетъ?

Отецъ Николай быстрымъ шагомъ подошелъ къ кровати и перекрестилъ Катюшу. Въ этотъ-же самый мигъ ее всю передернуло. Она открыла глаза, со страхомъ и отвращеніемъ взглянула на священника, всѣ черты ея исказились до неузнаваемости.

Она взвизгнула страшнымъ, не своимъ голосомъ, поднялась съ кровати, хотѣла бѣжать, но вдругъ упала на полъ.

Съ нею начались конвульсіи. Быстро, быстро тѣло ея стало принимать самыя неестественныя положенія. Она откинула голову назадъ, оперлась теменемъ объ полъ и вся изогнулась, такъ что пятки ея почти касались головы. Въ такомъ положеніи, безъ помощи рукъ, она передвинулась до половины комнаты. Затѣмъ, во мгновеніе ока, опять-таки безъ помощи рукъ, встала на ноги и выпрямилась, потомъ упала на грудь и такъ ползла, не шевеля ногами и руками.

Метлина, вся дрожа и обливаясь слезами, кидалась къ ней, но ее какъ будто что-то не пускало. Зина, блѣдная, глядѣла, не вѣря глазамъ своимъ. Самъ отецъ Николай въ первую минуту какъ-бы смутился: онъ никогда еще не видалъ ничего подобнаго. Губы его шептали молитву, и онъ время отъ времени издали осѣнялъ Катюшу крестнымъ знаменіемъ.

Она его не видѣла, не могла видѣть, такъ какъ зрачки ея открытыхъ глазъ совсѣмъ закатились кверху. Но каждый разъ, какъ онъ осѣнялъ ее крестнымъ знаменемъ, она вся вздрагивала, и неистовый ея вопль оглашалъ комнату.

Нѣсколько десятковъ разъ, съ ужасающей быстротою, Катюша изгибалась вся въ дугу, почти въ кругъ,—и затѣмъ мгновенно выпрямлялась. Потомъ она сдѣлала какой-то невѣроятный прыжокъ аршина на два отъ пола, и со всего размаху упала, ударяясь головою о стулъ.

Несчастная Метлина съ раздирающимъ душу крикомъ кинулась къ дочери, думая, что та разбила себѣ голову. Иначе не могло и быть, такъ какъ спинка стула, о которую виском ударилась Катюша, отъ удара сломалась. Между тѣмъ, на виске не было никакого знака. Катюша быстрымъ движеніемъ отстранила мать, подбѣжала къ своей кровати и сѣла на нее.

Теперь она какъ будто успокоилась. Такъ продолжалось съ минуту. Отецъ Николай все громче и громче читалъ молитву и подходилъ къ кровати. Вдругъ опять визгъ. Но Катюша неподвижно сидитъ, будто окаменѣлая, зрачки ея глазъ по прежнему закатились, совсѣмъ ихъ не видно. Лицо ужасное, неузнаваемое, красное, шея раздута..,

— Зачѣмъ ты здѣсь? — воскликнула она хриплымъ голосомъ.—Зачѣмъ ты пришелъ меня мучить?.. Уходи, мнѣ тебя не надо!.. Развѣ съ тебя не довольно, что ты обманулъ отца и мать... меня не обманешь... Смотри!..—и она показывала ему что-то:—видишь?!.

Отецъ Николай ничего не видѣлъ и не слышалъ. Онъ былъ весь углубленъ въ молитву, онъ чувствовалъ, опредѣленно и

ясно, что передъ нимъ какъ-бы какое-то препятствіе, какъ-бы какая-то стѣна обступила его со всѣхъ сторонъ и черезъ эту стѣну онъ долженъ проникнуть. Но стѣна эта страшно холодна— на него такъ и дышетъ отъ нея ледянымъ холодомъ, и она только тогда его пропуститъ, когда онъ превратитъ этотъ холодъ въ тепло... и тепло это онъ долженъ извлечь изъ себя...

Онъ напрягаетъ всю свою силу, все свое сердце — и тепло растетъ, растетъ, усиливается, непрерывной струей льется на холодные камни... и камни теплѣютъ... Все существо отца Николая наполняется неизъяснимымъ умиленіемъ, неизъяснимымъ чувствомъ жалости и любви. Онъ давно уже забылъ о себѣ. Онъ только любитъ, только вѣритъ, только множитъ въ себѣ благодатное тепло, изливающееся на стоящую передъ нимъ преграду...

А Катюша между тѣмъ, говоритъ, говоритъ:

— Жутко и хорошо подъ этими сводами!.. — озирается она кругомъ себя: — какое богатство... какая роскошь!.. всѣ сокровища міра здѣсь собраны... золото... золото, камни самоцвѣтные... Огонь, темно-красный огонь освѣщаетъ всѣхъ. Гляди, обманщикъ, сколько здѣсь людей, всѣ здѣсь и всѣ «ему» поклоняются! Вотъ онъ... «онъ»...

Она задыхается, дрожитъ, но все-же продолжаетъ:

— Да, онъ страшенъ... ужасенъ! Но, вѣдь, кромѣ него ничего нѣтъ, онъ владыка надо всѣми, надо всѣми, видишь, всѣ преклонились передъ нимъ!.. Всѣ упали, и онъ велитъ имъ, онъ велитъ... убить, ограбить... обмануть... лгать! и за это онъ даетъ куски золота, камешки со стѣнъ своего чертога... И всѣ убиваютъ, грабятъ, лгутъ за кусокъ золота, за камешекъ!.. Зачѣмъ-же ты обманываешь, зачѣмъ говоришь, что есть кто-нибудь, кромѣ него, зачѣмъ ты меня мучаешь?!

Отецъ Николай пришелъ въ себя и содрогнулся, разслышавъ послѣднія слова ея. Онъ быстро подошелъ къ ней, положилъ руки ей на плечи. Она мгновенно затихла и въ ней произошла перемѣна. Лицо ея стало спокойнымъ, зрачки, расширенные, тусклые, опустились, глаза продолжали оставаться открытыми, лицо мало-по-малу блѣднѣло. Отецъ Николай взялъ обѣими руками ея голову и прижалъ ее къ своей груди.

— Да воскреснетъ Богъ, и да расточатся врази Его...—шептали его губы.

Теперь онъ чувствовалъ, какъ уничтожился леденящій холодъ, какъ распалась преграда, стоявшая передъ нимъ. Онъ чувствовалъ, какъ благодатный потокъ тепла, изливаясь изъ него, наполняетъ эту несчастную голову, которая прижата къ его груди. Теперь онъ зналъ, навѣрное зналъ, что вся сила зла,

сила лютой, невѣдомой и страшной болѣзни—исчезла. Онъ склонился впередъ и, поддерживая голову Катюши, осторожно положилъ ее на подушку. Онъ закрылъ ея глаза, перекрестилъ ее—и отступилъ на шагъ.

— Встань,—сказалъ онъ спокойно и твердо:—встáнь! Господь избавилъ тебя отъ зла и болѣзни!..

Катюша открыла глаза. Но теперь ничего неестественнаго и ужаснаго уже не было въ ея взглядѣ. Она провела рукою по лбу, какъ будто отгоняя какую-то тяжелую грезу. Потомъ съ изумленіемъ взглянула на отца Николая, на мать, на Зину.

— Боже мой!..—воскликнула она:—что со мною, какой ужасный сонъ... ничего не помню... только ужасное что-то!..

Она еще разъ взглянула на священника, слабо и радостно вскрикнула и бросилась ему на шею.

— Батюшка,—шептала она, прижимаясь къ нему:—благословите меня, перекрестите... Какъ хорошо, какъ хорошо, какъ тепло!..

Отецъ Николай радостно глядѣлъ на Катюшу и, обнявъ ее одною рукою, другой ласково гладилъ ея распустившіеся волосы. Метлина и Зина еще не успѣли придти въ себя послѣ всѣхъ потрясающихъ впечатлѣній. Но вотъ онѣ, наконецъ, все поняли и съ крикомъ радости кинулись къ отцу Николаю и Катюшѣ.

V.

Великъ и грозенъ безпросвѣтный мракъ, окутывающій міръ. Ничего въ немъ не видно и слышатся только изъ глубины его разнородные звуки — крики борьбы, ужаса, страданія, злобнаго торжества, вопль насыщающихъ себя и никогда ненасытимыхъ злобы и мести, безсмысленный смѣхъ, вздохи грубаго, мимолетнаго наслажденія, мольбы о пощадѣ, мольбы о помощи, безнадежныя глухія рыданія, предсмертный хрипъ умирающей животной жизни. Всѣ эти звуки сливаются въ мрачную дисгармонію...

Что тамъ происходитъ, въ этомъ непросвѣтномъ мракѣ? Тамъ царствуютъ слѣпые и нѣмые, безпощадные законы матеріальной природы, тамъ сознательная борьба невозможна, побѣда минутна и ея слѣдствія—ничтожны. Тамъ страшный и загадочный Рокъ собираетъ свою созрѣвшую жатву...

Великъ и грозенъ безразсвѣтный мракъ, окутывающій міръ,—и весь этотъ міръ, со всѣми своими тайными, невидимыми въ глубокой тьмѣ явленіями, со всей мрачной дисгармоніей своихъ звуковъ—только безобразный, невѣдомо зачѣмъ существующій клубокъ матеріи, кишащій созданіями ея удушливыхъ испареній...

Но вотъ, среди непонятной тьмы, загорается искра дивнаго, божественно-прекраснаго свѣта. Эта малая искра сразу озаряетъ громадное пространство мрака. Она несетъ въ себѣ свѣтъ и тепло, изливаетъ ихъ изъ себя неизсякаемыми потоками,—и къ ней, изъ глубины клубящейся и мятущейся бездны, устремляется все, что способно воспринять свѣтъ и тепло. Только самыя чудовищныя исчадія мрака хоронятся въ недоступныхъ глубинахъ его, объятыя ужасомъ безумія...

И все, что стремится къ этой животворной искрѣ, быстро мѣняетъ свои грубыя, обезображенныя формы, созданныя мракомъ. Чѣмъ больше свѣту и тепла, чѣмъ ближе ихъ источникъ, тѣмъ больше красоты, гармоніи, ликованій. Не будь этой всеозаряющей, всепобѣдной искры—не было-бы и мрака, ибо нельзя было-бы сознать его. Было-бы одно безконечное страданіе, одна безсознательная смерть, одинъ неумолимый Рокъ со своими холодными, неизбѣжными законами.

Но все—создано не для смерти, а для вѣчной жизни, не для безобразія, а для красоты, не для страданія, а для блаженства, не для лжи, а для истины, не для ненависти, а для любви. Жизнь, красота, блаженство, истина, любовь — все это и есть искра свѣта и тепла, всепобѣдно озаряющая мракъ матеріи. Это—чудный пятиугольникъ, изъ котораго ничего нельзя взять, не уничтоживъ его цѣльности; уничтожить одинъ изъ пяти угловъ его—значитъ разрушить все, все обратить въ призракъ и ничтожество. Это—святой символъ, звѣзда истиннаго счастія...

Гдѣ свѣтятъ и грѣютъ пять лучей звѣзды счастія, тамъ все преображается. Всякое жилище человѣческое, отъ дворца до бѣдной хижины, со всѣмъ своимъ соромъ и пылью, сразу превращается въ лучезарный храмъ ликующаго духа...

Въ такой храмъ превратилось и жилище Метлиныхъ: весь мракъ исчезъ—и всѣ пять нераздѣльныхъ лучей чудной звѣзды свѣтили и грѣли. Проходили минуты, но никто не замѣчалъ ихъ, всѣ внѣшнія проявленія жизни были теперь безотчетны. Всѣ находились въ высшемъ духовномъ единеніи, забыли себя и наслаждались счастіемъ. Всѣ размѣстились теперь кругомъ отца Николая, и блаженно глядѣли на его счастливое лицо, въ его ясные глаза, изливавшіе потоки ликующаго свѣта.

Онъ первый нарушилъ долгое молчаніе. Онъ вздохнулъ всей грудью отъ избытка счастливаго чувства и умиленнымъ голосомъ сказалъ:

— Боже мой, Боже мой, какъ намъ благодарить Тебя? Какъ намъ прославить Твое великое милосердіе?! Были муки тѣла и духа, мракъ, нищета, ложь и грѣхъ, а нынѣ сіяетъ свѣтъ Твой, и ликуетъ побѣду любовь Твоя!..

Всѣ три женщины, при словахъ этихъ, заплакали и невольнымъ, безсознательнымъ порывомъ кинулись въ объятія другъ къ другу. Отецъ Николай радостно глядѣлъ на нихъ.

Въ его сердцѣ поднялся вопросъ—и этотъ вопросъ былъ: за что ему такое счастіе? Чѣмъ заслужилъ онъ его и чѣмъ заслужитъ? Онъ чувствовалъ себя такимъ малымъ, малымъ передъ великостью Божіей благодати. Ему, конечно, и въ голову не пришло, что это онъ самъ превратилъ горе въ счастіе. Но вотъ Метлина, обратясь къ нему и продолжая обнимать Катюшу и Зину, воскликнула:

— Батюшка... отецъ святой... благодѣтель нашъ... чудотворецъ!

Онъ вздрогнулъ, смутился и даже строгость мелькнула въ его взглядѣ.

— Мать, замолчи!—какъ-то растерянно прервалъ онъ ее:—Бога благодари, а не меня... Развѣ это я? Развѣ я хоть что-нибудь могу безъ Бога?!

Ему стало неловко, почти тяжело, но великое счастіе, охватывавшее его, тотчасъ-же и вытѣснило всѣ иныя ощущенія. Метлина замолчала, боясь огорчать его, но въ душѣ ея повторялось: «Богъ черезъ угодника Своего!»

Въ это время въ сосѣдней комнатѣ послышались шаги.

— Это папенька... папенька вернулся!—радостно крикнула Катюша и въ мигъ одинъ была уже у двери.

Метлина поспѣшила за нею.

Отецъ Николай остался вдвоемъ съ Зиной.

— Ну, вотъ, голубушка моя,—сказалъ онъ, любовно на нее глядя:—привелъ Господь намъ вмѣстѣ переживать счастливыя минуты... Гдѣ же твое горе, твои страхи?.. Развѣ не свѣтло и не тепло на душѣ у тебя?

— И свѣтло, и тепло,—отвѣчала Зина:—ничего и никого не боюсь я... и спокойна съ тѣхъ поръ, какъ вы меня успокоили...

Она какъ-бы хотѣла еще прибавить что-то, но онъ понялъ мысль ея.

— И ждешь, и молишься, и надѣешься!... Такъ, дочь моя, такъ! экій день-то для насъ счастливый... да и не исчерпана еще кошница Божіей благостыни... вѣстью доброй я тебя порадую: другъ нашъ недалеко и вскорѣ будетъ съ нами...

— Вы получили отъ него извѣстіе?—вся вспыхивая, съ забившимся сердцемъ спросила Зина.

Отецъ Николай на мгновеніе какъ-бы изумился—только не ея вопросу, а тому, что онъ такъ увѣренно, такъ рѣшительно сообщилъ ей свою вѣсть.

— Нѣтъ,—отвѣтилъ онъ:—не имѣю я отъ него извѣстія, то-есть письма или слуха какого, а только есть у меня, видите-ли, милая моя боярышня, чувство такое—и никогда оно меня не обманываетъ. Коли сказалъ я, что онъ невдолгѣ будетъ съ нами—значитъ, оно такъ и есть...

Онъ замолчалъ и какъ будто прислушивался къ чему-то, даже глаза закрылъ.

— Да,—еще рѣшительнѣе сказалъ онъ:—близко онъ, близко! и увидимъ мы его обновленнымъ... Такъ и знай! это Богъ тебѣ такую радость посылаетъ!..

Вошелъ Метлинъ въ сопровожденіи жены и дочери. Онѣ уже сказали ему все, уже горячіе поцѣлуи и ласки Катюши яснѣе всякихъ словъ доказали ему, что его единственная, нѣжнолюбимая имъ дочка спасена отъ страшной, непонятной болѣзни, что теперь уже не будетъ унылый видъ ея отравлять счастіе ихъ новой, блаженной жизни. Жена шепнула ему также, чтобы онъ не смущалъ «батюшку» выраженіями своей благодарности...

Метлина говорила, что ея мужъ сталъ совсѣмъ новымъ человѣкомъ,—и это была истинная правда. Въ этомъ бодромъ, красивомъ, барственнаго вида человѣкѣ невозможно было узнать недавняго, совсѣмъ опустившагося тѣломъ и духомъ пьяницу. Къ нему вернулось все его достоинство прежнихъ лѣтъ; въ глазахъ свѣтились и умъ, и доброта. Онъ подошелъ къ отцу Николаю и, принявъ отъ него благословеніе, не сталъ благодарить его. Онъ молча посмотрѣлъ на него, но такъ посмотрѣлъ, что священникъ еще разъ обнялъ его и поцѣловалъ.

— Радуюсь, радуюсь, сударь!—говорилъ отецъ Николай:—отъ супруги про всѣ дѣла, про всѣ ваши новости знаю... работаете, трудитесь... доброе дѣло... Богъ вамъ въ помощь!

Но Метлинъ вдругъ какъ-бы въ смущеніи опустилъ глаза.

— Стою-ли я еще такихъ Божіихъ милостей? — сказалъ онъ.—Ахъ, батюшка, какъ гадокъ человѣкъ, то-есть я-то какъ гадокъ!... Вѣдь, ужъ чего-бы, кажется, вѣдь ужъ, легко прозрѣть, а все слѣпота одолѣваетъ!.. Тяжбы мои вотъ разбираются... такъ я, узнавъ, что всѣ мои вороги да обидчики въ отвѣтѣ теперь, и жестокую кару по закону должны понести—такъ возрадовался, такъ возрадовался—вотъ будто сердце пляшетъ отъ радости!.. Такъ все и кипитъ во мнѣ—посмотрѣть на нихъ... унижали они меня—ихъ теперь унизить, да десятерицею, да сторицею! на ихъ муки налюбоваться!..

— Что ты говоришь, что ты говоришь? Да, вѣдь, это грѣхъ смертный!—испуганно вскричалъ отецъ Николай.

— Знаю, отче, и каюсь!—продолжалъ Метлинъ:—сутки цѣ-

лыя, и день и ночь тѣшилъ я въ себѣ сію злобу... Утромъ сталъ на молитву, а молиться-то и не могу—покинулъ меня Господь!.. Тутъ я и очнулся... Ну, помогла мнѣ сила небесная... поборолъ я себя, совсѣмъ поборолъ и отъ всего сердца за враговъ помолился, и простилъ имъ. И такъ легко стало на душѣ, какъ никогда не бывало...

— Слава Тебѣ, Господи!—перекрестясь, воскликнулъ священникъ.—Только вотъ что, друже мой, ты это на дѣлѣ покажи—свое прощеніе... свою молитву... Отъ тебя будетъ зависѣть... подвергнуть ихъ, обидчиковъ-то твоихъ, всей карѣ закона... или простить... такъ ты ихъ прости и заступись за нихъ...

— Простилъ и заступаюсь,—просто и твердо сказалъ Метлинъ.

— Вотъ это ладно!—обнимая его и ласково, весело похлопывая по плечу, говорилъ отецъ Николай.—И тебя Богъ прощать будетъ... и за тебя заступится... Прощайте, други мои, порадовался я съ вами и въ радости васъ оставляю... Мнѣ-же домой теперь пора... ждетъ меня кто-то... да... должно быть кто-то ждетъ...

Всѣ вышли провожать его до крыльца, а когда вернулись въ комнаты, то каждый почувствовалъ, что хоть онъ и покинулъ ихъ, но оставилъ имъ все то великое счастье, которое принесъ имъ съ собою.

VI.

Зимній морозный вечеръ уже стоялъ надъ Петербургомъ. Въ заледенѣвшихъ окнахъ домовъ виднѣлся свѣтъ. Фонари тускло мигали по сторонамъ улицъ, почти неосвѣщая, а только указывая ихъ направленіе. Густо выпавшій, прохваченный морозомъ снѣгъ скрипѣлъ подъ ногами пѣшеходовъ, визжалъ подъ полозьями. Рабочій людъ кончалъ свой дневной трудъ и приготовлялся къ ночному отдыху. Праздный людъ начиналъ вечернія удовольствія. Темное безоблачное небо все такъ и горѣло, такъ и переливалось міріадами яркихъ звѣздъ.

Пошевни, въ которыхъ отецъ Николай возвращался домой, быстро мчались. Священникъ запахнулся въ свою шубу, и ему было такъ хорошо въ ней, такъ тепло. Онъ приподнялъ голову и, не замѣчая улицъ, не видя домовъ, не слыша людскихъ криковъ, любовался чудесными звѣздами, уносился въ ихъ безпредѣльную высь.

Ощущеніе бодрой здоровой жизни наполняло его тѣло, чув-

ство спокойствія и радости было въ душѣ его, и всѣ его мысли, всѣ его ощущенія, весь онъ превращался въ одинъ порывъ безконечной любви къ Творцу и ко всему Его творенію. Всѣмъ существомъ своимъ онъ поклонялся Богу и благодарилъ Его.

Но вотъ... Что-же это такое какъ-бы дрогнуло въ его сердцѣ и смутило его безмятежность? Онъ вдругъ вспомнилъ, что сейчасъ пріѣдетъ домой, тамъ его ждетъ кто-то, кто нуждается въ его помощи; онъ это чувствовалъ еще тамъ, у Метлиныхъ. Онъ и спѣшитъ, онъ и поможетъ... но, вѣдь, тамъ... тамъ тоже жена, Настя, тамъ она,—это единственное испытаніе его счастливой, благодатной жизни!

Когда-же наступитъ конецъ этому испытанію?! Вотъ Метлина какое слово сказала: «чудотворецъ»... Отецъ Николай даже вздрогнулъ, вспомнивъ это слово, манившее его душу въ область погибельной гордыни.

Онъ уже не разъ слыхалъ подобныя слова въ послѣднее время: ежедневно ,кто-нибудь изъ тѣхъ, кому онъ помогъ по Божьей милости, называлъ его чудотворцемъ, святымъ, угодникомъ, благодѣтелемъ. И каждый разъ его будто ножемъ рѣзало отъ словъ этихъ. Была минута, другая, когда онъ совсѣмъ почти допустилъ врага побороть себя. Мигъ еще—и онъ-бы возгордился, и онъ-бы возмнилъ о себѣ.

Это была страшная борьба. Онъ вышелъ изъ нея побѣдителемъ, онъ смирился и созналъ глубоко, всей душой, все свое человѣческое ничтожество. Но, вѣдь, врагъ силенъ, онъ караулитъ, онъ ежечасно шепчетъ:

«Забудь, что я врагъ, забудь, что я грѣхъ, забудь, что я зовусь гордыней, впусти меня въ душу, я дамъ тебѣ великія, неизрѣченныя наслажденія!».

«Господи, помилуй, избави отъ лукаваго!».—отвѣчаетъ отецъ Николай на этотъ соблазняющій голосъ, и осѣняетъ себя крестнымъ знаменіемъ, и спасаетъ себя отъ погибели.

«Святой! хорошъ святой!»—шепчетъ теперь онъ, глядя на чудныя звѣзды.—«Не святой, а великій грѣшникъ! На мигъ одинъ оставитъ Господь—и такъ вотъ и полечу въ бездонную пропасть, гдѣ нѣтъ звѣзднаго сіянія, гдѣ нѣтъ этого дивнаго небеснаго хора, немолчно поющаго славу Предвѣчному!.. Угодникъ! хорошъ угодникъ, когда не могу спасти и поднять эту бѣдную, томящуюся около меня душу! Да и гдѣ мнѣ поднять кого-либо! Богъ поднимаетъ моей слабой рукою. И ее Онъ поднимеетъ, не дастъ ей погибнуть»...

— Настя, бѣдная ты моя!—вдругъ почти громко произнесъ онъ.

Много любви, много нѣжности, много глубокаго горя прозвучало въ словахъ этихъ. Если-бы она могла ихъ слышать, то не сказала-бы, что онъ ее не любитъ. Она была ему чужая, совсѣмъ чужая, но часто, часто помышлялъ онъ объ этомъ отчужденіи, помышлялъ съ тоскою въ сердцѣ.

Она думала, что онъ не замѣчаетъ ея, что она тяготитъ его. Послѣднее было, конечно, правда. Да, она являлась великой тягостью его жизни, единственнымъ его горемъ. Но если это была единственная тягость, единственное горе, какъ-же онъ могъ не замѣчать ея? А ужъ какъ онъ за нее молился!

Онъ и теперь кончилъ горячей молитвой, и эта молитва, какъ и всегда, принесла ему надежду, отогнала его тоску, вернула ему душевное спокойствіе и радость...

Пошевни въѣхали во дворъ княжескаго дома. Отецъ Николай расплатился съ извощикомъ, благословилъ его и поспѣшно вошелъ къ себѣ. Въ первой комнатѣ никого нѣтъ, тихо. Въ углу передъ образами зажжена лампада, на столѣ горитъ красивая лампа, недавно принесенная «матушкѣ» услужливымъ дворецкимъ изъ верхнихъ княжескихъ покоевъ.

«Гдѣ-же тотъ, кто ждетъ меня?»—подумалъ отецъ Николай.

А ждетъ кто-то, чувствуетъ онъ, что ждетъ!.. Дверь во вторую комнату отворилась и пропустила Настасью Селиверстовну.

— Настя, — сказалъ отецъ Николай, снимая шубу и вѣшая ее на крюкъ въ маленькой прихожей:—есть кто-нибудь у тебя?

— Никого нѣтъ,—тихо отвѣтила она.

— И меня никто не ждалъ, не спрашивалъ, за мною никто не присылалъ?

— Нѣтъ, никто. Я все время, съ той поры какъ ты уѣхалъ, одна была. Никто не приходилъ, не слыхала...

Кто это говоритъ? Это совсѣмъ не ея голосъ, онъ никогда не слыхалъ у нея такого голоса. Она стояла у двери не трогаясь съ мѣста. Онъ пошелъ къ ней и остановился съ тревогой на нее глядя.

Не она, совсѣмъ не она! Онъ ужъ и такъ замѣчалъ въ ней перемѣну, а теперь она блѣдна, какъ никогда не бывала. Вѣки ея глазъ красны, опухли отъ слезъ.

— Настя, что съ тобою? Ты больна, что у тебя болитъ, скажи родная?—быстро спрашивалъ онъ, беря ее за руку.

Но она ничего ему не отвѣтила и вдругъ упала передъ нимъ на колѣни, поклонилась ему до земли, потомъ охватила руками его ноги, прижалась къ нимъ и зарыдала.

— Прости меня, прости!—разслышалъ онъ сквозь ея отчаянныя, потрясающія душу рыданія.

VII.

Отецъ Николай давно уже пріучилъ себя не пугаться и не смущаться никакими неожиданностями, встрѣчающимися въ человѣческой жизни. Во всѣхъ обстоятельствахъ, какъ печальныхъ для него, такъ и радостныхъ, какъ понятныхъ ему, такъ и непонятныхъ, онъ всегда являлся спокойнымъ и владѣлъ собою.

Но тутъ, увидя жену безумно рыдавшею и обнимавшею его колѣни, разслышавъ ея слова: «прости меня, прости!», онъ растерялся, испугался. Лицо его измѣнилось до неузнаваемости, потому что въ немъ померкъ весь тотъ безмятежный свѣтъ, который придавалъ этому простому по чертамъ лицу необыкновенную красоту и привлекательность.

— Да что такое, что случилось?—трепетнымъ голосомъ говорилъ отецъ Николай, склоняясь надъ женою.—Ну, перестань... не плачь... зачѣмъ, къ чему такъ отчаяваться... Богъ милостивъ.. Да успокойся-же, Настя, скажи, что такое?..

Но рыданія ея не прекращались. Она все крѣпче охватывала его своими сильными руками, будто боясь, что онъ вырвется отъ нея и уйдетъ. Она все невыносимѣе, все мучительнѣе, изъ самой глубины души, повторяла:

— Прости меня, прости!..

Онъ не зналъ, что и подумать, на чемъ остановиться. Что она сдѣлала?.. Что-нибудь ужасное, безповоротное, какой-нибудь грѣхъ тяжкій, смертный?..

Но еще мигъ, и онъ ужъ началъ выходить изъ своего смущенія, испуга. Къ нему возвращалось то душевное спокойствіе, при которомъ нѣтъ ничего страшнаго, такъ какъ все покрываетъ твердая надежда на Бога.

И чѣмъ онъ становился спокойнѣе, тѣмъ яснѣе дѣлались его мысли, его пониманіе. Еще нѣсколько мгновеній, — и онъ уже видѣлъ, что тутъ не бѣда, не грѣхъ, а наоборотъ, спасеніе. Онъ вдругъ почувствовалъ, что именно теперь насталъ тотъ часъ, о которомъ онъ такъ долго молилъ Бога, что именно теперь, въ этотъ свѣтлый день чудесъ Божьей благодати, уходитъ и его горе, и его тяжесть готова упасть съ плечъ его.

Да, онъ все понялъ, и потокъ счастья озарилъ его; снова радостный свѣтъ блеснулъ въ его глазахъ, снова лицо его засіяло духовной красотою.

— Настя,—сказалъ онъ счастливымъ голосомъ:—встань!

Заслыша этотъ счастливый голосъ, она повиновалась. Онъ обнялъ ее, подвелъ къ дивану и посадилъ на него, а самъ сѣлъ

рядомъ съ нею и взялъ ее за руку. Ея рыданія стихли, но еще не сразу подняла она на него глаза. Ей было это трудно.

Наконецъ, она подняла ихъ и встрѣтилась съ его глазами. Она глядѣла теперь на это доброе, счастливое, озаренное внутреннимъ свѣтомъ лицо, будто видѣла его въ первый разъ. Она и дѣйствительно видѣла его въ передъ разъ. Прежде она была равнодушна къ этому лицу и никогда въ него не вглядывалась; теперь, въ это послѣднее время, погруженная въ свою внутреннюю борьбу, она хотя и глядѣла часто на мужа, но видѣла его совсѣмъ не такимъ, какимъ онъ былъ въ дѣйствительности, а такимъ, какимъ онъ представлялся ея обманувшемуся воображенію.

И она поразилась этой духовной красотою, этимъ свѣтомъ.

— Такъ ты простилъ меня, простилъ!—боясь вѣрить своему счастью, прошептала она.

Она спрятала голову на грудь его и опять зарыдала. Но уже теперь въ ея рыданіяхъ не слышалось отчаянія и муки. Онъ крѣпко ее обнялъ, прижимая къ себѣ, и на глазахъ его показались слезы.

— Господи, благодарю тебя!..—произнесъ онъ и въ словахъ этихъ прозвучала такая глубина благодарности, такая несокрушимость вѣры, такая истина дѣйствительнаго общенія съ Богомъ, что все это передалось и ей, и она, будто не устами, а душою, повторила слова его.

Она подняла голову, еще разъ на него взглянула и они заключили другъ друга въ объятія. Въ тишинѣ комнаты прозвучалъ крѣпкій, радостный поцѣлуй. Это былъ первый истинно супружескій поцѣлуй въ ихъ собственной жизни. Имъ они породнились, имъ они осуществили таинство брака. Прежней розни, отчужденности, тяжести, враждебности съ одной стороны и грусти съ другой—не было и не могло уже все это вернуться. Они сидѣли рядомъ, плечо къ плечу и держа другъ друга за руки. И одинаковый свѣтъ сіялъ теперь въ глазахъ отца Николая и жены его. Этого свѣта никогда прежде не было въ ея глазахъ.

— Голубчикъ ты мой,—шептала Настастья Селиверстовна:— вѣдь, я не сейчасъ, я давно уже поняла свое окаянство передъ тобою, поняла всю свою неправду... Только злоба во мнѣ была велика, да гордость... Ломала я себя, ломала — и сломать не могла!.. А потомъ тяжко такъ стало, что ты меня не любишь...

Онъ улыбнулся доброй, ласковой улыбкой и покачалъ головою.

— Какъ-же это... откуда взяла ты, что я не люблю тебя?

— Да и любить-то не за что было!—воскликнула она и минутная тѣнь мелькнула по лицу ея. — Не за что меня любить

было!.. И потомъ... вѣдь, я видѣла, что я тебѣ чужая, что я тебѣ помѣха. Вотъ это-то меня и изводило!..

— А не видѣла ты, — тихо сказалъ онъ: — что отъ тебя только и зависѣло, чтобы ты стала мнѣ не помѣхой, а помощницей, другомъ единственнымъ, Богомъ даннымъ? Не видала ты, что я многократно призывалъ тебя къ этому? Не понимала ты, что ежечасно Бога молилъ я объ этомъ нашемъ единеніи въ крѣпости, любви и разумѣ? Никогда не видала и не чувствовала ты этого?

Она отрицательно покачала головой.

— Ну, а теперь-то, Настя, видишь ты это? Чувствуешь-ли?

— Да, золотой мой, я теперь совсѣмъ какъ-бы другая стала; вѣдь, я была очень, очень несчастна—отъ этого и злоба во мнѣ явилась, и въ мысляхъ затменіе. Вотъ теперь гляжу я на тебя—и ты мнѣ совсѣмъ инымъ кажешься. Вѣдь, я тебя, Николушка, прости ты меня, въ слѣпотѣ своей, да въ гордынѣ какъ низко почитала! Называла тебя я лицемѣромъ—и такъ, такъ, вѣдь, про тебя и полагала.

Отецъ Николай задумался. Онъ какъ-бы глядѣлъ въ глубь души своей и произнесъ:

— Нѣтъ, Настя, я грѣшный человѣкъ, но лицемѣрія во мнѣ никогда не было.

— Да знаю я, знаю!—перебила она его порывисто и страстно поднося его руку къ губамъ и цѣлуя ее. — Знаю я... Теперь-то я все вижу, всю твою святость истинную, всю чистоту души твоей, твое терпѣніе... Все мнѣ теперь Господь открылъ. Потому я и ждала тебя, молясь и плача, боялась одного—какъ-бы Богъ не наказалъ меня за мое окаянство передъ тобою, какъ-бы мнѣ не умереть тебя не увидя, не упавъ передъ тобою, не вымоливъ себѣ прощенія...

Вдругъ она остановилась и глаза ее погасли, лицо поблѣднѣло.

— А теперь-то какъ-же?—растерянно спросила она.

— Что такое, Настя?

Но она не слышала словъ его, она будто сама себѣ громко отвѣтила:

— Я уѣду.

— Теперь-то?!—съ изумленіемъ воскликнулъ онъ.—Зачѣмъ-же тебѣ уѣзжать?

— Нѣтъ, мой золотой, я тебя недостойна, я тебѣ здѣсь мѣшаю. Что возмущало меня, сердце мнѣ надрывало, гордыню во мнѣ терзало—теперь, вѣдь, мнѣ понятнымъ сдѣлалось. Я тебѣ здѣсь мѣшаю, какая я тебѣ жена! Ты хотя и считаешь себя грѣшнымъ человѣкомъ только все-же передъ моей грѣховностью

ты святой, да такимъ тебя и всѣ почитаютъ—какая-же я тебѣ жена! Да тебѣ вовсе и женатымъ-то быть не должно, ты живешь для Бога, для несчастныхъ, для больныхъ... Я тебѣ мѣшать не буду. Я...—голосъ ея дрогнулъ и на глазахъ показались слезы:—я буду тамъ, у себя дома, замаливать грѣхи... Кабы до моего пріѣзда сюда мы разстались, мнѣ-бы это было не горе... теперь—это мнѣ горе великое, но я его заслужила... оно мнѣ и будетъ наказаніемъ...

Она дѣлала надъ собою послѣднія усилія, чтобы подавить рыданія, которыя такъ и просились изъ груди ея. Отецъ Николай взялъ обѣими руками ея голову и крѣпко поцѣловалъ ее.

— Нѣтъ, Настя,—сказалъ онъ:—оставь... все это не такъ. По милосердію Господнему теперь мы съ тобой истинные мужъ и жена, Богъ благословилъ насъ на общую жизнь, и теперь, когда отверзлись очи твоей души,—теперь ты не можешь быть мнѣ помѣхой... Или забыла ты, Настя, что мы вѣнчались въ храмѣ Божіемъ, что надъ нами совершилось святое таинство? Или забыла ты, въ чемъ мы обѣщались передъ Богомъ?.. Мы только сами могли осквернить бракъ нашъ и превратить его изъ Божьяго таинства въ мерзость. Если-же мы не хотимъ этого, если мы не унижаемъ себя, то намъ не только не должно, не только нельзя расходиться, но мы и не смѣемъ этого... Да, Настя, вотъ тебѣ казалось, что я не люблю тебя, что я тебя чуждаюсь. Теперь ты сама видишь, что не я былъ въ томъ виновенъ. Не любить тебя я не могъ—я всѣхъ люблю, но чуждаться тебя я былъ долженъ, ибо видѣлъ, что бракъ нашъ, по твоему ослѣпленію, изъ таинства превратился именно въ ту мерзость, которая претила душѣ моей, которая есть грѣховна!.. Мало передъ людьми быть мужемъ и женою, мало обвѣнчаться въ церкви,—надо сохранить въ себѣ таинство. Иначе-же это—тяжкій обманъ Бога и людей! Подумай, между нами не было никакой общности—ты не понимала меня, а я не понималъ тебя. Съ твоей стороны стояла какая-то вражда ко мнѣ, съ моей—невозможность ее уничтожить, невозможность поднять тебя и привести въ тотъ духовный міръ, въ которомъ я живу и внѣ котораго не могу жить. Поэтому мы и не были мужемъ и женою передъ Господомъ, и я—служитель алтаря, священникъ,—я не могъ осквернять одной только животной похотью, которая для меня не иное что, какъ величайшая омерзительная пагуба души... Но теперь, когда Господь просвѣтилъ тебя, когда я вижу и чувствую, что ты пришла ко мнѣ съ пониманіемъ, что ты входишь въ тотъ Божій міръ, гдѣ я живу,—ты становишься моей подругой, Богомъ мнѣ данной, моей истинной женою. Теперь между нами должна быть и та супружеская любовь, которая не

есть грѣхъ, не униженіе достоинства человѣка, а прямой законъ Божій, данный человѣку, во плоти находящемуся. Теперь, Настя, я тебѣ мужъ—и не стыдно мнѣ ни передъ Богомъ, ни передъ собою быть имъ. Обними-же меня, голубка, нынѣ, вѣдь, первый день нашего истиннаго брака... Прошлые годы забудь—пусть память о нихъ не тревожитъ ни тебя, ни меня. Поклонимся Творцу и Жизнедавцу, благословляющему насъ на общую жизнь, на общій трудъ и взаимную поддержку, на печали и радости, на все, что дано человѣку. Возблагодаримъ Его за великое, ниспосланное намъ счастіе!..

Они вмѣстѣ, въ одномъ порывѣ, упали передъ иконами, и души ихъ слились въ общей горячей молитвѣ.

VIII.

— Нашъ другъ возвращается,—сказалъ отецъ Николай Зинѣ. Захарьевъ-Овиновъ дѣйствительно возвращался, не теряя ни дня, ни минуты. «Онъ возвращается обновленнымъ»—и это была правда. Да, полное обновленіе, полное возрожденіе началось въ немъ.

Съ каждымъ днемъ, несмотря на происходившую въ немъ временами мучительную борьбу, онъ чувствовалъ себя все лучше и свободнѣе. Ему казалось, будто надъ нимъ разрушилось великолѣпное колоссальное зданіе, которое онъ воздвигнулъ въ теченіе всей своей жизни и долженъ былъ носить на себѣ. Онъ высвободился изъ-подъ его обломковъ и могъ уже оглянуться и увидѣть, что такое онъ воздвигнулъ, что такое онъ носилъ, какъ величайшее сокровище, въ чемъ полагалъ высочайшій смыслъ и своей, и общей жизни.

И онъ видѣлъ развалины, состоящія изъ самыхъ разнородныхъ матеріаловъ: изъ чистаго золота—и никуда негодной глины, изъ благоуханнаго кипариснаго дерева—и распадающихся въ прахъ гнилушекъ. Цементъ, соединявшій весь этотъ разнородный матеріалъ и придававшій ему видъ цѣльности,—была гордость.

Ея не стало—и все обрушилось, и все приняло свой настоящій видъ, вернуло себѣ свое истинное значеніе.

Хотя и видѣлъ великій розенкрейцеръ въ этихъ развалинахъ золото и кипарисъ, но онъ видѣлъ также, что негодной глины и гнилушекъ было гораздо больше, чѣмъ золота и кипариса. А главное, не было въ разрушенномъ зданіи того, что одно могло противиться и времени, и человѣческому произволу. Что это такое—великій розенкрейцеръ уже зналъ, но какъ и скоро-ли

найдетъ онъ этотъ единый, истинный цементъ для постройки новаго зданія своей духовной жизни, — ему еще не сразу стало ясно...

Однако, вѣдь, онъ никогда не былъ ни шарлатаномъ, ни обманывающимъ себя и другихъ мечтателемъ. Его знанія, поставившія его во главѣ братства розенкрейцеровъ, не были подобны жалкой фантасмагоріи тѣхъ некрѣпкихъ умомъ и почти всегда невѣжественныхъ искателей философскаго камня, алхимиковъ, кабалистовъ, магнетизеровъ, которыхъ столько расплодилось въ то время въ Европѣ. Его знанія весьма многихъ тайнъ природы, какъ уже извѣстно, были истинными и глубокими, изумительными знаніями. Они были только не то великое «все», какимъ онъ почиталъ ихъ въ теченіе своей жизни, до самой смерти графини Зонненфельдъ.

Эти его знанія и оказывались тѣмъ чистымъ золотомъ, тѣмъ душистымъ кипарисным деревомъ, которыя онъ видѣлъ въ спавшей съ его плечъ и разсыпавшейся на свои составныя части тяжести. Онъ не могъ двинуться въ дальнѣйшій путь, не забравъ съ собою все это золото, весь этотъ кипарисъ, не могъ, если-бы даже ему вдругъ показалось, что они не стоютъ того, чтобы брать ихъ съ собою. Человѣкъ, сохранившій свои способности и свою память, не можетъ, вѣдь, отказаться отъ того, что ему извѣстно. И онъ зналъ то, что зналъ.

Не почитая эти знанія преступными, а только убѣдясь въ ихъ недостаточности и въ томъ, что они не составляютъ высшаго, существеннаго блага жизни, онъ продолжалъ пользоваться ими. Онъ снова допытывалъ теперь свою судьбу, приподнимая покровъ будущаго, творилъ ту сложную, таинственную работу, которой научила его долгая, блистательно пройденная школа мудрости, его тонкая, изощренная способность проникновенія въ суть вещей и, наконецъ, мудрыя наставленія Ганса Небельштейна, бывшаго живымъ источникомъ всѣхъ тайнъ древнихъ познаній.

Результаты таинственной работы, которой отдавалъ теперь Захарьевъ-Овиновъ всѣ свои свободныя минуты, были достаточно ясны. Онъ прочелъ въ своемъ будущемъ такія обѣщанія, такое счастливое сочетаніе электро-магнитныхъ вліяній, что имѣлъ всѣ основанія безтрепетно ждать того, что должно совершиться. Онъ зналъ, что найдетъ все, чего ищетъ, что найдетъ все это тамъ, на своей родинѣ, что ему помогутъ во всемъ ему два близкихъ существа—мужчина и женщина.

Онъ зналъ—кто они. Это его братъ Николай и Зина. Они оба неизбѣжно входили въ судьбу его. И особенно, исключительно судьба эта была связана съ женщиной, то-есть, съ Зиной. Вѣдь, онъ и прежде вглядывался въ свою будущность,

онъ и прежде видѣлъ въ ней неизбѣжный, тѣсно связанный съ нею образъ женщины. Но несмотря на всю мудрость, онъ ошибся—принялъ эту женщину за покойную графиню Елену. Онъ стремился тогда къ вышнему духовному единенію съ этимъ жаждавшимъ свѣта, томившимся и страдавшимъ существомъ,— и погубилъ его въ своемъ печальномъ ослѣпленіи.

Но, вѣдь, тогда, въ своихъ отношеніяхъ къ Еленѣ, онъ былъ прежнимъ человѣкомъ. Теперь въ душѣ его все измѣнилось. Теперь передъ нимъ стояло ощущеніе той минуты, когда онъ созналъ весь ужасъ одиночества. Онъ понималъ ужъ и чувствовалъ, что всей душею любитъ Зину, не такъ, какъ любилъ умершую графиню, совсѣмъ не такъ, гораздо выше, гораздо чище, полнѣе, но все-же любитъ какъ человѣкъ, не можетъ отдѣлить представленія о чистой прекрасной душѣ ея отъ представленія о прелестной женщинѣ.

Итакъ—опять матерія, побѣдителемъ которой онъ считалъ себя! Передъ нимъ стояла мучительная, неразрѣшимая загадка. Ему предстояла снова борьба, но передъ этой новой борьбою всѣ прежнія были—ничто. Онъ выходилъ на бой съ самимъ собою, съ мудрецомъ, достигшимъ высшихъ предѣловъ человѣческаго знанія, исполненнымъ понятіями и взглядами, созрѣвшими со временъ глубокой древности въ тайныхъ святилищахъ, куда собирались высшіе представители высшаго званія.

Во всѣхъ этихъ святилищахъ мудрецы древней Индіи, Египта, Греціи, а затѣмъ ихъ вѣрные ученики, скрывавшіеся по монастырямъ и замкамъ средневѣковой Европы и передавшіе всѣ свои скопленныя тысячелѣтіями сокровища въ развалины Небельштейна,—всѣ они знали и провозглашали великую, непреложную, по ихъ глубокому убѣжденію, истину. Истина эта была:

«Всякій, кто желаетъ достигнуть высшихъ познаній и пріобрѣсти несокрушимую власть надъ природой, долженъ быть одинокъ. Никакая земная страсть, никакая привязанность не должны смущать его душу. Онъ долженъ всегда находиться въ полномъ обладаніи всѣми своими духовными и тѣлесными силами, не тратить, а постоянно множить запасъ ихъ. Если-же онъ соединится съ другимъ существомъ, то выйдетъ немедленно изъ состоянія гармоніи и неизбѣжнымъ слѣдствіемъ этого явится ослабленіе какъ духовнаго, такъ и физическаго его организма. Человѣкъ, соединившій свою судьбу съ судьбою женщины, полюбившій эту женщину и сдѣлавшій ее своей женой, какъ-бы велики ни были его знанія, потеряетъ всю свою власть надъ природой. Изъ ея властелина онъ превратится въ ея раба. И горе такому человѣку, ибо онъ уже вкусилъ отъ плодовъ знанія. Онъ будетъ вѣчно томиться муками Тантала и безнадежно оплакивать свое ужасное паденіе».

Вотъ, что стояло въ основѣ всего, вотъ, что приходилось побороть великому розенкрейцеру. Онъ все близился къ тому, чтобъ принять въ свой духовный міръ живое существо, соединиться съ нимъ и отказаться этимъ самымъ отъ всей своей силы, отъ всей своей власти. Какое страшное паденіе!..

Но, вѣдь, на высотѣ могущества такъ ужасно, такъ невыносимо холодно, что онъ задыхается отъ этого холода! А тамъ, въ глубинѣ паденія, въ объятіяхъ этой любимой души,—тамъ тепло, отрадно, тамъ, можетъ быть, истинное счастіе!

Или все это одинъ только манящій, обманчивый призракъ, или это и есть именно тотъ величайшій соблазнъ, надъ которымъ надо восторжествовать?.. Онъ уже восторжествовалъ надъ подобнымъ соблазномъ, и торжество принесло только смерть, только муки, томленіе возмущенной совѣсти, все возрастающій ужасъ невыносимаго холода...

О, природа еще не сдалась, она только казалась побѣжденной, она перемѣнила только оружіе. Вотъ она, эта знаменитая цѣпь изъ розъ! Вотъ онѣ, эти погибельныя, дивно благоухающія, манящія розы!

Нѣтъ, вѣдь, нечѣмъ дышать, надо жить, а внѣ счастія жизнь невозможна. Одно ясно и вѣрно: все, въ чемъ онъ до сихъ поръ видѣлъ высшее счастіе, не только не можетъ дать никакого счастія, но несетъ съ собою смертный холодъ. Все прошлое, несмотря на замѣчательные, чудные результаты знаній, — обманъ, все это одна только гордость.

А потому, прежде всего надо покончить съ этимъ. Мы видѣли, какъ великій розенкрейцеръ покончилъ съ прошлымъ, признавъ недостаточность знаній, уничтоживъ братство, высказавъ въ знаменитомъ собраніи все то, что было у него на душѣ. Онъ этимъ самымъ одержалъ первую значительную побѣду надъ собою, надъ своей гордостью. Это былъ первый шагъ, самый трудный. И послѣ этого шага онъ оказался уже близокъ къ тому, что должно было стать или его окончательной, величайшей побѣдой надъ природой, или его полнымъ паденіемъ.

Онъ возвращался теперь въ Россію и каждый день, приближавшій его къ родному дому, къ тѣмъ людямъ, которые, какъ онъ зналъ, должны играть рѣшающую роль въ его жизни, приближалъ его и къ этой побѣдѣ или пораженію. И въ то-же время на душѣ у него становилось все легче. Въ теченіе всей своей жизни холодный, равнодушный ко всему и ко всѣмъ, безразлично относившійся къ людямъ и къ мѣстамъ, теперь онъ испытывалъ новое, незнакомое ему ощущеніе. Въѣхавъ въ Россію, онъ почувствовалъ, какъ сердце его радостно забилось.

Онъ понялъ, что онъ на родинѣ. А, вѣдь, до сихъ поръ онъ

не признавалъ никакой родины и, вообще, ничего такого, что имѣло отношеніе къ чему-либо земному. Ему легко было-бы побѣдить въ себѣ эту радость, какъ нѣчто недостойное. Но онъ не сдѣлалъ этого.

Когда онъ пріѣхалъ въ Петербургъ и подъѣзжалъ къ отцовскому дому, глаза его свѣтились, на блѣдныхъ щекахъ вспыхивалъ румянецъ, сердце учащенно билось и замирало. И онъ радовался, что оно бьется и замираетъ. И онъ не думалъ о томъ, что, вѣдь, это непроизводительная затрата жизненной силы.

«Безумецъ, что-же ты сдѣлалъ съ долгими годами упорнаго труда, борьбы и все возраставшихъ чудесныхъ знаній? Жалкій безумецъ! Вѣдь, ты легкомысленно влечешь себя на вѣчную погибель!»—вдругъ разслышалъ онъ внутри себя негодующій голосъ.

Это былъ голосъ прежняго, холоднаго и гордаго человѣка, голосъ великаго розенкрейцера, мудрѣйшаго изъ людей, свѣтоноснаго побѣдителя природы. Захарьевъ-Овиновъ вздрогнулъ, но сердце забилось еще сильнѣе... Изъ отворившихся передъ нимъ дверей отцовскаго дома на него пахнуло какъ-бы тепломъ, и онъ властно приказалъ негодующему голосу: «молчи!»

IX.

— Добро пожаловать, ваше сіятельство!—съ низкими поклонами говорилъ дворецкій, провожая Захарьева-Овинова въ его комнаты.

Чудной и суровый «княжичъ», котораго всѣ въ домѣ отчего-то страшились и чуждались, отвѣчалъ на это привѣтствіе такъ весело и ласково, что старый дворецкій совсѣмъ растерялся. Онъ взглянулъ на князя и почти не узналъ его:—такъ велика была происшедшая въ немъ перемѣна.

«Что за чудеса, — подумалъ старикъ: — тотъ да не тотъ! И лицо словно другое... Кто это видалъ, вѣдь, улыбнулся онъ, кабы такимъ вотъ и остался... А-то какъ «тогда»-то жить намъ будетъ? И подумать страшно!»..

Захарьевъ-Овиновъ спѣшно снималъ съ себя дорожное платье, не дожидаясь прислуживавшаго ему человѣка. Въ сразу охватившемъ его довольствѣ, такъ ему непривычномъ, онъ былъ очень разсѣянъ. Онъ уловилъ мысль дворецкаго и, не сообразивъ, что, вѣдь, тотъ ничего не сказалъ, а только подумалъ, весело ему отвѣтилъ:

— Надо, чтобъ и «тогда» и теперь всѣмъ жилось, какъ можно лучше: объ этомъ, старина, я позабочусь.

Старикъ вытаращилъ глаза, разинулъ ротъ, да такъ и остался, не въ силахъ будучи произнести ни звука.

«Батюшки мои! Да что-жъ это?.. Насквозь онъ что-ли видитъ, что на мысли твои тебѣ отвѣчаетъ!.. Или это я, старый дуракъ, изъ ума выживать сталъ и мысли свои, самъ того не примѣчая, вслухъ выговариваю?»..

Онъ остановился на этомъ послѣднемъ предположеніи и началъ сконфуженно и низко кланяться.

— Не обезсудьте, ваше сіятельство, за дурость мою холопскую, — робко говорилъ онъ: — сызмальства я на службѣ барской, и вашей княжеской милости, видитъ Богъ, по гробъ жизни служить буду вѣрой и правдой... какъ служу родителю вашему...

Онъ не могъ сладить со своимъ смущеніемъ и заторопился.

— Что-жъ это они, людишки негодные, гдѣ это всѣ запропастились?! Князь пріѣхалъ, а ихъ нѣтъ никого!.. Побѣгу...

И онъ дѣйствительно, несмотря на свои годы и толстыя, уже ослабѣвшія отъ шестидесятилѣтней барской службы ноги, побѣжалъ, спасаясь этимъ бѣгствомъ.

Захарьевъ-Овиновъ улыбнулся ему вслѣдъ. Но улыбка его сейчасъ-же исчезла, онъ подошелъ къ умывальнику, вытеръ себѣ наскоро лицо и руки мокрымъ полотенцемъ, вынулъ изъ шкапа домашній свой кафтанъ, поспѣшно надѣлъ его и пошелъ наверхъ, къ отцу. Сердце его опять забилось и замерло у отцовской двери. Онъ увидѣлъ стараго князя такимъ-же точно, какимъ оставилъ его, уѣзжая. Старикъ, уже извѣщенный о пріѣздѣ сына, но никакъ не думавшій, что онъ сейчасъ, въ первую-же минуту, войдетъ къ нему, слабо вскрикнулъ и протянулъ къ нему руки. Они обнялись и это было долгое, крѣпкое объятіе, какого никогда не бывало у нихъ прежде. Имъ обоимъ вдругъ стало тепло и отрадно.

— Юрій, другъ ты мой, спасибо тебѣ, что вернулся... Не ждалъ я тебя такъ скоро...—прошепталъ старый князь, прижимая къ себѣ сына слабыми руками.

— Вѣдь, я обѣщалъ, батюшка, торопиться... вы говорите—скоро, а вотъ мнѣ кажется, что я слишкомъ долго былъ въ отсутствіи.

— Ну, какъ... какъ съѣздилъ? Все-ли благополучно? — спрашивалъ старикъ, когда Захарьевъ-Овиновъ придвинулъ себѣ стулъ и садился рядомъ съ отцовскимъ кресломъ.

— Съѣздилъ я хорошо и все благополучно... а вотъ—какъ вы, батюшка?

Старый князь не сразу отвѣтилъ—онъ пристально всматривался въ сына, будто видѣлъ его въ первый разъ. Все, о чемъ онъ часто говорилъ съ отцомъ Николаемъ и что священникъ

всегда обѣщалъ ему—исполнилось. Это не прежній Юрій! Это не тотъ невѣдомый, таинственный, страшный и холодный человѣкъ, который жилъ въ его домѣ, занимался его дѣлами, которому онъ передалъ свое имя и завѣщалъ свое состояніе. Это сынъ!.. у него есть сынъ!.. какое у него новое, прекрасное и доброе лицо, какъ онъ глядитъ!.. о чемъ онъ думаетъ?

— Я думаю, батюшка, о томъ, что будто я въ первый разъ здѣсь, съ вами, что будто я въ первый разъ съ вами встрѣтился и не видалъ васъ съ самыхъ лѣтъ дѣтства—такое у меня ощущеніе!—сказалъ Захарьевъ-Овиновъ.

Отвѣтилъ-ли онъ на мысль отца, которую разглядѣлъ, или это само такъ сказалось? Во всякомъ случаѣ старый князь, погруженный въ свою радость, не замѣтилъ этого совпаденія своего мысленнаго вопроса съ его словами.

— Да,—продолжалъ онъ: — мнѣ кажется, что я въ первый разъ возлѣ васъ, въ этой комнатѣ... Батюшка!..

Онъ не договорилъ и прильнулъ губами къ холодной рукѣ старика, лежавшей на ручкѣ кресла. И снова ему стало тепло, да и дрогнувшая подъ его поцѣлуемъ старческая рука потеплѣла. Онъ началъ разспрашивать отца обо всемъ, что происходило во время его отсутствія, не пропускалъ ни одной мелочи, которою могъ интересоваться больной князь и самъ, повидимому, интересовался всѣмъ этимъ.

Въ немъ совсѣмъ ужъ не было всегдашняго отношенія свысока ко всему, чувствовавшагося пренебреженія къ тѣмъ вопросамъ, которые не имѣли связи съ никому невѣдомыми, таинственными предметами, составлявшими содержаніе его жизни. Съ холодной и пустынной своей высоты онъ спустился на землю, но ничего не потерялъ отъ этого—ему только и самому стало теплѣе и въ то-же время тепломъ вѣяло отъ него на стараго отца.

Они больше двухъ часовъ бесѣдовали вдоемъ и ни тотъ, ни другой не испытывали и тѣни прежней неловкости и тяжести, которая неизбѣжно всегда являлась, когда имъ долго приходилось оставаться вмѣстѣ. Въ эти два часа они больше сблизились и сроднились, чѣмъ за все время ихъ жизни до этого дня. Старый князь открывалъ сыну свою душу, передавалъ ему съ живостью, свойственной старикамъ, когда они вспоминаютъ давно пережитое, многія обстоятельства своей жизни. И сынъ слушалъ эту исповѣдь все съ возраставшимъ интересомъ. Эти событія, разсказы изъ жизни, совсѣмъ ему прежде неизвѣстной, уже не казались ему недостойными вниманія, мелочными и даже презрѣнными, какъ это было прежде. Теперь онъ признавалъ и чувствовалъ, что на свѣтѣ не онъ одинъ, что его жизнь — не

все, что рядомъ съ нею существуютъ и другія жизни, имѣющія такое-же точно значеніе и право на вниманіе, какъ и его собственная.

— Батюшка, — сказалъ онъ: — я хорошо понимаю, что вы испытали много всякаго горя, что въ послѣдніе годы, лишась семьи, вы очень страдали... но, скажите мнѣ, бывали-ли вы когда-нибудь счастливы? Подумайте хорошенько, бывали-ли такъ счастливы, что-бы ничего не желать болѣе?

Старикъ понурилъ голову. Его мысли ушли въ прошлое.

— Да, Юрій,—твердо отвѣтилъ онъ:—нечего Бога гнѣвить... Бывалъ я и счастливъ на своемъ вѣку... такъ счастливъ, что вотъ теперь, какъ только вспомнилъ я тѣ краткіе часы—у меня такъ и просвѣтлѣло на душѣ...

— Что-же бывало причиной такого счастья? Страстная любовь, почести, удовлетвореніе какихъ-либо прихотей?

Старый князь покачалъ головою и слабо улыбнулся.

— Нѣтъ, другъ мой, не то, совсѣмъ не то. Я вотъ давно ужъ, со времени болѣзни моей, и днемъ, и въ ночи безсонныя все думаю да думаю, всю свою жизнь заново переживаю. Такъ я, въ этихъ думахъ моихъ, многое такое разобралъ, чего прежде-то и не понималъ совсѣмъ, о чемъ прежде-то вовсе и не думалось. И вижу я, на себѣ вижу, что счастье не въ томъ, въ чемъ полагаютъ его люди. Мое счастье, за которое благодарю теперь Создателя, всегда приходило ко мнѣ тогда, когда другіе бывали довольны, и когда это ихъ довольство отъ меня происходило. Говорю—не понималъ я тогда этого и не цѣнилъ, и самъ лишилъ этимъ себя, охъ, какъ многаго!..

«Разными словами, а и онъ, и Каліостро говорятъ одно и то-же!»—подумалъ Захарьевъ-Овиновъ.

Между тѣмъ онъ видѣлъ, что оживленный долгій разговоръ все болѣе и болѣе ослаблялъ отца.

— Вы утомлены, батюшка,—ласково сказалъ онъ.

— И радость утомляетъ,—прошепталъ старый князь:—заснуть-бы теперь... да сонъ мой плохъ... не приходитъ!

— Авось придетъ!—и съ этими словами Захарьевъ-Овиновъ осторожно приподнялъ отца съ кресла, подвелъ его къ кровати и уложилъ. Онъ положилъ ему руку на голову—и въ то-же мгновеніе старикъ спокойно заснулъ. Тогда великій розенкрейцеръ бережно, будто опытная сидѣлка, поправилъ подушку, тихонько прикрылъ ноги спавшаго теплымъ одѣяломъ и вышелъ изъ комнаты. Воспоминаніе о томъ, какъ онъ производилъ на этомъ самомъ мѣстѣ свой ужасный опытъ надъ умиравшимъ, невыносимо страдавшимъ человѣкомъ,—не пришло ему въ голову. Но если-бы оно пришло—онъ показался-бы себѣ отвратительнымъ.

X.

Выйдя изъ спальни стараго князя, онъ почувствовалъ настоятельную потребность какъ можно скорѣе увидѣться съ тѣмъ человѣкомъ, который уже началъ играть такую значительную роль въ его жизни, то-есть, съ отцомъ Николаемъ. Да, онъ долженъ былъ видѣть его какъ можно скорѣе, войти съ нимъ въ соприкосновеніе и еще болѣе согрѣться и успокоиться отъ этого дружескаго, сердечнаго общенія.

Онъ чувствовалъ, что горячо и нѣжно любитъ теперь этого товарища своего дѣтства, этого брата, о которомъ еще не очень давно вовсе и не думалъ, котораго забывалъ совсѣмъ въ теченіе долгихъ лѣтъ своей жизни. Онъ не называлъ еще себѣ нѣжной, братской любовью чувство, влекшее его теперь къ отцу Николаю, но тѣмъ не менѣе это чувство наполняло его.

На мгновеніе онъ остановился, сосредоточиваясь, призывая къ себѣ тѣ свои изощренныя долгимъ трудомъ и опытомъ способности, которыя, безъ помощи внѣшнихъ дѣйствій, необходимыхъ для каждаго человѣка, не обладавшаго его знаніями и необычайной высотою развитія его духовныхъ силъ, давали ему возможность узнавать многое изъ того, что онъ хотѣлъ узнать. Способности эти, лучше всякаго посланца, показали ему, что отецъ Николай дома, ждетъ его и что теперь именно самый благопріятный часъ для ихъ встрѣчи.

Закрывъ глаза, онъ ясно, какъ-бы въ зеркалѣ, увидѣлъ священника, сидѣвшаго въ своей комнатѣ у окна, съ молитвенникомъ въ рукахъ, и о чемъ-то очень горячо говорившаго какому-то существу, бывшему возлѣ него. Но существа этого великій розенкрейцеръ не видѣлъ, такъ какъ о немъ не думалъ. Ему было только понятно, что братъ ждетъ его и никто и ничто не помѣшаетъ ихъ встрѣчѣ.

Итакъ, великій розенкрейцеръ, несмотря на все свое отреченіе отъ прошлаго, на всю борьбу, кипѣвшую въ душѣ его, на всѣ предостереженія негодующаго внутренняго голоса, твердившаго ему, что онъ падаетъ и слабѣетъ, все-же сохранилъ въ полной неприкосновенности всѣ свои силы, способности и знанія. Значитъ паденія еще не было, значитъ онъ еще ничѣмъ не нарушилъ тѣхъ основныхъ законовъ, на которыхъ утверждено было высокое его положеніе въ сферѣ премудрости и власти надъ природой.

И ему не пришло въ голову, ибо и величайшая человѣческая мудрость способна иногда не догадываться о самыхъ простыхъ и ясныхъ вещахъ, ему не пришло въ голову, что великіе учи-

теля его, пожалуй, и ошибаются въ самомъ существенномъ. Вѣдь, человѣкъ, для сохраненія всѣхъ своихъ тайныхъ силъ и способностей, долженъ быть одинокъ и свободенъ, долженъ никого не любить, ни въ комъ не нуждаться! А вонъ онъ нуждается въ братѣ. Его сердце вмѣщаетъ въ себѣ именно ту опасную, погибельную нѣжность, то стремленіе къ другимъ существамъ, именно все то, что должно его ослабить. И между тѣмъ онъ обладаетъ попрежнему всѣмъ своимъ сокровищемъ, добытымъ работой и усиліями всей жизни, онъ такъ-же ясно, почти безъ всякаго ощущаемаго напряженія воли, видитъ на разстояніи или, по выраженію адептовъ тайныхъ наукъ, «читаетъ въ астральномъ свѣтѣ».

Онъ поспѣшно зашелъ къ себѣ, накинулъ на плечи теплый плащъ, надѣлъ шляпу и, пройдя «чернымъ» ходомъ, при чемъ встрѣчавшаяся съ нимъ прислуга почтительно, робко и недоумѣло ему кланялась, вышелъ въ сѣни и постучался у двери въ помѣщеніе отца Николая.

Ему отворила Настасья Селиверстовна.

Онъ, конечно, зналъ объ ея существованіи, зналъ даже, что передъ его послѣднимъ отъѣздомъ въ Нюренбергъ она пріѣхала и находится подъ одной съ нимъ кровлей. Но тогда онъ былъ еще далеко не въ томъ состояніи, въ какомъ находился теперь, тогда еще не сошелъ съ своей холодной высоты и съ безсознательнымъ презрѣніемъ относился къ людямъ.

Онъ даже не поинтересовался взглянуть на жену такого близкаго ему человѣка, какимъ былъ отецъ Николай. Тотъ-же никогда прямо не говорилъ съ нимъ о женѣ.

Потомъ, уже во время своего путешествія и въ особенности подъѣзжая къ Петербургу, Захарьевъ-Овиновъ, думая о братѣ, остановился мыслью и на женѣ его. Ему не трудно было ясно себѣ представить, по двумъ-тремъ намекамъ, сохранившимся у него въ памяти изъ разговоровъ съ отцемъ Николаемъ, всю неудачность этого брака.

Но вотъ теперь, при первомъ-же взглядѣ на Настасью Селиверстовну, онъ изумился. Она оказывалась совсѣмъ не такой, какою онъ себѣ ее представилъ. Онъ прочелъ въ ея красивомъ и смущенномъ лицѣ нѣчто такое, что такъ сразу и повлекло его къ ней. И въ то-же время ему, можетъ быть въ первый разъ въ жизни, стало за себя совѣстно, за свое пренебреженіе.

Отецъ Николай, быстро закрывъ и положивъ на столъ свой молитвенникъ, поднялся къ нему на встрѣчу, широко раскрывая объятія.

— Здравствуй, гость желанный, здравствуй, дорогой нашъ путешественникъ!—радостно воскликнулъ священникъ.

— Здравствуй, братъ мой милый!—еще радостнѣе отвѣчалъ ему Захарьевъ-Овиновъ, обнимая его.—Благослови меня,—вдругъ прибавилъ онъ, неожиданно для самого себя.

Чуднымъ свѣтомъ блеснули глаза отца Николая, когда онъ поднялъ руку для крестнаго знаменія, благословляя этого дорогого, близкаго его душѣ человѣка, который до сихъ поръ ни разу не попросилъ его благословенія.

Тогда Захарьевъ-Овиновъ, еще разъ крѣпко обнявъ отца Николая, подошелъ къ Настасьѣ Селиверстовнѣ съ такой хорошей улыбкой, что она отъ нея вся такъ и просіяла.

— Давно-бы пора мнѣ съ вами познакомиться,—сказалъ онъ, крѣпко сжимая ея руку.—Прошу любить да жаловать, вѣдь, мы не чужіе.

Настасья Селиверстовна совсѣмъ растерялась: и неожиданность-то была велика, и страшновато ей стало, да и князь этотъ, который вотъ говоритъ ей, что они не чужіе, всегда представлялся ей не только чужимъ, но даже и совсѣмъ сказочнымъ, недоступнымъ. А вотъ онъ передъ нею, жметъ ей руку и такъ хорошо улыбается, и говоритъ такъ просто и ласково, по родственному. Чудной онъ какой-то, и совсѣмъ, совсѣмъ не такой, какимъ она себѣ его представляла.

— Ваше сіятельство,—растерянно шептала она, борясь съ невольной своей робостью, съ деревенской своей простотою и въ то-же время отдаваясь чувству, которое вдругъ повлекло ее къ этому важному барину.—Ваше сіятельство... ахъ да что-же это такое? Неужто это вы?.. Какъ-же это вы... такой...

Онъ любовался ея смущеніемъ, но быстро уничтожилъ его крѣпкимъ пожатіемъ своей руки:

— Какой-же я такой, матушка?—весело спросилъ онъ.

Она уже стала совсѣмъ сама собою, смущеніе и робость ея прошли, осталась одна радость, одно влеченіе къ этому человѣку.

— Простой, добрый да ласковый, хорошій!—говорила она.—А красавецъ-то вы какой, князенька, молодой какой, чудно, право!..

Захарьевъ-Овиновъ звонко засмѣялся и даже не замѣтилъ своего смѣха, не услышалъ его. А между тѣмъ это былъ первый смѣхъ, первый веселый смѣхъ въ его жизни, послѣ дѣтства. Рука отца Николая была на его плечѣ.

— Вотъ и хорошо, князь мой, вотъ все и ладно—съ такимъ-же веселымъ смѣхомъ воскликнулъ священникъ.—Совсѣмъ по нраву пришелся ты моей Настѣ. А я-то думалъ: перепугается она, страшнымъ ты ей покажешься!.. Да и показался-бы страшнымъ,—прибавилъ онъ, понижая голосъ и переставая смѣяться:—

если-бы встрѣтился съ нею пораньше. Большая въ тебѣ, мой князь, перемѣна, и перемѣна эта, по милости Божіей, къ лучшему. Такъ-ли?

— Такъ, братъ мой, такъ,—отвѣчалъ, тоже переходя отъ веселья къ инымъ ощущеніямъ, Захарьевъ-Овиновъ.

— Много перемѣнъ, много милосердія Божьяго надо всѣми нами,—сказалъ отецъ Николай.—Вотъ ты и у насъ, князь, застаешь праздникъ, большой праздникъ! Давно мы съ Настей повѣнчались, а были другъ-дружкѣ совсѣмъ чужими, и было то большимъ для насъ горемъ. Теперь-же вторично соединены мы съ нею самимъ Богомъ, миръ и любовь между нами... и радость великая.

Слова эти объяснили Захарьеву-Овинову все. Теперь онъ понялъ, почему представлялъ себѣ жену брата совсѣмъ другою,— она и была до сихъ поръ «другая».

— А, вѣдь, я такъ и зналъ, что ты нынче къ намъ будешь. Сердце сказало! Спроси вотъ Настю.

— Да, да,—живо перебила Настасья Селиверстовна:—какъ проснулся, такъ и говоритъ мнѣ: думается, говоритъ, нынѣ я моего князя увижу. Такъ и сказалъ. Охъ, князенька... да кабы вы знали...

Она не договорила.

— Знаю,—перебилъ ее Захарьевъ-Овиновъ:—знаю, что многое ему доступно.

Отецъ Николай взглянулъ на жену, и она поняла взглядъ его.

— Пойду-ка я,—сказала она:—навѣщу тутъ больную женщину, не замѣшкаюсь...

Минуты черезъ двѣ Захарьевъ-Овиновъ остался одинъ съ братомъ.

XI.

Оставшись наединѣ, отецъ Николай взглянулъ на великаго розенкрейцера съ такой непривычной, рѣдко посѣщавшей его грустью, что тотъ почувствовалъ смущеніе и даже трепетъ. Онъ не могъ не понять яснаго смысла этого взгляда. Глаза брата говорили ему: «у тебя легко на душѣ, ты смѣялся, а между тѣмъ не пришло еще для тебя время радости и смѣха, ты долженъ плакать!»

— Братъ,—сказалъ Захарьевъ-Овиновъ:—съ самыхъ дней нашего общаго съ тобою дѣтства я не зналъ, что такое радость,

что такое горе. Слыша людской смѣхъ, видя людскія слезы, я считалъ то и другое признакомъ дѣтской слабости. Но всюду, гдѣ жизнь—тамъ и смѣхъ, и слезы. Пока я не былъ способенъ ни смѣяться, ни плакать, я не жилъ. Мое существованіе было очень мрачно и холодно, хотя я и не понималъ этого. Когда понялъ—я сталъ задыхаться, я сталъ просить той жизни, которую потерялъ. Понемногу она ко мнѣ возвращается; кажется, я уже способенъ теперь смѣяться, — значитъ могу и плакать... Я вотъ пришелъ къ тебѣ... у тебя хорошо, свѣтло и весело. Я увидѣлъ твою жену. Прежде я никогда не видѣлъ людей, съ которыми встрѣчался,—теперь я ихъ вижу. Ну, вотъ—я понравился твоей женѣ, а она понравилась мнѣ, хотя мы съ нею совсѣмъ различные люди и далеко, далеко находимся другъ отъ друга. Далеко и близко. Я не думалъ, что это можетъ быть, и увидѣлъ, что это есть. И я возрадовался этому. У меня на душѣ стало хорошо и весело, но, вѣдь, это—минутное, и вотъ—я ужъ не могу удержать такого состоянія моей души... Я пришелъ къ тебѣ не потому, что мнѣ хорошо, а потому, что мнѣ дурно. Я ищу твоей помощи, и мнѣ надо открыть тебѣ мою душу.

Отецъ Николай сѣлъ рядомъ съ нимъ, взялъ его руку обѣими руками и не выпускалъ ее.

— Помнишь наши бесѣды,—заговорилъ онъ:—вѣдь, я уже не разъ повторялъ тебѣ, что ты несчастный. Теперь, князь мой, ты самъ это видишь. Славу Богу!—Ты видишь это!.. У тебя великій разумъ, великая ученость и мудрость; я - же простой, мало ученый человѣкъ: но говори, говори мнѣ все безъ утайки. Пусть слова твои будутъ настоящей исповѣдью... Богъ поможетъ мнѣ уразумѣть, сердцемъ ощутить то, что недоступно моему пониманію.

Тогда началась исповѣдь Захарьева-Овинова. Онъ ничего не скрылъ отъ священника и брата. Онъ увлекъ его за собою въ самую глубину своей души, куда не допускалъ никого. Онъ чувствовалъ все возраставшее удовлетвореніе по мѣрѣ того, какъ вводилъ брата въ эти тайники души своей. Его гордость молчала. Онъ охотно признавался въ своей слабости, въ необходимости для себя поддержки, совѣта, разъясненій.

Отецъ Николай понималъ все. Мало того—ничто въ братней исповѣди не было для него новымъ и неожиданнымъ. Онъ уже давно зналъ и чувствовалъ, что братъ его былъ «волхвомъ», человѣкомъ, владѣвшимъ тайными знаніями, достигнутыми безъ Божьей помощи. Онъ полагалъ въ этомъ величайшее несчастіе для брата и почиталъ этого дорогого, любимаго брата большимъ грѣшникомъ.

Давно, уже давно молилъ онъ Бога о томъ, чтобы Онъ простилъ этого грѣшника, помиловалъ и просвѣтилъ. Онъ уже зналъ, что пришло время благопріятное. Братняя исповѣдь показала ему, однако, что хотя уже началось великое обновленіе души человѣческой, хотя уже гордость поколеблена, но сознанія грѣховности еще нѣтъ, нѣтъ еще смиренія, нѣтъ еще стремленія къ Богу и поклоненія Ему. Душа еще не очищена искреннимъ, глубокимъ раскаяніемъ, еще не омыта спасительными слезами.

Захарьевъ-Овиновъ остановился, думая, что сказалъ все, и пристально, своими горящими, будто мечущими искры глазами глядѣлъ въ спокойные, тихіе глаза брата. Да, онъ чувствовалъ большое удовлетвореніе, высказавъ ему все, принявъ этого близкаго, полнаго какой-то особенной благодатной силы человѣка въ свой духовный міръ, открывъ ему всѣ тайники души своей. Но въ то-же время отъ чувствовалъ и глухую боль, ноющую тоску, которая такъ и давила теперь его сердце.

— Куда-же ты поведешь меня?—спросилъ онъ грустнымъ голосомъ.

Отецъ Николай внезапно оживился, всталъ и быстрымъ, нервнымъ шагомъ сталъ ходить по комнатѣ.

— Тебѣ одинъ путь,—вдохновеннымъ шопотомъ началъ онъ, все возвышая и возвышая голосъ: — одинъ только путь — къ Богу!

— Къ Богу!? -почти простоналъ отъ внезапно прорвавшейся сердечной муки Захарьевъ-Овиновъ.

Это было не то восклицаніемъ, не то вопросомъ.

— Ты не знаешь этого пути,—подходя къ нему и весь сіяя какимъ-то особеннымъ свѣтомъ, ясно видимымъ Захарьеву-Овинову, воскликнулъ священникъ.—Я не могу указать тебѣ его, пока ты самъ его не уэришь, а уэрѣть его ты можешь лишь тогда, когда почувствуешь всю свою грѣховность, когда почувствуешь, что тебѣ нельзя ни часу, ни малой минуты оставаться въ этой грѣховности. Да, братъ мой, ты великій грѣшникъ—пойми-же это!.. пади ницъ, плачь, рыдай, моли себѣ пощады!.. Будемъ вмѣстѣ молить о ней Бога!

— Въ чемъ-же грѣхъ мой?—мрачно спросилъ великій розенкрейцеръ, весь содрогаясь и чувствуя въ словахъ священника великую, мучительную правду.

— Твой грѣхъ!? Онъ въ томъ, что ты до самаго послѣдняго времени жилъ, никого не любя, служа злу, такъ какъ тамъ, гдѣ нѣтъ любви—одно только царство зла, а гдѣ зло—тамъ преступленіе, тамъ грѣхъ и ужасъ. Тѣмъ, что ты никого не любилъ—ты уже совершалъ ежечасно тяжкое преступленіе и

губилъ свою душу. Но за тобой еще одинъ великій грѣхъ... Неужели забылъ ты его? А, вѣдь, отъ твоего этого грѣха возмутилась вся природа, возмутилась сама смерть... и выслала къ тебѣ твою жертву! Вѣдь, не ты одинъ, вѣдь, и я ее видѣлъ, эту бѣдную жертву!.. съ того свѣта пришла она къ тебѣ и назвала тебя убійцей!

Будто страшный ударъ грома разразился надъ головой Захарьева-Овинова, будто въ самую душу его ударила молнія. Все существо его потряслось, колѣни его подкосились—и онъ упалъ на полъ, закрывая лицо руками. Онъ все понялъ.

— И я думалъ, что для меня возможно счастье!..—простоналъ онъ.

Но могучій, глубоко убѣжденный голосъ священника уже звучалъ надъ нимъ:

— Для тебя возможно еще счастіе, ибо безконечно Божіе милосердіе! Повѣрь въ него! Почувствуй Его,—и тогда ты спасенъ. Вѣдь, Онъ сотворилъ и тебя, и всѣхъ, и все! Вѣдь, Онъ истинный Отецъ, пойми—Отецъ! Ты могъ постигнуть всѣ чудеса Его творенія, но Его не могъ ты постигнуть разумомъ—и низринулся въ безуміе, ибо развѣ не безуміе признавать твореніе безъ Творца, слѣдствіе безъ причины?! Плачь, рыдай, молись, забудь твою мудрость! Зови въ себя любовь, зови ее немолчно, неустанно, и она придетъ на зовъ твой... Она войдетъ въ твою душу — и тогда ты будешь спасенъ, ибо кѣмъ-бы ты ни былъ — ты ничто, ничто безъ нея! Ты несчастнѣйшій, преступнѣйшій изъ смертныхъ, пока нѣтъ любви въ тебѣ... Плачь и молись...

Его голосъ оборвался. Онъ самъ упалъ на колѣни рядомъ съ братомъ и, охвативъ его крѣпко рукою, прижавшись головой къ его головѣ, будто стараясь съ нимъ слиться, войти въ него,—воскликнулъ, весь обливаясь слезами:

— Господи, помилуй! Господи, спаси насъ!!

XII.

Когда Захарьевъ-Овиновъ простился съ отцомъ Николаемъ, внушившимъ ему твердую надежду на спасенье и уничтожившимъ безнадежное отчаяніе, которое было охватило его душу, онъ не пошелъ къ себѣ. Онъ машинально прошелъ большой дворъ, вышелъ изъ воротъ и направился по улицѣ.

Онъ не замѣчалъ дороги, не видѣлъ встрѣчныхъ. Ему попалась возвращавшаяся домой Настасья Селиверстовна. Она уже было кинулась къ нему съ радостной улыбкой; но взглядъ на

его лицо ясно сказалъ ей, что онъ ни ея, да и никого не видитъ. Она отшатнулась, не посмѣла его окликнуть—и онъ прошелъ мимо.

Онъ бродилъ до самаго вечера по улицамъ, а затѣмъ пришелъ къ себѣ и заперся въ своихъ комнатахъ. Никто такъ и не видѣлъ его весь день. Двери были на запорѣ, прислуга не посмѣла стучаться. Приготовленный ему обѣдъ остался нетронутымъ. Наконецъ, дворецкій рѣшилъ, что вѣрно князь обѣдалъ гдѣ-нибудь у знакомыхъ и, рѣшивъ это, распорядился, чтобы убирали со стола.

Но князь нигдѣ не обѣдалъ. Онъ ничего не ѣлъ весь день и даже не помнилъ, что существуетъ пища, что человѣку необходимо питаться. Ему не въ новость были дни, проведенные въ полномъ воздержаніи отъ пищи. Наконецъ, если-бы голодъ напомнилъ ему о себѣ, у него былъ запасъ таинственнаго, подкрѣпляющаго силы человѣка вещества, которымъ щедро снабдилъ его Гансъ фонъ-Небельштейнъ...

До потребностей-ли тѣла было теперь великому розенкрейцеру, когда въ душѣ его кипѣла необычная, рѣшающая всю дальнѣйшую судьбу его дѣятельность. Бесѣда съ отцомъ Николаемъ, все, что онъ пережилъ и перечувствовалъ во время этой бесѣды, внезапное просвѣтленіе, сознаніе своей преступности, прорвавшіяся рыданія и слезы, общая молитва съ братомъ, принесшая ему совсѣмъ новыя, неизъяснимыя ощущенія,—все это было для него подобно кризису тяжкой болѣзни, послѣ котораго начинается медленное выздоровленіе...

Да, выздоровленіе начиналось. Жизнь, со своимъ свѣтомъ, со своимъ тепломъ, приходила мало-по-малу. Но слабость была велика, страданій оставалось еще очень много. Великій розенкрейцеръ уже не могъ теперь, разъ признавъ и увидя глубину своего нравственнаго паденія, снова закрыть глаза и уйти въ свой прежній міръ. Теперь уже никакіе доводы разсудка, ничто изъ его прежнихъ знаній неспособно было убѣдить его въ томъ, что смерть несчастной Елены Зонненфельдъ была не дѣломъ его рукъ, не дѣломъ его преступной воли, а естественнымъ происшествіемъ, совершившимся по непреложнымъ законамъ, управляющимъ природой. Онъ виноватъ въ этой смерти.

Если-бы такое убѣжденіе явилось какъ доводъ разсудка, тотъ-же самый разсудокъ могъ-бы представить, пожалуй, иные доводы. Но разъ человѣкъ «почувствовалъ» свою виновность, разъ голосъ сердца и совѣсти сказалъ ему о ней,—тутъ уже некуда было дѣваться, тутъ уже не могло быть ошибки,—совѣсть не обманываетъ. Страшно, тоскливо становилось на душѣ

великаго розенкрейцера и въ мигъ одинъ онъ, всю жизнь считавшій себя выше другихъ людей, сдѣлался въ своихъ собственныхъ глазахъ ничтожнымъ жалкимъ существомъ. Всю жизнь чувствуя въ себѣ необычайную мощь и силу, онъ чувствовалъ себя теперь слабымъ, безпомощнымъ, неспособнымъ подняться безъ высшей помощи.

Его душа давно уже подготовлялась къ тому, что совершалось теперь въ ней. Но все-же борьба была жестокая: весь прежній міръ, со всѣми обольщеніями гордости, власти и силы, заявлялъ свои права и не хотѣлъ сдаться. Новый міръ могъ противоставить ему только одно оружіе. Оружіе это, однако, было непреоборимымъ и оно вырастало съ каждой минутой въ душѣ великаго розенкрейцера. Это оружіе было — любовь. Да, происходилъ таинственный процессъ возрожденія души человѣческой. Цвѣтокъ любви, истинной, горячей любви, пробился, наконецъ, сквозь холодную почву. Онъ быстро росъ, распускался. Дивная красота его выдѣляла уже изъ себя сладкое благоуханіе.

Великій розенкрейцеръ еще не пришелъ къ Богу, уста его еще не произнесли имени Отца, но распускающійся благоуханный цвѣтокъ уже велъ его по Божьему пути. Онъ уже вѣрилъ въ возможность спасенія, въ возможность уничтоженія всего зла, содѣяннаго имъ. «Отдай всю жизнь любви и добру!»—таковы были послѣднія слова, которыми напутствовалъ его отецъ Николай. И эти слова звучали теперь надъ нимъ, и когда они звучали—замирала его тоска, стихали его муки...

Поздно вечеромъ услышалъ онъ стукъ у своей двери. Это былъ отецъ Николай. Онъ принесъ ему съ собою новую силу, новое утѣшеніе.

— Не смущайся, говорилъ онъ ему: — начинай новую жизнь и тяжкій грѣхъ твой станетъ твоимъ спасеніемъ. Многіе, многіе спасались грѣхомъ и нареклись сынами Божіими. Я пришелъ къ тебѣ, братъ мой, чтобы сказать нѣчто весьма для тебя важное. Ты просилъ у меня совѣта, и вотъ тебѣ совѣтъ мой: если хочешь быстраго и полнаго исцѣленія души своей, если хочешь, чтобы жизнь твоя была полна счастіемъ, любовью и благомъ, не оставайся одинъ. Много и долго я о тебѣ думалъ, и вижу, что тебѣ никакъ нельзя быть одному. Соедини судьбу свою съ другою судьбою, твою душу съ другой душою. Въ такомъ благомъ единеніи ты найдешь спасеніе свое.

Захарьевъ-Овиновъ вздрогнулъ.

— Дозволь мнѣ,—между тѣмъ продолжалъ отецъ Николай,— дозволь благословить тебя на честный бракъ съ Зинаидой Сергѣевной.

— Николай, возможно-ли это?! — растерянно прошепталъ Захарьевъ-Овиновъ.

— Возможно и должно. Честная жизнь съ доброй женою, которая будетъ тебѣ вѣрной помощницей, которая уврачуетъ всѣ твои недуги, вотъ что тебѣ надо. А лучшей жены, какъ эта духовная дочь моя, не найти тебѣ. Самъ Богъ ее посылаетъ. Душа ея чиста и чистота этой юной души очиститъ и твою душу.

— А я?—мрачно произнесъ Захарьевъ-Овиновъ:—а я своимъ мракомъ и преступленіемъ, я развѣ не загрязню ея душу?

— Нѣтъ,—съ глубокимъ убѣжденіемъ воскликнулъ отецъ Николай,—нѣтъ, вы будете только въ помощь другъ другу. Ты изъ прекраснаго, чистаго ребенка сдѣлаешь угодную Богу жену... какъ бы сказать тебѣ... словами вотъ я не умѣю выразить, ну, да вотъ... вы пополните другъ друга, вы будете воедино...

— Но развѣ она?..—прошепталъ Захарьевъ-Овиновъ.

— Тебѣ нечего спрашивать, ты такъ-же хорошо, какъ и я, знаешь, что она ждетъ тебя. Не иди противъ судьбы, ее посылаетъ тебѣ Богъ. Гляди на этотъ бракъ высоко и чисто, приступили къ нему со страхомъ Божіимъ, и не отказывайся.

Нѣсколько мгновеній продолжалось молчаніе. Наконецъ Захарьевъ-Овиновъ поднялъ глаза .свои на отца Николая и сказалъ:

— Братъ, вѣдь и твоя вѣра говоритъ тебѣ, что безбрачіе выше брака!

— Какъ для кого,—отвѣтилъ священникъ.—Для тебя такой бракъ—спасеніе... и бракъ истинный, — великое таинство. Люби ее, посылаемую тебѣ Богомъ подругу, черезъ нее ты полюбишь весь міръ, черезъ нее ты узришь всѣ заблужденія человѣческой гордости.

— Да, такова судьба моя,—прошепталъ великій розенкрейцеръ:—и врядъ-ли я пойду противъ нея...

VIII.

Проходятъ часы; ночь смѣняется блѣднымъ утромъ, а великій розенкрейцеръ не раздѣвался и не ложился. Сонъ ни на минуту не сомкнулъ его глазъ, и съ тѣхъ поръ какъ вышелъ отъ него отецъ Николай, онъ не тронулся съ мѣста.

Онъ сидитъ неподвижно передъ своимъ рабочимъ столомъ. Свѣчи давно догорѣли, но онъ не замѣтилъ этого. Съ каждой минутой ночныя тѣни все блѣднѣютъ. Широкія полосы свѣта, врываясь изъ подъ спущенныхъ занавѣсей оконъ, уничтожаютъ

мракъ тихой комнаты. Все рѣзче, яснѣе обозначаются предметы...

Наступилъ день.

Сквозь едва замѣтный просвѣтъ тяжелой драпировки прорвалась струйка солнечнаго луча—и все озарилось ликующимъ, теплымъ свѣтомъ. День проникъ и въ эту нѣмую, будто застывшую, будто мертвую обитель.

По-прежнему чувствуется здѣсь все пропитавшій, странный, душистый и крѣпкій запахъ. По-прежнему на полкахъ книжнаго шкапа стоятъ старинныя книги, въ ящикахъ бюро лежатъ исчерченныя непонятными письменами, знаками и символами рукописи. По-прежнему на столѣ таинственная шкатулка, заключающая въ себѣ непонятныя для непосвященнаго предметы, крѣпчайшія эссенціи, кусочки темнаго вещества, способнаго замѣнить пищу для человѣка.

Однимъ словомъ, — здѣсь по прежнему собрано все то, что добыто тайной дѣятельностью, тайными знаніями естество-испытателей-розенкрейцеровъ, все, что невѣдомо тогда еще, но когда-нибудь сдѣлается общимъ достояніемъ человѣчества, неизбѣжно идущаго впередъ по пути познанія природы.

Да, все здѣсь какъ было, и въ то-же время все это потеряло смыслъ для жильца этой тихой комнаты. Здѣсь въ прежнее; недавнее еще время, въ часы тихой ночи и ранняго утра, онъ бывалъ погруженъ въ свои таинственныя работы. Онъ производилъ иной разъ изумительные опыты съ тѣми предметами, съ тѣми веществами, которые заключены въ таинственной шкатулкѣ. Теперь-же, еслибы онъ даже и вспомнилъ, что можетъ снова отдаться прежней работѣ, что можетъ снова производить свои опыты,—онъ махнулъ-бы на все это рукой, какъ на дѣтскую забаву. Но онъ даже и не помнитъ обо всемъ этомъ.

Эта ночь, это утро, послѣдняя почь, послѣднее утро его внутренней борьбы. Двѣ силы борятся въ немъ. Одна сила—холодъ и мракъ, другая тепло и свѣтъ. И какъ день, ворвавшійся въ комнату сквозь всѣ препятствія, побѣдилъ и уничтожилъ ночныя тѣни,—такъ-же и въ немъ—свѣтъ и тепло одолѣвъ всѣ препятствія, гонятъ мракъ и холодъ...

«Нѣтъ жизни безъ счастья! — все громче и громче повторяется въ его мысляхъ. — Жизнь безъ счастья есть смерть. Въ чемъ-же счастье? Въ знiи?»

Нѣтъ. Такъ казалось до послѣдняго времени, такъ всегда думалось въ теченіе всей жизни, съ тѣхъ самыхъ дней, когда впервые пробудился разумъ и ощутилась мучительная, могучая жажда духа. Такъ торжественно объявили мудрецы древности, такъ училъ старецъ, отецъ розенкрейцеровъ. Но теперь уже ясно, что это не такъ—ошибся разумъ, ошиблась древняя мудр-

рость, ошибся великій старецъ. Счастье — въ любви. Такъ говоритъ скромный деревенскій священникъ, такъ говоритъ свѣтлый образъ дѣвушки-ребенка, то и дѣло рисующійся въ воображеніи, такъ говоритъ вся душа, рвущаяся къ теплу.

«Любовь выше знанія, — внутренно говоритъ себѣ великій розенкрейцеръ, — сердце выше разума. Кто свелъ разумъ въ сердце и поселилъ его въ немъ, тотъ достигаетъ счастья, тотъ проникается любовью. А знаніе? Знаніе приходитъ, неизбѣжно приходитъ, когда разумъ сведенъ въ сердце... Да, это такъ, это такъ! Я чувствую это всѣмъ существомъ моимъ!»

Совершилось. Все старое, все прежнее было навсегда разрушено, и человѣкъ не могъ уже вернуться къ этимъ развалинамъ. Онъ уже не помышлялъ о томъ, что такое произошло, побѣда или паденіе. Ни о какихъ побѣдахъ, ни о какихъ паденіяхъ онъ не думалъ. Побѣжденный разумъ былъ именно сведенъ въ сердце; но еще не могъ очнуться, не могъ еще понять себя въ этомъ новомъ состояніи, слышалъ только надъ собою немолчный, могучій голосъ, котораго необходимо было слушаться. Да ослушаніе и не было уже возможно.

Прошли еще минуты.

— Зина!..—Прозвучалъ нѣжнымъ призывомъ голосъ великаго розенкрейцера:—Зина...

И все вокругъ внезапно освѣтилось. Онъ поднялся со своего кресла, на которомъ просидѣлъ всю ночь, подошелъ къ окну и широкимъ движеніемъ распахнулъ драпировки. Снопы солнечнаго свѣта ворвались въ комнату и послѣднія тѣни безслѣдно исчезли.

Тогда великій розенкрейцеръ почувствовалъ въ себѣ не то что утомленіе, а потребность освѣжиться, очиститься отъ всей ночной копоти и пыли. Онъ пошелъ къ себѣ въ спальню, умылся свѣжей водою, опрыскалъ себя чудной благовонной эссенціей, переодѣлся тщательно, будто собираясь на праздникъ. Но все это онъ сдѣлалъ почти безсознательно. Онъ не думалъ ни о чемъ. Праздникъ и ликованіе были въ душѣ его, и въ немъ немолчно повторялся призывъ: Зина! Зина!

Онъ закрылъ глаза и увидѣлъ ее въ холодномъ, серебристомъ туманѣ зимняго утра... Закутанная въ пушистый мѣхъ, она прижалась въ уголъ кареты... Онъ видитъ, ясно видитъ разрисованное морозными узорами каретное стекло... Но глядитъ онъ не на это стекло, а на прелестное лицо Зины, въ ея глаза, и ясно читаетъ въ нихъ. Онъ видитъ и знаетъ, что она думаетъ о немъ, что, въ отвѣтъ на его призывъ, и она зоветъ его, и она повторяетъ его имя...

«Зина! Ко мнѣ, скорѣе!»—всей душой зоветъ онъ, и видитъ, что ей слышенъ его голосъ.

Вотъ она вздрогнула... Будто прислушивается...

И еще не удержимѣе, еще призывнѣе повторилъ онъ: — «Зина!»

Онъ открылъ глаза, простоялъ такъ нѣсколько мгновеній, будто боясь, что это только обманъ воображенія, что вотъ онъ закроетъ глаза, — и ничего не увидитъ. Онъ спѣшитъ закрыть ихъ. Нѣтъ, все ясно! Опять передъ нимъ разрисованное морознымъ узоромъ стекло... Опять глаза милой дѣвушки... Съ каждой минутой онъ чувствуетъ, что она все ближе и ближе къ нему...

Что это? Откуда эти звуки? То бьютъ часы. Онъ машинально считаетъ удары: десять. Десять часовъ.

Едва замолкъ послѣдній звукъ, и едва успѣлъ онъ произнести: десять,—дверь отворилась и передъ нимъ была Зина.

XIV.

Когда она выѣхала изъ дому, то вовсе не думала, что ѣдетъ къ нему и даже не знала, что онъ уже вернулся. Она ѣхала къ отцу Николаю. Но дорогой съ ней произошло нѣчто странное, повторилось то самое ощущеніе, которое она испытала на праздникѣ въ Смольномъ, когда въ первый разъ встрѣтилась съ взглядомъ человѣка, сразу овладѣвшаго ея душою. Но тогда въ ея ощущеніяхъ было больше муки, чѣмъ радости, теперь-же радость превозмогла и росла съ каждымъ мгновеніемъ.

Безъ борьбы и волненія она отдавалась тому, что происходило съ нею. Она чувствовала устремленный на нее взглядъ, и въ этомъ взглядѣ не было ужъ ничего страшнаго, загадочнаго и злого,—въ немъ была любовь, надежда и печаль, какъ тѣнь прошлаго. Она услышала его призывный, зовущій ее по имени голосъ,—откуда онъ, гдѣ звучитъ, она не знала, но ни на мигъ не могла сомнѣваться въ томъ, что это его голосъ, и что онъ зоветъ ее.

Его призывъ становился все слышнѣе. Она вся такъ и рвалась къ нему и, когда ея карета остановилась у дома князя Захарьева-Овинова, она уже не владѣла собою. Она дѣйствовала подъ могучимъ наплывомъ невѣдомой силы, съ которою не хотѣла и не могла бороться. Она не помнила, какимъ образомъ взошла на крыльцо, что говорила встрѣтившимъ ее людямъ. Та сила, которая влекла ее, была могучей силой, и всѣ препятствія разлетѣлись передъ нею. Княжеская прислуга могла изумиться этому внезапному появленію молодой нарядной кра-

савицы, желавшей видѣть князя Юрія, но не могла остановить ее.

Дверь отворилась, и передъ нею онъ. Она глубоко вздохнула всей грудью, будто освобождаясь отъ какой-то тягости, провела рукою по лбу, будто отгоняя какой-то туманъ и чадъ. Отъ этого движенія легкій мѣховой плащъ упалъ съ плечъ ея. Еще мигъ, — и она была въ объятіяхъ того, кто такъ изучилъ ея душу, кого она такъ страшилась еще недавно и кого такъ любила своимъ неопытнымъ, но уже мощнымъ и готовымъ на всѣ испытанія сердцемъ.

Она не уклонилась и не могла уклониться отъ этого объятія, она передала имъ себя на всю жизнь, на вѣки тому, кто былъ ей предназначенъ. А онъ? Онъ ужъ не спрашивалъ себя, что это паденіе или побѣда? И если-бы въ этотъ мигъ весь адъ, вооруженный всѣми своими ужасами, грозилъ ему, еслибъ всѣ силы земли и неба твердили ему, что онъ себя губитъ, — ему даже и въ голову не пришло-бы обратить на нихъ вниманіе и смутиться духомъ.

— Простишь-ли... можешь-ли ты простить меня?—съ мольбою и надеждой шепталъ онъ, глядя ей въ глаза сіяющими глазами и боясь очнуться, боясь убѣдиться, что это сонъ, греза, а не дѣйствительность.

— Что?.. Что простить?—растерянно, едва слышно спрашивала она, понимая только одно, что все совершилось.

— Мое прошлое... холодъ и жестокость души моей... и... то тяжкое преступленіе... содѣянное въ безуміи моемъ... въ ослѣпленіи!—разслышала она его голосъ.

Она поняла, наконецъ, смыслъ его словъ, содрогнулась и невольнымъ движеніемъ отъ него отстранилась. Передъ нею пронеслось все, всѣ испытанныя впечатлѣнія, всѣ ужасныя сцены, которыхъ она была свидѣтельницей. Образъ истерзанной муками ревности, обезумѣвшей, умиравшей у ногъ ея графини Елены вернулся будто живой, и сердце ея заныло. Счастливый свѣтъ ея глазъ померкъ, и вмѣстѣ съ нимъ померкло и лицо Захарьева-Овинова.

— Я... развѣ я... могу прощать?! — прошептала она. — Богъ можетъ простить... и она...

Въ это мгновеніе имъ показалось, что передъ ними мелькнуло что-то бѣлое, прозрачное, неопредѣленное и, оба они испытали такое ощущеніе, будто рядомъ съ ними, близко-близко, почти касаясь ихъ, есть кто-то. Они явственно услышали, какъ-бы тихій музыкальный аккордъ и потомъ... потомъ слабый, не земной, но все-же знакомый, понятный голосъ произнесъ надъ ними:

«Я все поняла... я прощаю...»

Снова они одни... Спокойно и радостно на душѣ ихъ... Они взглянули другъ на друга, и увидѣли, что оба знаютъ, кто это былъ сейчасъ съ ними, кто понялъ все и простилъ...

Жизнь вступила въ свои права. Солнце свѣтило ярко. Все таинственное, непонятное — исчезло. Захарьевъ-Овиновъ взялъ Зину за руку и сказалъ ей:

— Пойдемъ къ моему отцу... Пусть онъ увидитъ тебя и благословитъ насъ.

И они пошли. Когда Захарьевъ-Овиновъ, оставивъ Зину въ сосѣдней комнатѣ, вошелъ къ отцу и все сказалъ ему, старый князь не сразу понялъ, но, понявъ, онъ такъ весь и затрепеталъ отъ радости.

— О, Господи!.. Да какъ-же это?.. Кто-жъ она такая?.. Юрій, другъ мой, не томи... скажи скорѣе!

Изъ области своихъ мечтаній онъ сразу вернулся къ прежней жизни, къ прежнимъ понятіямъ, и боялся сыновняго отвѣта. А вдругъ Юрій выбралъ такую невѣсту, которую онъ не будетъ въ состояніи назвать дочерью? То, что сказалъ ему сынъ о Зинѣ, хоть и не совсѣмъ его удовлетворило, но все-же успокоило.

— Что-жъ, другъ мой,—отвѣтилъ онъ, поправляясь въ своемъ креслѣ и запахивая полы мѣхового халата: — я тебѣ перечить не могу и не стану... поспѣши... Извинись передъ своею невѣстой за то, что я, по болѣзни своей и слабости, не могу ее какъ слѣдъ встрѣтить... и приведи ее ко мнѣ.

Сынъ поспѣшно вышелъ изъ спальни, а старикъ, подбодрясь, ждалъ. Ждалъ, и въ то-же время губы его шептали имя любимой дочери, которую у него такъ рано, такъ безжалостно похитила смерть. Но стоило ему взглянуть на вошедшую Зину,— и онъ забылъ все. Предубѣжденіе противъ нея, вдругъ невольно закравшееся къ нему въ сердце при воспоминаніи о покойной дочери, сейчасъ-же и пропало безслѣдно.

— Батюшки-свѣты! Да какая-жъ вы красавица! Отродясь такой не видывалъ! — въ волненіи повторялъ онъ, когда Зина склонилась передъ нимъ и, взявъ его руку, почтительно ее поцѣловала.

— Голубушка ты моя, видишь я какой... и руки-то поднять не могу... обнять тебя не могу... наклонись, дочка милая, дай я тебя поцѣлую...

Она почувствовала на своемъ лбу его крѣпкій поцѣлуй — и въ то-же время услышала, что онъ плачетъ. Да, онъ плакалъ отъ радости.

— Юрій, Юрій,—говорилъ онъ сквозь слезы:—вотъ ужъ по-

радовалъ ты меня... вотъ ужъ кралю себѣ нашелъ... Слава Тебѣ, Господи! Признаться—такого счастья я и не ждалъ, и Бога-то о немъ просить не смѣлъ. Ну, теперь я умру спокойно, безъ помѣхи... на душѣ хорошо стало... Только, дѣти, исполните вы мою просьбу? Юрій, другъ ты мой, обѣщай мнѣ исполнить великую мою просьбу?

— Что прикажете, батюшка?.. Свадьба, чтобы наша была скорѣе?—понявъ, прибавилъ онъ.

— Да,—воскликнулъ старикъ:—не дожидайтесь моей смерти—она придетъ теперь скоро, а я хочу покинуть васъ ужъ мужемъ и женою... Красавица моя, исполнишь мою просьбу?

— Да, конечно,—совсѣмъ просто отвѣтила Зина:—только вотъ какъ царица?..

— Царица мнѣ не откажетъ,—увѣренно сказалъ князь:—я сегодня-же, сейчасъ-же напишу ей, а ты, Юрій, свези... она тебя приметъ.

Въ это время вошелъ отецъ Николай, и старый князь такъ весь и просіялъ его увидя. Черезъ нѣсколько минутъ отецъ Николай благословилъ жениха и невѣсту.

XV.

Захарьевъ-Овиновъ передъ царицей. Движеніемъ руки она указала ему на стулъ, на который онъ и присѣлъ, а сама, откинувшись на спинку своего любимаго кресла у письменнаго стола, читаетъ поданное письмо стараго князя.

На лицѣ Екатерины замѣтно нѣкоторое недовольство. Она уже часа за два передъ тѣмъ имѣла объясненіе съ Зиной. Она привязалась къ доброй и прекрасной дѣвушкѣ и вотъ теперь должна разставаться съ нею. Ей самой уже не разъ приходило въ голову, что было-бы жестоко изъ-за эгоистическаго чувства не устроить какъ слѣдуетъ жизнь Зины, не выдать ее замужъ. Но, вѣдь, она еще очень молода. Годъ-другой подождать можно. А потомъ надо ей найти хорошаго жениха, съ именемъ, со средствами, съ положеніемъ. И притомъ—непремѣнно хорошаго человѣка. Богъ знаетъ кому, какому-нибудь легкомысленному петиметру, невозможно отдать этого чудеснаго ребенка.

Нѣтъ, она, царица, позаботится о ней, какъ истинная мать, разглядитъ человѣка со всѣхъ сторонъ и устроитъ ей такой бракъ, который дѣйствительно сдѣлаетъ счастье ея Зины...

И вдругъ Зина, съ волненіемъ, но въ то-же время и съ такой рѣшимостью, какой даже она въ ней не предполагала, объяв-

ляетъ, что нашла себѣ жениха, и женихъ этотъ никто иной, какъ князь Захарьевъ-Овиновъ!..

Если-бы Екатерина ясно и обстоятельно помнила все, относившееся до этого человѣка, у нея въ рукахъ оказалось-бы достаточно доводовъ, чтобы сразу, рѣшительно объявить свое несогласіе на этотъ бракъ. Но дѣло въ томъ, что, подъ вліяніемъ непонятной силы, у нея сохранилось только какое-то смутное, неопредѣленное воспоминаніе о чемъ-то—и больше ничего. Она знала, что Захарьевъ-Овиновъ былъ близокъ къ покойной графинѣ Зонненфельдъ, что Зина встрѣтилась съ нимъ у гроба этой несчастной молодой женщины. Потомъ былъ священникъ, о которомъ она уже не разъ слышала много хорошаго. Этотъ священникъ — духовникъ Зины. Онъ живетъ въ домѣ Захарьева-Овинова. Зина у него бываетъ,—значитъ и тамъ она могла встрѣчаться съ княземъ...

Видѣлась она съ нимъ и здѣсь, когда царица «призывала» его. Свою бесѣду съ этимъ страннымъ и ученымъ человѣкомъ она хорошо помнитъ. Это была интересная бесѣда. Онъ достаточно оригиналенъ, но, вѣдь, онъ фантазеръ, у него все какія-то отвлеченныя, какія-то мистическія идеи...

Онъ казался ей чѣмъ-то вродѣ сураваго и холоднаго аскета. И вдругъ этотъ аскетъ и мистикъ — самымъ заурядным образомъ плѣнился красивой дѣвочкой, сдѣлалъ ей предложеніе — и хочетъ жениться...

Старый князь пишетъ, умоляя ее, въ виду своей болѣзни и приближающейся, какъ онъ увѣряетъ, смерти, дать свое разрѣшеніе на этотъ бракъ и дозволить, чтобы свадьба была какъ можно скорѣе. Царицѣ все это досадно. Она привыкла, что все дѣлается такъ, какъ она того хочетъ, какъ она задумаетъ, а тутъ вышло совсѣмъ иначе, совсѣмъ неожиданно—и притомъ еще ее торопятъ...

Да, вѣдь, онъ болѣе чѣмъ на двадцать лѣтъ старше Зины, вѣдь, ему за сорокъ, а она почти совсѣмъ ребенокъ — ей нѣтъ еще двадцати лѣтъ. Онъ ей не пара!..

Она положила письмо на столъ и взглянула на Захарьева-Овинова. Этотъ взглядъ показалъ ей, что лучше и не останавливаться на вопросѣ о возрастѣ. Онъ изумительно, невѣроятно моложавъ. Онъ крѣпокъ, бодръ, красивъ, у него такое необыкновенное лицо. Зина не могла имъ не увлечься, замѣтивъ, что производитъ на него впечатлѣніе. А онъ видно очень увлеченъ ею. Онъ совсѣмъ не таковъ, какимъ былъ прежде, Онъ сталъ какъ-то гораздо проще, во взглядѣ нѣтъ ничего страннаго, загадочнаго, что такъ ее поразило, когда она его въ первый разъ видала. Глаза его смотрятъ свѣтло и ясно: видно что онъ счастливъ.

— Итакъ, князь, — сказала Екатерина:—вы желаете прекратить вашу жизнь ученаго анахорета, ваши вѣчныя путешествія и превратиться въ добраго семьянина. Все это весьма похвально, и я не имѣю ничего возразить вамъ. Но вы просите руки моей камеръ-фрейлины...

— Я былъ-бы очень доволенъ, еслибы Зинаида Сергѣевна не была камеръ-фрейлиной вашего величества,—сказалъ Захарьевъ-Овиновъ.

— А почему-бы это, сударь?—быстро спросила царица.

— Потому, что тогда мнѣ не пришлось-бы лишать ваше величество не только камеръ-фрейлины, но и лучшей дѣвушки, какая только можетъ существовать въ мірѣ.

— Да, это для меня крайне непріятно и даже гораздо болѣе того,—произнесла Екатерина.—Но если дѣло идетъ объ ея счастіи...

— А вы сомнѣваетесь ваше величество, что она будетъ со мной счастлива—не такъ-ли?

— Можетъ быть...

— Конечно... только одно время рѣшитъ вопросъ этотъ.

— Да, время,—въ раздумьи сказала царица и затѣмъ пожала плечами. — Что-жъ, я не имѣю никакихъ основаній запрещать вашего брака. Вашъ отецъ проситъ, чтобы свадьба была какъ можно скорѣе. И противъ этого я ничего не могу возразить, только...

— Только вы очень недовольны нами, ваше величество.

Екатерина сдвинула брови. Она была очень, очень недовольна, но не хотѣла показывать этого.

— Не то,—сказала она: — я хотѣла спросить васъ... вы совсѣмъ ее у меня возьмете?

— Ея сердце навсегда принадлежитъ вамъ, — спокойно и серьезно отвѣтилъ Захарьевъ-Овиновъ. — Она любитъ ваше величество не только какъ государыню, но и какъ истинную мать. Это я знаю и ужъ, конечно, не я стану уничтожать въ ней такое чувство... Но вы не о томъ спрашиваете. И я долженъ сказать вашему величеству, что при дворѣ моя жена остаться не можетъ...

— Я знаю ваши идеи!—съ нѣкоторой рѣзкостью перебила Екатерина.—Вы крайне невысокаго мнѣнія обо всемъ, что меня здѣсь окружаетъ.

— Ничуть, ваше величество,—все такъ-же спокойно и серьезно сказалъ Захарьевъ-Овиновъ: — но человѣкъ долженъ быть тамъ, гдѣ онъ нуженъ... Гдѣ буду я съ женою — это вопросъ будущаго, на который я не могу еще отвѣтить. Я хорошо понимаю неудовольствіе вашего величества. Если-бы я нашелъ для

васъ полезнымъ мое присутствіе здѣсь, то принялъ-бы всякое дѣло, какое вамъ угодно было-бы предоставить, всякую службу. Не сердитесь на меня, государыня, и дозвольте мнѣ высказать вамъ мою большую просьбу...

— Что такое? Говорите.

— Если когда-нибудь я найду нужнымъ что-либо сообщить вамъ, дозвольте мнѣ, когда-бы это ни случилось, лично обращаться прямо къ вамъ.

— Противъ исполненія такой просьбы я ничего не имѣю. Я всегда васъ выслушаю и если сообщеніе ваше будетъ заключать въ себѣ нѣчто болѣе или менѣе важное, либо какой разумный совѣтъ, то останусь вамъ за сіе премного благодарна.

— Больше мнѣ ничего не надо, — сказалъ Захарьевъ-Овиновъ.—Такое обѣщаніе царицы можетъ быть, во многихъ отношеніяхъ, неоцѣнимымъ сокровищемъ для подданнаго...

Императрицы милостиво простилась съ нимъ. Онъ уходилъ вполнѣ удовлетвореннымъ, хотя ясно видѣлъ, что она все-же имъ очень недовольна.

XVI.

Направляясь къ выходу, въ одной изъ дворцовыхъ залъ, онъ встрѣтился съ Потемкинымъ. Свѣтлѣйшій былъ одинъ, безъ всякой свиты. Онъ медленно подвигался, тяжело ступая по паркету, и несъ, размахивая рукою, небольшой портфель съ бумагами, очевидно для доклада царицѣ. За это время онъ еще больше какъ-то обрюзгъ. На лицѣ его выражалось не то утомленіе, не то скука. Онъ громко зѣвнулъ раза три и привычнымъ движеніемъ перекрестилъ себѣ ротъ. Подойдя на близкое разстояніе къ Захарьеву-Овинову, но еще не узнавая его, онъ прищурился и вдругъ остановился.

— Князь, ты-ли это, голубчикъ?..—воскликнулъ онъ, протягивая ему руку.—Какими судьбами, изъ какихъ странъ и странствій?.. Не часто мы съ тобой встрѣчаемся... радъ я тебя видѣть... поцѣлуемся...

Они трижды поцѣловались.

— А и взаправду любопытно мнѣ, за какимъ это ты здѣсь дѣломъ?

— За большимъ, князь, — отвѣтилъ Захарьевъ-Овиновъ. — Я прямо отъ царицы.

— Что-жъ такъ? Или человѣку, которому ничего не надо, что-нибудь да понадобилось?

— Понадобилось!..

И Захарьевъ-Овиновъ разсказалъ Потемкину, по какому дѣлу былъ у царицы. Тотъ съ изумленіемъ глядѣлъ на него и вдругъ засмѣялся.

— Ушамъ своимъ не вѣрю!—все продолжая смѣяться, говорилъ онъ.—Ты женихъ!.. Поздравляю... да и видъ у тебя вонъ какой счастливый... Чудеса!..

Онъ прервалъ свой смѣхъ и махнулъ рукою.

— Эхъ, братъ!..

— А что?

— А то, что вотъ знаешь-ли ты... такая есть пѣсенка: «и зачѣмъ было городъ городить, и зачѣмъ было капустку садить...» Одинъ только ты мнѣ и казался стоющимъ вниманія. Одинъ только ты и былъ для меня магомъ, волхвомъ, мудрецомъ... И былъ ты несчастливъ, и узрѣли мы съ тобою тоску нашу безъисходную и несчастіе наше... Эхъ-ма! Не велико видно было твое несчастіе, коли ты нашелъ отъ него такое лѣкарство!.. А меня еще спасалъ отъ бѣсовскихъ прелестей... Женится, и отъ этого счастливъ... Вишь ты!..

— Не глумись, князь,—сказалъ Захарьевъ-Овиновъ.—Не глумись надъ тѣмъ, чего не знаешь. Кабы ты нашелъ то, что нашелъ я, и ты увидѣлъ-бы себя счастливымъ.

— Не резонъ!—покачалъ головою Потемкинъ.—То, что ты сейчасъ сказалъ, скажетъ и всякій мальчишка, влюбленный въ свою невѣсту.

— Да я говорю не о невѣстѣ... Я нашелъ не одну ее... а все!

— Что-же это такое? Разскажи, братецъ, я послушаю.

Лицо Захарьева-Овинова вдругъ стало печально. Въ его глазахъ, за мгновеніе передъ тѣмъ веселыхъ и счастливыхъ, мелькнуло прежнее выраженіе, и загорѣлись они прежнимъ пламенемъ. Потемкинъ почувствовалъ эту внезапную перемѣну. Онъ увидѣлъ, что передъ нимъ опять прежній непонятный человѣкъ, и что онъ напрасно поспѣшилъ спихнуть его съ высокаго пьедестала на землю.

— Нѣтъ, князь,—страннымъ, металлическимъ голосомъ, отъ котораго невольная дрожь пробѣжала по тѣлу Потемкина, произнесъ Захарьевъ-Овиновъ.—Ничего я не могу разсказать тебѣ, ибо не услышишь ты теперь словъ моихъ душою, не поймешь ихъ тайнаго смысла. Ничему я не научу тебя, ибо человѣкъ только самъ можетъ научить себя тому, чему я научился и что теперь знаю. И для тебя придетъ день и часъ, когда все тебѣ станетъ ясно.

— Загадки? Опять загадки!—воскликнулъ Потемкинъ.

— Да, загадки,—все тѣмъ-же жуткимъ голосомъ продолжалъ

великій розенкрейцеръ, смотря куда-то вдаль и будто вглядываясь во что-то.

— Ну, такъ когда-же придетъ этотъ день и часъ мой?..

— Онъ придетъ, когда ты будешь... среди поля... близъ дороги... подъ открытымъ небомъ разставаться съ жизнью, когда вокругъ тебя будутъ ненужныя тебѣ, чужія лица и ни одной родной души, ни одной истинно любимой руки, которую могъ-бы ты пожать передъ разлукой... Въ тотъ день и часъ ты поймешь все и почувствуешь, въ чемъ истинное счастье.

Лицо Потемкина стало мрачнымъ. Грудь его высоко поднималась.

— Предсказатель!—прошепталъ онъ.—Печальную смерть ворожишь ты мнѣ!.. Среди поля... подъ открытымъ небомъ... въ одиночествѣ... Когда-же это будетъ? Скоро, что-ли?.. Говори все!

— И да, и нѣтъ, — сказалъ Захарьевъ-Овиновъ. — И мало пройдетъ времени до того дня, и очень много... Вспомни юность свою, много, вѣдь, прошло съ тѣхъ поръ времени, и, вмѣстѣ съ этимъ, мало. Вѣдь, стоитъ тебѣ вспомнить какое-нибудь далекое событіе, — и кажется, что оно было такъ недавно, и спрашиваешь ты себя: да когда-же и куда прошло столько времени?!. Вся жизнъ наша: и долгій путь и мигъ одинъ... Больше я ничего не скажу тебѣ. Да забудь и эти слова мои, если можешь...

Они разстались.

Конецъ третьей части.

ЭПИЛОГЪ.

I.

Западная Европа переживала страшное время. Гроза революціи разразилась надъ прекрасной Франціей. Будто изъ глубины ада поднялись зловредныя испаренія, и люди обезумѣли отъ этихъ испареній.

Въ тишинѣ ученыхъ кабинетовъ витали, какъ свѣтлыя, неосязаемыя грезы, отвлеченныя, прекрасныя идеи братства, равенства и свободы. Стремящійся къ правдѣ разумъ, согрѣтый сердечнымъ вдохновеніемъ, пытался, какъ могъ, какъ умѣлъ, воплотить въ словѣ красоту неяснаго идеала. Горячія слова вылетали изъ тишины кабинетовъ и проникали всюду, падали на всякую почву. И почти всюду почва оказывалась неподготовленной. Адскія испаренія видоизмѣнили значеніе словъ, низводили идеалъ на землю и придавали ему фантастическія очертанія. Непонятное добро превратилось въ ядовитое зло, и, вмѣсто братства, равенства и свободы, наступило мрачное, неслыханное царство ненависти, произвола, торжества грубой силы. Подъ знаменемъ свободы распространилось самое мучительное, жестокое рабство, передъ которымъ блѣднѣли всѣ ужасы невольничества. Кинжалъ и гильотина работали день и ночь, разливая потоки горячей человѣческой крови, отъ которой сатанѣли шайки всесильныхъ разбойниковъ. Умственное и нравственное ничтожество, невѣжество, зависть и злоба объявили себя цвѣтомъ земли и безжалостно давили все, что было выше ихъ. Наконецъ, оказалось недостаточнымъ уничтожать все, что, такъ или иначе, заявляло свои неотъемлемыя права на землѣ, и вотъ Богъ былъ объявленъ несуществующимъ. Провозглашено было единое божество—разумъ. Но это былъ не разумъ, а безуміе, справлявъ-

шее свой отвратительный шабашъ, упивавшееся кровью и задыхавшееся отъ преступленій...

Въ это страшное время въ древнемъ Римѣ, въ знаменитомъ замкѣ Святого Ангела, среди грозной тишины и вѣковаго смрада мрачныхъ и душныхъ темницъ, попрежнему томились преступники и жертвы римской инквизиціи. Кто разъ попадалъ въ эту тюрьму, тотъ уже зналъ, что никогда изъ нея не выйдетъ. Въ тотъ мигъ, когда за человѣкомъ запиралась ржавая желѣзная дверь темной и сырой камеры, человѣкъ этотъ исключался изъ списка живущихъ.

Покрытый плѣсенью, пропитанный сыростью и міазмами подвалъ. Надъ головою низкій сводчатый потолокъ и посреди нѣ его небольшое отверстіе, ведущее неизвѣстно куда и изъ котораго, по временамъ, мерцаетъ слабый свѣтъ, печальный призракъ сіяющаго гдѣ-то дня. Тяжелая желѣзная дверь заперта на крѣпкіе засовы и замки, и никакая человѣческая сила не справится съ этими засовами и замками. Въ углу ворохъ соломы; на соломѣ лежитъ кто-то; но кто—разглядѣть трудно.

Вотъ эта фигура поднимается и начинаетъ, какъ звѣрь въ клѣткѣ, метаться отъ стѣны до стѣны тѣснаго подвала. Это мужчина въ отрепьяхъ когда-то богатаго наряда, бархатъ котораго давно превратился въ грязную, закорузлую тряпку, а золотое шитье стерлось и почернѣло. Голова покрыта густыми, длинными, спутанными и на половину посѣдѣвшими волосами. Такая-же полусѣдая длинная борода закрываетъ половину лица; черные большіе глаза горятъ; высокій лобъ покрытъ глубокими морщинами.

Кто-же это? Это человѣкъ, которому нѣсколько лѣтъ тому назадъ оказывали царскія почести, передъ которымъ преклонялись, чьи несмѣтныя богатства и чья баснословная слава затмѣвали собою богатства и славу монарховъ. Это Джузеппе Бальзамо, «божественный» графъ Каліостро. Вотъ что осталось отъ него и отъ его прошлаго!

Далеки тѣ безоблачные дни, продолжительностью которыхъ онъ утѣшалъ свою Лоренцу въ Страсбургѣ. Они и были продолжительны, но въ то-же время исчезли какъ быстрый, мимолетный сонъ, какъ и все въ этомъ мірѣ. Три года прожилъ «благодѣтель человѣчества» въ Страсбургѣ, по временамъ исчезая, но скоро возвращаясь и продолжая все такъ-же щедро раздавать бѣднымъ деньги и вылѣчивать больныхъ. Каліостро достигъ своего—Парижъ, жадный до всякой новизны и наполненный всевозможными разсказами и сказками о чудесахъ этого необыкновеннаго человѣка, все громче и громче звалъ его. Но Каліостро медлилъ и рѣшился на отъѣздъ изъ Страс-

бурга только тогда, когда ужъ окончательно убѣдился, что въ «новѣйшемъ Вавилонѣ» его ожидаютъ всѣ, начиная съ самого короля. Для успѣховъ при дворѣ у него оказался вѣрный другъ и союзникъ въ лицѣ знаменитаго кардинала Рогана...

Наконецъ, послѣ долгихъ, томительныхъ ожиданій, Парижъ узналъ, что Каліостро въ стѣнахъ его—и было забыто все, всѣ интересы отодвинулись на задній планъ, парижане думали и говорили только о Каліостро. Весь городъ «обожалъ» его, и фанатизмъ этого обожанія росъ съ каждымъ днемъ. Портретъ «божественнаго» сдѣлался величайшей драгоцѣнностью, которую каждый и каждая хотѣли имѣть не только у себя, но и на себѣ, какъ талисманъ. Художники, дѣлавшіе миніатюры Каліостро на табакеркахъ, кольцахъ и вѣерахъ—быстро обогащались и едва успѣвали исполнять заказы. По всѣмъ улицамъ на стѣнахъ были расклеены афиши, въ ктоорыхъ объявлялось, что король Людовикъ XVI признаетъ виновнымъ въ оскорбленіи величества всякаго, кто осмѣлится оскорбить Каліостро. Подъ его бюстами изъ бронзы и мрамора и подъ гравированными его портретами помѣщалось такое четверостишіе:

De l'ami des humains reconnaisez les traits.
Tous ses jours sont marqués par de nouveaux bienfaits,
Il prolonge la vie, il secourt l'indigence;
Le plaisir d'être utile est seul sa récompense *).

Однако, что-же дѣлалъ онъ въ Парижѣ? Его помощь нищетѣ не могла быть особенно замѣтной въ такомъ огромномъ городѣ. Отъ лѣченія больныхъ онъ почти отказывался теперь, быть можетъ не желая ставить себя въ явно враждебныя отношенія съ факультетомъ. Онъ творилъ только чудеса. И что это были за чудеса!.. Сохранился, напримѣръ, подробный разсказъ объ устроенномъ имъ ужинѣ, на которомъ половина гостей были современныя знаменитости, а другая половина—тоже знаменитости, но—уже умершіе: герцогъ Шуазель, Вольтеръ, д'Аламберъ, Дидро, аббатъ Вуазенонъ и Монтескье. Затѣмъ онъ учреждалъ свои таинственныя, масонскія египетскія ложи и собиралъ со всѣхъ сторонъ обильныя приношенія. Лоренца оставалась его послушной помощницей. Золото сыпалось на нихъ и казалось—ему счету не будетъ. Въ свободные часы Каліостро предавался своимъ кабалистическимъ, астрологическимъ и алхи-

*) Вотъ черты друга человѣчества, всѣ дни котораго запечатлѣны новыми благодѣяніями. Онъ удлиняетъ жизнь, помогаетъ нищетѣ—и его единственная награда—сознаніе своей полезности.

мическимъ занятіямъ, и существуютъ многія свидѣтельства, что онъ дѣлалъ удивительныя предсказанія и открывалъ самыя сокровенныя тайны.

Ждать опасности было неоткуда. Поклонниками Великаго Копта оказывались всѣ, начиная съ короля, а враги были ничтожны и совсѣмъ безсильны... И вдругъ—все рушилось. Случилось нѣчто неуловимое, неподдающееся никакому опредѣленію—и удача уступила мѣсто неудачамъ, бѣдамъ, несчастію. Началось въ Парижѣ знаменитое дѣло объ «ожерельи королевы».

Дѣло это слишкомъ извѣстно. Суть его можно передать нѣсколькими словами. Мрачная судьба уже наложила свою руку на Францію и на королевскую семью. Стали твориться такія ошибки, въ которыхъ были виновны всѣ и—никто. Маловажныя причины производили, повидимому, совсѣмъ несообразныя съ логикой слѣдствія. Умные люди превращались въ слѣпыхъ безумцевъ... Королева Марія-Антуанета, какъ-бы по какому-то предчувствію, ненавидѣла кардинала Рогана, одного изъ первѣйшихъ и знатнѣйшихъ сановниковъ Франціи. Кардиналъ Роганъ, во что-бы то ни стало, стремился получить благосклонность королевы. Придворный брилліантщикъ Бемеръ собралъ удивительной красоты брилліанты и, сдѣлавъ изъ нихъ чудное ожерелье, предложилъ королевѣ купить эту драгоцѣнность. Но цѣна была слишкомъ велика, и Марія-Антуанетта, несмотря на свою страсть къ брилліантамъ, рѣшила, что лучше на эти деньги построить новый корабль, который нужнѣе для государства, чѣмъ для нея—наряды. Бемеръ остался ни съ чѣмъ, и ему грозило разореніе, такъ какъ никому не было по средствамъ такое ожерелье.

Обо всемъ этомъ провѣдала ловкая и смѣлая авантюристка, графиня Ла-Моттъ, и явилась къ кардиналу Рогану, увѣряя его, что, если онъ выплатитъ Бемеру всѣ деньги за ожерелье, о которомъ бредитъ королева, то она будетъ ему благодарна и представитъ всѣ доказательства своей къ нему милости. Легкомысленный кардиналъ повѣрилъ обманщицѣ, сталъ выплачивать Бемеру огромныя суммы, а графиня Ла-Моттъ завладѣла ожерельемъ. Наконецъ, эта продѣлка открылась. Началось дѣло,—король допустилъ до этого,—Ла-Моттъ и кардинала Рогана судили, королева должна была «оправдаться». Кѣмъ-то было произнесено имя Каліостро—и вчерашняго кумира схватили и заперли въ Бастилію.

На судѣ выяснились всѣ обстоятельства. Ла-Моттъ понесла должное наказаніе. Кардиналъ Роганъ былъ оправданъ, но лишился королевскихъ милостей за свое легкомысліе, за то, что

осмѣлился повѣрить такимъ поступкамъ королевы, на которые она не была и не могла быть способна. Все дѣло велось гласно и оказалось первымъ страшнымъ ударомъ, нанесеннымъ величію и престижу Маріи-Антуанеты...

Но можно читать и перечитывать всѣ документы, изслѣдованія и разсказы, относящіеся до этого дѣла—и все-же невозможно понять, въ чемъ заключалась роль Каліостро, на какомъ основаніи его засадили въ Бастилію. Это было фатальное недоразумѣніе, это была судьба. Его освободили ни въ чемъ не обвинивъ и—заставили немедленно покинуть Францію. Звѣзда удачи и счастья начинала меркнуть.

Каліостро и Лоренца оказались въ Англіи. Отсюда Великій Коптъ послалъ свое знаменитое «письмо къ французскому народу». Это письмо было тогда-же переведено на всѣ языки и распространено по всей Европѣ. Въ немъ, между прочимъ, заключается такое предсказаніе: «Бастилія будетъ разрушена до основанія и мѣсто, на которомъ она стоитъ, сдѣлается мѣстомъ для прогулокъ». Затѣмъ онъ такъ-же вѣрно предсказалъ и многія другія событія.

Въ Лондонѣ ему жилось хорошо; но судьба его подстерегала. Онъ отправился съ Лоренцей въ Италію и тамъ попалъ въ руки инквизиціи. Лоренца испугалась пытокъ — и ея показанія окончательно погубили Каліостро. Ей удалось освободиться, и она вернулась въ свой родительскій домъ, гдѣ стала скрываться подъ вымышленнымъ именемъ. Дальнѣйшая судьба ея совсѣмъ неизвѣстна.

Великій Коптъ мужественно вынесъ всѣ пытки. Онъ отрицалъ свою виновность въ чемъ-либо. Онъ объявилъ себя католикомъ, признающимъ высшее главенство папы въ церковной іерархіи. Когда его спрашивали о тайныхъ наукахъ, онъ говорилъ очень темно, загадочно. Судьи долго слушали со вниманіемъ, но, наконецъ, остановили его, сказавъ ему, что его отвѣты нелѣпы и всѣмъ имъ непонятны.

— Какимъ-же образомъ можете вы знать, что они нелѣпы — воскликнулъ онъ внѣ себя: — когда вы ихъ не понимаете?

Судьи очень разсердились, и одинъ изъ нихъ закричалъ:

— Назовите сейчасъ всѣ смертные грѣхи!

Каліостро назвалъ: скупость, зависть, любострастіе, обжорство и лѣность.

— Вы забыли гордость и гнѣвъ,—сказалъ ему судья.

— Извините,—спокойно отвѣтилъ онъ:—я не забылъ ни гордости, ни гнѣва, но не хотѣлъ называть ихъ изъ уваженія къ вамъ и боясь васъ обидѣть.

Говоря это, онъ имѣлъ такой величественный видъ, что казался вовсе не осужденнымъ, а обвинителемъ.

Его приговорили сначала къ смертной казни, но такъ какъ онъ не выказалъ при этомъ ни малѣйшаго смущенія, то судьи рѣшили, что пожизненное заключеніе въ душной темницѣ замка Святого Ангела будетъ ему лучшимъ наказаніемъ.

Для того, чтобы отвратить отъ него народныя симпатіи,—а онъ и въ Италіи пользовался большой популярностью,—стали распускать слухъ, что онъ, подобно Нерону, собирался сжечь Римъ. Потомъ разсказывали, что онъ сошелъ съ ума и страдаетъ припадками бѣшенства.

II.

Тайный судъ надъ Каліостро тянулся полтора года, и во все это время несчастнаго подвергали самымъ ужаснымъ и разнообразнымъ пыткамъ, на какія только оказалось способнымъ воображеніе католическихъ монаховъ. Онъ все вынесъ, ни разу не ослабѣлъ духомъ, не выдалъ себя ни однимъ словомъ и только смертельно блѣднѣлъ каждый разъ, когда на допросѣ ему читали показанія Лоренцы, подписанныя ею. Въ показаніяхъ этихъ была смѣсь правды съ ложью—обезумѣвшая отъ страха, Лоренца наговорила на своего недавняго властелина все, что ей подсказывали инквизиторы.

Судъ конченъ. Двери душной темницы, пропустивъ истерзаннаго Каліостро, заперлись за нимъ навсегда. Два года прожилъ онъ въ тюрьмѣ—и его тюремщики никогда не слыхали его жалобъ, не видѣли признаковъ его отчаянія. Могучій организмъ узника вынесъ все—пытки, тоску, любовь и ненависть къ Лоренцѣ, всѣ лишенія тѣла и духа. Въ это время Каліостро еще лучше, чѣмъ когда-либо, доказалъ какія великія силы вложила въ него природа, какъ далеко онъ могъ-бы пойти, какъ высоко могъ-бы подняться, если-бы съ юности не избралъ себѣ ложную дорогу.

Но что-же дѣлалъ онъ въ эти безконечные дни, въ эти безконечныя ночи? У него не было ни книгъ, ни бумаги, ничего для умственной работы, а между тѣмъ онъ только и жилъ теперь ею. Онъ производилъ ее безъ всякихъ внѣшнихъ орудій, съ помощью одной своей памяти. Шагъ за шагомъ провѣрялъ онъ въ умѣ всѣ свои знанія и шелъ дальше. Это была необычайно трудная работа—однако, она давала ему возможность убивать время. Онъ старался читать дальнѣйшую судьбу свою, мысленно дѣлая различныя астрологическія вычисленія.

На сырыхъ плитахъ пола своей комнаты, съ помощью соломы, онъ устраивалъ свой гороскопъ — и вотъ, мало-по-малу къ нему явилась увѣренность въ томъ, что онъ не умретъ въ этой тюрьмѣ, что для него настанетъ освобожденіе. Кто-то придетъ и спасетъ его. Его еще ожидаетъ великое торжество, новые блестящіе успѣхи. Лучъ надежды закрался въ его душу. Надежда росла, росла—онъ считалъ минуты, часы, дни, и ждалъ своего освобожденія.

Но прошли два ужасныхъ года, а освобожденія все нѣтъ. Вокругъ него все тотъ-же мракъ, тѣ-же сырыя каменныя стѣны, тотъ-же молчаливый, подозрительный тюремщикъ, по два раза въ день приносящій ему скудную пищу.

Единственнымъ разнообразіемъ въ его жизни были тѣ рѣдкіе случаи, когда три, четыре раза въ годъ приходили къ нему тюремщики, налагали ему на ноги и на руки оковы, выводили изъ подвала и вели въ капеллу, находившуюся тутъ-же, недалеко, въ концѣ длиннаго темнаго корридора. Здѣсь онъ присутствовалъ при божественной службѣ, здѣсь онъ видѣлъ нѣсколько монаховъ и выбиралъ себѣ изъ нихъ духовника. Въ числѣ этихъ монаховъ былъ одинъ, по имени братъ Иннокентій, который поразилъ его нѣкоторымъ сходствомъ съ нимъ, Каліостро. У этого монаха была такая-же точно фигура, какъ у него, тотъ-же самый ростъ, въ общемъ даже лицо было нѣсколько похоже.

Въ послѣднее время, совсѣмъ незамѣтно для самого Каліостро, сталъ въ умѣ его созрѣвать ужасный, отчаянный планъ. Онъ видѣлъ, что освобожденіе не приходитъ извнѣ, никто не является спасти его. А между тѣмъ оставаться долѣе въ тюрьмѣ онъ уже не могъ. Силы его слабѣли. Онъ чувствовалъ, какъ жизнь мало-по-малу уходитъ изъ его тѣла, его ноги трясутся, голова то и дѣло кружится. Еще нѣсколько мѣсяцевъ этой невыносимой жизни—и онъ умретъ...

Но, вѣдь, гороскопъ, всѣ тайны котораго онъ постигъ, не можетъ обмануть его. Его ждетъ спасеніе, и торжество, и успѣхи. Онъ еще изумитъ міръ своими знаніями, своими чудесами. Онъ еще много пользы принесетъ человѣчеству и восторжествуетъ надъ всѣми своими врагами. Ему предстоитъ только одинъ шагъ, тяжелый, трудный шагъ... но ради всей будущности надо рѣшиться! Онъ рѣшился...

И вотъ онъ, какъ звѣрь, мечется по своей тѣсной тюрьмѣ, отгоняя отъ себя послѣднія сомнѣнія, послѣднія колебанія... Пришло время, когда тюремщикъ приноситъ ему пищу. Каліостро легъ на свое соломенное ложе и сталъ жадно прислушиваться. За желѣзной дверью въ корридорѣ слышны шаги.

Дверные засовы скрипятъ... Передъ нимъ тюремщикъ. Каліостро стонетъ.

— Что съ тобой?—грубо и равнодушно спрашиваетъ тюремщикъ, ставя на полъ посуду съ пищей.

— Я боленъ... умираю...—слабымъ голосомъ произноситъ Каліостро.

— Давно пора!—замѣчаетъ тюремщикъ.

— Но, вѣдь... не могу-же я такъ умереть!.. безъ покаянія, безъ исповѣди... позови скорѣй духовника...

— Какого-же духовника тебѣ надо?

— Брата Иннокентія...

— Ну, это я могу,—рѣшаетъ тюремщикъ:—кстати, братъ Иннокентій будетъ сегодня вечеромъ навѣрно въ капеллѣ... такъ я и приведу его.

— Ахъ, только-бы дожить мнѣ до вечера!

— Доживешь, еще и до завтра доживешь,—ворчитъ тюремщикъ, уходя и запирая за собою дверь.

Какъ левъ вскочилъ Каліостро, оставшись одинъ. Глаза его метали искры. Онъ почуялъ приближеніе свободы—и одна эта мысль уничтожила всю его слабость. Онъ едва дождался вечера и, заслыша приближавшіеся шаги, легъ на солому и принялся стонать. Тяжелая дверь отперлась и заперлась снова. Передъ нимъ братъ Иннокентій съ маленькой лампой въ рукѣ. Эта лампа озаряла мрачныя, сѣрыя стѣны, низкіе своды, всю грязь, весь ужасъ смрадной тюрьмы.

«Вонъ отсюда! вонъ!»—звучало въ душѣ Каліостро, и онъ забылъ все остальное. Монахъ присѣлъ на его солому, наклонился надъ нимъ и сказалъ:

— Что съ тобою? Ты очень страдаешь?

— Да, я ужасно страдаю!—воскликнулъ Каліостро и, прежде, чѣмъ монахъ успѣлъ шевельнуться, онъ обхватилъ его горло руками. Его пальцы, будто желѣзные, все больше и больше сжимались, не выпуская свою жертву.

Мигъ,—и онъ почувствовалъ слабую, предсмертную судорогу монаха. Еще мигъ,—и монахъ недвижимъ, бездыханенъ. При свѣтѣ лампы, съ лихорадочной быстротой, онъ раздѣлъ еще теплый трупъ, раздѣлся самъ, потомъ одѣлъ монаха въ свои лохмотья, а самъ оказался въ одеждѣ брата Иннокентія. Онъ уложилъ трупъ на солому и затѣмъ, найдя въ карманѣ монашескаго платья небольшой складной ножъ, быстро, недрогнувшей рукой, изрѣзалъ все лицо мертвеца до неузнаваемости.

Сдѣлавъ все это, онъ надѣлъ себѣ на голову капюшонъ, искусно прикрылся имъ и, взявъ въ руки лампу, сталъ стучать

въ дверь. Тюремщикъ, находившійся недалеко въ корридорѣ, услыша этотъ стукъ, отворилъ ему. Когда дверь отворилась, будто струя воздуха затушила лампу и Каліостро съ тюремщикомъ оказались почти въ полномъ мракѣ.

— Запирай двери... онъ заснулъ... проживетъ еще день-другой!—шепнулъ Каліостро голосомъ брата Иннокентія.

Тюремщикъ заперъ двери. Каліостро неспѣшнымъ шагомъ пошелъ по корридору и вошелъ въ капеллу. Тамъ было два монаха; но они не обратили на него вниманія, принявъ его за брата Иннокентія. Онъ вышелъ изъ капеллы и, черезъ нѣсколько минутъ, безъ особаго труда, безъ всякихъ препятствій, оказался внѣ замка Святого Ангела.

Онъ шелъ дальше, и чѣмъ дальше шелъ, тѣмъ быстрѣе становились шаги его. Свѣжій воздухъ опьянялъ его, голова кружилась, во всемъ тѣлѣ чувствовалась слабость. Но онъ превозмогалъ себя и все шелъ, спѣшилъ скорѣе изъ Рима, на свободу... Теперь надо быть какъ можно дальше отсюда!..

И вотъ уже за нимъ остались послѣднія жилища «вѣчнаго города». Онъ на волѣ, среди простора. Тутъ только почувствовалъ онъ всю свою усталость, всю боль, съ каждой минутой усиливавшуюся въ его сердцѣ. Онъ не могъ идти дальше и почти упалъ на землю.

Невозмутимая тишина стояла кругомъ. Темная ночь глядѣла на него безчисленными звѣздами. Куда-же дальше? Что теперь дѣлать?—Но онъ не могъ объ этомъ думать, мысли его путались... Что совершилъ онъ? Убійство!.. Но, вѣдь, оно было вынуждено обстоятельствами. Сама судьба, ясно имъ прочитанная, приказывала ему это неизбѣжное убійство... А вдругъ онъ ошибся? Вдругъ спасеніе его было близко и пришло-бы помимо этого преступленія... Вдругъ то, что онъ сдѣлалъ, было совсѣмъ ненужно?..

Но что это съ нимъ? Какъ кружится голова, какъ трудно дышать! Все темнѣетъ въ глазахъ, а въ ушахъ, откуда-то, отовсюду—повторяется одно только слово: «убійца! убійца!» Невыносимый, отчаянный страхъ охватилъ его, такой страхъ, какого онъ не испытывалъ ни разу въ жизни. Ему чудится будто его преслѣдуютъ, гонятся за нимъ какіе-то страшные призраки...

Онъ съ трудомъ поднялся на ноги и, собравъ послѣднія силы, побѣжалъ. Но не успѣлъ онъ пробѣжать и сотни шаговъ, какъ въ груди его будто оборвалось что-то. Онъ слабо вскрикнулъ, потомъ захрипѣлъ и упалъ на землю бездыханный...

Немного времени прошло съ тѣхъ поръ, и французскія войска заняли Римъ. Французы обступили замокъ Святого Ангела и

ворвались въ него съ цѣлью освободить Каліостро. Предполагалось съ большимъ торжествомъ вывести изъ темницы «благодѣтеля человѣчества» и устроить въ его честь всякія празднества. Не только у каждаго офицера, но и у каждаго солдата были въ памяти исполнившіеся теперь предсказанія знаменитаго чародѣя, обращенныя имъ къ французскому народу.

Но Каліостро не нашли. Его тюрьма была пуста и никто не могъ сказать побѣдителямъ, гдѣ тотъ, кого они ищутъ.

Онъ не дождался обѣщеннаго ему судьбою спасенія, совершилъ тяжкое преступленіе,—и погибъ.

III.

Дикая горная мѣстность въ окрестностяхъ Небельштейна. Такой-же ясный, холодный вечеръ, какой былъ въ этотъ самый день десять лѣтъ тому назадъ, когда Захарьевъ-Овиновъ спѣшилъ къ древнему замку на послѣднее собраніе великихъ учителей розенкрейцеровъ, гдѣ его должны были провозгласить главою братства. Солнце уже зашло, какъ и тогда, и точно такъ-же быстро сгущаются ночныя тѣни. Горный вѣтеръ свищетъ въ лѣсу и отъ его порывовъ качаются и шуршатъ другъ-о-друга вѣтви вѣковыхъ елей. По заросшей дорогѣ къ замку, какъ и тогда, спѣшитъ всадникъ... И всадникъ этотъ тотъ-же: — Захарьевъ-Овиновъ.

Прошло десять лѣтъ; незамѣтными они кажутся въ явленіяхъ неподвижной, для поверхностнаго взгляда, природы; но великую перемѣну произвели эти десять лѣтъ въ человѣкѣ, который спѣшитъ къ развалинамъ стараго замка. Ничего общаго нѣтъ въ его душѣ съ тѣмъ настроеніемъ, какое въ ней было десять лѣтъ назадъ.

Ночь совсѣмъ стемнѣла, когда Захарьевъ-Овиновъ остановилъ своего коня у маленькой, едва выглядывавшей изъ кустовъ, желѣзной двери замка. Онъ вынулъ изъ кармана свистокъ, и, какъ въ былые годы, раздался среди скалъ и развалинъ призывный пронзительный звукъ. Потомъ звукъ замеръ... все было тихо. Захарьевъ-Овиновъ свистнулъ еще разъ и ждалъ—отвѣта не было.

Тогда онъ быстро спрыгнулъ на землю, крѣпко привязалъ коня къ большему кусту и застучалъ въ дверь. Полное молчаніе было ему отвѣтомъ. Ему стало жутко.

«Неужели?—подумалъ онъ, и дрожь пробѣжала по его членамъ.—Нѣтъ, я бы зналъ, такъ или иначе онъ извѣстилъ-бы меня!.. А можетъ быть... можетъ быть я ужъ и не могъ полу-

чить отъ него извѣстій иначе какъ обычнымъ для всѣхъ людей путемъ? Или онъ не успѣлъ, или не хотѣлъ написать мнѣ... Неужели здѣсь смерть, и я не зналъ объ этомъ!»

Онъ схватился за ручку двери и увидѣлъ, что она незаперта изнутри. Не зная—радоваться этому или смущаться, онъ поспѣшно отперъ дверь, заперъ ее за собою и очутился въ знакомомъ, темномъ корридорѣ.

Въ то-же мгновеніе онъ почувствовалъ, что великій старецъ еще живъ. Сознаніе это сразу его успокоило и онъ твердымъ шагомъ пошелъ впередъ, ощупалъ въ концѣ корридора дверь и отворилъ ее.

Онъ въ завѣтной древней комнатѣ собраній. Какъ десять лѣтъ тому назадъ, на столѣ горитъ лампа, всюду разложены фоліанты и у стола, въ старомъ высокомъ креслѣ, человѣческая фигура. Это онъ—древній мудрецъ!

Съ сильно забившимся сердцемъ Захарьевъ-Овиновъ кинулся къ нему. Глядитъ, — онъ неподвиженъ. Глаза закрыты... Неужели?! Онъ наклонился!.. Нѣтъ, онъ живъ, живъ, онъ только спитъ!..

Старецъ открылъ глаза, глаза эти совсѣмъ почти потухли, въ нихъ едва теплилась искра жизни.

— Сынъ мой...—прошептали блѣдныя старческія губы.

— Отецъ! — воскликнулъ Захарьевъ-Овиновъ, чувствуя и радость, и грусть, и подступившія къ сердцу слезы.

Онъ обнялъ старца, радуясь, что засталъ его живымъ и невольно ужасаясь происшедшей въ немъ перемѣнѣ.

— Я зналъ, что ты придешь ко мнѣ сегодня. Я звалъ и ждалъ тебя, и чувствовалъ твое приближеніе... а вотъ заснулъ!— между тѣмъ говорилъ глухимъ голосомъ Гансъ фонъ-Небельштейнъ.—Слабъ я теперь... заснулъ и не слышалъ твоего свистка... Впрочемъ, вѣдь, дверь не заперта... она не запирается съ тѣхъ поръ, какъ я простился съ моимъ добрымъ Бергманомъ и похоронилъ его, тому назадъ два года...

— Бѣдный другъ, бѣдный Бергманъ!—произнесъ Захарьевъ-Овиновъ, вспоминая доброе лицо стараго, вѣрнаго слуги и друга далекихъ дней.

— Скажи, счастливый Бергманъ! — шепнулъ фонъ-Небельштейнъ, дрожащей рукою вынимая изъ кармана маленькій ящичекъ и кладя себѣ въ ротъ кусочекъ таинственнаго вещества, способнаго поддерживать человѣческія силы.

Черезъ двѣ, три минуты древній старецъ замѣтно оживился. Въ глазахъ прибавилось жизни. Старыя исхудалыя руки уже не такъ тряслись, сгорбленная спина выпрямилась. Захарьевъ-Овиновъ не отрываясь глядѣлъ на него.

— Отецъ!—невольно воскликнулъ онъ:—отчего въ тебѣ такая перемѣна? Зачѣмъ допустилъ ты ее?

— Перемѣна произведена временемъ, — сказалъ старецъ: — время дѣлаетъ свою законную работу. И не во мнѣ одномъ перемѣна, она и въ тебѣ, сынъ мой. И я съ большимъ правомъ могу спросить тебя: ты то зачѣмъ допустилъ ее, зачѣмъ ты разстался со своею молодостью? Зачѣмъ, въ эти десять лѣтъ, пропала нѣжность твоихъ щекъ, а на лбу появились морщины?

— Я не думалъ объ этомъ,—отвѣтилъ Захарьевъ-Овиновъ.— Я никогда, какъ тебѣ извѣстно, не употреблялъ никакихъ средствъ для того, чтобы сохранить свое тѣло и поддержать свою молодость до сорокалѣтняго моего возраста. Вѣдь молодость во мнѣ поддерживала та жизнь, какую я велъ. Я слишкомъ мало, не смотря на свои большія занятія, расходовалъ свою жизненную силу, во мнѣ работалъ одинъ мозгъ, работалъ привычно, правильно и постоянно. А сердце мое оставалось безъ всякой жизни. Ну, а тебѣ извѣстно, отецъ, что жизнь сердца помогаетъ разрушенію матеріи. Да, навѣрно во мнѣ большая перемѣна, но перемѣна эта не важна...

— Какъ не важна?—перебилъ его старецъ:—ты добровольно сокращаешь дни свои?!

Захарьевъ-Овиновъ улыбнулся.

— Во всякомъ случаѣ не тебѣ упрекать меня въ этомъ! Самъ ты что сдѣлалъ съ собою?

— Я? Я другое дѣло, я вотъ уже прожилъ на свѣтѣ сто-двадцать лѣтъ—и радъ уйти. Да, съ тѣхъ поръ, съ самаго дня нашего послѣдняго свиданія, когда ты причинилъ мнѣ такое горе, противъ котораго я все-же и не могъ ничего, и за которое не могу винить тебя, я пересталъ поддерживать жизнь моего тѣла и предоставилъ ему разрушаться. Два года тому назадъ я помѣшалъ Бергману умереть, потому что онъ желалъ этого—и я понималъ это желаніе. Теперь и я умираю. Я ждалъ тебя только для того, чтобы проститься съ собою и чтобы ты похоронилъ меня по правиламъ нашего братства, рядомъ съ моими предшественниками. Вотъ зачѣмъ ты здѣсь. Вотъ зачѣмъ звалъ я тебя.

Захарьевъ-Овиновъ опустилъ голову и нѣсколько мгновеній продолжалось молчаніе. Но вотъ онъ заговорилъ.

— Отецъ, — сказалъ онъ: — мнѣ тяжело и грустно слышать слова твои; но я понимаю твою усталость, твое желаніе смерти.

— Смерти!—усмѣхнулся Гансъ фонъ-Небельштейнъ:—какое дикое, отвратительное слово... Смерть! — и нѣчто невыразимо

ужасное представляется, по привычкѣ, человѣческому воображенію. А между тѣмъ вѣдь это покой, это блаженство. О, еслибы зналъ ты, сынъ мой, какъ я въ эти послѣдніе годы стремлюсь къ свѣтлой минутѣ, которую люди называютъ смертью! Больше столѣтія неустанно шелъ я впередъ, собирая сокровище знаній... Собралъ все, что могъ и этого мало! И вотъ, еще ранѣе того дня когда ты намъ здѣсь, десять лѣтъ тому назадъ, сказалъ горькую правду, я понялъ, хотя и тяжко было признаться въ этомъ передъ собою, какъ ничтожно мое сокровище... Понялъ я и то, что не могу уже ничѣмъ его дополнить, что ничего уже не найду новаго. А между тѣмъ, вѣдь мнѣ мало того, что у меня есть, мнѣ нужно еще, нужно такъ много!.. Ну, такъ пора, давно пора узнать больше... О, какъ я боялся, что ты не почувствуешь моего зова, что ты потерялъ силу меня чувствовать!..

— Отецъ,—перебилъ его Захарьевъ-Овиновъ,—не знаю, быть можетъ я и потерялъ эту силу. Я здѣсь не потому, что ты звалъ меня.

Старецъ поднялъ на него изумленный взглядъ.

— Я здѣсь во исполненіе того условія, которое было заключено между нами десять лѣтъ тому назадъ, — продолжалъ Захарьевъ-Овиновъ.—Вѣдь каждый изъ насъ долженъ былъ сюда возвратиться въ годовщину прежнихъ нашихъ собраній, если почувствуетъ и убѣдится въ томъ, что достигъ того блага, котораго намъ недоставало, то есть счастья. Отецъ, ты видѣлъ здѣсь кого-нибудь изъ насъ за это время?

Старикъ покачалъ головою.

— Никого, сынъ мой. Вотъ уже десять лѣтъ, какъ ничья нога не переступила за порогъ замка.

— Я почти былъ увѣренъ въ этомъ,—сказалъ Захарьевъ-Овиновъ.—Но я здѣсь, и могъ-бы явиться даже гораздо раньше, если-бы не назначилъ себѣ этого послѣдняго срока. Отецъ, перемѣна, которую ты видишь во мнѣ, мои морщины, всѣ признаки лѣтъ, только свидѣтели того, что я вижу, что я счастливъ!

Старецъ недовѣрчиво покачалъ головою.

— Ты заблуждаешься, сынъ мой,—увѣренно произнесъ онъ.—Здѣсь счастья нѣтъ, въ этой матеріальной оболочкѣ мы его не достигнемъ.

— Абсолютнаго счастья, да,—отвѣтилъ великій розенкрейцеръ:—и за эти десять лѣтъ у меня было не мало горя, не мало черныхъ дней я пережилъ, и все-же я счастливъ, и все-же, въ сравненіи съ этими десятью послѣдними годами моей жизни, вся предшествовавшая жизнь моя мнѣ кажется страшной и душной

тюрьмой. До тѣхъ поръ, пока я жилъ однимъ только разумомъ и не понималъ, что у меня есть сердце и что истинная жизнь исходитъ только изъ него, изъ его постояннаго развитія,—я задыхался. Съ того мига, какъ проснулось мое сердце и наполнилось любовью, я живу, я страдаю, я радуюсь, я могу смѣяться, я могу плакать. Любовь и добро, которое неизбѣжно является ея слѣдствіемъ, даютъ мнѣ минуты такихъ наслажденій, такого тепла, такой благодати, что каждая изъ нихъ искупаетъ долгіе дни страданій!..

Старецъ слушалъ его, сдвинувъ брови, слушалъ напряженно, собирая послѣднія силы своего слабѣвшаго разума, чтобы постигнуть все значеніе словъ его. Слова эти казались ему только словами. А между тѣмъ, вѣдь, онъ зналъ, кто передъ нимъ. Онъ зналъ, что этотъ человѣкъ, имъ-же самимъ доведенный до вершины знаній, человѣкъ и теперь еще полный ими, не можетъ-же произносить слова безъ значенія, не можетъ такъ жестоко ошибаться... Если онъ считаетъ себя счастливымъ, если онъ полонъ бодрости духа, доволенъ жизнью, значитъ-же что-нибудь нашелъ онъ?..

— Но, то благо, которое далось тебѣ, — прошепталъ старецъ:—вѣдь, оно должно было уничтожить всѣ твои высшія способности, всѣ твои тайныя силы! Ты могъ сохранить свои знанія, но силу свою сохранить не могъ, и ты теперь такъ-же ничтоженъ, какъ тотъ слабый и темный искатель истины, который въ первый разъ подходитъ къ храму мудрости и собирается постучаться въ его двери!..

— Можетъ быть,—сверкнувъ глазами, воскликнулъ Захарьевъ-Овиновъ:—можетъ быть, но я объ этомъ никогда не думаю, да и незачѣмъ мнѣ думать, у меня есть все, что необходимо для возможнаго на землѣ счастья,—и до сихъ поръ я не нуждался въ провѣркѣ моихъ оккультныхъ силъ. Я ни разу не напрягалъ ихъ.

— А, между тѣмъ, я вижу, что, въ близкомъ будущемъ... да,—скоро, очень скоро, быть можетъ черезъ нѣсколько дней,—тебя ожидаетъ большая опасность, которую предотвратить ты можешь именно только твоими оккультными силами. Ихъ въ тебѣ нѣтъ—опасность велика! И я не знаю, вернешься-ли ты туда, откуда теперь пріѣхалъ...

— Отецъ, будущее не страшитъ меня,—спокойно отвѣтилъ Захарьевъ-Овиновъ.

Долго они еще бесѣдовали. Захарьевъ-Овиновъ ясно видѣлъ, какъ старецъ все слабѣетъ. Онъ даже хотѣлъ испробовать свою прежнюю силу, для того, чтобы поддержать въ немъ жизнь. Но Гансъ фонъ-Небельштейнъ запретилъ ему это.

— Не вмѣшивайся въ дѣйствія природы,—сказалъ онъ ему:— и не противься моей волѣ. Я хочу разстаться съ этимъ давно уже надоѣвшимъ мнѣ и тяжкимъ для меня тѣломъ. Часъ мой пришелъ. Солнце еще не успѣетъ взойти, какъ я покину бренную мою оболочку, которая начнетъ предаваться обычному разрушенію. Сынъ мой, завтра утромъ ты меня похоронишь въ готовой уже для меня могилѣ, въ извѣстномъ тебѣ подземельѣ этого замка, въ склепѣ, куда я не разъ тебя водилъ въ прежніе годы, гдѣ покоится прахъ великихъ розенкрейцеровъ... Тамъ и для тебя есть мѣсто...

— Я лягу тамъ, гдѣ придется, — тихо произнесъ Захарьевъ-Овиновъ.

— А теперь,—слабѣющимъ голосомъ сказалъ старецъ: — теперь возьми книгу, въ которой я вписалъ великія двадцать два правила, переданныя отъ древности посвященнымъ... перечти мнѣ ихъ... мои глаза уже почти ничего не видятъ...

IV.

Великій розенкрейцеръ исполнилъ желаніе старца и началъ читать ему двадцать два правила развитія воли, постигнувъ и исполнивъ которыя человѣкъ дѣлается побѣдителемъ и владыкой природы. Эти двадцать два правила, преподанныя отъ древности легендарнымъ Гермесомъ Тотомъ, и затѣмъ разъясненныя и дополненныя величайшими адептами оккультизма, составляли драгоцѣнное сокровище розенкрейцеровъ. Въ нихъ дѣйствительно заключалась глубокая человѣческая мудрость.

Хотѣлъ-ли умиравшій старецъ, въ послѣдній часъ своей земной жизни, еще разъ окунуться въ ту холодную глубину, откуда онъ почерпалъ всѣ свои силы? Или, быть можетъ, надѣялся онъ, что погибшій, заблудившійся, какъ ему казалось, разумъ великаго розенкрейцера, увидя себя вновь въ знакомой, полной очарованій и соблазновъ сферѣ, почувствуетъ свою ошибку и вернется на тотъ путь, по которому когда-то шелъ онъ такъ побѣдоносно?..

Какъ-бы то ни было — онъ слушалъ чтеніе, весь превратясь во вниманіе и не спуская глазъ съ Захарьева-Овинова. Но черезъ нѣсколько минутъ все возраставшая слабость охватила его, голова стала кружиться, сердце все медленнѣе и медленнѣе билось, кровь въ жилахъ начинала останавливаться. Онъ понялъ, что умираетъ.

— Сынъ мой,—прошепталъ онъ едва слышнымъ голосомъ:—прощай!..

Захарьевъ-Овиновъ сложилъ книгу, кинулся къ старцу. Тотъ хотѣлъ приподнять руку—и не могъ, хотѣлъ сказать что-то, но языкъ уже не слушался. Да и мысли остановились. Когда Захарьевъ-Овиновъ приложилъ ухо къ груди старца—сердце уже не билось. Тогда онъ закрылъ глаза почившаго, поцѣловалъ его холодный лобъ и долго стоялъ, печально глядя на черты того, кто имѣлъ такое значеніе въ его жизни.

Было время, когда онъ почиталъ этого старца высочайшимъ существомъ въ мірѣ, когда каждое его слово было для него истиной и закономъ. Онъ и теперь зналъ, что въ этотъ часъ на землѣ не стало человѣка, обладавшаго истинными, высшими познаніями силъ и дѣйствій природы. Человѣкъ этотъ «имѣлъ даръ пророчества и зналъ всѣ тайны, и имѣлъ всякое познаніе, и всю вѣру, такъ что могъ и горы переставлять...» Но этотъ человѣкъ «не имѣлъ любви», прожилъ всю свою долгую жизнь, питаясь только своимъ разумомъ, вдали отъ жизни и презирая ее,—а потому «онъ былъ—ничто». Онъ умеръ утомленнымъ, неудовлетвореннымъ, съ сознаніемъ, что всѣ его силы и знанія не принесли и не могли принести ему счастья. Эти силы и знанія убили въ немъ всѣ чувства, сдѣлали его до того ко всему безучастнымъ, что онъ не испытывалъ даже потребности пользоваться ими. Онѣ лежали въ немъ, какъ никому ненужный кладъ. Подобно безумному скрягѣ, онъ не употреблялъ ихъ ни для себя, ни для другихъ—и теперь унесъ ихъ съ собою въ могилу. Всѣ эти чудныя силы и знанія только скудно питали его гордость и оказались безполезными, а потому онѣ, ихъ владѣлецъ, былъ—ничто. Въ теченіе столѣтія онъ достигалъ знанія, почелъ себя на его вершинѣ, и умирая, не зналъ, что ждетъ его за той дверью, которая теперь передъ нимъ открылась...

Всю ночь просидѣлъ Захарьевъ-Овиновъ передъ трупомъ старца погруженный въ свои мысли и будто снова переживая все свое прошлое. Когда насталъ день, онъ приступилъ къ исполненію своего долга передъ почившимъ учителемъ. Онъ омылъ его тѣло и, принеся изъ лабораторіи всѣ необходимые предметы, посредствомъ семи легкихъ уколовъ и вспрыскиванія нѣкоторой извѣстной ему эссенціи, превратилъ трупъ въ мумію, уже неспособную подвергнуться разложенію.

Затѣмъ онъ снесъ останки учителя въ склепъ и похоронилъ его тамъ съ соблюденіемъ всѣхъ правилъ, похоронилъ его именно такъ, какъ, съ основанія братства, каждый новый глава розенкрейцеровъ хоронилъ своего предшественника.

Весь день провелъ Захарьевъ-Овиновъ въ этой печальной

работѣ и къ вечеру почувствовалъ большое утомленіе. Но пріемъ оставленнаго старцемъ вещества быстро возстановилъ его силы. Онъ сидѣлъ теперь въ знаменитой розенкрейцерской лабораторіи—и былъ единственнымъ ея хозяиномъ, единственнымъ законнымъ наслѣдникомъ развалинъ Небельштейна и всѣхъ заключенныхъ въ немъ сокровищъ. Только онъ одинъ понималъ сущность всѣхъ работъ старца и былъ въ состояніи продолжать ихъ. Почти всѣ высшія химическія открытія, надъ которыми еще долго будетъ безплодно трудиться человѣчество, были ему извѣстны. Остальное заключалось въ рукописи старца, лежавшей теперь передъ нимъ и написанной условными знаками, значеніе которыхъ было ему понятно...

Но онъ зналъ теперь, что у него есть такое сокровище, при блескѣ котораго блѣднѣютъ всѣ эти открытія. Онъ зналъ также, что человѣчество не достигнетъ счастья, получивъ всѣ эти знанія, а потому незачѣмъ до времени, упреждая ходъ общаго развитія, открывать ихъ ему. Онъ зналъ, что если-бы рѣшился теперь открыть всѣмъ и каждому двери этой таинственной лабораторіи, то результатомъ явилось-бы относительное благо и положительное зло. И зла было-бы столько, что все благо оказалось-бы ничтожнымъ. Въ этомъ случаѣ адепты тайныхъ наукъ были всегда правы, тщательно охраняя свои тайны. Въ неразумныхъ или недобросовѣстныхъ рукахъ эти тайны способны породить только самое ужасное зло и самыя неслыханныя преступленія...

Осмотрѣвъ всю лабораторію, онъ надавилъ въ извѣстномъ ему мѣстѣ въ стѣнѣ невидимую пружину—и стѣна раскрылась. Въ ней оказался рядъ помѣстительныхъ полокъ, куда великій розенкрейцеръ и уложилъ всѣ инструменты и все содержаніе лабораторіи. Часа черезъ два стѣна снова закрылась, лабораторія была пуста.

Еще сутки работы—и Захарьевъ-Овиновъ могъ покинуть развалины Небельштейна съ полной увѣренностью, что никто, забравшись сюда когда-либо, не найдетъ здѣсь ничего, кромѣ старыхъ, покрывающихся плѣсенью и мохомъ стѣнъ, да разсыпающейся прахомъ древней мебели.

Но кто-же могъ сюда забраться? Только великіе учителя-розенкрейцеры знали сюда дорогу. Изъ нихъ двое уже умерли: графъ Хоростовскій и баронъ фонъ-Мелленбургъ. Рожэ Левекъ покинулъ Парижъ, находится въ Америкѣ и уже три года, какъ о немъ нѣтъ никакихъ извѣстій. Одинъ Абельзонъ смущалъ Захарьева-Овинова. Онъ зналъ, что этотъ бывшій великій учитель, послѣ прекращенія дѣятельности братства и его распаденія, далъ волю всѣмъ своимъ инстинктамъ и страстямъ, что всѣ свои зна-

нія, отрѣшась отъ розенкрейцерской клятвы, онъ обратилъ на зло. Онъ, палачъ братства, настаивавшій на казни измѣнниковъ, теперь самъ превратился въ измѣнника...

«Абельзонъ! Абельзонъ!»—повторялось въ мысляхъ великаго розенкрейцера и, вмѣстѣ съ этимъ именемъ, вспомнилось ему предсмертное предсказаніе старца. И онъ понялъ, что опасность грозитъ ему со стороны Абельзона.

Онъ былъ теперь въ комнатѣ засѣданій, въ той комнатѣ, гдѣ умеръ Гансъ фонъ-Небельштейнъ. Онъ разбиралъ оставшіеся манускрипты и книги, готовился спрятать ихъ въ потайное помѣщеніе въ стѣнѣ и затѣмъ уѣхать отсюда. Среди полной тишины онъ вдругъ услышалъ шаги въ корридорѣ. Ему не трудно было догадаться кто это. Дѣйствительно, черезъ нѣсколько мгновеній дверь отворилась, и онъ увидѣлъ передъ собою Абельзона. Онъ невольно вздрогнулъ,—такъ ужасно показалось ему лицо маленькаго человѣка, такъ страшно горѣли глаза его.

Они обмѣнялись обычнымъ въ братствѣ привѣтствіемъ; но, при этомъ, великій учитель не выразилъ главѣ братства должнаго іерархическаго поклоненія.

— Я знаю все,—прямо началъ Абельзонъ:—я еще не лишенъ моихъ силъ и знаній, а потому мнѣ своевременно стало извѣстно, что ты направляешься въ Небельштейнъ. Я поспѣшилъ за тобою. Подъѣзжая сюда, я понялъ, что опоздалъ, что нашего отца уже нѣтъ между живущими.

— Да, все это такъ,—сказалъ Захарьевъ-Овиновъ.—Чего-же тебѣ надо, Albus?

— Если ты уже потерялъ способность читать мои мысли,—съ презрительной усмѣшкой отвѣтилъ Абельзонъ:—такъ я тебѣ прямо и скажу, чего мнѣ надо. Десять лѣтъ тому назадъ мы признали тебя главой братства розенкрейцеровъ. Но ты въ этотъ-же день уничтожилъ своей властью братство. Затѣмъ ты пересталъ быть не только главою розенкрейцеровъ, но ты ужъ и не розенкрейцеръ первыхъ посвященій. Ты палъ черезчуръ низко. Мнѣ извѣстно, что ты, какъ послѣдній изъ безумцевъ, отказался отъ всего, чѣмъ владѣлъ, предался самымъ жалкимъ похотямъ и палъ глубоко. Я встрѣтилъ тебя братскимъ привѣтствіемъ, но это только по привычкѣ. Наслѣдникомъ и преемникомъ нашего отца ты быть не можешь, потому что самъ отказался отъ этого. У тебя, конечно, остались твои знанія, но нѣтъ никакихъ силъ. А безъ силъ, что такое знаніе? Двухъ изъ учителей нѣтъ на свѣтѣ, третій скрывается: значитъ одинъ я — законный преемникъ великаго старца! Поэтому я прошу тебя удалиться и оставить меня въ замкѣ. Я

здѣсь у себя, на своемъ мѣстѣ... ты-же, по безумію своему, здѣсь чужой!

— Ты заблуждаешься,—спокойно сказалъ Захарьевъ-Овиновъ.—Ты хочешь взять даромъ то, что покупается дорогой цѣною. Преемникъ великаго старца или я, или никто... Ты-же ни въ какомъ случаѣ не можешь быть его преемникомъ... Я вовсе не желаю входить къ тобою въ споръ, бесѣда между нами излишня, и я прошу тебя оставить меня и удалиться...

Глаза Абельзона загорѣлись, и на лицѣ изобразилась адская злоба.

— Жалкій безумецъ!—воскликнулъ онъ:—когда-то ты, можетъ быть, и имѣлъ право такъ говорить съ мною; но теперь—это праздныя слова съ твоей стороны, и только. Я хотѣлъ пощадить тебя и предоставить твоей печальной участи; но вижу, что необходимо наказать тебя какъ измѣнника... Погибни!

Это было одно только мгновеніе, но въ это малое мгновеніе цѣлый міръ проявилъ свою жизнь и дѣйствіе въ душѣ Захарьева-Овинова. «Такъ вотъ гдѣ опасность!»—пронеслось въ его мысляхъ, и, понявъ это, онъ вдругъ соединился, посредствомъ могучихъ, неразрывныхъ нитей, со всѣмъ, что было ему близко теперь, дорого, чѣмъ существовалъ онъ. Онъ почувствовалъ себя не одинокимъ, къ нему на помощь явилась и жена, со всей своей любовью и душевной чистотою, и отецъ Николай съ могучимъ оружіемъ, на которомъ дивно свѣтились слова: «симъ побѣдиши», и сотни, тысячи тѣхъ людей, которымъ онъ сдѣлалъ сознательное добро, которыхъ спасъ своей живой, дѣятельною любовью въ эти десять лѣтъ, протекшихъ со времени его возрожденія. Все, что было теперь въ немъ свѣту и тепла, свѣтлыхъ мыслей и горячихъ чувствъ, относившихся не къ себѣ, а къ другимъ,—все это сразу поднялось въ немъ и наполнило его такою силой, какой онъ никогда еще не ощущалъ въ себѣ.

— Погибни!—страшнымъ, нечеловѣческимъ голосомъ повторилъ Абельзонъ. Онъ не шевельнулся, произнося это слово, не кинулся на Захарьева-Овинова съ кинжаломъ или пистолетомъ, онъ только протянулъ по направленію къ нему руки и устремилъ на него взглядъ своихъ ужасныхъ глазъ. Но, еслибъ кто-нибудь могъ видѣть его въ эту минуту, тотъ, несмотря на какой угодно скептицизмъ, понялъ-бы, что этотъ человѣкъ или, вѣрнѣе, это чудовище въ образѣ человѣка, владѣетъ оружіемъ болѣе страшнымъ, чѣмъ кинжалы и пистолеты, и носитъ это оружіе въ себѣ самомъ, во взглядѣ своихъ горящихъ глазъ. Эти глаза жгли, обезсиливали, уничтожали. Въ нихъ заключа-

лась та ядовитая, обезволивающая и зачаровывающая сила, которою змѣя останавливаетъ и парализуетъ свою намѣченную жертву.

Но сила змѣи безсознательна, инстинктивна, а здѣсь свободный разумъ человѣка, неустанно работавшій надъ изученіемъ природы, сознательно развилъ въ себѣ эту силу путемъ укрѣпленія воли. Абельзонъ хорошо зналъ, что онъ можетъ: въ это послѣднее время онъ произвелъ нѣсколько ужасныхъ опытовъ.

Слабый трепетъ своей совѣсти и прежнихъ розенкрейцерскихъ понятій онъ успокаивалъ необходимостью провѣрки знаній и силъ. Теперь онъ былъ увѣренъ въ себѣ, онъ зналъ, что при болѣе или менѣе упорномъ напряженіи и сосредоточеніи воли, онъ можетъ завладѣть душою всякаго человѣка, превратить его въ безсильнаго раба своего, можетъ, наконецъ, мгновенно умертвить его, направивъ на него смертоносную силу своей злой воли.

Онъ «испыталъ» это. Онъ видѣлъ, какъ подъ дѣйствіемъ его взгляда человѣка падалъ и, въ страшныхъ судорогахъ, внезапно умиралъ. Абельзонъ сосредоточивалъ въ себѣ огромное количество электро-магнитной силы—и мгновенно передавалъ ее всецѣло другому живому организму. Накакой живой организмъ не былъ въ состояніи выдержать подобнаго удара, переполнялся электро-магнитнымъ токомъ—и погибалъ.

Неизбѣжно долженъ былъ-бы погибнуть и Захарьевъ-Овиновъ, если-бы онъ не былъ защищенъ тѣмъ высокимъ подъемомъ духа, который всегда торжествуетъ надъ силами матеріи и ослабляетъ ихъ... Онъ нашелъ защиту въ иныхъ, болѣе могущественныхъ силахъ, наполнявшихъ его безмятежнымъ спокойствіемъ. Онъ во время отрѣшилъ себя отъ какихъ-либо внѣшнихъ вліяній и остался «свободнымъ», вошелъ въ такое состояніе, когда организмъ человѣка оказывается нерушимой скалою, которую нельзя ни сжечь, ни взорвать, о которую притупляется всякое оружіе природы, кромѣ высшей духовной силы, силы Творца всяческой жизни.

— Несчастный!—воскликнулъ онъ, отвертываясь отъ Абельзона.—Что ты сдѣлалъ?! Развѣ забылъ ты, что «такая» сила, не найдя себѣ исхода, неизбѣжно возвратится къ тебѣ-же... Что ты сдѣлалъ!?

— Спаси!—въ ужасѣ, задыхаясь и падая на землю, прохрипѣлъ Абельзонъ.

— Ты знаешь, что я не состояніи спасти тебя.

Но Абельзонъ уже не слышалъ. Когда Захарьевъ-Овиновъ наклонился къ нему, то могъ уловить лишь послѣднее содро-

ганіе отлетавшей жизни. Все было кончено. Исполнился неизбѣжный законъ природы, хорошо извѣстный розенкрейцерамъ изъ «правилъ» Гермеса Тота: «Хотѣть зла—значитъ покоряться смерти. Злая воля есть начало самоубійства. «Свѣтъ» есть электрическій огонь, предоставленный природой въ распоряженіе «воли»; онъ просвѣщаетъ и озаряетъ тѣхъ, кто умѣетъ владѣть имъ, и поражаетъ, подобно молніи, тѣхъ, кто имъ злоупотребляетъ»...

...Исполнивъ человѣческій долгъ свой — вырывъ могилу близъ развалинъ замка и похоронивъ въ ней Абельзона, Захарьевъ-Овиновъ заперъ древнимъ ключемъ желѣзную дверь, за которою скрылось все таинственное и холодное прошлое его жизни—и поспѣшилъ вернуться въ Россію, гдѣ его ждала новая жизнь.

Чувство глубокой и свѣтлой радости охватило его, когда въ дымкѣ яснаго морознаго утра разглядѣлъ онъ покрытыя серебрянымъ инеемъ деревья своего стараго сада, гдѣ провелъ онъ дѣтство. Его встрѣтила жена—бодрая и свѣтлая, встрѣтили дѣти, встрѣтили самые близкіе, дорогіе люди—отецъ Николай со своею счастливой, преображенной Настей. Онъ очутился въ мірѣ любви и счастья—и снова потекла жизнь его, отданная на вѣки всѣмъ, кому онъ былъ нуженъ. А нуженъ онъ былъ многимъ, и много было въ немъ силъ для всякой помощи ближнимъ...

Годы проходятъ, люди умираютъ, имена ихъ забываются. Но дѣла людей никогда не проходятъ, не умираютъ, и плоды добрыхъ дѣлъ вѣчно, вѣчно питаютъ человѣчество. Этими плодами живы народы... Никому не приходитъ на мысль, вкушая сочный, душистый плодъ, утоляющій голодъ и жажду, допытываться, кто былъ садовникъ, кинувшій доброе зерно въ добрую почву, берегшій и холившій первые ростки его и слѣдившій за развитіемъ дерева, плоды котораго должны были увидѣть лишь послѣдующія поколѣнія. Такъ и съ добрымъ дѣломъ человѣка. Далеко не всегда, конечно, но часто, гораздо чаще, чѣмъ это можетъ сразу казаться, истинные благодѣтели человѣчества, сѣятели того вѣчнаго добра, которымъ живы народы,—остаются неизвѣстными. Да они и не ищутъ преходящей земной славы, ибо нѣтъ въ нихъ гордости.

Герои моего разсказа были такими людьми. Прошли года, они умерли, имена ихъ забылись. Но дѣла ихъ живой любви вѣчно живы... На смѣну этимъ забытымъ людямъ приходили,

приходятъ и будутъ приходить новые носители великой тайны счастія. Тайна эта—живая, дѣятельная любовь, безъ которой человѣкъ, со всѣми своими знаніями, силами и талантами, со всей своей властью и могуществомъ—ничто...

Мой разсказъ конченъ, и мнѣ покуда нечего къ нему прибавить. Это не сказка. Это, во всякомъ случаѣ, не болѣе сказка, чѣмъ любой романъ изъ современной намъ жизни, носящій на себѣ всѣ признаки повседневной дѣйствительности...

Но пусть даже это и сказка! Я разсказалъ эту сказку не для любителей «легкаго» чтенія, помогающаго убивать скуку. Я поднялъ въ ней, какъ могъ и какъ умѣлъ, не праздные вопросы. Я вложилъ въ нее сердце и душу. И, несмотря на всѣ свои несовершенства, мой трудъ не погибнетъ. Онъ всегда, среди грубаго непониманія или злонамѣреннаго искаженія моихъ мыслей, найдетъ сердца и души, которыя громко откликнутся на призывъ мой и поймутъ меня.

Конецъ.

Вс. С. СОЛОВЬЕВЪ.

ХРОНИКА ЧЕТЫРЕХЪ ПОКОЛѢНІЙ.

ИЗГНАННИКЪ

РОМАНЪ ПЯТИДЕСЯТЫХЪ ГОДОВЪ XIX ВѢКА.

ВЪ ДВУХЪ ЧАСТЯХЪ.

Продолженіе романовъ «СЕРГѢЙ ГОРБАТОВЪ», «ВОЛЬТЕРЬЯНЕЦЪ» и «СТАРЫЙ ДОМЪ».

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
ИЗДАНІЕ Н. Ѳ. МЕРТЦА.
1904.

Дозволено цензурою. С.-Петербургъ, 16-го декабря 1903 года.

Типографія Т-ва «Народная Польза». Спб., Коломенская 39, соб. д.

ИЗГНАННИКЪ

РОМАНЪ ВЪ ДВУХЪ ЧАСТЯХЪ.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

I.

Лѣсовикъ.

По живописной просѣкѣ вѣкового Горбатовскаго парка, что было духу, бѣжали двое маленькихъ крестьянскихъ ребятишекъ—мальчикъ и дѣвочка. Оба они ревѣли благимъ матомъ. Выгорѣвшіе отъ солнца, разноцвѣтные ихъ волосы въ безпорядкѣ падали на загорѣлыя лица, выражавшія безпредѣльный ужасъ. Въ рукахъ у ребятишекъ были кошолки, почти верхомъ наполненныя сочною, спѣлой земляникой. Кошолки тряслись, ягоды то и дѣло сыпались, но перепуганныя дѣти не замѣчали этого.

«А-у!»—раздалось въ чистомъ воздухѣ безоблачнаго лѣтняго утра, и, наперерѣзъ имъ, изъ-за старыхъ сосенъ вышла здоровая, румяная дѣвка тоже съ кошолкой, наполненной ягодами; Завидя ребятишекъ, она крикнула:

— Фенька!.. Митька!.. и куда это вы, оголтѣлые, запропали?.. Аукалась, аукалась—хоть-бы разокъ откликнулись... Гляньте-ка—солнышко гдѣ!.. Видно, подзатыльниковъ захотѣлось... Мамка-то не похвалитъ...

Но тутъ она разслышала ихъ ревъ, разглядѣла ихъ красныя, сморщенныя въ гримасу ужаса лица.

— Ну чего, чего вы?—заботливо произнесла она.

Мальчикъ карапузъ хотѣлъ было остановиться, да со всего разбѣгу попалъ на большую кочку и растянулся. По счастью, ягоды уцѣлѣли, не разсыпались. Онъ заревѣлъ еще пуще. Дѣвочка, между тѣмъ, подбѣжала къ старшей сестрѣ и судорожно охватывала ее ручонками.

— Да съ чего это вы такъ испужались?—говорила та.—Гнался за вами кто, что-ли,—звѣрь... волкъ?..

[illegible] —наконецъ, оста-
[illegible] запищали въ
[illegible] къ бар-
[illegible]
[illegible] глаза ровно
[illegible]
[illegible] закрестив-
[illegible] и глазищами
[illegible] много-ли
[illegible]
[illegible] и старшей
[illegible] «бѣ-
[illegible] всѣ трое побѣ-
[illegible] изъ-за вы-
[illegible]
[illegible] человѣкъ съ
[illegible] преслѣдовать
[illegible] онъ ласково
[illegible] съ ревомъ
[illegible] и тотчасъ-же
[illegible] скорымъ ша-
[illegible] Въ немъ не
[illegible] нисколько.
[illegible] и на мелкія
[illegible] не казался
[illegible] у молодого че-
[illegible] движенія показы-
[illegible] высокіе дорожные
[illegible] его все еще
[illegible] скрывала его лобъ и
[illegible] на безоблач-
[illegible] то здѣсь, изъ-за гу-
[illegible] свѣтлые глаза его, пока-
[illegible] мягко и привлекательно.

Онъ былъ [illegible] бодрый старикъ, той особенной [illegible] которая все увеличивается съ годами и можетъ быть только отблескомъ разумной жизни, полной трудовъ и испытаній и не помраченной ни однимъ упрекомъ совѣсти.

Достигнувъ конца просѣки, старикъ остановился и оглядѣлся, потомъ свернулъ въ сторону и скоро вышелъ въ ту часть парка, гдѣ слѣды запустѣнія бросались еще больше въ глаза.

Когда-то утрамбованныя и посыпанныя краснымъ пескомъ дорожки теперь заросли травой. Вычурные мостики, перекинутые черезъ канавы, всѣ покосились. Много лѣтъ нечищенные пруды покрылись тиной. Густая зелень безпорядочно обвивалась вокругъ бесѣдокъ и почти совершенно ихъ скрывала. Бѣлыя мраморныя статуи мѣстами совсѣмъ почернѣли, обломились и носили на себѣ слѣды многихъ непогодъ. Давно, давно никто не заглядывалъ въ этотъ старинный паркъ, никто его не поддерживалъ. Хозяина не было и никто не зналъ даже явится-ли когда-нибудь хозяинъ. Теперь здѣсь хозяйничали только разныя насѣкомыя, птицы, да мелкіе звѣрки, расплодившіеся въ великомъ множествѣ. Зимою, иногда, забѣгали сюда изъ лѣса волки, а лѣтомъ иной разъ забредали деревенскіе ребятишки, да и то ненарокомъ, и постоявъ разинувъ рты передъ какой-нибудь статуей, спѣшили скорѣе назадъ въ лѣсъ, боясь, что вотъ, вотъ ихъ кто-нибудь накроетъ въ этомъ давно покинутомъ, но все-же запретномъ барскомъ паркѣ.

Обогнувъ большой прудъ, старикъ поднялся на живописный холмикъ. Здѣсь, подъ могучими, темными вѣтвями дуба, еще уцѣлѣла ветхая скамья. Онъ сѣлъ на нее, снялъ шляпу и долго глядѣлъ вокругъ себя, переводя глаза съ одного предмета на другой. Глаза его вдругъ померкли, тихая одинокая слеза скатилась по щекѣ. Голова опустилась. Непослушная прядь густыхъ бѣлыхъ волосъ скользнула на лицо.

Отсюда, съ этого холма, было видно многое. На далекое разстояніе за прудомъ шла зеленая поляна, и въ ея глубинѣ виднѣлась, озаренная яркимъ солнцемъ, часть фасада бѣлаго стариннаго дома.

Все здѣсь, въ этой живописной картинѣ, было до мельчайшихъ подробностей знакомо старику. Но онъ почти не узналъ этихъ съ дѣтства милыхъ предметовъ, хоть они и нерѣдко грезились ему въ теченіе всей жизни, среди совсѣмъ иной обстановки. Да, онъ не узналъ. Онъ покинулъ эти мѣста почти юношей, и они сохранились въ его памяти во всемъ блескѣ своей былой красоты, изукрашенной и позлащенной всѣмъ яркимъ свѣтомъ юныхъ впечатлѣній.

Когда, въ былые годы, онъ забирался на этотъ холмъ и отдыхалъ на этой самой скамьѣ, все, что его окружало, казалось ему такимъ огромнымъ, величественнымъ, почти волшебнымъ. Этотъ паркъ былъ тогда для него безконечнымъ. Теперь-же все явилось передъ нимъ въ уменьшенномъ видѣ—размѣры совсѣмъ измѣнились.

Вѣдь, вотъ, бывало, этотъ прудъ казался чуть не моремъ. Поляна уходила далеко, далеко, а бѣлый домъ виднѣлся будто на краю свѣта. И этотъ дубъ,—а, вѣдь, онъ еще какъ разросся съ

тѣхъ поръ!—этотъ дубъ уходилъ въ самое небо... Да, все стало меньше, мельче, все потеряло свой волшебный свѣтъ, а самъ онъ, сухой маленькій старикъ, какъ выросъ!

Онъ вдругъ почувствовалъ себя теперь великаномъ, среди этой, бывало, подавлявшей его величіемъ картины.

Но эти первыя ощущенія скоро замѣнились другими.

Болѣе тридцати лѣтъ прошло съ тѣхъ поръ, какъ онъ въ послѣдній разъ былъ здѣсь.

Жизнь била ключемъ тогда и получала новый смыслъ, и казалось, конца не будетъ этой жизни... все впереди свѣтло такъ было и радостно. Онъ завершилъ тогда двухлѣтней заграничной поѣздкой свою юность. На многое открылись глаза, исчезло много самообмановъ. И, наконецъ, явилась давно жданная любовь, произошла встрѣча съ суженой, которую онъ, фантазеръ и мистикъ, ждалъ долгіе годы, которую онъ, при исключительныхъ обстоятельствахъ, узналъ и намѣтилъ себѣ еще ребенкомъ. Фантастическія грёзы превратились въ дѣйствительность. И онъ пріѣхалъ тогда сюда, въ родное Горбатовское, для свиданія съ отцомъ и матерью...

Ему казалось теперь, что это было такъ недавно. Онъ забылся на мигъ и представилось ему, что вотъ онъ встанетъ съ ветхой скамейки, обойдетъ прудъ и найдетъ все точно такъ, какъ было тогда.

И онъ, этотъ сѣдой старикъ, въ которомъ никто бы не узналъ Бориса Сергѣевича Горбатова, быстрымъ, молодымъ шагомъ спустился съ пригорка и поспѣшилъ къ издали бѣлѣвшемуся дому.

Это былъ почти бредъ.

Онъ не замѣчалъ, что когда-то широкая дорожка, огибавшая прудъ, теперь превратилась въ узенькую тропинку, да и та уже заростала травою. Онъ все спѣшилъ, спѣшилъ. Вотъ сейчасъ откроется передъ нимъ обширный цвѣтникъ, весь пестрѣющій разнообразными, искусно сгруппированными куртинами цвѣтовъ. Мигъ—и онъ услышитъ ласковый голосъ:

«Борисъ, ты рано вышелъ сегодня утромъ, а я думала погулять вмѣстѣ съ тобою»...

Кто говоритъ это? Мать!

Онъ видитъ ее, высокую, прекрасную старуху, съ ясными глазами, съ такой улыбкой, какая только и можетъ быть у матери. Онъ чувствуетъ ея милое прикосновеніе.

А вотъ и отецъ въ своемъ старомодномъ костюмѣ, въ неизбѣжныхъ чулкахъ и башмакахъ съ красными каблуками. Вотъ младшій братъ Владиміръ, высокій, полный, въ щегольскомъ мундирѣ гвардейскаго офицера, съ полузакрытыми по привычкѣ глазами, съ вѣчной, полупрезрительной улыбкой. Дальше—гра-

ціозная фигурка хорошенькой женщины съ манерами капризнаго ребенка, съ птичьимъ выраженіемъ въ лицѣ, съ тоненькимъ голоскомъ—это Катринъ, жена брата. Тутъ-же, въ цвѣтахъ, окруженный нянъками, играетъ толстенькій, прелестный ребенокъ и смѣется, заливается безпричиннымъ смѣхомъ, пускаетъ пузыри пухлыми губками и тянетъ къ нему свои ручонки...

Мигъ—и нѣтъ никого.

Онъ остановился, оглядѣлся: гдѣ-же эти пестрыя клумбы съ причудливо извивавшимися между ними ярко-желтыми дорожками, гдѣ эти фонтаны? Пустырь!

Долго онъ стоялъ, не трогаясь съ мѣста и, мало-по-малу, опять забывалъ дѣйствительность, и опять жилъ въ прошедшемъ.

Да, новая жизнь начиналась: борьба съ любимой невѣстой, еще большей фантазеркой, чѣмъ онъ, была, однако, не трудна. Они въ Петербургѣ. Всѣ сомнѣнія исчезли, всѣ недоразумѣнія окончены. Его бѣдная Нина, точно такъ-же, какъ и онъ, ждавшая его съ дѣтства, уже не предлагаетъ ему выдуманную ею сначала какую-то «ангельскую любовь», она поняла свои заблужденія...

Она вышла изъ-подъ вреднаго вліянія Татариновой и ея секты. Она согласна быть его женой. Отецъ и мать не выставляютъ никакихъ препятствій. Свѣтъ толкуетъ о mésalliance'ѣ; но какое ему дѣло до мнѣнія свѣта? Онъ счастливъ...

А между тѣмъ, обстоятельства не позволяютъ ему жить этимъ счастьемъ: въ семьѣ происходитъ драма—онъ случайно открываетъ измѣну жены брата... Съ другой стороны, пріятели стараются завербовать его въ члены тайнаго общества... Заговоръ зрѣетъ... Смерть императора Александра I помогаетъ заговорщикамъ... Несчастный бунтъ «четырнадцатаго декабря»... Имя Горбатова произнесено, онъ замѣченъ на площади въ числѣ главныхъ мятежниковъ... Его арестуютъ... и при обыскѣ попадается переданный ему братомъ портфель съ бумагами, относящимися до дѣятельности «общества». Братъ не выручаетъ—молчитъ. Невинный человѣкъ въ крѣпости. Но онъ не можетъ выдать своего родного брата, не можетъ положить пятна на честное и знаменитое родовое имя...

Приговоръ произнесенъ—Борисъ Горбатовъ въ Сибири, на каторгѣ. Но Сибирь и каторга, эти ужасныя слова, казавшіяся хуже смертнаго приговора, оказываются вовсе не ужасными.

Тамъ, въ далекой и дикой странѣ, началась новая жизнь, только тамъ было приготовлено ему истинное счастье. Онъ не одинъ,— съ нимъ всѣ, кто ему дорогъ. Къ нему спѣшитъ его невѣста...

Старикъ опять на мгновеніе пришелъ въ себя и опять осмотрѣлся. Но бывшій роскошный цвѣтникъ, превратившійся въ пустырь, теперь ничего не сказалъ ему...

И когда онъ снова ушелъ отъ дѣйствительности, передъ нимъ ясно, ясно мелькнуло зданіе острога въ Читѣ, убогая острожная церковка... Онъ вѣнчается съ Ниной. Глубокое, тихое счастье наполняетъ его душу... Глазами, полными благодарныхъ слезъ, глядитъ онъ на блѣдное лицо своей невѣсты и не слышитъ какъ глухо звенятъ его кандалы...

Проходитъ время. Каторга... Но развѣ это каторга, когда онъ можетъ часто, часто видѣться съ нею, съ дорогой женою, въ маленькомъ уютномъ домикѣ возлѣ острога, гдѣ она живетъ со своей, обожающей ее, родственницей, княгиней Маратовой?

Развѣ это каторга, когда и старики Горбатовы пріѣзжаютъ въ Сибирь и проводятъ возлѣ сына не мало времени?..

Дружная огромная семья политическихъ ссыльныхъ и ихъ самоотверженныхъ женъ; среди дикой природы колонія прекрасныхъ и умныхъ людей, отрезвившихся послѣ тяжелаго урока жизни—развѣ это каторга?

Съ нею было тяжело разставаться, съ этой каторгой, когда были сняты кандалы, когда дружная семья стала разбредаться по безконечному пространству Сибири. Было не мало тоски при прощаніи съ вѣрными друзьями дорогой неволи. И эта неволя не подорвала силы — она создала людей твердыхъ, спокойно и честно глядящихъ на жизнь, безъ ропота принимающихъ свою долю...

Старикъ опустилъ голову и тихо направился къ дому.

Солнце уже высоко поднялось и начинало печь. Кругомъ стояла невозмутимая тишина—ни звука, ни шороха...

Среди этого безмолвія и безлюдья еще унылѣе бросалось въ глаза запустѣнье давно покинутой огромной барской усадьбы. Казалось—все вымерло.

Старикъ вздрогнулъ, сердце его заныло. Ему опять слышались въ этой тишинѣ милые голоса, ему опять виднѣлись дорогія лица.

Да гдѣ-же они—гдѣ?

Всѣ умерли, никого не осталось... вся жизнь прошла!..

Зачѣмъ-же, получивъ вѣсть о новой свободѣ, онъ такъ спѣшилъ сюда? Зачѣмъ такъ тревожно билось его уставшее сердце.

Неужели дѣйствительно уже никого нѣтъ? Неужели прошла жизнь? Да когда-же это она успѣла пройти?

И эти долгіе, долгіе годы показались ему сномъ, и показалось ему, что онъ заснулъ здѣсь и только теперь проснулся.

Но къ чему-же это пробужденіе, если все было сонъ, если вмѣстѣ съ этимъ сномъ ушли всѣ они, всѣ, кого онъ любилъ?.. Зачѣмъ было пробуждаться.

И вмѣстѣ съ этимъ онъ чувствовалъ въ себѣ силу и бодрость. Онъ чувствовалъ, что живетъ, и ничто въ немъ не указывало на болѣзнь и дряхлость.

Зачѣмъ-же жить? Для кого жить? Кого любить?

Никого нѣтъ... все пусто кругомъ... все тихо... Никто не встанетъ изъ могилы... Ни чей дорогой, ласкающій голосъ не скажетъ наяву: «ты прошелъ тяжелую, долгую школу, ты вынесъ всѣ испытанія... Ты сохранилъ еще бодрость и силы... Ты на родинѣ, свободенъ, богатъ... еще впереди много безмятежныхъ дней... впереди счастливая старость!..»

Никто не скажетъ! Никто не вернется... Все тихо... Все умерло... Все прошло...

Одинъ... одинъ!..

Еще ниже склонилась голова старика, и тихія слезы, катясь одна за другою изъ глазъ, мочили его длинную, серебряную бороду...

II.

Итоги.

Жутко бываетъ человѣку, оглянувшись назадъ и замѣтивъ какъ быстро идетъ время и жизнь, рѣшить, что тридцать лѣтъ— много, много времени. А между тѣмъ это такъ, и не мудрено, что въ продолженіе тридцати лѣтъ большія перемѣны произошли въ семьѣ Горбатовыхъ; не мудрено, что въ это время выросло и созрѣло новое поколѣніе, а прежнее сошло въ могилу.

Бываетъ счастливый родъ, члены котораго наслѣдуютъ отъ предковъ долголѣтіе.

Люди видятъ своихъ дѣтей, внуковъ и правнуковъ и умираютъ тогда, когда уже становится тяжело жить, когда отъ жизни взято все, что только можетъ дать она. Но такихъ людей встрѣчается все меньше и меньше, даже въ самыхъ издавна отличавшихся долголѣтіемъ фамиліяхъ сокращается срокъ жизни. Причинъ этому много...

Родъ Горбатовыхъ и въ прежнія времена не отличался долголѣтіемъ.

Изъ исторіи мы знаемъ только одного Горбатова временъ царя Ивана Грознаго, который дожилъ до глубокой старости. Другъ Петра III, Борисъ Григорьевичъ Горбатовъ, умеръ пятидесяти съ небольшимъ лѣтъ, несмотря на замѣчательную крѣпкую природу и сложеніе.

Сынъ его, Сергѣй Борисовичъ, никогда не отличался особой крѣпостью и послѣ испытаній, пережитыхъ имъ въ молодости, и конечно, сильно повліявшихъ на его здоровье, поддерживалъ себя только правильной деревенской жизнью. Если-бы эта тихая, однообразная и спокойная жизнь безъ особыхъ радостей, но и безъ горя, могла продолжаться, онъ, вѣроятно, достигъ-бы счастливой старости.

Но это не было ему суждено.

Человѣкъ сердечный и впечатлительный, онъ плохо перенесъ несчастье своего любимаго сына Бориса. Годъ слѣдствія надъ декабристами состарилъ его на много лѣтъ. Вернувшись изъ поѣздки въ Сибирь къ сыну, онъ почувствовалъ всѣ недуги старости и не могъ уже больше оправиться. Въ своемъ родномъ и миломъ Горбатовскомъ, среди любимой обстановки, напоминавшей ему хотя тревожные, но все-же лучшіе годы жизни, окруженный своими неизмѣнными старыми друзьями-книгами—онъ медленно угасалъ, самъ того не замѣчая.

По временамъ онъ еще строилъ планы, что вотъ по веснѣ, когда немного окрѣпнетъ, снова поѣдутъ они съ женою въ Сибирь къ Борису и Нинѣ. Но скоро уже и эти планы стали забываться, объ нихъ не говорилось больше.

Татьяна Владиміровна Горбатова, крѣпкая, выносливая женщина, ни на шагъ не отходила отъ больного мужа. Онъ угасалъ, но былъ спокоенъ, его сердце устало, настолько устало, что переставало сильно чувствовать, безразлично ко всему относилось. Ея сердце устало не меньше, а между тѣмъ продолжало жить горячей, мучительной жизнью. Положимъ, ударъ, нежданно ее поразившій, когда арестовали Бориса, не сломилъ ее, и она теперь видѣла, что несчастье не было еще такъ велико. Она судила по-своему, глядѣла на вещи глубоко и ясно, и послѣ поѣздки въ Сибирь не разъ повторяла себѣ, что все случилось для Бориса, можетъ быть, и къ лучшему, что пути Провидѣнія неисповѣдимы и, кто знаетъ, былъ-ли бы онъ счастливѣе, еслибы остался свободнымъ, въ обществѣ. Во всякомъ случаѣ, она знала, что онъ не одинокъ, что возлѣ него хорошая и любящая жена и друзья. Но все-же это сознаніе не мѣшало материнскому сердцу обливаться кровью въ разлукѣ съ сыномъ, хоть и не въ этомъ было ея главное несчастье.

Пуще всего ее мучила теперь семейная жизнь другого сына. И хотя отъ нея было скрыто многое, но она почти подозрѣвала истину, отгоняла отъ себя эти мысли, но все-же невольно подозрѣвала. Невѣстка была безнадежна. Теперь она уѣхала опять за границу съ дѣтьми и живетъ тамъ уже второй годъ. Какъ живетъ, что тамъ дѣлаетъ—ничего неизвѣстно, пишетъ она рѣдко.

Сынъ Владиміръ въ Петербургѣ, продолжаетъ службу, которая ему очень удается. Какимъ образомъ онъ могъ отпустить жену, что между ними было — она даже не хочетъ его и спрашивать. Она чувствуетъ, что онъ ничего новаго ей не скажетъ.

Онъ пріѣзжалъ какъ-то въ Горбатовское не надолго. Онъ сдѣлался въ семьѣ еще болѣе нелюдимымъ, ни одного откровеннаго, сердечнаго разговора не было между ними. Въ немъ произошла большая перемѣна, онъ сталъ такой странный, мрачный. Сердце матери видѣло, что онъ очень несчастливъ, но ничѣмъ не могла она помочь ему, да онъ и не просилъ ея помощи.

Всего этого горя оказалось мало, пришло новое горе. Мужъ тяжко боленъ, и она видитъ, ясно видитъ, что онъ уже не встанетъ, что придется ей похоронить его.

И она не отходитъ отъ него ни на минуту, ловитъ каждый его взглядъ, прислушивается къ каждому его дыханью. Онъ безсиленъ, онъ плохо видитъ; но тяжко ему стало-бы, если-бы могъ онъ разглядѣть ея лицо въ иныя минуты. Такая скорбь выражается на этомъ прекрасномъ, старческомъ лицѣ. Только въ молитвѣ находитъ она отраду и почерпаетъ въ ней силу для этихъ мучительныхъ дней, для этихъ почти безсонныхъ ночей.

Проходятъ недѣли—больному не лучше, онъ видимо слабѣетъ. Доктора теряютъ всякую надежду. Иногда онъ начинаетъ жестоко страдать и она страдаетъ съ нимъ, страдаетъ вдвойнѣ.

Приходятъ послѣднія минуты. Онъ понялъ, наконецъ, что умираетъ. Сначала онъ возмутился при этомъ сознаніи. Но такое возмущеніе продолжалось недолго, оно прошло и смѣнилось спокойствіемъ. Онъ лежалъ въ полной памяти, страданія прекратились, только слабость была такая, что трудно было ему поднять руку, трудно было шевельнуть языкомъ.

Она сидѣла надъ нимъ безъ слезъ, не отрывая взгляда отъ его блѣднаго лица и его потухшихъ глазъ. Она уже не молила Бога о томъ, чтобы онъ сохранилъ ему жизнь, она понимала, что смерть — спасеніе.

Но какъ-же это онъ умираетъ? Тутъ было что-то такое, чего она не понимала, никакъ не могла постигнуть. Онъ умираетъ!..

И внезапно разгорѣвшимся пламенемъ вспыхнула въ ней вся ея любовь къ нему, та любовь, которой она отдала всю жизнь съ первыхъ дней своего отрочества.

Онъ умираетъ... онъ, бывшій счастьемъ и горемъ всей ея жизни, онъ, такъ долго жданный ею!

Во вторую половину ея жизни, въ долгіе годы тихаго семейнаго счастья, прежняя страсть мало-по-малу переставала говорить въ ней, съ годами и кровь остывала. А главное, являлись различные интересы, наполнявшіе жизнь—дѣти, судьба ихъ.

Иногда его какъ будто и совсѣмъ для нея не было. Не было его потому, что онъ и она—были одно, они жили одной жизнью, одними мыслями и чувствами...

Теперь онъ уходитъ, они разъединяются!..

И вся прежняя любовь, никогда не проходившая, никогда не уменьшавшаяся, но только невидная и неслышная, снова проявилась во всей своей силѣ, какъ будто вернулось прежнее время. Она опять любила его какъ въ молодые годы.

То-же самое обновленіе чувствъ передъ вѣчной разлукой происходило и въ немъ.

— Ближе ко мнѣ... ближе!.. Дай руку, Таня... — то и дѣло шепталъ онъ.

Проходили часы, слабость его увеличивалась.

— Таня! — вдругъ прошепталъ онъ: — я хочу исповѣдаться и пріобщиться, пригласи священника...

Она вся вздрогнула отъ неожиданности и изумленія. Она въ первую минуту просто не повѣрила ушамъ своимъ. Онъ сказалъ это, онъ, всю жизнь мучившій ее своимъ невѣріемъ!

Она поспѣшила исполнить его желаніе. Онъ слабо ей улыбнулся. Онъ зналъ, что большаго удовольствія не можетъ доставить ей въ эти печальныя минуты—и рѣшился доставить ей это удовольствіе.

Но во время исповѣди и причастія никогда неизвѣданное имъ благоговѣйное чувство сошло ему въ душу. Какъ будто тяжесть спала съ его плечъ, тоска исчезла. Онъ не въ силахъ уже былъ разсуждать и анализировать своихъ ощущеній, онъ просто предавался имъ.

Когда священникъ ушелъ, и Татьяна Владиміровна склонилась къ нему и поздравила его, всѣми силами удерживая подступавшія слезы, онъ изъ глубины сердца шепнулъ ей:

— Теперь мнѣ хорошо... хорошо...

Онъ задремалъ.

Прошло нѣсколько часовъ. Вдругъ онъ открылъ глаза и слабо сжалъ руку жены...

— Прощай, Таня!—разслышала она.—Прощай... не печалься... мнѣ хорошо... прости меня... я много горя причинилъ тебѣ... но, вѣдь, ты знаешь, какъ я всегда любилъ... какъ я люблю тебя... Вѣдь, мы хорошо... мы дружно прожили съ тобою, Таня...

Онъ хотѣлъ еще сказать что-то, но замолчалъ и сталъ забываться. Онъ уже ничего не видѣлъ, или, вѣрнѣе, видѣлъ очень многое. Время отъ времени онъ произносилъ имена сыновей, валъ ихъ, говорилъ съ ними... и потомъ опять звалъ ее.

— Таня!.. сюда... ближе!.. ближе... видишь, какъ хорошо... пойдемъ вмѣстѣ...

Голосъ его совсѣмъ замеръ. Онъ глубоко вздохнулъ, потомъ слабо простоналъ. Началась агонія.

Она сидѣла неподвижно, съ застывшимъ лицомъ, держа въ рукахъ его холодѣющую руку. Когда эта рука совсѣмъ остыла, когда она почувствовала, что все уже кончено, она тихо поднялась, перекрестила и поцѣловала своего друга, закрыла ему глаза, опустилась на колѣни, и долго, безъ слезъ и рыданій, но всей силой своей вѣры и своей любви молилась.

Никто не смѣлъ подойти и ее потревожить.

Наконецъ, она встала съ колѣнъ, еще перекрестила и поцѣловала усопшаго, а потомъ твердымъ голосомъ стала дѣлать распоряженія.

Но стоило только взглянуть на ея преобразившееся лицо — и каждому ясно становилось ея безысходное горе. Да, это было безысходное горе, хотя никто не услышалъ отъ нея ни одной жалобы.

Ея жизнь была кончена.

Черезъ полгода она поѣхала въ Сибирь къ сыну и невѣсткѣ. Они съ трудомъ ее узнали—это была дряхлая, больная старуха. Она уже не жила, она только спокойно и терпѣливо ждала смерти. Черезъ два года она умерла, завѣщавъ перевезти ея тѣло въ Горбатовское и похоронить въ родномъ склепѣ рядомъ съ могилой мужа.

По окончаніи срока каторги, значительно для него сокращеннаго, Борисъ Горбатовъ былъ переведенъ на поселеніе въ одинъ изъ самыхъ живописныхъ уголковъ юго-западной Сибири. Онъ устроился съ женой и княгиней Маратовой, совсѣмъ забывшей о Петербургѣ ради своей обожаемой воспитанницы, въ просторномъ, выстроенномъ ими домѣ. Большія денежныя средства, находившіяся въ рукахъ Нины, а также состояніе княгини— давали имъ возможность устроить даже и въ этой дикой странѣ такую обстановку, какая была имъ по вкусу.

Скоро Борисъ Сергѣевичъ и его семья сдѣлались самыми извѣстными и уважаемыми людьми въ этой мѣстности. Не говоря уже о томъ, что каждый прибывавшій изъ Россіи или проѣзжавшій спѣшилъ въ домъ Горбатовыхъ, гдѣ всегда находилъ радушный пріемъ и удобства европейской жизни, но даже окрестные инородцы полюбили добраго русскаго барина и шли къ нему за помощью и за совѣтомъ. Онъ самъ полюбилъ этихъ полудикихъ сыновъ Азіи, заинтересовался ихъ бытомъ, не жалѣлъ для нихъ денегъ и приносилъ имъ не мало пользы.

Однако, его близость съ инородцами и вообще вліяніе, полученное имъ въ краѣ, доставляли ему не мало непріятностей. Мѣстное начальство зорко за нимъ слѣдило и очень часто черезъ-

чуръ безцеремонно вмѣшивалось въ жизнь его. Если должностныя лица были порядочными людьми, они, конечно, ни въ чемъ не мѣшали Горбатову и были съ нимъ въ наилучшихъ отношеніяхъ. Но попадались люди непорядочные, люди, желавшіе показать свою власть, поломаться надъ этимъ знатнымъ и богатымъ человѣкомъ, который, тѣмъ не менѣе, все-же былъ «преступникомъ». Конечно, и этихъ людей ему легко было задобрить тѣми-же деньгами; но поступать такъ было не въ его правилахъ и онъ не разъ переносилъ большія непріятности. Онъ подвергался самымъ безсовѣстнымъ доносамъ, въ которыхъ его выставляли чуть-ли не возмутителемъ и пристанодержателемъ.

Однимъ изъ самыхъ лучшихъ его удовольствій была переписка съ друзьями, съ товарищами долгаго заточенія, разосланными теперь по Сибири и Кавказу. И вотъ начальствующія лица, желавшія сдѣлать ему непріятности, всячески тормозили эту переписку. Очень часто письмо, написанное къ человѣку, жившему за нѣсколько верстъ, шло сначала въ Петербургъ, разбиралось въ «третьемъ отдѣленіи» и затѣмъ возвращалось обратно, достигая по назначенію иной разъ не ранѣе какъ черезъ полгода, а часто и совсѣмъ теряясь по дорогѣ.

Несмотря, однако, на непріятности, жизнь Горбатовыхъ все-же шла хорошо. Въ семьѣ у нихъ было дружно и ладно. Мужъ и жена не могли наглядѣться другъ на друга и не могла на нихъ наглядѣться старуха Маратова. Скоро у Горбатовыхъ родился ребенокъ-мальчикъ, а затѣмъ черезъ два года и дѣвочка.

Борису Сергѣевичу стыдно было-бы пожаловаться на жизнь свою,—онъ былъ здоровъ, дѣятеленъ, о скукѣ не было и помину. Онъ любилъ всѣ проявленія жизни, все его интересовало, каждый новый годъ обогащалъ его знаніями. Онъ погрузился въ изученіе страны, гдѣ привелось ему жить. Одинъ предметъ увлекалъ его къ другому. Его мистицизмъ, стремленіе къ высшимъ загадкамъ и истинамъ человѣческаго духа потерпѣли крушеніе въ европейскомъ масонствѣ. Затѣмъ, перенесенное испытаніе и жизнь заставили его спуститься на землю. Но теперь, среди новой обстановки, въ немъ поднялись прежніе вопросы и онъ рѣшилъ, что, пожалуй, здѣсь, вблизи къ колыбели міра, онъ и найдетъ не мало отвѣтовъ.

Онъ ревностно принялся изучать восточные языки, азіатскую науку, входилъ въ сношенія съ учеными ламами и, наконецъ, достигъ того, что они признали его ученость даже въ азіатскомъ значеніи этого слова. Раскаиваться ему не пришлось; если на многіе вопросы еще и не было найдено отвѣта, то все-же онъ наталкивался на весьма интересныя явленія изъ области духа, существованія которыхъ онъ прежде и не подозрѣвалъ.

Такъ проходили годы.

Ему суждено было испить полную чашу семейнаго счастья и семейнаго горя. Сначала онъ съ женою похоронилъ горячо любимую ими княгиню Маратову, а затѣмъ и обоихъ дѣтей своихъ, умершихъ отъ азіатской холеры. Горе и навсегда оставшаяся тоска по дѣтямъ сломили и безъ того плохое здоровье Нины.

Это здоровье сдѣлалось теперь главной заботою Бориса Сергѣевича. Все, что можно было сдѣлать деньгами и человѣческимъ знаніемъ, было сдѣлано для поддержанія жизни Нины. Она «жила», хотя и страдая.

Но время брало свое, корень болѣзни не могъ быть вырванъ. Нина Александровна лишилась употребленія ногъ, и послѣднія пять лѣтъ своей жизни никто иначе не видалъ ее, какъ въ креслѣ на колесахъ, которое въ ясные, хорошіе дни возилъ Борисъ Сергѣевичъ по обширному саду, разбитому вокругъ ихъ дома.

Нина Александровна умерла пятидесяти лѣтъ, умерла отъ медленно развивавшагося въ ней истощенія силъ. Она не сознавала того, что умираетъ,—просто заснула, въ послѣдній разъ улыбнувшись мужу и слабо сжавъ его руку.

Онъ долженъ былъ призвать себѣ на помощь всю свою философію, всю свою мистическую вѣру, чтобы перенести этотъ ударъ, ожидаемый имъ многіе годы, но все-же казавшійся ему невозможнымъ.

III.

Младшая линія.

Владиміръ Горбатовъ послѣ смерти отца и матери получилъ половину ихъ огромнаго состоянія. Исполнилась даже его завѣтная мечта—къ нему перешелъ и великолѣпный петербургскій домъ. Служебные его успѣхи росли быстро: въ тридцать съ небольшимъ лѣтъ онъ былъ уже генераломъ и занималъ вліятельное и видное положеніе. Жизнь устроилась именно такъ, какъ онъ желалъ. Всѣ цѣли были достигнуты, всѣ тревоги должны были исчезнуть. Погубленный имъ братъ далеко, въ Сибири, и даже, какъ онъ зналъ, считаетъ себя счастливымъ. А если онъ счастливъ, такъ и смущаться нечего, совѣсть не должна упрекать, значитъ, все устроилось къ лучшему, значитъ, онъ ни въ чемъ не виноватъ.

А между тѣмъ, онъ, холодный и разсчетливый человѣкъ, привыкшій жить только ради себя, ставившій высшею задачею угожденіе своему честолюбію и грубымъ страстямъ,—онъ былъ очень несчастливъ среди успѣховъ и богатства.

Всѣ его старые пріятели, знавшіе его до двадцать-пятаго года, его просто не узнавали. Онъ сдѣлался мрачнымъ и нелюдимымъ, часто запирался у себя. Никто не слыхалъ его смѣха, даже его иронія, которую онъ любилъ выставлять на видъ, пропала. Такая перемѣна говорила въ его пользу и о немъ стали судить какъ о человѣкѣ, въ которомъ ошибались сначала, рѣшили, что онъ оказался гораздо сердечнѣе и глубже, чѣмъ о немъ думали.

«Этотъ человѣкъ сраженъ семейнымъ горемъ, на него страшно подѣйствовала ссылка въ Сибирь любимаго брата, смерть отца и матери, а главное,—жена, жена его убиваетъ!»

Но такое заключеніе было невѣрно.

Кромѣ враждебнаго чувства и зависти онъ никогда ничего не питалъ къ брату. Къ отцу и матери онъ относился равнодушно и еще за многіе годы до ихъ смерти разсчитывалъ на эту смерть и на ней строилъ различные планы.

Его томило и мучило нѣчто такое, чего онъ и самъ опредѣлить не могъ.

Съ того самаго дня какъ онъ предалъ брата, несмотря ни на что, онъ не имѣлъ покоя. Онъ придумалъ для себя и передъ самимъ собою большую защитительную рѣчь, постоянно повторялъ ее себѣ, оправдалъ себя, рѣшилъ, что это оправданіе справедливо,—а между тѣмъ не могъ успокоиться.

Братъ, хотя и счастливый въ своей далекой ссылкѣ, стоялъ передъ нимъ и не отходилъ прочь. И онъ боялся этого призрака пуще всего на свѣтѣ. Онъ много разъ начиналъ письмо брату, находилъ, что долженъ-же написать ему—и ни разу не имѣлъ силы докончить такого письма. Такъ ни одного письма и не послалъ онъ въ Сибирь.

Его ощущенія, его страданія можно выразить такъ: «онъ разлюбилъ себя». Онъ, прежде только и знавшій, что носиться съ собою и ставить себя на пьедесталъ, курить передъ собою ѳиміамъ, теперь тяготился собой, не заботился о себѣ. Все пришло, все есть, а между тѣмъ оказывалось, что ничего не нужно, что не стоитъ «онъ», этотъ идолъ, этотъ «я» того, чтобы съ нимъ такъ носиться, чтобы доставлять ему всякое удовольствіе. И вслѣдствіе этой все возроставшей отчужденности отъ себя, доходившей иногда просто до самоненависти, совсѣмъ измѣнился его характеръ. Теперь ему ни до чего не было никакого дѣла.

Жена и ихъ взаимныя отношенія его не мучили, онъ махнулъ на все это рукой, потому что прежняго самолюбія уже не было. Она была ему только противна и ея отсутствіе оказывалось все-таки утѣшеніемъ. Она широко пользовалась такой пе-

ремѣной въ характерѣ мужа и скоро онъ остался совсѣмъ одинъ въ своемъ огромномъ домѣ.

Катерина Михайловна почти безвыѣздно жила за границей. Она вытребовала для себя очень большую ежегодную сумму, которая ей аккуратно высылалась мужемъ, и онъ иногда почти по годамъ не имѣлъ о ней извѣстій.

Всѣ знали, что она тайно приняла католицизмъ, что она воспитываетъ дѣтей въ іезуитской школѣ. Сначала ея имя соединяли съ именемъ графа Щапскаго, потомъ возвращавшіеся изъза границы разсказывали, что Щапскій давно уже порвалъ съ нею, что она ведетъ самую безнравственную жизнь. Сожалѣли о дѣтяхъ.

Наконецъ, начали обвинять Владиміра Сергѣевича въ его безхарактерности.

«Если онъ ничего не можетъ сдѣлать съ женой, то, по крайней мѣрѣ, долженъ спасти дѣтей»...

Эти толки дошли до него.

Онъ сдѣлалъ надъ собою усиліе, вышелъ изъ обычной апатіи, написалъ женѣ рѣшительное письмо, заставившее ее пріѣхать въ Петербургъ.

Черезъ мѣсяцъ она уѣхала, но уже безъ дѣтей.

Дѣти стали воспитываться въ Петербургѣ.

Отецъ очень мало обращалъ на нихъ вниманія, на этихъ двухъ быстро выроставшихъ мальчиковъ. Они были отданы на руки наемнымъ воспитателямъ.

Тотъ прекрасный образъ семейной жизни и семейнаго воспитанія, который въ теченіе нѣсколькихъ поколѣній былъ присущъ семьѣ Горбатовыхъ, исчезъ безслѣдно. Эти бѣдныя дѣти, Сергѣй и Николай, имѣя отца и мать, были самыми жалкими круглыми сиротами.

Все больше и больше тяготясь собою и жизнью, потерявшей весь прежній смыслъ, Владиміръ Сергѣевичъ ни разу не остановился на мысли о дѣтяхъ. Ему и въ голову не приходило, что любовь къ дѣтямъ, забота о нихъ, исполненіе относительно нихъ своихъ обязанностей могутъ быть для него единственнымъ лѣкарствомъ, что, быть можетъ, дѣти примирятъ его и съ самимъ собою, и съ жизнью.

Онъ просто не находилъ въ себѣ отеческаго чувства. Общественное мнѣніе потребовало отъ него, чтобы онъ взялъ дѣтей къ себѣ—и онъ исполнилъ это требованіе. Они жили съ нимъ въ одномъ домѣ, ни въ чемъ не нуждались, воспитывались такъ, какъ воспитывались ихъ сверстники, принадлежащіе къ одному съ ними кругу—большаго никто отъ него не могъ требовать.

Онъ часто по цѣлымъ недѣлямъ не видалъ дѣтей, а когда

встрѣчался съ ними, ему становилось еще скучнѣе, еще тяжелѣе. Эти мальчики, всегда какъ-то затихавшіе и смущавшіеся при его появленіи, робко отвѣчавшіе на его вопросы, только раздражали его.

«Она пріучила ихъ меня ненавидѣть»,—думалъ онъ и спѣшилъ скорѣе прочь отъ нихъ.

Никто не пріучалъ ихъ его ненавидѣть, до своего пріѣзда они просто никогда о немъ не думали, потому что почти никогда о немъ не слыхали отъ матери.

Поселясь подъ однимъ съ нимъ кровомъ, они не знали, что онъ такое и какъ къ нему надо относиться.

Если-бы онъ захотѣлъ — конечно, они стали-бы глядѣть на него какъ на отца; но онъ не сдѣлалъ ни одной попытки къ сближенію съ ними. Они видѣли въ немъ совсѣмъ чужого человѣка, неразговорчиваго, мрачнаго, строгаго.

А между тѣмъ, этотъ чужой человѣкъ имѣлъ надъ ними права и власть, и они его боялись. Онъ никогда еще ни въ чемъ не поступилъ съ ними жестоко, но, несмотря на это, они оба почему-то были убѣждены, что онъ способенъ на всякую жестокость.

Ихъ гувернеры и учителя въ самыхъ крайнихъ случаяхъ выставляли его имя:

«Мы будемъ жаловаться вашему отцу, и вотъ тогда—увидите».

И никакія наказанія не дѣйствовали на мальчиковъ такъ, какъ эта фраза.

Если Владиміръ Сергѣевичъ мало обращалъ вниманія на этихъ дѣтей, жившихъ съ нимъ и носившихъ его имя, то, конечно, о другихъ своихъ дѣтяхъ, не носившихъ его имени, онъ уже совсѣмъ не думалъ. Такихъ дѣтей было у него нѣсколько, но онъ даже не зналъ, что сталось съ ними.

Изъ своихъ мимолетныхъ привязанностей онъ помнилъ только одну. Это была скромная молодая дѣвушка, съ которой онъ сошелся незадолго до своей женитьбы. Онъ имѣлъ отъ нея сына и навѣщалъ ее въ теченіе болѣе чѣмъ трехъ лѣтъ. Для него, въ дѣлахъ такого рода, была цѣлая вѣчность. Къ концу трехлѣтняго срока его посѣщенія скромнаго домика на Васильевскомъ Островѣ сдѣлались весьма рѣдки. Ему стали надоѣдать и мать, и ребенокъ. Вѣроятно, прошло-бы нѣсколько мѣсяцевъ—и несчастная соблазненная имъ женщина была-бы имъ совсѣмъ забыта. Но тутъ случилось нѣчто непредвидѣнное.

Какъ-то разъ Владиміръ Сергѣевичъ заѣхалъ въ скромный домикъ и никого не нашелъ въ немъ: его возлюбленная съ ребенкомъ неизвѣстно куда скрылась. Она оставила ему записку, гдѣ говорила, что хотя очень поздно, но, наконецъ, поняла свое

заблужденіе, а главное—поняла «его», такъ какъ узнала о такихъ его поступкахъ, послѣ которыхъ не хочетъ имѣть съ нимъ ничего общаго. Она вымолила прощенье у своихъ родныхъ и уѣзжаетъ къ нимъ—куда?—ему нечего объ этомъ заботиться. Но она проситъ его объ одномъ: забыть про ея существованіе и про существованіе ребенка...

Владиміръ Сергѣевичъ вознегодовалъ. Не онъ бросилъ, а его бросили.

И вмѣстѣ съ этимъ онъ вдругъ почувствовалъ въ себѣ что-то такое, какъ-будто даже нѣкоторую страстную нѣжность къ этой покинувшей его женщинѣ. За минуту передъ тѣмъ онъ думалъ о ней равнодушно и холодно, теперь-же, по прочтеніи ея письма, ему показалось; что она нужна для него..

«Что за вздоръ! Къ чему это? Она должна вернуться!»—властно и рѣшительно, по своей привычкѣ, твердилъ онъ себѣ.

Онъ сталъ наводить справки—гдѣ она,—и ничего не узналъ. Цѣлый годъ онъ нѣтъ, нѣтъ—да и возвращался къ мыслямъ о ней и продолжалъ наводить свои безуспѣшныя справки. Но въ концѣ-концовъ и на это дѣло махнулъ рукою...

Между тѣмъ, его терпѣніе въ борьбѣ съ нелюбовью къ самому себѣ и отвращеніемъ къ жизни — истощилось. Подошло военное время, началась венгерская компанія. Владиміръ Сергѣевичъ попросился на театръ военныхъ дѣйствій.

Всѣ его сослуживцы въ одинъ голосъ свидѣтельствовали, что онъ выказывалъ въ самыхъ горячихъ дѣлахъ большую храбрость, хотя это и не была истинная храбрость героя, а просто исканіе смерти.

Онъ нашелъ то, чего искалъ. Онъ палъ въ жаркомъ дѣлѣ, впереди русскихъ солдатъ и въ послѣднюю минуту, смертельно раненый, пересиливая тяжкія страданія, чувствовалъ себя счастливымъ—онъ, наконецъ, пересталъ себя ненавидѣть и успокоился...

Въ это время молодые Горбатовы не только уже имѣли свои семьи, но старшій, Сергѣй Владиміровичъ, женившись очень рано, успѣлъ даже овдовѣть.

При жизни отца они считали себя людьми очень богатыми; но разобравшись въ наслѣдствѣ, увидѣли, что ошибались. Владиміръ Сергѣевичъ, тяготясь жизнью и думая только о томъ, какъ-бы забыться, въ послѣдніе годы особенно сильно предался своей страсти къ картамъ.

Уже послѣ смерти отца, получивъ наслѣдство, онъ долженъ былъ выплатить огромные долги, сдѣланные имъ въ молодости. А умирая, онъ оставилъ новымъ представителямъ рода Горбатовыхъ настолько запутанное состояніе, что его трудно было и распутать. Имѣнія были давно заложены, то и дѣло оказыва-

лись новые долги. Между тѣмъ и Сергѣй, и Николай не взяли особенно большого приданаго за своими женами.

Узнавъ о смерти мужа, пріѣхала изъ-за границы Катерина Михайловна для того, чтобы получить свою законную часть наслѣдства. Когда выяснилась сумма этой законной части—она пришла въ ужасъ. У нея тоже было не мало долговъ и, за покрытіемъ ихъ, средствъ оказывалось вовсе недостаточно для такой жизни, какую она привыкла вести. Она сочла за лучшее остаться въ Россіи, и послѣ объясненія съ сыновьями, поселилась въ Горбатовскомъ домѣ.

Сергѣй и Николай служили въ гвардейскихъ полкахъ, но ни тотъ, ни другой до сихъ поръ не дѣлали блестящей карьеры.

Вообще Катерина Михайловна убѣдилась, что все теперь ужъ не то, какъ было въ годы ея молодости. Общество измѣнилось, прежнія отношенія порваны, домъ обветшалъ... нужно начинать все снова.

Она не боялась того, что ея безпорядочная жизнь можетъ ей въ чемъ-нибудь повредить. Стоитъ только обновить старый великолѣпный домъ, дать нѣсколько блестящихъ баловъ—и все вернется, весь Петербургъ у нея будетъ.

Она такъ и расчитывала.

Но вотъ оказывается настолько сильное разстройство дѣлъ, что прежняго образа жизни вести нельзя. А главное, ужъ и въ обществѣ ходятъ толки о томъ, что Горбатовы разорены.

Во что-бы ни стало нужно заставить замолкнуть эти толки — il faut faire bonne mine au mauvais jeu. Годъ, другой можно будетъ еще вывернуться, а тамъ остается одна послѣдняя надежда: Сергѣй овдовѣлъ, его нужно женить на очень богатой дѣвушкѣ, состояніе которой могло-бы помочь поддерживать блескъ падающаго дома.

И она стала заботиться объ этомъ, стала высматривать для сына богатую невѣсту.

Черезъ два года ей удалось достигнуть цѣли — Сергѣй Владиміровичъ женился на прелестной и молоденькой княжнѣ Засѣцкой, круглой сиротѣ, только что выпущенной изъ Смольнаго института.

Положимъ, княжна принесла мужу не Богъ вѣсть какое состояніе, всего съ небольшимъ полмилліона, но у нея были самыя блестящія надежды въ будущемъ: она была единственной наслѣдницей очень богатыхъ и старыхъ дядей и тетокъ. А полмилліона, получаемые Сергѣемъ Владиміровичемъ изъ рукъ въ руки въ безконтрольное распоряженіе, давали возможность значительно очистить дѣла и продержаться до полученія перваго наслѣдства...

Съ ранней весны до глубокой осени Горбатовы жили въ Знаменскомъ имѣніи,—сосѣднемъ съ Горбатовскимъ,—и это значительно сокращало ихъ расходы.

Такимъ образомъ семья состояла теперь изъ: Катерины Михайловны, Сергѣя, его второй жены и четырехъ маленькихъ дѣтей отъ перваго брака и изъ Николая съ женою и единственнымъ сыномъ.

Вотъ и всѣ свѣдѣнія, какія имѣлъ о своихъ родныхъ Борисъ Сергѣевичъ, возвращаясь изъ Сибири на родину.

IV.

Барскій пріѣздъ.

Борисъ Сергѣевичъ никого не извѣстилъ о своемъ пріѣздѣ. Въ послѣдніе годы, онъ время отъ времени получалъ письма отъ племянниковъ и считалъ своимъ долгомъ отвѣчать имъ. Но это была вовсе не родственная, а чисто оффиціальная переписка, изъ которой онъ никакъ не могъ узнать, что такое Сергѣй и Николай. Они передавали ему внѣшнія событія своей жизни — и только. Въ послѣднемъ ихъ письмѣ были обычныя фразы о томъ, что они радуются его скорому возвращенію—и такъ далѣе. Въ своемъ отвѣтѣ онъ говорилъ, между прочимъ, что о возвращеніи еще не думаетъ. Это была правда.

Но вдругъ его потянуло на родину, вдругъ въ немъ поднялось какое-то ожиданіе, почти даже надежда,—на что—онъ и самъ не зналъ. Онъ быстро собрался въ дорогу въ сопровожденіи своего вѣрнаго, всю жизнь бывшаго при немъ, камердинера Степана. Они на нѣсколько дней остановились въ Москвѣ. Борисъ Сергѣевичъ повидался кой съ кѣмъ, устроилъ нѣкоторыя свои дѣла и поспѣшилъ въ Горбатовское. Степанъ, однолѣтокъ своего господина, такъ-же хорошо, какъ и онъ, сохранившійся старикъ, считалъ своимъ долгомъ замѣтить передъ выѣздомъ изъ Москвы:

— А вы-бы, Борисъ Сергѣевичъ, увѣдомили молодыхъ господъ, племянничковъ, о прибытіи въ Горбатовское... Вѣдь, они, надо полагать, въ Знаменскомъ?

— Да, въ Знаменскомъ, писали, что цѣлое лѣто и осень пробудутъ.

— Ну, такъ вотъ и извѣстили-бы, а то нехорошо — обидятся, пожалуй, подумаютъ: дяденька, молъ, не хочетъ и знать насъ...

— Ничего они не подумаютъ, что я имъ—чужой!.. Не знаютъ меня совсѣмъ, — угрюмо проговорилъ Борисъ Сергѣевичъ.

Степанъ покачалъ головою.

— Какъ-же это—чужой? Кровь-то, вѣдь, своя...

Онъ запнулся и, видимо, чего-то смутился, а потомъ продолжалъ:

— Сереженька-то, чай, помните, малютка какой былъ? Ровно ангельчикъ, онъ-же и крестникъ вашъ, одинъ у васъ остался. Вотъ спросить-то, жаль, некого, здѣсь ихъ мало знаютъ. Да, авось, Богъ милостивъ, вышелъ Сереженька хорошимъ добрымъ бариномъ, такъ, можетъ, вамъ, батюшка, и въ утѣшеніе будетъ подъ старость... такъ-то! Напишите, напишите...

Изъ этого разговора видно было, какія отношенія существовали между господиномъ и крѣпостнымъ человѣкомъ. Этотъ крѣпостной человѣкъ былъ лучшимъ другомъ барина, и никогда не стѣснялся высказывать свои мнѣнія и давать совѣты. Борисъ Сергѣевичъ нерѣдко слѣдовалъ его совѣтамъ, но на этотъ разъ остался при своемъ рѣшеніи и такъ и не извѣстилъ своихъ племянниковъ. Онъ рѣшительно не хотѣлъ никакихъ встрѣчъ и приготовленій, ему было тяжело все это, ему хотѣлось незамѣтно очутиться въ своемъ старомъ гнѣздѣ и оглядѣться, одуматься. Онъ пріѣхалъ въ Горбатовское яснымъ, лѣтнимъ вечеромъ, и его встрѣтила полная тишина давно покинутой барской усадьбы. Большой домъ былъ наглухо запертъ. Коляска Бориса Сергѣевича остановилась у громадныхъ воротъ, которыя тоже стояли на запорѣ. Всѣ спали. Степану долго пришлось стучаться. Наконецъ, со всѣхъ сторонъ сбѣжавшіяся и отчаянно лаявшія собаки разбудили людей.

— Баринъ пріѣхалъ!—кричалъ Степанъ.

— Какой баринъ?

— Баринъ изъ Сибири, Борисъ Сергѣевичъ.

Эта вѣсть мгновенно облетѣла всѣ дома, построенные полукругомъ около барскаго дома и служившіе помѣщеніемъ безчисленной дворни. Болѣе двадцати лѣтъ эта дворня оставалась безъ всякаго дѣла, даромъ жила, кормилась и плодилась. Успѣло за это время вырости новое поколѣніе, никогда не видавшее большого барскаго дома отпертымъ и жилымъ. У этого поколѣнія уже сложилась легенда о прежнихъ барахъ, баринѣ Борисѣ Сергѣевичѣ, живущемъ гдѣ-то за тридевять земель. Этого барина ждали, но какъ тридцать лѣтъ тому назадъ, такъ и теперь срокъ его пріѣзда казался неопредѣленнымъ и далекимъ, до того неопредѣленнымъ и далекимъ, что баринъ уже давно превратился въ какое-то сказочное существо.

Знаменскихъ господъ иногда видали. Изрѣдка, разъ въ лѣто, они наѣзжали въ Горбатовское. Тогда старый ключникъ, Петръ Сидоровичъ, отпиралъ домъ и водилъ баръ по безчисленнымъ

комнатамъ, толкуя о томъ, что онъ содержитъ все въ исправности, что ни одна вещичка не пропала въ домѣ и все на своемъ мѣстѣ. Дворня выглядывала изо всѣхъ щелей на нарядныхъ господъ, и затѣмъ, когда они уѣзжали, долго шли о нихъ разговоры.

Нѣсколько лѣтъ тому назадъ, уже послѣ смерти Владиміра Сергѣевича, случилось слѣдующее происшествіе: наѣхали знаменскіе господа, а съ ними ихъ матушка изъ чужихъ краевъ, барыня Катерина Михайловна. Ее горбатовская дворня хорошо знала, — знала и не долюбливала. Тѣмъ не менѣе всѣ старые дворовые сочли своимъ долгомъ выйти къ барынѣ Катеринѣ Михайловнѣ, чуть не земно ей поклониться и приложиться къ ея ручкѣ.

Охъ, ужъ и измѣнилась-же она! Ее помнили такой молоденькой, легкой какъ птичка—теперь уже не то. Но она такая-же щеголиха, и голосъ у нея такой-же властный, и глазами она такъ-же поводитъ.

Катерина Михайловна приказала вести себя въ домъ, первымъ-же дѣломъ напустилась на ключника, что пыли много, а затѣмъ позвала своихъ людей, пріѣхавшихъ съ господами изъ Знаменскаго, и начала отбирать многія дорогія барскія вещи.

Только и слышно было:

— Вотъ это укладывайте! Вотъ это!

«Какъ-же такъ? вѣдь, домъ-то — Бориса Сергѣевича, а не Катерины Михайловны, и онъ долженъ барское добро беречь пуще глаза, и никому, какъ есть никому, не давать къ нему и прикоснуться. Какъ-же это, не разъ наѣзжали молодые господа, бариновы племянники и никогда-то ни одну вещицу не тронули... Замѣчалъ онъ, что на многое у нихъ глаза разбѣгаются, стоятъ, поговариваютъ, разглядываютъ, а до сей поры все-же ничего не взяли. Такъ, что-же это?»

Онъ было заикнулся Катеринѣ Михайловнѣ о томъ, что онъ баринова распоряженія на счетъ вещей не получалъ. Можетъ, управляющій, Кузьма Захарычъ, что знаетъ, такъ пусть ужъ барыня дозволитъ ему спросить Кузьму Захарыча.

Какъ закричитъ на него Катерина Михайловна:

«Какой тамъ еще Кузьма Захарычъ! мои это вещи, и я за ними пріѣхала... А ты—дерзкій грубіянъ, скотъ»...

И не успѣлъ старикъ очнуться, какъ она своей барской ручкой изрядно-таки прямо его въ лицо хлопнула.

Старикъ оробѣлъ, отошелъ и грустно смотрѣлъ, какъ чужіе холопы барское добро разбираютъ, да укладываютъ. Побѣжалъ онъ къ управителю докладывать: «Такъ, молъ, и такъ, есть, что-ли отъ барина распоряженіе?»

Управитель почесалъ въ затылкѣ.

— Нѣтъ, говоритъ, никакого распоряженія. А только, что-же съ ней подѣлаешь?..

Однако, все-же онъ съѣздилъ въ Знаменское къ Катеринѣ Михайловнѣ, переговорилъ съ нею и, вернувшись, успокоилъ ключника:

— Ея это вещи, и тебѣ, старина, за нихъ отвѣчать не придется. Да она говоритъ, что еще не все свое взяла, еще, молъ, много осталось.

Черезъ нѣсколько времени управитель пошелъ въ домъ, отобралъ нѣсколько цѣнныхъ вещей и сказалъ ключнику, что везетъ ихъ въ Знаменское, барынѣ...

И вдругъ—баринъ пріѣхалъ! Это извѣстіе было такъ неожиданно, такъ невѣроятно, что всѣ сразу оказались ошеломленными будто ударомъ грома.

Да вѣрно-ли, какъ тому быть? Какъ это—баринъ пріѣхалъ...

Но въ тонѣ, какимъ передавалось это извѣстіе, заключалось нѣчто такое, что никакъ нельзя было не повѣрить. Всѣ почувствовали это.

Баринъ пріѣхалъ! Что изъ этого будетъ, что теперь со всѣми ими станется, какая жизнь начнется? — эти вопросы не задавались еще, думать-то было некогда, но они инстинктивно возникали въ каждомъ, сказывались въ тревогѣ, изобразившейся на всѣхъ лицахъ.

Не прошло и десяти минутъ, какъ уже не было такого уголка въ обширномъ помѣщеніи горбатовской дворни, гдѣ не произносилось-бы на всѣ лады слово: «баринъ». Не было ни одного человѣка, даже ребенка, который-бы не проснулся и не одѣвался поспѣшно.

— Баринъ... баринъ пріѣхалъ!—шамкали старики и старухи.

— Баринъ пріѣхалъ, чего дрыхнешь-то! Вставай... вставай!— будили малыхъ ребятъ, тормошили ихъ, толкали. — Баринъ, баринъ пріѣхалъ!..

Дѣти, испуганныя до полусмерти, подымали ревъ; но матери, при первомъ отчаянномъ звукѣ этого рева, давали имъ колотушку.

— Что ты, аспидъ!.. что ты... нишкни!.. баринъ пріѣхалъ... услышитъ... услышитъ!

И ребенокъ, въ конецъ перепуганный этимъ уже извѣстнымъ, но всѣмъ непонятнымъ ему и казавшимся страшнымъ словомъ, сдерживалъ свои рыданія, свой крикъ и начиналъ дрожать всѣмъ тѣломъ и прятаться куда ни попало, ожидая близкой, неминучей гибели.

Но кромѣ дѣтей и подростковъ, дрожавшихъ отъ страху и

прятавшихся спросонья по угламъ, всѣ, поспѣшно одѣвшись, спѣшили къ барскому дому. Менѣе чѣмъ за полчаса безмолвный, поросшій густою травою дворъ наполнился сотнями человѣческихъ фигуръ, туманно рисовавшихся въ полусумракѣ лѣтняго вечера.

Вся эта толпа остановилась въ нѣсколькихъ саженяхъ отъ барскаго крыльца и не мигая смотрѣла передъ собою на крыльцо, на окна.

А между тѣмъ ничего не было видно — на крыльцѣ никто не показывался, окна попрежнему стояли съ заколоченными ставнями.

Проходили минуты. И вотъ дверь въ барскій домъ отворилась, на крыльцѣ показался управляющій, Кузьма Захарычъ, много лѣтъ бывшій неограниченнымъ властителемъ огромной дворни. Этотъ грозный и поразительно важнаго вида человѣкъ лѣтъ пятидесяти, всегда выплывавшій медленно, тяжелой походкой, съ откинутой головою, теперь чуть кубаремъ не скатился съ крыльца. Онъ подбѣжалъ къ толпѣ и крикнулъ:

— Олухи!.. Ну, чего-же вы стоите-то?.. да идите-же, дьяволы, отпирать окна. Ступайте въ домъ, да тише... не топать!..

Толпа дрогнула, потомъ на мгновеніе снова какъ-бы застыла. Еще мигъ—и всѣ хлынули къ дому.

Отпирались одна за другою тяжелыя ставни, большая дверь барскаго крыльца стояла настежь и въ нее проходили мужчины и женщины. Черезъ нѣсколько минутъ, пріемная, освѣщенная на-скоро зажженными двумя свѣчками, биткомъ набилась этимъ людомъ. Отсюда была видна огромная зала, вся увѣшанная старинными портретами, погруженная почти въ полный мракъ. Слабое мерцаніе свѣчи, одиноко торчавшей въ старинномъ запыленномъ канделябрѣ, не могло побѣдить этого мрака.

Всѣ замерли, стояли не шелохнувшись и ждали. Прошло, какъ имъ показалось, не мало времени.

Наконецъ, тамъ вдали, въ самомъ концѣ громадной залы, сверкнулъ свѣтъ, хлопнула дверь, по старому мозаиковому паркету гулко раздались шаги... ближе... ближе... Въ залѣ зажглось еще нѣсколько свѣчей, Кузьма Захарычъ подскочилъ къ дверямъ пріемной и отчаянно замахалъ руками:

— Сюда, въ залу, баринъ зоветъ... тише!..

Толпа стала проходить въ залу. Старики и старухи протискивались впередъ, молодые, въ робости и тревогѣ, отставали.

Изъ полумрака выдѣлилась сухощавая небольшая фигура съ длинной, бѣлой и блестящей какъ серебро бородой.

— Баринъ... баринъ!.. — раздался въ толпѣ глухой восторженный шопотъ.

Послышались всхлипыванія. Все смѣшалось. Старики и старухи со всѣхъ сторонъ обступили Бориса Сергѣевича, падали передъ нимъ, цѣловали ему ноги, причитывали:

— Красное наше солнышко, свѣтикъ нашъ ненаглядный!.. Не чаяли мы тебя видѣть!.. Слава тебѣ Господи!.. Эхъ, батюшка, батюшка—да и не узнать тебя—уѣзжалъ ты молоденькій, а вернулся-то старенькій!..

— Да, старенькій вернулся!—повторялъ онъ взволнованнымъ голосомъ, поднимая и обнимая старыхъ слугъ.—Много времени... вотъ и вы не помолодѣли. А дай-ка—узнавать стану... Петръ!.. Марья... Акулина... здравствуйте!..

Онъ всматривался, называлъ всѣхъ этихъ стариковъ и старухъ по именамъ.

— Батюшка, золотой, насъ не забылъ, помнитъ! — восторженно, умиленно шептали кругомъ, снова ловя его руки, припадая къ его платью.

Въ первую минуту онъ было сталъ отнимать свои руки, не давалъ цѣловать ихъ, но тотчасъ-же понялъ и почувствовалъ, что это фальшь, что это безсмыслица, что это обида — и уже не отнималъ больше рукъ, и отдавалъ себя всего поцѣлуямъ. Широкое, давно, давно неизвѣданное имъ чувство охватило его, и онъ каждаго и каждую обнималъ и цѣловалъ громко и крѣпко, отъ всего сердца. Онъ любилъ въ эту минуту всѣ эти сморщенныя старыя лица, всѣхъ этихъ дряхлыхъ и бодрыхъ людей, пропитанныхъ запахомъ тѣснаго жилья и кухни.

Наконецъ, онъ перецѣловалъ всѣхъ стариковъ и старухъ и сдѣлалъ нѣсколько шаговъ впередъ. Вокругъ него уже были совсѣмъ незнакомыя лица, глядѣвшія на него смущенно и изумленно. На нѣкоторыхъ изъ нихъ онъ прочелъ даже страхъ. И эти тоже всѣ стали подходить къ его ручкѣ. Но теперь ему это было непріятно и неловко. Онъ положилъ руки въ карманы и началъ кланяться на всѣ стороны.

— Здравствуйте, здравствуйте!—повторялъ онъ.

Его взглядъ поднялся выше и скользнулъ по выступавшимъ изъ мрака старымъ портретамъ. Онъ окинулъ взоромъ эту огромную залу съ двойнымъ свѣтомъ, хорами, глубокимъ потолкомъ, совсѣмъ уже терявшимся во мракѣ.

Ему стало вдругъ тяжело и тоскливо; онъ почувствовалъ утомленіе...

— Усталъ, спать пора!..—проговорилъ онъ тихо и печально.

Толпа разступилась, и онъ медленно, почти шатаясь, пошелъ изъ залы по скрипящему подъ его шагами старому мозаичному паркету.

V.

Дядя и племянникъ.

Плохо спалось въ эту ночь Борису Сергѣевичу. Старое, родовое гнѣздо не успокоило и не согрѣло. А между тѣмъ, вѣдь, это была та самая комната, въ которой онъ выросъ и гдѣ до сихъ поръ оставались нетронутыми многія его прежнія, дорогія по воспоминаніямъ, вещи.

Но уставшій старикъ, сердце котораго, несмотря на долгую и трудную жизнь и, быть можетъ, даже именно вслѣдствіе этой жизни, было до сихъ поръ еще молодо, страшился коснуться этихъ окружавшихъ его воспоминаній. Онъ чувствовалъ, что стоитъ только допустить ихъ до себя—и они имъ совсѣмъ овладѣютъ. Онъ напрягалъ всѣ свои силы, боролся съ ними какъ съ врагами изъ простого, инстинктивнаго чувства самосохраненія, потому что теперь ему нужно было прежде всего отдохнуть. Онъ чувствовалъ большую слабость, голова была тяжела, въ виски стучало, лихорадочная дрожь пробѣгала по всѣмъ членамъ. Онъ старался ни о чемъ не думать, звалъ сонъ. И сонъ, наконецъ, пришелъ; но не надолго. Съ первыми лучами солнца проснулся Борисъ Сергѣевичъ, всталъ, поспѣшно одѣлся и вышелъ изъ спальни.

Глубокая, жуткая тишина стояла въ огромномъ пустомъ домѣ. Онъ пошелъ знакомой дорогой, отпирая двери, къ которымъ столько лѣтъ не прикасалась рука его. Онъ обходилъ комнату за комнатой. Эти разнообразныя комнаты, знакомыя до мельчайшихъ подробностей, встрѣчали его своей грустной тишиною, своей атмосферой пустоты и затхлости. Весь домъ производилъ на него впечатлѣніе кладбища. Каждая комната была мавзолеемъ, на которомъ при его приближеніи выступали полустертыя буквы знакомаго и дорогого имени.

Блѣдный старикъ спѣшилъ дальше и дальше, не останавливаясь, не вглядываясь, чувствуя только подступавшую къ сердцу тоску, съ которой ему хотѣлось упрямо бороться. Обойдя весь домъ, онъ вышелъ на стеклянную террасу. Дверь была заперта, ключа не оказалось. Борисъ Сергѣевичъ постоялъ минуту, оглядѣлся, растворилъ широкое, составленное изъ разноцвѣтныхъ стеколъ окно, приподнялся и легкимъ движеніемъ перепрыгнулъ черезъ это окно въ садъ, гдѣ встрѣтило его раннее лѣтнее утро...

Но прогулка не освѣжила и не ободрила. Упрямая борьба съ воспоминаніями ни къ чему не привела—они одолѣли, и мы видѣли, съ какимъ тяжелымъ сознаніемъ своего одиночества возвращался старикъ съ этой прогулки...

Теперь дверь террасы стояла отпертою, и едва Борисъ Сергѣевичъ поднялся по широкимъ ступенямъ, какъ замѣтилъ своего Степана, стоявшаго почти у самой двери и съ жаромъ что-то кому-то объяснявшаго. Кому—еще не было видно. Но мигъ—и Борисъ Сергѣевичъ различилъ высокую, широкоплечую фигуру щегольски одѣтаго не то въ утренній, не то охотничій костюмъ молодого человѣка лѣтъ тридцати съ небольшимъ. Борисъ Сергѣевичъ остановился, вглядѣлся и вдругъ у него шибко забилось сердце. Глаза его блеснули—и новымъ чувствомъ, именно тѣмъ чувствомъ, отсутствіе котораго такъ его тяготило, вдругъ пахнуло на него.

— Сергѣй!—тревожно, смущенно и въ то же время радостно проговорилъ онъ и протянулъ передъ собою руки.

Молодой человѣкъ бросился къ нему. Они обнялись.

— Дядюшка, хорошо-ли это, не дать знать...—началъ было племянникъ неизбѣжную, требовавшуюся приличіями фразу, но тутъ же замолчалъ, видя, что дядя его не слушаетъ.

Да, онъ не слушалъ, онъ не могъ слышать. Отстраняя отъ себя племянника и снова его къ себѣ привлекая, онъ жадно вглядывался въ красивое, открытое, хотя и не отличавшееся правильностью очертаній лицо молодого человѣка. Ему казалось, что это лицо ежесекундно передъ нимъ мѣняется. Вотъ сейчасъ онъ узналъ въ немъ своего отца, узнаетъ брата, теперь вотъ узнаетъ мать... Ея... ея улыбка!.. Вотъ она какъ живая!.. Еще мигъ — и онъ видитъ передъ собою самого себя въ старые годы...

«На всѣхъ похожъ!.. Нашъ... мой... родной!»—безсознательно, въ полузабытьи шепталъ онъ и снова привлекалъ къ себѣ племянника, и снова горячо цѣловалъ его, и чувствовалъ, какъ все шире и шире поднимаетея въ сердцѣ теплое, отрадное чувство.

Степанъ, въ своемъ длинноломъ, бутылочнаго цвѣта сюртукѣ, съ узкими, нѣсколько короткими рукавами, въ огромномъ клѣтчатомъ платкѣ, обмотанномъ вокругъ длинной худой шеи, стоялъ не шевелясь. Гладко выбритое лицо его, съ крупнымъ носомъ, маленькими свѣтлыми глазами и большимъ лысымъ лбомъ, все свѣтилось радостной улыбкой.

— Такъ какъ-же это ты, какъ узналъ о тотъ, что я здѣсь?—наконецъ, приходя въ себя и все продолжая крѣпко сжимать руки племянника, проговорилъ Борисъ Сергѣевичъ.

— Я это, сударь, съ вечера еще распорядился,—сказалъ Степанъ:—послалъ въ Знаменское. Вотъ и теперь Сергѣю Владиміровичу докладываю: дяденька-то, молъ, у насъ чудакъ, какимъ съ измальства былъ—такимъ и остался... Бывало вѣчно, никому не сказавшись, какъ снѣгъ на голову нагрянетъ... такъ

вотъ и теперь. А Сергѣй Владиміровичъ на меня не въ обидѣ, что я отъ себя распорядился.

— Какой въ обидѣ, большое тебѣ спасибо, любезный!—громкимъ, звонкимъ голосомъ сказалъ молодой Горбатовъ, съ изумленіемъ и весело поглядывая то на дядю, то на Степана.

Конечно, онъ не сталъ объяснять, какое впечатлѣніе въ Знаменскомъ произвело посольство Степана. А дѣло было вотъ какъ. Совсѣмъ уже ночью прискакалъ запыхавшись изъ Горбатовскаго гонецъ съ извѣстіемъ о пріѣздѣ барина. Всѣ уже въ Знаменскомъ разошлись по своимъ комнатамъ и даже погасили свѣчи. Не ложилась еще только Катерина Михайловна; она, по старой привычкѣ, засыпала и вставала очень поздно. Когда ей доложили о гонцѣ, она, видимо, нѣсколько встревожилась и приказала призвать его къ себѣ. Горбатовскій дворовый вошелъ въ горницу къ барынѣ съ большою робостью—Катерину Михайловну всѣ горбатовскіе хотя и рѣдко видали, но почему-то ужасно боялись.

— Когда пріѣхалъ?—строгимъ тономъ спросила она.

— Да ужъ совсѣмъ вечеромъ, ваше превосходительство,— отвѣтилъ посланный, вся фигура котораго выражала не то перепугъ, не то крайнее изумленіе.

— Что-же, письмо есть ко мнѣ или къ молодому барину?

— Никакъ нѣтъ-съ!

— Такъ, значитъ, на словахъ что сказать приказано? Да кто тебя послалъ? Самъ баринъ?

— Никакъ нѣтъ-съ, баринъ, надо полагать, започивать изволили, а это Степанъ Трофимычъ мнѣ наказали: ступай, молъ, сейчасъ верхомъ въ Знаменское и доложи господамъ, что баринъ пріѣхалъ—только и всего... Я мигомъ и поскакалъ...

Катерина Михайловна сразу не сообразила.

— Какой еще тамъ Степанъ Трофимычъ?

Гонецъ совсѣмъ растерялся.

— Да Степанъ Трофимычъ... ихній... барскій... съ бариномъ онъ пріѣхалъ... нашъ, горбатовскій...

— А!—презрительно протянула Катерина Михайловна и махнула рукой.—Хорошо... ступай...

Посланный низко поклонился и вышелъ.

Она осталась одна и нѣсколько мгновеній сидѣла неподвижно, кусая губы и обдумывая что-то. Потомъ она прошла въ комнаты, которыя занималъ ея старшій сынъ съ женою.

Все было тихо. Но изъ полуотворенной двери кабинета Сергѣя Владиміровича пробилась полоска свѣта. Катерина Михайловна заглянула—ея сынъ сидѣлъ у открытаго окна въ накинутомъ на одно плечо шелковомъ халатѣ и курилъ сигару.

— Ты еще не спишь, мой другъ?.. Могу я войти?—спросила Катерина Михайловна.

Онъ обернулся, съ изумленіемъ взглянулъ на нее.

— Какъ видите—еще не сплю, maman... войдите... Въ спальнѣ такая духота, а Наташа боится все сквозного вѣтра, запираетъ окна... Къ тому-же у меня, вотъ уже третій день, безсоница—не спится да и только! Скука такая, что просто съ ума сойти можно... Вамъ что-нибудь угодно, maman?..

Она подошла къ нему, присѣла рядомъ съ нимъ.

— Ты говоришь: скука! а я къ тебѣ съ новостью, mon cher, будетъ и развлеченіе—дядя пріѣхалъ!

Она передала свой разговоръ съ горбатовскимъ посланнымъ.

Сергѣй выбросилъ за окно сигару, запахнулъ халатъ на своей широкой, богатырской груди и добродушно усмѣхнулся. Когда онъ такъ усмѣхнулся — его худощавое, съ нѣсколько выдающимися скулами, тонкимъ носомъ и свѣтлыми, часто моргавшими глазами, лицо дѣлалось удивительно привлекательнымъ. Онъ еще усмѣхнулся и, наконецъ, проговорилъ:

— Гм... дядя пріѣхалъ!.. Вѣдь, онъ и долженъ былъ пріѣхать...

— Но ты замѣть, — перебила его Катерина Михайловна:— замѣть: каковъ! если ужъ заранѣе не могъ написать, то хоть бы теперь прислалъ два слова, а то, вѣдь, это его лакей распорядился извѣстить насъ...

— Такъ что-же? Все равно! — равнодушно произнесъ Сергѣй.—Можетъ, онъ насъ совсѣмъ и знать не захочетъ, и не пріѣдетъ...

Катерина Михайловна нетерпѣливо передвинулась на креслѣ.

— Нѣтъ, этого нельзя... такъ нельзя, mon chèr!.. я тебя очень прошу пораньше утромъ къ нему съѣздить.

Сергѣй поморщился.

— Увольте, maman! Въ самомъ дѣлѣ—вѣдь, онъ, можетъ быть, не хочетъ—зачѣмъ-же мнѣ навязываться... подлизываться!..

— Пустое, пустое, мой другъ! Онъ старшій въ семьѣ, ты его крестникъ... ты непремѣнно долженъ поѣхать... у него странности, я не знаю какимъ онъ сталъ теперь... но, вѣдь, ему многое надо прощать... и повѣрь—никто тебя не осудитъ—напротивъ, всякій пойметъ, оцѣнитъ... c'est un vieillard... un homme malheureux après tout!..

Она стала уговаривать и скоро достигла цѣли. Сергѣя уговорить было не трудно, особенно ей—она еще не такъ давно сумѣла уговорить его вторично жениться, когда онъ вовсе и не помышлялъ о женитьбѣ. Ему теперь просто надоѣлъ этотъ разговоръ, упрашиванія, объясненія; ему, наконецъ, захотѣлось спать—

и онъ далъ ей слово рано утромъ отправиться въ Горбатовское. Онъ сдержалъ свое слово, но нельзя сказать, чтобы съ особеннымъ удовольствіемъ дожидался возвращенія дяди съ прогулки. Ждать ему, однако, пришлось не долго, да къ тому-же Степанъ заинтересовалъ его. Этотъ смѣшной старикъ, этотъ «сибирскій тюлень», какъ почему-то про себя уже назвалъ его Сергѣй, встрѣтилъ его какъ родного, мало того—встрѣтилъ какъ малаго ребенка, заговорилъ съ нимъ какимъ-то ободряющимъ, покровительственнымъ и нѣжнымъ тономъ. И въ то же время этотъ тонъ былъ такъ естественъ и добродушенъ, что Сергѣй никакъ не могъ возмутиться подобной фамильярностью со стороны крѣпостного человѣка.

Но вотъ появился дядя и оказался совсѣмъ не такимъ, какимъ его представлялъ себѣ племянникъ. Между ними, при первомъ-же объятіи, пробѣжала какъ будто электрическая искра, и Сергѣй, къ изумленію своему, почувствовалъ, что этотъ маленькій, красивый старикъ, всегда такой далекій, такой чужой—ему близокъ, что его влечетъ къ нему, что ему пріятно встрѣчаться съ нимъ глазами и чувствовать въ своей широкой, костлявой рукѣ его маленькую и дрожащую теперь отъ волненія руку.

— Эхъ-ма! да чего-же я стою!—вдругъ спохватился Степанъ.—Батюшка, Борисъ Сергѣевичъ, чай, вѣдь, отощали! Самоваръ давно ужъ на столѣ, да и позавтракать готово... Пожалуйте!..

Онъ немного согнулся и жестами любезно приглашалъ въ домъ, какъ радушный хозяинъ. Борисъ Сергѣевичъ взялъ племянника подъ руку и повелъ его въ большую столовую, гдѣ широкія окна стояли настежь, наполняя всю комнату душистой свѣжестью и лучами солнца. Степанъ исчезъ, но тотчасъ-же и вернулся, а вслѣдъ за нимъ появились два человѣка съ завтракомъ.

— Пожалуйте, пожалуйте вотъ сюда!—подвигая стулья и приглашая садиться, суетился Степанъ.

Дядя и племянникъ сѣли. Тогда Степанъ сталъ хозяйничать около самовара, розлилъ чай. И все это онъ дѣлалъ съ пріемами привычной хозяйки. Онъ ворчалъ сквозь зубы, что самоваръ плохо вычищенъ, что и подать-то господамъ не сумѣли какъ слѣдуетъ деревенскіе олухи.

— Ну, чего стоите!.. да перемѣните-же тарелки! скорѣе, живо,—распоряжался онъ.

Молодой Горбатовъ былъ увѣренъ, что этотъ «хозяинъ» сейчасъ-же сядетъ рядомъ съ ними и приметъся пить чай и завтракать. Степанъ, однако, этого не сдѣлалъ. Онъ продолжалъ разливать чай, угощать, суетиться, распоряжаться; но самъ ни къ чему не прикоснулся и на минуту не присѣлъ.

Тѣмъ временемъ Борисъ Сергѣевичъ, видимо, успокоился. Волненіе его улеглось, и онъ началъ разспрашивать племянника.

— Да, чудно, чудно какъ подумаешь,—говорилъ онъ со своей тихой улыбкой:—вѣдь, я тебя оставилъ крошечнымъ мальчикомъ и съ тѣхъ поръ, думая о тебѣ, такъ все и представлялъ тебя себѣ барахтающимся и пускающимъ губами пузыри карапузомъ! А вотъ ты какой огромный, не въ дѣда, не въ меня, а въ отца... но, впрочемъ, и онъ былъ гораздо меньше ростомъ... вотъ ты какой, мой мальчикъ!..

— Хорошъ мальчикъ!—усмѣхнулся Сергѣй.—Старикомъ я уже становлюсь, дядюшка, по утрамъ то и дѣло сѣдые волосы выщипываю.

— Раненько, другъ мой!..

— Что за раненько, четвертый десятокъ, вѣдь, уже пошелъ. Вотъ посмотрите моихъ ребятъ, отъ первой жены, совсѣмъ большіе...

— И то правда!—качнулъ головою Борисъ Сергѣевичъ.

— Ну, да и пожилъ, не мало было глупостей, теперь вотъ и сказываются.

Дядя тревожно взглянулъ на него.

— Какъ-же такъ: не мало глупостей! Вѣдь, ты женился еще почти мальчикомъ, вдовѣлъ не долго,—когда-же успѣлъ дѣлать эти глупости? Семейная жизнь должна была спасти тебя отъ этого...

— Ахъ Боже мой! одно другому не мѣшаетъ...

И проговоривъ это, Сергѣй улыбнулся такой милой, такой ласкающей улыбкой, что старый дядя замѣтилъ только эту улыбку и за нею не разслышалъ, не понялъ словъ племянника.

— А вотъ, что-же это? Смотрю я какъ ты одѣтъ: не въ военномъ!..

— Да, вѣдь, я послѣ войны сейчасъ вышелъ въ отставку...

— Что такъ?

— А надоѣло! Богъ съ ней, съ этой службой! Военное время—другое дѣло. Да теперь новой войны у насъ, кажется, не предвидится... Повоевали—довольно! Дрались—себя не жалѣли... и все-же—побиты...

Дрогнувшая, тоскливая нота прозвучала въ голосѣ Сергѣя. Но это было только на мгновеніе. Онъ продолжалъ уже совсѣмъ спокойно:

— Нѣтъ, свобода лучше всего. Петербургъ надоѣлъ до тошноты... и здѣсь скучно, да все-же не такъ...

— Такъ ты намѣренъ совсѣмъ поселиться въ деревнѣ? Оно дѣйствительно, пожалуй, лучше,—теперь, Богъ дастъ, будетъ и здѣсь много дѣла, и хорошаго дѣла...

— Это вы о чемъ, дядя? О крѣпостныхъ, объ освобожденіи? Я, знаете, этому не вѣрю, это все только разговоры...

— Ну хорошо, мы объ этомъ поговоримъ послѣ... Что-же ты намѣренъ?—Въ предводители?

— Да какъ вамъ сказать, если выберутъ—пожалуй; но не надолго, опять, вѣдь, обуза... И ужъ во всякомъ случаѣ хлопотать я не стану...

Онъ хотѣлъ было сказать дядѣ, что мать хлопочетъ, что она всѣми силами его уговариваетъ и что если онъ до сихъ поръ ей не поддавался, то единственно потому, что имѣетъ въ рукахъ очень вѣское возраженіе: дѣла еще далеко не устроены, не приведены въ ясность, доходовъ мало, а положеніе губернскаго предводителя дворянства потребуетъ большихъ затратъ и такой широкой жизни, какая покуда еще немыслима въ Знаменскомъ. Онъ хотѣлъ сказать это, но воздержался, испугавшись въ разговорѣ съ дядей намека на денежныя дѣла. «Боже мой, еще подумаетъ, что я такъ сразу и тянусь къ его деньгамъ!»

Сергѣй даже покраснѣлъ при этой мысли и совсѣмъ замолчалъ.

А Борисъ Сергѣевичъ въ это время очевидно приготавливался задать какой-то вопросъ и все не рѣшался. Наконецъ, онъ себя пересилилъ и спросилъ какъ-то нерѣшительно, опустивъ глаза:

— А что твой братъ?

— Николай! Мы со дня на день ждемъ его въ Знаменское. Онъ все еще въ мундирѣ; но думаю, что тоже не надолго...

— Что онъ—каковъ? Похожи вы другъ на друга?

— Мы?—Сергѣй засмѣялся.—Нисколько, то-есть, конечно, и между нами находятъ нѣкоторое сходство, но онъ совсѣмъ другой человѣкъ...

— Какой-же онъ человѣкъ?

— Хорошій!—проговорилъ Сергѣй.

Дядя невольно улыбнулся.

— Ты говоришь это, будто ты-то дурной человѣкъ.

— Нѣтъ, это не то... каковъ я, я не знаю, право, никогда объ этомъ не думалъ; но между нами большая, большая разница. Да хотя-бы вотъ, скажу его словами: я скучаю, а онъ тоскуетъ. Онъ странный человѣкъ. Съ нимъ трудно сойтись. О немъ почти всегда думаютъ хуже, чѣмъ онъ есть. Ну, да что тутъ говорить, я, знаете, анализировать не умѣю, опредѣлять... Пріѣдетъ—увидите, судите... Я скажу еще только разъ: Николай хорошій человѣкъ, очень хорошій!..

Дядя и племянникъ еще побесѣдовали съ полчаса, и затѣмъ Сергѣй уѣхалъ. Рѣшено было, что дядя отдохнетъ, осмотрится немного и къ обѣду будетъ въ Знаменскомъ. Проводивъ племян-

ника и глядя ему вслѣдъ, Борисъ Сергѣевичъ снова, и еще сильнѣе ощутилъ въ себѣ приливъ давно забытаго, живого чувства любви и участья къ родному человѣку.

Неизвѣстно откуда взявшійся Степанъ подошелъ и спросилъ радостнымъ голосомъ:

— Ну что, батюшка, какъ нашли племянничка?.. Вѣдь, я говорилъ, славный вышелъ баринъ нашъ Сереженька?..

— Славный, славный!—нѣсколько разъ повторилъ старый дядя, возвращаясь въ домъ, который теперь уже не казался ему такимъ мрачнымъ, такимъ пустымъ. Не все еще умерло, не все еще похоронено, не даромъ онъ рвался сюда. Есть для кого жить!

И со всею силою долголѣтней тоски своего одинокаго сердца онъ хватался за эту возможность жить и любить.

VI.

Знаменская хозяйка.

Обширная усадьба села Знаменскаго была теперь уже совсѣмъ не то, чѣмъ была она въ тѣ далекія времена, когда здѣсь безвыѣздно жила послѣдняя княгиня Пересвѣтова со своей единственной дочерью Татьяной Владиміровной. Въ тѣ далекіе годы Знаменскія палаты на всю губернію славились своей роскошью и затмевали собою сосѣднее Горбатовское.

Но княгиня съ княжной уѣхали и уже не возвращались. Княгиня умерла. Княжна жила въ Гатчинѣ, при дворѣ Павла Петровича. Правда, черезъ нѣсколько лѣтъ въ Знаменскомъ снова было закипѣла жизнь. Княжна Пересвѣтова вышла замужъ за Горбатова, и молодые покинули Петербургъ, съ которымъ не имѣли ничего общаго, переселились въ деревню, стали отдѣлывать и перестраивать заново Горбатовскій домъ, а пока жили въ Знаменскомъ. Но не долго это продолжалось. Домъ скоро былъ готовъ, на него затратились большія суммы, Горбатовское сдѣлалось по своему богатству чуть не царской резиденціей, а Знаменское стояло въ запустѣніи. Татьяна Владиміровна даже перевезла отсюда всѣ лучшія вещи.

Послѣ смерти старыхъ Горбатовыхъ Знаменское досталось ихъ сыну Владиміру; но онъ кажется ни разу и не заглянулъ сюда. Только теперь, въ самое послѣднее время, владѣльцы стали наѣзжать. Были сдѣланы кой-какія необходимыя исправленія, но перестроить заново большой старый домъ, омеблировать и устроить его согласно съ новѣйшими требованіями вкуса и моды, до сихъ поръ не удавалось—ни у Катерины Михайловны, ни у сыновей ея пока не было на это средствъ.

Большое приданое второй жены Сергѣя Владиміровича, какъ извѣстно, почти цѣликомъ ушло на уплату старыхъ долговъ и поддержаніе блеска петербургскаго дома, а ея дяди и тетки, на которыхъ былъ главный расчетъ, умирать до сихъ поръ еще не хотѣли.

Конечно, и теперь знаменскій домъ производилъ впечатлѣніе, на немъ лежала печать широкой, богатой старины со всѣми ея тяжелыми и неуклюжими, но все же смѣлыми затѣями. Любитель такой старины пришелъ бы здѣсь въ восторгъ: XVIII столѣтіе, не подновленное, не поддѣланное глядѣло изъ каждаго угла, изъ убранства каждой комнаты.

Но все-же и любитель старины долженъ былъ бы согласиться, что не такъ этотъ старый домъ, какъ теперешняя жизнь въ немъ уже значительно указываетъ на упадокъ знаменитой фамиліи Горбатовыхъ. Теперешніе представители этой фамиліи жили здѣсь уже совсѣмъ не такъ, какъ жило предшествовавшее имъ поколѣніе. Какъ ни великъ былъ домъ, но прежде въ немъ помѣщались только княгиня Пересвѣтова съ княжною, а теперь пришлось въ немъ устроиться двумъ семьямъ, съ дѣтьми, гувернантками и нянъками.

Прежде княгинѣ и княжнѣ прислуживалъ такой штатъ, что онѣ никакъ не могли всѣхъ запомнить по именамъ,—теперь прислуги было гораздо меньше, хотя, конечно, все-же черезчуръ много, больше чѣмъ бы слѣдовало, и прислуга эта была не прежняя — она уже не была такъ вымуштрована, не такъ хорошо содержалась. Однимъ словомъ, прежній, почти царскій, строй жизни мало-по-малу и ни для кого незамѣтно превратился въ строй жизни помѣщичій, все еще широкій, но уже совсѣмъ безпорядочный.

Главной причиной этому была не запутанность денежныхъ дѣлъ, а то, что не было настоящей хозяйки, такой хозяйки, какою была княгиня Пересвѣтова, какою была потомъ Татьяна Владиміровна Горбатова. Хозяйкой и руководительницей дома считалась Катерина Михайловна. Поселясь съ сыновьями, она низачто не уступила-бы этой роли ихъ женамъ, да онѣ и не добивались спорить съ нею, а между тѣмъ Катерина Михайловна совсѣмъ не была способна хозяйничать.

Выйдя замужъ почти ребенкомъ, она очутилась среди громаднаго горбатовскаго богатства, которымъ завѣдывали старики предоставлявшіе ей только право всѣмъ пользоваться. Она даже никогда не задумывалась надъ тѣмъ, какъ это все ведется, устраивается и въ Петербургѣ, и въ Горбатовскомъ. Ей представлялось, что вся эта огромная, сложная машина дѣйствуетъ какъ, то сама собою, разъ навсегда заведенная.

И она только наслаждалась жизнью, пока обстоятельства не принудили ее покинуть Петербургъ и уѣхать за границу.

Тамъ, на чужбинѣ, протекла половина ея жизни. Она нигдѣ не могла прочно устроиться. Огромныя суммы, высылаемыя ей изъ Россіи, давали возможность не расчитывать, и она перекочевывала съ мѣста на мѣсто. То покупала она себѣ палаццо во Флоренціи, проводила въ немъ нѣсколько мѣсяцевъ, потомъ продавала его, конечно, съ большимъ для себя убыткомъ. Потомъ поселялась гдѣ-нибудь въ хорошенькой виллѣ на lago di Como или въ Швейцаріи. Затѣмъ ее влекло въ Парижъ, куда она и спѣшила въ слѣдъ за какимъ-нибудь новымъ «избранникомъ своего сердца», нанимала домъ, устраивала себѣ «salon», заводила блестящіе экипажи, заставляла говорить о себѣ въ продолженіе цѣлой зимы столицу міра—и снова исчезала, на этотъ разъ въ погоню за новыми впечатлѣніями, за новыми удовольствіями и встрѣчами.

Иногда ей приходилось круто—всѣ деньги истрачивались, а экстренныя присылки изъ Россіи почему-то (она никакъ не могла понять: почему) становились затруднительнѣе. Но въ такихъ случаяхъ всегда удавалось въ концѣ концовъ устроиться: кто-нибудь ссужалъ деньги въ долгъ, затѣмъ находилось въ шкатулкахъ не мало очень цѣнныхъ вещей, которыя продавались, а тѣмъ временемъ, послѣ настоятельныхъ писемъ, все же изъ горбатовской конторы высылалась требуемая сумма.

Такъ и прошли долгіе годы. Но вдругъ Катерина Михайловна почувствовала, что устала, что ее уже никуда не тянетъ, что все надоѣло—всѣ эти Севильи, Парижи, lago di Como, Флоренціи... Уже не было интересныхъ встрѣчъ... А тутъ—мужъ убитъ на войнѣ, сыновья выросли... Можно вернуться въ Россію, въ свой великолѣпный домъ и снова начать прежнюю жизнь, отъ которой она когда-то убѣжала. Она уже часто вспоминала теперь эту жизнь, давно желала къ ней вернуться, но при мужѣ объ этомъ нечего было и думать. Онъ высылалъ ей огромное содержаніе, но только съ однимъ уговоромъ: чтобы она была какъ можно дальше, чтобы имъ не встрѣчаться.

Она вернулась и на первыхъ порахъ потерпѣла горькое разочарованіе: состояніе разстроено. Но это разочарованіе мало-помалу сгладилось—Катерина Михайловна, какъ мы видѣли, нашла возможность многое устроить и приготовить посредствомъ вторичной женитьбы старшаго сына. Теперь она зажила новой жизнью: она вдругъ, хотя и по-своему, все-же поняла, что она—мать, бабушка, глава семьи.

Это было для нея такъ ново, такъ странно; но это ей нравилось. Кто видѣлъ ее въ послѣдніе годы ея пребыванія за гра-

ницей—и увидалъ бы теперь—тому трудно было бы узнать ее. Она даже перестала молодиться и покинула всѣ ухватки модной львицы, превратилась въ старуху. Почти совсѣмъ позабывъ въ западной Европѣ русскій языкъ, она теперь вдругъ его вспомнила и, незамѣтно для самой себя, оказалась прирожденной, старой русской «барыней».

Какъ не была легкомысленна и безсердечна Катерина Михайловна во всю свою жизнь, но нужно отдать справедливость—въ послѣдніе годы у нея стало изрѣдка являться что-то похожее на упреки совѣсти за эту безпорядочно прожитую жизнь. Конечно, эти упреки совѣсти были не особенно мучительны и, конечно, она находила себѣ всегда оправданіе, обвиняя во всемъ мужа, родныхъ, обстоятельства. Но какъ-бы то ни было, по временамъ ей становилось тревожно и тоскливо.

Она очутилась одна, съ недугами и усталостью приближающейся старости, безъ интересовъ, безъ цѣли, безъ значенія. По возвращеніи же къ семейству, нашлись и интересы, и цѣли, и значеніе. Она внезапно выросла въ собственныхъ глазахъ, рѣшила, что она единственная опора и спасительница семьи, что безъ нея всѣ бы пропали.

Она только сожалѣла, что явилась слишкомъ поздно, что уже многаго нельзя спасти, что черезчуръ много надѣлано непоправимыхъ глупостей. Прежде всего—ее возмущали сыновья. Не имѣя никогда ни малѣйшаго понятія объ обязанностяхъ матери, оставаясь всю жизнь равнодушной къ дѣтямъ, она, конечно, не была въ состояніи разобрать, въ чемъ виноваты ея дѣти, и въ чемъ виноваты относительно нихъ она и ея покойный мужъ. Она просто была ими недовольна и не разъ называла ихъ про себя дураками.

Оба не сдѣлали никакой карьеры, оба очень рано и глупо женились, безъ всякаго расчета, по прихоти, по глупому мальчишескому капризу. Жена старшаго сына умерла во-время, не успѣвъ испытать на себѣ всю силу ненависти своей belle-mère. А именно ее-то Катерина Михайловна и собиралась особенно ненавидѣть: «Безприданница! подцѣпила мальчика... и каждый годъ! Ребенокъ, каждый годъ...» Но молодая женщина умерла. Сергѣй Владиміровичъ вторично женился по выбору матери, и съ этой стороны Катерина Михайловна была удовлетворена. Она рѣшила, что спасла сына.

Оставалась другая невѣстка, жена Николая, которая, очевидно, вовсе не желала умирать и очищать дорогу честолюбивымъ планамъ своей свекрови. Положимъ, у жены Николая были передъ Катериной Михайловной оправданія: если она принесла съ собою мало приданаго, то все же у нея была надежда въ

дущемъ, такъ какъ ея родители были очень стары, а единственный братъ дышалъ на ладанъ, во-вторыхъ, за нѣсколько лѣтъ семейной жизни у нея родился всего одинъ ребенокъ, одинъ сынъ. Это тоже значило не мало. Но такія оправданія все же оказывались недостаточны ужъ хоть бы только потому, что не Катерина Михайловна избрала ее для сына, никто даже и не спрашивалъ тогда ея согласія на этотъ бракъ. И Катерина Михайловна, съ перваго-же дня, почувствовала къ невѣсткѣ большую антипатію, не особенно трудилась скрывать эту антипатію и искала всякаго предлога, чтобы такъ или иначе уязвить молодую женщину.

Но и холодное сердце Катерины Михайловны все-же запросило подъ старость чего-то похожаго на привязанность. Если-бы она осталась одинокой, она окружила бы себя какими-нибудь собачками, которыхъ-бы баловала и закармливала. Теперь собачекъ было не нужно—оказались внучата. Катерина Михайловна выбрала изъ этихъ внучатъ двухъ: единственнаго сына Николая, маленькаго Гришу и дочь Сергѣя, Соню. Гришу бабушка выбрала потому, что съ перваго же взгляда на него нашла въ немъ съ кѣмъ-то сходство, которое, вмѣсто того, чтобы устыдить ее, оказалось ей очень пріятнымъ. Затѣмъ, она начала баловать Гришу, между прочимъ, изъ-за того, чтобы удалить его отъ матери, чтобы стать между нимъ и матерью.

Что касается Сони, то бабушка полюбила ее за красоту. Это была дѣйствительно прелестная дѣвочка и, опять-таки, она напоминала старухѣ ея собственное юное, прелестное личико, отъ котораго теперь ничего не осталось, кромѣ, почти забытыхъ въ петербургскомъ свѣтѣ, воспоминаній, да большого портрета, висѣвшаго въ одной изъ гостиныхъ петербургскаго дома. Въ Сонѣ Катерина Михайловна нашла повтореніе себя, она полюбила въ ней себя и принялась баловать дѣвочку самимъ безразсуднымъ, самимъ жестокимъ образомъ.

Къ остальнымъ дѣтямъ бабушка была не только равнодушна, но даже подчасъ и очень несправедлива.

Сознавая свое значеніе для семьи, Катерина Михайловна не ошибалась—значеніе ея уже имѣло самыя разнообразныя послѣдствія.

VII.

Первыя минуты.

Уговоривъ сына сдѣлать первый визитъ пріѣзжему, Катерина Михайловна ушла въ свою спальню, но долго еще не раздѣвалась и не ложилась. Она то ходила по комнатѣ, то присажива-

лась къ столу, подпирая щеку рукой, и долго такъ оставалась, неподвижная, будто погруженная въ глубокія размышленія. Но ощущеній у нея было больше, чѣмъ размышленій.

Пріѣздъ Бориса Сергѣевича, хотя и ожиданный ею, сильно взволновалъ ее. Она не показала своего волненія передъ сыномъ, но теперь, оставшись одна, предалась ему.

Дѣло въ томъ, что Борисъ Горбатовъ былъ единственнымъ человѣкомъ, съ которымъ ей не хотѣлось встрѣтиться въ жизни и, въ то-же время, онъ былъ единственнымъ человѣкомъ, который для нея что-нибудь значилъ. Безсознательно, но она уважала этого человѣка, несмотря на то, что не видѣла его многіе годы, что разстались они молодыми, а должны были встрѣтиться уже на склонѣ жизни. Онъ владѣлъ ея тайной, онъ былъ ея врагомъ—чего ожидать отъ этого пріѣзда? Она представляла себѣ его, съ его взглядами, понятіями... Онъ ни передъ чѣмъ не остановится... А между тѣмъ нельзя уйти, нельзя избѣжать встрѣчи; напротивъ, надо постараться всѣми силами смягчить его, сдѣлать его безвреднымъ. Но какъ это сдѣлать? Она не считала Бориса Сергѣевича умнымъ человѣкомъ. Но, вѣдь, въ этомъ-то вся и бѣда, что онъ не уменъ: съ умнымъ человѣкомъ она, крайне неумная женщина, могла бы легче справиться, а съ этимъ—нѣтъ!

«Но, Боже мой,—вдругъ подумала она:—да, вѣдь, сколько времени прошло! Все было такъ давно, онъ могъ очень измѣниться, онъ долженъ былъ измѣниться, можетъ быть, онъ совсѣмъ другой... Ахъ, что-то будетъ завтра? Что-то будетъ?..»

Она понимала только одно, что должна употребить всю свою любезность, всю свою ловкость при этомъ первомъ пріемѣ опаснаго родственника, а въ крайнемъ случаѣ, должна разыграть роль глубоко несчастной женщины, искупившей долгими страданіями вину свою.

Мало-по-малу она успокоилась. Какъ благоразумный полководецъ, сознавая всю опасность предстоящей битвы, она себя подбодрила и расчитала свои силы.

Что касается Бориса Сергѣевича, то и ему стало очень тяжело, когда онъ въ назначенный часъ поѣхалъ въ Знаменское. Онъ давно уже покончилъ съ прошлымъ, многое забылъ, многое простилъ и объяснилъ себѣ съ тѣмъ спокойствіемъ и безпристрастіемъ, какія даются человѣку только долгимъ временемъ, годами жизни. Онъ давно примирился съ памятью покойнаго брата. Онъ почти никогда уже не думалъ объ его измѣнѣ, объ его предательствѣ; думая о немъ, онъ старался представлять его себѣ или юношей, съ которымъ онъ былъ такъ близокъ, или героемъ, честно павшимъ въ бою.

Но несмотря на всю тишину, какую ощущалъ теперь въ душѣ

своей Борисъ Сергѣевичъ, онъ все-же не могъ подавить противнаго чувства, каждый разъ въ немъ поднимавшагося при мысли о Катеринѣ Михайловнѣ. Въ особенности это чувство заговорило въ немъ послѣ встрѣчи съ племянникомъ, когда онъ такъ сильно почуялъ въ себѣ голосъ крови. Онъ готовъ былъ, какъ въ годы юности, негодовать и возмущаться. Онъ многое простилъ этой женщинѣ, простилъ ей свои личныя обиды, простилъ обиды, нанесенныя ею его покойной женѣ; но простить позоръ, нанесенный ихъ старому, честному роду—онъ не могъ.

И вотъ онъ ѣхалъ въ домъ, гдѣ она была хозяйкой, ѣхалъ какъ родной. Онъ сознавалъ, что долженъ подавить свои чувства, долженъ притворяться, играть комедію, а между тѣмъ, вѣдь, онъ никогда не притворялся и никогда не игралъ комедіи!..

Полный тоски, съ чувствомъ крайней неловкости вошелъ онъ въ большую, ярко освѣщенную солнцемъ залу знаменскаго дома. Какая-то сухенькая старушка, съ маленькимъ, блѣднымъ, обвисшимъ личикомъ, съ длинными буклями, въ которыхъ ясно обозначалась сѣдина, въ легкомъ, изящномъ лѣтнемъ костюмѣ, задрапированная кружевами, быстро пошла ему навстрѣчу. Онъ остановился и невольно отшатнулся.

Кто-же это? Кто эта маленькая старушка?

— Борисъ, Боже мой, ты ли это?..—проговорила она, пораженная не менѣе его.

Онъ взглянулъ еще разъ, и раздраженіе, и непріязнь, съ которыми онъ ожидалъ этой встрѣчи, внезапно исчезли. Это не она, и ничего, кромѣ жалости, не чувствовалъ онъ къ этой новой, незнакомой ему и все-же не чужой старушкѣ.

Борисъ, намъ трудно узнать другъ друга...—тихо прошептала она тоже не прежнимъ голосомъ—и заплакала.

Онъ нагнулся, поцѣловалъ ея маленькую сухую руку.

Первая страшная минута прошла благополучно. Катерина Михайловна почувствовала подъ собою почву.

Она взяла Бориса Сергѣевича подъ руку и повела его дальше.

— Дѣти, дѣти!—звала она. —Идите скорѣе...

И потомъ, обращаясь къ нему, прибавила:

— Все новое, отъ прежняго только мы съ тобой остались...

Въ это время глаза Бориса Сергѣевича остановились на прелестномъ лицѣ молодой женщины, глядѣвшей на него большими, спокойными черными глазами.

— Натали, жена Сергѣя!—сказала Катерина Михайловна.

Онъ крѣпко сжалъ руку молодой женщины, отвѣтилъ улыбкой на милую улыбку, и оба они невольнымъ движеніемъ приблизились другъ къ другу и крѣпко поцѣловались.

Она указывала на дѣтей.

— Вотъ Соня, вотъ Володя, Маша, Коля.

Дѣдушка цѣловалъ внучатъ и говорилъ:

— Какіе большіе, какіе славные!..

И на душѣ у него становилось хорошо. Онъ видѣлъ, какъ эта милая молодая женщина ласково глядитъ на дѣтей, на дѣтей своего мужа, и какъ дѣти довѣрчиво къ ней жмутся.

Между тѣмъ, Катерина Михайловна, обнявъ хорошенькую Соню, которая, вдругъ отойдя отъ мачихи, къ ней прильнула и лукаво выглядывала изъ-подъ бабушкиныхъ кружевъ, призывала вниманіе Бориса Сергѣевича:

— Борисъ, вотъ эта старшая, моя баловница, бѣдовая дѣвочка, совсѣмъ отъ рукъ отбилась... Да, да, Сонюшка, я говорила тебѣ, что я буду на тебя непремѣнно жаловаться дѣдушкѣ. Да, Борисъ, будь съ ней построже!.. Est elle gentille, cette mignonne?—шепнула она ему, но такъ, что дѣвочка отлично разслышала.

Борисъ Сергѣевичъ погладилъ Соню по розовой щечкѣ, но въ то-же время ему стало неловко. Чувство жалости, въ первую минуту вызванное въ немъ перемѣной, найденной имъ въ Катеринѣ Михайловнѣ, пропадало.

Катерина Михайловна промахнулась и, вдобавокъ, не замѣтила этого.

Вдругъ, возлѣ Бориса Сергѣевича очутился толстенькій, нарядный, завитой мелкимъ барашкомъ мальчикъ. Онъ смѣло, съ откровеннымъ, дѣтскимъ любопытствомъ уставился на него большими черными глазенками и ловко расшаркался.

— А это вотъ другой баловень: Гриша!—говорила Катерина Михайловна.

Борисъ Сергѣевичъ поцѣловалъ ребенка. У него защемило сердце. Онъ взглянулъ на Катерину Михайловну вдругъ блеснувшими глазами, но она выдержала его взглядъ. Она спокойно указывала ему на медленно входившую въ комнату молодую женщину:

— C'est Marie!

Онъ пошелъ навстрѣчу этой Marie и невольно подумалъ:

«Какая разница!»

Онъ сравнивалъ ее съ женою Сергѣя. Какъ къ той сразу повлекло его сердце, такъ эта сразу же произвела на него непріятное впечатлѣніе. А между тѣмъ, что же можно было сказать противъ нея? Мари, жена Николая Горбатова, была еще очень молода,—лѣтъ двадцати шести, не болѣе, высокаго роста, полная блондинка, съ правильными, хотя нѣсколько крупными чертами. Она была къ лицу одѣта и причесана. Она вошла, оче-

видно, не спѣша, совсѣмъ спокойно; привѣтствовала почтеннаго родственника, котораго видѣла въ первый разъ, любезной фразой.

Она сказала, что давно, давно хотѣла съ нимъ познакомиться и узнать его, крѣпко сжала своей полной бѣлой рукой его руку.

Все это было прилично, хорошо; рѣшительно не къ чему было придраться. Но Бориса Сергѣевича не потянуло обнять и поцѣловать эту молодую женщину, какъ онъ сдѣлалъ, здороваясь съ Натали. Да и если-бъ онъ вздумалъ обнять и поцѣловать ее, то это вышло бы крайне неловко,—это навѣрное изумило бы ее, да, пожалуй, и всѣхъ.

Скоро появился Сергѣй, огромный, съ длинными ногами, со своими большими, жилистыми руками, и несмотря на это, изящный въ каждомъ движеніи, одѣтый, видно, съ большой тщательностью и обдуманностью.

Онъ улыбался во всѣ стороны широкой, добродушной улыбкой, щурилъ глаза, обращался съ дядей, какъ-будто всю жизнь съ нимъ не разставался. Дѣти тотчасъ-же обступили его. Одного онъ подхватилъ подмышку, другого—подъ другую, поболталъ ихъ въ воздухѣ, съ третьимъ повертѣлся, и наконецъ, прикрикнулъ на нихъ:

— Брысь! довольно! надоѣли!..

Онъ смѣялся, дѣти смѣялись и, глядя на нихъ, слыша этотъ смѣхъ, хорошо становилось Борису Сергѣевичу.

— Какая у тебя жена!—улучивъ удобную минуту, шепнулъ онъ племяннику.

— А что, дядя?

— Хороша! Да не собой только, понимаешь... очень хороша!

Сергѣй прищурился.

— Тѣмъ лучше, если нравится,—проговорилъ онъ:—впрочемъ, она всѣмъ нравится—Наташа!

— А тебѣ, можетъ, не нравится?

— Нѣтъ, и мнѣ нравится, только...—онъ вдругъ сдѣлался какъ бы серьезнѣе,—только она, кажется, слишкомъ хороша для меня...

Въ это время по всему дому послышался звонокъ, и Катерина Михайловна, подойдя къ почетному гостю, повела его въ столовую.

За большимъ столомъ размѣстилось не мало народу. Тутъ оказался гувернеръ мальчиковъ, блѣдный молодой французъ, съ выведенными въ струнку усиками и почти совсѣмъ бѣлой эспаньолкой. Двѣ гувернантки, изъ которыхъ одна, пожилая и степеннаго вида вдова-англичанка, носила историческую фамилію—называлась мистриссъ Стюартъ, держала себя какъ театральная королева; но, въ сущности, была просто-на-просто очень скучная и молчаливая дама. Катерина Михайловна выписала ее изъ Англіи

по какой-то особой рекомендаціи и была увѣрена, что только она и въ состояніи дать дѣтямъ «настоящее» воспитаніе. Мистриссъ Стюартъ пользовалась особымъ положеніемъ въ домѣ, имѣла свое отдѣльное помѣщеніе, вставала поздно, выходила изъ своей спальни только къ завтраку, давала дѣтямъ урокъ англійскаго языка и затѣмъ—считала себя въ правѣ совсѣмъ не заниматься ими. Другая гувернантка, молоденькая, съ задорнымъ, свѣжимъ личикомъ и быстрыми, быстрыми, довольно смѣлыми глазами, была русская, бѣдная дворяночка, Ольга Петровна Ежова. Она недавно окончила курсъ въ Александровскомъ отдѣленіи Смольнаго института и была взята въ помощь мистриссъ Стюартъ. Вся возня съ дѣвочками лежала на ней. Дѣти ее, очевидно, любили и дружески называли «Лили».

Затѣмъ было еще два сосѣда, очень незначительнаго и скромнаго вида, которыхъ представили Борису Сергѣевичу, и цѣлыхъ четыре старушки, что-то въ родѣ приживалокъ, что-то въ родѣ послѣдняго воспоминанія о прежней барской жизни.

Обѣдъ обильный, разнообразный, но нѣсколько безалаберный, проходилъ оживленно. Незамѣтно было никакой чинности, никакого стѣсненія, которыя въ прежнія времена такъ свято соблюдались въ домахъ, подобныхъ дому Горбатовыхъ.

Сергѣй громко смѣялся, подшучивая надъ старушками-приживалками, заигрывая съ дѣтьми и раза три въ теченіе обѣда пустилъ хлѣбные шарики по направленію хорошенькой «Лили». Шарики каждый разъ достигали назначенія. Гувернантка укоризненно поднимала свои блестящіе глазки на Сергѣя, немножко краснѣла, поеживалась, но, видимо, смущалась очень мало.

Борисъ Сергѣевичъ, сидѣвшій между Катериной Михайловной и Натали, не замѣтилъ этихъ подробностей, онъ съ трудомъ вслушивался въ то, что говорила ему Катерина Михайловна, для того чтобы впопадъ отвѣчать ей, и съ большимъ интересомъ всматривался въ свою другую сосѣдку. Ему все въ ней нравилось: вся ея небольшая стройная фигура, гладко и просто зачесанные густые черные волосы, длинныя рѣсницы темныхъ глазъ, тонкій хотя и неправильный профиль, мягкая добрая улыбка, звукъ голоса.

Отъ всего ея граціознаго, милаго существа вѣяло на стараго, уставшаго человѣка чѣмъ-то далекимъ, чѣмъ-то безконечно милымъ и давно похороненнымъ. Онъ искалъ въ ней сходство съ единственной женщиной, которую страстно любилъ въ жизни, и находилъ въ ней это сходство каждую минуту—не въ чертахъ, не во внѣшности, но въ чемъ-то неуловимомъ, въ чемъ-то внутреннемъ, что несравненно важнѣе всякой внѣшности. Да, рѣшительно, эта милая сосѣдка напоминала ему его Нину...

Обѣдъ былъ конченъ. Дѣти разсыпались съ шумомъ во всѣ стороны. Сергѣй, нѣсколько раскраснѣвшись отъ достаточнаго количества выпитаго имъ вина, зашагалъ черезъ всю комнату, шепнулъ мимоходомъ что-то такое хорошенькой гувернанткѣ, вѣрно, забавное, потому что она такъ и покатилась со смѣху. Потомъ подошелъ къ своей женѣ, разговаривавшей съ Борисомъ Сергѣевичемъ, нагнулся къ ней и поцѣловалъ ее въ лобъ.

Борисъ Сергѣевичъ не спускалъ съ нея глазъ. Она взглянула на мужа, но ничѣмъ не отвѣтила на поцѣлуй его, не улыбнулась ему, лицо ея оставалось спокойнымъ, глаза ничего не сказали, и она продолжала начатый разговоръ. Борисъ Сергѣевичъ почувствовалъ какъ будто тревогу.

Что это значитъ? Неужели, неужели она его не любитъ? Но нѣтъ, этого быть не можетъ, это пустое!..

Собирались на прогулку, жаръ давно спалъ, солнце стояло низко, старый знаменскій паркъ манилъ въ свои влажныя, зѣленыя объятія.

Старикъ предложилъ руку Наташѣ. Она крѣпко, довѣрчиво оперлась на эту руку, и они, спустившись со ступеней балкона, пошли вдоль широкой аллеи, обсаженной могучими вѣковыми дубами.

— Ma foi, дядя, кажется, начинаетъ ухаживать за Наташей!— весело говорилъ Сергѣй, обращаясь къ матери и Мари.

— Ну, это не опасно!—замѣтила Мари, беря его подъ руку и улыбаясь ничего не выражавшей улыбкой.

— Помилуй, какъ не опасно! Да посмотри на него,—вѣдь, онъ совсѣмъ красавецъ со своей серебряной бородой!

А Катерина Михайловна думала:

«Кажется, все хорошо, кажется, онъ поумнѣлъ, пора бы— совсѣмъ, вѣдь, старикъ!.. Неужели и я такъ постарѣла?»

Она глубоко вздохнула.

VIII.

«Большіе» и «маленькіе».

Борисъ Сергѣевичъ уже поздно вечеромъ возвращался въ Горбатовское. Старинная тяжелая коляска, запряженная тройкой крѣпкихъ деревенскихъ лошадей, слегка покачивала его по мягкой дорогѣ. Дорога эта шла у опушки лѣса. Съ одной стороны въ тихомъ сумракѣ лѣтней ночи поднималась неподвижная, таинственная чаща вѣковыхъ деревьевъ; съ другой—терялись во мглѣ засѣянныя поля. На блѣдномъ небѣ едва видно

трепетали звѣзды и далекій край небосклона уже медленно загорался зарей.

Тишина вокругъ стояла такая, что даже странно становилось, казалось, все замерло, застыло, окаменѣло, даже дорога не пылила подъ копытами лошадей и колесами коляски. И почти такъ-же тихо, какъ въ этой застывшей природѣ, было на душѣ у Бориса Сергѣевича. Но то не была тишина старческой усталости, которую иногда онъ уже начиналъ чувствовать въ послѣдніе годы. Нѣтъ, то была новая, спокойная тишина—и въ ней все-же чувствовалось біеніе жизни. Одинокому старому человѣку, давно позабывшему всѣ семейныя радости, теперь снова истекшій день посулилъ эти радости.

Борисъ Сергѣевичъ окунулся въ потокъ жизни, такъ или иначе, но все-же бившей ключемъ въ знаменскомъ домѣ и, окунувшись въ него, онъ почувствовалъ, что можетъ пріобщиться къ этой жизни и самъ, что найдется въ ней и для него мѣсто.

Онъ уѣхалъ изъ Знаменскаго не только безъ того тягостнаго ощущенія, съ какимъ туда отправился, но этотъ день оказался для него большимъ праздникомъ. Воспоминанія дѣтства и юности, отъ которыхъ человѣкъ никогда не можетъ совсѣмъ отдѣлаться, наполняли его. Знаменское,—вѣдь, это была та жизнь, по которой онъ и сознательно и безсознательно тосковалъ въ Сибири, среди совсѣмъ иной обстановки. И ему теперь было такъ отрадно, что даже не смущала его мысль о Катеринѣ Михайловнѣ, хотя онъ и сознавалъ, что не будь ея въ знаменскомъ домѣ,—тамъ было-бы еще лучше.

«Богъ съ ней, Богъ съ ней!»—шепталъ онъ.

Онъ думалъ о Сергѣѣ, онъ полюбилъ его въ одинъ день какъ родного сына; думалъ объ его милой Наташѣ, о славныхъ дѣтяхъ. Но вотъ пришлось подумать и о Мари. Она ему рѣшительно не нравилась, она ему казалась теперь еще болѣе непріятной, чѣмъ даже показалась въ первую минуту. Но онъ остановилъ себя:

«Быть можетъ я пристрастенъ, нужно отъ этого отдѣлаться, нужно быть справедливымъ! Чѣмъ-же, наконецъ, они то виноваты?»

И все-же онъ не могъ отдѣлаться отъ невольнаго враждебнаго чувства, которое вызвала въ немъ жена Николая и ея завитой и румяный, черноглазый Гриша. И еще менѣе того онъ могъ отдѣлаться отъ враждебнаго чувства, вызывавшагося въ немъ каждый разъ, когда онъ думалъ о Николаѣ.

«Какъ хорошо, что его нѣтъ, что онъ еще не пріѣхалъ, что, по крайней мѣрѣ, этого перваго дня онъ не испортилъ».

Мало-по-малу покачиванье коляски и окрестная тишина

стали усыплять его. Онъ задремалъ и очнулся только у воротъ горбатовскаго дома.

Въ Знаменскомъ появленіе Бориса Сергѣевича произвело большое впечатлѣніе. Даже дѣти были имъ заинтересованы. Еще во время послѣобѣденной прогулки дѣти оживленно и таинственно толковали о новомъ дѣдушкѣ. Соня, Володя, Маша и Гриша чуть было даже не поссорились изъ-за этого новаго дѣдушки. Машѣ и Гришѣ онъ не понравился, а Соня и Володя были отъ него въ восторгѣ.

— У него такое доброе, красивое лицо,—говорила Соня, дѣвочка очень живая, одаренная пылкимъ воображеніемъ.—Я вотъ его точно, точно такимъ и представляла себѣ, даже во снѣ его такимъ видѣла.

— Вотъ и выдумываешь!—замѣтилъ Гриша:—сама ты мнѣ разсказывала, что онъ тебѣ приснился сѣдой, съ длинной бородой и большой, большой.

— Ну такъ что-жъ такое, онъ точно такой и есть.

— Какъ? большой?

— Да, съ длинной сѣдой бородой, такой точно!—настойчиво твердила Соня.

Гриша презрительно пожалъ плечами.

— Да, большой, нечего сказать! Дядя Сережа вдвое его больше... и, вѣдь, извѣстно, что ты, Соня, лгунья!

Онъ ей высунулъ языкъ и сдѣлалъ гримасу.

Соня вспыхнула.

— Ты самъ лгунъ, и я бабушкѣ пожалуюсь, что ты дразнишься и гримасничаешь!—начиная уже всхлипывать, пропищала она.

— Да, вѣдь, это правда, Соня,—вступилась Маша, здоровая дѣвочка, далеко не такъ красивая какъ сестра, но все-же съ очень милымъ и задорнымъ личикомъ.—Вѣдь, это правда! Ты сама намъ всѣмъ разсказывала, говорила: «большой, большой!» а онъ маленькій...

— Я съ тобой совсѣмъ даже и не говорю!—окончательно озлившись, крикнула Соня и отвернулась отъ сестренки.

— Да полно-же, какъ вамъ не стыдно!—вдругъ проговорилъ до того времени молчавшій Володя.

Этотъ Володя не былъ любимцемъ бабушки, не былъ любимцемъ отца, но за то былъ любимцемъ мачихи, «мамы Наташи», какъ дѣти часто ее называли. Володя былъ довольно странный мальчикъ, уродившійся, вѣрно, въ кого-нибудь со стороны своей покойной матери, потому что горбатовскихъ чертъ въ немъ, по крайней мѣрѣ до сихъ поръ, не было совсѣмъ видно. Блѣдный, худенькій съ разсѣянными, какъ то неопредѣленно глядящими,

свѣтлыми глазами, съ прелестнымъ, серьезнымъ ротикомъ, съ широко раскрытыми, по временамъ вздрагивавшими ноздрями— онъ производилъ впечатлѣніе чего-то своеобразнаго, загадачнаго.

Въ немъ замѣчалась большая нервность и черезчуръ раннее умственное развитіе. Иногда онъ поражалъ «маму Наташу» своими совсѣмъ не дѣтскими мыслями, своими вопросами, на которые ей трудно, почти невозможно было отвѣчать ему, потому что онъ не удовлетворялся такимъ отвѣтомъ, какимъ могъ бы удовлетвориться другой ребенокъ. Онъ заставлялъ ее задумываться надъ ея обязанностями относительно него и начиналъ уже играть большую роль въ ея внутренней жизни...

Онъ держался, по большей части, особнякомъ, но иногда вдругъ, подъ вліяніемъ неудержимаго порыва, примыкалъ къ сестрамъ и двоюродному брату, оживлялъ ихъ, выдумывалъ всевозможныя забавы, разсказывалъ имъ какія-то странныя исторіи, которыя неизвѣстно откуда брались у него, заинтересовывалъ ихъ этими исторіями, запугивалъ ихъ даже, дѣйствовалъ на нихъ какъ-то магнетически, такъ что они всѣ находились подъ его вліяніемъ.

Потомъ вдругъ остывалъ, отдѣлялся отъ нихъ и начиналъ снова жить своей никому невѣдомой, таинственной жизнью.

Онъ былъ добрый мальчикъ, очень чувствительный, чуткій; но вмѣстѣ съ этимъ, иногда, въ припадкѣ внезапнаго гнѣва, былъ способенъ прибить и сестеръ, и двоюроднаго брата, нагрубить гувернеру и гувернанткѣ, нагрубить даже отцу, даже бабушкѣ. Въ такія минуты только «мама Наташа» могла его, да и то не всегда, уговорить и привести въ себя.

Дѣти его не любили и даже то магнетическое вліяніе, которое онъ имѣлъ надъ ними, было для нихъ тягостно.

Весь этотъ день онъ былъ очень молчаливъ, ни съ кѣмъ почти не сказалъ ни слова и только все пристально вглядывался въ новаго дѣдушку.

— Да перестаньте же!—еще разъ своимъ тонкимъ, властнымъ голоскомъ крикнулъ онъ.—Какъ будто не все равно большой онъ или маленькій! А знаете ли вы, что дѣдушка былъ сосланъ въ Сибирь? Что онъ сидѣлъ въ темницѣ долго, долго, что на немъ были цѣпи!

Гриша, Соня и Маша раскрыли глаза и разинули рты. Этого они не знали.

— Кто тебѣ сказалъ? Откуда ты взялъ это?—въ одинъ голосъ, почему-то боязливо оглядываясь, прошептали они.

— Знаю,—спокойно и увѣренно сказалъ Володя, и такъ и не объяснилъ откуда знаетъ; но они ему повѣрили какъ и всегда.

— Что-же онъ такое сдѣлалъ?

Володя пожалъ плечами, раздулъ свои тонкія ноздри и проговорилъ.

— Ничего дурного... онъ былъ невиноватъ...

— Да кто-же, кто тебѣ сказалъ все это?

— Я знаю!— опять таинственно произнесъ Володя, и дѣти больше ничего отъ него не могли добиться.

— Но, вѣдь, если онъ не былъ виноватъ, такъ значитъ... значитъ, его приняли за другого?—вдругъ разсудилъ Гриша.

— Можетъ быть, не знаю!—разсѣянно отвѣчалъ Володя и погрузился въ задумчивость.

И не могъ онъ изъ нея выйти во все время прогулки и потомъ, во время чаю, и долго возился въ своей постелькѣ, рѣшая какіе-то трудные и важные вопросы. Онъ то и дѣло приподнимался, широко раскрывалъ глаза и оглядывалъ всю большую комнату, едва озарявшуюся свѣтомъ ночной лампадки. Онъ какъ будто хотѣлъ и ждалъ увидѣть что-то особенное.

Но ничего особеннаго не было. Направо, изъ-за полумрака, выдѣлялась всклокоченная голова молодого француза, съ его торчавшей бѣлой эспаньолкой. Французъ то храпѣлъ, то вдругъ начиналъ скрежетать зубами. Это была его особенность во время сна. Володя ненавидѣлъ это скрежетанье, оно доводило его до бѣшенства. Съ другой стороны была кровать Гриши. Гриша какъ легъ, такъ сейчасъ-же и заснулъ, и теперь лежалъ разметавшись, съ открытымъ ртомъ, мѣрно дыша, лежалъ во всей красотѣ здороваго и уставшаго за день ребенка...

Дѣвочки тоже давно уже спали въ своей комнатѣ. Но прежде чѣмъ заснуть, онѣ передали другъ другу свои послѣднія впечатлѣнія, вызванныя пріѣздомъ дѣдушки.

— А я думала,—сказала Маша: — вотъ пріѣдетъ дѣдушка и привезетъ много, много игрушекъ...

— И я тоже думала,—тихонько отвѣтила Соня: — я даже представляла себѣ какія это будутъ игрушки, особенно мнѣ хотѣлось маленькую, но, понимаешь, настоящую, самую настоящую кухню.

— А можетъ быть, еще будутъ игрушки—какъ ты думаешь, Соня?

Соня подумала немного.

— Да, будутъ, навѣрно будутъ, бабушка говорила, что у дѣдушки много, очень много денегъ. Подождемъ, онъ опять пріѣдетъ...

Хорошенькая Лили, раздѣвавшаяся въ это время и слышавшая ихъ тихій разговоръ, подумала, что, вѣдь, нужно бы было внушить имъ, что думать о подаркахъ и ждать ихъ нехорошо;

но вдругъ ея мысли ушли въ другую сторону, она чему-то тихонько про себя улыбнулась и ничего не сказала своимъ воспитанницамъ...

Старшіе еще оставались нѣсколько минутъ на балконѣ по отъѣздѣ Бориса Сергѣевича. Они тоже думали о немъ и говорили.

— Ахъ, какъ онъ измѣнился, какой старикъ, я бы его никогда не узнала!—произнесла Катерина Михайловна.

— Что-же удивительнаго,—замѣтила Наташа:—вѣдь, годы его не молодые, а жизнь какая была! Боже мой, на каторгѣ, въ ссылкѣ, всю жизнь изгнанникъ... потерялъ жену... дѣтей... остался одинъ на свѣтѣ... Что-же можетъ быть ужаснѣе такой жизни? И еще надо удивляться, какъ онъ такъ бодръ и свѣжъ...

— Да, удивительно бодръ и свѣжъ!—сказалъ Сергѣй.—Глядя какимъ гоголемъ онъ выступалъ съ тобой подъ ручку въ паркѣ, никакъ нельзя было сказать, что это такой несчастный человѣкъ...

— Tuexagéres, Natalie,—замѣтила КатеринаМихайловна:—вѣдь, у каждаго въ жизни потери, каждый переживаетъ трудныя минуты.

— Тутъ не минуты, maman, а годы...

— Э! другъ мой, люди вездѣ живутъ, и въ Сибири, и на краю свѣта. Вѣдь, онъ разсказывалъ, какъ тамъ у нихъ хорошо было... и потомъ—привычка...

— Нѣтъ, это не то, совсѣмъ не то!..—упрямо повторяла Наташа.—Совсѣмъ особенная, высшая жизнь, и я никогда еще не видала такого интереснаго человѣка...

— Ну да, совсѣмъ заобожала, какъ въ Смольномъ у васъ,—смѣясь, проговорилъ Сергѣй, кладя руку на плечо жены:—институтка ты моя неисправимая! Вотъ Мари небось не видитъ ничего особеннаго такого въ дядѣ и чрезвычайнаго.

— Конечно!—отвѣтила до сихъ поръ молчавшая Мари.—Что въ немъ особеннаго? Красивый старикъ... Насколько онъ уменъ—сразу судить нельзя, въ особенности мнѣ, такъ какъ онъ со мной почти двухъ словъ не сказалъ. Вотъ одно въ немъ развѣ удивительно: какъ, это всю жизнь проживъ въ дикой странѣ, Богъ знаетъ съ какими людьми, онъ все-же сохранилъ приличныя манеры.

— Да,—усмѣхнулась Катерина Михайловна:—и я еще больше могу удивить тебя — представь—онъ теперь сталъ гораздо приличнѣе, онъ теперь гораздо лучше себя держитъ, чѣмъ въ молодости, когда я его знала.

На этомъ кончился разговоръ о Борисѣ Сергѣевичѣ. Всѣ простились и разошлись по своимъ спальнямъ.

IX.

Магнитъ.

Случилось то, чего никакъ не ожидалъ старый изгнанникъ, возвращаясь на родину, но что, между тѣмъ, было очень естественно. Съ перваго-же дня его стало тянуть въ Знаменское и не прошло и двухъ недѣль, какъ онъ тамъ совсѣмъ освоился. Онъ уже нѣсколько разъ и въ Горбатовскомъ принималъ всѣхъ знаменскихъ жителей, отъ мала до велика.

Въ старомъ, еще такъ недавно заколоченномъ каменномъ домѣ и вокругъ него все очень быстро измѣнилось. Въ цѣлый день открытыя окна врывался свѣжій воздухъ, врывались солнечные лучи и вытѣсняли годами накопившуюся сырость и затхлость. Паркъ расчищался. Появился выписанный изъ Москвы садовникъ. Каждый день выростали новыя куртины и клумбы съ цвѣтами.

Борисъ Сергѣевичъ по привычкѣ вставалъ очень рано и до полудня работалъ, разбираясь въ своемъ огромномъ, сложномъ и запутанномъ хозяйствѣ, такъ долго остававшемся на рукахъ разныхъ управителей, которые почти безъ исключеній злоупотребляли своимъ положеніемъ и изъ которыхъ многіе, начавшіе ни съ чѣмъ, были теперь богачами.

Борисъ Сергѣевичъ работалъ и приводилъ все въ ясность съ большимъ жаромъ и имѣлъ при этомъ видъ человѣка съ затаенною мыслью и планами, которыхъ до поры до времени не хотѣлъ никому повѣрять. Да такъ оно и было.

Но какъ только пробьетъ полдень на старинныхъ огромныхъ часахъ рабочаго кабинета, у дверей уже стучится Степанъ и объявляетъ, что готовъ завтракъ. Борисъ Сергѣевичъ складываетъ всѣ бумаги и счеты, запираетъ ихъ на ключъ въ бюро и идетъ завтракать. Степанъ радуется, глядя на своего барина и думаетъ: «Ну, славу Богу, все отмѣнно хорошо, другимъ сталъ Борисъ Сергѣевичъ... и кушаетъ больше прежняго. И, вѣдь, такой добрый, улыбаться сталъ, смѣяться. Послѣ Нины Александровны такимъ еще его никто не видывалъ!.. Отмѣнно хорошо!..»

— Прикажете закладывать?—спрашивалъ онъ барина. Въ Знаменское поѣдете, али къ намъ гости будутъ?

— Поѣду, поѣду, — разсѣянно, но весело говоритъ Борисъ Сергѣевичъ.

— Да что это вы, сударь, все туда да туда,—во время одного изъ такихъ завтраковъ сказалъ Степанъ. Къ намъ бы почаще

дорогихъ гостей звали. Ишь, вѣдь, вы какой, обо мнѣ небось не подумаете, вамъ-то хорошо, весело, а я тутъ одинъ какъ сычъ! Жадный вы нынче стали, сударь, вотъ что! Все себѣ одному... А я бы вотъ на нашего Сереженьку порадовался, на супругу ихнюю, малыхъ дѣточекъ... Вѣдь, какъ намедни наѣхали, зазвенѣли дѣточки по всѣмъ комнатамъ, забѣгали—такъ-то радостно стало!..

— Такъ поѣзжай со мной въ Знаменское, Степанъ, что-же тутъ.

Но Степанъ нахмурился и покачалъ головою.

— Нѣтъ, батюшка Борисъ Сергѣевичъ, не поѣду!—рѣшительно и упрямо сказалъ онъ.

— Что такъ?

— Сами знаете, не приходится мнѣ къ Катеринѣ Михайловнѣ ѣздить. Я для нея холопъ и дальше прихожей носу не смѣю высунуть... Намедни вотъ я съ Володенькой поговорить вздумалъ да по головкѣ его погладилъ, а она и входитъ: тотчасъ отвела его отъ меня и внушаетъ ему по-французски, будто я не понимаю... А я очень таки разобралъ: «Не связывайся, молъ, со старымъ лакеемъ, онъ тебя грязными руками запачкаетъ».

Степанъ невольно взглянулъ на свои старыя, красныя, но очень чистыя руки, и вдругъ его доброе и въ то же время спокойное и серьезное лицо сдѣлалось злымъ и непріятнымъ. Онъ, очевидно, хотѣлъ что-то прибавить, но замолчалъ.

Поморщился и Борисъ Сергѣевичъ.

— Ну погоди, Степанъ, еще недѣльку, другую,—сказалъ онъ.— Вотъ приведемъ все въ порядокъ въ домѣ, тогда и гостей чаще звать можно будетъ.

— Да чего тутъ приводить въ порядокъ, батюшка, все у насъ, кажется, и такъ въ порядкѣ. Вы сравните-ка только нашъ домъ да знаменскій! Этотъ вотъ двѣсти лѣтъ еще будетъ стоять и ничего съ нимъ не сдѣлается, потому—каменный онъ и не по нынѣшнему строенъ. Стѣны-то, стѣны—вѣдь, ихъ никакими пушками не прошибешь! А тамошній домъ что—совсѣмъ рухлядью сталъ. Я какъ поглядѣлъ, такъ и обмеръ, не узналъ даже, покосился весь, покривился, штукатурка-то валится, черныя бревна изо всѣхъ дыръ выглядываютъ... Давно бы пора его разобрать совсѣмъ, да новый выстроить... мнѣ вотъ такъ сдается, что даже господамъ нашимъ, внучатамъ папеньки вашего покойнаго, Сергѣя Борисовича, въ дому такомъ и жить-то не приличествуетъ... Аль не на что новыя хоромы вывести... это господамъ-то Горбатовымъ?.. Вѣдь, не можетъ такое статься!..

И онъ вопросительно и внимательно взглянулъ на Бориса Сергѣевича.

— Ну, однако, вели-же закладывать!—съ нетерпѣніемъ перебилъ Борисъ Сергѣевичъ, не отвѣчая на вопросъ его.

Степанъ былъ правъ, вовсе нечего было ждать какихъ-нибудь еще новыхъ исправленій, улучшеній въ Горбатовскомъ домѣ для пріема гостей, и со стороны Бориса Сергѣевича это была пустая отговорка. Просто ему пріятнѣе было ѣздить въ Знаменское, чѣмъ принимать родныхъ у себя. Когда они сюда пріѣзжали — его счастливое настроеніе то и дѣло портилось. Ему гяжело было видѣть здѣсь, въ этой обстановкѣ, полной воспоминаній, Катерину Михайловну, а тамъ, въ Знаменскомъ, хотя она и считалась хозяйкой, но онъ какъ-то переставалъ замѣчать ее.

Она вовсе ему не навязывалась, иногда по цѣлымъ часамъ ея не было совсѣмъ видно. Она любила теперь проводить почти цѣлые дни, особенно когда было жарко, въ своихъ комнатахъ со спущенными занавѣсками, разбирая и перебирая сундуки, которые наполняли эти комнаты и гдѣ были сложены самые разнородные предметы, начиная со всевозможныхъ заграничныхъ вещицъ, дорогихъ кружевъ, старыхъ нарядовъ, запасовъ тончайшаго бѣлья, изумительно расшитаго и разукрашеннаго крѣпостными мастерицами, и кончая даже самымъ ненужнымъ тряпьемъ.

Катерина Михайловна по часамъ стояла на колѣняхъ передъ какимъ-нибудь сундукомъ, все изъ него выкладывала, разглядывала, свертывала и перевертывала и снова укладывала на старое мѣсто или изъ сундука въ сундукъ. Если ее спрашивали въ это время по какому-нибудь дѣлу, она сердито гнала всѣхъ прочь и говорила, что занята и чтобы ей не мѣшали.

Она допускала, при этомъ неустанномъ перебираніи сундуковъ, только присутствіе Сони и Гриши. Они, конечно, бывали очень рады оставаться въ бабушкиныхъ комнатахъ и разглядывать вмѣстѣ съ нею ея вещи. А бабушка вдобавокъ еще иногда имъ что-нибудь и дарила изъ своего хлама...

Мари тоже не надоѣдала Борису Сергѣевичу. Нельзя сказать, чтобы антипатія между ними была взаимная, Мари даже очень-бы хотѣлось быть поближе къ Борису Сергѣевичу, при другихъ обстоятельствахъ она была бы не прочь позаботиться объ этомъ насколько то было въ ея средствахъ. Но теперь въ ней говорили обида и зависть—предпочтеніе, оказываемое старикомъ Наташѣ было черезчуръ ясно.

Въ первые дни Мари очень этимъ раздражалась, выходила изъ себя, но по своему обычаю молча и не показывая никому вида. Затѣмъ ей скоро надоѣло раздражаться и выходить изъ себя, такъ какъ она пуще всего дорожила своимъ спокойствіемъ.

Она махнула рукой и утѣшила себя мыслью, что это не надолго. Наташа, вѣдь, взбалмочная и нетерпѣливая, навѣрное, ей скоро надоѣстъ возиться со старикомъ, и вотъ тогда и она имъ займется.

И не думая больше о присутствіи Бориса Сергѣевича въ домѣ, Мари стала продолжать свой обычный образъ жизни. Она просыпалась очень поздно, пила кофе въ кровати, потомъ еще часъ-другой нѣжилась, дремала и потягивалась. Затѣмъ медленно, съ помощью двухъ горничныхъ, начинала одѣваться и причесываться. Выходила къ завтраку нарядная, пышная, бѣлая, со своими медленными, вялыми движеніями, съ заспанными глазами, съ остатками зѣвоты. Между завтракомъ и обѣдомъ она обыкновенно сидѣла въ тѣни на террассѣ съ французскимъ романомъ и выходила изъ своего спокойствія только въ томъ случаѣ, если гувернеръ или гувернантка приходили жаловаться на какую-нибудь Гришину проказу. Тогда она призывала Гришу и говорила ему строгимъ голосомъ:

— На тебя опять жалуются, ты опять дурно ведешь себя... ты непремѣнно хочешь сдѣлаться совсѣмъ негоднымъ мальчишкой, ни дня нѣтъ спокойнаго у меня съ тобою! Иди въ классную и сиди тамъ до обѣда, не смѣй играть съ дѣтьми и знай, что ты сегодня безъ пирожнаго...

Гриша выслушивалъ все это довольно равнодушно, во-первыхъ, потому, что онъ каждый разъ отъ своей матери слышалъ одни и тѣ-же слова, какъ будто разъ навсегда заученныя ею. А во-вторыхъ, потому, что онъ ничуть не боялся послѣдствій этихъ словъ. Вмѣсто того чтобы идти по приказу матери въ классную, онъ кидался къ бабушкѣ, начиналъ жаловаться ей на несправедливость гувернера или гувернантки, увѣрялъ, что совсѣмъ невиноватъ, хныкалъ, принималъ самый несчастный видъ.

— Ну, ступай, ступай!—говорила Катерина Михайловна.—Я попрошу на этотъ разъ, чтобы тебя простили, чтобы тебѣ позволили играть съ дѣтьми. Но знай—это въ послѣдній разъ.

Мальчикъ чмокалъ руку бабушки и выбѣгалъ отъ нея довольный.

А Катерина Михайловна покидала свои сундуки и отправлялась на террасу къ Мари.

— Мари,—говорила она:—опять вы мучаете Гришу!

— Чѣмъ? Кто его мучаетъ?—отзывалась Мари, неохотно отрываясь отъ своего романа.

— Всѣ вы его мучаете! Я тебѣ давно говорю: нельзя такъ накидываться на ребенка!.. Этотъ Рибо просто его ненавидитъ: его любимецъ Володя, тому всегда все онъ спускаетъ, а Гриша всегда во всемъ виноватъ, ты же только потакаешь этимъ несправедливостямъ, никогда не разберешь дѣла какъ слѣдуетъ...

— Да, вѣдь, это моя обязанность, maman, его наказывать, когда на него жалуется учитель...

Катерина Михайловна съ презрѣніемъ пожимала плечами.

— Обязанность!.. Я думаю, твоя обязанность прежде всего не портить его характера, чтобы онъ не чувствовалъ несправедливости... Извини меня, ты совсѣмъ, совсѣмъ не умѣешь воспитывать!...

Мари нѣсколько измѣнялась въ лицѣ, видимо, желала сказать что-то, но все-же обыкновенно воздерживалась отъ всякаго отвѣта. Къ такимъ разговорамъ и объясненіямъ она уже давно привыкла. Сначала она давала понять Катеринѣ Михайловнѣ, что, во всякомъ случаѣ, не у нея ей брать уроки воспитанія. Но Катерина Михайловна за подобныя «оскорбленія» поднимала такую перепалку и потомъ столько времени всячески придиралась къ невѣсткѣ, что Мари, наконецъ, перестала возражать и язвить, чтобы только ее оставили въ покоѣ,—да и къ тому-же, вѣдь, въ сущности, ей было рѣшительно все равно, наказанъ-ли Гриша, или нѣтъ.

— Ахъ, Боже мой, да дѣлайте что вамъ угодно! говорила она. — Прощайте его, если хотите, если находите, что онъ не виноватъ...

Она потягивалась, зѣвала и принималась снова за чтеніе.

Катерина Михайловна уходила съ террасы, звала Гришу, разрѣшала ему играть съ дѣтьми и за обѣдомъ ѣсть пирожное. Если-же ей попадался Рибо и начиналъ объяснять виновность Гриши и необходимость наказать его, она своимъ презрительнымъ, горделивымъ тономъ отвѣчала французу:

— Mon Dieu, il faut être indulgent—le petit est si nerveux—et puis il m'a promis d'être sage...

Французъ замолкалъ и только позволялъ себѣ, за спиною Катерины Михайловны, пожимать плечами. Онъ зналъ, что идти ему противъ нея нельзя, а въ домѣ ему было хорошо, жалованье пока платили исправно...

Онъ только старался не замѣчать торжествующихъ и довольно дерзкихъ минъ, которыя ему дѣлалъ Гриша, убѣждаясь въ своей окончательной безнаказанности.

Послѣ обѣда, если была хорошая погода, Мари имѣла обычай прогуливаться въ паркѣ, и любила гулять одна. Она шла медленно, все по одной и той-же, ею излюбленной аллеѣ, шла какъ-то осторожно, будто бережно неся свою пухлую, красивую фигуру. Потомъ, почувствовавъ усталость, она садилась въ бесѣдку, опять всегда на одну и ту-же скамейку, и сидѣла такъ съ часъ, глядя прямо передъ собою съ застывшимъ выраженіемъ на лицѣ. Затѣмъ она медленно поднималась, возвращалась до-

мой, пила чай и ужинала, отвѣчала, когда къ ней обращались съ разговоромъ, но сама ни съ кѣмъ никогда разговоровъ не заводила.

Когда наставало время расходиться, она удалялась въ свою спальню, раздѣвалась, ложилась въ постель и опять читала французскій романъ, пока строчки не начинали сливаться передъ ея глазами. Тогда она закрывала книжку, тушила свѣчу, переворачивалась на другой бокъ и спокойно засыпала.

И такъ изо-дня въ день, и эта жизнь была ей совсѣмъ по сердцу. Она никогда не скучала, и никто въ это послѣднее время ни разу не слыхалъ отъ нея нетерпѣливаго замѣчанія, что вотъ мужъ до сихъ поръ не ѣдетъ.

Сергѣя Владиміровича часто не бывало дома, онъ рѣшительно не былъ въ состояніи вести какого-нибудь опредѣленнаго образа жизни. Иной разъ онъ спалъ до полудня, такъ что даже опаздывалъ къ завтраку, а то вдругъ поднимется часовъ въ пять утра, одѣнется на скорую руку, велитъ осѣдлать лошадь — и ускачетъ. Мчится по цѣлымъ часамъ невѣдомо куда и зачѣмъ, не жалѣя лошади. А то завернетъ на село, учинитъ переполохъ, подниметъ на ноги всѣхъ ребятишекъ и собакъ, заберется въ какую-нибудь избу, болтаетъ со стариками и старухами... Или отправится на работы, смѣется съ парнями и дѣвками... Крестьяне ничуть его не боялись и даже любили. Безтолково, зря, но онъ все-же помогалъ многимъ, раздавалъ деньги, угощалъ часто водкою...

«Ничего, добрый баринъ! — говорили про него: — шальной только, да и дѣвокъ вотъ отъ него подальше прятать надо»...

Но упрятать было трудно...

Любилъ также Сергѣй Владиміровичъ забраться иногда верстъ за двадцать, за тридцать отъ Знаменскаго, къ какому-нибудь мелкопомѣстному сосѣду въ маленькій старосвѣтскій домикъ. И всюду ему рады, встрѣчаютъ съ улыбками, съ поклонами. Онъ знаетъ слабую струну каждаго, знаетъ съ кѣмъ о чемъ говорить надо, чтобы доставить удовольствіе... Любятъ его старички и старушки, любятъ его молодыя женщины и дѣвушки, не любятъ только молодые мужчины и особенно мужья, у которыхъ недурныя жены.

«Грѣховодникъ, у! какой грѣховодникъ!»—идетъ далеко отъ Знаменскаго молва о молодомъ Горбатовѣ.

Грѣховодникъ — но ничего обиднаго не слышится въ этомъ опредѣленіи, всѣхъ-то онъ околдовываетъ своей милой улыбкой, простотою обращенія и безалаберной добротой. Даже совсѣмъ забываютъ, что у этого грѣховодника молодая жена-красавица...

А онъ возвращается въ Знаменское послѣ своихъ набѣговъ

и приключеній все съ тою-же скукой. Принимается возиться съ дѣтьми, подзадориваетъ хорошенькую гувернантку и вдругъ присмирѣетъ, уйдетъ къ себѣ, заляжетъ на диванъ, вытянетъ свои длинныя ноги и зѣваетъ — зѣваетъ безъ конца, всей могучей грудью, повторяя свою любимую поговорку:

«Охъ-хо-хо! грѣхи наши тяжкіе!»

Подойдетъ къ нему Наташа, слабо улыбнется, скажетъ:

— Ну, чего ты вздыхаешь, что съ тобой?

Онъ притянетъ ее къ себѣ, обойметъ, да вдругъ и отпуститъ.

— Знаешь-ли ты, Наташа, что я, вѣдь, ужасная дрянь... Я не стою тебя, совсѣмъ не стою,—право!

— Знаю!

Она улыбается ему какъ балованному ребенку и, конечно, не приходитъ ей въ голову, что онъ говоритъ искренно и серьезно...

При такихъ привычкахъ знаменскихъ жителей въ распоряженіи Бориса Сергѣевича, главнымъ образомъ, оставалась Наташа и отчасти дѣти, изъ которыхъ, не безъ вліянія Наташи, онъ особенно заинтересовался Володей. Первое впечатлѣніе, произведенное на старика молодой женщиной, росло съ каждымъ днемъ, и онъ радостно отдался своему новому чувству. Онъ перенесъ на Наташу, внезапно и безповоротно, всю свою нѣжность. Въ ней теперь воплощались для него всѣ дорогія ему существа, отнятыя отъ него судьбою—и мать, и жена, и дочь. Сила этой внезапно вспыхнувшей старческой привязанности была такъ велика, что не могла не подѣйствовать на Наташу. Она ее почувствовала, приняла съ благодарностью, и сама привязалась къ одинокому старику съ дочерней нѣжностью.

Она ждала его появленія, сторожила его, встрѣчала первая, съ доброй, ласковой улыбкой на прелестномъ лицѣ. Она почти не отходила отъ него все время, когда онъ бывалъ въ Знаменскомъ. И теперь, черезъ двѣ недѣли знакомства, они уже хорошо знали другъ друга. Онъ передалъ ей почти всѣ обстоятельства своей жизни, и она сдѣлала то-же самое. Каждый изъ нихъ думалъ, что у другого нѣтъ отъ него тайны, а между тѣмъ оба они все-же обманули другъ друга, потому что каждый хранилъ про себя свою главную тайну.

Какъ-бы то ни было, Борисъ Сергѣевичъ изъ живыхъ разсказовъ Наташи узналъ всю несложную исторію ея дѣтства и первой юности.

Она помнила себя въ большомъ богатомъ петербургскомъ домѣ отца своего, князя Засѣцкаго, помнила себя единственнымъ балованнымъ ребенкомъ. Она разсказала ему о своемъ первомъ горѣ, о смерти отца, умершаго вдругъ, во время параднаго обѣда, отъ разрыва сердца. Этотъ нежданный ударъ такъ поразилъ ея

мать, бывшую всегда слабаго здоровья, что молодая вдова стала чахнуть и черезъ нѣсколько мѣсяцевъ умерла отъ скоротечной чахотки.

Наташа вспоминала этотъ годъ какъ тяжелый, ужасный сонъ, который кончился для нея бредомъ и болѣзнью. Когда выздоровѣла—она была все въ томъ-же домѣ; но теперь она его очень боялась. Она дрожала, кричала, звала отца и мать. Ея родственники боялись, что бодѣзнь повторится и поспѣшили отдать ее въ Смольный институтъ, разсчитывая, что окруженная подругами, среди совсѣмъ другой жизни, она скоро развлечется и забудетъ о своихъ утратахъ. Конечно, оно такъ и случилось. Дѣтское горе, какъ-бы глубоко оно ни было, забывается, смывается временемъ.

Наташа разсказывала Борису Сергѣевичу о своихъ любимыхъ подругахъ, объ учителяхъ, объ институтскихъ проказахъ, посѣщеніяхъ института покойнымъ государемъ, котораго всѣ институтки обожали. Она разсказывала, какъ государь обыкновенно уѣзжалъ отъ нихъ безъ платка, съ оборванными пуговицами мундира, и какъ онѣ, по его отъѣздѣ, спорили и даже чуть не дрались изъ-за его пуговицъ, изъ-за кусочковъ его платка. Разсказывала, какъ онъ одинъ разъ угощалъ ихъ персиками и самъ ѣлъ съ ними, и какъ онѣ потомъ собрали всѣ косточки отъ его персиковъ и хранили ихъ какъ святыню. Ей хорошо и весело было въ институтѣ, у нея и теперь еще глаза горѣли, когда она вспоминала всѣ наивныя приключенія и интересы этой дѣтской жизни...

Ну, а потомъ... дѣтство кончилось, къ дѣтскимъ интересамъ прибавились иныя мечты о будущемъ, ждалась жизнь новая, долгая, волшебная, счастливая...

Институтъ покинутъ, княжна у родныхъ, всѣ ее такъ любятъ, всѣ такъ ласковы съ нею, ее наряжаютъ и вывозятъ въ свѣтъ. Она разсказала изгнаннику вѣчную исторію первыхъ бальныхъ ощущеній молоденькой дѣвушки...

— Какъ-же ты встрѣтилась со своимъ мужемъ? Какъ ты полюбила его, Наташа?—спросилъ Борисъ Сергѣевичъ.—Это нескромный вопросъ, я знаю, и ты можешь не отвѣчать на него... Но нѣтъ, — прибавилъ онъ: — вѣдь, ты мнѣ разскажешь... я не смутилъ тебя своимъ вопросомъ?

Она подняла на него большіе темные глаза и тихо заговорила:

— Какъ я встрѣтилась съ Сергѣемъ? На большомъ придворномъ балу... Я не помню, кто ко мнѣ подвелъ его, онъ танцовалъ со мной мазурку... Потомъ, на другой день, пріѣхалъ съ визитомъ къ тетѣ Аннѣ. Потомъ сталъ бывать у насъ... все чаще и чаще...

— Ну, и что-же ты?

— Я всегда бывала рада его видѣть. Онъ былъ такой весе лый, такой милый... только онъ немножко пугалъ меня своимъ пристальнымъ взглядомъ... уставится... глядитъ!.. Вы знаете этотъ его взглядъ, замѣтили?.. такъ прямо, прямо въ глаза и какъ будто спокойно, и не можешь не глядѣть на него... и вдругъ почему-то становится его жалко...

— Да, я знаю этотъ его взглядъ! — задумчиво сказалъ Борисъ Сергѣевичъ.

И теперь онъ понялъ, что было особеннаго въ этомъ взглядѣ Сергѣя: именно, когда онъ такъ глядѣлъ, его почему-то становилось жалко.

— Ну, а потомъ,—продолжала Наташа:—стала я замѣчать что тетя Анна подружилась съ Катериной Михайловной. Прошелъ еще мѣсяцъ... Сергѣй написалъ письмо тетѣ Аннѣ. Она мнѣ прочла его, спросила, согласна-ли я... я заплакала и сказала: согласна...

Во время этого разговора они сидѣли въ паркѣ у пруда, въ полуразрушенной бесѣдкѣ, въ той самой бесѣдкѣ, гдѣ когда-то давно, давно еще въ прошломъ столѣтіи, прозвучали первыя наивныя слова любви между отцомъ Бориса и его матерью.

Наташа замолчала.

— А зачѣмъ-же,—ласково выговорилъ старикъ:—зачѣмъ-же ты заплакала, когда сказала: согласна?

Она подумала и хотѣла отвѣчать, но въ это время, запыхавшись, весь красный, къ нимъ подбѣжалъ Володя.

— Дѣдушка! мама!—крикнулъ онъ, едва переводя дыханіе:—дядя Николай пріѣхалъ!

Наташа опустила руки и такъ поблѣднѣла, что будто вся жизнь сбѣжала съ лица ея.

Борисъ Сергѣевичъ испуганно взглянулъ на нее.

— Наташа, что съ тобою?

Она вздрогнула и очнулась.

— Ничего,—сказала она: — ничего... пойдемте, дядя... Николай пріѣхалъ...

X.

Страшный племянникъ.

Борисъ Сергѣевичъ имѣлъ достаточно времени приготовиться къ этой встрѣчѣ, ожидавшейся со дня на день, но все-же въ первую минуту у него сильно застучало сердце, и онъ готовъ былъ бѣжать отсюда, къ себѣ, домой, въ Горбатовское. И не

такъ пріѣзжій страшилъ его, какъ присутствіе Катерины Михайловны.

«Если она тамъ,—я не могу!»—съ отвращеніемъ и страданіемъ подумалъ онъ, приближаясь къ дому.

Но Катерина Михайловна была настолько предусмотрительна, что скрылась во-время. Ея не было видно, когда Сергѣй подводилъ брата къ дядѣ.

Борисъ Сергѣевичъ, чего съ нимъ никогда не бывало въ жизни, вдругъ какъ-то странно засуетился, зажмурилъ глаза, не глядя поцѣловалъ Николая Горбатова и прерывающимся голосомъ сказалъ что-то въ родѣ того, что онъ радъ его видѣть, что давно ждалъ...

Когда онъ, наконецъ, открылъ глаза, то встрѣтился съ прямо и спокойно устремленнымъ на него взглядомъ этого новаго племянника.

Сергѣй былъ правъ, говоря, что они нисколько непохожи съ братомъ. Николай чуть-ли не на цѣлую голову былъ ниже его ростомъ, стройный и красивый въ своемъ бѣломъ кителѣ съ аксельбантами. У него были свѣтло-каштановые волосы, вившіеся отъ природы, и большіе черные глаза; выраженіе лица уставшее и въ то-же время холодное. Но Борисъ Сергѣевичъ уже былъ доволенъ тому, что не нашелъ въ немъ сходство, найти которое такъ боялся.

— А гдѣ-же Наташа?—вдругъ спросилъ Сергѣй.—Она, вѣдь, была съ вами, дядя?

Борисъ Сергѣевичъ съ изумленіемъ оглянулся, но въ это время Наташа уже входила. Николай поспѣшилъ къ ней, поцѣловалъ ея руку, она слегка прикоснулась губами къ его лбу, и они въ первую минуту не сказали ни слова другъ другу, — они даже не взглянули другъ на друга.

Борису Сергѣевичу было не до наблюденій; но если-бы онъ сталъ наблюдать, то замѣтилъ-бы между ними большую принужденность, замѣтилъ-бы, что и Николаю, и Наташѣ не по себѣ, что имъ почему-то непріятно встрѣтиться. Однако, оба они хорошо владѣли собою и черезъ двѣ-три минуты совсѣмъ оправились. Наташа спокойнымъ голосомъ стала задавать пріѣзжему вопросы о своихъ петербургскихъ знакомыхъ. Онъ отвѣчалъ ей такимъ-же спокойнымъ голосомъ.

Вошла Мари обычной своей, медленной и лѣнивой, походкой, съ такимъ-же, какъ и всегда, застывшимъ лицомъ. Она позвала Николая; онъ молча поднялся и послушно послѣдовалъ за нею; но скоро вернулся, подсѣлъ къ дядѣ, и Борисъ Сергѣевичъ, самъ того не замѣчая, вдругъ отошелъ отъ всѣхъ своихъ ощущеній и мыслей и съ большимъ интересомъ сталъ слушать Николая.

Они машинально вышли изъ гостиной, прошли террасу, спустились въ садъ и, тихо бродя по старой аллеѣ, продолжали разговаривать.

Борисъ Сергѣевичъ уже не разъ слыхалъ отъ домашнихъ, что Николай бываетъ часто молчаливъ, что отъ него иной разъ по цѣлымъ днямъ нельзя добиться слова, но что зато когда онъ оживится и начнетъ говорить, то говоритъ такъ, что всякій его заслушается. Это оказалось справедливымъ. Борисъ Сергѣевичъ, привыкшій къ уединенію, долгіе годы прожившій въ одиночествѣ или съ людьми, менѣе всего обладавшими краснорѣчіемъ, невольно увлекался теперь.

Николай рѣзкими, выпуклыми штрихами обрисовывалъ передъ нимъ картину теперешняго Петербурга. А Петербургъ былъ интересенъ: въ немъ начаюсь большое оживленіе, въ немъ закипала новая дѣятельность. Молодой государь начиналъ свое царствованіе цѣлымъ рядомъ блестящихъ плановъ, уже не бывшихъ тайной и захватывавшихъ всѣ слои общества. Приготовлялись реформы, изъ которыхъ главной, конечно, было освобожденіе крестьянъ.

Николай говорилъ, что это уже рѣшено безповоротно, что уже приступаютъ къ серьезнымъ работамъ, привлекаются свѣжія силы...

— Слава Богу! Давно, давно пора!—оживляясь, проговорилъ Борисъ Сергѣевичъ.—Еще отцы, еще дѣды наши думали объ этомъ... Наконецъ-то!..

Но Николай вдругъ перемѣнилъ тонъ, вдругъ какъ-будто усталъ и совсѣмъ новымъ голосомъ сказалъ:

— Отцы и дѣды! Да, вѣдь, они не думали, а мечтали только... и теперь многіе мечтаютъ (онъ сдѣлалъ особенное удареніе на этомъ словѣ)...

— Да, вѣдь, ты-же самъ говоришь, что эти мечты превращаются въ дѣйствительность!

— Да, только что̀ изъ этого выйдетъ?

— Какъ что̀ выйдетъ? Неужели ты противъ освобожденія?

Николай пожалъ плечами.

— Вы мнѣ задаете трудный вопросъ, но я постараюсь вамъ искренно на него отвѣтить. Быть противъ освобожденія!—это страшно сказать!—но не могу-же я все видѣть въ розовомъ цвѣтѣ... я не мечтатель, дядя, и уже не юноша, я не теоретикъ, не ученый, не литераторъ—я много ѣздилъ по Россіи, знаю деревню, имѣю понятіе о нашемъ народѣ—конечно, насколько это возможно въ моемъ положеніи... и я боюсь, что эта прекрасная, благородная реформа слишкомъ дорого обойдется и намъ, и народу...

Борисъ Сергѣевичъ съ изумленіемъ взглянулъ на него, но онъ продолжалъ убѣжденнымъ, грустнымъ тономъ:

— Намъ, видите, особенно послѣ войны, очень стыдно стало передъ Европой, стыдно за то, что мы варвары, рабовладѣльцы, азіаты. Намъ во что-бы то ни стало хочется быть европейцами, а они не признаютъ насъ себѣ равными, сажаютъ за отдѣльный столъ!.. Ну вотъ мы и должны доказать имъ, что мы не хуже ихъ...

— Какъ, только это? — уже начиная волноваться и даже сердиться, перебилъ Борисъ Сергѣевичъ.—А принципъ... принципъ?..

— Что-же я могу возражать противъ принципа? Я хорошо знаю, что положеніе ненормальное, что человѣкъ долженъ быть свободенъ и въ концѣ-концовъ будетъ непремѣнно свободенъ, хотя, прибавлю: съ ограниченіями, непремѣнно съ ограниченіями и очень, очень большими. Я былъ-бы крайне доволенъ, если-бы теперь уже нашъ народъ былъ освобожденъ отъ крѣпостной зависимости. Мнѣ мои крестьяне ненужны, какой-же я помѣщикъ... Но я все-же настаиваю на томъ, что мы спѣшимъ, ужасно спѣшимъ ради мнѣнія Европы. Освободить крестьянъ! — чего-же лучше. Но весь вопросъ: какъ и когда, настало-ли теперь время для этого, можемъ-ли мы это сдѣлать такъ, вдругъ, сразу? И я говорю: нѣтъ, нѣтъ, не можемъ при томъ экономическомъ положеніи Россіи, которое всѣмъ извѣстно. Я боюсь, что, поспѣшивъ, мы въ концѣ-концовъ окажемъ плохую услугу народу, а что ужъ себя-то уничтожимъ—это навѣрное; а мы именно спѣшимъ. Мы такъ нетерпѣливы, такъ хотимъ скоро вырости!..

Борисъ Сергѣевичъ задумался.

— Я здѣсь еще вновѣ, мнѣ многое еще трудно сообразить,— наконецъ, выговорилъ онъ.—Можетъ быть, ты и правъ отчасти. Я знаю только то, что я долженъ сдѣлать, и знаю, что лично я не ошибаюсь.

— Вы хотите освободить и устроить вашихъ крестьянъ?— спросилъ Николай.

Борисъ Сергѣевичъ съ изумленіемъ замѣтилъ, что проговорился, что высказалъ этому человѣку, съ которымъ вовсе не расчитывалъ быть откровеннымъ, то, чего еще не говорилъ никому.

Но онъ не пошелъ назадъ, не сталъ отказываться.

— Да, я это сдѣлаю...

— Такъ вы—другое дѣло, дядя! Это частный примѣръ и, вѣдь, вы знаете, далеко не первый, такихъ примѣровъ давно уже не мало. Вѣдь, и по-моему такъ: это значитъ подготовлять почву— вотъ что-же я и говорю! А, вѣдь, мы въ одинъ мигъ устроимъ реформу, на которую нужно годы. Мы, то-есть не мы, конечно, а

государство отдастъ больше чѣмъ у него есть. Что-же изъ этого выйдетъ?.. И вотъ,—прибавилъ съ улыбкой Николай:—теперь вы можете смотрѣть на меня какъ на «крѣпостника», «отсталаго человѣка»,—эти слова теперь въ модѣ,—на меня такъ уже многіе смотрятъ... Я какъ-то не выдержалъ и высказался en haut lieu—и на меня косятся даже тѣ господа, которые не только со мною согласны, но идутъ гораздо дальше, чѣмъ я... Вы думаете, что многіе изъ тѣхъ, кто теперь тамъ суетится, кричитъ, хлопочетъ, приготовляется работать—проникнуты необходимостью этой работы?.. Ахъ, Боже мой, Боже мой!—только подлаживаются подъ тонъ, а на сердцѣ кошки скребутъ! Все фальшь и фальшь и, можетъ быть, у насъ теперь въ Петербургѣ больше фальши, чѣмъ когда либо... Просто задыхаешься! Это не жизнь...

— Ты недоволенъ жизнью? Какой-же бы жизни ты хотѣлъ?—спросилъ Борисъ Сергѣевичъ.

Николай нахмурился и потомъ взглянулъ на него съ печальной улыбкой.

— Вотъ я говорилъ,—началъ онъ:—что я не мечтатель, а, вѣдь, это неправда... да, конечно, я вовсе не мечтатель въ извѣстномъ отношеніи, я не увлекаюсь утопіями и терпѣть не могу предвзятыхъ взглядовъ, но зато въ другомъ—я большой мечтатель, и съ дѣтства!.. Знаете-ли, дядя, что я не разъ завидовалъ вашей жизни! Мнѣ кажется, что, несмотря на всѣ печальныя обстоятельства и потери, вы прожили до сихъ поръ гораздо здоровѣе, гораздо полнѣе нашего. Вокругъ васъ не было этой фальши, лжи, условности, вы были ближе къ природѣ...

И снова разгорячаясь и увлекаясь, Николай сталъ рисовать картину той жизни и тѣхъ отношеній, среди которыхъ, по его предположеніямъ, находился долгіе годы «изгнанникъ».

Борисъ Сергѣевичъ вслушивался съ изумленіемъ, съ постоянно возраставшимъ интересомъ—и наконецъ, не выдержалъ.

— Да откуда ты знаешь все это?—воскликнулъ онъ:—вѣдь, почти все, что ты мнѣ разсказываешь—вѣрно, такъ и есть такъ оно и было!.. Ты какъ будто самъ прожилъ долго въ Сибири, со мною, какъ будто и ты пережилъ все, что мнѣ пришлось пережить!

— Значитъ, я много думалъ о васъ и вашей жизни, значитъ я хорошо себѣ представилъ...

— Но ты обладаешь большими познаніями...

— Къ моему горю, большими познаніями я не обладаю-ничего не знаю какъ слѣдуетъ; но я много читалъ, читалъ дѣтства—вѣдь, вы знаете дѣдушкину петербургскую библіотек· бывало я запирался въ ней и просто глоталъ книги...

Борисъ Сергѣевичъ невольно улыбнулся.

— А со мной не встрѣчался ты въ этой библіотекѣ?—спросилъ онъ.

— Я именно сейчасъ и хотѣлъ сказать вамъ, дядя; что познакомился тамъ съ вами—у васъ хорошая манера, которую я перенялъ, отмѣчать на поляхъ книгъ свои впечатлѣнія, мысли... вы даже часто подписывали ихъ вашими буквами... Я то и дѣло натыкался на эти ваши замѣтки и знакомился съ вами...

— Отчего-же ты не написалъ мнѣ никогда о нашемъ знакомствѣ?

— Отчего? Право—не знаю... Признаться—даже, вѣдь, и собирался не разъ сдѣлать это, да все какъ-то не выходило...

— Да, я читалъ много,—продолжалъ онъ:—теперь у меня самого составилась уже своя собственная порядочная библіотека... но бѣда въ томъ, что у меня никогда не было хорошаго учителя... Вѣдь, я одно время мечталъ даже попасть въ университетъ...

— Что-же помѣшало?

— Покойный отецъ.

— Да, вѣдь, мы съ нимъ сами были въ московскомъ университетѣ!

— Только въ другое время, дядя... Въ мое время университеты были въ загонѣ, въ пренебреженіи... въ сущности, ихъ все-же побаивались... Однимъ словомъ, отецъ рѣшилъ, что Горбатову не слѣдуетъ компрометировать себя и портить себѣ университетомъ карьеру... Карьеру можно было сдѣлать только на военной службѣ... «А затѣмъ, — сказалъ мнѣ отецъ, — если ты ужъ такую нѣжность чувствуешь къ университету — тебѣ, можетъ быть, не трудно будетъ стать попечителемъ какого нибудь учебнаго округа... вотъ ты и будешь во главѣ университета.

— Что-же ты ему на это?

— Я, конечно, возразилъ, что какъ-же это я могу управлять учебнымъ округомъ, не получивъ научнаго образованія и зная только военное дѣло?.. Онъ и говоритъ: «а такъ, какъ другіе... увидишь—поймешь... если захочешь, для симметріи, поставить въ храмѣ науки десятую музу—ставь смѣло... студенты будутъ смѣяться... а ты, чтобъ не смѣли смѣяться, держи ихъ въ ежевыхъ рукавицахъ—и будешь примѣрнымъ ревнителемъ и хранителемъ отечественнаго просвѣщенія!» Засмѣялся отецъ—и ушелъ... Я хорошо помню этотъ разговоръ... О, онъ отлично все понималъ, онъ былъ уменъ... только...

— Что только?—видя, что Николай запнулся и улыбается нехорошей усмѣшкой, спросилъ Борисъ Сергѣевичъ.

— Только онъ совсѣмъ о насъ не думалъ, совсѣмъ насъ не

знал... мы были ему какъ чужіе... и я много страдалъ отъ этого... Вообще не радостная была юность, дядя!

И будто желая отогнать отъ себя скорѣе грустныя мысли и воспоминанія, Николай вернулся къ сибирской жизни «изгнанника»—и опять увлекся.

Борисъ Сергѣевичъ продолжалъ изумляться передъ этимъ даромъ блестящаго флигель-адъютанта воспроизводить никогда имъ невиданное и только воображаемое, и, вдобавокъ, такое, что, по складу его жизни, должно было ему быть совсѣмъ чуждымъ.

И не замѣтили они, бесѣдуя, взадъ и впередъ ходя по старой аллеѣ, какъ пришло время обѣда, и обычный звонъ колокола сталъ сзывать всѣхъ въ столовую. Они повернулись къ дому. Николай поспѣшилъ впередъ, а Борисъ Сергѣевичъ остановился въ раздумьи. Онъ былъ какъ въ туманѣ, все еще подъ впечатлѣніемъ этого долгаго, неожиданнаго разговора. Въ его ушахъ все еще звучали слова Николая, и тонъ этихъ словъ,— горячій, убѣжденный, доходившій иногда почти даже до какого-то вдохновенія.

Онъ очнулся, услыша возлѣ себя голосъ Наташи. Онъ улыбнулся ей, а она какъ-то робко, не то спросила его, не то просто сказала:

— Познакомились съ Николаемъ?

— Да, отвѣчалъ онъ—или нѣтъ, вѣрнѣе, только началъ знакомство. Онъ такой человѣкъ, съ которымъ познакомишься не скоро и не скоро разглядишь его.

Она насторожилась:

— Почему?

Потому что онъ изъ людей, встрѣчающихся рѣдко въ кизни; эти люди не подходятъ подъ привычную и обычную мѣрку...

Что-то неуловимое блеснуло въ лицѣ Наташи и тотчасъ-же погасло.

— Такъ вы считаете его особеннымъ человѣкомъ, дядя?

— Да, особеннымъ. Но что скрывается за этимъ огнемъ и блескомъ, за этими дарованіями, которыя прорываются несмотря на печальное воспитаніе, полученное имъ—вотъ этого-то я еще не знаю, и хотѣлось-бы мнѣ знать, хотѣлось-бы знать, каково его сердце!

— Придетъ время и это узнаете!—почти таинственно выговорила Наташа.

А Борисъ Сергѣевичъ думалъ:

«Боже мой, откуда берется это?.. Несчастные, покинутые мальчики, распущенность, печальные примѣры передъ глазами,

Когда-же успѣлъ онъ узнать все, что знаетъ? Когда успѣлъ читать, думать, учиться?..»

«И отчего это Сергѣй не такой?»— заключилъ онъ свои мысли и вздохнулъ невольно.

Сергѣя-то онъ уже довольно разглядѣлъ за это время, и хотя вспыхнувшее въ немъ къ нему чувство не потухло, но онъ съ грустью начиналъ видѣть то, чего никакъ не желалъ-бы видѣть.

XI.

Старая грѣшница.

Укладывая и перекладывая свои сундуки съ тряпьемъ, Катерина Михайловна за послѣдніе дни обдумывала положеніе. Пока все обходилось благополучно, все шло даже такъ хорошо, какъ она и не надѣялась. Она очень боялась, что отношенія ея семьи къ Борису Сергѣевичу останутся натянутыми, что онъ ограничится соблюденіемъ приличій. А между тѣмъ, и въ такое короткое время, вотъ уже онъ вошелъ въ семью, привязался къ ней. Катерина Михайловна очень хорошо видѣла, что главнымъ образомъ привязывали его—Наташа и отчасти Сергѣй, что Борисъ Сергѣевичъ къ Мари относится очень холодно, къ Гришѣ тоже.

«Ну, что-же,—не разъ говорила она себѣ:—пусть хоть имъ будетъ счастье, пусть хоть они будутъ богаты».

А между тѣмъ, она никакъ не могла успокоиться на этихъ мысляхъ. Въ ней вдругъ поднималось нѣжное чувство къ Гришѣ, и не только къ Гришѣ, но даже и къ Николаю. Ей казалось, что это несправедливо относительно ихъ. Ей, наконецъ, начинало неудержимо, капризно хотѣться, чтобы все это прошлое, которое такъ долго ее нисколько не мучило, но теперь, съ появленіемъ Бориса Сергѣевича, начинало мучить, —забылось и не существовало болѣе. Она пуще всего страстно хотѣла теперь возвращенія прежняго богатства, блеска и значенія для всей горбатовской семьи, которой она признавала себя главою.

«Нужно побѣдить изгнанника, нужно забрать его въ руки».

Она понимала, что не можетъ достигнуть этого сразу, что нужно дѣйствовать осторожно. Такъ она и дѣйствовала,—не выставляясь, стушевываясь.

Но если былъ опасенъ первый день ихъ встрѣчи, то еще опаснѣе былъ, конечно, день пріѣзда Николая. Борисъ Сергѣевичъ ни разу съ ней о немъ не заговаривалъ, а когда при немъ упоминали имя Николая, она хорошо видѣла, что онъ опускаетъ глаза, смущается, что лицо его хмурится—и при этомъ ей самой, никогда не смущавшейся прежде, теперь становилось

неловко. А между тѣмъ, вѣдь, ихъ встрѣча неизбѣжна и только тогда, когда на сцену уже явится Николай, можно будетъ приступить къ порабощенію изгнанника.

И вотъ Николай пріѣхалъ. Катерина Михайловна, поздоровавшись съ нимъ, поспѣшно скрылась въ своихъ комнатахъ и не выходила до самаго обѣда. Она была въ волненіи, даже очень рѣзко прогнала Соню, которая было къ ней прибѣжала.

Она вдругъ, будто по чуду какому-то, вернулась къ прежней позабытой жизни. Ей чудилось, что она снова молода, въ Петербургѣ, въ старомъ горбатовскомъ домѣ, за нѣсколько мѣсяцевъ до рожденія Николая. Она снова будто переживала свою капризную страсть къ Щапскому, который потомъ поступилъ съ нею очень неблагородно—покинулъ ее за границей и затѣмъ ни разу не встрѣтился съ нею въ жизни.

Она какъ будто снова переживала всѣ прежнія сцены: ужасное объясненіе съ Борисомъ, потомъ объясненіе съ мужемъ, во время котораго она такъ хорошо сыграла свою роль. Впрочемъ, она до сихъ поръ не могла рѣшить вопроса—кто тогда лучше игралъ роль—она или ея мужъ: вѣдь, онъ, очевидно, только сдѣлалъ видъ, что повѣрилъ всѣмъ ея объясненіямъ...

Но странное дѣло—тогда, когда въ дѣйствительности происходило все это, она чувствовала себя только несчастной и даже обиженной. Она ненавидѣла Бориса, если-бы было возможно, она бы, кажется, убила его съ наслажденіемъ. Теперь ненависть къ изгнаннику въ ней заглушилась чувствомъ невольнаго страха, который все сильнѣе и сильнѣе начинала испытывать къ этому кроткому человѣку, такъ хорошо встрѣтившемуся со всѣми ними. Да, она боялась его, хотя, несмотря на всѣ страхи свои, все-же расчитывала его побѣдить.

Но пуще страха, въ ней говорила тоска, начавшая время отъ времени появляться въ послѣдніе годы и достигавшая теперь иногда мучительныхъ размѣровъ. Она называла это «тоскою», она не могла найти другого опредѣленія тому, что испытывала въ присутствіи Бориса Сергѣевича и особенно въ тѣ мгновенія, когда произносилось имя Николая.

Это чувство въ этотъ день было такъ сильно, ей сдѣлалось такъ тяжело, когда раздался звонокъ, сзывавшій къ обѣду, что она почти совсѣмъ рѣшила сказаться больной и не выйти.

«Но, Боже мой, вѣдь, если не сегодня, такъ завтра, вѣдь, невозможно избѣгнуть этого! Да и зачѣмъ?.. Пустое! Надо преодолѣть себя!..» И она преодолѣла.

Она вышла къ обѣду. Она была блѣднѣе обыкновеннаго, ея маленькія, сухія руки по временамъ нервно дрожали, но никто ничего не замѣтилъ. Ей пришлось сидѣть за обѣдомъ противъ

Бориса Сергѣевича, и какъ она не подбодряла себя, а первыя минуты были для нея просто пыткой. Она не могла рѣшиться взглянуть на него. Наконецъ, все-же взглянула.

Онъ смотрѣлъ въ сторону. Но вотъ ихъ глаза встрѣтились. Онъ глядитъ прямо на нее... Онъ хочетъ истерзать ее своимъ взглядомъ.

«Нѣтъ, она не поддастся!»

Она сдѣлала надъ собою усиліе, не отвела своихъ глазъ, только придала имъ то выраженіе, какое нашла самымъ подходящимъ, и Борисъ Сергѣевичъ прочелъ въ ея глазахъ тоску, муку, мольбу, къ нему обращенную. Вотъ слезы показались на ея глазахъ. Она вытерла ихъ тихомолкомъ.

Борисъ Сергѣевичъ отвернулся, и ему опять, какъ въ первую минуту свиданія съ нею, стало невольно жаль эту бывшую Катринъ, эту грѣшницу, эту маленькую, сухенькую старушку, очевидно, искупившую теперь тяжелыми страданіями вину свою.

Катерина Михайловна справилась со своею тоскою и поняла, что начала игру удачно.

Къ концу обѣда она совсѣмъ успокоилась и рѣшила, что нужно дѣйствовать, не откладывая ни минуты. Она успѣла замѣтить, что Борисъ Сергѣевичъ съ интересомъ и безъ всякаго враждебнаго чувства глядитъ на Николая. Она узнала изъ общихъ разговоровъ, что они долго бесѣдовали вдвоемъ въ паркѣ. Все складывалось самымъ лучшимъ образомъ.

«Николай уменъ, интересенъ,—думала она:—но трудно было ожидать, чтобы онъ сразу могъ съ нимъ справиться. Теперь послѣдній, рѣшительный ударъ—и онъ будетъ совсѣмъ побѣжденъ!»

Она припомнила нѣкоторыя минуты своей жизни, когда ей приходилось вывертываться изъ тяжелаго положенія, дурачить людей—ей всегда это удавалось. Должно удаться и на этотъ разъ.

Послѣ обѣда, когда всѣ, по обыкновенію, перешли на террасу, улучивъ удобную минуту, она шепнула Борису Сергѣевичу:

— Будь такъ добръ, Борисъ, пойдемъ ко мнѣ, мнѣ надо поговорить съ тобою...

Онъ даже вздрогнулъ. Но она подняла на него такой скорбный взглядъ, что, не говоря ни слова, онъ послѣдовалъ за нею.

Да и какъ бы могъ онъ отказать ей?

«О чемъ это она можетъ говорить со мною? Что ей нужно?..—думалъ онъ.—Впрочемъ, можетъ быть, какое-нибудь денежное затрудненіе... денегъ попроситъ... сколько угодно... сколько угодно! Только поскорѣе-бы!»

Она его провела въ свои комнаты, гдѣ онъ до сихъ поръ не былъ еще ни разу. Онъ съ изумленіемъ увидѣлъ этотъ странный безпорядокъ, эти всюду наставленные сундуки. Онъ пом-

нилъ Катринъ вѣчно окруженной самой изысканной роскошью, вѣчно заботившейся о томъ, чтобы вокругъ нея и у нея было все лучше, чѣмъ у кого-либо.

«Но развѣ это Катринъ?»

Она знакомъ пригласила его сѣсть въ большое старое кресло, сама присѣла въ другое, подняла на него глаза все съ тѣмъ же скорбнымъ выраженіемъ и молчала. Ему стало ужасно неловко.

— Что тебѣ угодно, Катринъ?—запинаясь, произнесъ онъ.

Она какъ будто хотѣла начать говорить, но вдругъ слезы блеснули на ея глазахъ и съ тихимъ, сдавленнымъ старческимъ рыданіемъ она закрыла лицо руками.

Борису Сергѣевичу стало еще невыносимѣе.

«Къ чему эта комедія?»

— Катринъ, успокойся!—сказалъ онъ.—Если-бы я не зналъ, что все благополучно, я бы подумалъ, что случилось какое-нибудь несчастье, но, вѣдь, ничего такого нѣтъ!

— Прости!—наконецъ, выговорила она.—Конечно, это глупо... я не справилась съ собою. Но, Боже мой, вѣдь, есть невидимыя несчастья, и они тѣмъ тяжелѣе, что ихъ никто понять не можетъ, не можетъ о нихъ догадаться. Мое несчастіе можешь понять только ты... ты его знаешь... ты одинъ его знаешь на свѣтѣ. Я долго не рѣшалась, но вижу, что должна говорить съ тобою. Я многое дала-бы, если-бы могла избѣгнуть этого; но нѣтъ, нельзя... нужно это... Мы должны разъ навсегда поговорить... Борисъ, вернемся къ старому... къ ужасному времени!..

Онъ поблѣднѣлъ и даже поднялся съ мѣста.

— Зачѣмъ?— съ ужасомъ и все возрастающимъ отвращеніемъ воскликнулъ онъ.—Зачѣмъ?.. Ради Бога, оставьте это... Я надѣялся, что именно между нами не будетъ никакихъ разговоровъ о прошломъ!.. Я надѣялся, вы поймете, что намъ самое лучшее никогда не касаться этого прошлаго... Вы, кажется, вилѣли: я пріѣхалъ, пришелъ въ вашъ домъ какъ родной, я полюбилъ вашу семью, у меня явилась надежда, что и меня полюбятъ... Что-же вы хотите, чтобы я ушелъ... кому вы этимъ принесете пользу?..

Онъ весь даже измѣнился, говоря это—глаза его заблестѣли, въ голосѣ звучали тѣ страстныя ноты, которыхъ она не слыхала столько лѣтъ. Если-бы не эти сѣдые волосы и не эта сѣдая борода, она подумала-бы, что вернулось прежнее время, что передъ нею прежній Борисъ, такой точно, какимъ онъ вдругъ очутился передъ нею послѣ того, какъ сталъ невольнымъ свидѣтелемъ ея тайны.

Но уже разъ начала, она не хотѣла отступать. Она собрала всѣ свои силы и снова почувствовала въ себѣ приливъ какого-то театральнаго вдохновенія.

— Ахъ, Боже мой,—простонала она, заломивъ руки:—да неужели мнѣ-то это легко? Да я бы все отдала, чтобы не вспоминать старое, чтобы его не было! Я знаю, Борисъ, я ужасно виновата передъ тобою, ты имѣешь право и презирать, и ненавидѣть меня... Но, вѣдь, ты добръ, ты благороденъ, ты, именно ты, поймешь многое, чего не понялъ-бы другой...

— Что же тутъ понимать? Прошу васъ прекратить это, будетъ самое лучшее... отпустите меня!..—произнесъ онъ.

— Борисъ, Борисъ!—повторяла она:—да взгляни-же на меня, вѣдь, я не та, не прежняя... Вся жизнь прошла... пожалѣй-же несчастную старуху... пожалѣй, Борисъ, и выслушай...

Еще мигъ—и она, кажется, стала-бы передъ нимъ на колѣни. Онъ почти упалъ въ кресло и опустилъ голову.

Она заговорила горячо и страстно, то и дѣло переходя на французскій языкъ, на которомъ ей легче было объясняться.

— Мнѣ нѣтъ оправданій, и я не хочу себя оправдывать!—говорила она.—Я грѣшница. Но если-бы зналъ ты, какой цѣной я искупила и искупаю до сихъ поръ грѣхъ свой! И потомъ, вѣдь, все-же не одна я виновата... Ты знаешь, я вышла замужъ ребенкомъ, избалованнымъ ребенкомъ, незнавшимъ жизни... изъ меня тогда можно было сдѣлать все, что угодно. Если-бы я попала въ руки другому человѣку—и я была-бы другая, но твой братъ—онъ не исправить могъ меня, а испортить... и испортилъ...

— Оставимъ мертвыхъ!—мрачно произнесъ Борисъ Сергѣевичъ.

— Да, вѣдь, я ему давно все простила... Но что правда, то правда... Онъ былъ дурнымъ мужемъ... Онъ никогда не любилъ меня... Онъ измѣнялъ мнѣ съ перваго же года... ты, можетъ быть, не знаешь этого но я знаю...

Борисъ Сергѣевичъ зналъ это и потому молчалъ. Онъ сознавалъ, что она права, что его покойный братъ былъ дѣйствительно дурнымъ мужемъ и могъ ее только испортить.

— Я не судья вамъ,—сказалъ онъ:—и, конечно, не сталъ-бы и тогда даже вмѣшиваться въ ваши дѣла... если-бы не было послѣдствій... Но что вы сдѣлали съ нашимъ именемъ? Нѣтъ, увольте, оставьте меня!.. Зачѣмъ, и именно сегодня, мы заговорили объ этомъ? Мнѣ и такъ тяжело...

Передъ нимъ мелькнуло прекрасное, оживленное лицо Николая.

— Оставьте меня, позвольте мнѣ уйти!—повторялъ онъ.

Она испуганно встала, его удерживая и какимъ-то торжественнымъ голосомъ, твердо проговорила:

— Если-бы дѣйствительно были послѣдствія, я бы не рѣшилась возвращаться къ старому... я бы не могла теперь смотрѣть на тебя... Послѣдствій нѣтъ!.. Николай—сынъ моего мужа... онъ твой племянникъ...

И говоря это, она прямо, смѣло глядѣла ему въ глаза и удерживала его своими дрожащими руками.

— Пустите! — почти съ бѣшенствомъ въ голосѣ крикнулъ Борисъ Сергѣевичъ и рѣшительно направился къ двери.

— Я не пущу тебя... нѣтъ, не пущу! Ты меня долженъ выслушать, а потомъ дѣлай какъ знаешь... Уходи... не вѣрь мнѣ, покинь хоть навсегда этотъ домъ... но ты меня выслушаешь!

Его бѣшенство упало. Онъ съ презрѣніемъ взглянулъ на нее, даже усмѣхнулся.

— Какая жалкая комедія! Что-жъ, если вамъ угодно играть ее—играйте... я насильно убѣгать не стану... Я готовъ васъ слушать... играйте...

Она была возбуждена въ высшей степени: все, что въ ней оставалось жизни, силы—все теперь заговорило. Нервное возбужденіе вызвало обильныя слезы, которыя такъ и лились по ея маленькому и блѣдному, морщинистому лицу.

— Я знаю, Борисъ,—сквозь эти слезы говорила она:—что иначе вы не можете мнѣ отвѣтить, въ этомъ-то и заключается весь ужасъ моего положенія...

— Да что-же? Теперь, болѣе чѣмъ черезъ тридцать лѣтъ, вы будете увѣрять меня, что я не слыхалъ того, что слышалъ своими собственными ушами? Впрочемъ, говорите, я молчу, я не стану перебивать васъ.

— Борисъ, конечно, въ тотъ ужасный день ты слышалъ то, что я говорила, конечно... Я говорила этому извергу, этому моему убійцѣ Щапскому, что мой будущій ребенокъ—его ребенокъ... я ему лгала, лгала потому, что была безумно влюблена въ него, потому, что хотѣла удержать его и видѣла въ этой лжи единственное средство достигнуть цѣли, видѣла связь, которая должна насъ соединить на вѣки... Такъ я мечтала, несчастная, жалкая, обманутая и обманувшая женщина!.. Да я была преступна, я измѣнила мужу... Но ребенокъ былъ его, и онъ хорошо зналъ это, и онъ-бы теперь подтвердилъ тебѣ это... Да и наконецъ, ты ужъ теперь несправедливъ къ брату—онъ былъ способенъ на многое, у него были большіе, ужасные недостатки, но, вѣдь, онъ былъ тоже Горбатовъ. Если-бы онъ не былъ увѣренъ, что ребенокъ его,—онъ-бы не призналъ его своимъ сыномъ, а ты знаешь, онъ призналъ его...

— Много-бы я далъ, чтобы вамъ повѣрить!—прошепталъ Борисъ Сергѣевичъ:—но я не могу... я не вѣрю...

Катерина Михайловна безнадежно опустила голову...

— Тѣмъ хуже для меня... тѣмъ хуже для меня!—повторила она.—Мнѣ больше ничего не остается; какія-же я могу представить доказательства?.. Я искупаю свою вину... О, если-бы ты

зналъ, какъ я несчастна, ты бы пожалѣлъ меня!.. Ты не вѣришь, Борисъ... Но, Господи! если ты даже и не вѣришь, чѣмъ-же виноватъ этотъ несчастный рѐбенокъ?

— Конечно, онъ ничѣмъ не виноватъ, и оттого-то это все такъ и ужасно,—печально произнесъ Борисъ Сергѣевичъ.

А она между тѣмъ продолжала:

— И, вѣдь, ты добръ, ты добръ, у тебя высокое, благородное сердце... Ты христіанинъ, Борисъ, повѣрь мнѣ—я не солгала тебѣ... Но если не вѣришь... прости... прости, какъ Богъ велитъ, и люби ихъ... моихъ дѣтей... Я тебя измучила этимъ объясненіемъ, я не внушила тебѣ вѣру въ мои слова, но я исполнила мой долгъ... Я не держу тебя...

Она едва договорила это. Она сидѣла передъ нимъ, опустивъ руки, видимо, измученная и обезсиленная, съ блѣднымъ, увядшимъ лицомъ и жалкимъ видомъ.

— Мы всѣ нуждаемся въ прощеніи,—тихо проговорилъ Борисъ Сергѣевичъ.—Мнѣ жаль тебя, Катринъ; твоя жизнь дѣйствительно должна быть тяжела, и ты, вѣрно, много страдаешь.

Онъ остановился на мгновеніе, потомъ протянулъ ей руку, пожалъ ея холодные пальцы и уныло вышелъ изъ комнаты.

Она нѣсколько минутъ продолжала сидѣть въ томъ-же положеніи, съ тѣмъ-же уставшимъ выраженіемъ въ лицѣ. Она горько вздохнула.

«Не вѣритъ! — подумала она.—Но все-же я поселила въ немъ сомнѣніе, довольно и этого—дѣло сдѣлано...»

На бо́льшее она и не расчитывала, она была довольна, что объясненіе это кончилось такъ, а не иначе... А между тѣмъ тоска давила ей грудь, и жизнь, которую она когда-то такъ любила, за которой она гонялась, представилась ей теперь жалкой и противной. Если-бы можно было вернуть прошлое, она, можетъ быть, жила-бы иначе—но вернуть ничего нельзя.

И она стала жадно хвататься за мысль о будущемъ,—это будущее могло быть блестящимъ, но только съ помощью Бориса Сергѣевича.

XII.

Ошибка.

Прошло всего два дня съ пріѣзда Николая Горбатова, но отъ оживленія, замѣчавшагося въ немъ въ первыя минуты, ничего не осталось; даже внѣшность его совсѣмъ измѣнилась. Онъ уже не казался красивымъ, франтоватымъ флигель-адъютантомъ, ходилъ сгорбившись, съ потемнѣвшимъ лицомъ и тусклымъ взглядомъ, молчалъ по цѣлымъ часамъ, и если кто-нибудь обращался къ

нему съ какимъ-нибудь вопросомъ, онъ отвѣчалъ односложно и спѣшилъ скорѣе отойти. Его, видимо, раздражали дѣтскій смѣхъ и крики. Братъ звалъ его на охоту—онъ отказался.

Мать стала было объяснять ему, что онъ непремѣнно долженъ хорошенько поговорить съ управляющимъ и пересмотрѣть счеты, которые кажутся ей невѣрными! Но онъ рѣзко объявилъ, что не намѣренъ толковать съ завѣдомымъ мошенникомъ.

— Сергѣй не намѣренъ, ты не намѣренъ,—что-же это, наконецъ, будетъ?— сказала Катерина Михайловна.—Отъ этого у насъ такъ хорошо дѣла и идутъ... Я ничего не смыслю, оно и понятно, но, вѣдь, ты еще въ прошломъ году вникалъ въ хозяйство... Ты все такъ легко соображаешь... Неужели трудно заняться... да и наконецъ, вѣдь, въ этомъ твои интересы, твои выгоды...

Онъ ничего не отвѣтилъ, нахмурился и ушелъ.

Катерина Михайловна отправилась къ Мари.

— Сдѣлай милость, ma chère, объясни мнѣ, что такое съ Nicolas? Онъ становится просто невозможенъ, съ нимъ говорить нельзя... Я того и жду—кричать станетъ—ты что-ли его такъ раздражила?

Мари подняла на нее свои заспанные глаза и проговорила:

— Ничѣмъ я его не раздражала. Вѣдь, вы его знаете—онъ всегда такой...

— Уговори-же его—нельзя такъ вести дѣло, пусть онъ хоть немного займется, а то насъ кругомъ обворовываютъ, и всѣ эти мошенники видятъ, что нѣтъ хозяина, что можно дѣлать все что угодно.

— Нѣтъ, maman, извините, я ни въ чемъ его не стану уговаривать, потому что ничего изъ этого не выйдетъ. Да и наконецъ, это не мое дѣло—я прошу только одного, чтобы меня не вмѣшивали въ эти дрязги.

Катерина Михайловна махнула рукой, совсѣмъ разсерженная ушла къ себѣ и стала рыться въ своихъ сундукахъ.

Между тѣмъ Николай, несмотря на знойную полуденную пору вышелъ въ паркъ и долго бродилъ, не замѣчая дороги. Его давила тоска, мучительная тоска. Онъ очень часто ее испытывалъ и она въ послѣднее время становилась иногда просто невыносимой. Въ разговорѣ съ дядей онъ былъ искрененъ; ему дѣйствительно тяжело жилось и дышалось въ Петербургѣ, среди дѣятельности, къ которой онъ не чувствовалъ особеннаго призванія среди людей, съ которыми имѣлъ мало общаго. Въ эти послѣднія недѣли, оставшись одинъ въ огромномъ горбатовскомъ домѣ онъ совсѣмъ истомился и ждалъ не дождался возможности уѣхать въ отпускъ. Подъѣзжая къ Знаменскому, онъ испыталъ большую

радость. Ему такъ хотѣлось всѣхъ увидѣть, снова очутиться среди своихъ домашнихъ. При этомъ его заинтересовало свиданіе съ незнакомымъ дядей, о которомъ онъ нерѣдко думалъ. Но уже вечеромъ, когда всѣ разошлись, и онъ очутился въ спальнѣ съ женою, съ нимъ произошла внезапная перемѣна.

Мари была ласкова и предупредительна насколько возможно. Она по-своему радовалась возвращенію мужа. Она выложила сама и приготовила всѣ его любимыя вещи и, въ то время какъ онъ раздѣвался и приготовлялся ложиться спать, задавала ему много хотя не интересныхъ, но понятныхъ въ первый день пріѣзда вопросовъ. Онъ отвѣчалъ ей обстоятельно, но потомъ вдругъ какъ будто пересталъ даже слышать то, о чемъ она спрашивала.

Она разсердилась.

— Что-же, вы не можете даже мнѣ отвѣчать?— сказала она.

— Ахъ, Боже мой, да, вѣдь, кажется, уже все объяснилъ, разсказалъ... Ну чего, чего ты повторяешь?.. И потомъ, по правдѣ, я ужасно усталъ, я спать хочу... оставимъ до завтра...

Мари сѣла передъ кроватью и пригорюнилась.

— Ну да, вѣчно одно и то же—усталъ, хочу спать... Что-же это, наконецъ, такое? Почти два мѣсяца не видѣлись, и вотъ какая встрѣча!.. Это называется любовь... Да поздоровался-ли ты со мною какъ слѣдуетъ, приласкалъ-ли ты меня?..

Онъ неопредѣленно посмотрѣлъ на нее.

— Развѣ тебѣ это нужно?

— И это любовь... и это любовь!..—повторяла она.

Онъ подошелъ къ ней и обнялъ ее рукой за шею.

— Перестань-же, Мари, мы не дѣти... право, пора спать... прощай...

Онъ поцѣловалъ ее. Поцѣлуй этотъ былъ очень холоденъ.

Она хотѣла было сказать ему, что когда-то, и не послѣ двухмѣсячной разлуки, онъ цѣловалъ ее иначе. Но вдругъ сама почувствовала, что самое лучшее теперь—спать. Она поспѣшно раздѣлась, улеглась и тотчасъ-же заснула.

А онъ не спалъ. Онъ лежалъ вытянувшись, вдыхая въ себя крѣпкій запахъ духовъ, которыми Мари любила пропитывать все бѣлье. Этотъ запахъ раздражалъ его, онъ его ненавидѣлъ. И ему казалось, что онъ теперь не можетъ заснуть именно отъ этого запаха.

Чего-же онъ рвался сюда? Онъ дома, въ семьѣ, съ женою. Но онъ чувствовалъ себя болѣе чѣмъ когда-либо одинокимъ. Эта женщина, съ которой онъ прожилъ болѣе девяти лѣтъ, которая имѣла на него такія неоспоримыя права—была ему совсѣмъ, совсѣмъ чужою.

Какимъ-же образомъ случилось это?—Вѣдь, онъ самъ выбралъ себѣ ее въ подруги всей жизни, его никто не принуждалъ, женясь на Мари, онъ былъ далекъ отъ всякаго денежнаго расчета...

Да, все это такъ, конечно; но ему всего было тогда двацать два года. Онъ встрѣтился съ нею въ свѣтѣ, гдѣ она только что показалась, совсѣмъ еще юною, едва оставившею уроки и куклы. Ей только что исполнилось семнадцать лѣтъ, хотя высокая, пышная, съ рано развившимися формами, она казалась старше своего возраста. Ее признали всѣ очень хорошенькой. И, дѣйствительно, она была красива въ первомъ расцвѣтѣ юности, когда за свѣжестью, нѣжностью и яркими красками трудно подмѣтить что-либо другое, когда о внутреннемъ содержаніи будущей женщины никто еще не можетъ думать. И ужъ тѣмъ менѣе могъ объ этомъ думать такой неопытный юноша, какимъ былъ Николай Горбатовъ. Выросши внѣ вліянія родителей, служа въ гвардіи, находясь въ самомъ центрѣ петербургской блестящей молодежи, онъ испыталъ уже все, что могъ испытать гвардейскій офицеръ въ его годы. Но въ противоположность брату Сергѣю, который наслаждался жизнью, наслаждался кутежами, легкими побѣдами, продажной любовью—Николай не могъ удовлетвориться всѣмъ этимъ. То, что его братъ и товарищи называли веселой жизнью, очень скоро ему надоѣло. Дѣтство и отрочество, проведенное въ большомъ пустомъ домѣ, близкое знакомство съ огромной библіотекой и, конечно, прежде всего природныя свойства развили въ немъ иныя потребности. Онъ сталъ мечтать о совсѣмъ иной жизни чѣмъ та, какая его окружала, и вдругъ пришелъ къ убѣжденію, что для начала этой новой жизни ему нужна добрая, вѣрная подруга, которая не имѣла-бы ничего общаго съ тѣми легкомысленными, такъ скоро надоѣдающими женщинами, какихъ онъ зналъ до сихъ поръ.

Ему нужна была подруга, которая принадлежала-бы ему одному всецѣло, жизнь которой началась-бы съ минуты ихъ встрѣчи и затѣмъ, до самаго конца, была-бы ихъ общей жизнью. Эта юная и красивая графиня Натасова, съ дѣтской улыбкой, съ манерами дѣвочки, еще чувствовавшей себя неловко въ длинномъ платьѣ, показалась ему именно такой подругой.

Со свойственной ему откровенностью и жаромъ, Николай принялся ухаживать за нею. Онъ сталъ искать всѣхъ способовъ какъ можно чаще видаться съ Мари. Но тутъ онъ встрѣтился съ большимъ затрудненіемъ—бывать у Натасовыхъ не оказалось никакой возможности. Родители Мари, хотя по имени и родству и принадлежали къ высшему обществу, но давно перестали посѣщать его. Они жили то въ деревнѣ, то въ Москвѣ. Былъ у

нихъ сынъ, лѣтъ на десять старше Мари. Сначала онъ служилъ въ гвардіи, но велъ себя очень дурно, имѣлъ много непріятныхъ исторій и, наконецъ, кончилъ тѣмъ, что былъ разжалованъ и сосланъ на Кавказъ за то, что во время одного параднаго обѣда пустилъ хлѣбный шарикъ, случайно или нѣтъ, но какъ-бы то ни было попавшій прямо въ носъ важнаго генерала.

Были у Натасовыхъ еще дѣти, но всѣ умерли. Осталась младшая, Мари. Ее привезли въ Петербургъ, отдали въ какой-то пансіонъ, поручили ее вниманію одной изъ родственницъ, да и забыли о ней. Вспомнили только тогда, когда она уже выросла, и когда тетка, тоже графиня Натасова, старая дѣвица, настоятельно стала требовать, чтобы Мари взяли изъ пансіона и подумали объ ея будущности.

Натасовы пріѣхали въ Петербургъ. Это оказалось имъ кстати, такъ какъ у стараго графа было дѣло той зимою въ Петербургѣ. Мари, года четыре не видавшая родителей, была очень поражена тѣмъ, что ее встрѣтило. Ея отецъ нанялъ небольшой домикъ на Васильевскомъ островѣ, домикъ, очень бѣдно меблированный, даже грязный. Навезли съ собою изъ деревни совсѣмъ дикую прислугу, трехъ лакеевъ съ небритыми и немытыми лицами, съ вѣчно продранными локтями; нѣсколько горничныхъ, бѣгавшихъ босикомъ въ затрапезныхъ платьяхъ.

Мари, по праздникамъ посѣщавшая тетку, жившую очень хорошо и поддерживавшую связи въ большомъ свѣтѣ, очень возмутилась такой нежданной родительской обстановкой, тѣмъ болѣе, что она считала своего отца богатымъ человѣкомъ. Она знала, что у нихъ въ Москвѣ большой собственный домъ, въ которомъ они прежде и живали, да и вотчина въ Тульской губерніи доходная. Болѣе-же всего смутилъ ее видъ отца. Онъ оказался совсѣмъ подъ-стать привезенной прислугѣ. Онъ носилъ какой-то длиннополый, потертый по всѣмъ швамъ сюртукъ и имѣлъ видъ стараго приказнаго. Мари вспоминала:

«Да, вѣдь, этого прежде не было! Отецъ былъ человѣкъ какъ и всѣ, даже молодился, даже красилъ сѣдѣющіе свои волосы— что-же значитъ все это?»

Она рѣшилась спросить отца, что это значитъ. Онъ отвѣтилъ, что все перемѣнилось, что они разорены, что они бѣдные люди. Она повѣсила голову.

Не менѣе ея была изумлена и ея тетка, съ той только разницей, что Мари, услыша родительскій отвѣтъ, повѣрила ему и на этомъ остановилась, тетка же стала добиваться: какъ, что и почему? Оказалось, что графъ Натасовъ проигрался въ карты.

— Да сколько же ты проигралъ?—настаивала сестра.

— И не спрашивай, матушка, не спрашивай, языкъ не повернется сказать.

— Послушай, другъ мой, да, вѣдь, домъ-то московскій, вѣдь, ты его не продалъ—онъ твой?

— Мой! Да все равно, что и не мой—заложенъ...

— Ну, а Натасовка?

— Тоже заложена—жить нечѣмъ...

— Да какъ-же Машенька-то, вѣдь, нужно о ней подумать. Вѣдь, ее замужъ надо выдать...

— А ужъ это какъ Богъ дастъ, для нея вотъ и маешься, нищенствуешь, каждый грошъ считаешь...

Старая дѣвица задумалась и въ концѣ концовъ рѣшила, что тутъ что-то, да не то. Она обратилась къ графинѣ Вѣрѣ Павловнѣ:

— Что это братъ говоритъ: вы разорены? Онъ проигрался? Какъ такое могло статься?..

Вѣра Павловна захлопала глазами и закатилась своимъ рѣзкимъ смѣхомъ, который всегда шокировалъ нѣсколько чопорную и очень сдержанную старушку.

— А ты ему и вѣришь, мать моя? Или до сихъ поръ не научилась понимать своего любезнаго братца. Вретъ онъ все, ничуть не разорены. Проигрался онъ — это вѣрно... и вотъ съ тѣхъ поръ дурь на себя напустилъ, представляется разореннымъ, передъ всѣми хнычетъ... Рехнулся онъ совсѣмъ, мать моя, вотъ что...

Старушка-графиня хотя и знала за своимъ братомъ всякія чудачества, но все-же не могла придти въ себя отъ изумленія.

А Вѣра Павловна продолжала:

— Гляди, какимъ нищимъ вырядился... Повѣришь-ли, вѣдь, въ городъ нарочно ѣздилъ придумывать себѣ такую одежду, у старьевщиковъ шубу купилъ...

— Фи! — съ невольнымъ отвращеніемъ воскликнула старушка.— Неужто ему самому не противно?..

— А это ты его самого и спроси... И, вѣдь, все почему? Мнѣ на смѣхъ! Я, вѣдь, хотѣла одна сюда пріѣхать, порядочно устроиться, взять Машу, повеселить ее... Ему смерть не хотѣлось изъ деревни. А какъ узналъ: нѣтъ, говоритъ, я поѣду. Ну вотъ и пріѣхали, вотъ и устроились, видишь, какъ по-барски!

— Да, вѣдь, онъ и впрямь сумасшедшій!

— А то нѣтъ?..

— Какъ-же ты-то, сестрица, допускаешь это?

Вѣра Павловна опять закатилась смѣхомъ.

— А мнѣ что, пускай себѣ потѣшается. Эхъ, матушка, надоѣло мнѣ все хуже горькой рѣдьки, а пуще всего Петер-

бургъ вашъ — терпѣть его не могу, вотъ возьму да и уѣду опять въ деревню, а за мной и онъ потащится, и дѣла всѣ забудетъ...

— Какъ-же Мари?

— Маша-то.—Да я ужъ и не знаю... какъ ты разсудишь, сестрица...

Тетушка задумалась.

— Незачѣмъ вамъ было пріѣзжать,—проговорила она.

— Слова твои вѣрны, мать моя, незачѣмъ—и я говорю, незачѣмъ было пріѣзжать сюда...

Тетушка уѣхала, повторяя:

«Да, вѣдь, это сумасшедшій домъ, сумасшедшій домъ!».

Но тутъ было, пожалуй, еще хуже, чѣмъ сумасшествіе.

Графъ Натасовъ смолоду ничѣмъ не отличался отъ людей его званія. Служилъ онъ въ гвардіи, кутилъ напропалую. Затѣмъ, рано лишившись родителей, вышелъ въ отставку и пріѣхалъ въ свое наслѣдственное имѣніе. Объѣздивъ сосѣдей, онъ встрѣтился съ Вѣрой Павловной. Она считалась одной изъ самыхъ богатыхъ невѣстъ той мѣстности, собой была не хороша, но за то бойка, за словомъ въ карманъ не лѣзла, хохотала безъ устали, не чинилась съ молодежью. А молодому графу чуть не съ перваго раза объявила, что онъ ей нравится.

Между ними внезапно установились какія-то шумныя, школьническія отношенія. Они бѣгали, гонялись другъ за другомъ.

Дѣло было лѣтомъ, онъ наѣзжалъ часто по сосѣдству. И вотъ, въ одинъ прекрасный день, черезчуръ долго пробѣгали они въ паркѣ, ловя другъ друга, даже къ обѣду опоздали; наконецъ, вернулись съ очень странными и смущенными лицами.

Послѣ обѣда графъ просилъ руки Вѣры Павловны и получилъ ее.

Свадьбу устроили очень скоро. Да что-то ужъ черезчуръ скоро прошелъ и медовый мѣсяцъ. Всѣмъ было видно, что молодые живутъ не ладно другъ съ другомъ. И дѣйствительно, чуть ли не на другой день послѣ свадьбы они оба поняли, что неизвѣстно зачѣмъ сошлись, зачѣмъ женились, зачѣмъ связали свою судьбу навѣки. Но оба не возвращались къ прошлому. Оба знали, что цѣпи, ихъ связывавшія, нерасторжимы: мужъ и жена— и конецъ, и нечего говорить объ этомъ!

Они возненавидѣли другъ друга самымъ откровеннымъ образомъ, и чѣмъ дольше жили вмѣстѣ, тѣмъ болѣе усиливалась эта ненависть. Однако, она все-же была какая-то странная, она не мѣшала имъ чуть не ежегодно производить дѣтей, жить въ одномъ домѣ; наконецъ, она сдѣлалась почти единственнымъ содержаніемъ ихъ жизни, единственнымъ занятіемъ.

Они оба изощрялись всячески дѣлать другъ другу непріятности, воевать. Постороннихъ въ свои отношенія они не вмѣшивали и, насколько возможно, соблюдали приличія. Собиравшіеся у нихъ въ деревнѣ и въ Москвѣ гости могли только замѣтить, что они никогда не глядятъ другъ на друга и не разговариваютъ между собою. И при постороннихъ, и наединѣ, они обращались другъ къ другу не иначе какъ «вы—графъ» и «вы—графиня»—и часто заканчивали какое-нибудь неизбѣжное хозяйственное объясненіе такими комплиментами:

«Позвольте вамъ замѣтить, графъ, что я даже и отъ васъ не ожидала такой глупости!»—обдавая супруга язвительной усмѣшкой, говорила графиня.

Онъ поводилъ на нее глазами, щетинилъ усы и бурчалъ ей въ отвѣтъ:

«Извините меня, графиня! Вѣдь, извѣстно, какой у васъ языкъ если собакамъ его бросить—такъ и тѣ ѣсть не станутъ!»

Они расходились и снова начинали придумывать, чѣмъ бы вывести изъ терпѣнія одинъ другого.

Между тѣмъ въ ихъ взаимной жизни происходили иной разъ большія странности. Какъ-то графъ заболѣлъ лихорадкой, да такой лихорадкой, что она не отпускала его два мѣсяца, совсѣмъ истощила и, наконецъ, доктора стали опасаться за жизнь его. Графиня во все время этой болѣзни не отходила отъ него ни на минуту, проводила у его постели всѣ ночи, по нѣсколько дней не раздѣвалась. А когда онъ выздоровѣлъ, стала еще съ большимъ рвеніемъ придумывать ему всякія непріятности.

Одинъ изъ сосѣдей, зная ихъ семейные нелады, какъ-то вздумалъ въ разговорѣ съ графомъ неуважительно отнестись къ Вѣрѣ Павловнѣ. При первомъ же словѣ графъ, сидѣвшій по своему обыкновенію развалясь и курившій изъ длиннѣйшаго черешневаго чубука, вдругъ вскочилъ, какъ-будто подъ него подложили нѣсколько пуковъ иголокъ и, не говоря худого слова, изо всѣхъ силъ принялся колотить сосѣда чубукомъ. Ихъ розняли, но сосѣдъ вызвалъ графа на дуэль. Тотъ съ нимъ дрался и даже, вдобавокъ къ чубуку, ранилъ его въ руку. Рана была незначительна. Дѣло замяли, но въ губерніи знали объ этой дуэли и много смѣялись.

Какъ бы ни былъ графъ золъ на жену и какія бы непріятности ни говорилъ ей, но стоило ему только замѣтить, что кто-нибудь изъ многочисленной дворни относился къ графинѣ не съ должнымъ, какъ ему казалось, почтеніемъ, онъ немедленно производилъ строжайшую экзекуцію надъ провинившимся. И хотя вообще онъ не былъ жестокъ, но въ такихъ случаяхъ нечего было ждать отъ него пощады.

Ни разу въ теченіе долгихъ лѣтъ самой невозможной семейной жизни, ни графу, ни графинѣ не приходило въ голову мысли о томъ, что, вѣдь, можно сдѣлать эту жизнь сносной, что если они такъ ужъ не выносятъ другъ друга, то самое лучшее имъ разъѣхаться. Это было тѣмъ болѣе возможно, что средства ихъ и обстоятельства позволяли сдѣлать это безъ всякаго скандала. Графиня могла жить въ Москвѣ или въ Петербургѣ съ дочерью, а графъ остаться въ деревнѣ, къ которой онъ давно уже привыкъ, и гдѣ дичалъ съ каждымъ годомъ.

Да впрочемъ, очень можетъ быть, что если-бы они и рѣшились разъѣхаться, то затосковали бы безъ этихъ перепалокъ и вѣчно измышляемыхъ супружескихъ каверзъ.

Такимъ образомъ, графиня Вѣра Павловна имѣла право говорить, что мужъ ей «на-смѣхъ» вырядился старымъ подъячимъ и завелъ въ Петербургѣ скудную обстановку.

Но все-же на этотъ разъ она нѣсколько ошибалась. Сдѣлавшись въ послѣдніе годы крайне скупымъ и испугавшись своего крупнаго проигрыша, графъ пожелалъ, разыгрывая роль обнищавшаго человѣка, выхлопотать для себя кой-какія милости. Въ концѣ концовъ это и удалось ему. Его знали лично, и кончилось тѣмъ, что онъ получилъ превосходныя земли, якобы на льготныхъ условіяхъ, но, въ сущности, даромъ.

Какъ бы то ни было, положеніе Мари становилось тяжелымъ. О веселостяхъ и пріемахъ въ родительскомъ домѣ, гдѣ бѣгали босоногія дѣвчонки, гдѣ отецъ и мать то и дѣло воевали другъ съ другомъ, нечего было и думать. Тетушка предложила взять Мари къ себѣ, но отецъ этому воспротивился.

— Кормить еще могу, пусть живетъ дома,—сказалъ онъ на всѣ объясненія сестры.—А если тебѣ ужъ такъ хочется, чтобы она плясала, такъ и вывози ее сама... Я этому не мѣшаю...

И тетка стала вывозить Мари.

Николаю Горбатову иногда удавалось заставать дѣвушку у старушки. Но этого ему было мало. Онъ шелъ прямо къ цѣли. Онъ настаивалъ, чтобы ему позволили явиться къ графу. Тетка начала вести войну съ братомъ.

— Помилуй, да, вѣдь, ты совсѣмъ съ ума сходишь, ты извергъ, а не отецъ... ты хуже всякаго звѣря... Дѣло не шутка—женихъ такой, что лучше и не надо... За что ты хочешь лишить Мари ея счастья?

— Ничего не хочу!—бурчалъ графъ.—Если этотъ молокососъ свататься хочетъ—ну что-же, пусть сватается... не откажу...

— Да какъ-же ты его принимать станешь въ такой грязи, вѣдь, срамота! Вѣдь, всякій какъ увидитъ — отступится. Вѣдь, ему, я думаю, и во снѣ ничего подобнаго не снилось...

— Въ такомъ случаѣ, значитъ, онъ подбирается къ Машиному приданому. Если это настоящій женихъ, такъ онъ долженъ знать, что беретъ за себя бѣдную дѣвушку, и я пыль въ глаза пускать не стану... Каковъ есть, каковъ есть... вольному воля!..

Дѣлать было нечего, пришлось, наконецъ, принять Николая Владиміровича въ маленькомъ грязномъ домикѣ. Старушка-графиня очень осторожно объяснила молодому человѣку, что съ ея брата взыскивать нечего, что въ немъ большія странности, да и не въ немъ одномъ, но и въ женѣ его. Мари очень несчастна въ семьѣ. Графиня даже всплакнула при этомъ и произвела должное дѣйствіе.

Николай сдѣлалъ визитъ графу и графинѣ и уѣхалъ отъ нихъ въ негодованіи, съ твердымъ намѣреніемъ какъ можно скорѣе «спасти» Мари, вырвать ее изъ этой невозможной обстановки.

XIII.

Ученица.

Въ это время Владиміра Сергѣевича Горбатова не было въ Петербургѣ. Николай написалъ ему и получилъ въ отвѣтъ краткое и холодное, какъ всегда, письмо, въ которомъ отецъ говорилъ, что если не имѣлъ ничего противъ женитьбы старшаго сына, то ничего не можетъ имѣть и противъ женитьбы Николая. Вообще глупо жениться въ такіе молодые годы, но если ужъ онъ рѣшился на эту глупость, то пусть беретъ на себя и всѣ послѣдствія.

«Во всякомъ случаѣ,—заканчивалъ Владиміръ Сергѣевичъ,—благословляю тебя заочно, такъ какъ ты спѣшишь, а я въ скоромъ времени въ Петербургѣ быть не могу. Вмѣстѣ съ этимъ письмомъ посылаю приказъ въ контору. Если желаешь оставаться въ домѣ, то сдѣлай нужныя распоряженія.»

Николай не сталъ смущаться и раздумывать надъ этимъ письмомъ, оно казалось ему естественнымъ — между нимъ и отцомъ не было ничего общаго, они были чужіе другъ другу. Еще славу Богу, что отецъ не противится его счастью, не мѣшаетъ, не стѣсняетъ въ средствахъ.

Николай былъ на верху блаженства. Братъ Сергѣй и его первая жена, тогда еще совсѣмъ здоровая, молоденькая и веселая женщина, были очень рады этой женитьбѣ, этому новому оживленію, наполнившему ихъ огромный домъ. Тотчасъ-же приступили къ устройству помѣщенія для молодыхъ. Николай торопилъ насколько было возможно.

И вотъ онъ женатъ. Съ какимъ блаженствомъ вводилъ онъ свою юную подругу подъ сѣнь стараго горбатовскаго дома. Онъ былъ увѣренъ, что отнынѣ начинается для него совсѣмъ иное, счастливое существованіе, что осуществляются всѣ его мечты. Онъ съ вѣрой и нетерпѣливымъ ожиданіемъ глядѣлъ въ глаза красивой Мари, и эти глаза, на время потерявшіе свое заспанное выраженіе, ему улыбались. Молоденькая дѣвочка, почти ребенокъ, не могла не поддаться обаянію первыхъ дней любви. Все было для нея такъ ново, неожиданно, непонятно. Да и самая, хотя уже значительно обветшавшая, но все-же почти царственная обстановка стараго дома производила на нее впечатлѣніе, особенно послѣ пансіона и грязнаго домика, нанятаго ея родителями.

Она была увѣрена, что очень любитъ своего мужа. Онъ такой нѣжный, такой хорошенькій. Онъ такъ старается отгадать всякое малѣйшее ея желаніе и тотчасъ-же его исполняетъ.

Только съ первыхъ-же дней онъ показался ей черезчуръ порывистымъ, пылкимъ и не совсѣмъ понятнымъ. Она была съ нимъ ласкова и поддавалась его ласкамъ. На его поцѣлуи отвѣчала поцѣлуями. Когда онъ ее спрашивалъ: любитъ-ли она его?— она отвѣчала: «люблю».

Между тѣмъ, всего этого ему было какъ-будто еще мало, какъ-будто онъ хотѣлъ еще чего-то. Но чего-же ему еще? Какой странный!

А онъ все ждалъ.

Когда туманъ первыхъ дней прошелъ, когда мало-по-малу началась обычная жизнь, онъ сталъ торопить это счастье, о которомъ грезилъ. Онъ сталъ вызывать въ женѣ не только женщину, но и друга. Онъ сталъ разсказывать ей себя, открывалъ передъ нею всѣ завѣтные уголки своей души, своего сердца. Передалъ ей всѣ свои мысли, грезы, планы. Сначала она слушала его довольно внимательно, но затѣмъ, и именно въ ту минуту, когда онъ былъ особенно торжественно и трогательно настроенъ, когда голосъ его звучалъ почти вдохновеніемъ, а на глазахъ блестѣли слезы, она вдругъ засмѣялась. Онъ остановился, пораженный и недоумѣвающій.

— Чего-же ты смѣешься?

— Ахъ, Nicolas,—отвѣчала она:—помилуй, да какъ-же не смѣяться! Я думала—ты совсѣмъ взрослый, серьезный человѣкъ, а ты болтаешь глупости—какъ маленькій ребенокъ.

— Какъ глупости? Какъ ребенокъ?—запинаясь, прошепталъ онъ.

— Да, конечно!.. Ну статочное-ли дѣло такъ смѣшно фантазировать?.. И потомъ—я думала—ты добрый, а ты совсѣмъ злой. За что ты бранишь всѣхъ людей, считаешь ихъ и глупыми, и безсердечными, и фальшивыми? Что они тебѣ сдѣлали?..

Она приняла видъ разсудительной женщины, журила его:

— Все у тебя есть, здѣсь въ домѣ такъ хорошо, всѣ тебя любятъ, всѣ съ нами ласковы... жить можно очень весело, а ты ничѣмъ недоволенъ... и ко всему еще недоволенъ и мною! Кажется—не на что пожаловаться!.. Оставь лучше всѣ эти бредни и позвони—мнѣ пора одѣваться, а то мы опоздаемъ въ театръ...

Онъ замолчалъ, дернулъ сонетку и, выйдя отъ жены, сталъ бродить по пустымъ, огромнымъ комнатамъ. Съ каждой минутой ему становилось тяжелѣе.

«Что-же это?»—повторялъ онъ про себя и не находилъ отвѣта.

Наконецъ, ему пришло въ голову, что онъ самъ виноватъ, что онъ слишкомъ спѣшитъ, что отчаяваться смѣшно и глупо. Вѣдь, Мари такъ молода, вѣдь, онъ-же зналъ это и именно расчитывалъ на ея молодость. Что она можетъ понимать? Къ чему подготовлена? Въ какихъ рукахъ была? Онъ долженъ терпѣливо «создать» ее и образовать, научить тому, чему самъ научился... тогда она пойметъ его, и они заживутъ общей жизнью, станутъ «едино тѣло и единъ духъ».

Да, онъ будетъ учить ее, читать вмѣстѣ съ нею и мало-помалу передастъ ей все...

Онъ совсѣмъ успокоился, былъ особенно оживленъ въ этотъ вечеръ, и Мари ему улыбалась.

На слѣдующій-же день онъ повелъ ее въ свою любимую библіотеку, сталъ указывать ей особенно интересовавшія его книги и предложилъ каждый день вмѣстѣ приходить сюда и заниматься чтеніемъ.

— Хорошо,—сказала она:—если это доставляетъ тебѣ удовольствіе.

— А я надѣюсь, что и тебѣ это будетъ доставлять удовольствіе!—воскликнулъ онъ.

— Увидимъ!.. Да, я очень люблю читать интересные романы... намъ не позволяли этого въ пансіонѣ, и мы читали потихоньку. Даже, я признаюсь тебѣ, Nicolas, я немножко знакома...—она запнулась, покраснѣла:—знакома съ Поль де-Кокомъ...

Онъ задумался.

— Романы! И романы читать можно, даже и Поль де-Кока, въ этомъ нѣтъ дурного... Только не одни романы мы будемъ читать съ тобою, Мари.

— А что-же еще?

— Увидишь.

Каждый день онъ сталъ водить Мари въ библіотеку и жадно читалъ ей тѣ книги, которыя, по его мнѣнію, всего болѣе могли принести ей пользу и заставить ее понять то, чего она до сихъ поръ не понимала, что въ его словахъ казалось ей «бреднями».

У Мари хватило терпѣнія на цѣлую недѣлю, но черезъ недѣлю она рѣшительно объявила ему, что если онъ хочетъ ей читать, то пусть читаетъ романы, а этихъ, можетъ быть, очень ученыхъ и умныхъ, но скучныхъ книгъ, она слушать ненамѣрена, потому что онѣ ей неинтересны, а главное, совсѣмъ, совсѣмъ ненужны...

— Да ты подумай только—зачѣмъ мнѣ это?—повторяла она.

— Какъ зачѣмъ? Да для того, чтобы знать какъ можно больше, чтобы жизнь понимать!

Она улыбалась и зѣвала.

— Я въ профессора не готовлюсь!—стараясь не сердиться и оставаться кроткой, говорила она.

Онъ все еще не падалъ духомъ, все еще боролся.

— Погоди!—увѣрялъ онъ ее умоляющимъ голосомъ:—потерпи немного, пересиль свою скуку—и вотъ ты увидишь, Мари, скоро сама заинтересуешься.

Мари покорилась, продолжала слушать его чтенія, но ея терпѣніе стало истощаться. Она иной разъ просто засыпала, блѣднѣла и томилась, пересиливая скуку и сонъ.

— Господи! Однако, какъ ты меня мучаешь!—невольно вырвалось у нея, наконецъ, во время одного изъ такихъ чтеній.

Онъ бросилъ книгу и поднялся блѣдный, съ дрожащими губами. Глаза его зло сверкнули.

— Извини, я не буду тебя больше мучить!—проговорилъ онъ не своимъ голосомъ.

Чтенія и уроки были окончены.

Мари разсказала о проказахъ мужа Сергѣю и его женѣ и при этомъ жаловалась, что Николай не только ее совсѣмъ измучилъ своими глупыми чтеніями и уроками, но что теперь, когда она ужъ больше совсѣмъ не можетъ и отказалась,—онъ дуется, не говоритъ съ нею, почти не глядитъ на нее. Сергѣй и его жена приняли сторону новой родственницы. Сергѣй очень смѣялся.

— Тутъ вовсе нечего смѣяться!—плаксивымъ тономъ замѣтила Мари.—Ты лучше поговори съ нимъ, образумь его, а то что-же это такое?.. И вотъ уже я никогда... никогда не воображала, что у него такой отвратительный характеръ! Ему, право, какъ будто доставляетъ удовольствіе терзать меня... и именно теперь, когда...

Она запнулась и покраснѣла.

— Пожалуйста, образумь его...

Сергѣй обѣщалъ и поспѣшилъ исполнить обѣщаніе. Онъ нашелъ Николая, обнялъ его, сдѣлалъ ему самую уморительную гримасу и, засматривая ему въ глаза своими веселыми, ласкающими глазами, заговорилъ:

— Послушай, шутъ ты парадный!—это было его любимое выраженіе, эпитетъ, которымъ онъ награждалъ только самыхъ близкихъ друзей и чаще всего брата:—шутъ парадный, что ты такое выдумалъ? За что ты свою Мари засадилъ за ученье?

Николай поморщился и скривилъ губы въ усмѣшку.

— Пожаловалась!—выговорилъ онъ.

— Да какъ-же на тебя не жаловаться, когда ты какъ малый ребенокъ глупости выдумываешь! Развѣ вы затѣмъ поженились, чтобы ты давалъ ей уроки? Я думаю, что всякое ученье ей давно опротивѣло, и что она вовсе не за этимъ выходила за тебя замужъ... И не понимаю чего тебѣ надо... Что ты все мудрить, коверкать по-своему хочешь... Посмотри, какая она у тебя хорошенькая... Ну и любитесь, цѣлуйтесь, пока не надоѣло. А то, вѣдь, братъ, знаешь-ли—вѣдь, если начать коверкать женщину да сажать ее за указку, надоѣдать ей, такъ, вѣдь, этакъ можно и опротивѣть... Ты объ этомъ подумай!

Николай опять усмѣхнулся.

— Правда!—сказалъ онъ:—я съ тобою согласенъ; но, вѣдь, я же объявилъ ей, что наши уроки кончены...

— Такъ зачѣмъ-же ты на нее дуешься?

— Я... дуюсь? Она ошибается...

— Нѣтъ, не ошибается... Ты и теперь дуешься, посмотри какое у тебя лицо, совсѣмъ злое...

— Оставимъ этотъ разговоръ,—рѣзко сказалъ Николай.

— Оставимъ,—повторилъ за нимъ Сергѣй.

Онъ ушелъ отъ брата и тотчасъ-же забылъ и брата, и Мари, и свое семейное положеніе. Онъ вспомнилъ, что его ждетъ нѣкая хорошенькая жена обманутаго имъ мужа.

Но исторія «уроковъ» не была еще кончена. Въ тотъ-же вечеръ жена Сергѣя, улучивъ удобную минуту, заговорила о томъ-же предметѣ, только она взглянула на дѣло съ другой точки зрѣнія. Она явилась защитницей Мари болѣе серьезной.

— Вѣдь, ты не понимаешь, Николай,—говорила она:—что значитъ то положеніе, въ которомъ Мари теперь находится. Нужно очень беречь ее, не утомлять, не сердить... Нужно быть какъ можно болѣе ласковымъ и нѣжнымъ съ нею—иначе легко повредить и ей, и ребенку.

Николай вздрогнулъ. Онъ давно зналъ, что скоро будетъ отцомъ, но эта мысль какъ-то не останавливала на себѣ его вниманія. Теперь-же она поразила его, показалась ему дикой.

Онъ—отецъ! Это какъ-то не входило въ его мечты, въ его планы.

«Нужно ее беречь, не утомлять, быть съ нею нѣжнымъ,—повторилъ онъ про себя.—Конечно, конечно, иначе это можетъ

повредить и ей, и ребенку... ей и ребенку... я виноватъ передъ нею... я глупъ!..»

Онъ поспѣшилъ къ Мари, нѣжно ее обнялъ, поцѣловалъ, приласкался къ ней.

Но въ то-же время онъ съ ужасомъ видѣлъ, что въ этихъ его ласкахъ какъ будто нѣтъ прежней страсти, прежней искренности, что онъ себя къ нимъ принуждаетъ. Тоска охватила его.

«О, какъ я глупъ!—думалъ онъ:—и что я за несчастный человѣкъ! Къ чему я и о чемъ я фантазировалъ, и чѣмъ Мари-то виновата? Жизнь идетъ какъ должна идти... Я мужъ, я скоро отецъ. А та, та жизнь, которая грезилась, которая должна была начаться и уже, казалось, что начиналась—гдѣ она?.. Ея нѣтъ... не можетъ быть... никогда не бываетъ!..»

XIV.

Очагъ потухъ.

У Мари родился сынъ, котораго назвали Григоріемъ, именемъ, часто повторявшимся въ теченіе пяти столѣтій въ родѣ Горбатовыхъ.

Молодого отца поздравляли съ этой радостью, и онъ принималъ поздравленія, стараясь выказывать радость и удовольствіе. Но въ дѣйствительности онъ не былъ вовсе доволенъ. Все, что творилось теперь въ его семейной жизни, казалось ему почему-то страннымъ, неловкимъ. Онъ тщетно искалъ въ себѣ любовь къ этому крошечному, красненькому, несчастному и безпомощному существу—любви не было—была даже брезгливость. Онъ боялся до него дотронуться...

«Что-же это?—тоскливо думалъ онъ:—что-же извергъ я, что-ли? Вѣдь, это плоть-плоти, кровь-крови моей, какъ-же я не люблю его? какъ-же онъ мнѣ кажется такимъ чужимъ и противнымъ?! Нѣтъ,—этого быть не можетъ, все это пройдетъ... Онъ еще совсѣмъ непохожъ на человѣка, но онъ выростетъ немного, и я полюблю его, какъ долженъ любить отецъ сына... Вѣдь, въ немъ, въ этомъ мальчикѣ, можетъ быть все мое будущее!..»

Онъ сталъ ждать, сталъ пріучать себя къ ребенку. По нѣсколько разъ въ день приходилъ въ большую, тихую «дѣтскую», останавливался у колыбельки, вглядывался въ мальчика, и мало-по-малу крошечное существо уже становилось для него менѣе противнымъ, онъ уже начиналъ находить въ немъ даже нѣкоторую прелесть.Но до любви было еще далеко.

Рожденье ребенка было, конечно, для Мари огромнымъ событіемъ, какъ и для всякой женщины. Но и въ ней не замѣча-

лось той страстности, какая обыкновенно присуща юной матери. Иногда она начинала нѣжно глядѣть на сына; но вдругъ отворачивалась и говорила съ гримаской.

«Противный, стоишь-ли ты? Сколько мукъ я изъ-за тебя натерпѣлась!»

И нельзя было понять—въ шутку говоритъ она это, или серьезно.

Она быстро поправилась, и черезъ два мѣсяца ее трудно было узнать. Она выросла, еще болѣе пополнѣла, превратилась въ роскошную женщину. Но вмѣстѣ съ тѣмъ въ ней исчезла даже та небольшая доля живости, какая прежде замѣчалась. Она начинала съ каждымъ днемъ становиться лѣнивѣе и лѣнивѣе, все болѣе и болѣе стала любить физическое спокойствіе, тяготилась даже балами и выѣздами, не находя въ нихъ никакого удовольствія. О ней говорили какъ о примѣрной матери.

«Такъ молода и уже сдѣлалась домосѣдкой, не отходитъ отъ ребенка».

Но не отъ ребенка она не отходила, а отъ своей уютной и роскошной спальни, гдѣ можно было такъ мягко спать, такъ удобно валяться въ полудремотѣ по цѣлымъ часамъ, въ то время какъ кругомъ всѣ люди были на ногахъ, жили и дѣйствовали. Впрочемъ, иногда она дѣлала надъ собою усилія, вспоминала, что она жена и мать, начинала распоряжаться всѣмъ, что нужно было для ребенка и для мужа, заботилась объ ихъ удобствахъ.

Иногда она встрѣчала Николая ласковой улыбкой, ласкала его. Но въ этихъ ласкахъ всегда было болѣе сантиментальности, чѣмъ горячаго чувства.

Теперь стало ясно: Мари была холодна по природѣ, и лѣнь все болѣе и болѣе одолѣвала ее. Ей тяжело было думать, дѣйствовать, ей пріятно было только жить растительной жизнью—начинать и кончать день, по возможности, удобнѣе и спокойнѣе.

Никто, конечно, не видѣлъ и не понималъ этого такъ ясно, какъ Николай. Онъ не сразу покинулъ всякую надежду, онъ еще долго боролся. Онъ возмужалъ, сталъ сдержаннѣе и прежнихъ юношескихъ порывовъ уже не было. Онъ не возобновлялъ смѣшныхъ уроковъ и чтеній; но старался при каждомъ удобномъ случаѣ, осторожно и незамѣтно, будить мысль Мари, заинтересовывать ее то тѣмъ, то другимъ, выходившимъ изъ предѣловъ ея спальни. Онъ былъ терпѣливъ, изо всѣхъ силъ сдерживалъ порывы своего пылкаго нрава...

Но его усилія, его терпѣніе пропадали даромъ. Мари была совсѣмъ неспособна проснуться. Она все болѣе и болѣе уходила въ мелочи домашней обстановки, все съ большимъ аппетитомъ пила и ѣла, все слаще спала, полнѣла, розовѣла.

Такъ проходили годы. Дѣтей у нихъ болѣе не было. Наконецъ, Николай махнулъ рукой и понялъ, что ошибся, что онъ и его жена совсѣмъ разные люди, и что между ними ничего нѣтъ общаго, понять они другъ друга не въ силахъ.

Онъ остался одинъ, со всѣми своими неосуществившимися грезами. Онъ продолжалъ жить съ недовольствомъ той жизнью, какую зналъ и какую вокругъ себя видѣлъ, со всей тоской по иной жизни. Онъ несъ военную службу по привычкѣ, къ тому же она удовлетворяла его какъ движеніе, какъ занятіе на воздухѣ. Но она не была его призваніемъ. Отъ общества сверстниковъ офицеровъ онъ по возможности отдалялся, хотя это было и трудно, хотя это нужно было дѣлать осторожно и незамѣтно, чтобы не оскорблять ихъ.

Все свое свободное время онъ проводилъ въ библіотекѣ, за чтеніемъ. Онъ интересовался всѣмъ, что появлялось въ литературѣ. Исторія была его любимымъ предметомъ. Страстно любилъ онъ и поэзію.

Иногда ему казалось, что и онъ могъ-бы попробовать писать, что, можетъ быть, изъ этого что-нибудь и вышло-бы. Онъ даже начиналъ: приготовилъ большую статью: «Объ отношеніяхъ Россіи къ западно-европейскимъ государствамъ въ XVII столѣтіи». Потомъ написалъ повѣсть, въ которую вложилъ много страсти и тоски, много чувства. Иногда у него выливались хорошенькія стихотворенія. Но онъ тщательно скрывалъ ото всѣхъ свое авторство. Почему—изъ недовѣрія-ли къ своимъ силамъ, изъ излишняго-ли самолюбія—онъ и самъ не зналъ. Ему все-же, однако, хотѣлось подѣлиться съ обществомъ своими трудами, своимъ вдохновеніемъ. Онъ долго колебался и, наконецъ, послалъ, самымъ таинственнымъ образомъ, статью «объ отношеніяхъ» въ одинъ журналъ, повѣсть—въ другой.

Но ни статья, ни повѣсть не появились въ печати. Онѣ какъ-то затерялись въ редакторской макулатурѣ, среди тѣхъ безъимянныхъ рукописей, на которыя не обращаютъ вниманія потому, что онѣ безъимянны, и изъ которыхъ только изрѣдка, и по счастливой случайности, чутье опытнаго литератора извлекаетъ нежданные перлы. Но такого счастливаго случая не выпало на долю Николая.

А между тѣмъ, если-бы его статья и повѣсть были напечатаны, онѣ навѣрное-бы произвели впечатлѣніе, успѣхъ заставилъ-бы его работать, и кто знаетъ, что изъ этого-бы вышло. Теперь-же онъ только промучился, ожидая «свою судьбу», съ томленіемъ, дрожащими руками хватался въ теченіе года каждую новую книжку журнала, потомъ махнулъ рукой и уже не принимался больше ни за какое писаніе.

Его отношенія къ Мари съ теченіемъ времени окончательно выяснились. Онъ старался быть съ нею какъ можно терпѣливѣе, хотя это невсегда ему удавалось. Иной разъ, въ особенности, когда послѣ продолжительнаго чтенія какого-нибудь романа на нее нападало сантиментальное настроеніе, онъ не выдерживалъ, доходилъ до рѣзкихъ словъ, до презрительныхъ намековъ на ея глупость. Но скоро онъ приходилъ въ себя, ему становилось стыдно и онъ старался ласковымъ, терпѣливымъ и спокойнымъ обращеніемъ загладить свою вину.

Онъ ни разу не измѣнилъ Мари и даже не думалъ объ этомъ, такъ какъ не обращалъ вниманія на женщинъ—онѣ для него не существовали. А между тѣмъ, въ иныя минуты, съ прежней силой, если еще не съ большей, поднималась въ немъ жажда любви, страсти. Въ немъ закипала вся кровь и снова въ его разгоряченномъ воображеніи рисовались картины волшебной жизни.

Своего маленькаго Гришу онъ любилъ, любилъ сильно. Онъ съ радостью слѣдилъ за его ростомъ, за тѣмъ, какъ крошечный, безсмысленный ребенокъ превращался въ человѣческое существо съ мыслями, движеніями сердца и воли. Когда Гриша переживалъ разныя дѣтскія невзгоды, неминуемыя болѣзни дѣтскаго возраста, отецъ страдалъ глубоко, забывалъ себя, проводилъ безсонныя ночи... Ребенокъ выздоравливалъ—это была большая радость... Но все-же чувство къ сыну не могло наполнить и скрасить его жизни—оно доставляло ему несравненно больше горечи, чѣмъ сладости.

Если-бы онъ и Мари хорошо сжились, если-бы у нихъ были общіе взгляды и понятія—они оба могли-бы, конечно, вмѣстѣ трудиться надъ воспитаніемъ ребенка. Теперь-же объ этомъ нечего было и думать. Мари заявляла свои исключительныя права, и Николай ихъ не оспаривалъ; но онъ въ первое время не хотѣлъ также отказываться и отъ своихъ правъ. Онъ слѣдилъ, когда могъ, за Гришей, подмѣчалъ въ немъ дурныя склонности, останавливалъ его иногда, даже наказывалъ. И при этомъ никогда не раздражался, былъ спокоенъ.

Это было не по вкусу Мари. Въ ней заговаривалъ какой-то духъ противорѣчія: она спорила съ мужемъ при ребенкѣ, находя всегда, что онъ несправедливъ къ мальчику. И—странное дѣло—она горячо принимала къ сердцу дѣла Гриши только тогда, когда въ нихъ вмѣшивался отецъ,—другимъ-же она позволяла наказывать ребенка, да и вообще мало обращала на него вниманія.

Наконецъ, Николай рѣшилъ, что лучше ужъ кто-нибудь одинъ, что эти споры передъ ребенкомъ. съ одной стороны, вредны для Гриши, а съ другой—унизительны для родителей. Онъ почти отстранился и вмѣшивался только въ самыхъ крайнихъ случаяхъ.

Мало-по-малу онъ сталъ замѣчать отчужденіе отъ себя мальчика. Какимъ образомъ произошло это—онъ не зналъ и не хотѣлъ обвинять жену въ сознательномъ вооруженіи противъ него сына. Но что, во всякомъ случаѣ, безсознательно она это дѣлала—было несомнѣнно. Дѣти такъ чутки, дѣти такъ хорошо понимаютъ многое!.. Гриша видѣлъ, что отецъ не хочетъ спускать ему того, что спускаетъ мать, что отъ отца трудно скрыться и что когда отецъ хочетъ наказать—мать защищаетъ. И онъ, естественно, былъ на сторонѣ матери, бѣгалъ къ ней подъ защиту отъ отца, какъ бѣгалъ въ другихъ случаяхъ отъ нея подъ защиту бабушки...

У Николая оставалась еще одна большая, выросшая съ нимъ привязанность къ брату. Она не уменьшалась съ годами: симпатичность Сергѣя, дѣйствовавшая на всѣхъ, кто только его зналъ, дѣйствовала и на Николая. Но, вѣдь, этого было мало, хотѣлось во всемъ сочувствовать человѣку, уважать его, а уважать Сергѣя Николай не могъ.

Наконецъ, послѣ смерти отца, которая по винѣ самого Владиміра Сергѣевича не была особеннымъ несчастіемъ для дѣтей его, пріѣхала мать. Это была новая мука чуткой души Николая. Катерина Михайловна была для него совсѣмъ чужой женщиной, и несмотря на то, что ему хотѣлось страстно, чтобы она стала ему близкой и дорогой—это было невозможно. Онъ не зналъ многихъ подробностей ея жизни; но и того, что онъ зналъ, было достаточно, чтобы заставить невольно почти стыдиться передъ самимъ собою, когда онъ думалъ о матери.

Сергѣю было все равно—онъ какъ-то скользилъ по этому чувству, а Николай отъ него мучился. Но, конечно, никто не зналъ и не подозрѣвалъ этихъ мученій. Онъ былъ неизмѣнно почтителенъ съ Катериной Михайловной, онъ, молчаливо согласившись съ братомъ, предоставилъ ей первую роль въ домѣ, выносилъ ея причуды, терпѣливо выслушивалъ ея наставленія и только въ крайнемъ случаѣ, чтобы не выказать подступавшаго къ сердцу раздраженія, вдругъ совсѣмъ замолкалъ, уходилъ и потомъ нѣкоторое время избѣгалъ встрѣчъ съ нею.

Въ послѣдніе два года жизнь Николая, совершенно незамѣтно для него самого, мало-по-малу стала измѣняться. Сергѣй женился вторично. Въ старомъ горбатовскомъ домѣ появилось новое существо, принесшее съ собою новую атмосферу.

Николай рѣдко бывалъ въ обществѣ и не видѣлъ Наташу почти до самой женитьбы брата. Онъ очень боялся за этотъ бракъ, устроенный матерью, и даже отговаривалъ Сергѣя, зная, что такому человѣку вовсе не слѣдуетъ жениться.

Но когда онъ увидѣлъ и разглядѣлъ Наташу, то отъ всей

души поздравилъ брата и даже подумалъ, что почемъ знать—можетъ быть, эта прелестная дѣвушка, наконецъ, образумитъ вѣчнаго кутилу. Однако, чѣмъ больше вглядывался онъ въ Наташу, тѣмъ къ чувству первой радости болѣе и болѣе стало примѣшиваться сомнѣніе и жалость.

«А вдругъ и она не измѣнитъ Сергѣя?.. А если не измѣнитъ—такъ значитъ погубитъ себя».

Но ему приходилось тщательно скрывать эти свои сомнѣнія. Помѣшать свадьбѣ онъ ничѣмъ не могъ, даже и не имѣлъ на это никакого права.

Скоро ему пришлось убѣдиться, что опасенія его не безосновательны. Сергѣй, по странному капризу своей природы, въ первое время, очевидно, не хотѣлъ замѣчать достоинствъ Наташи, а можетъ быть, если и видѣлъ ихъ, то не придавалъ имъ значенія. Онъ былъ съ нею нѣженъ; но скоро вернулся къ прежней своей жизни; ея общества было для него недостаточно.

Наташа еще ничего не замѣчала, она еще не разглядѣла мужа, она жила всею силою только что распустившейся молодости. Ей было хорошо, она любила все и всѣхъ. Она привязалась сразу къ дѣтямъ мужа, къ Мари, къ Гришѣ, даже къ Катеринѣ Михайловнѣ.

Съ Николаемъ ея обращеніе было самое дружеское, и такъ какъ Сергѣя не бывало очень часто дома, а Николай былъ домосѣдомъ, то случаевъ для встрѣчъ и разговоровъ оказывалось у нихъ много. Разговоры эти дѣлались все болѣе и болѣе оживленными. Скоро для нихъ стало ясно, что они отлично понимаютъ другъ друга, что въ ихъ характерахъ и взглядахъ много общаго, что Наташа, несмотря на свою живость и незнаніе жизни, можетъ быть очень серьезна и уже не разъ задумывалась надъ «большими» вопросами. А Николай такъ хорошо умѣлъ отвѣчать на эти вопросы, отвѣчать именно въ томъ тонѣ, какой ей былъ по душѣ.

Нерѣдко, читая и работая въ библіотекѣ, Николай слышалъ легкій стукъ въ дверь:

— Можно войти?

Онъ радостно отвѣчалъ:

— Конечно, можно!

Дверь неслышно отворялась и на порогѣ показывалась Наташа, милая, граціозная, съ ласковымъ взглядомъ глубокихъ, прекрасныхъ глазъ, съ тихой улыбкой. Проходилъ часъ, другой—и они бесѣдовали, не замѣчая времени.

Только этой послѣдней весною, передъ отъѣздомъ въ Знаменское, между ними произошло что-то странное—они вдругъ стали иногда избѣгать другъ друга, имъ иногда при встрѣчахъ

дѣлалось неловко. Можно было подумать, что они поссорились и не хотѣли помириться, сердились. Наташа какъ-будто иногда дѣйствовала раздражительно на Николая, и онъ не скрывалъ этого раздраженія. Онъ уже нѣсколько разъ рѣзко говорилъ съ нею. Даже домашніе замѣтили, что между ними пробѣжала кошка.

А между тѣмъ видимой причины такого разлада не было— они сами не понимали, что это значитъ. И такъ-же безсознательно, какъ сближались и дружились, такъ они стали и расходиться. Но разойтись, живя подъ одной кровлей, было трудно,— какъ ни избѣгай встрѣчъ и разговоровъ, они неизбѣжны.

Съ каждымъ днемъ становилось все хуже и хуже: Николай и Наташа стали мѣшать другъ другу, стали доставлять другъ другу мученія.

Онъ радъ былъ, когда остался одинъ въ Петербургѣ, и всѣ уѣхали въ деревню. Ему было пріятно въ первый день чувствовать свое одиночество въ огромномъ домѣ; какъ-будто легче дышалось. Но на слѣдующій-же день онъ затосковалъ, а черезъ мѣсяцъ сталъ рваться въ деревню, въ свою привычную семейную обстановку. И ему казалось, что онъ хочетъ именно къ себѣ, и ему казалось, что Наташа теперь мѣшать ему не будетъ...

Но онъ прожилъ сутки въ Знаменскомъ, и вотъ та же тоска, только еще пуще прежняго, и Наташа еще больше мѣшаетъ. Онъ не знаетъ куда отъ нея дѣваться...

Вышелъ онъ теперь изъ дома бродить по парку, чтобы разогнать эту тоску, чтобы забыться въ тѣни этихъ старыхъ деревьевъ, среди этой благоухающей, лѣтней природы.

И онъ сталъ забываться. Онъ отгонялъ отъ себя всѣ безпокоющія мысли, шелъ все впередъ и впередъ, не замѣчая гдѣ онъ, не зная—идетъ онъ, стоитъ или лежитъ.

Вдругъ, на поворотѣ аллеи онъ столкнулся съ Наташей. Они оба даже вздрогнули и остановились съ испуганными лицами. Они взглянули другъ на друга почти какъ враги и разошлись молча, не обмѣнявшись ни однимъ словомъ.

Она поспѣшила домой, скорѣй, скорѣй, какъ-будто кто-то гнался за нею, а онъ ушелъ въ самую глубь парка. Въ немъ поднималось даже злое чувство, почти бѣшенство—на кого: на себя, на нее, на всѣхъ, на то невидимое, непонятное и страшное, что мѣшало ему жить, дышать...

И оба они совсѣмъ не понимали, что это такое значитъ, почему имъ такъ тяжело, такъ невыносимо, и чѣмъ они виноваты другъ передъ другомъ...

XV.

Излишнее признаніе.

Наташа вошла въ домъ все съ тѣмъ-же испуганнымъ выраженіемъ въ лицѣ, съ болѣзненно-бьющимся сердцемъ, съ ощущеніемъ будто кто-нибудь гонится за нею и настигаетъ ее. Она почти пробѣжала парадныя комнаты, радуясь, что никого въ нихъ не встрѣтила, что никто не остановилъ ее.

Очутившись, наконецъ, въ своей спальнѣ, она глубоко вздохнула, почти упала въ кресло и нѣсколько минутъ оставалась неподвижной, съ закрытыми глазами, съ порывисто дышащей грудью. Потомъ она поднялась, провела рукою по горячему лбу, будто отгоняя нахлынувшія мысли, и оглядѣлась.

Все было тихо въ ея просторной и уютной спальнѣ. Окно въ садъ было отворено, широкая, спущенная маркиза мѣшала солнцу проникать въ комнату; но все-же ясный лѣтній день выглядывалъ изъ каждой щелки и наполнялъ всю спальню свѣжимъ, душистымъ запахомъ скошенной подъ окномъ травы.

Наташа еще прошлымъ лѣтомъ позаботилась устройствомъ своего гнѣздышка; каждая вещица здѣсь была, такъ сказать, проникнута ею. Старинная тяжелая мебель какъ-бы терялась и измѣняла свой характеръ среди различныхъ граціозныхъ бездѣлушекъ, привезенныхъ Наташей и разставленныхъ всюду, и съ большимъ вкусомъ.

Но эта любимая молодой хозяйкой комната теперь, въ солнечный день, въ первый разъ еще показалась ей унылой и пустой, почти противной.

И опять Наташа упала въ кресло, и опять сидѣла неподвижно, съ глазами, устремленными куда-то впередъ, далеко за предѣлы спальни.

«Да что-же это наконецъ, со мною?—подумала она.—Какъ будто несчастье, какъ будто горе. Но, вѣдь, нѣтъ ни несчастья, ни горя! Отчего-же, отчего, Боже мой, такъ мнѣ тяжело? Или я больна?.. Вчера было сыро, можетъ быть, я простудилась»...

Она съ радостью даже остановилась было на этой мысли; но нѣтъ, она тутъ-же сейчасъ и почувствовала, что не больна, не простудилась...

Въ это время, въ сосѣдней комнатѣ, въ кабинетѣ Сергѣя, отворилась дверь, послышались его шаги. Онъ и въ этотъ день, какъ часто съ нимъ случалось, рано выѣхалъ изъ дому и не возвращался къ завтраку.

Наташа прислушалась: вотъ онъ бросилъ хлыстъ, вотъ онъ двинулъ стуломъ, раздается его протяжная, обычная зѣвота.

Она встрепенулась. «Скорѣй, скорѣй къ нему!»...

Она почувствовала потребность быть къ нему ближе, спрятаться подъ его защиту отъ того, что ее такъ мучило, что преслѣдовало, что по пятамъ гналось за нею. Она сдѣлала нѣсколько быстрыхъ шаговъ, приподняла портьеру и очутилась въ кабинетѣ.

Сергѣй, очевидно, утомленный верховой ѣздой и зноемъ, лежалъ на диванѣ, вытянувъ свои длинныя ноги, въ пыльныхъ сапогахъ, въ разстегнутомъ жилетѣ. Онъ обмахивался платкомъ и то и дѣло вытиралъ имъ свой бѣлый, влажный лобъ. При видѣ входившей Наташи, онъ ей разсѣянно улыбнулся и откинулъ голову на кожаную подушку дивана.

— Вотъ жара!—проговорилъ онъ:—въ полѣ такъ и печетъ... совсѣмъ я замучилъ сегодня бѣднаго Сѣраго...

— Вольно-же, неизвѣстно зачѣмъ, мучить и себя, и лошадь!—сказала Наташа, подсаживаясь къ мужу.—Въ полдень по полямъ! Съ тобой еще когда-нибудь солнечный ударъ сдѣлается... Смотри, на что ты похожъ!

Она вынула изъ кармана свой маленькій, надушеный платокъ и вытерла имъ его лицо.

— Но гдѣ ты былъ? Что дѣлалъ? Разскажи мнѣ по крайней мѣрѣ, Сережа. Зачѣмъ это тебѣ такъ нужно было мучить Сѣраго?

Она наклонилась, поцѣловала его и прижалась къ нему плечомъ.

Въ его лицѣ что-то дрогнуло, онъ даже немного поморщился, какъ будто ему непріятна была близость хорошенькой, ласкающейся жены. Но это было только мгновеніе—онъ взглянулъ на нее, улыбнулся ей, хотѣлъ ее обнять—и вдругъ опустилъ руку. Лицо его стало печально.

— Ахъ, Наташа!—проговорилъ онъ:—да не гляди ты такъ на меня, не гляди... ты меня мучаешь...

— Мучаю? Чѣмъ?—спросила она съ изумленіемъ.

— А тѣмъ, что я не стою, чтобы ты такъ на меня смотрѣла...

— Опять ты за старое!

Она засмѣялась.

— Что это на тебя находитъ, въ самомъ дѣлѣ?.. И знаешь-ли, вѣдь, это униженіе паче гордости!..

— Какое тамъ униженіе паче гордости!—досадливо выговорилъ онъ.

Съ нимъ положительно дѣлалось что-то странное. Онъ начиналъ волноваться. Наконецъ, спустилъ ноги съ дивана, захватилъ обѣими руками свою голову и сидѣлъ, уставивъ глаза въ коверъ. Наташа никогда еще не видала его такимъ стран-

нымъ, съ такимъ выраженіемъ. Она почуяла, что это что-то не спроста.

— Сережа,—сказала она:—посмотри на меня!

Онъ поднялъ глаза и тотчасъ-же опустилъ ихъ.

— Что случилось? Что ты отъ меня скрываешь? Говори сейчасъ... Зачѣмъ ты хочешь пугать меня?..

— Я и скажу,—выговорилъ онъ:—это глупо... я не могу... брани, дѣлай со мной что хочешь... но лучше знай и прости меня...

Онъ путался—она не понимала.

— Что ты такое сдѣлалъ?.. Что?

— Я глупъ... я испорченъ... я дрянной человѣкъ... Но я не хочу, не могу скрываться передъ тобою... особенно когда ты такъ смотришь... Ты знаешь Катеньку Недольсину?

(Это была молоденькая жена одного изъ ихъ ближайшихъ сосѣдей. Она изрѣдка посѣщала Горбатовыхъ въ Знаменскомъ).

— Такъ что-же? — спросила Наташа, все еще ничего не понимая.

— Я, я... сегодня былъ на свиданьи съ нею... И какъ все это глупо вышло... какъ скучно... она такая дура...

Наташа широко раскрыла глаза.

— Да ты что-же это... шутишь?—прошептала она.

— Нѣтъ, не шучу...

Онъ печально и покорно глядѣлъ на нее, и она видѣла ясно, что онъ не шутитъ. Она отшатнулась отъ него, поднялась. Лицо ея поблѣднѣло, глаза зло блеснули.

— Если вы дошли до такихъ гадостей, то признаваться мнѣ въ нихъ — еще противнѣе, это уже совсѣмъ, совсѣмъ низко!..—почти задыхаясь, выговорила она и хотѣла выйти изъ комнаты.

Но онъ силой удержалъ ее, захватилъ своими большими, будто желѣзными руками ея маленькія, слабыя руки.

— Наташа, ради Бога, не сердись, выслушай меня!—повторялъ онъ умоляющимъ голосомъ.—Наташа, вѣдь, ты умна, ты должна понять... тутъ совсѣмъ не то!.. Вѣдь, я винюсь передъ тобою... я знаю самъ какъ это глупо и пошло... все что хочешь... Наташа, если-бы я не любилъ тебя—я бы не сказалъ... и неужели ты думаешь, что я могу промѣнять тебя на кого-нибудь?.. Наташа!..

Она вырывалась изъ его рукъ и не могла вырваться.

— Да пустите-же меня!—наконецъ, почти крикнула она.—И знайте, послѣ этого мнѣ все равно на кого-бы вы меня ни промѣняли... только оставьте меня, не прикасайтесь...

А онъ, этотъ огромный Сергѣй, превратился въ совсѣмъ жал-

каго ребенка, не выпускалъ ея рукъ. Онъ всталъ передъ нею на колѣни, онъ заглядывалъ ей въ глаза своими добрыми, теперь испуганными глазами и молилъ:

— Наташа, ради Бога, да не сердись-же, перестань!.. Я даю тебѣ слово... никогда... никогда больше!.. Не будь-же злою— прости меня... самому все это такъ противно... Наташа, прости меня... милая, дорогая, прости!..

Голосъ его порвался, на глазахъ показались слезы. Онъ цѣловалъ ея руки. Возмущеніе, негодованіе, охватившія было ее, внезапно почти исчезли. Этотъ большой, сильный человѣкъ, стоявшій передъ нею на колѣняхъ, плакавшій, цѣловавшій ея руки и умолявшій ее о прощеніи такъ по-дѣтски, со всѣми пріемами провинившагося ребенка—показался ей жалкимъ.

Она теперь, наконецъ, въ первый разъ послѣ того какъ стала его женой, поняла его. Ей стало яснымъ все, и она уже совсѣмъ новымъ голосомъ сказала ему:

— Хорошо, я прощаю тебя, только оставь меня теперь, не говори—не надо... оставь меня...

Онъ послушно выпустилъ ея руки.

Она вышла изъ кабинета, прошла въ спальню и заперла за собою дверь...

И къ этому человѣку она стремилась за нѣсколько минутъ передъ тѣмъ, думая найти въ немъ охрану, спасеніе! Быть можетъ, у нея въ сердцѣ созрѣвала рѣшимость признаться ему въ чемъ-то, въ томъ, что не сознавала сама еще хорошо, рѣшимость разсказать ему о своихъ непонятныхъ мукахъ, о своемъ волненіи и просить у него поддержки, помощи...

Теперь ей хотѣлось быть какъ можно дальше отъ него, а между тѣмъ въ ней не было противъ него злобы, въ ней не было чувства ревности. Она сейчасъ-же забыла оскорбленіе, нанесенное ей какъ женѣ, она даже не останавливалась на мысли объ этой сосѣдкѣ, назначившей мужу свиданіе, на которое онъ поспѣшилъ. Ей не было теперь никакого дѣла ни до мужа, ни до этой сосѣдки.

Она была поглощена собою. Этотъ нежданный разговоръ, это дикое признаніе Сергѣя вдругъ открыли ей глаза не только на него, а главнымъ образомъ, на себя.

Она вдругъ схватилась рукой за сердце, почувствовавъ какъ оно шибко и больно забилось въ груди, ея поблѣднѣвшія губы шептали:

«Боже, теперь все кончено!.. теперь уже нѣтъ спасенія!.. Что-же это будетъ?..»

«Простила, а вотъ ушла... проситъ оставить—заперлась!»— жалобно думалъ Сергѣй, прислушиваясь, какъ щелкнула дверная ручка въ спальнѣ.

Онъ вернулся на диванъ, улегся на немъ попрежнему, закрылъ глаза, хотѣлъ отдохнуть, задремать, забыть свое смущеніе и весь этотъ тяжелый, непріятный разговоръ. Ему всегда было такъ легко забывать непріятное. Но теперь онъ почувствовалъ, что на этотъ разъ не можетъ, напротивъ, съ каждой минутой ему становилось все болѣе неловко, противно и совѣстно.

— Охо-хо! Грѣхи наши тяжкіе!—прошепталъ онъ.

Но и это любимое выраженіе не помогло. Онъ то и дѣло вертѣлся на диванѣ и никакъ не могъ удобно улечься.

«Заперлась, что она тамъ дѣлаетъ?»

Онъ всталъ и, стараясь осторожно ступать по ковру, подошелъ къ двери, прислушался.

Но ничего не было слышно.

XVI.

Врагъ силенъ.

«Можетъ быть, плачетъ—я огорчилъ ее...»

Ему стало еще противнѣе, еще скучнѣе, но все-же не раскаявался онъ въ томъ, что признался ей. Онъ никогда не раскаявался въ томъ, что дѣлалъ, хотя-бы это была самая послѣдняя глупость. И къ тому-же, вѣдь, рано или поздно, а нужно было признаться. Его давно уже тяготилъ обманъ, бывшій всегда между нимъ и Наташей. Онъ давно уже порывался разсказать ей про свои «гадости», какъ называлъ онъ въ минуты особенной скуки, нападавшей на него, всѣ эти многочисленныя и разнообразныя любовныя похожденія.

Пусть она знаетъ и если можетъ, то проститъ, и тогда станетъ легче, можно будетъ прямо ей глядѣть въ глаза. А если не проститъ—все-же лучше!..

Притворяться передъ нею онъ больше не могъ. Передъ первой женой своей онъ всегда притворялся и скрывался, обманывалъ ее и смотрѣлъ ей въ глаза, не считая это тяжелымъ и постыднымъ, а передъ Наташей вотъ больше и не можетъ!

«Хоть-бы она вылѣчила меня отъ всего этого!—думалъ онъ теперь, прислушиваясь у двери.—Хоть-бы сдѣлала такъ, чтобы прошла моя скука, чтобы не лѣзло въ голову все такое... Вѣдь, все это отъ скуки... Она еще не понимаетъ, ей нужно разсказать это, объяснить—она умная, Наташа, она поможетъ... Давно, давно, нужно было ей сказать про эту мою скуку...»

— Наташа!—крикнулъ онъ.

Но она не отозвалась, она не слыхала.

Въ смущеніи онъ вернулся къ дивану и ждалъ. Можетъ быть, отворится дверь, и она придетъ, тогда онъ поговоритъ съ нею.

И глядя теперь на него, на этого безшабашнаго покорителя женскихъ сердецъ, какъ онъ сидѣлъ, опустивъ голову, съ усталымъ взглядомъ добрыхъ глазъ, съ лицомъ печальнымъ и смущеннымъ, на которомъ теперь рѣзче выступали мелкія, уже кой-гдѣ тронувшія его, морщинки, можно было почесть его за очень несчастнаго человѣка.

Да, вѣдь, онъ и былъ несчастнымъ. Онъ росъ безъ призора, безъ добрыхъ примѣровъ, покинутый отцомъ и матерью. Братъ Николай случайно попалъ въ старую дѣдовскую библіотеку, и она спасла его. Но Сергѣй не попалъ. Онъ придумывалъ себѣ иныя забавы. Онъ быстро развивался, такъ какъ былъ одаренъ отъ рожденія могучимъ, почти богатырскимъ организмомъ; только развитіе его пошло въ сторону тѣла, въ сторону мускуловъ.

Онъ шумѣлъ на весь домъ, въ отсутствіи отца набиралъ дворовыхъ мальчишекъ, устраивалъ всякія военныя игры съ неминуемыми драками. Потомъ ему дали учителя гимнастики и фехтованія—и все его самолюбіе стало стремиться къ одной цѣли: быть всѣхъ сильнѣе, всѣхъ ловчѣе. Ловкости большой онъ не пріобрѣлъ — руки и ноги были слишкомъ длинны, но зато сила прибывала не по днямъ, а по часамъ.

Онъ игралъ какъ мячиками пудовыми гирями, ломалъ желѣзо. Учителя жаловались на его лѣнь, на его неспособность. Товарищи въ немъ души не чаяли. Рано, черезчуръ рано началъ онъ жить и черезчуръ быстро усвоилъ себѣ науку разгула. Его чувственная натура высказалась сразу; въ двадцать лѣтъ онъ уже прошелъ всю школу разврата петербургской богатой молодежи.

Онъ любилъ женщинъ, то есть, не могъ ни на часъ обойтись безъ какого-нибудь пошлаго приключенія, безъ какой нибудь легко достающейся удачи. Но онъ никогда не предавался мечтамъ объ идеальной любви. Онъ не считалъ женщинъ способными возбудить къ себѣ уваженіе, серьезную привязанность, глядѣлъ на нихъ какъ на какую-то особую породу милыхъ животныхъ, созданную для его удовольствія. При этомъ онъ никогда не думалъ о женщинѣ, а думалъ о женщинахъ, потому что какъ-бы красива ни была та, которая остановила на себѣ его вниманіе—она ему скоро надоѣдала, и онъ уже искалъ другую, болѣе подходившую къ его вкусу. А найдя такую, ужъ никакъ не могъ успокоиться, пока не овладѣетъ ею.

Такъ, въ одинъ прекрасный день, онъ нашелъ себѣ по вкусу и свою первую жену. Онъ началъ ухаживать за нею и, владѣя вовсе не сознаваемымъ имъ искусствомъ нравиться почти безъ

исключенія всѣмъ молодымъ женщинамъ и дѣвушкамъ, скоро убѣдился въ произведенномъ на нее впечатлѣніи.

Но этотъ оказавшійся въ его вкусѣ хорошенькій «звѣрекъ» былъ совсѣмъ въ иномъ родѣ, чѣмъ его многочисленныя пріятельницы. Это была свѣтская дѣвушка, изъ строгой и почтенной семьи; соблазнить ее, завести съ ней интрижку было нельзя. Онъ, недолго думая, женился. Не прошло и полгода послѣ его свадьбы, какъ онъ сталъ измѣнять ей. Но все-же она ему не опротивѣла, не надоѣла, ему только было ея недостаточно, а возвращаться къ ней онъ всегда былъ радъ.

Она дѣйствительно оказалась въ его вкусѣ. Она была хороша собою, очень кокетлива, инстинктивно поняла его и всегда умѣла дразнить его развращенное воображеніе. Только все же ея искусства не могло хватить надолго—мѣшали дѣти. Неизвѣстно чѣмъ-бы кончились ихъ отношенія, но она, простудившись на балу, схватила горячку и умерла въ нѣсколько дней.

Послѣ ея смерти онъ какъ-бы очнулся, почувствовалъ себя несчастнымъ, въ первое время не зналъ куда дѣваться отъ горя, цѣлые дни проводилъ на ея могилѣ, плакалъ.

Прошелъ мѣсяцъ, другой,—онъ ее забылъ и снова вернулся къ своимъ легкимъ побѣдамъ, къ вѣчной погонѣ за перемѣной.

И такъ проходила вся жизнь. Утромъ служебныя занятія, въ остальное время дня пирушки съ пріятелями, карты, женщины—вѣчная исторія...

Пріятели считали его очень добрымъ и сердечнымъ. Только въ этомъ добромъ сердцѣ было много противорѣчій. Онъ никогда не жалѣлъ обманываемыхъ и покидаемыхъ имъ женщинъ, хотя, конечно, нѣкоторыхъ изъ нихъ онъ сдѣлалъ несчастными. А между тѣмъ, находящійся въ нуждѣ человѣкъ, никогда не уходилъ отъ него безъ помощи. Онъ готовъ былъ снять съ себя все, чтобы отдать бѣдному, готовъ былъ задолжать, запутаться, лишь-бы выручить пріятеля.

Онъ любилъ брата, и когда, однажды, Николай серьезно заболѣлъ, онъ забылъ все, забылъ даже только что начавшуюся и обѣщавшую быть очень интересной интригу, и дни и ночи не отходилъ отъ больного, не позволялъ никому, даже Мари нему прикасаться.

Онъ любилъ своихъ дѣтей, хотя, конечно, ни разу не п малъ объ ихъ воспитаніи и очень часто забывалъ о н Его любовь выражалась въ томъ, что въ иныя минуты, к онъ бывалъ дома, онъ начиналъ съ ними возиться, наслаж ихъ милыми лицами, ихъ смѣхомъ, привозилъ имъ дс игрушки. Когда онъ бралъ въ свои желѣзныя руки кого-н изъ «ребятишекъ», какъ онъ всегда называлъ ихъ, онъ чу

валъ неизъяснимое наслажденіе прижать ихъ къ груди, покрывать поцѣлуями, вслушиваться въ ихъ лепетъ. Глаза его сіяютъ, онъ улыбается самой прелестной и почти дѣтской улыбкой. Но проходитъ минута—и всѣ эти наслажденія забыты, забыты, дѣти одолѣваетъ скука...

Когда Катерина Михайловна доказала ему, что нужно вторично жениться, и указала на Наташу, какъ на самую подходящую невѣсту, онъ рѣшился исполнить желаніе матери. Онъ всматривался въ молодую дѣвушку и не могъ найти въ ней ничего дурного,— она была безспорно прелестна. Но странное дѣло—эта изящная, граціозная Наташа, на которую всѣ засматривались, которая возбуждала страстныя мечты во многихъ молодыхъ людяхъ, ничего не говорила его воображенію. Она почему-то была не изъ числа женщинъ по его вкусу.

Онъ сталъ законнымъ обладателемъ этого прелестнаго, юнаго и чистаго существа. Наташа съ каждымъ днемъ получала для него все больше и больше значенія, ни къ одной женщинѣ онъ не относился такъ, какъ къ ней, такъ бережно и даже такъ робко. Она не была для него «звѣркомъ», созданнымъ на его потѣху и удовольствіе. Кто она была—онъ не зналъ.

Наташа вовсе не оказалась холодной, она готова была привязаться къ мужу, лишь-бы нашла въ немъ пониманіе своихъ потребностей, своего характера. Но она была такъ чиста отъ природы, и онъ, несмотря на всю развращенность, на весь свой цинизмъ, той лучшей стороной своего сердца, которая еще въ немъ сохранилась, понялъ эту ея чистоту и не смѣлъ грубо прикоснуться къ ней своими загрязненными руками. Первая его попытка была встрѣчена Натащей такимъ изумленіемъ, такимъ испугомъ, что онъ невольно отступилъ и навсегда отказался превратить ее въ женщину по своему вкусу.

Въ концѣ-концовъ, черезъ два года супружеской жизни, Наташа была для него не страстно любимой женой, не подругой, но въ то-же время она была для него очень близкимъ, очень дорогимъ существомъ. Только это существо стояло какъ-то поодаль отъ него, какъ-то высоко, и онъ продолжалъ не понимать ее.

Она была кротка, онъ никогда не видалъ ее раздраженной, а между тѣмъ бывали минуты, когда онъ ее боялся, ему бывало неловко передъ нею. Онъ испытывалъ какъ-бы ощущеніе грязнаго и раздѣтаго человѣка, а она была всегда чиста, всегда была одѣта...

Никогда въ немъ не заговаривало къ ней страстное чувство. Никогда не спрашивалъ онъ себя—любитъ-ли ее...

Но онъ все-же любилъ ее, онъ благоговѣлъ передъ нею,

только она одна навела его на мысль, что онъ дурной человѣкъ...

Наконецъ, теперь онъ не выдержалъ и признался ей въ одномъ изъ своихъ многихъ грѣховъ, и ему такъ ужасно нужно ея прощеніе, ея помощь.

А она все сидитъ запершись и не приходитъ, не откликается... онъ не смѣетъ настаивать...

Онъ еще разъ прошепталъ:

«Охо-хо! грѣхи наши тяжкіе!»

Потомъ всталъ съ дивана, взялъ шляпу и вышелъ въ садъ.

Онъ видитъ—вдали бѣгаютъ дѣти, невдалекѣ отъ нихъ на скамьѣ, въ тѣни огромнаго дуба, сидитъ Рибо. Широкополая соломенная шляпа скрываетъ его лицо, но по мѣрному покачиванью этой шляпы можно замѣтить, что французъ дремлетъ.

«Вотъ болванъ!—подумалъ Сергѣй:—и, вѣдь, онъ никогда, никогда не занимается съ дѣтьми какъ слѣдуетъ!.. Я давно замѣчаю... Они его въ грошъ не ставятъ, смѣются надъ нимъ...»

Но онъ не вспомнилъ, что самъ не разъ подавалъ имъ примѣръ потѣшаться надъ французомъ. Ему и теперь захотѣлось подкрасться къ нему и пугнуть его на потѣху дѣтямъ. Впрочемъ, онъ удержался и прошелъ мимо, въ узенькую, совсѣмъ заросшую акаціями аллею, куда и въ самую жаркую полуденную пору почти не проникало солнце.

Его мысли перенеслись внезапно къ утрешнему посѣщенію молоденькой сосѣдки. Онъ вспомнилъ всѣ подробности этого свиданія...

«Пухлая деревенская дура!—почти громко проговорилъ онъ:—и стоило мнѣ только мигнуть—и она уже рада... и клянется въ вѣчной любви... Ахъ и охъ!.. а сама... я думаю... брр!.. скверно!.. И къ чему это я? Зачѣмъ она мнѣ?.. Нѣтъ, довольно, все одно и то же... Всѣ онѣ—одна какъ другая... все это пошлость...»

«Нѣтъ, Наташа, я больше не буду!..—докончилъ онъ мысленно, обращаясь къ женѣ:—не буду...»

Вдругъ онъ остановился. Въ самой гущинѣ сплетшихся вѣтокъ, на низенькомъ глубокомъ садовомъ диванѣ передъ нимъ сидѣла Лили. На ней было хорошенькое бѣлое батистовое платьице съ голубыми бантиками. Она сидѣла положивъ ногу на ногу и изъ-подъ вышитыхъ оборокъ заманчиво выглядывали ея маленькія, кокетливо обутыя ножки. Въ рукахъ она держала книжку и, повидимому, внимательно читала.

Среди окружавшей зелени ея свѣжее, хорошенькое лицо съ длинными, опущенными рѣсницами, съ пухлыми, яркими губами, съ черной родинкой, задорно пріютившейся около самаго углышка рта—казалось еще милѣе.

Внезапно вспыхнувшая краска залила щеки Сергѣя, глаза его блеснули. Онъ затаилъ дыханіе, подкрался къ Лили...

Она слабо вскрикнула отъ неожиданности и покраснѣла. Онъ сѣлъ рядомъ съ нею, улыбался ей, засматривалъ ей прямо въ глаза смѣлымъ, дерзкимъ, смѣющимся взглядомъ.

— Что-же вы тутъ подѣлываете, кошечка? Какую это книжку читаете? Покажите!

Онъ сталъ брать у нея книгу и вмѣстѣ съ книгой, за одно ужъ, взялъ и ея маленькую, бѣленькую, съ голубоватыми жилками руку.

— Сергѣй Владиміровичъ, зачѣмъ вы... пустите! — пропищала Лили.

Она сдѣлала было слабое движеніе, чтобы высвободить руку, но онъ не выпускалъ. Она перестала сопротивляться.

Въ этой темной аллеѣ было жарко. Гдѣ-то высоко надъ головою жужжали пчелы, гдѣ-то чирикнула и вдругъ замолкла птица.

Какъ это произошло—ни Сергѣй, ни Лили не знали,—но ея голова была на его груди, и онъ покрывалъ жадными поцѣлуями ея горячія щеки, и шаловливую родинку, и полуоткрытыя влажныя губы.

А она среди этихъ поцѣлуевъ умирающимъ голосомъ шептала:

— Сергѣй Владиміровичъ!.. Ахъ, Сергѣй Владиміровичъ!.. Зачѣмъ вы...

— Лили!—невдалекѣ раздался звонкій голосъ Сони.

Сергѣй вскочилъ и, широко шагая, скрылся въ глубинѣ аллеи.

Теперь онъ ни о чемъ не думалъ, его грудь высоко поднималась, въ виски стучало. Онъ шелъ все скорѣе и скорѣе.

Вотъ ему послышалось, что гдѣ-то вдали какъ-будто кто-то плачетъ. Но онъ не обратилъ вниманія и шелъ дальше.

XVII.

Изъ дворовыхъ.

Кто-же это плакалъ?

За частыми кустами и деревьями, которыми была обсажена дорожка, выходившая изъ темной аллеи, начинался отлогій спускъ. Внизу этого спуска поднималъ свою широкую вершину столѣтній дубъ, а подъ дубомъ и вплоть до быстраго ручейка зеленѣли, а подъ осень краснѣли своими ягодами кусты бузины. Стволъ гигантскаго дуба и эти кусты образовывали нѣчто въ родѣ низенькаго грота. Въ этотъ гротъ была протоптана тро-

пинка, въ гротѣ лежалъ коврикъ, изъ камней было сдѣлано что-то похожее на скамейку.

Все это было дѣломъ рукъ маленькаго Володи, который и называлъ навѣсъ подъ дубомъ гротомъ.

Это было очень укромное мѣстечко парка, сюда никто почти никогда не забирался, а дѣти такъ даже боялись этого дуба, потому что Володя разсказалъ имъ про него разныя страсти.

Онъ разсказалъ, между прочимъ, что въ дуплѣ этого стараго дуба живетъ лѣсовикъ, что поздно вчеромъ и ночью «въ гротѣ» горитъ таинственный огонечекъ.

И разсказывая все это своимъ убѣжденнымъ, серьезнымъ тономъ, онъ самъ вѣрилъ и въ лѣсовика, и въ огонечекъ. Онъ ни за что-бы не отправился поздно вечеромъ въ свой гротъ, но днемъ— это другое дѣло — это было его любимое мѣсто, тѣмъ болѣе, что онъ зналъ, что можетъ, забравшись сюда, спокойно пробыть здѣсь сколько ему вздумается; никто не увидитъ, никто не помѣшаетъ ему мечтать и придумывать разныя волшебныя и интересныя исторіи.

Зимой ему очень недоставало грота, и хотя въ старомъ горбатовскомъ домѣ, на Мойкѣ, у него тоже были свои любимыя мѣстечки, но все-же гротъ оказывался незамѣнимымъ.

Здѣсь Володя переживалъ лучшія минуты своей странной, дѣтской жизни. Здѣсь онъ яснѣе, чѣмъ гдѣ-либо, воображалъ себя героемъ всякихъ невѣроятныхъ приключеній, воплощался въ созданныхъ его-же горячимъ дѣтскимъ воображеніемъ чудодѣевъ.

Вотъ и теперь онъ сидѣлъ въ своемъ гротѣ; но не одинъ. Рядомъ съ нимъ была дѣвочка лѣтъ двѣнадцати, и ея-то горькій плачъ разслышалъ Сергѣй Владиміровичъ, уходя изъ темной аллеи.

Это была «простая» дѣвочка, хотя и одѣтая гораздо заботливѣе и нарядиѣе, чѣмъ вообще одѣвались «дѣвчонки» знаменской дворни. На ней было ситцевое платьице съ открытымъ воротомъ и коротенькими рукавами. Ея голую шею прикрывалъ нѣсколько вылинявшій, но все-же шелковый, розовый платочекъ; ноги были обуты въ стоптанные, но все-же прюнелевые, башмаки. Черные какъ смоль, густые волосы ея были заплетены въ крѣпкую, длинную косу, перевитую ленточкой.

Дѣвочка эта была поразительно хороша собою. Ея заплаканные черные глаза съ длинными рѣсницами невольно останавливали на себѣ вниманіе. И особенно хорошъ былъ ея ротъ, безукоризненно очерченный и въ то-же время имѣвшій въ своемъ выраженіи что-то смѣлое, рѣшительное, даже рѣзкое. Но въ выраженіи ея лица вовсе не замѣчалось ничего злого; теперь оно

говорило только о большомъ горѣ, хотя время отъ времени ея тонкія брови сдвигались, и мрачная тѣнь пробѣгала по всѣмъ чертамъ.

— Да перестань-же, не плачь, Груня, — повторялъ Володя, серьезно и печально глядя на нее.

Но у него самого видъ былъ встревоженный.

— Перестану, перестану, милый баринъ, только дайте немножко успокоиться, дайте выплакаться! — сквозь рыданія отвѣчала дѣвочка, и, видимо, дѣлала надъ собой усилія, чтобы остановить рыданія.

Наконецъ, ей это удалось. Она вынула изъ кармана своего платьица платокъ, свернутый комочкомъ, вытерла глаза и постаралась улыбнуться Володѣ.

Она была чудно хороша въ эту минуту. Онъ наклонился къ ней, обнялъ ее и поцѣловалъ, а потомъ погладилъ по головѣ.

И все это онъ сдѣлалъ какъ старый, разсудительный человѣкъ, успокаивающій ребенка.

— Ну, вотъ, такъ-то лучше! — проговорилъ онъ тоже старымъ голосомъ: — зачѣмъ даромъ плакать... И теперь разскажи ты мнѣ все какъ было, а то я ничего не понимаю. Оболгали! наказали!.. Кто? какъ? за что? и какъ ты сюда попала?.. Даже испугала меня... вхожу—знаю—никого здѣсь нѣтъ, а ты вдругъ лежишь будто мертвая!..

— Ахъ, да лучше мнѣ-бы и быть мертвой!—прошептала дѣвочка,—вся жизнь опротивѣла...

— Что ты? что ты?—испуганно воскликнулъ Володя, и даже замахалъ руками. — Зачѣмъ ты такъ говоришь? Зачѣмъ тебѣ умирать?.. Не надо...

— Да, жить ужъ больно обидно, милый баринъ, никто-то меня не любитъ... прежде ласкали и все такое... Какъ барыня прогнала меня отъ себя, такъ всякій норовитъ, какъ-бы толкнуть, ущипнуть. Еще вчерась Анисья, такъ, зря, проходила мимо—да какъ щипнетъ! Такъ я ажъ на полъ покатилась!.. Во!.. глядите... во синякъ какой!..

Она завернула коротенькій рукавъ своего платьица и показала Володѣ у самаго плеча огромный, темный синякъ.

— А сегодня, вотъ такое...

— Да, что такое?

— Маланья убирала у старой барыни комнату, да, видно, разбила флакончикъ... Барыня какъ увидала—спрашиваетъ: «кто это сдѣлалъ?..» а она на меня и сказала. А я, видитъ Богъ, въ барынины комнаты послѣ того и не заглядываю, мнѣ и мимо-то ихъ идти боязно... А Маланья говоритъ: я разбила,—совѣсти у нея нѣту!.. Призналась-бы барынѣ, можетъ быть, та ее и про-

стила-бы, а какъ сказала на меня, сейчасъ это барыня велитъ меня звать... Потащили... а онѣ какъ крикнутъ: «Ты это, мерзавка, разбила?» Я ни жива, ни мертва... Ну, какъ я на себя возьму такое, когда и въ комнатахъ-то не была... Я говорю: нѣтъ, ей-Богу, нѣтъ, и не входила! А онѣ ко мнѣ: «А, говорятъ, такъ ты еще и запираешься, лжешь... розогъ!» Маланья злющая и рада, тотчасъ притащила... и ужъ сѣкли меня, сѣкли, у барыни-же, сама барыня смотрѣла. Какъ вышла я оттуда — не помню, пустилась бѣжать, сама не знаю куда, и вотъ сюда прибѣжала... упала и лежу. А, тутъ вы, милый баринъ...

Голосъ Груни оборвался, она опять заплакала, и сквозь слезы проговорила:

— Только вы меня и жалѣете...

Она схватила руку Володи и стала цѣловать ее. Онъ не отнималъ руки, онъ глядѣлъ на нее совсѣмъ растерянно, широко раскрывъ глаза и нервно раздувая свои тонкія ноздри. Его нѣжныя щечки поблѣднѣли и временами онъ слабо вздрагивалъ.

— Высѣкли!—не то съ изумленіемъ, не то съ ужасомъ, повторялъ онъ.—Больно?

Груня перестала плакать, глаза ея сверкнули, она закусила свои хорошенькія губы.

— Больно!..—протянула она:—да что въ томъ, я всякую боль могу вынести, и если-бы подѣломъ, а то, вѣдь, задаромъ!.. Развѣ я врала когда-нибудь? Разбила-бы и сказала-бы, какъ въ тотъ разъ, а то за что-же?.. Ахъ, Володенька, голубчикъ вы мой, горитъ вотъ у меня сердце... не могу я, не могу!.. Все выносила, все, а теперь не могу... Такъ ужъ и знаю, навѣрно знаю, что кончено теперь...

И говоря это какимъ-то не своимъ голосомъ, она вдругъ такъ измѣнилась, сдѣлалась такой страшной, что Володя даже съ испугомъ отъ нея отшатнулся.

— Что ты говоришь? Что кончено?

— Кончено... не прощу я этого... не могу... покончу... покончу...

Она вскочила на ноги, потомъ опять упала, стала бить себя въ грудь, рвать на себѣ волосы.

Володя старался привести ее въ себя, успокоить. Но она его не слушала, она его не видѣла. Съ ней сдѣлался припадокъ, она была въ изступленіи.

Въ это время издали раздался звонъ колокола, призывавшій къ обѣду.

— Груня! Груня!—проговорилъ Володя:—очнись, слушай меня... Я долженъ идти, а ты останься здѣсь, успокойся, жди меня, я

прибѣгу послѣ обѣда и принесу тебѣ ѣсть... Поговоримъ, я подумаю, я попрошу маму Наташу, можетъ быть, мы сдѣлаемъ такъ, что тебя перестанутъ обижать... Груня, слышишь — жди меня здѣсь... Слышишь ты меня?

— Слышу! — глухо прошептала она и упала головой на коврикъ.

Онъ вылѣзъ изъ грота и побѣжалъ что было силъ, чтобы не опоздать къ обѣду, потому что за это съ него строго взыскивали. А главное, если-бы онъ опоздалъ, его бы не пустили послѣ обѣда гулять, и онъ не могъ бы вернуться къ Грунѣ.

Откуда-же взялась эта Груня?

Она съ не очень давняго времени оказалась въ штатѣ знаменской дворни и принадлежала собственно Катеринѣ Михайловнѣ.

Случилось это такимъ образомъ: по возвращеніи изъ-за границы въ Петербургъ, Катерина Михайловна объѣздила оставшихся въ живыхъ и находившихся въ столицѣ своихъ прежнихъ знакомыхъ; въ томъ числѣ побывала она и у княгини Нещерской, пріятельницы ея молодости, съ которой она когда-то начала свои выѣзды въ свѣтъ. Теперь эта княгиня Нещерская была расплывшаяся старуха, давно выдавшая единственную дочь замужъ, схоронившая мужа и жившая въ собственномъ, полномъ какъ чаша, домѣ. Старыя подруги встрѣтились хорошо, вспомнили молодость и стали нерѣдко навѣщать другъ друга. Разъ какъ-то, во время визита княгинѣ, Катерина Михайловна замѣтила въ ея домѣ маленькую прехорошенькую дѣвочку-служанку.

— Это откуда такая хорошенькая дѣвчонка? — спросила она:—и такая расторопная... услужливая!..

— Ахъ, ma chère!—отвѣчала княгиня:—это цѣлая исторія и даже прегрустная. Вотъ, и ты обратила вниманіе на ея рожицу. N'est ce pas — très jolie!.. и при этомъ rien de commun... хотя и Грунька... Графа Михаила Петровича, чай, помнишь?..

— Какъ-же, какъ-же! Ну, такъ что-же?

— А то, что какимъ былъ, такимъ и по сіе время остался... сѣдой совсѣмъ—а, вѣдь, Груня ему съ родни приходится. Мать ея, ихъ крѣпостная, тоже красивая была. Я ее видѣла. Она у него въ Волковскомъ лѣтъ семь на особомъ положеніи жила... И вдругъ наѣзжаетъ графиня, а графъ-то оплошалъ, остался въ Петербургѣ, да, можетъ, и забылъ про свою любимицу. Узнаетъ все графиня, ну, натурально, изъ себя вышла... Мнѣ стороной разсказывали, не знаю правда-ли, говорятъ, дѣвку эту, Грушину мать, засѣкла она до смерти... Ну, этого я тамъ не знаю, только умерла дѣвка, а дѣвчонку графиня привезла въ Петербургъ. Было у нихъ что-то съ мужемъ крупное, пріѣзжаетъ ко мнѣ

графъ, мы, вѣдь, старые друзья съ нимъ, и проситъ: «Возьмите дѣвочку, а то жена убьетъ ее»... Пренеловкое было мое положеніе, съ графиней тоже ссориться вовсе не хотѣлось... Какъ ужъ тамъ онъ ее уговорилъ—не знаю, только вдругъ и она мнѣ также предложила эту Груню въ подарокъ. Съ тѣхъ поръ и живетъ у меня, пятый годъ. Шустрая дѣвчонка, мигомъ читать и писать выучилась и все понимаетъ, прислужитъ какъ никто, только дикое въ ней что-то, иной разъ даже какъ будто на нее находитъ. Я и доктору показывала—говоритъ: «ничего, пройдетъ со временемъ»...

Катерина Михайловна задумалась.

— Мнѣ давно хотѣлось-бы имѣть при себѣ такую вотъ дѣвочку, въ нашей дворнѣ есть ихъ не мало, да все такіе уроды, что противно, а я терпѣть не могу, чтобы мнѣ некрасивая прислуживала. Вотъ-бы такую дѣвчонку найти!

— Другъ мой, ты къ ней и не подбирайся, — сказала княгиня:—не отдамъ я ее тебѣ.

— Я и не прошу.

Но разъ какая фантазія пришла въ голову Катеринѣ Михайловнѣ, она ужъ не могла успокоиться, ея не исполнивъ. Еслибы княгиня Нещерская сама предложила ей Груню, она, можетъ быть, даже и отказалась-бы; но такъ какъ та объявила, что не намѣрена уступать ее, Катерина Михайловна нѣтъ, нѣтъ, да и вспомнитъ про Груню.

И каждый разъ, какъ дѣвочка попадалась ей на глаза у княгини, она ей все больше и больше нравилась. Кончила она тѣмъ, что стала подъѣзжать къ пріятельницѣ:

— Уступи, да уступи!.. продай...

Княгиня даже обидѣлась.

— Стану я ее продавать, когда сама даромъ получила. И потомъ, вѣдь, графъ именно мнѣ ее отдалъ, вѣдь, какъ тамъ ни на есть, а все-же она не совсѣмъ холопка!..

Но графъ этимъ временемъ взялъ да и умеръ, не помышляя о бѣдной Грушѣ. И вмѣстѣ съ этимъ княгинѣ Нещерской смерть какъ приглянулась хорошенькая обезьянка, привезенная Катериной Михайловной изъ-за границы. Кончилось тѣмъ, что произошелъ обмѣнъ: княгиня получила обезьяну, а Катерина Михайловна — Груню, на правахъ полной, неоспоримой собственности, удостовѣренной формальнымъ образомъ.

Первое время Грунѣ не дурно жилось у новой барыни. Катерина Михайловна къ ней благоволила, приставила ее къ своей особѣ, рядила ее почти какъ барышню и всѣмъ показывала—какая, молъ, красавица! И при этомъ разсказывала ея исторію.

Несмотря на эту исторію, несмотря на происхожденіе Груни,

никому изъ домашнихъ не пришло въ голову вывести ее изъ положенія крѣпостной служанки, позаботиться объ ея воспитаніи, подготовить ей болѣе или менѣе сносную будущность. Не Катерина Михайловна, конечно,—но, вѣдь, и Наташа, и Николай, и Сергѣй, и даже Мари, навѣрно, захотѣли-бы объ этомъ позаботиться, если-бы имъ только пришло въ голову подумать о Грунѣ. Но хотя и добрые люди, они о ней не подумали, не тѣмъ всѣ были заняты — свадьба Сергѣя, положеніе денежныхъ дѣлъ... у каждаго свои заботы, тревоги... Однимъ словомъ, остановиться на Грунѣ никто пока не догадался.

Катеринѣ Михайловнѣ скоро надоѣло возиться съ «дѣвчонкой» и показывать ее знакомымъ. Прошло два-три мѣсяца—и хотя Груня продолжала носить сшитыя ей хорошенькія платья, но ее уже никто не видѣлъ. Она жила въ дѣвичьей, являлась въ комнаты Катерины Михайловны только для исполненія своихъ обязанностей.

Въ дѣвичьей ее не любили и за то, что она имѣла видъ барышни, и за то, что она была бойка и не очень-то давала себя въ обиду, а главное, за мимолетный фаворъ у старой барыни.

Послѣ первыхъ краткихъ мѣсяцевъ баловства, Груня почувствовала себя очень несчастной. Недружелюбное отношеніе къ ней дѣвичьей, перемѣна обращенія съ нею Катерины Михайловны ее озлили. Она глядѣла теперь звѣркомъ. Она стала совсѣмъ дикой, отъ всѣхъ пряталась, и, главное, пряталась отъ барскихъ дѣтей. А Катерину Михайловну она просто ненавидѣла всею силой своего дѣтскаго, но уже много перенесшаго и понимавшаго сердца.

Когда Катерина Михайловна вспоминала о ней, призывала ее въ свои комнаты, она шла какъ на пытку.

Изъ всѣхъ домашнихъ она любила только Володю. Они сошлись еще въ прошломъ году, въ томъ-же Знаменскомъ, въ глубинѣ парка, куда и Груня, и Володя убѣгали думать свои думы. Только думы ихъ были совсѣмъ различныя. Какъ-бы то ни было, они встрѣчались часто. Груня отбирала для милаго, добраго барина, какъ и въ глаза, и про себя называла Володю, самыя спѣлыя ягоды земляники, самые лучшіе найденные ею цвѣты. Иногда по цѣлымъ часамъ они бродили между деревьями или, уставши, сидѣли на сочной травѣ и бесѣдовали. Ихъ разговоры были странные и нисколько не относились къ окружавшей ихъ жизни, къ ихъ собственному, настоящему существованію. Они часто разсказывали другъ другу самыя невѣроятныя, изумительныя исторіи, до которыхъ каждый изъ нихъ додумывался въ своемъ одиночествѣ. Они передавали другъ другу планы относительно будущаго.

Володя говорилъ Грунѣ о томъ, какъ онъ, когда будетъ большой, поѣдетъ путешествовать, какихъ увидитъ людей, звѣрей, какія встрѣтитъ чудеса...

А Груня увѣряла Володю, что когда она выростетъ, то пойдетъ по Святымъ Мѣстамъ, о которыхъ разсказывала въ дѣвичьей старушка Пафнутьевна, какъ потомъ она станетъ монашенкой... А то вдругъ и Святыя Мѣста, и монастырь забывались; Груня становилась актрисой. Она была одинъ разъ въ балетѣ, и произведенное имъ впечатлѣніе иногда поднималось снова.

И оба они, несмотря на то, что такъ часто мѣняли свои планы, неизмѣнно вѣрили въ ихъ осуществленіе.

Но вотъ надъ бѣдной Груней стряслась бѣда. Это было на второй или на третій денъ ихъ пріѣзда въ Знаменское. Она, убирая спальню Катерины Михайловны, разбила дорогую статуэтку. Катерина Михайловна вышла изъ себя, собственноручно избила дѣвочку и на два дня велѣла ее запереть въ чуланъ, на хлѣбъ и на воду.

Изъ этого чулана Груня вышла такая худая и блѣдная, какъ будто цѣлый мѣсяцъ пролежала въ сильной болѣзни. Въ эти два дня въ ней окончательно окрѣпла непримиримая ненависть къ Катеринѣ Михайловнѣ. Эта ненависть наполняла ее всю, только о ней она и думала. Она окончательно стала избѣгать всѣхъ, даже Володю. Напрасно онъ ждалъ ее въ паркѣ, искалъ онъ ее—ея не было видно.

А сегодня опять съ нею бѣда.

Послѣ обѣда Володя пошелъ въ буфетную, набралъ тамъ сколько могъ съѣстного и крадучись пробрался въ паркъ, къ своему гроту. Но Груни тамъ не было. Онъ обѣгалъ всѣ закоулки, гдѣ съ нею встрѣчался, гдѣ она любила бродить; но нигдѣ ея не нашелъ. Вернулся домой, прошелъ въ дѣвичью—и тамъ ея нѣтъ. Пропала Груня, да и только.

Онъ даже рѣшился объ ней спрашивать; но всѣ ему отвѣчали, что какъ она убѣжала съ утра, и такъ не возвращалась—никто ее не видѣлъ.

XVIII.

Русалочка.

Хотя Груня утвердительно кивнула головой Володѣ, когда онъ уговаривалъ ее дожидаться его въ гротѣ, но сдѣлала это безсознательно. Туманъ носился передъ нею, она ничего не видѣла, ничего не понимала. Вся грудь ея горѣла, а по тѣлу пробѣгала дрожь; не то тоска, не то злоба страшная и мучитель-

ная сосала ей сердце. И послѣ того какъ Володя ушелъ, она долго и ожесточенно каталась по коврику, постланному въ гротѣ, и билась головой о землю. Ея косы распустились, густые черные волосы безпорядочно разметались по плечамъ, съ которыхъ она, въ порывѣ бѣшенства, сорвала розовую косыночку.

Наконецъ, ея мучительный припадокъ сталъ какъ будто стихать. Она поднялась на ноги, вышла изъ грота и остановилась. Съ распущенными, всклокоченными волосами, еще болѣе оттѣнявшими блѣдность ея будто изъ мрамора выточеннаго лица, съ горящими глазами, она была просто страшна. Казалось, что это не человѣкъ, не живая дѣвочка, а одно изъ прелестныхъ и въ то-же время ужасныхъ созданій народной фантазіи, одно изъ тѣхъ видѣній, которыя снятся на яву потрясенному воображенію духовидца.

Постоявъ неподвижно нѣсколько минутъ, она спустилась къ ручью и пошла по его берегу, очевидно, не зная сама куда идетъ. И долго такъ шла она, все болѣе и болѣе углубляясь въ чащу. Ручей, едва струившійся среди травы, вблизи отъ знаменскаго дома, чѣмъ дальше, тѣмъ все расширялся, углублялся, превращался почти въ рѣчку, съ быстрымъ теченіемъ, съ прозрачной водою, сквозь которую было видно, какъ на ладони, чистое песчаное дно. Да и мѣстность тутъ совсѣмъ измѣнялась. Сюда рѣдко кто заходилъ—такъ было далеко отъ дома. Здѣсь паркъ никогда не расчищался.

По временамъ попадались болотца. Громадные дубы и клены, окруженные непроходимымъ кустарникомъ, застилали небо и порою наклонялись надъ ручьемъ.

Груня все шла по берегу, не разъ попадая въ болота и съ трудомъ высвобождая изъ вязкой, съ выступающей водой, трясины свои ноги.

Наконецъ, она остановилась и какъ бы очнулась. Она поглядѣла кругомъ, увидѣла старое, давно когда-то упавшее и теперь почти сгнившее дерево, перекинутое какъ хрупкій, ненадежный мостъ черезъ ручей. Она присѣла на это дерево почти надъ самой водою, охватила рукой ободранный, совсѣмъ почти мягкій и пахнувшій грибами сукъ и стала глядѣть въ воду.

Вода бѣжала, бѣжала все куда-то. И начало казаться Грунѣ, что она вмѣстѣ съ водой этой стремится все дальше, впередъ и впередъ, въ непонятную даль. Володя говорилъ ей, что ручей этотъ бѣжитъ въ рѣку, а рѣка катится въ море, море сливается съ океаномъ и со всѣхъ сторонъ омываетъ землю...

Вотъ и она теперь мчится, мчится вмѣстѣ съ ручьемъ въ рѣку, вмѣстѣ съ рѣкой въ море, въ океанъ, кругомъ всей земли... А тамъ дальше что-же? Опять назадъ? Опять сюда?..

И она совсѣмъ очнулась. Она чувствовала большую слабость во всемъ тѣлѣ, ей казалось, что она вся сломана на мелкіе кусочки. Все-то болитъ, все ноетъ... и къ тому-же такъ стало жарко...

Она быстро раздѣлась и ловкимъ, граціознымъ движеніемъ спрыгнула со стараго дерева въ воду. Теперь она уже совсѣмъ, совсѣмъ стала похожа на хорошенькую и страшную русалку.

Ручей былъ глубокъ въ этомъ мѣстѣ, но она еще въ первые дѣтскіе годы въ деревнѣ, при матери, научившись хорошо плавать, ныряла какъ рыбка, то совсѣмъ пропадая подъ водою, то вдругъ показываясь вся. Стройная, нѣжная, съ эластичными и сильными членами,—она была прелестна. Но на тонкой и прозрачной кожѣ ея теперь ярко обрисовывались слѣды вынесенныхъ ею побоевъ и щипковъ...

Ея слабость, боль во всемъ тѣлѣ, какъ будто вдругъ прошли. Вода освѣжила, возбудила силы. Ей было хорошо. И выбравъ мѣсто, гдѣ вода была ей всего по поясъ, она стала на ноги въ мягкомъ пескѣ и опять смотрѣла на воду, которая неслась къ ней навстрѣчу и разступалась въ обѣ стороны отъ прикосновенія къ ея тѣлу, и уносилась дальше. Она чувствовала какъ быстрое теченіе ее нѣжно подталкиваетъ, будто тихо, незамѣтно хочетъ увлечь за собою.

Она опять легла на воду и не шевелилась. Теченіе мало-помалу стало уносить ее. Вотъ уже сгнившее дерево осталось сзади. Хорошо такъ лежать и плыть, почти не шевелясь, только время отъ времени дѣлая легкія движенія, то рукой, то ногой. Хорошо!..

Она опрокинула голову такъ, что ея длинные волосы во всѣ стороны развились въ водѣ и плыли за нею. Она сложила на груди руки и глядѣла наверхъ, туда, гдѣ изъ-за высокихъ вѣтвей проглядывало безоблачное небо. Тишина кругомъ стояла торжественная, только время отъ времени комары жужжали надъ водою, да двѣ бѣленькія бабочки, неслышно трепеща въ тепломъ воздухѣ, мчались то внизъ, то вверхъ, то разлетаясь, то слетаясь.

Хорошо!.. Ну что-же... и плыть, плыть долго, долго, до самаго вечера, пока хватитъ силъ... А тамъ... тамъ уйти въ воду, захлебнуться, умереть!.. Умереть лучше, чѣмъ жить...

И ей такъ ясно представилось: солнце давно зашло, настала ночь, такая темная, свѣжая. Она далеко, далеко, ручей теперь уже рѣка, широкая рѣка, берега далеко—до нихъ не доплывешь, крикнуть—никто не слышитъ... Дно ушло—его недостать, да и что тамъ, на этомъ днѣ: тина и грязь, переплетшіеся, скользкіе стебли длинныхъ, странныхъ растеній, среди которыхъ

копошатся разные водяные гады. И вода стала такая холодная; небо такъ далеко — и холодно, непривѣтно мигаютъ на немъ звѣзды.

Вотъ она чувствуетъ — что-то присасывается къ ея ногѣ, а съ другой стороны кто-то щиплетъ—то піявица, то черный ракъ... Она содрогается отъ омерзенія и ужаса. Она отрываетъ противныхъ животныхъ отъ своего тѣла. Но на ихъ мѣсто приплываютъ другія...

Она спѣшитъ, плыветъ; но силы покидаютъ ее. Черная холодная вода вливается ей въ ротъ, въ уши... Мракъ, холодъ, страшный, отвратительной холодъ...

Груня испуганно вкрикнула, быстро повернулась на грудь и изо всѣхъ силъ поплыла къ старому дереву. И эта прозрачная вода, и это чистое, песчаное дно показались теперь ей страшными. Она не выдержала, вышла на берегъ и побѣжала къ тому мѣсту, гдѣ оставила свое платье. Она поспѣшно одѣлась, прошла дальше отъ ручья, черезъ древесную чащу и почти упала на траву по срединѣ большой полянки, озаряемой косыми лучами склонявшагося къ закату солнца. Теперь она снова почувствовала прежнюю слабость и ей было холодно отъ долгаго купанья, такъ что даже стучали зубы. И опять прежній туманъ сталъ наплывать на нее. Опять жгло ей сердце и загоралась въ груди злоба, душила ее, искажала ея черты...

«Нѣтъ, нѣтъ, не прощу ей, погублю ее!..»—твердила она какъ въ бреду.

«Погублю... погублю!..—повторяла она съ дикимъ наслажденіемъ. — За что она меня?.. Что я ей сдѣлала?.. Зачѣмъ она взяла меня отъ княгини?.. Тамъ никто не мучилъ, не билъ задаромъ.... хотя и тамъ не любили. Никто, никогда-то не любилъ меня. Только мама... мама!..»

Она вся задрожала и подняла вверхъ свои огромные глаза, изъ которыхъ вдругъ брызнули слезы.

«Мама!»—простонала она еще разъ.

И ей вспомнилось вдругъ такъ живо и ясно, какъ будто все это сейчасъ было—ея первые годы, ея дѣтская жизнь въ другой далекой деревнѣ, въ маленькомъ домикѣ среди большого стараго сада, гдѣ росли яблони, груши и вишни, гдѣ рядами стояли ульи и жужжали пчелы.

Она какъ живую увидѣла свою маму, такую полную, бѣлую, красивую, въ шелковомъ сарафанѣ съ позументами. Мама была добрая, ласкала маленькую Груню, кормила ее сластями и пряниками, вкусными сахарными пѣтушками. Ее никогда не наказывали, ей позволяли жить какъ она хотѣла.

Она вспомнила, какъ въ лѣтнюю пору рано, рано вставала со

своей маленькой постели и выбѣгала въ курятникъ. Это было ея любимое мѣсто, и всѣ эти пѣтухи и куры были ея дорогими друзьями. Завидя ее издали, съ веселымъ клохтаньемъ они спѣшили къ ней, зная, что она несетъ имъ кормъ. Она кормила ихъ изъ своихъ рукъ, возилась съ ними по цѣлымъ часамъ, пока мать не приходила за нею и не звала ее пить чай. Тогда она бросала куръ и бѣжала въ горницу. А въ горницѣ уже кипѣлъ самоваръ; на столѣ, покрытомъ чистой цвѣтной скатертью, стояли густыя сливки и вкусные крендели и баранки. А вечеромъ пригоняли коровъ и овецъ—опять было веселье и радость. Она вспомнила своего любимаго теленочка, такого смѣшного, пушистаго, съ мягкой и влажной мордочкой, которую она часто цѣловала.

И такъ шли день за днемъ.

Но вдругъ Груня съ ужасомъ, съ замираніемъ сердца вспомнила: она была во дворѣ и играла съ курами, вдругъ изъ домика ихъ раздался крикъ, пронзительный крикъ. Она узнала голосъ матери. Ничего не понимая, въ страхѣ она вскочила и побѣжала, ворвалась въ горницу и видитъ: мать на полу, на колѣняхъ, а передъ нею какая-то барыня... Потомъ барыня ударила маму. Груня такъ испугалась, что будто окаменѣла и стояла, не шевелясь у двери, глядя во всѣ глаза. Барыня, съ краснымъ, злымъ лицомъ, что-то кричала и бранилась.

И вотъ Груня слышитъ, слышитъ какъ будто теперь, непонятныя слова мамы:

«Матушка барыня, да, вѣдь, неволею; развѣ я могла противиться, что-же бы я подѣлала?.. Руки на себя наложить хотѣла, такъ и то не дали, съ глазъ не спущали!..»

Такъ и звучатъ передъ Груней эти слова мамы, послѣднія слова, которыя она отъ нея слышала. Потомъ уже у нея путаются воспоминанія. Пришли какіе-то люди, схватили ее, потащили въ большой домъ. Она рвалась къ матери, плакала, но ее не пускали и прибили, чтобы она не шумѣла.

Такъ прошло нѣсколько дней. Потомъ вдругъ явилась старушка Анна, которую и прежде Груня знала, и повела ее въ ихъ домикъ. Груня такъ обрадовалась, вошла съ Анной въ горницу — и что-же: въ горницѣ стоитъ гробъ и лежитъ въ немъ ея мама. Кинулась къ ней Груня, дрожала вся, ничего не понимала.

«Мама, да вставай-же! да открой глазки!..»

Но мама не вставала, мама была холодная. И потомъ унесли маму.

Опять злая барыня съ краснымъ лицомъ... потомъ дорога, долгая дорога... Петербургъ... чужіе люди, злые, сердитые, а барыня всѣхъ злѣе и сердитѣе...

Потомъ перевезли ее къ княгинѣ. Ей было тяжело и тоскливо, она часто по ночамъ просыпалась и все думала о своей мамѣ... Но ей хотѣлось быть доброй, хотѣлось любить этихъ чужихъ людей и угождать имъ, и она имъ угождала, говорила съ ними ласково. Но ее не любили, отгоняли. Только бывало позовутъ къ княгинѣ, тамъ разные господа... смотрятъ на нее, иной разъ кто-нибудь и по головѣ погладитъ. Говорятъ что-то, про нее говорятъ, но что—она понять не можетъ...

Нѣтъ, какъ ни хотѣла, а не могла она любить людей, потому что они ее не любили, потому что никто ни одного раза не вспомнилъ про ея маму, потому что отняли у нея и маму, и домикъ, и куръ, и коровъ, и овецъ, и любимаго теленочка...

А барыня Катерина Михайловна! Зачѣмъ же она ласкала ее, рядила ее въ первое время? Зачѣмъ она ее теперь такъ измучила и велѣла другимъ мучить?

Груня была увѣрена, что Катерина Михайловна именно велѣла ее мучить и преслѣдовать.

«Погублю, погублю!»—опять прошептала она, сверкнувъ глазами и, нахмуривъ брови, съ дикимъ и злымъ выраженіемъ въ лицѣ стала что-то обдумывать.

XIX.

Добились.

Груня вернулась въ домъ только поздно вечеромъ. Маланья, старшая горничная Катерины Михайловны, которой бѣдная дѣвочка давно уже отдана была въ полное распоряженіе, сейчасъ же на нее накинулась.

Маланья эта была очень злая старая дѣва, лѣтъ пятидесяти, высокая, худая, съ правильными чертами лица, съ большими и холодными сѣрыми глазами. Она чванилась своей добродѣтельной жизнью, то есть, тѣмъ, что никогда и никто ничего «этакаго» не могъ сказать про нее, что она съ юности отличалась недоступностью и отгоняла отъ себя всѣхъ безъ исключенія ухаживателей. Она называла всѣхъ мужчинъ «мерзостью» и чувствовала къ нимъ истинное отвращеніе—такова уже была ея природа.

Но если ничего «этакаго» за нею и не водилось, зато водилось многое другое. Она ненавидѣла не однихъ мужчинъ, а и весь родъ человѣческій. И подвести кого-нибудь подъ барскій гнѣвъ, выслѣдить чью-нибудь провинность, оклеветать кого-нибудь, однимъ словомъ, нанести зло ближнему—было ея высшимъ наслажденіемъ. Хитрая и ловкая, она всегда добивалась того, что господа были

ею довольны. Она съ дѣтства была взята въ барскія хоромы, прислуживала еще у покойной Татьяны Владиміровны Горбатовой, затѣмъ перешла къ Катеринѣ Михайловнѣ.

По отъѣздѣ барыни за границу, Маланья осталась въ петербургскомъ домѣ безъ всякихъ обязанностей, потомъ выпросила у Владиміра Сергѣевича разрѣшеніе, конечно, за извѣстный годовой оброкъ, служить на сторонѣ. Перебывала она во многихъ петербургскихъ богатыхъ домахъ, скопила, какъ говорили, порядочную сумму денегъ, просилась на волю, но ее почему-то не отпустили, несмотря на большой предлагаемый ею выкупъ.

Теперь, по возвращеніи изъ-за границы, Катерина Михайловна вдругъ ея вспомнила и потребовала. Маланья не смѣла ослушаться, вернулась. Она разсыпалась мелкимъ бѣсомъ передъ Катериной Михайловной, цѣловала ея руки, увѣряла, что для нея «небесное блаженство» служить матушкѣ-барынѣ. Но въ то же время, конечно, всей душой она возненавидѣла эту матушку-барыню за то, что та лишила ее заработка и снова, на старости лѣтъ, заставила служить даромъ.

«Ужъ насолю же я, насолю!»—шептала про себя Маланья.

Она втерлась въ милость къ Катеринѣ Михайловнѣ, скоро изучила всѣ ея привычки, всѣ ея капризы, знала наизусть гдѣ и что у нея хранится, и если-бы Катерина Михайловна сама также хорошо знала счетъ своимъ вещамъ, то давно могла-бы уже убѣдиться, что у нея время отъ времени пропадаетъ то то, то другое и даже деньги. Но Маланья не попадалась, она отлично знала что и когда можно стянуть.

Прислугѣ отъ нея просто житья не было. А мучить бѣдную Груню сдѣлалось для нея потребностью...

— А, таки явилась! — крикнула она, когда дѣвочка, дико озираясь, прокралась въ дѣвичью. — Гдѣ шлялась? Гдѣ пропадала?

Груня задрожала и хотѣла было выскользнуть изъ дѣвичьей, но Маланья ее схватила за руку и стала трясти, повторяя:

— Да говори-же, негодница, гдѣ шлялась?

— Нигдѣ,—наконецъ отвѣтила Груня:—въ лѣсу заснула...

— Въ лѣсу! Кто-же тебѣ позволилъ въ лѣсъ бѣгать, ты работать должна!

Но вдругъ она какъ-будто усмирилась и болѣе спокойнымъ голосомъ спросила:

— Что-же, ты такъ цѣлый день и не ѣвши?

— Да,—проговорила Груня.

— Голодна, чай?

— Голодна...

— Ну такъ вотъ... пойдемъ!

Она потащила Груню изъ дѣвичьей черезъ длинный корридоръ и, прежде чѣмъ бѣдная дѣвочка могла придти въ себя и очнуться, толкнула ее въ совсѣмъ темный чуланъ и заперла за нею дверь на ключъ.

Это былъ маленькій грязный чуланъ, куда истопники складывали дрова и уголь, гдѣ никогда не мели и никогда не провѣтривали. Теперь дровъ въ немъ не было, но зато было столько пыли, что при движеніи воздуха, произведенномъ быстро растворенный и захлопнутой дверью, Груня въ первую же минуту стала чихать. Она стояла долго неподвижно въ кромѣшной темнотѣ, окружавшей ее, среди этой поднявшейся пыли, проникавшей ей и въ носъ, и въ глаза. Потомъ она ощупью нашла дверную ручку, попробовала, стала трясти дверь изо всѣхъ силъ, но дверь, конечно, не поддавалась.

Она упала на грязный полъ и осталось неподвижной. Маланья нѣсколько разъ проходила мимо этого чулана, останавливалась и даже прислушивалась, но ничего не могла разслышать.

— Дрыхнетъ!—рѣшила злая старуха.

Но Груня не «дрыхала», она не заснула ни на минуту всю ночь, и ни одна слеза не выкатилась изъ глазъ ея. Рѣшимость, бывшая до сихъ поръ только еще въ ея озлобленномъ и измученномъ сердцѣ, перешла теперь въ сознаніе. За эту ночь Груня обдумала планъ дѣйствій.

Когда утромъ ее выпустили изъ чулана, она была похожа на мертвеца—ни кровинки не было въ лицѣ ея, глаза казались стекляными. Она упорно молчала и ходила какъ-будто во снѣ. Едва проглотила кусокъ хлѣба, едва омочила губы въ ковшѣ съ водою.

Ее усадили за работу. Она примостилась къ открытому окну и стала прилежно шить, только время отъ времени выглядывая въ окошко. Она все поджидала—не пройдетъ ли Володя, и вотъ онъ дѣйствительно показался. Онъ подбѣжалъ къ окну, заглянулъ. Въ дѣвичьей было много народу, онъ не хотѣлъ говорить съ Груней при постороннихъ и только объяснилъ ей:

— Уѣзжаю до завтра!

И быстрымъ шопотомъ добавилъ:

— Скажу все дѣдушкѣ... онъ добрый...

А затѣмъ спрыгнулъ съ низенькаго каменнаго фундамента подъ окошкомъ и убѣжалъ.

Щеки Груни вспыхнули. Она уже слышала въ дѣвичьей, что Володя съ Гришей и съ французомъ должны ѣхать въ Горбатовское, что они тамъ будутъ ночевать и на зарѣ удить рыбу въ горбатовскомъ озерѣ. Это было рѣшено еще нѣсколько дней

тому назадъ; но она не знала навѣрно, состоится ли поѣздка на сегодня и все утро только и думала объ этомъ.

«Такъ это вѣрно, они уѣзжаютъ нынче, онъ самъ сказалъ!..» Глаза ея вспыхнули, она еще прилежнѣе принялась за работу и даже не отрывалась отъ нея, чтобы глядѣть въ окно. Однако, она все-же прислушивалась и слѣдила за тѣмъ, что происходило въ домѣ.

Вотъ господа позавтракали, и приказано закладывать лошадей. Скоро изъ сарая во дворъ къ барскому подъѣзду выѣхала коляска, потомъ другая и, наконецъ, запряженная четверкой длинная, крытая линейка. Вывели двухъ осѣдланныхъ лошадей. Отсюда, изъ окна дѣвичьей, все видно. Господа стали выходить на крыльцо.

Теперь Груня дѣлала только видъ, что работаетъ, а сама изъ подъ длинныхъ рѣсницъ своихъ то и дѣло поглядывала по направленію къ господскому крыльцу. Она видѣла какъ Катерина Михайловна усѣлась въ коляску съ Наташей, въ другую помѣстилась Мари съ англичанкой и Соней. Всѣ дѣти, Лили и французъ заняли по обѣ стороны линейку. Николай и Сергѣй уже были въ это время верхами, и скоро вся эта процессія тронулась и выѣхала въ ворота.

Минутъ съ пять въ домѣ царило глубокое молчаніе, а затѣмъ, будто по данному сигналу, всѣ оставшіеся люди, несмотря на свою многочисленность, если и видные при господахъ, то почти неслышные, теперь вдругъ шумно заявили о своемъ существованіи. Большая дѣвичья мгновенно преобразилась: ее наполнили молодые лакеи, конюхи, поварята. Раздались звуки гармоники, начался веселый смѣхъ, визгъ. Затѣмъ часть веселаго общества осталась въ дѣвичьей, а другая направилась въ садъ, къ качелямъ, и уже оттуда теперь доносились смѣхъ и визги.

— Ну, началось бѣсовское торжество!—пробурчала Маланья.— Вотъ господа какъ вернутся съ дороги, да накроютъ васъ, тото будетъ потѣха!

— Небось, не вернется, матушка Маланья Егоровна,—отвѣтили ей:—а когда-же и повеселиться, если не на свободѣ? Вѣдь, такихъ праздничковъ не много бываетъ, кои-то вѣки такой денекъ выдастся!..

— Ужъ вы не серчайте, голубушка Маланья Егоровна,—ластились къ ней дѣвушки.

— Эхъ, да что мнѣ, плевать мнѣ на васъ, да на ваше веселье поганое!—объявила Маланья, дѣйствительно плюнула и ушла изъ дѣвичьей.

— Провалилось воронье пугало!—напутствовали ее, но, конечно, только тогда, когда она не могла уже слышать.—Вѣдь,

вотъ женщина—уйдетъ такъ ровно камень съ плечъ свалится... И какъ это, прости Господи, такихъ кикиморъ земля носитъ?

Теперь каждый и каждая были заняты своимъ дѣломъ, то есть, своимъ весельемъ, на Груню никто не обращалъ вниманія. Она сложила свою работу и выбралась изъ дѣвичьей.

Но она не побѣжала въ садъ, она прокралась сначала въ свою коморку, гдѣ была устроена ея бѣдная постель. Каждое ея движеніе теперь выказывало не то страхъ, не то большую осторожность. Она внимательно оглядѣлась, прислушалась, притворила дверь и нѣсколько времени все копошилась въ коморкѣ. Затѣмъ вышла, что-то пряча за пазухой, и стала красться по направленію къ комнатамъ Катерины Михайловны.

Подобравшись къ первой двери, она прислушалась, тихонько потянула дверную ручку, потянула дверь къ себѣ. Дверь тихо скрипнула и пріотворилась.

— Кто тутъ? — раздался изъ комнатъ сердитый голосъ Маланьи.

Груня такъ и замерла на мѣстѣ. Потомъ отскочила отъ двери и притаилась въ темномъ углу корридора, за разными юбками и платьями, развѣшанными на крючкахъ и прикрытыми ситцевой занавѣской, доходившей до полу. Она не шевелилась и сдерживала дыханіе.

Маланья вышла въ корридоръ, еще разъ повторила:

— Кто тутъ?

Но такъ какъ и на этотъ разъ никто ей не отозвался, она оглядѣлась направо и налѣво, а затѣмъ снова вернулась въ комнаты.

Груня ждала. Она не знала сколько прошло времени, только ей казалось, что очень много. Наконецъ, Маланья вышла изъ комнатъ, прошла мимо и отперла маленькую дверь въ нѣсколькихъ шагахъ отъ Груни. Это была ея собственная, Маланьина комната. Она помѣщалась здѣсь, невдалекѣ отъ покоевъ Катерины Михайловны, чтобы быть ближе къ госпожѣ, изъ спальни которой была проведена къ ней сонетка.

Груня все не шевелилась. Прошло еще не мало времени—и вотъ Маланья вышла опять въ корридоръ. Скоро ея шаги замерли въ отдаленіи. Груня пождала, робко выглянула изъ-за занавѣсокъ и, неслышно ступая по разостланному черезъ весь корридоръ половику, направилась къ комнатамъ Катерины Михайловны.

Но какъ ни осторожно, какъ ни легко ступала она, а все-же время отъ времени старый, разсохшійся полъ скрипѣлъ подъ ея ногами. И она останавливалась, вздрагивала всѣмъ тѣломъ, снова прислушивалась и съ каждымъ разомъ старалась ступать

осторожнѣе. Наконецъ, она у двери. Она отворила ее теперь сразу, такъ что та не успѣла и скрипнуть.

Вотъ она и въ комнатахъ старой барыни. Она пробѣжала въ спальню и на минуту остановилась. Ей была хорошо знакома эта комната, которую она не разъ убирала и гдѣ, въ злополучный часъ, разбила фарфоровую статуэтку. Вотъ широкая, старинная кровать подъ штофнымъ выцвѣтшимъ балдахиномъ. Груня легла на полъ у кровати, заглянула подъ нее, потомъ проползла. Она пуще всего боялась, что ножки коротки, а что она слишкомъ велика и не будетъ въ состояніи пролѣзть; но теперь убѣдилась, что это легко.

Она вынула у себя изъ-за пазухи маленькій узелокъ, оставила его подъ кроватью, а сама тотчасъ-же выползла. Потомъ выбѣжала въ корридоръ, изъ корридора въ людскую столовую, гдѣ въ это время собирались обѣдать.

Теперь она была очень возбуждена, краска выступила на ея щекахъ. При видѣ ѣды она почувствовала сильный голодъ и съ жадностью стала обѣдать. Она даже, что̀ съ ней рѣдко бывало, приняла участіе въ общемъ разговорѣ, даже смѣялась вслѣдъ за другими, когда кругомъ нея раздавался смѣхъ на забористыя шутки и остроты молодого конюха Максима, всеобщаго потѣшника.

XX.

Спичка загорѣлась.

Погода уже давно стояла сухая и жаркая. Но несмотря на полуденный зной, часъ переѣзда изъ Знаменскаго въ Горбатовское никому не показался утомительнымъ, такъ какъ въ старомъ лѣсу, черезъ который шла дорога, было хорошо и прохладно.

Сергѣй и Николай, сначала ѣхавшіе мелкой рысцей съ экипажами, наконецъ, убѣдились, что только обдаютъ всѣхъ пылью, да и сами ее глотаютъ, а потому пропустили экипажи впередъ, а сами, взявъ просѣкой, поѣхали шагомъ, по временамъ перекидываясь другъ съ другомъ односложными замѣчаніями.

Въ линейкѣ раздавался дѣтскій смѣхъ, а въ коляскѣ, гдѣ сидѣла Мари съ англичанкой и Соней, царствовала тишина, такъ какъ Мари дремала, англичанка жевала губами и размышляла о чемъ-то, а Соня сидѣла надувшись. Она просилась въ линейку, но ее почему-то не пустили и заставили ѣхать въ самой скучной компаніи.

Катерина Михайловна почти всю дорогу мучила Наташу, до-

пытывалась, что съ нею такое, отчего она вотъ уже второй день такая блѣдная и на себя не похожа.

Наташа отвѣчала, что сама не знаетъ, быть-можетъ, это просто маленькое нездоровье, простуда, или нервы, можетъ быть, немного разстроились, и что, вообще, это пустяки и не стоитъ совсѣмъ обращать вниманія.

Но Катерина Михайловна не унималась. Она все предлагала Наташѣ попробовать какія-то особенныя средства, которыя ей очень помогли заграницей. И несмотря на то, что Наташа, наконецъ, прямо сказала ей, что готова, если ей это доставляетъ удовольствіе, принять все, что угодно, она все-же продолжала убѣждать ее и на всѣ лады повторять тотъ-же самый разсказъ. Ей просто хотѣлось говорить, а говорить было не о чемъ—и вотъ она заладила одно и то-же.

Наконецъ, Наташа не выдержала, она и такъ еле владѣла собою. Чтобы отвязаться отъ этой несносной болтовни, она закрыла глаза и притворилась, что дремлетъ.

Катерина Михайловна стала теребить ее за рукавъ.

— Наташа, да очнись-же, mon ange, нашла время спать!.. Ты слышишь, что я говорю?

Наташа дѣлала видъ, что не слышитъ.

Катерина Михайловна передернула плечами, съ досадой, наконецъ, отвернулась, сочла себя обиженной и, наконецъ, замолчала.

Горбатовское встрѣтило гостей во всемъ своемъ великолѣпіи. Всѣ работы теперь были кончены, домъ сіялъ чистотою. Цвѣтники разливали благоуханіе. Казалось, что прежнее вермя вернулось.

Борисъ Сергѣевичъ имѣлъ самый оживленный видъ. Онъ радостно привѣтствовалъ пріѣзжихъ; но тотчасъ-же замѣтилъ утомленный, страдающій видѣ Наташи и съ тревогой въ голосѣ спросилъ ее, что это значитъ.

— Дядя, милый,—отвѣтила она, печально ему улыбнувшись:— да хоть вы-то не спрашивайте! Ну, нездоровится... слабость... ну и пройдетъ... особенно здѣсь, у васъ такъ хорошо, даже воздухъ какъ будто какой-то особенный!..

Катерина Михайловна была тутъ какъ тутъ.

— Вотъ видишь, всѣ замѣчаютъ, что ты нездорова,—сказала она и, затѣмъ, обратилась къ Борису Сергѣевичу.—Хоть ты уговори ее заняться собой какъ слѣдуетъ и полѣчиться... Я уже давно замѣчаю, что она поблѣднѣла и похудѣла. Предлагаю вотъ ей отличныя средства, которыя мнѣ очень, очень помогли...

— Да отчего помогли, maman?—улыбнувшись, проговорила Наташа:—вамъ эти средства могли помочь, а мнѣ отъ нихъ, пожалуй, только хуже станетъ.

Борисъ Сергѣевичъ на минуту задумался, а затѣмъ обратился къ Наташѣ:

— Позволь мнѣ тебя полѣчить. Я тебѣ дамъ такое средство, отъ котораго, во всякомъ случаѣ, не станетъ хуже. Ты, говоришь, чувствуешь слабость, утомленіе—вѣдь, да?

— Да.

— Вѣришь, что я не отравлю тебя? Согласна принять мои средства?

— Если это доставляетъ вамъ удовольствіе,—согласилась Наташа, пожимая плечами.

«И онъ тоже!—подумала она:—Господи, тоска какая!..»

Онъ взялъ ее подъ руку и повелъ. Они прошли въ его большой кабинетъ. Затѣмъ онъ вынулъ изъ кармана ключикъ, отперъ незамѣтную, скрытую между книжными шкафами дверцу и предложилъ Наташѣ войти. Она не знала о существованіи этой дверцы, съ изумленіемъ прошла въ нее и очутилась въ небольшой комнатѣ, наполненной сильнымъ пряннымъ запахомъ.

По стѣнамъ, почти до самаго потолка, шли открытые шкафы, полки которыхъ были уставлены большими стклянками, наполненными различными кореньями и зернами самыхъ причудливыхъ формъ. Между этими стклянками были развѣшаны пучки всякихъ душистыхъ травъ. На большомъ столѣ, занимавшемъ средину комнаты, стояло нѣсколько ступокъ и лежали толстыя книги.

— Что-же все это значитъ?—съ изумленіемъ спросила Наташа.

Борисъ Сергѣевичъ улыбнулся.

— А это моя аптека,—сказалъ онъ:—вѣдь, я не даромъ всю жизнь прожилъ въ Азіи, мой другъ. Я познакомился съ тибетской наукой и въ нѣкоторомъ родѣ сталъ азіатскимъ медикомъ. Къ несчастью, слишкомъ поздно!—прибавилъ онъ вздохнувъ.—Но все-же вотъ эти травы нѣсколько лѣтъ поддерживали угасавшую жизнь моей бѣдной жены, и имъ я обязанъ, что еще бодръ и свѣжъ, несмотря на свои годы! Эти травы на моихъ глазахъ производили такія излѣченія, которыя вашимъ докторамъ и во снѣ не снились. Я долго и много работалъ, не легко было. Вотъ посмотри...

Онъ развернулъ передъ Наташей странныя книги, наполненныя непонятными для нея каракулями.

— Это все лѣчебники... Я изучилъ нѣсколько азіатскихъ языковъ...

— Боже мой, какъ все это интересно!—оживленно проговорила Наташа.

— Да, конечно, интересно, а чтобы заинтересовать тебя еще

больше, я и прошу тебя попробовать моего лѣкарства—увидишь какое оно произведетъ дѣйствіе.

— Дядя, у васъ и отъ тоски есть лѣкарство?—прошептала она.

Онъ пристально взглянулъ на нее.

— Отъ тоски лѣкарства нѣтъ, но душа и тѣло тѣсно связаны между собою и, помогая тѣлу, можно все-же косвенно облегчить и душу, хоть временно, хоть на минуту. Иной разъ и за это можно сказать спасибо...

— Да, конечно!—согласилась она.

А онъ въ это время уже снялъ съ полки три стклянки, наполненныя порошками, взялъ изъ каждой маленькую щепотку, всыпалъ ихъ въ рюмку съ водою, размѣшалъ хорошенько и предложилъ Наташѣ ихъ выпить.

Она понюхала—пахнетъ недурно.

— Проглоти сразу, а потомъ еще запей водой.

Она исполнила.

— Немного какъ-будто жжетъ въ горлѣ,—сказала она.

— Ничего, это сейчасъ пройдетъ. Ну, теперь пойдемъ, и если ты не почувствуешь себя лучше, то можешь сколько угодно смѣяться надъ моей аптекой и надъ моей азіатской медициной.

Не болѣе какъ черезъ часъ Наташа съ изумленіемъ замѣтила, что чувствуетъ себя совсѣмъ иначе. Въ ней явилась бодрость, силы, пріятная теплота пробѣгала по ея членамъ и даже мучительная тоска, недававшая ей покоя, какъ будто забылась. Она стала оживленнѣе, говорила, смѣялась и безъ страха глядѣла на Николая.

Передъ обѣдомъ она сказала Борису Сергѣевичу:

— Вы чудодѣй, дядя, вѣдь, и правда, я чувствую себя гораздо лучше.

— Вотъ видишь!

Всѣ заинтересовались азіатской аптекой, а пуще всѣхъ Николай.

Борисъ Сергѣевичъ долженъ былъ всѣмъ показать свою таинственную комнату и разсказалъ нѣсколько очень замѣчательныхъ случаевъ исцѣленія, которыхъ онъ былъ очевидцемъ.

— Да какъ-же вы до сихъ поръ намъ ничего объ этомъ не говорили?

— Не пришлось. Да и теперь я вовсе не доволенъ собою, что разсказываю. Что можетъ быть хуже положенія человѣка, вернувшагося изъ-за тридевяти земель и разсказывающаго необыкновенныя исторіи!.. Говоришь, а самъ такъ вотъ и чувствуешь, что тебя непремѣнно за лгуна считаютъ... Впрочемъ, считайте, друзья мои, меня за кого угодно, а вотъ я далъ Наташѣ лѣкарство, и ей стало лучше—пока только это и было нужно...

— Нѣтъ, это такъ интересно,—сказалъ Николай:—что я теперь отъ васъ не отстану, дядя, и ужъ какъ тамъ хотите, а я стану забираться въ вашу азіатскую комнату. Возьмите меня въ ученики.

— Что-жъ, если хватитъ терпѣнья—пожалуй.

— О, у него-то терпѣнья хватитъ,—замѣтилъ Сергѣй:—а вотъ какъ вы вдвоемъ станете тутъ народъ лѣчить, такъ васъ за колдуновъ сочтутъ, и все это кончится, пожалуй, большимъ переполохомъ, въ особенности по теперешнимъ временамъ. Наши мужички насчетъ всякаго колдовства охъ какъ строги!..

Часовъ около десяти вечера гости уѣхали, оставивъ въ Горбатовскомъ двухъ мальчиковъ и француза...

До самаго солнечнаго заката веселилась и ликовала знаменская дворня. Только Груня опять пропала. Улучивъ удобную минуту, она снова прокралась въ спальню Катерины Михайловны, залѣзла подъ кровать и тамъ притаилась. Болѣе трехъ часовъ пролежала она нешелохнувшись, прислушиваясь къ звуку маятника, считая минуты. Наконецъ, до ея слуха стали доноситься голоса, въ домѣ поднялось новое движеніе. Господа вернулись.

Хлопнула дверь, вошла Катерина Михайловна. У Груни шибко застучало сердце, такъ шибко, что она даже почти испугалась—а ну какъ будетъ слышно это біеніе, а ну какъ оно ее выдастъ?.. Къ тому-же она стала страшно бояться чихнуть, тѣмъ болѣе, что подъ кроватью было пыльно. И какъ нарочно, только что она подумала про чиханье, какъ ей и захотѣлось чихнуть; но она все-же удержалась. Она напрягала всю свою волю и всѣ свои силы, чтобы не подать признака своего существованія. Лицо ея горѣло, въ виски стучало, руки и ноги холодѣли. Но какая-то дикая радость наполняла ее теперь. Она уже ни о чемъ не думала, она только слушала.

Вотъ Маланья раздѣваетъ Катерину Михайловну, причесываетъ ей на ночь голову. А маятникъ отбиваетъ секунды и кажутся эти секунды безконечными Грунѣ. Время идетъ такъ медленно, едва движется, кажется, конца не будетъ этому ожиданію. Наконецъ, Катерина Михайловна отослала Маланью, нѣсколько разъ прошлась по комнатѣ, потомъ присѣла въ кресло передъ большимъ туалетнымъ зеркаломъ. Груня осторожно выглянула изъ-подъ кровати. И если-бы Катерина Михайловна могла увидать ея взглядъ, то навѣрно-бы испугалась, такая выражалась въ немъ дикая, почти нечеловѣческая ненависть. Да и точно, не человѣческое существо, а звѣрь, загнанный, измученный, и наконецъ, доведенный до остервенѣнія, до послѣднихъ предѣловъ безумной злобы, скрывался теперь подъ кроватью.

Катерина Михайловна поднялась съ кресла, потушила свѣчи.

Комната освѣщалась теперь только лампадой. Груня слышитъ какъ старуха ворочается на кровати. А секунды тянутся. Маятникъ ходитъ то въ одну, то въ другую сторону, тихо такъ, и вмѣстѣ съ нимъ, обгоняя его, бьется, бьется и замираетъ сердце Груни. Она уже вся окоченѣла, застыла, холодныя пальцы ея не сгибаются.

«Да заснешь-ли ты, заснешь-ли ты?»—тоскливо, безвучно шепчетъ она и чутко прислушивается.

Долго, долго ворочалась то на одинъ бокъ, то на другой старуха. Наконецъ, неслышно уже никакого движенія, вотъ все совсѣмъ тихо въ комнатѣ. И вдругъ, среди этой тишины раздается храпъ.

«Заснула?,—думаетъ Груня:—или только дремлетъ?.. Нужно ждать...»

И она все ждетъ. Храпъ прекратился, дыханіе спящей теперь такое мѣрное и спокойное.

Еще нѣсколько минутъ—и, среди тишины спальни, подъ кроватью чиркнула спичка. Груня осторожно выползла, поднялась на ноги, взглянула на спящую торжествующимъ, злобнымъ взглядомъ, прокралась въ сосѣднюю комнату, затѣмъ отперла дверь, уже не заботясь о томъ, скрипнетъ она или нѣтъ. Шатаясь побрела она по темному корридору.

Но вдругъ у нея все помутилось передъ глазами, ей показалось, что подъ ногами очутился провалъ, что она быстро, быстро летитъ въ бездонную, черную пропасть.

Она слабо вскрикнула, упала на полъ безъ чувствъ, и осталась неподвижной.

XXI.

У дѣдушки.

Мальчики были внѣ себя отъ восторга, что ночуютъ въ Горбатовскомъ у дѣдушки.

По отъѣздѣ старшихъ они съ Рибо отправились въ назначенную для нихъ комнату, гдѣ застали Степана, который показалъ имъ отличныя удочки и всѣ приспособленія для завтрашняго уженья рыбы. Онъ сказалъ имъ, что отправится съ ними самъ и покажетъ лучшія мѣста.

Но какъ ни интересовали Володю и удочки, и Степанъ, котораго онъ очень полюбилъ за его интересные разсказы про Сибирь, онъ сказалъ Рибо, что ему нужно еще увидѣть дѣдушку передъ спаньемъ и побѣжалъ въ дѣдушкинъ кабинетъ, гдѣ надѣялся его застать.

Дорогой онъ побранилъ себя за то, что чуть было не забылъ, среди оживленія и веселости этого дня, обѣщанья, даннаго имъ Грунѣ. Конечно, онъ могъ бы и завтра поговорить съ дѣдушкой, но теперь, разъ онъ вспомнилъ, ему хотѣлось какъ можно скорѣе узнать, что скажетъ дѣдушка, захочетъ-ли онъ помочь Грунѣ.

Онъ засталъ Бориса Сергѣевича въ кабинетѣ. При входѣ его, тотъ пошелъ къ нему навстрѣчу и ласково положилъ руку ему на голову.

— Что ты, Володя, мы, вѣдь, уже простились... или забылъ здѣсь у меня что-нибудь?

Володя покраснѣлъ, немного смутился, но тотчасъ-же оправился.

— Нѣтъ, дѣдушка, я ничего не забылъ здѣсь, а только очень мнѣ нужно поговорить съ вами... я вамъ не мѣшаю?

Онъ заглянулъ ему въ глаза.

— Поговорить? О чемъ-же это, дружокъ? — сказалъ изумленно Борисъ Сергѣевичъ.—Ну, пойди сюда, садись, говори—въ чемъ дѣло?

Володя, сначала запинаясь, но затѣмъ разгорячаясь все болѣе и болѣе, разсказалъ дѣдушкѣ все, что зналъ про Груню, а зналъ онъ про нее столько же, сколько и она сама знала, потому что зналъ по ея разсказамъ.

Борисъ Сергѣевичъ слушалъ внимательно, съ большимъ интересомъ. Его заняла и таинственная исторія Груни, которую онъ хорошо понялъ, несмотря на наивность разсказа ребенка. Ему нравилась горячность Володи и доброта его сердца. А главное— невольно вспоминалось ему его собственное дѣтство, нашествіе французовъ, пожаръ Москвы и его приключенія среди разграбленнаго, сожженнаго города, встрѣча съ маленькой дѣвочкой, которую онъ спасъ и которая впослѣдствіи, черезъ многіе годы, стала его женою. Онъ будто видѣлъ повтореніе себя въ этомъ маленькомъ разсказчикѣ, и глядѣлъ на него съ большой любовью и нѣжностью. Наконецъ, его захватило за живое положеніе бѣдной дѣвочки, несправедливость и жестокость Катерины Михайловны.

«Боже мой,—думалъ онъ: — какой примѣръ она подаетъ дѣтямъ?..»

Но въ то-же время ему стало неловко и тяжело слышать это обвиненіе бабушки въ устахъ маленькаго внука.

— А ты развѣ не просилъ за нее бабушку?—сказалъ онъ.

— Нѣтъ.

— Отчего-же?

Володя пожалъ плечами.

— Бабушка меня не любитъ,—убѣжденно отвѣтилъ онъ:—и если-бы я сталъ просить ее за Груню, такъ ей стало-бы еще хуже, а мнѣ не позволила-бы больше съ Груней видаться?

— А Наташѣ... мамѣ ты ничего не говорилъ?

— Я хотѣлъ ей сказать еще вчера вечеромъ, но она весь вечеръ была больна, лежала... сегодня утромъ тоже мнѣ никакъ не удалось. И потомъ... я такъ уже и рѣшилъ, и даже Грунѣ сказалъ, что самое лучшее разсказать все вамъ, дѣдушка!

— Почему-же мнѣ?

— Да оттого, что... оттого, что васъ ужъ непремѣнно послушаютъ и вамъ повѣрятъ. Возьмите Груню къ себѣ, ей будетъ здѣсь хорошо у васъ! Я и Степана попрошу, чтобы онъ не позволялъ никому обижать ее—онъ добрый...

— Хорошо, дружокъ,—сказалъ, подумавши, Борисъ Сергѣевичъ:—будь спокоенъ, я сдѣлаю все, что можно, и думаю, что эта бѣдная дѣвочка не будетъ больше наказана понапрасну. Успокойся, я не забуду.

Володя кинулся на шею дѣдушкѣ и горячо поцѣловалъ его. А затѣмъ простился и побѣжалъ въ свою спальню.

Ему было теперь совсѣмъ хорошо, и онъ спѣшилъ, боясь какъ-бы не упустить Степана. Можетъ быть, онъ тамъ уже что-нибудь интересное разсказываетъ.

Онъ не ошибся. Степанъ разсказывалъ Гришѣ про медвѣжью охоту въ Сибири. Володя заставилъ начать сначала и такъ прошелъ еще часъ въ интересныхъ разсказахъ.

Наконецъ, Степанъ остановился.

— А теперь, дѣточки, будетъ,—сказалъ онъ:—сразу всего не перескажешь—давно спать пора, не то васъ и не добудишься... А рыбку удить надо пораньше, на самой зарѣ, а солнышко нынче рано, рано восходитъ... Много-ли спать то осталось!.. Я старый человѣкъ—мнѣ что, поспалъ часика три—и будетъ... а вашъ дѣтскій сонъ другой, вашъ сонъ вамъ росту да силушки придавать долженъ, такъ спать нужно побольше... Христось съ вами, дѣточки!..

Онъ перекрестилъ ихъ, поцѣловалъ, особенно нѣжно взглянулъ на Володю и вышелъ.

Мальчики раздѣлись, улеглись. Но Володя никакъ не могъ заснуть. Наконецъ, задремалъ. Тогда стали ему сниться такіе яркіе сны, и всего было понемногу въ этихъ снахъ, и все въ нихъ было перепутано—и Груня, и Горбатовское, и Сибирь, и медвѣжья охота, и завтрашняя рыбная ловля...

Вотъ ему снится, будто онъ съ большимъ, большимъ ружьемъ идетъ около Горбатовскаго озера и вдругъ изъ-за куста ему навстрѣчу медвѣдь. Онъ не испугался. Онъ прицѣлился изъ своего ружья—выстрѣлилъ и видитъ, что у него въ рукахъ не ружье, а удочка. А медвѣдь идетъ прямо на него. Онъ хочетъ бѣжать, но не можетъ—ноги не слушаются, будто приросли къ мѣсту...

А медвѣдь идетъ и рычитъ. Вотъ онъ уже около него... хватилъ его лапой... повалилъ... налегъ на него и душитъ...

Володя вскрикнулъ и проснулся.

«Что это? Никакъ пора, никакъ уже свѣтаетъ? Пожалуй, уже опоздали?»

Вся комната освѣщена блѣднымъ, красноватымъ свѣтомъ. Они нарочно не спустили занавѣсокъ на окнахъ. И видитъ Володя изъ окна—небо красное.

Но солнце не такъ восходитъ! Что-же это такое? Что-то странное!

Володя вскочилъ, подбѣжалъ къ окну.

«Да, небо красное, а на дворѣ еще совсѣмъ темно—ночь. И солнце восходитъ съ другой стороны... Это зарево... Это пожаръ!.. Но гдѣ-же горитъ?»

— Mr. Рибо!—крикнулъ Володя и сталъ будить француза, а потомъ Гришу.

Тѣ долго не могли понять въ чемъ дѣло. Наконецъ, стали одѣваться. Володя былъ уже готовъ. Онъ выбѣжалъ изъ комнаты—въ домѣ все тихо. Но вотъ издали раздаются чьи-то шаги. Онъ кинулся на эти шаги, они направлялись къ спальнѣ Бориса Сергѣевича.

И онъ побѣжалъ туда-же.

Въ это время Степанъ будилъ барина.

— Вставайте, сударь! Дѣлать нечего, не хотѣлъ было васъ тревожить, да думаю—какъ-бы неладно что не вышло...

— Что такое?—испуганно спрашивалъ Борисъ Сергѣевичъ.

— Горитъ, большущій пожаръ...

— Гдѣ горитъ? Горбатовское?

— Нѣтъ, Господь милостивъ. А надо такъ полагать—Знаменская усадьба. Я ужъ послалъ верхового на развѣдки.

Борисъ Сергѣевичъ мигомъ вскочилъ съ кровати.

— Эхъ, да что-же ты, Степанъ! Давно горитъ?

— Да кто его знаетъ! Самъ минутъ съ десять какъ замѣтилъ. Ставни-то закрыты—ну и не видно было сначала... Жарко горитъ! Коли усадьба—не дай Богъ, время-то сухое, а домъ старый, престарый. Охъ, ужъ и говорилъ я—бѣда этотъ домъ—чистая гнилушка!..

— Такъ вели-же ты скорѣй закладывать коляску, да бочки чтобы мигомъ...

— Все уже распоряжено, батюшка, извольте вотъ одѣваться.

Борисъ Сергѣевичъ мигомъ былъ готовъ.

Въ это время вбѣжалъ Володя.

— Гдѣ пожаръ?—тревожно спрашивалъ онъ.

Ему не отвѣтили.

— Дѣдушка, я съ вами!

— Зачѣмъ, оставайся,—выговорилъ Борисъ Сергѣевичъ, спѣшно выходя изъ спальни.—Степанъ, удержи его!

Но Володю удержать было трудно. Онъ выскочилъ вслѣдъ за дѣдушкой, пробрался на крыльцо. А тамъ уже столпился народъ. Онъ прислушался.

«Знаменское»...

«Боже мой, горитъ Знаменское!»

Въ это время къ крыльцу была подана коляска.

— Дѣдушка, я съ вами! Слышите—вѣдь, это у насъ горитъ, у насъ!..

Степанъ схватилъ его за руку.

— Да куда, ты, Володичка, голубчикъ, останься, ну чего поможешь... Можетъ быть, и не Знаменское. Дѣдушка съѣздитъ, увидитъ—вернется...

Борисъ Сергѣевичъ уже садился въ коляску.

— Пошелъ скорѣе!—крикнулъ онъ кучеру.

Володя рванулся изъ рукъ Степана и въ одно мгновеніе былъ въ коляскѣ возлѣ дѣдушки.

Коляска помчалась. И только теперь замѣтилъ Борисъ Сергѣевичъ, что Володя рядомъ съ нимъ.

— Стой!—закричалъ онъ кучеру.—Слѣзай, Володя, слышишь, я тебѣ приказываю!

— Дѣдушка, дорогой, милый!—молилъ Володя сквозь слезы:—возьмите меня, ради Бога, я не могу, не могу здѣсь остаться!.. Все равно... я пѣшкомъ... я побѣгу за коляской... я не могу...

— Ну, Господь съ тобой, ѣдемъ!

Онъ понялъ Володю и сообразилъ, что дѣйствительно самое лучшее ему теперь не перечить.

Коляска мчалась. Въ лицо имъ несласъ душистая ночная прохлада. Зарево все краснѣло. Когда они выѣхали изъ лѣса, имъ представилось ужасное зрѣлище—весь знаменскій домъ былъ въ пламени. Огромныя головни такъ и летали во всѣ стороны. Володя весь дрожалъ и то и дѣло кричалъ кучеру:

— Пошелъ... пошелъ... Господи, что-же мы такъ тихо ѣдемъ!

Но коляска продолжала мчаться во весь духъ.

Вотъ уже слышенъ гулъ голосовъ, уже можно различать движеніе вокругъ пожарища. Навстрѣчу мчится верховой.

— Поворачивай за коляской!—кричитъ Борисъ Сергѣевичъ.—Ну, что тамъ?—тревожно спрашиваетъ онъ.

— Жарко горитъ—ничего не подѣлаешь...

— Да живы-ли всѣ?

— Кажись, живы, слава Богу, ничего такого неслышно...

И у Бориса Сергѣевича, и у Володи немного отлегло отъ сердца.

когда ее заставляли растапливать печку. Потомъ осторожно чиркнула спичкой—и кончено! Весь домъ въ пламени, этотъ огромный старый домъ, въ которомъ такъ давно жили, росли, старились и умирали люди. Въ пламени—эти богатыя барскія хоромы, наполненныя шелкомъ и бархатомъ, дорогими вещами, барскими игрушками, привозными куклами и вазами, изъ которыхъ каждая, какъ сказала сама Катерина Михайловна, стоитъ дороже Груни!..

Когда Груня разбила такую игрушку, и старая барыня, выходя изъ себя, прибила ее, такъ она кричала:

«Негодная, да знаешь-ли ты, что эта вещь тысячу рублей стоитъ, а тебя и за пятьдесятъ купить можно, да и то никто не захочетъ дать такія деньги!»

И вотъ Груня, стоющая менѣе пятидесяти рублей, захотѣла—и горитъ все!

Всѣ эти послѣдніе дни, когда въ ней назрѣвала злоба и жажда мести, она такъ и представляла себѣ эту картину всеобщаго разрушенія, причиненнаго ею—и торжествовала и заранѣе наслаждалась. А теперь что-же? Все исполнилось, какъ она предполагала, а она ничего не видитъ и не слышитъ—лежитъ безчувственная на пыльномъ половикѣ корридора.

А огонь между тѣмъ дѣлалъ свое дѣло. Сначала запахло горѣлымъ въ спальнѣ Катерины Михайловны, потомъ изъ-подъ кровати показался дымъ. Онъ все гуще и гуще. Катерина Михайловна проснулась, втянула въ себя воздухъ, поперхнулась отъ дыму, вскочила съ изумленіемъ и страхомъ съ кровати. И въ то же мгновеніе вырвавшееся сразу пламя лизнуло простыни, ухватилось за одѣяло, только что сброшенное съ себя Катериной Михайловной.

Она нѣсколько мгновеній стояла неподвижно, широко раскрывъ глаза, еще ничего не понимая.

Огонь поднимался выше и выше, охватилъ всю кровать. Вотъ онъ добрался до спущенной штофной занавѣски балдахина и поползъ дальше и выше.

Катерина Михайловна крикнула не своимъ голосомъ и кинулась изъ комнаты. Выбѣжала она въ корридоръ, какъ была, босая, въ ночной кофтѣ и кричала изо всѣхъ силъ:

— Люди, люди! горимъ! пожаръ!

Но все было тихо, никто ее не слышалъ, всѣ спали. Она хотѣла бѣжать дальше и не могла—ноги подкашивались, голова кружилась, мутилось въ глазахъ. Она невольно присѣла на полъ, но потомъ собрала всѣ силы, приподнялась и, хватаясь за стѣну корридора, добралась, наконецъ, до двери въ комнату Маланьи. Попробовала—дверь на запорѣ изнутри. Она стала стучать и въ

то же время видѣла какъ изъ двери въ ея комнаты, которую она забыла запереть, валилъ густой дымъ.

— Маланья! Маланья! — умирающимъ голосомъ уже не кричала, а стонала Катерина Михайловна, стуча въ дверь.

Наконецъ, дверь отворилась, выглянула Маланья.

— Матушки! Создатели! Что такое, барыня?

— Горимъ!.. у меня въ спальнѣ! —выговорила Катерина Михайловна.

Маланья хотѣла было бѣжать туда, но отшатнулась отъ густого дыма, наполнявшаго теперь уже весь корридоръ, и заметалась, безсмысленно повторяя:

— Создатели! батюшки! что-же теперь?..

Она вернулась въ свою комнату, зачѣмъ-то стащила съ кровати одѣяло, потомъ бросила его и изо всѣхъ силъ ухватилась за небольшой сундучекъ, стоявшій подъ кроватью. Въ этомъ сундучкѣ заключались всѣ ея сокровища. Сундучекъ былъ тяжелый, руки ея дрожали; она силилась его вытащить и не могла, и стонала, и причитала.

Между тѣмъ Катерина Михайловна очнулась.

— Да что ты, мерзавка!—крикнула она:—чего ты возишься! Вѣдь, мы сгоримъ живыя! Помоги мнѣ, подыми меня, веди...

Но Маланья не могла оторваться отъ сундука. Она не видѣла барыню, не слышала ея словъ...

Въ горѣвшей спальнѣ что-то съ грохотомъ рухнуло—должно быть. тяжелый балдахинъ. И въ то же время, среди густого дыма, показался зловѣщій свѣтъ разгоравшагося и все захватывавшаго огня.

Прошло еще нѣсколько минутъ, пока стали просыпаться въ домѣ, да и то благодаря Грунѣ, которая, наконецъ, пришла въ себя, вскочила съ половика, увидала дымъ, свѣтъ огня, различила какъ-то странно и жалко прижавшуюся фигурку старой барыни у двери въ Маланьину комнату.

«Жива!»—мелькнуло въ головѣ Груни.

Но эта мысль не раздражила ее, напротивъ—обрадовала и въ ту же минуту страхъ, ужасъ и тоска наполнили ее.

— Боже мой! — простонала она: — что-же я такое надѣлала!..

Она кинулась со всѣхъ ногъ изъ корридора, кинулась по всему дому, крича:

— Вставайте! вставайте! пожаръ! горимъ!..

Начался страшный переполохъ: всѣ вскакивали съ постелей, въ первую минуту ничего не соображая. Затѣмъ начанали койкакъ одѣваться, а то и позабывали объ одеждѣ, схватывали ненужныя вещи, тащили ихъ куда-то, бросали, возвращались.

Однимъ изъ первыхъ проснулся Сергѣй. Онъ понялъ въ чемъ дѣло, разбудилъ Наташу.

— Вставай скорѣе, кажется, у насъ въ домѣ пожаръ—слышишь?..

Она очнулась, дрожащей рукой нашла туфли, накинула пенюаръ.

Сергѣй въ это время уже отворилъ окно, выглянулъ въ него и увидѣлъ яркое пламя, выбивавшееся изъ нѣсколькихъ оконъ. Но онъ не потерялся.

— Наташа, надѣнь на себя поскорѣе еще что-нибудь: свѣжо... и вотъ что, слушай: я сейчасъ выпрыгну въ окно и потомъ спущу тебя, тутъ не высоко... Дѣло плохо, домъ старый, сгоритъ... сгоритъ!.. Слушай, что у насъ тутъ самое цѣнное?.. Гдѣ твои вещи?

— Здѣсь, въ шкатулкѣ... въ бюро...—отвѣтила она вся дрожа.— Да гдѣ-же всѣ—проснулись-ли? Слышатъ-ли?

— Надо надѣяться, что проснулись, — сказалъ онъ, отпирая бюро.

Онъ вынулъ шкатулку съ драгоцѣнностями и выбросилъ ее въ окно въ мягкую траву, затѣмъ спрыгнулъ самъ.

— Наташа скорѣе!.. Вотъ сюда... становись сюда... станови ногу мнѣ на плечо... крѣпче!..

Онъ подхватилъ ее и спустилъ на землю.

— Теперь бери шкатулку и бѣги въ садъ...—куда? да въ павильонъ. А я сейчасъ все узнаю... не безпокойся... Я всѣхъ пришлю къ тебѣ...

Но Наташа не могла бѣжать и спасаться, когда не знала, что со всѣми? Она осталась неподвижна подъ окномъ. Она видѣла какъ Сергѣй снова ловко взобрался въ окно.

Между тѣмъ, въ домѣ уже раздавались голоса, крики, и пламя дѣлало свое дѣло. Она не могла ждать въ этой невыносимой неизвѣстности, побѣжала кругомъ къ крыльцу, и наконецъ, убѣдилась, что всѣ живы и невредимы. Всѣ были почти раздѣты. Мари, дѣти, Лили, одна только англичанка, несмотря на страхъ, все-же одѣлась какъ на прогулку, прежде чѣмъ вышла изъ своей комнаты.

Катерину Михайловну, закутанную во все, что только попалось подъ руки, понесли въ павильонъ.

Сергѣй и Николай распоряжались, видя, что женщины только дрожатъ и не трогаются съ мѣста. Они сами провели ихъ всѣхъ въ павильонъ и затѣмъ бѣгомъ вернулись къ дому.

Набатный звонъ гудѣлъ съ церковной колокольни, изъ села набѣгали крестьяне. Не прошло и четверти часа какъ весь домъ былъ окруженъ густой толпой народа, которая галдѣла и ровно

ничего не дѣлала. А торжествующее пламя быстро охватывало все огромное старое зданіе. Наконецъ, дворовые и крестьяне, по приказу Сергѣя и Николая, стали выносить изъ дома все, что можно было вынести. Николай распоряжался со стороны сада, Сергѣй со стороны двора. Теперь хотя и появились бочки съ водой, но онѣ не могли принести много пользы. Скоро оказалось яснымъ, что домъ отстоять нѣтъ никакой возможности и что только надо стараться не дать пламени перекинуться на надворныя строенія и на амбары.

Вотъ уже рухнула часть крыши. Николай убѣдился, что входить въ домъ теперь опасно, и поэтому приказалъ всѣмъ выбираться и оставить вещи.

Вдругъ онъ разслышалъ изъ открытаго окна, къ которому уже подбиралось пламя, крикъ, какъ будто дѣтскій голосъ.

Онъ вздрогнулъ.

— Господи, да, вѣдь, кажется, всѣ дѣти были тамъ!.. Кто-же?.. кто-нибудь изъ дворовыхъ?..

Онъ пробрался къ окошку. Пламя обступило его, сквозь густой дымъ ничего не было видно. Но вотъ крикъ раздался снова въ самомъ окнѣ:

«Спасите! спасите!»

Недолго думая, онъ рванулся, вскочилъ на фундаментъ.

— Кто тутъ? сюда!..

Это была Груня.

Въ полномъ отчаяніи отъ того, что она надѣлала, она продолжала метаться по дому и ни за что не хотѣла выходить изъ него, хоть нѣсколько разъ пробѣгала мимо наружной двери. Потомъ вдругъ она какъ будто рѣшилась на что-то. Да, она рѣшилась.

«Господи, Господи!—шептала она,—да какъ-же это такъ? Что я надѣлала?.. Ну что-же, ничего, я виновата... теперь я виновата, пусть и будетъ наказаніе... сгорю!.. сгорю!..»

Остановившись на этой мысли, она только въ ней и почерпнула нѣкоторое успокоеніе отъ мучительной тоски, всю ее наполнявшей. Она была теперь въ комнатѣ Володи и Гриши. Она сѣла на стулъ у окна, потомъ встала, подошла къ двери, заперла ее изнутри, потомъ отворила окошко, вышвырнула ключъ за окно и опять усѣлась на стулъ, закрыла глаза и ждала.

«Ну, вотъ теперь...—подумала она:—ну вотъ пусть огонь, пусть муки... виновата... наказана...»

Но когда дымъ сталъ наполнять комнату, когда показался огонь изъ дверной щели, она не выдержала, чувство самосохраненія заговорило въ ней—и она закричала:

«Спасите! спасите!»

Ее никто не слышалъ, она какъ звѣрокъ заметалась по комнатѣ. Кругомъ слышался трескъ, становилось жарко. И вдругъ, въ нѣсколькихъ шагахъ отъ нея рухнула дверь. Огонь ворвался въ комнату. Она подбѣжала къ окну и опять закричала:

«Спасите! спасите!»

Тогда среди дыма разглядѣла она протянутыя къ ней руки. Она ухватилась за нихъ. Кто-то потащилъ ее изъ окна—это былъ Николай.

Но въ то время какъ она всею тяжестью повисла на него, густой клубъ дыма ударилъ ему прямо въ лицо. Онъ захлебнулся этимъ дымомъ, у него помутилось въ глазахъ, онъ почти потерялъ сознаніе и со всего размаху, но не выпуская Груни, соскользнувъ съ довольно высокаго фундамента, ударился головою объ лежавшую подъ окномъ балку. Груня упала тоже, но совсѣмъ не ушиблась. И ее, и барина оттащили отъ окна.

Вокругъ Николая столпились.

— Батюшки, да что-же это? Никакъ Богу душу... да нѣтъ, не можетъ быть!..

— Вѣдь, объ балку головой!..—испуганно переговаривались вокругъ.

— Да нѣтъ, Богъ милостивъ... такъ только, обезпамятовалъ... шибко стукнулся... очнется... Понесемте, братцы, въ садъ, тамъ господа.

Его подняли и понесли.

XXIII.

Послѣ бѣды.

Къ полудню отъ стараго знаменскаго дома остались только развалины. Закопченый каменный фундаментъ, черные остовы печей, обуглившаяся мебель, куча дубовыхъ балокъ... И все это дымилось на жаркомъ солнцѣ, и мѣстами, время отъ времени, вспыхивало и потухало пламя.

Народъ не расходился, заливалъ головни, вытаскивалъ изъ подъ пепла предметы, которые еще годны были на какое-нибудь употребленіе.

Горбатовы все еще не выходили изъ павильона. На зарѣ былъ отправленъ гонецъ въ городъ за докторомъ. Докторъ пріѣхалъ, осмотрѣлъ Николая, давно уже пришедшаго въ себя, но чувствовавшаго страшную боль въ головѣ. При этомъ у него была такая слабость во всемъ тѣлѣ, что онъ съ трудомъ могъ шевелиться.

Докторъ объявилъ, что произошло сотрясеніе мозга, но не-

значительное, и что черезъ нѣсколько дней спокойствія и хорошаго ухода больной совсѣмъ оправится. На рукѣ оказался сильный ушибъ, на головѣ, на затылкѣ, небольшая рана, которую даже сначала не замѣтили подъ густыми волосами. Однимъ словомъ, опасности не было, и всѣ легко вздохнули.

Теперь, когда положеніе Николая выяснилось, мысли всѣхъ обратились къ пожару. Катерина Михайловна приходила въ отчаяніе, даже плакала, твердила, что все пропало, что они разорены и что, главнымъ образомъ, разорена она.

— Вѣдь, всѣ мои сундуки, все что было—пропало... пропало!..—твердила она.

Ее стали успокаивать, доказывали, что это еще не разореніе. Конечно, потери и убытки велики; но, вѣдь, это не петербургскій домъ. Вотъ если-бы, не дай Богъ, онъ сгорѣлъ—тогда другое дѣло.

Она мало-по-малу утихла. Она уже успѣла послѣ своего дѣйствительно сильнаго испуга придти въ себя. Лежа съ закрытыми глазами и изображая на своемъ лицѣ послѣднюю степень отчаянія, она уже отлично высчитала всѣ убытки и нашла ихъ незначительными. Конечно, ей жаль было, и даже очень, своихъ сундуковъ и тряпья, въ нихъ заключавшагося; но дѣло въ томъ, что оставшіяся непроданными ея фамильныя драгоцѣнныя вещи были въ Петербургѣ на сохраненіи въ ломбардѣ. То-же сдѣлала со своими брилліантами и Мари. А Наташина шкатулка была спасена.

Катерина Михайловна даже дошла до мысли, что такъ какъ всѣ живы и невредимы, и Николай черезъ нѣсколько дней, по словамъ доктора, поправится, то, пожалуй, и хорошо, что сгорѣлъ этотъ старый домъ. Онъ уже давно начиналъ ей мозолить глаза, особенно при сравненіи съ горбатовскимъ домомъ.

Теперь всѣ они переѣдутъ въ Горбатовское.

Борисъ Сергѣевичъ уже говорилъ объ этомъ, да иначе развѣ и могло быть!.. Тамъ, въ Горбатовскомъ, жизнь ничего не будетъ стоить и въ то-же время можно будетъ пустить пыль въ глаза всему уѣзду, всей губерніи.

Вѣдь, все равно, для того, чтобы достигнуть предположенной ею цѣли, чтобы видѣть Сергѣя губернскимъ предводителемъ дворянства, нужно было затратить очень крупную сумму на перестройку и отдѣлку дома. А суммы этой не было, и дѣло затягивалось. Теперь все пойдетъ гораздо легче. Всякій пойметъ, что выстроить новый домъ въ Знаменскомъ нельзя въ какой-нибудь годъ.

Она будетъ показывать всѣмъ грандіозные планы этого будущаго царственнаго жилища. А между тѣмъ пройдетъ два, три

года, Сергѣй будетъ предводителемъ. Горбатовское снова, если еще и не по закону, то въ дѣйствительности превратится въ ихъ собственность... Да и чье же оно, какъ не ихъ? Не возьметъ-же его съ собой старикъ въ могилу?..

Она въ своихъ мысляхъ уже не въ первый разъ торопилась хоронить Бориса Сергѣевича. А о своей смерти никогда не помышляла.

«Однимъ словомъ,—закончила она свои мысли:—сгорѣлъ домъ—туда ему и дорога, и вышло лучше!..»

Но тѣмъ не менѣе она продолжала ныть и толковать о разореніи, и при этомъ жалобно, жалобно поглядывала на Бориса Сергѣевича.

— Какъ-же это, однако, могло случиться?—наконецъ, спросилъ онъ:—забыла ты, что-ли, потушить свѣчку, Катринъ?

Катерина Михайловна прекратила свои причитанія и съ изумленіемъ всѣхъ оглянула.

«Какъ-же, въ самомъ дѣлѣ, это случилось?

Эта мысль до сихъ поръ не пришла ей въ голову, да и никому не пришла.

— Непостижимо! Я сама потушила свѣчи на туалетѣ и когда ложилась спать, то въ комнатѣ горѣла только лампадка передъ образами. Я долго не могла заснуть и часто открывала глаза и видѣла—горитъ лампадка... Какъ-же это могла загорѣться кровать?

— Одно можно предположить,—сказалъ Сергѣй:—вѣрно, какъ-нибудь или вы сами, maman, или горничная, которая оправляла вамъ постель, нечаянно уронили спичку въ простыню и потомъ вы во снѣ какъ-нибудь прижали ее къ дереву кровати—и она вспыхнула.

— Этого не можетъ быть,—замѣтилъ Борисъ Сергѣевичъ:—если-бы было такъ, то твоя мать навѣрно-бы сгорѣла и, уже во всякомъ-бы случаѣ, проснулась отъ обжоговъ...

— Да, конечно,—проговорила Катерина Михайловна.—Нѣтъ, загорѣлось подъ кроватью, сразу, изъ-подъ кровати шелъ дымъ и оттуда показалось пламя, это я отлично видѣла.

— Но, вѣдь, это не можетъ быть!

Останавливались на всякихъ предположеніяхъ и никакъ не могли рѣшить вопроса.

Вдругъ въ павильонъ вбѣжалъ Володя, съ разстроеннымъ лицомъ.

— Что такое?! Что еще случилось?—обратились къ нему всѣ.

— Мнѣ кажется, Груня сошла съ ума!—проговорилъ онъ.

— Какая Груня?

— Какъ какая Груня? Бабушкина Груня, которую дядя Ни-

колай изъ окна вытащилъ... Я шелъ сюда отъ дома, вдругъ она бѣжитъ... Я просто не узналъ ее—такая она страшная... Говоритъ: «я знаю отъ чего домъ сгорѣлъ и хочу всѣмъ господамъ сказать это. А меня, говоритъ, къ господамъ не пускаютъ». И стала просить меня, чтобы ее впустить. Вотъ она тутъ за дверью—можно ей войти?

Но Груня уже не дожидалась, она распахнула дверь и остановилась у порога. Она дѣйствительно была неузнаваема. Вся растерзанная, съ всклокоченными волосами, блѣдная, почти зеленая какая-то, съ горящими глазами.

— Что-же ты стала, Грунька?—строго обратилась къ ней Катерина Михайловна.—Чего стоишь, дрянь? Благодари вотъ барина Николая Владиміровича... Спасая тебя самъ чуть не умеръ... стоишь-ли ты этого, негодница?

Груня, казалось, не слышала ея словъ. Она сдѣлала нѣсколько шаговъ впередъ, остановилась и глухимъ голосомъ прошептала:

— Я сожгла домъ...

— Что? Какъ?—послышалось со всѣхъ сторонъ.

Всѣ обступили ее... Катерина Михайловна хотѣла что-то сказать, раскрыла ротъ, да такъ и осталась.

— Я сожгла домъ!..—уже громче повторила Груня.

— Да она, бѣдняжка, и то сошла съ ума?—замѣтилъ Борисъ Сергѣевичъ.

Груня между тѣмъ продолжала:

— Видитъ Богъ, я говорю правду—я сожгла домъ... сожгла... Теперь убейте меня... убейте!..

Она задрожала всѣмъ тѣломъ и упала на колѣни.

Володя кинулся къ ней, глядѣлъ на нее испуганными глазами. Нѣсколько секундъ продолжалось общее молчаніе, всѣ были поражены. Борисъ Сергѣевичъ пришелъ въ себя первый. Онъ подошелъ къ Грунѣ, поднялъ ее съ колѣнъ и, держа ее за дрожащую, холодную руку, спросилъ:

— Если ты сожгла домъ, такъ скажи,—какъ это сдѣлала?..

И она, стуча зубами и останавливаясь, чтобы перевести дыханіе, все подробно разсказала.

— Зачѣмъ-же ты подожгла?—спросилъ Борисъ Сергѣевичъ.

— Для того, чтобы сжечь барыню Катерину Михайловну.

Володя громко рыдалъ, закрывъ лицо руками. Невольный ужасъ изображался на всѣхъ лицахъ. Катерина Михайловна рванулась впередъ, взвизгнула,—еще одинъ мигъ и, кажется, она задушила-бы своими руками Груню. Но Борисъ Сергѣевичъ заслонилъ собою дѣвочку.

— Успокойся, Катринъ, успокойся,—проговорилъ онъ:—сядь...

Онъ почти силою взялъ ее за руки, подвелъ къ креслу и усадилъ

— Что-же это такое?—металась она.—Да, вѣдь, это дьяволъ! Каково! это она лежала подъ кроватью! Я заснула... она меня сонную подожгла!.. Что-же это, дьяволъ... да ее казнить... сейчасъ-же на висѣлицу!.. Свяжите ее скорѣе... посадите на цѣпь... Она взбѣсилась, сейчасъ начнетъ на всѣхъ кидаться... вотъ змѣеныша пригрѣла!..

И Катерина Михайловна, представивъ себѣ снова уже совсѣмъ ясно опасность, которой подвергалась, истерически зарыдала.

Дѣти подняли громкій плачъ.

— Боже мой! — проговорила Наташа и закрыла лицо руками.

Мари съ удивленіемъ разглядывала Груню. Она теперь только въ первый разъ обратила на нее вниманіе; до этого дня она ее не замѣчала.

Борисъ Сергѣевичъ и Сергѣй взяли дѣвочку и увели ее изъ павильона. Она послушно шла за ними, продолжая дрожать всѣмъ тѣломъ. Они отвели ее подальше, сѣли на скамью и, продолжая держать ее за руки, стали разспрашивать.

Но теперь она говорила съ трудомъ, на нѣкоторые вопросы ихъ она просто молчала. Однако, все-же изъ немногихъ словъ ея они поняли въ чемъ дѣло.

— Ахъ, maman!—невольно вырвалось у Сергѣя.

И весь красный, смущенный, онъ печально отвернулся въ сторону, будто стыдно ему было взглянуть на дядю.

— Но что-же намъ теперь съ нею дѣлать?—наконецъ, проговорилъ онъ.

— Я ее возьму,—сказалъ Борисъ Сергѣевичъ и прибавилъ по-французски.—Конечно, на нее нельзя смотрѣть только какъ на преступницу. Ты видишь—она уже наказана... Это измученная, больная дѣвочка, и прежде всего надо постараться ее вылѣчить... Я берусь за нее.

— Хорошо, дядя. Конечно... Но maman, вѣдь, она будетъ требовать...

— Я и это устрою...

Черезъ часъ всѣ уже уѣхали въ Горбатовское. Николая перевозили всю дорогу шагомъ въ покойномъ дормезѣ. За господами потянулось нѣсколько возовъ съ вещами, нѣсколько человѣкъ необходимой прислуги.

Знаменское опустѣло. Народъ мало-по-малу сталъ расходиться съ пожарища. Но до самой ночи шли стоны и плачъ въ службахъ, которыхъ, по счастью, не коснулось пламя, куда теперь перебралась вся дворня, обитавшая въ большомъ домѣ.

Тутъ-же находилась и Маланья. Она лежала, стонала и бредила. Несмотря на всѣ усилія, она такъ-таки и не вытащила

своего сундучка изъ коморки, и сгорѣло все ея добро, всѣ деньги, скопленныя правдами и неправдами за цѣлую жизнь.

На нее жалко было смотрѣть. Но никто ее не жалѣлъ, и къ тому-же у всякаго была своя потеря.

XXIV.

На новосельѣ.

Прошла недѣля, и промелькнула она какъ сонъ, такъ что никто ея не замѣтилъ.

А между тѣмъ, въ эту недѣлю уже совсѣмъ установился новый образъ жизни, оказавшійся по душѣ всѣмъ, а главнымъ образомъ, хозяину Горбатовскаго. Теперь уже его не поражала пустынная и печальная тишина огромнаго дома, ему некуда рваться изъ этой тишины, вдобавокъ еще наполненной порою мучительными воспоминаніями. Теперь эти воспоминанія отходили, забывались, уступали мѣсто шумной дѣйствительности.

Всѣ новые обитатели Горбатовскаго удобно устроились, гораздо удобнѣе, чѣмъ въ Знаменскомъ.

Лѣто было изъ рѣдкихъ. Погода все время стояла прекрасная, и дѣти наслаждались въ цвѣтникахъ и паркѣ.

Катерина Михайловна помѣстилась въ своихъ прежнихъ комнатахъ, и ей казалось даже, что вернулось прежнее время, а о прежнихъ, давно схороненныхъ людяхъ она не думала и не горевала, она думала только о будущемъ.

Николай совсѣмъ почти поправился. Онъ уже выходилъ къ обѣду и завтраку, гулялъ въ паркѣ. Почти каждый день пріѣзжалъ кто-нибудь изъ сосѣдей выразить сочувствіе и въ то-же время удовлетворить своему любопытству.

Но стоило пристально вглядѣться во всѣхъ—и мало-по-малу начинало оказываться, что далеко не всѣ довольны и счастливы, что подъ этимъ правильнымъ и почти даже гармоничнымъ строемъ жизни, среди этой широкой семейной обстановки закипаютъ какія-то темныя силы, идетъ какая-то глухая борьба.

Довольныхъ дѣйствительно оказывалось немного: только Катерина Михайловна, да французъ Рибо, очень любившій всякую перемѣну, да дѣти, за исключеніемъ, однако, Володи. Володю сильно потрясла исторія съ Груней. Онъ по цѣлымъ днямъ думалъ о «преступницѣ». Сначала онъ пришелъ было въ негодованіе, почувствовалъ къ ней ужасъ и отвращеніе. Но затѣмъ, мало-по-малу, все понялъ и простилъ ее, и сталъ жалѣть.

Борису Сергѣевичу по поводу Груни пришлось выдержать непріятное объясненіе съ Катериной Михайловной, которая на-

стаивала на томъ, чтобы этого «дьяѣола» наказать примѣрнымъ образомъ и затѣмъ отправить въ тюрьму. Борисъ Сергѣевичъ требовалъ, чтобы дѣло это было остановлено и просилъ Катерину Михайловну продать или подарить ему Груню. Она выходила изъ себя.

— Какъ? Оставить безнаказаннымъ этого змѣеныша? Да что-же это такое будетъ? Вѣдь, всѣ эти хамы (она—бывшая изящная парижанка, еще такъ недавно думавшая, что совсѣмъ разучилась говорить по-русски,—теперь какъ-будто даже съ особенною любовью употребляла это слово)—всѣ эти хамы насъ рѣзать станутъ... Да, что мудренаго! и ужъ особенно, если ихъ освободятъ... тогда намъ всѣмъ останется только ложиться и умирать... И ты же, Борисъ, потакаешь! Опомнись, мой другъ... какой примѣръ!.. Вѣдь, у тебя у самого тысячи крестьянъ... Нельзя, нельзя, лучше и не проси меня!..

Но онъ сталъ на своемъ, и такъ какъ она находила, что раздражать его опасно, что, напротивъ, теперь надо всячески потакать ему и съ нимъ ладить, то, въ концѣ концовъ, несмотря на все свое бѣшенство и кипѣвшую въ ней досаду, подарила ему Груню.

— Что-же ты хочешь съ нею дѣлать?—спросила только она.—Неужто оставишь на свободѣ, здѣсь въ домѣ?

— Нѣтъ, этого я не сдѣлаю, ее здѣсь никто не увидитъ.

И Груня будто пропала. Даже Володя, несмотря на всѣ свои просьбы, не могъ добиться отъ дѣдушки гдѣ она, что сталось съ нею? Дѣдушка сказалъ ему только, чтобы онъ былъ спокоенъ, что она жива, и что онъ будетъ о ней заботиться.

Между тѣмъ Груня была въ Горбатовскомъ. Въ глубинѣ парка давно уже былъ построенъ маленькій охотничій домикъ, и вотъ тамъ-то теперь жила Груня подъ присмотромъ доброй старушки, изъ старыхъ горбатовскихъ дворовыхъ.

Борисъ Сергѣевичъ почти ежедневно навѣщалъ дѣвочку, подолгу бесѣдовалъ съ нею и каждый разъ убѣждался, что она вовсе не испорчена, а просто измученное и очень больное созданіе. Навѣщалъ ее и Степанъ, который хотя на словахъ и ужасался ея звѣрскому поступку, но въ глубинѣ души видѣлъ въ немъ перстъ Божій.

«И по дѣломъ тебѣ,—думалъ онъ про Катерину Михайловну:—вотъ только Господь Богъ черезчуръ уже долготерпѣливъ, однимъ страхомъ ты отдѣлалась».

Когда ему приходилось встрѣчаться съ Катериной Михайловной, онъ пристально и многозначительно на нее взглядывалъ, какъ бы желая прочесть въ душѣ ея.

«Неужто ты не опамятовалась, сударыня, неужто не уви-

дала перста Божьяго, среди огня, въ предсмертномъ дыханіи?.. Кто былъ въ огнѣ? Кто былъ на волоскѣ отъ смерти? Ты, сударыня, и сынокъ твой!..»—мысленно говорилъ ей старикъ.

Этого сынка, Николая Владиміровича, Степанъ не долюбливалъ, несмотря даже на то, что Николай былъ съ нимъ гораздо болѣе внимателенъ и ласковъ, чѣмъ Сергѣй. Но если Борисъ Сергѣевичъ легко освободился отъ своего предубѣжденія, то его вѣрный слуга и спутникъ былъ на этотъ счетъ крѣпче, упрямѣе. Да и, наконецъ, не могъ, вѣдь, онъ видѣть въ Николаѣ то, что, съ перваго-же разговора, ясно въ немъ стало Борису Сергѣевичу.

Азіатскія лѣкарства, такъ хорошо подѣйствовавшія на Наташу, давно уже потеряли свою силу, и Борисъ Сергѣевичъ замѣчалъ, что его прелестный другъ, какъ ни храбрится, какъ ни старается казаться веселой, а въ сущности страдаетъ.

«Что-же съ нею? Нужно узнать, нужно узнать во что бы то ни стало!..»—думалъ онъ.

Но это оказывалось трудно. Наташа рѣшительно не посвящала его въ свои тайны и увѣряла, что нѣтъ у нея никакого горя, ничего особеннаго.

Наконецъ, Борисъ Сергѣевичъ увидѣлъ, что самое лучшее не добиваться, не приставать къ ней, оставить ее въ покоѣ и только слѣдить. И онъ слѣдилъ, и онъ мало-по-малу нападалъ на причину ея болѣзни и замѣчалъ признаки той-же болѣзни и въ Николаѣ.

«Неужели? Нѣтъ, нѣтъ—этого быть не можетъ!..» повторялъ онъ и старался отогнать отъ себя смущавшія мысли.

Но каждый новый день наводилъ его на нихъ снова. Онъ хорошо помнилъ ужасъ, охватившій Наташу, когда Володя прибѣжалъ въ паркъ и объявилъ о пріѣздѣ Николая. Онъ съ перваго-же дня замѣтилъ, что они стараются избѣгать другъ друга, относятся другъ къ другу какъ враги. Да, легко можно было подумать, что они ненавидятъ другъ друга. А между тѣмъ Наташѣ нѣсколько разъ пришлось говорить съ дядей о Николаѣ, и каждый разъ она относилась къ нему съ горячей похвалою. То-же самое дѣлалъ и Николай въ разговорахъ о ней.

Наконецъ, Борисъ Сергѣевичъ видѣлъ, что сталось съ Наташей, когда принесли въ павильонъ Николая, какъ она ухаживала за нимъ въ первый день до пріѣзда доктора. Она ухаживала внимательнѣе, нѣжнѣе, горячѣе, чѣмъ Мари—и это бросалось въ глаза. А теперь опять они избѣгаютъ встрѣчъ, опять не глядятъ, не говорятъ между собою.

Старикъ, еще такъ недавно одинокій, непричастный ничьей радости, ничьему горю, теперь всей душой ушелъ въ чужую жизнь. Эта

жизнь сулила ему радости, а между тѣмъ на первыхъ же порахъ стала доставлять горе. Но и горе это оживляло его, разогрѣвало его сердце.

Думая теперь исключительно почти о Наташѣ и Николаѣ, Борисъ Сергѣевичъ не могъ слѣдить за Сергѣемъ и за Мари. Они тоже какъ будто нѣсколько измѣнились; Сергѣй рѣже исчезалъ изъ дому, почти совсѣмъ прекратилъ свои визиты къ сосѣдямъ. Какъ-то особенно бережно и осторожно относился онъ къ Наташѣ. И, странное дѣло,—просто почти смущался и уходилъ, когда заставалъ жену въ разговорѣ съ Лили. Но вмѣстѣ съ этимъ онъ не прекратилъ своихъ заигрываній съ хорошенькой гувернанткой и иногда по нѣскольку разъ въ день ухитрялся съ нею встрѣтиться наединѣ, или въ паркѣ, или въ какой-нибудь изъ дальнихъ комнатъ дома.

Мари какъ будто вышла изъ своей апатіи, въ ней замѣчались признаки волненія и раздраженія. Она была, очевидно, не въ ладахъ съ мужемъ. Она ради новоселья почти каждый день теперь дѣлала ему сцены, даже несмотря на то, что состояніе его здоровья требовало спокойствія.

Но дѣло въ томъ, что она вовсе не сознавала, что лишаетъ его спокойствія и раздражаетъ. Она просто вздумала теперь особенно сантиментальничать, приставать къ нему съ нѣжностями и, встрѣчая съ его стороны холодность, начинала плакать, упрекать его. Затѣмъ въ теченіе цѣлаго дня на него сердилась.

Наконецъ, онъ не выдержалъ, рѣшительно объявилъ ей, чтобы она оставила его въ покоѣ, что онъ боленъ, очень раздраженъ и что съ ея стороны безсовѣстно мучить его, когда онъ еще не оправился отъ своего несчастнаго паденія.

— Господи! это я тебя мучаю!—воскликнула Мари, поднимая глаза кверху и всплеснувъ руками.—Это называется мученіемъ!..

— Конечно, а то что-же?.. Я прошу тебя объ одномъ: оставить меня въ покоѣ.

— Да я тебя не трогаю... Нѣтъ, ты скажи лучше всю правду, признайся мнѣ, что ты меня разлюбилъ совсѣмъ, что я тебѣ не нужна...

«Не нужна!—мучительно подумалъ онъ.—Вѣдь, все это такъ давно правда, такъ давно она должна знать это, что-же она только теперь спохватилась!».

— Да я-то, я-то зачѣмъ тебѣ нуженъ?—печально усмѣхнувшись, проговорилъ онъ.—Тебѣ нуженъ хорошій обѣдъ, спокойный сонъ, французскій романъ... Все это у тебя есть—чего-же тебѣ еще? Я уже давно примирился съ мыслью, что между нами нѣтъ ничего общаго. Что-же теперь съ тобою дѣлается? Зачѣмъ ты поднимаешь старую пыль?..

— Пыль!—повторила она.—Какія у тебя все слова!.. Я знаю, ты меня считаешь глупой, но, вѣдь, люди бываютъ разные, и я не виновата, что не создана по твоей мѣркѣ. Ты неблагодаренъ, Николай, ты никогда не умѣлъ понять меня, никогда не могъ оцѣнить моей любви... Я люблю тебя какъ умѣю... Я всегда тебѣ была хорошей женою... Можетъ быть, я и была передъ тобою въ чемъ-нибудь виновата, раздражала, любила тебя не такъ, какъ ты хотѣлъ... Но, вѣдь, и ты никогда не умѣлъ за меня взяться... Ну, что-жъ, научи меня какъ тебя любить, чтобы ты былъ доволенъ!...

— Этому не научишь!—мрачно проговорилъ онъ:—и главное, зачѣмъ-же теперь? Вѣдь, мы были спокойны, вѣдь, каждый жилъ по своему—что-же это на тебя нашло?

— Нашло!

Она печально взглянула на него, вынула платокъ и вытерла глаза, на которые набѣгали слезы. Онъ вышелъ отъ нея полный тоски и раздраженія.

«Что-же, наконецъ, съ нею?—думалъ онъ.—И именно теперь, теперь! Что-жъ, можетъ быть, она и права, можетъ быть, она искренно говоритъ, что меня любитъ... только по своему... и я ничего не понимаю въ этой любви... и она не нужна мнѣ, такая любовь!»..

«А было, вѣдь, время,—вспоминалось ему,—когда я Богъ знаетъ что далъ-бы, чтобъ только услышать отъ нея тѣ слова, которыя она теперь говорила... Но она тогда молчала, она тогда не требовала, чтобы я училъ ее любить меня... Я тогда самъ пробовалъ учить ее, и она отказалась отъ этого ученья...»

Онъ думалъ такъ и въ то-же время какой-то другой внутренній голосъ поднимался въ немъ и говорилъ ему: «Но, вѣдь, она твоя жена, она имѣетъ на тебя права—вернись къ ней, успокой ее, приласкай, вглядись въ ея сердце, можетъ быть, и найдешь тамъ что-нибудь для себя... вернись!»

И онъ почти безсознательно къ ней вернулся. Онъ отворилъ дверь и увидѣлъ Мари на томъ-же мѣстѣ, гдѣ ее и оставилъ, на широкой низенькой кушеткѣ. Но онъ оставилъ ее взволнованной и плачущей. А теперь, чрезъ нѣсколько минутъ, она спокойно лежала съ закрытыми глазами.

Онъ подошелъ, прошепталъ:

— Мари!

Она ничего не отвѣтила. Онъ прислушался—она мѣрно, спокойно дышала—она сладко спала.

Онъ улыбнулся, взглянулъ на нее холоднымъ, почти злымъ взглядомъ и снова вышелъ изъ комнаты.

XXV.

Кодратъ Кузьмичъ.

Кромѣ заботъ и тревогъ, вызванныхъ новою жизнью, въ которую погрузился Борисъ Сергѣевичъ, у него были и иныя заботы. Теперь онъ уже разобрался въ своихъ дѣлахъ, выяснилъ себѣ свое огромное и сложное хозяйство, убѣдился въ томъ, что въ теченіе долгихъ лѣтъ его изгнанія его буквально грабили со всѣхъ сторонъ. Но несмотря на это, состояніе его, увеличенное состояніемъ его жены, которое она наслѣдовала отъ княгини Маратовой—было громадно. Въ его рукахъ, кромѣ обширныхъ помѣстій въ различныхъ мѣстахъ Россіи, находились и большія деньги. Эти деньги были помѣщены въ ломбардъ, проценты никогда не трогались, и теперь капиталы удвоились.

Борисъ Сергѣевичъ, наконецъ, видѣлъ возможность немедленнаго осуществленія своей давнишней мечты—отпустить на волю нѣсколько тысячъ крестьянскихъ душъ, щедро надѣлить ихъ землею, устроить ихъ бытъ. Это была задача, которой онъ рѣшился посвятить остатокъ своей жизни. Теперь все было готово, ему нужно было только съѣздить въ Москву, въ крайнемъ случаѣ, въ Петербургъ.

Кромѣ того у него была еще и иная цѣль поѣздки въ Москву.

Дѣло въ томъ, что его покойный братъ Владиміръ, отправляясь въ кампанію, гдѣ и былъ убитъ, и предчувствуя свою смерть, которой онъ желалъ, за которою шелъ, послѣ долгихъ лѣтъ молчанія написалъ брату въ Сибирь письмо.

Это письмо снова соединило братьевъ, разъединенныхъ, казалось, навѣки. Въ немъ Владиміръ, такимъ тономъ, какого никогда отъ него не слыхалъ Борисъ, просилъ прощенія у брата.

Онъ писалъ:

«Мою вину передъ тобою искупить невозможно, но насколько человѣкъ могъ искупить ее,—я ее искупилъ. Я знаю, что мы никогда не встрѣтимся съ тобою, я увѣренъ, что меня скоро не будетъ, это мои послѣднія слова къ тебѣ, и ты долженъ имъ вѣрить. Знай, Борисъ, что всю жизнь, съ тѣхъ поръ какъ мы разстались, я почти ни на минуту не могъ забыться, всегда было передо мною твое лицо, и въ немъ я читалъ упрекъ, молчаливый и страшный. Я всю жизнь боролся съ тобою и не могъ побороть тебя. И вотъ, наконецъ, ты меня совсѣмъ осилилъ.

«У меня не было послѣ нашей разлуки ни минуты счастья, да ужъ что говорить о счастьѣ, не было спокойствія, вся жизнь прошла тягостью. Если-бы ты зналъ, какъ я ненавижу себя, какъ

я презираю себя, какъ мнѣ тошно жить... и я не могу больше, и я иду въ походъ для того, чтобы умереть; послѣ такой жизни нужно хоть умереть честно. Прости меня, братъ! Ты не могъ измѣниться, ты все тотъ-же, и я знаю, что ты простишь меня.

«Но я обращаюсь къ тебѣ еще и съ другою, предсмертной просьбой. Давно, еще тогда, когда ты былъ за границей, почти одновременно съ моимъ Сергѣемъ, у меня родился другой сынъ. Теперь, послѣ долгихъ лѣтъ, вспоминая всю жизнь, я могу сказать, что если любилъ какую-нибудь женщину, то единственно мать этого ребенка, хотя она и не отличалась ни особенной красотой, ни умомъ, ни блескомъ. Она не была изъ нашего общества, она была простая дѣвушка, ее звали Александрой Николаевной Степановой, сынъ мой былъ названъ Петромъ...

«Узнавъ истину, то-есть, что я женился и скрылъ отъ нея это, наконецъ, вѣроятно, понявъ меня и убѣдясь, что я не стою ея любви (видишь, какъ я могу говорить теперь)—Саша исчезла изъ Петербурга. Я долгіе годы искалъ ее и не могъ найти—не знаю, жива-ли она, живъ-ли ребенокъ? Не сомнѣваюсь, что ты рано или поздно, быть можетъ, даже очень скоро вернешься въ Россію; прошу тебя, братъ, постарайся отыскать ее и постарайся быть полезнымъ этому мальчику. Можетъ быть, ты будешь счастливѣе меня въ твоихъ поискахъ—вотъ моя просьба...»

И Борисъ Сергѣевичъ, конечно, исполнилъ обѣ просьбы брата. Онъ простилъ его, примирился съ его памятью и первымъ-же дѣломъ, по пріѣздѣ своемъ въ Россію, началъ поиски.

Онъ еще въ Сибири зналъ объ одномъ дѣльцѣ, жившемъ въ Москвѣ. И остановясь въ Москвѣ, проѣздомъ въ Горбатовское, отыскалъ его.

Дѣлецъ этотъ былъ нѣкто Кодратъ Кузьмичъ Прыгуновъ. Онъ происходилъ изъ когда-то богатаго, но затѣмъ обѣднѣвшаго купеческаго рода, учился сначала дома, на мѣдныя деньги, затѣмъ почувствовалъ, какъ самъ говорилъ всегда, «омерзеніе къ коммерціи и влеченіе къ наукамъ». Онъ сталъ прилежно заниматься этими науками съ помощью знакомаго букиниста. Затѣмъ черезъ того-же букиниста онъ познакомился съ однимъ изъ профессоровъ московскаго университета и понравился ему. Профессоръ обласкалъ мрачно глядѣвшаго, неказистаго, но, очевидно, способного мальчика, занялся имъ, и кончилось тѣмъ, что Кодратъ Прыгуновъ поступилъ въ число студентовъ университета и кончилъ курсъ.

Впрочемъ, ожиданія профессора не сбылись—онъ воображалъ, что изъ Кодрата выйдетъ ученый, который впослѣдствіи и самъ займетъ университетскую каѳедру—ничего такого не случилось.

Несмотря на любовь къ наукамъ и большое прилежаніе, Кодратъ не былъ рожденъ ученымъ. Сдавъ свои выпускные экзамены, онъ пришелъ къ тому убѣжденію, что учился довольно и что пора начать жить съ помощью полученнаго образованія.

Онъ поступилъ на службу въ сенатъ и сдѣлался тамъ однимъ изъ самыхъ ревностныхъ чиновниковъ. Но протекціи у него никакой не было, изъ себя онъ не былъ, какъ уже сказано, казистъ, видъ имѣлъ угрюмый, къ начальству подлаживаться не умѣлъ, а потому по службѣ далеко не пошелъ. Его знали какъ работника, наваливали на него всегда множество дѣла. Онъ исполнялъ возложенныя на него порученія аккуратно, работалъ цѣлый день. До тонкости изучилъ онъ весь служебный механизмъ, все производство дѣлъ, почти наизусть зналъ каждую статью закона.

Онъ видѣлъ, какъ его младшіе товарищи, несравненно менѣе его знавшіе, хуже подготовленные, смотрѣвшіе на службу не какъ на цѣль, а какъ на средство, пользовавшіеся каждымъ случаемъ, чтобы полѣниться,—все-же отлично устроивались. Они получали награды, повышенія, шли далеко по службѣ, а онъ оставался все на одномъ и томъ-же мѣстѣ.

Когда онъ заикался о томъ, что пора бы и его повысить—начальство каждый разъ начинало съ нимъ любезничать, давало ему или маленькую прибавочку къ жалованью, или маленькую денежную награду, прося потерпѣть. И онъ успокоивался, продолжалъ ждать и ничего не могъ дождаться.

Дѣло въ томъ, что онъ нуженъ былъ на мѣстѣ, которое занималъ. Начальство отлично знало, что останется безъ него какъ безъ рукъ.

— Да и чего вамъ, почтеннѣйшій Кодратъ Кузьмичъ,—говорили ему:—отъ добра добра не ищутъ... Вамъ тепло, хорошо, а вы все недовольны!

Тепло!

Вотъ въ этомъ-то и была трагическая сторона жизни Кодрата Кузьмича Прыгунова. Мѣсто, занимаемое имъ, было незначительно, и содержаніе получалъ онъ небольшое, но это мѣсто считалось «теплымъ». Предмѣстникъ Прыгунова всю жизнь не сходилъ съ этого мѣста и, выйдя съ него въ отставку, купилъ въ Москвѣ нѣсколько домовъ, купилъ изрядную подмосковную и зажилъ большимъ бариномъ.

И начальство, и товарищи Кодрата Кузьмича были убѣждены, что и онъ слѣдуетъ по стопамъ своего предмѣстника, что у него уже сколочены большія деньги. И если онъ въ нихъ не признается, если онъ имѣетъ видъ бѣдняка и расчитываетъ гроши, то это одно съ его стороны притворство и скряжниче-

ство. Черезъ его руки проходятъ большія дѣла и много, много кой-чего пристаетъ къ рукамъ—иначе быть не можетъ...

Репутація человѣка, сидящаго на «тепломъ» мѣстѣ и хорошо грѣющагося, съ каждымъ годомъ все болѣе и болѣе упрочивалась за Кодратомъ Кузьмичемъ, и вмѣстѣ съ тѣмъ упрочивалась и всеобщее убѣжденіе въ томъ, что онъ скряга, что онъ хитрецъ и комедіантъ.

Въ первые же годы своей службы Кодратъ Кузьмичъ женился, взялъ за женою маленькія деньги, построилъ на нихъ домикъ возлѣ Зачатѣевскаго монастыря и сталъ ежегодно приживать дѣтей. Случалось, онъ приходилъ на службу озабоченный и то у одного, то у другого товарища просилъ взаймы деньги. Просилъ онъ небольшія суммы и всегда, въ день полученія жалованья, аккуратно расплачивался. Ему давали, но давали со смѣхомъ, съ шутками, и на этомъ-то обстоятельствѣ, главнымъ образомъ, заждилась его репутація хитреца и комедіанта.

— А Кодратъ-то нашъ опять очки втираетъ!—говорили сенатскіе чиновники:— опять двадцатью пятью рублями побирается!.. Вотъ чудакъ! И кого это онъ провести думаетъ, будто неизвѣстно, что на прошлой недѣлѣ у него Ивановское дѣло въ рукахъ было... такъ тутъ не двадцатью пятью рублями пахнетъ, тутъ онъ не одну тысячу небось въ ломбардъ свезъ... И ужъ скряга же, прости Господи! хоть бы разъ послѣ хорошаго дѣльца позвалъ товарищей, да угостилъ какъ слѣдуетъ... Жила-человѣкъ, кремень!..

И Кодратъ Кузьмичъ долженъ былъ нести свою установившуюся репутацію, долженъ былъ выслушивать намеки отъ товарищей и начальства, да не только намеки, а просто самыя откровенныя увѣренія въ томъ, что онъ беретъ большія взятки, что у него денегъ куры не клюютъ.

И онъ выслушивалъ, онъ даже не пробовалъ разувѣрять, потому что зналъ, что это безполезно. Онъ ни разу не запачкалъ руки своей взяткой! Если онъ хлопоталъ о какомъ-нибудь дѣлѣ, то единственно по убѣжденію въ томъ, что дѣло это чистое. Если ошибался въ этомъ, то ошибался искренно—его самого подводили.

Когда ему предлагали взятку—онъ усовѣщевалъ предлагавшаго ее. Но случалось и такъ: предлагавшій взятку рѣшительно не могъ повѣрить чистотѣ чиновничьей совѣсти и приходилъ къ убѣжденію, что вѣрно предложилъ мало, что чиновникъ хотѣлъ большаго. И вотъ, обдумавъ все, онъ возвращался и предлагалъ ~~это~~ большее.

Тогда Кодратъ Кузьмичъ выходилъ изъ себя.

— Да что-же это, въ самомъ дѣлѣ, такое!—кричалъ онъ.

Ему хотѣлось доказать этому невѣрящему въ его совѣсть человѣку, что стыдно такъ обижать. Онъ принимался горячо за его дѣло, сидѣлъ надъ нимъ, хлопоталъ, иной разъ ночей не спалъ. Дѣло устроивалось, истецъ оставался въ изумленіи; но никогда не приходило ему въ голову разсказать о томъ, что вотъ де онъ на какого честнаго чиновника напалъ.

Напротивъ, когда знакомые говорили ему:

— А небось много вы потратили на ваше дѣло, небось «крапивное сѣмя» (т. е. чиновники) повысосали у васъ изъ кармана?

Онъ обыкновенно отвѣчалъ:

— Да, таки повысосали!

Если-же, несмотря на все желаніе, Кодратъ Кузьмичъ не могъ «провести» дѣла, или если не рѣшался на это, убѣдясь въ неправотѣ его, тогда истецъ объявлялъ, что вотъ, дескать, провалилось дѣло—и все по винѣ этого ненасытнаго Прыгунова.

«Давалъ, молъ, я ему, много давалъ, да все ему мало, аспиду,—большаго захотѣлось!..»

Или:

«Противная сторона упредила: всыпала этому Прыгунову—онъ ихъ и вытянулъ...»

Такъ и жилъ Кодратъ Кузьмичъ взяточникомъ по всей Москвѣ.

— Что-жъ, такова, видно, моя судьба, — думалъ онъ:— крестъ это, посланный мнѣ Богомъ, и долженъ я нести его».

И Кодратъ Кузьмичъ несъ этотъ крестъ на широкой своей спинѣ, и смирялся духомъ подъ этой тяжестью. Съ каждымъ годомъ становился онъ все набожнѣе и набожнѣе, въ свободное отъ служебныхъ занятій время читалъ душеспасительныя книги, не пропускалъ почти ни одной службы въ своей приходской церкви, раньше всѣхъ приходилъ, позже всѣхъ уходилъ. Его можно было видѣть всегда на одномъ и томъ-же мѣстѣ, возлѣ клироса, гдѣ онъ подпѣвалъ дьячку и пѣвчимъ. Наконецъ, онъ сдѣлался какъ-бы неизбѣжной принадлежностью церкви, получилъ въ ней значеніе, выбранъ былъ, по всеобщему желанію прихожанъ, церковнымъ старостой. И эта обязанность стала его главнымъ удовольствіемъ.

Прослужилъ Кодратъ Кузьмичъ въ сенатѣ болѣе двадцати пяти лѣтъ и такъ-таки не добился повышенія. Впрочемъ, онъ достигъ чина коллежскаго совѣтника, имѣлъ Анну на шеѣ и, «за двадцатипятилѣтнюю безпорочную службу», начальство, убѣжденное, что онъ великій взяточникъ, украсило его Владиміромъ четвертой степени.

Къ этому времени открылась служебная ваканція, которую,

по всѣмъ правамъ, долженъ былъ, наконецъ, занять Кодратъ Кузьмичъ. Въ послѣдній разъ рѣшился онъ о себѣ напомнить и снова, какъ и всегда, его просьба осталась безъ послѣдствій. На открывшееся мѣсто назначили молодого, ничѣмъ не зарекомендовавшаго себя человѣка. Но за этого молодого человѣка просило вліятельное лицо, которому отказать было невозможно.

Кодрата Кузьмича стали опять обнадеживать тѣмъ, что вотъ скоро еще будетъ ваканція—и ужъ онъ навѣрное тогда ее получитъ.

Но какъ ни велико было его терпѣніе—все-же этому терпѣнію пришелъ конецъ. Онъ подалъ въ отставку. Начальство изумилось и даже нѣсколько струхнуло. Какъ оно будетъ обходиться безъ Прыгунова? Кѣмъ замѣстить его? Нельзя его выпустить!

Но онъ уперся на своемъ: въ отставку, да въ отставку!

Что-жъ, видно, разжились, любезнѣйшій?—въ сердцахъ сказали ему.

Разжился, такъ точно!—мрачно отвѣтилъ онъ.

Дѣлать было нечего—его выпустили съ грошевой пенсіей.

Въ первое время сильно тосковалъ Кодратъ Кузьмичъ по своей службѣ, съ кот рою свыкся. Но очень-то тосковать было некогда—нужно было содержать семью, нужно было работать.

Работа нашлась: хотя и взяточникъ, и такой-сякой, но Прыгуновъ былъ извѣстенъ, какъ хорошій дѣлецъ, знатокъ законовъ—и къ нему стали обращаться со всякими дѣлами, самыми разнообразными по содержанію. Онъ отлично обдѣлывалъ эти дѣла, отлично для тѣхъ, кто поручалъ ихъ ему; но не для себя, такъ какъ совсѣмъ не умѣлъ запрашивать, торговаться, неисправимо вѣрилъ въ людскую честность и очень часто не могъ даже добиться и тѣхъ небольшихъ денегъ, какія себѣ выговаривалъ. По окончаніи дѣла очень многіе оставались его должниками и не платили ему даже процентовъ...

Борисъ Сергѣевичъ, получивъ адресъ Прыгунова, отправился къ нему самъ; безъ труда нашелъ онъ маленькій деревянный домикъ въ четыре окошка, сѣренькій, съ зелеными ставнями, съ покосившимися воротами, стоявшими на запорѣ. Борисъ Сергѣевичъ вышелъ изъ экипажа, попробовалъ отворить калитку, но и калитка заперта.

Тогда онъ разглядѣлъ желѣзное кольцо, дернулъ его,—раздался звонокъ. Никто не показывался. Прошло нѣсколько минутъ; Борисъ Сергѣевичъ опять дернулъ. Наконецъ, за воротами послышалсе сильнѣйшій собачій лай, затѣмъ чьи-то шаги, кто-то подошелъ изнутри къ калиткѣ. Женскій голосъ крикнулъ:

— Кто тутъ?

— Господинъ Прыгуновъ здѣсь живетъ?

— Да вамъ кого?

— Да его-же, господина Прыгунова... онъ дома?

— Да вы кто-же будете?

«Вотъ наказаніе!»—подумалъ Борисъ Сергѣевичъ.

— Господинъ Прыгуновъ дома или нѣтъ?—не безъ раздраженія спросилъ онъ.

— Дома-то, дома...

— Такъ отворите...

Наконецъ, калитка отворилась, и въ ней показалась довольно грязнаго и придурковатаго вида служанка. Увидя господскій экипажъ и сѣдого барина, она нѣсколько перемѣнила тонъ и проговорила:

— Пожалуйте Я вотъ сбѣгаю, скажу Кодрату Кузьмичу, они въ садикѣ.

Она пропустила Бориса Сергѣевича и заперла за нимъ калитку, а сама, подобравъ подолъ, побѣжала.

Мигомъ на Бориса Сергѣевича съ лаемъ накинулось нѣсколько собакъ, изъ которыхъ одна не особенно ласково глядѣла. Но онъ не смутился—и не съ такими собачками ему приходилось встрѣчаться въ Сибири! Онъ пристально, пристально поглядѣлъ въ глаза собакамъ, и онѣ мигомъ притихли. Двѣ стали сейчасъ-же къ нему ласкаться, а третья поджала хвостъ и съ тихимъ рычаньемъ спряталась въ конуру, находившуюся тутъ-же, у воротъ.

Борисъ Сергѣевичъ оглядѣлся. Онъ былъ среди маленькаго дворика, почти заросшаго травою. Слѣва отъ него было крылечко, ведшее въ домъ, справа сарай, изъ котораго вдругъ донеслось мычанье коровы. Между сараемъ и домомъ шелъ заборчикъ садика. На дворѣ бродили куры.

Скоро вернулась служанка и сказала:

— Пожалуйте въ гостиную, Кодратъ Кузьмичъ сейчасъ будутъ.

Борисъ Сергѣевичъ поднялся по скрипящимъ ступенькамъ крылечка. Служанка отперла дверь—онъ очутился въ маленькой и низенькой передней, все украшеніе которой состояло изъ большого ларя. Затѣмъ передъ нимъ отворилась дверь, и онъ вступилъ въ зальцу. На него пахнуло спертымъ воздухомъ. Несмотря на май мѣсяцъ, окна были заперты. По стѣнамъ стояли старые плетеные стулья, на окнахъ горшки съ цвѣтами. Низенькое фортепьяно краснаго дерева, этажерка съ нотами. Въ правомъ углу висѣла огромная икона подъ стекломъ, въ серебряной ризѣ, съ зажженой лампадой.

— Въ гостиную пожалуйте! — повторила служанка. Борисъ Сергѣевичъ прошелъ въ слѣдующую комнату. Та-же незатѣй-

ливая, бѣдная обстановка. Маленькая комната въ два окошка, на окнахъ кисейныя занавѣски, старое зеркало съ вычурнымъ подзеркальникомъ; на немъ дешевенькіе часы, два букетика искусственныхъ цвѣтовъ въ вазочкахъ. Посреди комнаты, на крашеномъ вылощенномъ полу, рукодѣльный коврикъ. Диванъ съ жесткимъ сидѣньемъ, нѣсколько креселъ, стекляный шкафикъ съ чашечками, серебрянымъ молочникомъ и фарфоровыми куколками. На темныхъ дешевыхъ обояхъ двѣ-три старыхъ гравюры—вотъ и все.

Изъ сосѣдней комнаты выглянула худенькая, съ острымъ носомъ, блѣднымъ морщинистымъ лицомъ и умильно сжатыми губами, женщина. Борисъ Сергѣевичъ хотѣлъ было поклониться ей, но она уже исчезла.

Онъ сѣлъ въ кресло и ждалъ.

Ждать пришлось недолго; въ гостиную вошелъ хозяинъ. Теперь Кодратъ Кузьмичъ былъ уже совсѣмъ старикъ за шестьдесятъ лѣтъ, маленькаго роста, коренастый, съ коротко обстриженной сѣдой головою, съ упрямымъ выпуклымъ лбомъ, густыми бровями надъ маленькими, неопредѣленнаго цвѣта глазами. У него былъ широкій, какой-то четырехугольный носъ, выдающійся подбородокъ. На гладко выбритомъ, лоснящемся лицѣ двѣ-три бородавки. Однимъ словомъ, онъ былъ некрасивъ и если въ юности онъ казался букой, то теперь уже совсѣмъ имѣлъ видъ непривѣтливаго и злого старика.

На немъ былъ надѣтъ длиннополый потертый сюртукъ, его толстыя щеки подпиралъ высочайшій тугонакрахмаленный воротничекъ съ острыми, выступающими чуть-ли не до половины щекъ углами, однимъ словомъ, такъ называемый «фатермердеръ». Шея была обмотана длиннымъ чернымъ фуляромъ, въ петличкѣ сюртука красовалась Владимірская ленточка.

Кодратъ Кузьмичъ вошелъ въ гостиную спокойнымъ шагомъ, крѣпко ступая своими короткими ногами, съ изумленіемъ взглянулъ на незнакомаго гостя, вставшаго ему навстрѣчу, и проговорилъ нѣсколько глухимъ голосомъ:

— По какому дѣлу пожаловали, сударь? Чѣмъ могу служить? Прошу—присядьте...

Онъ указалъ на кресло, самъ сѣлъ въ другое, вынулъ изъ кармана большую круглую табакерку, открылъ ее, привычнымъ движеніемъ всадилъ въ обѣ ноздри щепотку табаку. Затѣмъ вытерся клѣтчатымъ фуляровымъ платкомъ и склонилъ голову, выставивъ впередъ правое ухо,—на лѣвое онъ плохо слышалъ.

Борисъ Сергѣевичъ назвалъ себя. Прыгуновъ поднялъ голову, зорко взглянулъ на гостя своими маленькими глазками и сказалъ:

— Радуюсь чести видѣть васъ, сударь; довольно наслышанъ...

и еще батюшку вашего покойнаго и матушку въ молодости видать приходилось... Только не зналъ я, что вы въ Москвѣ жительствуете, не зналъ я этого...

И онъ запнулся.

— Я изъ Сибири,—сказалъ Борисъ Сергѣевичъ:—только что пріѣхалъ...

— Такъ-съ, такъ-съ!—проговорилъ Прыгуновъ.—Чѣмъ могу служить?

— Мнѣ о васъ много говорили... Мнѣ бы хотѣлось попросить вашего совѣта и указаній по поводу одного, какъ вамъ сказать, одного, очень деликатнаго дѣла...

Кодратъ Кузьмичъ опять выставилъ впередъ правое ухо.

— Рекомендоваться и восхвалять себя не стану,—сказалъ онъ:—всякія дѣла перебывали у меня въ рукахъ. Изложите мнѣ ваше дѣло, государь мой, если я могу что — возьмусь, ежели нѣтъ, такъ прямо и заявлю вамъ... И во всякомъ разѣ, что-бы вы ни изволили мнѣ сообщить, смѣю васъ увѣрить—это останется между нами.

Онъ поднялся съ кресла, заперъ обѣ двери въ гостиную, снова набилъ себѣ носъ табакомъ, усѣлся и проговорилъ:

— Извольте излагать дѣло—я слушаю...

Борисъ Сергѣевичъ изложилъ ему дѣло.

Выслушавъ все, Прыгуновъ задумался.

— Да-съ, государь мой, съ перваго-то раза трудненько кажется, никакихъ нитей, не за что уцѣпиться... Надо будетъ подумать.

— Да вы свободны, Кодратъ Кузьмичъ?—спросилъ Борисъ Сергѣевичъ.

— Свободенъ, свободенъ...

— Я оттого спрашиваю, что полагаю—прежде всего, если вы только возьметесь за это дѣло, вамъ придется съѣздить въ Петербургъ...

— Не знаю, быть можетъ, подумаю, подумаю и отвѣтъ вамъ дамъ.

— Когда-же? Я долженъ спѣшить въ деревню...

— Да и поѣзжайте съ Богомъ. Вотъ я запишу адресъ и затѣмъ письменно буду сноситься съ вами. Столько лѣтъ лежало дѣло, такъ спѣшить-то куда?

— Значитъ, вы беретесь?

— Еще не знаю, соображу, подумаю... Отчего не попробовать! Попробовать можно, только выйдетъ-ли толкъ...

— Расходами не стѣсняйтесь,—сказалъ Борисъ Сергѣевичъ.

— Лишняго не истрачу.

— Сколько-же вамъ на первый случай оставить?

Кодратъ Кузьмичъ усмѣхнулся.

— А я почемъ знаю, государь мой! Такое дѣло—можетъ, и копѣйки не придется истратить, а можетъ, и тысячку, и другую, и третью...

— Ну, такъ вотъ возьмите и тысячку, и другую, и третью,— сказалъ Борисъ Сергѣевичъ, вынулъ портфель, отсчиталъ три тысячи и положилъ ихъ передъ Прыгуновымъ.

Кодратъ Кузьмичъ всталъ съ кресла, вышелъ въ сосѣднюю комнату, затѣмъ вернулся съ чернильницей, гусинымъ перомъ и листомъ бумаги. Онъ аккуратно пересчиталъ деньги, написалъ росписку въ ихъ полученіи и подалъ ее Борису Сергѣевичу.

— Зачѣмъ это?—сказалъ тотъ.

— А какъ-же-съ иначе: получаю деньги—выдаю росписку.

Они обо всемъ условились, и Борисъ Сергѣевичъ уѣхалъ.

XXVI.

Супруги.

Прыгуновъ, проводивъ гостя до калитки, возвратился въ гостиную и передъ столикомъ, на которомъ оставилъ три тысячи, засталъ маленькую и сухенькую, съ длиннымъ острымъ носомъ старушку, ту самую, которая выглянула изъ двери, когда въ гостиной сидѣлъ Борисъ Сергѣевичъ. Это была жена Прыгунова, Олимпіада Петровна.

Она съ изумленіемъ и въ то-же время съ видимымъ удовольствіемъ глядѣла на деньги, осторожно перебирая ихъ своими блѣдными пальцами.

— Три тысячи?—проговорила она.

— Такъ точно, Олимпіада Петровна, три тысячи!

— Что-же, это твои деньги?

— Нѣтъ, не мои...

— Такъ чего ты ихъ по столамъ валяешь!..

— А вотъ сейчасъ спрячу.

— Что это за старикъ былъ у тебя, Кодратъ Кузьмичъ?

— Ну, матушка, тебѣ это знать совсѣмъ лишнее. Былъ человѣкъ по дѣлу—и больше ничего.

Она присѣла въ кресло, взглянула на мужа и покачала головой.

— Да, вѣдь, мнѣ что, Кодратъ Кузьмичъ? Очень мнѣ нужно знать кто у тебя былъ!.. Кто-бы ни былъ—мнѣ все едино... А вотъ ты мнѣ скажи: дѣло-то это, ты взялся за него? Много-ли заработаешь?

— Не знаю, матушка, много-ли, мало-ли; ничего еще не знаю... Я не купецъ, не торговался...

Она опять покачала головою:

— То-то вотъ, не торговался! А работы небось навалилъ на себя кучу и будешь ты теперь мыкаться туда-сюда, какъ гончая какая... Эхъ, Кодратъ Кузьмичъ, всю-то жизнь свою мыкался ты, мыкался, и ни до чего-то ты на старости лѣтъ не домыкался!

— Ну, пошла!—проворчалъ, махнувъ рукою, Прыгуновъ.

И опять вынулъ онъ свою круглую табакерку, похлопалъ ее пальцемъ и сталъ набивать себѣ носъ.

А Олимпіада Петровна мѣрнымъ и грустнымъ голосомъ продолжала:

— То-то, небось не нравится, когда правду въ глаза говорятъ! Ну скажи—неправда развѣ? Ну, отвѣчай! До чего ты домыкался?.. Вѣдь, смотри—совсѣмъ старикъ сталъ, ужъ глохнуть начинаешь...

Кодратъ Кузьмичъ привскочилъ съ кресла. Жена коснулась самаго его больного мѣста. Онъ тщательно скрывалъ свою глухоту.

— Ну вотъ и лжешь! Какъ глохнуть начинаю? И не думаю... Это ты, матушка, глухая тетеря, зовешь иногда, зовешь—не дозовешься... А я слышу, все слышу!..

Она тихонько усмѣхнулась.

— Положимъ, даже что и слышишь, а все-же вонъ у тебя изъ ушей цѣлые сѣдые кусты выросли, какъ грибъ старый мхомъ обростаешь... А домъ-то вотъ совсѣмъ покосился. Рамы никуда негодны, отъ оконъ дуетъ... Вѣдь, всю-то зиму я зубами мучилась... Давно перестроить надо—анъ нечѣмъ... Теперь опять вотъ Сонюшка изъ института пріѣдетъ на лѣто, экипировать ее надобно, что тутъ подѣлаю?.. Увидала я эти деньги, ну, думаю, слава Богу—разжились... А онъ: не мои деньги! Да когда-же у тебя твои-то будутъ? Гляди ты на людей, на своихъ-же пріятелей, сенатскихъ,—у всѣхъ-то палаты, у всѣхъ-то жены да дочери нарядныя, въ своихъ каретахъ разъѣжаютъ... А мы, почитай, какъ нищіе... Дѣтей народилъ кучу...

— Матушка, помилосердуй! Да и гдѣ-же куча—старшихъ-то всѣхъ схоронили, четверо осталось...

— Четверо!—протянула она:—то-то и горе, мелюзга все! Я вотъ еле ползаю, ты грибомъ сталъ! Помремъ мы съ тобой, ихъ не пристроивши—что тогда будетъ?

— А что Богъ дастъ! Я вотъ тоже сиротой по четырнадцатому году остался, а не пропалъ, не померъ съ голоду, вышелъ въ люди...

— Нечего сказать—хорошо вышелъ!

— Да, матушка, вышелъ, вышелъ!—начиная сердиться и стуча пальцами по столу, заговорилъ Кодратъ Кузьмичъ.—А на сенатскихъ ты мнѣ не указывай. Откуда у нихъ палаты, и наряды, и кареты?

— Извѣстно откуда—со службы.

— Со службы!—презрительно протянулъ Прыгуновъ.— Отъ взятокъ, сударыня, Олимпіада Петровна, вотъ откуда!..

Она подняла на него свои выцвѣтшіе, слезящіеся глазки и опять стала качать головою.

— А много ты взялъ со своей честностью? Кого въ ней увѣришь? Да про тебя-то небось больше гораздо, чѣмъ про нихъ говорятъ... И что такое: взятки! Вѣдь, это не грабежъ, не вымогательство... Люди отъ души предлагаютъ, за дѣло!

Кодратъ Кузьмичъ вскочилъ и засеменилъ на мѣстѣ ногами, затопалъ. Лицо его съ четырехугольнымъ носомъ, съ бородавками и нависшими бровями все покраснѣло и стало страшнымъ.

— Не говори ты такъ, не гнѣви Бога, постыдись, одумайся!

Но она не испугалась мужнинаго гнѣва.

— Да обидно!—вздохнула она.—Пальцемъ на тебя показываютъ: взяточникъ, взяточникъ, а тутъ никакимъ манеромъ концовъ съ концами свести нельзя... А коли ужъ взяточникъ, такъ хоть-бы пожить всласть, а то задаромъ—обидно! И, вѣдь, всѣ-то такъ прямо и говорятъ: богачи вы, говорятъ. Иной разъ плачешь, плачешь...

— А ты не плачь, умная голова, не плачь, а смѣйся!.. Богачи такъ богачи, тѣмъ лучше. Вотъ Соня подростетъ, черезъ годъ, другой, замужъ ее пора, такъ хорошій женихъ скорѣе найдется.

— Жди, какъ-же, такъ ты кого-нибудь и надуешь! Нѣтъ, батюшка, теперь не то что прежде, теперь каждый на чистоту—сначала, молъ, покажи денежки, дай ихъ пощупать...

— Эхъ, да что мнѣ толковать съ тобою!—пробурчалъ Кодратъ Кузьмичъ совсѣмъ разстроенный, и ушелъ въ свою комнату, въ такъ называемый «кабинетъ».

Комнатка эта была крошечная, съ маленькимъ письменнымъ столомъ у единственнаго окошка, выходившаго въ садъ, съ жесткимъ диваномъ, двумя креслами и шкафикомъ, въ которомъ лежали старыя книги въ кожаныхъ переплетахъ. Верхнія полки были заняты Четіи-Минеями, твореніями святыхъ отцовъ; на нижнихъ помѣщался «Сводъ законовъ» Россійской Имперіи.

Кодратъ Кузьмичъ сѣлъ передъ письменнымъ столомъ, развернулъ записку, оставленную ему Горбатовымъ, въ которой заключались немногія свѣдѣнія относительно предложеннаго ему теперь дѣла. Онъ прочелъ записку и задумался. Мало-по-малу въ его головѣ началъ складываться планъ дѣйствій. Дѣло было

не новое, въ теченіе жизни ему пришлось уже нѣсколько разъ розыскивать пропавшихъ людей, и всегда онъ успѣшно достигалъ цѣли.

«Богъ дастъ и тутъ удастся. Дѣло хорошее, доброе дѣло! А въ Петербургъ придется съѣздить! Ну что-же, и прокатимся! Шутка сказать: годовъ двадцать не былъ въ Петроградѣ! Чай, много перемѣнъ! Оно даже и полезно для здоровья, а то ужъ совсѣмъ засидѣлся въ Бѣлокаменной, двадцать лѣтъ ни съ мѣста!»

«Въ землю вросъ, мхомъ обростаю... грибъ»,—вспомнилъ онъ слова супруги.

«Ну какой-же я грибъ?»

Онъ обернулся къ стѣнкѣ, на которой висѣло маленькое зеркальце. Въ этомъ зеркальцѣ отразилась его круглая, подпираемая фатермердерами голова, вся обросшая сѣдыми, щетиной стоящими волосами, красное лицо, четырехугольный носъ, огромныя бородавки, нѣсколько торчащія уши съ пуками росшихъ изъ нихъ сѣдыхъ волосъ. Онъ самъ увидѣлъ, что точно, онъ очень похожъ на грибъ, и съ досадай отвернулся отъ зеркальца.

Онъ отворилъ маленькое окошко, при чемъ убѣдился, что рамы дѣйствитально очень плохи. Въ комнату ворвался свѣжій весенній запахъ.

Въ садикѣ солнце заливало распустившіеся кусты сирени. Дѣвочка лѣтъ десяти и два маленькихъ мальчика бѣгали и возились въ густой травѣ. Со двора доносилось клоктанье куръ... вотъ замычала корова...

И вдругъ всѣ эти звуки, и ясный весенній день, и кусты сирени, и дѣтскія фигуры въ травѣ—показались ему такими отрадными, такими хорошими и веселыми. Онъ забылъ о томъ, что онъ «грибъ», забылъ, что всю жизнь «мыкался» и сгибался подъ тяжестью ниспосланнаго ему креста, что онъ, честный человѣкъ, несъ незаслуженное клеймо... Забылъ все, изъ глубины его просвѣтленнаго духа поднялось радостное чувство и онъ прошепталъ:

«Господи, Создатель мой! благодарю тебя за всѣ твои милости!..»

Онъ снова сталъ думать о предложенномъ ему дѣлѣ. «Богъ поможетъ!»—рѣшилъ онъ.

Въ это время раздался благовѣстъ. Кодратъ Кузьмичъ перекрестился, надѣлъ широкополую мягкую шляпу, взялъ въ руки толстую камышевую палку съ костянымъ набалдашникомъ, и отправился въ церковь.

Въ церкви было еще пусто. Только двѣ старушки клали земные поклоны. Кодратъ Кузьмичъ, поставивъ палку и положивъ шляпу на опредѣленное мѣсто, тихимъ, почти неслышнымъ шагомъ прошелъ къ свѣчному ларю, вынулъ изъ кармана ключъ, отперъ ларь, разложилъ свѣчи, затѣмъ отобралъ изъ нихъ нѣ-

сколько и, еще съ большей осторожностью и благоговѣніемъ, прошелъ съ ними къ иконостасу.

Привычно вставилъ онъ свѣчи въ паникадила, зажигалъ ихъ одну за другою, шепталъ молитвы, крестился передъ каждой иконой, низко кланялся, касаясь правой рукой пола. Обойдя такимъ образомъ всѣ иконы, Кодратъ Кузьмичъ прошелъ въ алтарь, гдѣ уже находился священникъ.

Онъ подошелъ къ батюшкѣ подъ благословеніе и затѣмъ вступилъ съ нимъ въ бесѣду полушопотомъ, объявилъ ему, что, по неотложному дѣлу, выѣдетъ не то завтра, не то послѣзавтра въ Петербургъ.

Священникъ до крайности изумился. Какъ такъ, статочное-ли это дѣло? Кодратъ Кузьмичъ—и вдругъ въ Петербургъ! Батюшку разбирало любопытство и ужасно хотѣлось узнать, по какому такому дѣлу церковный староста, двадцать лѣтъ не выѣзжавшій изъ Москвы, вдругъ пускается на такое дальнее путешествіе.

Но Кодратъ Кузьмичъ молчалъ, и батюшка, съ глубокимъ вздохомъ, отошелъ отъ него и сталъ приготовляться къ служенію.

Послѣ вечерни Прыгуновъ вернулся домой, пообѣдалъ, а затѣмъ опять вышелъ изъ дому, взялъ извощика и поѣхалъ въ Басманную, въ извѣстный всей Москвѣ, старинный и громадный, всегда стоявшій съ запертыми воротами и заколоченными ставнями, домъ Горбатовыхъ.

Заставъ Бориса Сергѣевича, онъ объявилъ ему, что все обдумалъ и готовъ взяться за дѣло, и что прежде всего ему дѣйствительно слѣдуетъ съѣздить въ Петербургъ.

— Такъ вы и поѣзжайте,—сказалъ Борисъ Сергѣевичъ.

— Когда-же прикажете?

— Когда угодно—по-моему: чѣмъ скорѣе, тѣмъ лучше.

— А коли такъ, то завтра-же я и тронусь.

— И будете писать мнѣ въ Горбатовское?

— Безпремѣнно и аккуратнымъ образомъ.

Борисъ Сергѣевичъ предложилъ Прыгунову провести съ нимъ вечеръ, и они пробесѣдовали довольно долго, вспомнили старые годы въ Москвѣ, университетъ, гдѣ Прыгуновъ кончилъ курсъ нѣсколько ранѣе Горбатова, но подъ руководствомъ тѣхъ-же самыхъ профессоровъ. Затѣмъ Борисъ Сергѣевичъ, которому старый дѣдецъ мало-по-малу начиналъ нравиться, совсѣмъ разговорился, разсказалъ кое-что изъ сибирской жизни.

Наконецъ, былъ призванъ Степанъ. Ему была небезызвѣстна исторія покойнаго Владиміра Сергѣевича и его Александры Николаевны. Оказалось, что вся тогдашняя горбатовская прислуга

въ Петербургѣ доподлинно знала эту исторію. Прыгуновъ заставилъ Степана вспомнить все, назвать ему имена всѣхъ служившихъ въ петербургскомъ домѣ Горбатовыхъ. Онъ попросилъ листъ бумаги и карандашъ, и записывалъ за Степаномъ.

— Времени-то вотъ только больно много прошло!—замѣтилъ Степанъ:—а мы нешто знаемъ, сибиряки-то, кто изъ тѣхъ людей въ живыхъ остался, а кто нѣтъ...

Кодратъ Кузьмичъ кивалъ головою:

— Да ужъ это понятно—не многихъ найду, а все-же кто-нибудь, пожалуй, и сыщется... дѣло такое, что ничѣмъ пренебрегать нельзя... Иной разъ самое что ни на есть махонькое обстоятельство, по всѣмъ видимостямъ ничего не стоющее, а смотришь—оно-то и оказывается самымъ важнымъ!..

— Такъ, батюшка, такъ,—подтверждалъ Степанъ—это точно! Какъ знать, гдѣ найдешь, гдѣ потеряешь?

Совсѣмъ уже поздно вернулся домой Кодратъ Кузьмичъ. Это съ нимъ случалось очень рѣдко. Олимпіада Петровна была въ большомъ безпокойствѣ, такъ какъ была въ полной увѣренности, что ея «грибъ» вернется «безъ заднихъ ногъ», какъ она выражалась, то-есть, пьяный. Онъ вообще почти никогда не пилъ; но если случалось ему, раза два, три въ годъ, не воздержаться, то хмель разбиралъ его быстро, и во хмелю онъ дѣлался буйнымъ.

Однако, на этотъ разъ, къ изумленію Олимпіады Петровны, супруга не привезли, а пріѣхалъ онъ самъ, вошелъ твердой походкой, даже извинился, что не предупредилъ о своемъ позднемъ возвращеніи.

— Случай такой вышелъ!—сказалъ онъ.—А теперь спать, пора спать!..

Онъ быстро раздѣлся и тотчасъ-же захрапѣлъ.

На слѣдующее утро Олимпіаду Петровну ожидало совсѣмъ невѣроятное событіе: проснувшись, Кодратъ Кузьмичъ объявилъ ей, что нынче-же уѣзжаетъ въ Петербургъ.

— Эка спохватился! — сказала она:—нешто, нынче первое апрѣля? Давно уже май мѣсяцъ небось!..

— Ну! ну!—строго выговорилъ Кодратъ Кузьмичъ. — Какія тутъ шутки! Нечего время-то терять; прикажи, матушка, Анисьѣ съ чердака чемоданъ притащить, да отбери мнѣ бѣлья, и я вотъ, какъ напьюсь чаю, такъ самъ и уложу чемоданъ.

Олимпіада Петровна всплеснула руками.

— Матушки-свѣты да никакъ ты и взаправду?

— А то какъ-же?

— Въ Пе... въ Петербургъ?

Ну да!

— Кодратъ Кузьмичъ, опомнись, голубчикъ! Какъ-же это ты... въ Петербургъ? Подумай только!.. да на долго-ли?

— А и самъ не знаю...

— И одинъ, одинъ ѣдешь?

— Что-жъ меня волки съѣдятъ, что-ли?..

Олимпіада Петровна совсѣмъ растерялась. Она стала выкладывать мужнино бѣлье и платье, ея блѣдныя руки дрожали, а изъ выцвѣтшихъ глазъ капали слезы,—и она ихъ тихонько утирала, чтобы никто, а пуще всего «онъ», не замѣтилъ.

Когда все было готово, Кодратъ Кузьмичъ передалъ женѣ необходимыя распоряженія, оставилъ ей небольшую сумму денегъ, троекратно поцѣловался съ нею, потомъ благословилъ дѣтей и велѣлъ кликнуть извозчика.

Онъ облекся въ коричневую камлотовую шинель съ нѣсколькими малъ-мала-меньше, нашитыми одинъ на другой, воротниками, нахлобучилъ свою пуховую шляпу, превратился совсѣмъ уже въ настоящій «грибъ»—и уѣхалъ.

XXVII.

Прыгуновъ дѣйствуетъ.

Довольно долгое время не получалъ Борисъ Сергѣевичъ извѣстій отъ Прыгунова. Но вотъ, наконецъ, въ Горбатовское пришло письмо изъ Петербурга. Кодратъ Кузьмичъ писалъ:

«Милостивѣйшій Государь мой, Борисъ Сергѣевичъ! Не извѣщалъ Васъ по сіе время, ибо не о чемъ было. Первыя мои справки и поиски въ Петербургѣ оказались тщетными, и я уже намѣревался было покинуть сію столицу, когда случайно напалъ на человѣка, освѣтившаго мнѣ предстоящій дальнѣйшій путь. Дѣло наше, съ Божьею помощью, быть можетъ, и будетъ доведено до благополучнаго окончанія. Завтрашняго числа отъѣзжаю изъ Петербурга, такъ какъ, по всѣмъ примѣтамъ, искомые нами субъекты должны находиться въ Москвѣ. О дальнѣйшемъ не замедлю извѣстить Васъ.

А за симъ честь имѣю пребыть, Милостивѣйшій Государь мой, Вашимъ нижайшимъ и покорнѣйшимъ слугою.

Кодратъ Прыгуновъ».

Письмо это доставило Борису Сергѣевичу не мало удовольствія, и онъ съ нетерпѣніемъ ожидалъ извѣщенія о послѣдующемъ. Оно не замедлило получиться, но не заключало въ себѣ никакихъ объясненій.

Кодратъ Кузьмичъ писалъ, что ему необходимо лично перего-

ворить со своимъ довѣрителемъ, и поэтому онъ просилъ позволенія пріѣхать въ Горбатовское.

Борисъ Сергѣевичъ даже немного подосадовалъ. Что за церемоніи, могъ-бы ѣхать прямо, а то напрасная только проволочка времени!

Онъ написалъ Прыгунову, прося его не откладывать своей поѣздки. Расчитали они со Степаномъ день и выслали лошадей.

И вотъ Кодратъ Кузьмичъ въ Горбатовскомъ.

Пріѣздъ этого таинственнаго человѣка, о которомъ хозяинъ ничего опредѣленнаго не сказалъ домашнимъ, произвелъ нѣкоторое впечатлѣніе. Сергѣй Владиміровичъ даже обрадовался, какъ ребенокъ, увидя вылѣзавшаго изъ коляски Прыгунова въ широкополой шляпѣ почти такого-же фасона, какъ у факельщиковъ, въ камлотовой шинели съ безчисленными воротниками. А когда изъ-подъ шляпы показались фатермердеры, четырехугольный носъ и бородавки—Сергѣй пришелъ въ чистый восторгъ.

— Ну ужъ дядя,—говорилъ онъ и Мари, и Наташѣ, и Николаю:—нѣтъ, да вы подите сюда, взгляните!.. и откуда онъ только выкопалъ такое сокровище? Вѣдь, это всю жизнь искать—такъ не найдешь! вѣрно, изъ Сибири, быть можетъ, какой-нибудь Лама...

— Ну, на Ламу-то онъ не похожъ,—замѣтилъ Николай:—и не сибирякъ—это тоже навѣрное... это Москвою пахнетъ.

— Однимъ словомъ, таинственности у насъ заводятся!—сказалъ Сергѣй и при этомъ зѣвнулъ.

Восторга его какъ не бывало: изумительный незнакомецъ прошелъ въ домъ, и вотъ опять стало скучно.

Борисъ Сергѣевичъ ожидалъ Прыгунова въ своемъ кабинетѣ. Кодратъ Кузьмичъ вошелъ, быстрымъ взглядомъ оглядѣлъ комнату, съ видимымъ удовольствіемъ замѣтилъ въ правомъ углу ея образъ, набожно перекрестился, а затѣмъ сталъ раскланяваться передъ хозяиномъ.

— Садитесь, садитесь, любезнѣйшій Кодратъ Кузьмичъ,—говорилъ Горбатовъ, пододвигая ему покойное кресло.—Я думаю, утомились, жарко сегодня?

— Тепленько, государь мой, тепленько! Да я, знаете, люблю такую погоду,—паръ костей не ломитъ, особливо въ деревенскомъ чистомъ воздухѣ... Ѣхалъ: наслажденіе просто! Мѣста у васъ чудесныя. Ну да и палаты! Хорошъ вашъ моск вскій домъ, сколько лѣтъ проѣзжалъ мимо—все на него заглядывался, а ужъ тутъ совсѣмъ царская резиденція!

— Да, широко!—сказалъ Борисъ Сергѣевичъ.—Отецъ, какъ женился, такъ домъ этотъ заново перестроилъ и всю жизнь до кончины своей, почти безвыѣздно, здѣсь прожилъ съ матушкой.

Мы родились здѣсь и выросли. И вотъ мнѣ Господь привелъ сюда-же вернуться на старость.

— Такъ-съ, такъ-съ!— повторялъ Прыгуновъ.

Ему даже какъ-то неловко становилось среди этой непривычной, подавляющей своимъ величіемъ роскоши. Но онъ быстро справился съ неловкостью, вынулъ табакерку, нюхнулъ разъ-другой табачку всласть и заговорилъ:

— По-первоначалу обратимся къ дѣлу, сударь...

— Что-же есть успѣхъ? Узнали вы что-нибудь вѣрное?..

— Да какъ вамъ сказать—и да, и нѣтъ. И много узналъ, а коли съ другой стороны посмотрѣть—такъ и ничего.

— Какъ такъ?

— А изволите-ли видѣть, я въ Петербургѣ всю старую пыль встряхнулъ, столбомъ поднялъ! Какъ столбъ-то этотъ разсѣялся, такъ и очутился передо мною одинъ человѣчекъ, старичекъ такой, сосѣдомъ онъ былъ этой самой особы, которую мы ищемъ, жилъ съ нею по одной лѣстницѣ, дверь объ дверь. Ну и зналъ все по сосѣдству. И братца вашего покойнаго видалъ, даже не разъ съ нимъ бесѣдовалъ, такъ какъ, по тому-же опять сосѣдству захаживалъ къ этой Александрѣ Николаевнѣ... И ребеночка нянчилъ; говоритъ: такой шустрый, славный былъ мальчишка, Петрушей звали... Все это вѣрно, какъ по писаному, изложилъ мнѣ... Что-же, спрашиваю, сталось и съ Александрой Николаевной, и съ Петрушей?—«А пріѣхала,—говоритъ,—изъ Москвы дама, раза три всего навѣстила Александру Николаевну, а затѣмъ забрала и ее, и Петрушу, и увезла съ собою».

— Какая дама?

— Вотъ и я тоже спрашиваю его—какая дама? «Не молода,— говоритъ,— она была, да и не стара... Теперь-то, значитъ, старуха, коли жива». Что-же, сродственница она была Александрѣ Николаевнѣ, что-ли? спрашиваю я. «Нѣтъ, не сродственница, только та ужъ очень ее уважала». А какъ звали даму-то? «Дай Богъ памяти!» задумался мой старичекъ, задумался. Я просто ни живъ, ни мертвъ... «Вспомнилъ!—говоритъ,—звали ее Капитолиной Ивановной Мироновой». То-есть, какъ сказалъ онъ мнѣ это, батюшка Борисъ Сергѣевичъ, какъ сказалъ—такъ вотъ, кажется, взялъ-бы я его да и зацѣловалъ отъ радости!

— А что? Развѣ вы ее знаете?

— Да помилуйте, какъ не знать! Капитолины-то Ивановны? Она наша прихожанка, почитай, наша сосѣдка... И изволите видѣть дѣло-то какое: въ Петербургъ махнулъ, пыль столбомъ поднялъ, болѣе двухъ недѣль попустому возился, а разгадка-то у меня подъ бокомъ!.. И многіе годы каждое воскресенье просвирку послѣ обѣдни подношу я этой разгадкѣ!

— Ну такъ что-же, что-же ваша Капитолина Ивановна?—въ нетерпѣніи спрашивалъ Борисъ Сергѣевичъ.

— Само собою я сейчасъ въ Москву и прямо къ ней... Только вотъ тутъ-то и осѣкся. Завелъ разговоръ обинякомъ про Петербургъ. Разсказываю, говорю, молъ, двадцать лѣтъ изъ своего прихода не выѣзжалъ, а тутъ, по нежданному дѣлу, въ Петербургъ попалъ... А вы, молъ, Капитолина Ивановна, въ Петербургѣ-то бывали? «Бывала,—говоритъ,—да давно, давнѣе вашего, лѣтъ болѣе тридцати тому назадъ ѣздила». И пустилась въ разсказни. Я слушаю да мимо ушей пускаю, а перебить-то ее не смѣю: старуха она строгая и обидчивая, иной разъ не знаешь какъ ей и потрафить. Наконецъ, остановилась. А по какому случаю, спрашиваю, вы въ Петербургъ ѣздили? «По своимъ дѣламъ»,—говоритъ. А вотъ что я хотѣлъ стпросить у васъ, матушка Капитолина Ивановна, не знавали-ли вы въ Петербургѣ Александры Николаевны Степановой? Спрашиваю, а самъ гляжу, гляжу на нее. Вздрогнула моя старуха, покраснѣла даже. Ну, однимъ словомъ, себя кругомъ мнѣ выдала. «Нѣтъ,—говоритъ,—Кодратъ Кузьмичъ, не знавала я такую». Не знали? А съ кѣмъ это вы, сударыня, изъ Петербурга въ Москву тогда поѣхали, еще мальчикъ маленькій, Петрушей звали, съ вами былъ? Доконалъ я ее совсѣмъ—сидитъ, молчитъ, слова прибрать не можетъ, да вдругъ какъ разсердится моя старуха! «Что-же это ты, сударь, меня допрашивать пришелъ, что-ли?» И стала она мнѣ отчитывать: «Знала не знала, а говорить съ вами я объ этомъ не буду,—хотите гостемъ быть—сидите, чайку вотъ напьемся, а допросовъ, чтобы не было... да и напрасно... слова, вѣдь, не скажу, не ваше это совсѣмъ дѣло!..» Ну, я ее, само собою, всячески сталъ урезонивать. Вы, говорю, не обижайтесь, Капитолина Ивановна, я не за худымъ чѣмъ пришелъ къ вамъ, можетъ, я съ собою счастье несу этому мальчику, Петрушѣ-то. «Не нужно,—говоритъ, ему—вашего счастія... да и нѣтъ его ужъ на свѣтѣ, Петруши, умеръ онъ, всѣ умерли!..»

— Умерли!—тоскливо произнесъ Борисъ Сергѣевичъ.

— Да-съ! Какъ она сказала мнѣ, что всѣ умерли, такъ я ужъ и зналъ, что если кто и умеръ, такъ ужъ Петруша-то живъ навѣрное... только видите-ли—по ея разсужденію ему не надо счастія, которое я съ собой принесъ... Провести тоже меня вздумала Капитолина Ивановна! Такъ, вѣдь, я ее не первый годъ знаю... одно слово: ручаюсь вамъ головой, государь мой,—живъ тотъ самый Петруша, только я промахнулся, не такъ къ ней подъѣхалъ и попортилъ дѣло. Мнѣ она теперь ни за что въ мірѣ правды не скажетъ—такой ужъ у нея характеръ... Вотъ я зачѣмъ къ вамъ и предъявляюсь: коли желаете добыть Петрушу,

такъ надо вамъ со мною въ Москву ѣхать. Чего я не добился— вы, можетъ, добьетесь.

— Хорошо!—сказалъ Борисъ Сергѣевичъ:—я и такъ въ Москву собирался... написали-бы прямо, что надо въ Москву ѣхать— я бы теперь уже тамъ былъ... а такъ мы съ вами, Кодратъ Кузьмичъ, только время потеряли!..

— Въ такомъ дѣлѣ, я вамъ докладывалъ, недѣля, другая— невелика потеря... ужъ извините, да и не зналъ, вѣдь, я, что вы въ Москву собираетесь...

— Во всякомъ случаѣ, вы хорошо сдѣлали, что пріѣхали,— поспѣшно сказалъ Борисъ Сергѣевичъ, замѣтивъ, что нѣсколько смутилъ Прыгунова:—вмѣстѣ отправимся, веселѣй въ дорогѣ будетъ... И такъ—рѣшено: сегодня вы отдохнете здѣсь у меня, погуляете, а завтра и въ путь! Такъ, что-ли? Ладно?

— Да ужъ на что-же ладнѣе!—отозвался Прыгуновъ.

Хозяинъ провелъ его въ назначенную ему комнату, гдѣ онъ умылся и пообчистился, и затѣмъ за завтракомъ представилъ его домашнимъ.

Сергѣй не прочь былъ для общаго удовольствія немножко потѣшиться надъ этимъ страннымъ гостемъ; но Кодратъ Кузьмичъ сразу осадилъ его своей серьезностью и чувствомъ собственнаго достоинства. Онъ нисколько не потерялся въ этомъ обществѣ и оставался самимъ собою, то и дѣло прибѣгалъ къ своей круглой табакеркѣ, очень спокойно и съ тактомъ поддерживалъ бесѣду.

Послѣ завтрака Борисъ Сергѣевичъ пошелъ показывать ему паркъ, и къ вечеру Прыгуновъ, очень довольный и Горбатовскимъ, и оказаннымъ ему пріемомъ, говорилъ, что давно не проводилъ такого прекраснаго дня.

Онъ говорилъ правду. Раздѣваясь и ложась спать въ царской, какъ онъ выражался про себя, комнатѣ, онъ думалъ:

«Какая благодать-то бываетъ на свѣтѣ! Вотъ такъ живутъ люди—рай земной, да и только! Да и люди-то хорошіе!..»

Ему нравился и хозяинъ, и молодые люди, и красивыя дамы, и дѣти милыя; нравилась даже и Катерина Михайловна, хотя она во весь день удостоила его всего двумя-тремя фразами.

«Важная и почтенная дама!—думалъ онъ про нее. — Счастливые люди—сто лѣтъ имъ жить, такъ и то умирать не надо— счастливые люди!..»

И очень-бы изумился Кодратъ Кузьмичъ, если-бы ему сказали, что во всемъ этомъ домѣ самый счастливый человѣкъ, пожалуй, онъ, даже несмотря на тяжелую ношу постыднаго и несправедливаго обвиненія, тяготѣвшаго надъ нимъ. У него было спокойно на сердцѣ, въ прошедшемъ онъ не видѣлъ ни мучи-

тельныхъ упрековъ совѣсти, ни сознанія неисправимыхъ ошибокъ. А будущее являлось тихимъ, блѣднымъ закатомъ будничнаго, трудового дня...

На слѣдующее утро, ко всеобщему изумленію, Борисъ Сергѣевичъ уѣхалъ съ Прыгуновымъ. Онъ обѣщалъ вернуться недѣли черезъ двѣ, самое позднее черезъ три. Онъ уѣзжалъ съ большою тяжестью на сердцѣ и, прощаясь съ Наташей, шепнулъ ей:

— Я былъ-бы счастливъ, если-бы зналъ, что вернувшись найду тебя иною, чѣмъ оставляю,—такой, какою увидѣлъ тебя въ первый разъ въ Знаменскомъ.

Она ничего ему не отвѣтила, только крѣпко, крѣпко поцѣловала.

Въ городѣ они застали Груню, привезенную еще наканунѣ изъ Горбатовскаго, и взяли ее съ собою. Отнынѣ и она поручена была заботамъ того-же Кодрата Кузьмича.

XXVIII.

Надъ бездной.

По отъѣздѣ Бориса Сергѣевича почти всѣ въ домѣ замѣтили большую пустоту и даже испытали тоскливое чувство. Бываютъ такіе люди—они не шумятъ, не распоряжаются, не вмѣшиваются во все и вся, не навязываются своими совѣтами и предложеніями; напротивъ, ихъ почти не видно и не слышно, а между тѣмъ, они наполняютъ весь домъ своимъ присутствіемъ. Такіе люди приносятъ съ собою что-то тихое, успокоивающее, примиряющее, и особенно если въ домѣ не ладно—они являются благодѣтелями, въ нихъ всѣ безсознательно ищутъ поддержку и находятъ ее. И все это дѣлается такъ, само собою, никто даже не замѣчаетъ этого, не вдумывается, откуда происходитъ такое цѣлящее и устрояющее жизненный порядокъ свойство человѣка. И когда этотъ человѣкъ далекъ, когда въ немъ нѣтъ нужды, когда и безъ него идетъ все гладко—объ немъ, конечно, забываютъ, а вспоминая случайно, не цѣнятъ того невидимаго, но великаго добра, которое приносило его присутствіе.

Къ числу подобныхъ людей принадлежалъ и Борисъ Сергѣевичъ. Пока онъ былъ тутъ, гроза, собравшаяся въ семьѣ Горбатовыхъ, все еще медлила разразиться—присутствіе его отстраняло ее.

Но вотъ онъ уѣхалъ, и особенно Наташа почувствовала себя

одинокой, безъ поддержки, предоставленной своимъ собственнымъ силамъ, которыя, она чувствовала, были слабы. Съ каждой минутой отсутствіе дяди тяготило ее больше и больше.

Остальные на слѣдующій-же день уже стали не замѣчать образовавшейся по отъѣздѣ хозяина пустоты. Катерина Михайловна даже почувствовала себя гораздо лучше. Теперь она дѣлалась полной хозяйкой, и ей казалось, что уже настало время исполненія ея завѣтныхъ мечтаній...

Прошло нѣсколько дней. Отъ Бориса Сергѣевича уже было получено письмо, заключавшее въ себѣ нѣкоторыя распоряженія по дому и извѣщавшее, что его пріѣздъ нѣсколько откладывается, такъ какъ ему придется съѣздить въ Петербургъ. Письмо это было адресовано Сергѣю, пришло во время завтрака, его читали громко.

— Въ такомъ случаѣ, вѣрно, я увижусь съ дядей въ Петербургѣ,—сказалъ Николай.

— Это какимъ образомъ? — спросила Катерина Михайловна.

— Я думаю на-дняхъ ѣхать.

— Какъ! Въ Петербургъ? Зачѣмъ?—изумились всѣ.

Только Наташа опустила глаза и ничего не сказала.

— Вотъ фантазія!—даже обиженнымъ тономъ произнесла Мари.—Вѣчно выдумаетъ что-нибудь ни съ чѣмъ несообразное.

Николай пожалъ плечами.

— Отчего-же несообразное? Если-бы не было нужно, если-бы не было дѣла—такъ не поѣхалъ-бы.

— Да какія дѣла, я навѣрно знаю, что нѣтъ никакихъ и не можетъ быть!.. Пріѣхалъ на все лѣто и вдругъ, ни съ того, ни съ сего уѣзжаетъ, и главное, когда-же — жара ужасная... Еще вчера я отъ тетушки получила письмо, пишетъ, что въ Петербургѣ просто задыхаются.

— А тѣмъ не менѣе я все-же поѣду,—сказалъ Николай такимъ тономъ, послѣ котораго, какъ Мари давно уже знала, возражать ему и спорить было безполезно.

Вдругъ Мари какъ-будто сообразила что-то, на апатичномъ лицѣ ея промелькнуло даже волненіе, ея губы нервно дрогнули.

— Впрочемъ, хорошо, пожалуй, и лучше, что ты ѣдешь... уѣзжай!—сказала она.

Николай съ изумленіемъ взглянулъ на нее.

— Да, уѣзжай,—повторила она уже почти шопотомъ, наклоняясь къ нему: — только, вѣдь, никуда ты отъ себя не уѣдешь... никуда!..

Онъ даже вздрогнулъ.

— Что это значитъ?—спросилъ онъ.

— Ничего,—отвѣтила она и погрузилась въ свою обычную неподвижность.

Николай весь день не могъ забыть странной фразы жены и невольно смущался ею. Обмануться было нельзя. Это вовсе не была случайная фраза. Мари, очевидно, знала, что такое говоритъ и зачѣмъ говоритъ—иначе она не сказала-бы шопотомъ... да и лицо у нея было, когда она говорила, совсѣмъ особенное—прежде у нея никогда не бывало такого лица! Только въ это самое послѣднее время Николай сталъ замѣчать у нея новое и каждый разъ смущавшее его выраженіе. Теперь онъ невольно сопоставлялъ и обдумывалъ поведеніе Мари съ нимъ съ тѣхъ поръ, какъ онъ пріѣхалъ въ Знаменское.

«Она другая, совсѣмъ другая!»—рѣшилъ онъ.

Онъ думалъ, что уже давно изучилъ ее. Да и изучать-то особенно было нечего. Она уже нѣсколько лѣтъ какъ-бы для него не существовала, являлась обычнымъ, неизбѣжнымъ обстоятельствомъ, противъ котораго возмущаться нельзя, котораго отстранить невозможно, какъ какой-нибудь физическій недостатокъ—сломанную руку или ногу, или потерянный глазъ, или горбъ.

Съ нѣкотораго времени, однако, ея существованіе тутъ рядомъ, возлѣ, съ ея правами не только на внѣшнюю сторону его жизни, но и на частицу внутренней—вдругъ стало тяготить его, раздражать. Привычка и равнодушное, спокойное отношеніе къ этому неизбѣжному злу вдругъ какимъ-то образомъ порвались. И хотя онъ продолжалъ хорошо понимать, что «эта сломанная рука», что этотъ «горбъ» неизбѣжны, но не могъ побѣдить въ себѣ тоски, негодованья, все чаще и чаще возбуждаемыхъ ими.

Было нѣсколько дней въ Знаменскомъ, когда, несмотря на обуревавшія его чувства, ему тоскливо хотѣлось вернуться къ Мари, найти въ ней что-нибудь ему нужное, милое и завѣтное. Онъ искалъ, искалъ въ ней всего этого—конечно, не находилъ и возмущался еще больше, и тосковалъ еще сильнѣе, задыхаясь въ ея присутствіи.

Въ самые послѣдніе дни, со времени знаменскаго пожара, въ немъ появилось относительно Мари еще новое чувство. Онъ не могъ опредѣлить его, не зналъ какъ оно называется, зналъ только одно, что оно ростетъ въ немъ съ каждымъ днемъ и начинаетъ его окончательно замучивать. Это чувство — былъ страхъ.

Да, онъ теперь боялся Мари, боялся ея правъ, о которыхъ она почему-то, что прежде съ нею случалось очень рѣдко, стала напоминать ему. Боялся онъ и еще чего-то и вотъ, наконецъ, послѣ ея фразы, сказанной за завтракомъ, онъ понялъ «чего» боялся...

Наступилъ вечеръ; всѣ отпили чай въ большой столовой. Дѣти уже ушли спать. Выплывшая изъ-за деревьевъ луна озарила широкіе цвѣтники передъ домомъ своимъ матовымъ свѣтомъ, положила длинныя тѣни отъ всѣхъ предметовъ. Вечеръ былъ тихій и теплый. Николай хотѣлъ было пройти въ свою спальню, но вспомнилъ, что тамъ, вѣдь, столкнется съ Мари, что тамъ она царить и, можетъ быть, снова встрѣтитъ его какой-нибудь фразой, какимъ-нибудь словомъ, о смыслѣ которыхъ онъ не посмѣетъ даже и спросить ее...

«Нѣтъ, ни за что, ни за что!»

Ему хотѣлось уйти какъ можно дальше отъ этого дома, отъ этой спальни, отъ Мари. Ему захотѣлось всю ночь пробродить въ этомъ тепломъ полусумракѣ...

Онъ вышелъ въ садъ и направился къ озеру, не замѣчая тихой нѣги, окружавшей его, которая, казалось, такъ и ластилась, такъ и нашептывала, что-то сладкое и завѣтное... Нѣтъ, въ немъ не было теперь мѣста сладкимъ грёзамъ, какимъ онъ, бывало, любилъ предаваться въ такія тихія, лѣтнія ночи. Въ немъ клокотала буря, кипѣло сердце. Онъ страдалъ глубоко и не смѣлъ даже назвать себѣ своего страданья. И опять надъ нимъ звучали слова Мари:

«Никуда не уйдешь отъ себя, никуда».

«Да, это правда! правда! никуда не уйдешь!.. Но какъ-же она поняла это, и что она поняла? что? какъ? откуда могла она понять?.. и развѣ она понять можетъ... и развѣ ей нужно понимать это!.. Какое ей дѣло, что я для нея значу?..»

Въ немъ поднималась злоба.

«Да и нечего совсѣмъ понимать ей, нечего! нѣтъ... нѣтъ!..» повторялъ онъ въ тоскѣ и отчаяніи.

Но въ то-же время передъ нимъ мелькнула недавняя картина: онъ открываетъ глаза, въ первую минуту не понимая гдѣ онъ и что съ нимъ такое, только голова какъ-бы налита свинцомъ и страшная слабость во всемъ тѣлѣ, а кругомъ мракъ. И вотъ изъ этого мрака все яснѣетъ и яснѣетъ чудное, милое лицо Наташи. Такъ близко... тутъ, сейчасъ!.. въ ея глазахъ онъ видитъ, ясно видитъ испугъ, мученье... любовь!.. А рядомъ съ этимъ лицомъ другое... лицо жены... Но она только какъ будто промелькнула, и онъ ея не видитъ. Онъ продолжаетъ глядѣть на Наташу, одна она передъ нимъ, одна въ цѣломъ мірѣ!..

Да, любовь, любовь! Она не уйдетъ, не скроется теперь... Онъ все прочелъ въ ея взглядѣ, все понялъ!..

Этотъ мигъ прошелъ—онъ совсѣмъ очнулся, пріѣхалъ докторъ, и Наташа опять далека, и попрежнему вѣетъ отъ нея холодомъ, и попрежнему она избѣгаетъ глядѣть на него, а если

глядитъ, то уже ничего не говорятъ ему ея глаза, ея взгляды скользятъ мимо...

Но, вѣдь, это былъ не сонъ, не бредъ — это была она въ ту минуту, это она глядѣла!.. И онъ зналъ теперь, зналъ навѣрно то, что приводило его въ такой ужасъ, то, что поднимало вмѣстѣ съ тѣмъ въ груди его неизъяснимое, невыносимое блаженство...

«Скорѣе отсюда, скорѣе!—повторялъ онъ:—завтра-же уѣхать, уѣхать!.. А потомъ что?.. Какъ жить? какъ жить?..

Онъ только чувствовалъ одно, что нельзя, нельзя жить послѣ этого мига, послѣ этого взгляда.

Онъ провелъ холодной, дрожащей рукой по своему разгоряченному лбу и оглядѣлся. Онъ снова былъ теперь по дорожкѣ къ цвѣтникамъ и въ двухъ шагахъ отъ него, изъ-за кустовъ, сквозили посеребренныя луннымъ свѣтомъ колонки бесѣдки.

Это была сквозная красивая бесѣдка въ греческомъ стилѣ. По серединѣ ея, на высокомъ мраморномъ пьедесталѣ, бѣлѣлась статуя. Давно, давно была построена эта бесѣдка. И многое она видѣла. Въ ней часто, рука объ руку, сиживали въ такіе-же свѣтлые, лѣтніе вечера любимецъ императора Павла—Сергѣй Борисовичъ Горбатовъ со своей дорогой Татьяной Владиміровной. Сиживалъ въ ней и старый карликъ Моська, разсказывая маленькимъ мальчикамъ, Борису и Владиміру, удивительныя исторіи про житье-бытье въ Петербургѣ въ царствованіе императрицы Елизаветы, про ужасы французской революціи въ Парижѣ, про тихую жизнь гатчинскаго двора...

И въ этой-же самой бесѣдкѣ, когда Николая не было еще на свѣтѣ, раздавались страстныя слова и поцѣлуи его матери, въ то время какъ уже нѣсколько прискучившій ею ея возлюбленный, графъ Щапскій, осторожно отстранялъ ее, боясь, что кто-нибудь ихъ увидитъ...

Но ничего этого не зналъ Николай, врядъ-ли онъ когда-нибудь и былъ въ этой бесѣдкѣ, развѣ въ первые годы дѣтства, въ то время, о которомъ въ немъ не сохранилось даже и туманныхъ воспоминаній.

Безсознательно повернулъ онъ къ бесѣдкѣ, поднялся по ея ступенямъ—и остановился. Передъ нимъ, на мраморной скамьѣ, озаренной луною, блѣдная, почти прозрачная какъ привидѣніе, въ своемъ бѣломъ прозрачномъ платьѣ, склонивъ голову, сидѣла Наташа.

Онъ отшатнулся, онъ хотѣлъ было идти назадъ, но ноги его не послушались, будто какая-то сила приковала его къ мѣсту... и тихо прошепталъ онъ:

— Наташа!

Она подняла голову, едва слышный стонъ вырвался изъ груди ея. Но и она не шевельнулась. У него туманилась голова, онъ ничего не понималъ, ничего не соображалъ, онъ кинулся къ ей, схватилъ ея руки и упалъ передъ нею на колѣни.

— Наташа!—шепталъ онъ—и всѣ его муки, и весь ужасъ, вся тоска долгихъ, невыносимыхъ дней слышались въ его голосѣ.—Наташа, что-же ты не бѣжишь отъ меня?.. Зачѣмъ не бѣжишь?.. Вѣдь, ты меня боишься...—я тебѣ страшенъ... Наташа, бѣги-же, бѣги!..

Онъ все крѣпче сжималъ ея руки и глядѣлъ на нее съ выраженіемъ ужаса и обожанія. Она не отнимала отъ него рукъ своихъ. Крупныя слезы одна за другою скатывались по ея блѣднымъ щекамъ.

— Мнѣ некуда бѣжать отъ тебя!..—наконецъ, прошептали ея помертвѣлыя губы.

Еще одинъ мигъ—и все закружилось у нихъ передъ глазами, сами не зная какъ, они очутились въ объятьяхъ другъ у друга. Ихъ слезы смѣшались, смѣшались ихъ безумные, жаркіе поцѣлуи...

Но это былъ только мигъ.

— Боже мой!—крикнула Наташа, отрываясь отъ него и закрывая лицо руками.

Онъ поднялся блѣдный и страшный, глаза его такъ и горѣли въ полумракѣ. И превыше всѣхъ мукъ и ужаса, превыше внезапнаго сознанія, что и этотъ мигъ прошелъ и никогда уже не вернется больше,—въ немъ горѣло и всего его наполняло, потрясая своей могучею силою, то великое, никогда еще неизвѣданное имъ блаженство, о которомъ грезилъ онъ всю жизнь, котораго тщетно искалъ, которое стало, наконецъ, представляться ему несуществующимъ въ земной жизни.

— Прости!—прошепталъ онъ, найдя въ себѣ внезапную рѣшимость уйти.—Прости... завтра-же я уѣду...

Какъ безумный, выбѣжалъ онъ изъ бесѣдки.

XXIX.

Отецъ.

— Загорѣлось: вотъ, вѣдь, характеръ! Выдумаетъ что-нибудь—такъ вынь да положь!—съ большой досадой говорилъ Сергѣй, узнавъ отъ Мари, что братъ уѣзжаетъ.

— И, вѣдь, онъ самъ вчера сказалъ: «черезъ нѣсколько дней поѣду» а тутъ вдругъ: сегодня! И гдѣ онъ теперь?.. Этакъ

нельзя, я пойду поговорю, онъ долженъ остаться, что за вздоръ такой въ самомъ дѣлѣ!.. Гдѣ онъ?..

— Съ утра еще заперся въ своемъ кабинетѣ,—отвѣтила Мари:—да оставь ты его, не трогай, вѣдь, ты знаешь: на него иногда находитъ такое... вотъ и теперь нашло... Говоришь съ нимъ, а онъ даже и не отвѣчаетъ... Нѣтъ, право, пусть ужъ лучше ѣдетъ...

— Когда-же?

Велѣлъ уложить вещи и приготовить лошадей сейчасъ послѣ обѣда. Ночевать хочетъ въ городѣ, а завтра чуть свѣтъ въ дорогу...

Сергѣй пожалъ плечами и ушелъ. Онъ самъ былъ въ дурномъ настроеніи духа. Наташа его напугала. Она почти не спала всю ночь, и онъ, нѣсколько разъ просыпаясь, слышалъ, что она плачетъ. Утромъ она объявила, что больна, и не вышла изъ спальни. Онъ сказалъ ей, что сейчасъ-же самъ поѣдетъ въ городъ за докторомъ, но она просила его не дѣлать этого и просила такъ рѣшительно, что онъ не смѣлъ ослушаться. Онъ хотѣлъ было остаться съ нею—она сказала ему:

— Уходи, уходи, мнѣ ничего не надо, я прошу только оставить меня одну!.. Все пройдетъ... пожалуйста, оставь меня... и никому, слышишь-ли, не говори, что я нездорова, я выйду къ завтраку...

Онъ невольно задумался. Какъ ни былъ онъ безпеченъ и легкомысленъ, все-же перемѣна, происшедшая въ Наташѣ въ послѣднее время, не могла ускользнуть отъ него.

— Неужели это я надѣлалъ своимъ дурацкимъ признаніемъ?

И, можетъ быть, въ первый разъ въ жизни онъ раскаявался въ томъ, что сдѣлалъ.

Ему хотѣлось забыться, и онъ рѣшился совершить большую прогулку пѣшкомъ, до усталости, что часто помогало ему въ затруднительныя минуты. Онъ крикнулъ Гектора, своего любимаго сетера, и вышелъ съ нимъ изъ дома.

«Кстати навѣдаюсь въ Знаменское!—думалъ онъ.—Посмотрю, что тамъ дѣлается».

Онъ пошелъ лѣсной опушкой, избѣгая пыльной дороги. У поворота изъ лѣса къ Знаменскому онъ издали замѣтилъ пыльный городской тарантасъ, запряженный парою уставшихъ, потныхъ лошадей.

«Чудеса!—подумалъ онъ остановясь.—Кому это ѣхать по знаменской дорогѣ въ Горбатовское?»

Онъ вглядѣлся, но за пылью ничего не могъ разглядѣть.

«Э, да чортъ его возьми, какое мнѣ дѣло!»—рѣшилъ онъ, свиснулъ Гектора и пошелъ дальше...

Между тѣмъ, тарантасъ приближался къ Горбатовскому и уже былъ въ виду самой усадьбы, когда сидѣвшій въ немъ человѣкъ крикнулъ извозчику:

— Стой!

Лошади остановились. Изъ тарантаса не безъ труда вышелъ щегольски одѣтый, но какъ-то по иностранному, старикъ, и на ломаномъ русскомъ языкѣ объяснилъ извозчику, чтобы онъ подождалъ его тутъ въ тѣни у ручья, что самое большее черезъ часъ онъ вернется и поѣдетъ обратно.

Извозчикъ почесалъ въ головѣ и покачалъ головою.

— Эхъ, баринъ, баринъ!—сказалъ онъ:—ужъ какъ это мы будемъ вертаться—я и не знаю! Лошадей больно запарили... Часъ времени—много-ли, не отдохнуть въ часъ времени!..

Баринъ вслушался и сердитымъ голосомъ сказалъ:

— А да я жъ тебя и нанималъ такъ, чтобы назадъ до города.

— Да нанимать вы изволили въ Знаменское, а не въ Горбатовское.

— А ты бы мнѣ сказалъ, что Знаменское сгорѣло.

— Чего мнѣ говорить; подряжаютъ въ Знаменское—я и везу.

Старикъ совсѣмъ разсердился.

— Коцапъ, глупый коцапъ,—крикнулъ онъ:—два карбованца прибавлю тебѣ, и ты молчать, жди меня здѣсь...

Онъ направился къ дому, сильно опираясь на щегольскую трость и нѣсколько волоча правую ногу. Теперь, при яркомъ солнечномъ освѣщеніи, видно было, что жизнь, да вдобавокъ еще и не спокойная, а бурная, положила свой отпечатокъ на лицо этого человѣка. Онъ не только былъ старъ, но и дряблъ; все лицо его было въ морщинахъ, подъ глазами образовались мѣшки.

Но все-же на этомъ старомъ и дряблом лицѣ сохранились еще кой-какіе слѣды прежней красоты. Черные какъ уголь глаза его еще вспыхивали. Вся его фигура, его обдуманный костюмъ, изобличали въ немъ человѣка хорошаго общества, и при томъ, видимо, онъ до сихъ поръ занимался собою. Онъ и теперь вдругъ остановился, вынулъ изъ кармана складной гребешокъ и бережно расчесалъ имъ свои длинные сѣдые усы, потомъ тонкимъ батистовымъ платкомъ обмахнулъ пыль со своего пальто и пошелъ дальше.

Подойдя почти къ самому дому, онъ сталъ пристально его оглядывать, потомъ обошелъ нѣсколько, видимо, поджидая, не выйдетъ-ли кто-нибудь. Замѣтивъ вышедшаго и остановившагося у воротъ человѣка, онъ направился къ нему и еще издали замахалъ ему рукою.

Отъ этого человѣка онъ узналъ, что Борисъ Сергѣевичъ «уѣхамши» (впрочемъ, онъ уже и зналъ это), что барыня Катерина Михайловна дома и сейчасъ были въ саду, а теперь прошли и находятся, надо полагать, на террасѣ.

— А ты, любезный, обойди да взгляни—если на террасѣ госпожа... вернись и мнѣ скажи.

И говоря это, онъ сунулъ въ руку человѣка цѣлковый. Тотъ даже не поблагодарилъ, быстро кинулся исполнять приказаніе. Вернувшись черезъ минуту, онъ объявилъ:

— Такъ точно, барыня на террасѣ.

— Одна?

— Однѣ. Прикажете доложить?

— Нѣтъ, не надо. Вѣдь, это такъ, сюда? Я дорогу знаю!..

Онъ дѣйствительно зналъ дорогу и, насколько позволяла не совсѣмъ послушная правая нога, быстро направился къ террасѣ черезъ маленькую калитку. Онъ взошелъ по ея ступенямъ, увидѣлъ сидѣвшую старушку, которая съ изумленіемъ на него взглянула. И на его лицѣ тоже промелькнуло нѣчто въ родѣ изумленія. Но онъ тотчасъ-же овладѣлъ собою, снялъ шляпу, причемъ показался еще болѣе старымъ, такъ какъ на головѣ было очень мало волосъ, и почтительно поклонился.

Катерина Михайловна, продолжая смотрѣть на него съ изумленіемъ, кивнула головою въ отвѣтъ на его поклонъ и спросила:

— Что вамъ угодно?

Въ ея голосѣ прозвучала даже робость, почти страхъ. «Что это такое? Откуда взялся этотъ старикъ. И каковы это люди-то! пускаютъ такъ прямо, безъ доклада!..»

— Madame ne reconnait plus un vieil ami? — сказалъ старикъ и, продолжая говорить по-французски, добавилъ:

— Впрочемъ, немудрено, столько лѣтъ!.. Отъ меня ничего не осталось...

Звукъ этого голоса заставилъ ее вздрогнуть.

Она вглядѣлась, поблѣднѣла, встала было, на ея лицѣ изобразился ужасъ. Она сдѣлала движеніе, какъ будто хотѣла уйти, но пошатнулась и сѣла опять въ кресло.

— Вы? вы? здѣсь!—шептали ея дрожащія губы.—Зачѣмъ?..

—А все-же узнали! — улыбнулся и сверкнулъ глазами старикъ.—Я очень счастливъ, а то былъ увѣренъ, что ужъ никто меня не узнаетъ!.. Позвольте сѣсть? я усталъ...

Не дожидаясь отвѣта, онъ придвинулъ себѣ стулъ и спокойно усѣлся.

Катерина Михайловна все еще не могла придти въ себя. Въ появленіи этого старика, друга, о которомъ она не думала, и

уже въ особенности теперь, было для нея столько ужаснаго. Въ ней поднялась тоска, заговорилъ страхъ...

«Какое счастье, что нѣтъ Бориса!—подумала она.—Но откуда онъ явился, откуда взялся? Какъ смѣлъ явиться?..»

И тоска, и страхъ, вызванные неожиданностью этого появленія, уступили мѣсто негодованію. Теперь блѣдность смѣнилась на ея лицѣ яркой краской. Мало-по-малу она овладѣла собою и взглянула ему въ глаза со всею ненавистью, на какую была способна.

— Графъ!—сказала она, и пренебреженіе прозвучало въ ея голосѣ:—вы просто испугали меня, я никого не ждала и не привыкла, что ко мнѣ входятъ безъ доклада... но я должна вамъ сказать, что и теперь... вашъ пріѣздъ меня изумляетъ... Я, кажется, не подала вамъ никакого повода... я считала васъ все-же благовоспитаннымъ человѣкомъ и думала, что мы съ вами давно незнакомы и не встрѣтимся больше, а ужъ особенно—у меня!..

Онъ нисколько не смутился.

— Ахъ, какъ вы не любезны!—сказалъ онъ.

И снова ей стало тяжело и неловко, и снова ей захотѣлось уйти, исчезнуть, спрятаться отъ этого человѣка съ его холодной, злой усмѣшкой на дрябломъ лицѣ, съ его горящими, страшными глазами.

— Намъ нечего объясняться!—произнесла она, наконецъ.—Скажите мнѣ только, что привело васъ сюда, что вамъ надо отъ меня? Наши счеты такъ давно кончены...

Онъ медленно покачалъ головою.

— Да, мы давно разстались съ вами,—заговорилъ онъ:—давно... вѣдь, ужъ около тридцати лѣтъ—цѣлая вѣчность!.. Мы разстались послѣ ссоры... вы обвиняли меня, мнѣ казалось, что главнымъ образомъ виноватъ не я, а вы; но, вѣдь... это было такъ давно!.. Много ли отъ насъ теперь осталось? И вы, и я уже не тѣ... Теперь мы можемъ глядѣть на прошлое спокойно, должны забыть все непріятное, что было между нами... Я давно это сдѣлалъ... Я помню только хорошія минуты и вотъ, на склонѣ моей печальной жизни, какъ говорятъ поэты, мнѣ хотѣлось еще повидать васъ—и я передъ вами, а вы такъ дурно меня встрѣчаете... Да протяните же руку, старый другъ! Неужели я ѣхалъ столько верстъ, трясся въ этихъ ужасныхъ русскихъ тарантасахъ, чтобы вы меня отъ себя прогнали...

Но она не давала ему руки. Она презрительно усмѣхнулась.

— Неужели вы думаете,—сказала она:—что я повѣрю этому вздору? Развѣ я васъ не знаю... видите—я очень терпѣлива; но не злоупотребляйте же моимъ терпѣніемъ... объясните мнѣ дерзость вашего пріѣзда!

— А!.. если такъ!—прошепталъ онъ—и на мгновеніе остановился. Лицо его передернуло, онъ устремилъ на Катерину Михайловну пристальный, пронизывающій взглядъ и добавилъ:

— Если такъ, я скажу вамъ истинную причину—я желаю видѣть моего сына...

У Катерины Михайловны все закружилось передъ глазами. Она едва удержалась отъ крика, который готовъ былъ вырваться изъ груди ея. Она хотѣла кинуться на этого старика и задушить его собственными руками.

А онъ говорилъ:

— Да, я слишкомъ долго маялся въ жизни и вотъ теперь, на старость лѣтъ остался одинъ, безъ родныхъ, безъ друзей... Я испыталъ всякія превратности, меня бросало и внизъ, и вверхъ... и наконецъ, я потерялъ не только близкихъ людей, но и состояніе... И вотъ я вспомнилъ, что далеко, въ Россіи, у меня есть близкое существо - мой сынъ... И хотя слишкомъ поздно, быть можетъ, но я почувствовалъ, что онъ мнѣ дорогъ, что я люблю его... я пустился въ путь, пріѣхалъ сюда, хочу его видѣть, и увижу... Я знаю, что онъ здѣсь...

Она снова была блѣдна какъ полотно. Она поняла, что поймана и что не вырвется изъ накинутыхъ на нее сѣтей, что этого человѣка не образумишь, не разжалобишь, не уговоришь. Она слишкомъ хорошо его знала.

Едва ворочая своимъ сухимъ языкомъ и стараясь придать спокойствіе голосу, она произнесла:

— Вы понимаете, что это вздоръ! Какой сынъ? У васъ нѣтъ сына! Вы, очевидно, хотите мнѣ мстить, вы желаете непріятности, скандала въ моей семьѣ... Но подумайте: я не беззащитна... нельзя безнаказанно врываться въ домъ для того, чтобы дѣлать дерзости хозяйкѣ...

— Вы говорите необдумавъ!—спокойнымъ тономъ отвѣтилъ старикъ.—Я именно и не хочу скандала, а вы, кажется, его сами желаете.

— Но онъ не повѣритъ вамъ!.. Онъ какъ слѣдуетъ отвѣтитъ на обиду, которую вы наносите матери!..

— Вы намѣреваетесь возстановить сына противъ отца...

Она вся дрожала какъ въ лихорадкѣ и будто сквозь туманъ и мракъ слышала страшный голосъ, говорившій:

— ... но я обдумалъ все... у меня съ собой доказательства того, что онъ мой сынъ... ваши письма... онъ долженъ будетъ имъ повѣрить!..

«Все кончено»!—съ отчаяніемъ подумала она, и новая страшная мысль пришла ей въ голову:

«А вдругъ кто-нибудь ихъ услышитъ?»

— Ради Бога, тише!—прошептала она.

— Не безпокойтесь!

Онъ всталъ, заглянулъ въ дверь, ведшую изъ террасы въ залу, и вернулся на свое мѣсто.

— Никого нѣтъ—и къ тому же я говорю тихо... вотъ вы... почти кричите!

— Продайте мнѣ эти проклятыя письма!—сказала она:—вы говорите, что потеряли состояніе, вамъ нужны деньги... Продайте мои письма и уѣзжайте, оставьте меня въ покоѣ... Что все это стоитъ?

И въ то-же время она думала:

«А что если я только этимъ доведу его до крайности... ос корблю его?.. Но нѣтъ, нѣтъ... онъ таковъ»...

Все-же она испугалась словъ своихъ, а между тѣмъ эти слова, очевидно, не произвели на него особеннаго дѣйствія, онъ оставался спокоенъ и, не опуская глазъ, тихо выговорилъ:

— Дорого все это стоитъ... да я полагаю: вы и не думаете, что я могу дешево продать эти письма и мое молчаніе... Вы сами поставили этотъ вопросъ... хорошо—поговоримъ... Мнѣ надо пять-сотъ тысячъ... Конечно, это не маленькая сумма, но для госпожи Горбатовой она не представитъ особеннаго затрудненія...

— Пятьсотъ тысячъ! Боже мой, да откуда я возьму эти деньги? Я совсѣмъ разорена, я и подумать не могу о такой суммѣ!

— Вы разорены!.. Я не зналъ этого... тѣмъ хуже!.. Впрочемъ, во всякомъ случаѣ, мы можемъ условиться... Я разсрочу... на первое время вы мнѣ дадите всего пятьдесятъ тысячъ, а затѣмъ будете платить проценты.

Она мучительно задумалась. Она соображала.

— Я и пятидесяти тысячъ не могу! Все что у меня есть теперь, это двадцать тысячъ... я готова, я дамъ вамъ ихъ сейчасъ... а вы отдайте мнѣ мои письма!..

Онъ покачалъ головою.

— Какъ это ни странно... такая бѣдность ваша, но я готовъ повѣрить вамъ, что больше двадцати тысячъ у васъ нѣтъ... хорошо, я возьму ихъ, но писемъ вамъ, конечно, не отдамъ... Я возьму деньги и уѣду, а затѣмъ, когда вы вернетесь въ Петербургъ, мы съ вами сговоримся и тогда увидимъ... согласны?..

Она съ отвращеніемъ, какъ на страшнаго и противнаго гада, на него взглянула, хотѣла что-то отвѣтить, но въ это мгновеніе въ залѣ послышались шаги, и на террасу вышелъ Николай.

Онъ направился было къ матери, но замѣтилъ незнакомаго человѣка и остановился въ изумленіи.

Старикъ всталъ, окинулъ Николая быстрымъ взглядомъ, поклонился ему и, обращаясь къ Катеринѣ Михайловнѣ, сказалъ:

— Познакомьте насъ!

Ея губы зашевелились, но она не произнесла ни звука. Она чувствовала, что вотъ, вотъ сейчасъ не выдержитъ и упадетъ. Вся терраса такъ и ходила, такъ и вертѣлась передъ ея глазами, въ виски стучало, захватывало дыханіе.

Она собрала всѣ силы и не своимъ голосомъ произнесла:

— Графъ Щапскій...

А затѣмъ, обратясь къ нему, прибавила:

— Я вернусь, принесу бумаги, о которыхъ мы говорили...

И она вышла въ залу, тихо, едва передвигая ноги, держась за мебель, не зная какъ дойдетъ до своихъ комнатъ.

Конецъ первой части.

Вс. С. СОЛОВЬЕВЪ.

ХРОНИКА ЧЕТЫРЕХЪ ПОКОЛѢНІЙ.

ИЗГНАННИКЪ

РОМАНЪ ПЯТИДЕСЯТЫХЪ ГОДОВЪ XIX ВѢКА

ВЪ ДВУХЪ ЧАСТЯХЪ.

Продолженіе романовъ «СЕРГѢЙ ГОРБАТОВЪ», «ВОЛЬТЕРЬЯНЕЦЪ» и «СТАРЫЙ ДОМЪ».

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
ИЗДАНІЕ Н. Ѳ. МЕРТЦА.
1904.

Дозволено цензурою. С.-Петербургъ, 16-го декабря 1903 года.

Типографія Т-ва «Народная Польза». Спб., Коломенская 39, соб д.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

I.

Старый кремень.

Снова коляска Бориса Сергѣевича спускается отъ Пречистенскихъ воротъ; но теперь она не заворачиваетъ къ Зачатѣевскому монастырю. Добрые кони мчатъ прямо по Остоженкѣ, затѣмъ сворачиваютъ въ одинъ изъ узкихъ, кривыхъ переулковъ и останавливаются у досчатаго, выкрашеннаго въ дикую краску забора, который сверху весь утыканъ, отъ воровъ и кошекъ, длинными острыми гвоздями. За заборомъ густо разрослись кусты акаціи и сирени, далѣе поднимаются вершины старыхъ тѣнистыхъ деревьевъ. Вотъ и ворота, вотъ и домикъ, небольшой домикъ съ мезониномъ.

Но и домикъ и ворота совсѣмъ не таковы, какъ у Кодрата Кузьмича. Все это старо, но видно—заботливый хозяйскій глазъ слѣдилъ за тѣмъ, чтобы скрыть слѣды этой старости. Ворота носятъ на себѣ признаки недавней починки. Домъ выкрашенъ, какъ и заборъ сада, въ дикенькій, пріятный для глаза цвѣтъ. Стекла оконъ такъ и блестятъ на солнцѣ; ставни ярко-зеленаго цвѣта такъ-же, какъ и крыша. На воротахъ съ каждой стороны надъ двумя калитками,—изъ которыхъ, впрочемъ, только одна—настоящая калитка, а другая фальшивая, для симметріи,—прибиты двѣ желтыхъ доски. На одной рука «живописныхъ дѣлъ мастера» изобразила:

«Сей домъ принадлѣжитъ дворянки Капитолинѣ Ивановнѣ Мироновой Пречистенской части 3-ва ква.»

На другой: «Свободенъ отъ постоя».

Борисъ Сергѣевичъ вышелъ изъ коляски и позвонилъ у калитки. На его звонокъ тотчасъ отозвался собачій лай.

«Ну,—подумалъ онъ, вспомнивъ свой визитъ Прыгунову:—и тутъ будетъ та-же исторія!»

Но онъ ошибся, ему не пришлось долго дожидаться. Калитка отворилась и выглянувшая изъ-за нея служанка вовсе не была похожа на придурковатую и грязную прислужницу Прыгуновыхъ,—напротивъ, это была степеннаго, почти даже важнаго вида женщина и весьма опрятная.

Она съ изумленіемъ взглянула на Горбатова, но когда онъ спросилъ, дома-ли Капитолина Ивановна,—очень любезно объяснила ему, что Капитолина Ивановна дома, что она въ саду, въ бесѣдкѣ.

— Пожалуйте, сударь,—сказала она:—вотъ сюда...

Дворъ былъ маленькій, но чисто выметенный, на немъ не расхаживали куры, собакъ была всего одна, да и та на цѣпи.

— Вотъ-съ, въ калитку, въ калитку пожалуйте!—говорила служанка.—Капитолина Ивановна такъ и наказали: коли кто къ нимъ, такъ въ садъ проводить, въ бесѣдку... Вотъ тутъ... все прямо, прямо по этой дорожкѣ. Да позвольте, я впередъ пройду—упредить ихъ...

— Пожалуйста!—сказалъ Борисъ Сергѣевичъ и пропустилъ служанку, которая быстрымъ шагомъ направилась прямо по дорожкѣ.

Онъ медленно послѣдовалъ за нею.

«Какъ здѣсь хорошо!»—невольно подумалъ онъ.

Онъ только что пріѣхалъ изъ Горбатовскаго, изъ своего громаднаго роскошнаго дома, изъ чуднаго парка, наполненнаго всѣми затѣями стараго барства, но несмотря на все это, маленькій садикъ казался ему привлекательнымъ: въ немъ вѣяло какой-то особенной тишиною.

Узенькая, усыпанная желтымъ пескомъ дорожка была чисточисто выметена. По обѣимъ сторонамъ ея шли грядки съ цвѣтами, старые кусты акаціи были тщательно подстрижены. За двумя развѣсистыми кленами, которыми оканчивалась эта дорожка, виднѣлся небольшой огородъ...

Вдругъ, гдѣ-то близко, Борисъ Сергѣевичъ услышалъ старческій голосъ, ворчливо говорившій:

— Такъ что-же это ты, мать моя, совсѣмъ, что-ли, одурѣла? Невѣдомо какого человѣка прямо сюда тащишь!..

Онъ остановился, хотѣлъ было повернуть назадъ; но это оказалось поздно. Онъ былъ передъ маленькой деревянной бесѣдкой. Въ бесѣдкѣ стоялъ бѣлый некрашеный столъ, на немъ блюда съ вычищенной малиной, банки. Возлѣ бесѣдки помѣщалась жаровня и на ней, въ ярко вычищенномъ мѣдномъ тазу, варилось, покрываясь бурливо поднимающейся пѣной, варенье.

У жаровни стояла дѣвочка лѣтъ двѣнадцати въ опрятномъ ситцевомъ платьѣ, съ прилизанными желтоватыми волосами, съ

очень скромнымъ и нѣсколько запуганнымъ видомъ. Она вѣткой отгоняла осъ, со всѣхъ сторонъ налетавшихъ на варенье.

Переведя глаза во внутренность бесѣдки, Борисъ Сергѣевичъ увидѣлъ озадаченную фигуру уже знакомой ему служанки, а за нею и Капитолину Ивановну.

Онъ не могъ ошибиться—это была она, по описанію Прыгунова. Маленькая толстая старушка, съ короткой шеей, съ круглой спиной. Она была совсѣмъ некрасива: большой, неопредѣленной формы носъ, обвисшія и теперь горѣвшія отъ жару и раздраженія щеки, нѣсколько ввалившійся, почти беззубый ротъ, маленькіе сѣрые, сохранившіе ясность и живость глаза, сѣдоватыя брови, выведенныя въ видѣ вопросительныхъ знаковъ, рѣдкіе сѣдые волосы, гладко причесанные и напомаженные; на головѣ чепчикъ съ кружевцами и лиловыми ленточками, коричневое полубатистовое платье съ бѣлыми мушками.

Все это мелькнуло передъ Борисомъ Сергѣевичемъ; но онъ пока, главнымъ образомъ, замѣтилъ только, что въ этой простенькой и некрасивой толстой старушкѣ есть нѣчто особенное, чего ему не часто приходилось встрѣчать въ людяхъ. Она взглянула на него и подъ ея взглядомъ онъ какъ-то невольно смутился, будто спросилъ себя:

«То-ли онъ дѣлаетъ, что нужно?»

А она между тѣмъ уже къ нему обратилась:

— Прошу извинить,—сказала она, видимо, однако, ничуть не смущаясь:—незнакомыхъ людей у меня не бываетъ... Эта женщина не догадалась просить васъ въ домъ. Съ кѣмъ имѣю удовольствіе говорить?

Борисъ Сергѣевичъ себя назвалъ.

Старушка изъ красной сдѣлалась багровой, сердитый огонекъ блеснулъ въ ея глазахъ. Но это было только мгновеніе. Она тотчасъ-же оправилась и, горделиво поклонившись гостю, проговорила:

— Здѣсь вамъ будетъ совсѣмъ неудобно, прошу за мною въ домъ.

— Машка!—прибавила она, обращаясь къ дѣвочкѣ:—смотри ты у меня, не упусти варенье! Да и ты тутъ оставайся, Лукерья.

— Слушаю-сь! — не безъ робости отвѣтила провинившаяся женщина.

Капитолина Ивановна важно, хотя и съ маленькой перевалкой, пошла впередъ, указывая гостю дорогу. Вотъ они поднялись по ступенькамъ маленькаго балкончика и вошли въ залу. Это была свѣтлая просторная комната, вся бѣлая—и обои бѣлые, и полъ бѣлый не крашеный, гладкій, блестящій какъ сло-

новая кость, и старая мебель въ бѣлыхъ чахлахъ, даже зеркало занавѣшено отъ мухъ бѣлой кисеей. Только и было цвѣтного во всей комнатѣ, что у каждаго окошка деревянныя, покрашенныя въ зеленый цвѣтъ горки съ горшками цвѣтовъ.

Капитолина Ивановна нѣсколько мрачно указала гостю на диванъ.

— Сядьте сюда, здѣсь вамъ будетъ удобнѣе.

А сама придвинула себѣ кресло, усѣлась и смотрѣла на Бориса Сергѣевича пристальнымъ взглядомъ. Ему рѣшительно становилось неловко подъ этимъ взглядомъ.

«Пренепріятная старуха»,—невольно подумалъ онъ. Но опять-таки было въ ней что-то такое, что его заинтересовало.

— Теперь прошу васъ объяснить мнѣ,—какое дѣло могло привести васъ ко мнѣ? Зачѣмъ я вамъ понадобилась?

Ея взглядъ сдѣлался совсѣмъ строгимъ и вопросительные знаки, то-есть брови сдвинулись, образуя на лбу безчисленныя морщины.

— Если вы вспомните вашъ послѣдній разговоръ съ Кодратомъ Кузьмичемъ Прыгуновымъ, то поймете, по какому случаю я рѣшился безпокоить васъ, Капитолина Ивановна.

Капитолина Ивановна изъ багровой сдѣлалась совсѣмъ синей, такъ что становилось за нее почти страшно. Она пожевала губами и кинула теперь уже откровенно сердитый взглядъ на гостя.

— Такъ-съ,—произнесла она:—понимаю, понимаю теперь все. Но если это вы послали ко мнѣ Прыгунова, то, полагаю я, вамъ извѣстно и то, что я ему отвѣтила?

— Извѣстно.

— Такъ чего-же вамъ еще отъ меня угодно?

— Вы сказали, что всѣ умерли.

— Да-съ!

— Въ такомъ случаѣ не будете-ли такъ добры подробно объяснить мнѣ, какъ они умерли.

— А зачѣмъ-бы это знать вамъ, сударь? Только буду просить я васъ, батюшка,—не ведите вы со мною политику... я, признаться сказать, терпѣть этого не могу.

— И я тоже этого терпѣть не могу,—сказалъ вслѣдъ за нею Борисъ Сергѣевичъ, улыбаясь своей кроткой улыбкой.

Она какъ-то поежилась и кашлянула. Дѣло въ томъ, что этотъ нежданный гость, помимо ея воли, начиналъ производить на нее хорошее впечатлѣніе.

«Какое у него прекрасное и благородное лицо!»—подумала она про себя, но тотчасъ-же и постаралась снова стать сердитой.

А Борисъ Сергѣевичъ продолжалъ:

— Я прямо и откровенно скажу вамъ все, такъ будетъ гораздо лучше, или вотъ что—прочту я вамъ нѣсколько строкъ одного письма.

Онъ вынулъ находившееся при немъ письмо покойнаго брата и прочелъ все, что касалось до Петруши и его матери.

— Т-а-къ!—протянула Капитолина Ивановна.—Но только все это напрасно...

— Какъ напрасно?—изумленно воскликнулъ Борисъ Сергѣевичъ.—Мнѣ тяжело осуждать умершаго брата, да и безполезно это; онъ былъ, конечно, очень виноватъ, но видите—и самъ страдалъ за свою вину, какъ это почти всегда бываетъ въ жизни. Онъ поручилъ мнѣ, насколько возможно, исправить сдѣланное имъ зло. Это предсмертная его просьба и, конечно, я не могу оставить ее безъ вниманія. Вы, вѣдь, понимаете это...

— Такъ-съ! — протянула опять Капитолина Ивановна.—Все это прекрасно и, конечно, ваши дѣйствія достойны всякой похвалы, но видите-ли, батюшка, поздно ужъ очень!.. Какъ сказала я Прыгунову, Кодрату Кузьмичу, такъ и вамъ повторяю: нѣтъ ихъ на свѣтѣ—умерли? Что-же съ этимъ подѣлаешь? Кому-же вы благодѣтельствовать-то будете? И что я еще могу сказать вамъ?! Вы узнали, не понимаю какимъ способомъ, что мнѣ это дѣло извѣстно, спрашиваете меня—я не отпираюсь. Да, батюшка, знала я, хорошо знала несчастную соблазненную вашимъ покойнымъ братомъ дѣвушку. Была она дочерью воспитанницы моей матушки. Матушка воспитанницу свою выдала замужъ, пристроила за человѣка хорошаго, непьющаго, ну, само собою, не за дворянина—купцомъ онъ былъ... Сашеньку я помню совсѣмъ маленькой... Жили они сначала въ Москвѣ, а затѣмъ отецъ ея получилъ въ наслѣдство лавку въ Петербургѣ—вотъ и переѣхали они тогда. Да ужъ, видно, такова воля Божья—умеръ онъ тамъ, а за нимъ и жена скоро. Осталась Сашенька сироткой, на рукахъ у отцовой родни, да непутные-то люди оказались, не уберегли ее... Подвернулся вашъ братецъ, важный баринъ, собою красавецъ... Ну, какъ они тамъ все это... вспоминать не хочу... Писала мнѣ Сашенька, да долго скрывалась отъ меня, а потомъ и не выдержала. А у меня къ тому-же времени дѣло въ Петербургѣ оказалось, я и собралась, и поѣхала. Пріѣхала и вижу: срамъ и позоръ! Она, конечно, что-же... дѣвушка простая... (голосъ Капитолины Ивановны дрогнулъ). Обидѣть ее и не церемониться съ нею не грѣхъ важному барину! Можетъ, у него и не одна она такая была... за честь должна была считать. Ну, а я то вотъ, извините вы меня, за безчестіе почла. Объяснила ей все, послушалась она меня... да и несчастна больно была... Увезла я ее. Съ тѣхъ поръ, вѣдь, болѣе тридцати годовъ прошло! Увезла

я ее ужъ больную, и года не протянула моя Сашенька—скончалась... а за нею и мальчикъ... Вотъ вамъ и весь мой сказъ!..

Борисъ Сергѣевичъ покачалъ головою и пристально, будто магнетизируя Капитолину Ивановну, сталъ смотрѣть ей въ глаза. И чудное дѣло—не выдержала она его взгляда, неловко ей такъ подъ нимъ стало.

«Да что-же онъ въ меня уставился?—сердито думала она.—Чего это въ душу-то заглядываетъ?»

— Не хорошо!—спокойно проговорилъ Борисъ Сергѣевичъ:—не хорошо это—зачѣмъ вы меня обманываете? Вѣдь, я знаю, что они живы, а если мать и умерла, такъ ужъ ребенокъ-то живъ навѣрно!

— Знаете?.. Какъ знаете?.. Откуда?—снова вся вспыхивая прошептала Капитолина Ивановна.—Кто могъ вамъ выдумать это, когда они умерли?..

— Я не знаю вашей цѣли,—сказалъ онъ.—Если вы рѣшились скрывать отъ меня и молчать—что-же я могу съ этимъ сдѣлать! Одно только знайте,—я этого дѣла не оставлю. Люди такъ не пропадаютъ. Если они дѣйствительно умерли, то потрудитесь мнѣ представить тому доказательства.

— Не нахожу нужнымъ даже и этого, батюшка, не нахожу нужнымъ...—нѣсколько разъ упорно повторила Капитолина Ивановна, глядя на гостя вызывающимъ взглядомъ.

— А, впрочемъ,—прибавила она:—потрудитесь обратиться на Ваганьковское кладбище—тамъ я ихъ схоронила...

«Ну, что-же ты? Ну чего еще ждать? Ну, и уходи...»—думала она.

Онъ взялъ шляпу и поднялся съ дивана.

— Извините,—сказалъ онъ:—я пришелъ къ вамъ не со зломъ и не знаю, зачѣмъ вамъ нужно лишать человѣка того, что, можетъ быть, составитъ его счастье.

— То-же вотъ самое и дѣлецъ вашъ, Кодратъ Кузьмичъ, мнѣ говорилъ,—уже совсѣмъ насмѣшливо воскликнула Капитолина Ивановна.—Только мнѣ все невдомёкъ: какое такое счастье вы бы принесли этому незаконнорожденному сыну вашего брата, если-бы онъ и въ живыхъ былъ? Вѣдь, признать его законнымъ, дать ему вашу знаменитую фамилію вы не можете... Что-жъ! обогатить его—это вы, что-ли, подразумѣваете? Такъ развѣ въ богатствѣ счастье? Да сами-то вы, будучи богаты и знатны, испытали вы счастье отъ богатства и знатности? Если было у васъ счастье въ жизни, такъ откуда пришло оно—деньги его дали, что-ли? Такъ-то, государь мой, ужъ коли на то пошло!..

И она глядѣла все съ той-же насмѣшливой улыбкой.

— Да, вы правы,—откровенно признался онъ:—но я долженъ

исполнить волю покойнаго брата и этотъ сынъ его—мнѣ не чужой. Если-бы я нашелъ его, я далъ-бы ему не однѣ деньги, я былъ-бы ему роднымъ и близкимъ человѣкомъ, и, можетъ быть, это на что-нибудь ему-бы и пригодилось.

— У васъ есть другіе родные... есть племянницы законные...

Невольно заныло его сердце при этихъ словахъ.

— Любите ихъ, этихъ вашихъ наслѣдниковъ, любите ихъ— и они пусть васъ любятъ. А ужъ Петрушу бѣднаго оставьте въ его могилкѣ...

«Что-же это?—думалъ Борисъ Сергѣевичъ,—ошибся, что-ли, Прыгуновъ? Правду она говоритъ или нѣтъ? Есть что-то, есть!.. Крѣпкая старуха... И, вѣдь, справедливо разсуждаетъ... и нечего ей отвѣтить...»

Онъ раскланялся и вышелъ. Капитолина Ивановна любезно проводила его и затѣмъ, подойдя къ окошку, смотрѣла, какъ онъ садился въ коляску.

«Что, небось, смутила я тебя?—думала она.—Правда, вѣдь, батюшка, правда! Нечего сказать, важны очень! Эхъ, благодѣтели... благодѣтели!.. Надсмѣяться надъ человѣкомъ, изуродовать его, жизнь всю его загубить... уложить въ могилу раннюю, а потомъ, черезъ тридцать-то лѣтъ, съ благодѣяніями! Нечего, батюшка, нечего... возвращайся ты въ твои золотыя хоромы несолоно похлебавши, а ужъ мы тутъ въ бѣднотѣ своей останемся, не про насъ ваши золотыя хоромы... Петруша! На поди, ищи— нѣтъ его, умеръ Петруша!.. Доказательства... добьюсь, говоритъ... Какъ-же, добьется!. И Прыгуновъ тоже, старый подъячій, со мной тягаться вздумалъ! Ну, что-же, Кузьмичъ, потягаемся, потягаемся, умная голова...»

«Однако, что-же я—пойти скорѣе посмотрѣть—не переварила ли Машка варенье!..»

II.

На Остоженкѣ.

Капитолина Ивановна съ давнихъ лѣтъ была неотъемлемой принадлежностью Остоженки, гдѣ ее знали всѣ безъ исключенія, отъ мала до велика. Когда она выходила изъ своего домика, лѣтомъ—въ коричневомъ платьѣ съ бѣлыми мушками, въ черной шелковой мантильѣ и удивительной шляпѣ, похожей на будку, а зимою—въ широчайшемъ лисьемъ салопѣ и капорѣ, превращавшихъ ея фигуру въ шаръ,—ей приходилось останавливаться почти на каждомъ шагу.

— Здравствуйте, Капитолина Ивановна!

— Какъ здоровьице, почтеннѣйшая Капитолина Ивановна?

— А, Капитолина Ивановна! Только что я подумалъ: что это васъ давно не видно, матушка, а вы и тутъ какъ тутъ!

Капитолина Ивановна отвѣчала на всѣ эти привѣтствія, соблюдая притомъ различные оттѣнки. Иногда она улыбалась, останавливалась и вступала съ встрѣчнымъ или съ встрѣчной въ бесѣду. Иному или иной просто кивала головою и важно проходила дальше. А то случалось и такъ, что вмѣсто всякаго отвѣта на привѣтствіе она грозилась пальцемъ и строго говорила:

— Ну... ну... ну... нечего лебезить-то, да спину гнуть, я тебѣ не начальство... Что сиротой казанской прикидываешься? Знаемъ мы всѣ ваши продѣлки!..

Такой строгій репримандъ относился обыкновенно къ толстому и лоснящемуся отъ жиру хозяину большого магазина, на вывѣскѣ котораго значилось:

«Торговля чаемъ, сахаромъ, колоніальными товарами и прочими иностранными винами!»

Въ отвѣтъ на такую строгость почтенный купчина только усмѣхался, облизывался и, ничуть не смущаясь, продолжалъ:

— Не зайдете-ли, матушка, Капитолина Ивановна, медку я вамъ могу предложить новаго полученія... ароматъ... я вамъ скажу, деликатесъ! Однимъ словомъ, амбрэ!.. Чаи тоже китайскіе получены, самые что ни на есть лучшіе, особливо могу рекомендовать вамъ, матушка, «чухунмы затхленькій...» букетецъ!..

Онъ складывалъ свои красные, жирные пальцы вмѣстѣ, подносилъ ихъ ко рту и чмокалъ.

— Ну тебя совсѣмъ съ твоимъ затхленькимъ букетцемъ!— сердито произносила Капитолина Ивановна.—То-то вотъ и есть, что ты, братъ, затхленькаго много держишь у себя... Въ прошлый разъ такую икру подсунулъ, что тошно глядѣть было, осрамилъ совсѣмъ...

Купчина таращилъ глаза и разводилъ руками.

— Что вы, матушка, обижаете! Какъ такое могло статься? Вамъ, да чтобы я дурного товара отпустилъ!.. Кажись, столько лѣтъ угождать стараюсь...

— Что-же я тебѣ врать, что-ли, буду?

— Зачѣмъ врать, сударыня... А ужъ и ума не приложу, какъ такое могло статься... Развѣ вотъ Прошка какъ-нибудь невзначай сбился... такъ я ему тутъ-же, при васъ, сударыня, уши надеру.

— Ахъ, ты, иродова твоя совѣсть! Сбился... уши надеру... то-то вотъ... одному вотъ получше товаръ, другому похуже за ту-же цѣну... Мальчишку надувать учитъ... Уши надеру!.. За что-же

ты, брюхо, уши драть ему будешь? Тебя вотъ самого выпороть хорошенько!.. Бога позабылъ... одумайся... Вѣдь, ты, что-же, не сегодня-завтра лопнешь, взгляни на себя... лопнешь, такъ съ собою въ могилу, что-ли, возьмешь деньжищи? Вѣдь, тутъ оставишь... А мальчишки твои протрутъ имъ глаза—не путемъ добытыя деньги прахомъ и пойдутъ. Такъ-то, Прохоръ Петровъ, подумай-ка на досугѣ объ этомъ, подумай, не на вѣтеръ я говорю-же. А, да ну тебя! Что мнѣ тутъ съ тобою... некогда...

И она, важная и строгая, плыла дальше.

Прохоръ Петровъ, давно уже выстроившій себѣ каменныя палаты и разъѣзжавшій на рысакахъ по Петровскому парку съ супружницей и дщерью, вовсе не привыкъ къ подобнымъ репримандамъ. Напротивъ, даже нѣкоторые большіе господа къ нему относились съ любезностью, такъ какъ онъ давалъ деньги подъ вѣрное обезпеченье и за солидные проценты. Другого онъ, хорошо знавшій себѣ цѣну, сумѣлъ бы и обрѣзать, а вотъ Капитолина Ивановна могла говорить что ей угодно и онъ выслушивалъ. А когда она уходила, то даже задумывался на мгновеніе:

«Строгая старуха, строгая!»—повторялъ онъ про себя.

Но при этомъ онъ не задавалъ себѣ вопроса, почему-же онъ такъ смиряется передъ этой строгой старухой, которая не знатна, не богата и не состоитъ въ числѣ его очень выгодныхъ покупательницъ. «Что ужъ съ ней подѣлаешь? Извѣстно, она такая... Вѣдь, это никто другой сказалъ, это Капитолина Ивановна...»—и больше ничего.

Дѣти побаивались Капитолины Ивановны и не въ каждую минуту рѣшались къ ней обращаться съ привѣтствіемъ. Иной разъ какой-нибудь мальчуганъ въ длинноломъ, чуть-ли не до пятокъ сюртучищѣ, передѣланномъ изъ стараго отцовскаго, или дѣвчонка въ накинутомъ на голову платкѣ, пропищатъ ей при встрѣчѣ:

— Мое почтеніе, Капитолина Ивановна!

А она поведетъ однимъ глазомъ и только промолвитъ:

— Брысь... Кыш-шъ!..

И мальчишка, и дѣвчонка тотчасъ-же сокращаются.

А другой разъ случится и такъ: улыбнется она и даже остановится.

— Ну, здравствуй, здравствуй,—скажетъ. Ишь, вѣдь, ты ростешь, словно гонитъ кто тебя кверху! Гляди, меня переросъ, а ума то, чай, ни на волосъ не прибавилось, шелопайничаешь, по улицѣ таскаешься... Ну, чего ты тутъ торчишь. Ступай за буковникъ, долби, лѣнтяй... На вотъ... на!..

Порывшись въ своемъ карманѣ, она вытаскиваетъ гривенникъ, а то такъ даже и двугривенный, и даетъ его лѣнтяю.

— Купи леденцовъ, грызи, вострн зубы!.. Ну, прочь съ дороги...

— А! и ты тутъ, булка!—прибавляетъ она, замѣчая умильно улыбающуюся ей бѣлолицую сдобную дочку булочника, вѣчно сидящую на заваленкѣ возлѣ булочной.

— Въ добромъ-ли здоровьѣ, Капитолина Ивановна?—тоненькимъ сладкимъ голосомъ заговариваетъ сдобная булочница, медленно поднимаясь съ заваленки.

— Видишь, чай,—здорова! А ты то вотъ, мать моя, все ни съ мѣста, распустилась совсѣмъ... гуща ты, гуща! Проснись, матушка, доползи до меня вечеркомъ, ленточки у меня тебѣ приготовлены—хорошія...

— Покорно благодаримъ, Капитолина Ивановна!

Круглые, на выкатѣ, глаза дѣвушки начинаютъ сіять.

— Такъ вечеркомъ, вы говорите?

— Да вечеркомъ, то-то... гуща...

Капитолина Ивановна дѣлаетъ строгое лицо и идетъ дальше.

Въ субботу послѣ всенощной и въ воскресенье послѣ обѣдни къ Капитолинѣ Ивановнѣ обыкновенно подходили всѣ важные прихожане, мужчины и дамы, освѣдомлялись о здоровьѣ. Церковный староста, Прыгуновъ, спѣшилъ къ ней съ просфиркой; батюшка изъ алтаря высылалъ другую.

Капитолина Ивановна принимала всѣ эти знаки вниманія спокойно и съ достоинствомъ, какъ должную и привычную дань. Иногда она удостоивала кой-кого приглашеніемъ къ себѣ на пирогъ и отъ такой чести никто не отказывался. А если какой-нибудь легкомысленный прихожанинъ или дама, уже заранѣе намѣтившіе иное, болѣе интересное времяпровожденіе, вздумаютъ извиняться, выставляя болѣе или менѣе серьезные предлоги, Капитолина Ивановна поджимала губы и цѣдила:

— Очень жаль, очень жаль!..

И она долго не забывала такой провинности.

Если какой-нибудь новый человѣкъ, случайно попавшій въ Остоженскій районъ, заинтересовывался Капитолиной Ивановной и желалъ знать кто она, и что, и откуда происходитъ ее исключительное положеніе и всеобщее къ ней почтеніе,—онъ никакъ не могъ получить удовлетворительнаго отвѣта. Вопросъ его всѣхъ озадачивалъ.

— Капитолина то Ивановна?—отвѣчали ему.—Да ее всѣ знаютъ, она испоконъ вѣковъ тутъ живетъ... Строгая старуха, не дай Богъ ей на языкъ попасться!..

— Да кто-же она такая: незамужняя... вдова?

— Вдова она, вдова.

— Кто-же ея мужъ былъ?

Но никто не зналъ, кто былъ ея мужъ, потому что она чи-

когда никому о немъ не говорила. Онъ, очевидно, въ ея жизни не сыгралъ особенной роли, да и умеръ очень давно, не въ Москвѣ, а гдѣ-то далеко, на какой то изъ окраинъ Россіи, гдѣ онъ служилъ. Капитолина Ивановна получала за его службу пенсію—двадцать восемь рублей съ копѣйками въ мѣсяцъ и аккуратно, въ назначенный срокъ, отправлялась за этой пенсіей.

Отъ матери своей, про которую было извѣстно, что звали ее Аграфеной Николаевной, Капитолина Ивановна получила въ наслѣдство небольшой капиталъ, на который въ незапамятныя времена купила домъ, а остальное положила на проценты и жила этимъ.

Сколько она имѣла—она тщательно скрывала отъ всѣхъ, на недостатокъ никогда не жаловалась, а достатка особеннаго не было видно. Жила она расчетливо и жизнь ея стоила немного въ тѣ блаженныя времена, когда на Остоженкѣ все было очень дешево и когда даже Прохоръ Петровъ продавалъ лучшую паюсную икру по сорока копѣекъ за фунтъ.

Домикъ у Капитолины Ивановны былъ небольшой. Изъ залы шла гостиная, потомъ столовая и спальня, черезъ корридоръ помѣщалась просторная кухня и изъ того же корридора вела узенькая лѣстница въ мезонинъ, гдѣ находились двѣ комнаты. Одна изъ нихъ носила названіе «дѣвичьей» и въ ней помѣщалась прислуга, дѣвочка Машка да Лукерья-кухарка, она же старшая горничная. Другая комната, предназначенная для гостей, испоконъ вѣковъ стояла пустая. Убранство домика было крайне незатѣйливое; но зато все поражало у Капитолины Ивановны своей чистотой и опрятностью.

Бѣдная Машка должна была разъ по десяти въ день обходить всѣ комнаты, навьюченная тряпками, вѣнками и метелками, и сметать со всего пыль. Но даже и этимъ не ограничивалась Капитолина Ивановна. Она сама въ свободныя минуты, «ради моціона», какъ говорила, тоже вооружалась тряпкой и метелкой.

Хозяйка Капитолина Ивановна была отличная и гордилась своимъ искусствомъ. Дѣйствительно, когда она въ праздничные дни угощала гостей, то угощала ихъ на славу. Ни у кого нельзя было наѣсться такой кулебяки, отвѣдать такихъ наливокъ, такого варенья.

Жизнью своей Капитолина Ивановна очевидно была довольна, по крайней мѣрѣ никогда не скучала и не грустила. Просыпалась она рано зимой и лѣтомъ—часовъ въ шесть. Проснувшись, любила съ четверть часика полежать на мягкихъ пуховыхъ перинахъ своей широкой старинной кровати,—«передохнуть», какъ она говорила. Затѣмъ она вставала, усердно молилась передъ кіотомъ, наполненнымъ старыми почернѣлыми образами и образ-

ками, разными ладанками, шнурочками, свѣчками и «маслицами», сохранявшимися отъ многочисленныхъ богомольныхъ поѣздокъ, совершенныхъ ею въ жизни.

Помолившись, она приступала къ своему туалету, то есть къ умыванію. Умываніе это длилось почти часъ времени и воды Капитолина Ивановна изводила столько, что Лукерья и Машка, таскавшія кувшинъ за кувшиномъ, иной разъ просто доходили до отчаянія.

Однако, высказать своего отчаянія онѣ не смѣли строгой барынѣ, и хотя обѣ были наемныя и вольныя и ничѣмъ не связаны съ Капитолиной Ивановной, но боялись ее до того, что даже и мысль никогда не могла придти въ голову покинуть ее и найти себѣ другое мѣсто, гдѣ барыня заботилась бы о чистотѣ и была бы не такъ взыскательна.

Умывшись и одѣвшись, Капитолина Ивановна выходила въ столовую, небольшую комнату съ круглымъ столомъ по серединѣ, дюжиной соломенныхъ стульевъ да двумя шкафами съ посудой. Она усаживалась къ столу, на которомъ уже кипѣлъ самоваръ и стояла корзинка съ мягкими сдобными булками.

Капитолина Ивановна, какъ истая москвичка, очень любила чай, горячій съ густыми сметаноподобными сливками, и пила его иногда чашекъ по восьми, десяти. Въ это время къ ней подсаживалось два сѣрыхъ толстыхъ кота, давно уже составлявшихъ принадлежность ея дома. Нельзя сказать, чтобы она ихъ особенно любила, но все-же чувствовала къ нимъ нѣкоторую симпатію. Они были такіе-же чистоплотные, какъ и она, ходили неслышно, не надоѣдали ей и, при первомъ же ея нетерпѣливомъ движеніи, пропадали безслѣдно. Иногда, во время этого утренняго чаепитія, она останавливала на нихъ свое вниманіе и молча глядѣла то на одного, то на другого. И они въ свою очередь пристально и не мигая глядѣли ей въ глаза своими круглыми желтыми глазами.

— Ну вы, дураки!—вдругъ заговаривала Капитолина Ивановна и звала Машку.—Пойди, принеси кошачьи блюдечки!

Машка возвращалась съ двумя блюдечками. Капитолина Ивановна наливала въ нихъ сливокъ, разбавляла кипяткомъ и приказывала Машкѣ поставить въ уголъ. Коты мягко спрыгивали со стульевъ и, поднявъ хвосты и мурлыча, подбирались къ молоку. Но оно было еще горячо—они отскакивали, потомъ опять приближались, вытягивали морды, нюхали и осторожно пробовали языкомъ.

Капитолина Ивановна внимательно слѣдила за ихъ граціозными движеніями, наливала себѣ новую чашку чая, на этотъ разъ уже безъ сливокъ и «въ прикуску».

Отпивъ чай, Капитолина Ивановна принималась за хозяйскія хлопоты: — навѣщала кладовую, потомъ проводила немало времени на кухнѣ, внимательно разглядывала принесенную Лукерьей съ рынка провизію и внушала ей, что и какъ нужно приготовить. Обѣдала Капитолина Ивановна обыкновенно въ два часа и только по праздникамъ, когда у нея бывали гости, послѣ обѣдни подавался завтракъ, а обѣдъ готовился къ четыремъ часамъ.

Въ дурную погоду Капитолина Ивановна никогда не выходила изъ дома и если не было посѣтителей, очень любила заниматься чтеніемъ. Чулокъ она вязала и вышивала обыкновенно только на людяхъ, во время разговора. Былъ у нея старый-престарый знакомый Порфирій Яковлевичъ, который являлся къ ней аккуратно почти каждую недѣлю и поставлялъ ей книги. Иностранныхъ языковъ она не знала, но все, что появлялось въ русской литературѣ, ее интересовало и было ей знакомо. Гоголя она прочла нѣсколько разъ съ особеннымъ удовольствіемъ и ставила его несравненно выше Пушкина.

— Это вотъ настоящій сочинитель,—говорила она:—умрешь съ нимъ со смѣху, да и призадумаешься тоже: въ самую суть попадетъ, насквозь видитъ... Нѣтъ, Пушкинъ что!—высоко заносится, далеко залетаетъ!.. Хорошо, что и говорить, хорошо, да не для насъ грѣшныхъ... А этотъ вотъ взялъ, да цѣликомъ тебя какъ есть и выставилъ... и никуда ты отъ него не уйдешь. Нѣтъ, не было еще у насъ такого сочинителя, да врядъ ли и будетъ!..

Впрочемъ, не безъ удовольствія читала Капитолина Ивановна и новыя книжки журналовъ: «Современникъ» и «Отечественныя записки». Доставляли ей удовольствіе и баронъ Бромбеусъ, и Булгаринъ. Только не любила она тѣхъ исторій, гдѣ много про любовь говорится.

— И все это вздоръ,—разсуждала она:—такъ блажь на себя люди напускаютъ... и никакой такой любви нѣту: одна срамота, одна мерзость! Только пусть вотъ господа сочинители надъ дураками да надъ подлецами смѣются, ихъ продѣлки пусть выставляютъ, всякую вещь своимъ именемъ называютъ, глаза простячкамъ открываютъ, тогда это, точно, настоящая будетъ словесность, и цѣна ей будетъ большая, потому пользу не малую принести можетъ. А «охи» да «ахи», да разные выкрутасы—это не словесность. Расписываетъ онъ какую-нибудь вертлявую дѣвчонку и ни вѣсть она что у него — ангелъ во плоти, неземное созданіе!.. Да гдѣ-же это онъ такихъ неземныхъ созданій нашелъ?.. Вретъ, вретъ... Еще какія земныя-то всѣ эти Людмилы!.. Тьфу!.. срамота—и ничего больше!..

III.

Колдунья.

Посѣщавшіе домъ Капитолины Ивановны дѣлились на два разряда: на «гостей» и на «своихъ людей». Гостями считались всѣ свѣтскіе знакомые, люди съ весьма виднымъ положеніемъ въ московскомъ обществѣ, богатые и почтенные. По большей части знакомство съ такими людьми Капитолина Ивановна завела очень давно и оно передавалось изъ поколѣнія въ поколѣніе.

Каждому *гостю* вмѣнялось въ первую обязанность помнить день именинъ и рожденія Капитолины Ивановны и въ эти дни являться къ ней съ поздравленіями. Затѣмъ время отъ времени «гости» получали приглашеніе въ праздничные дни на кулебяку или на обѣдъ, и тогда въ маленькомъ простенькомъ домикѣ встрѣчалось избранное московское общество.

Расфранченыя дамы и дѣвицы разсаживались на жесткой старой мебели, украшенные служебными знаками отличія кавалеры вели чинные разговоры, и каждый и каждая зорко слѣдили за собою, чтобы не сдѣлать и не сказать чего-нибудь неугоднаго хозяйкѣ. Пуще всего всѣ остерегались своего роднаго языка, то есть французскаго, который Капитолина Ивановна понимала съ грѣхомъ пополамъ и на которомъ никогда не отваживалась произнести ни одного слова.

Но у иныхъ изъ «гостей» привычка болтать по-французски была такъ сильна, что время отъ времени они, забывшись, проговаривались. Въ такомъ случаѣ строгій видъ Капитолины Ивановны мгновенно ихъ «осаживалъ», по ея любимому выраженію. Однако, было уже поздно. Капитолина Ивановна обращалась къ провинившейся (провинившимися, по большей части, бывали дамы).

— А позвольте спросить,—говорила она съ легкой усмѣшечкой:—секретъ это отъ меня или нѣтъ—о чемъ вы разсказываете? Если не секретъ, такъ прошу ужъ я васъ, матушка, переведите! Интересно бы послушать...

Барыня конфузилась и старалась вывернуться.

— Да что вамъ за охота притворяться, почтеннѣйшая Капитолина Ивановна? Вѣдь, вы отлично понимаете по-французски...

— Нѣтъ, матушка, какъ есть не понимаю... ни слова... хоть убейте! Что дѣлать—не учена!.. Въ мое время каждый на своемъ родномъ языкѣ говорилъ и стыдомъ того не почиталъ...

Сконфуженная барыня поспѣшно переводила свои слова и еще больше начинала слѣдить за собою.

Но такія стѣсненія и строгости Капитолины Ивановны ни чуть не отваживали отъ нея гостей. Всѣмъ почему-то было уютно и хорошо въ этой необычной обстановкѣ, да и сама Капитолина Ивановна дѣйствовала, какъ нѣчто новое, свѣжее, оригинальное.

Иной разъ она умѣла, сохраняя самый серьезный видъ, разсказать что-нибудь смѣшное, отпустить острую шпильку насчетъ какой-нибудь важной барыни или еще болѣе важнаго господина. Наконецъ,—вѣдь, это была Капитолина Ивановна, та самая Капитолина Ивановна, реприманды и строгости которой выслушивали еще отцы, да, пожалуй, и дѣды этого собравшагося элегантнаго общества!

И, разъѣзжаясь отъ Капитолины Ивановны, всѣ были въ хорошемъ настроеніи, на всѣхъ лицахъ была улыбка.

— Пресмѣшная и преумная старуха!

— Да, только-бы ей на языкъ не попасться—по косточкамъ разберетъ, такъ на смѣхъ подниметъ, что никуда и не дѣнешься...

— А какъ она графа то нынче отдѣлала! И, вѣдь, вѣрно, тамъ что ни говорите... И откуда она только все знаетъ... такія подробности интимныя... Сидитъ въ своемъ переулочкѣ, а ничего-то отъ нея не скроется...

— Mon Dieu, mais elle est une sorcière, la Капитолина Ивановна! C'est connu depuis longtemps!.. Она взглянетъ на васъ—и всѣ мысли ваши знаетъ. Развѣ вы этого не замѣтили!?. И потомъ... ворожитъ на кофе... гадаетъ... Да развѣ вы не помните, какъ три года тому назадъ, когда у Игнатскихъ брилліанты пропали, она имъ вора открыла и указала гдѣ вещи?

— Да, да, слышалъ я что-то такое... Да, вѣдь, это вздоръ, конечно, пустяки...

— Mais non, du tout! Помилуйте, мнѣ это дѣло отлично извѣстно... Пріѣзжаетъ она къ Игнатскимъ... они въ отчаяніи! Подумайте: брилліантовъ-то тысячъ на сто, одинъ фермуаръ Натальи Николаевны что стоитъ, вѣдь, заглядѣніе...

— Да, да... я знаю...

— Ну, такъ вотъ и спрашиваетъ Капитолина Ивановна: что такое?—ей подробно разсказали. Выслушала, помолчала, подумала, пожевала губами, да и говоритъ: «дайте-ка мнѣ кофейной гущи—я вамъ погадаю, можетъ, и вора открою». Подали гущу... Даже разсердилась Наталья Николаевна, сама мнѣ разсказывала: «такая, говоритъ, досада, такое горе, а старуха насмѣшничаетъ, на гущу гадать хочетъ»...

— Ну, и что-же?

— А то, что посмотрѣла наша Капитолина Ивановна въ гущу, что тамъ увидѣла — это ужъ ея дѣло, а говоритъ:

«знаю я вора». И смотритъ такъ строго и серьезно, что Натальѣ Николаевнѣ пришло на мысль: «а что какъ она и впрямь знаетъ?..» «Кто-же воръ?—спрашиваетъ.—Всѣхъ людишекъ обыскали, ничего не нашли. Да и кромѣ старухи Анфисы...» знаете, вѣдь, чай, Игнатовскую старуху Анфису?

— Ну, да, какъ-же не знать! Такая почтенная...

— Вотъ и говоритъ Наталья Николаевна, никто, говоритъ, кромѣ Анфисы и не входилъ ко мнѣ въ спальню и не зналъ, гдѣ спрятаны были мои вещи, не могу же я на нее подумать? «Боже спаси васъ и помилуй! — это Капитолина Ивановна отвѣчаетъ,—грѣхъ великій такую хорошую женщину къ мерзости этой приплетать! Ищите вора дальше... Полно, такъ-ли, что никто въ вашу спальню хода не зналъ да брилліантовъ вашихъ не видывалъ,—а Ѳетисовъ-то на что?..» Наталья Николаевна даже растерялась совсѣмъ. «Матушка,—говоритъ,—да неужто онъ это сдѣлалъ? Какъ на такого человѣка подумать? Вѣдь, двоюродной племянницы мужъ, дворянинъ, въ гвардіи въ Петербургѣ служитъ, молодой человѣкъ такой скромный и почтительный... и родство у него хорошее». «Такъ оно, все такъ,—говоритъ Капитолина Ивановна: — а вора я вамъ назвала и гдѣ ваши вещи тоже знаю». Наталья Николаевна ни жива, ни мертва: «а вдругъ не такъ оно, и Ѳетисовъ ни въ чемъ неповиненъ... да и срамъ: вѣдь, родственникъ!.. и племянницу тоже жалко, а оставить такое дѣло никакъ невозможно — шутка сказать: фамильные брилліанты». Капитолина Ивановна и говоритъ: «срамъ оно, точно—срамъ, да что тутъ дѣлать! Неужто негодяя, вора покрывать?! А про племянницу тоже не говорите: несчастная она женщина, ее отъ такого мужа спасти надо, дурно онъ къ ней относится, да и къ тому же ее обманываетъ: давно ужъ мерзавку завелъ, не то цыганку, не то польку— Богъ ее тамъ знаетъ... На Таганкѣ живетъ въ домѣ купца Парамонова, у нея и брилліанты всѣ ваши, если чего не спустила...» И такъ это она убѣдила Наталью Николаевну, что та тутъ же велѣла закладывать и прямо къ оберъ-полиціймейстеру. «Велите, говоритъ, произвести обыскъ на Таганкѣ у такой-то женщины». Ну—и нашли всѣ брилліанты. Польку эту въ Сибирь сослали. Племянница, какъ вы знаете, и теперь съ сынкомъ своимъ у Игнатскихъ живетъ. А Ѳетисова пожалѣли, ради родныхъ пожалѣли, притушили дѣло, только велѣли ему сгинуть. Онъ сгинулъ... слышно гдѣ-то на Кавказѣ, что-то тамъ такое, мѣсто какое-то получилъ, вѣрнаго не знаю — не у Игнатскихъ же спрашивать—они имени его не могутъ слышать!..

И не одну такую исторію разсказывали про Капитолину Ивановну. Она не только указывала воровъ и находила пропав-

шія вещи, но и предузнавала будущее, то есть: чѣмъ кончится такое-то дѣло, выйдетъ-ли такая-то за такого-то замужъ. Къ ея совѣту не разъ прибѣгали въ семейныхъ неурядицахъ и раздорахъ, и всегда она разумно разбирала чужое дѣло и, слѣдуя ея совѣтамъ, люди выходили изъ большихъ затрудненій.

Однако, надо полагать, что засаленныя карты, которыя она раскладывала, и гуща, въ которую она глядѣла, были тутъ не причемъ.

Природа надѣлила старуху яснымъ, холоднымъ, неспособнымъ ни на какія увлеченія, разсудкомъ; долгая жизнь и наблюденія надъ людьми научили ее хорошо понимать людей.

Очень часто, среди болѣе или менѣе многолюднаго общества, Капитолина Ивановна вдругъ замолкала, начинала жевать губами, а маленькіе сѣрые глазки ея такъ и бѣгали отъ одного къ другому, внимательно вглядываясь въ выраженіе лицъ, въ звукъ голосовъ. Большія отвисшія ея уши, изъ-подъ кружевныхъ оборочекъ чепчика съ лиловыми ленточками, чутко слушали. И скоро Капитолинѣ Ивановнѣ становилась ясной вся подноготная окружающихъ ее, ихъ взаимныя отношенія, ихъ мысли, чувства и планы.

Раскладывая засаленныя карты, она мысленно провѣряла свои наблюденія, подводила имъ итоги. У нея выходила цѣлая система, безсознательно, сама собою сложившаяся подъ вліяніемъ житейскаго опыта. И очень рѣдко она ошибалась. Въ такихъ-же дѣлахъ, какъ, напримѣръ, пропажа брилліантовъ у Игнатскихъ, на помощь къ ея собственнымъ наблюденіямъ являлись и свѣдѣнія, получаемыя ею одной ей вѣдомыми путями.

Вѣдь, только, благодаря этимъ свѣдѣніямъ, могла она прямо указать—такой-то, молъ, воръ, и вещи тамъ-то находятся... Подобнаго рѣшенія она никогда-бы себѣ не позволила, не зная навѣрно, что не ошибается. А гуща была ей нужна потому, что она любила позабавиться надъ людьми, «ошарашить» ихъ, «огорошить».

IV.

Свой человѣкъ.

«Своихъ людей» у Капитолины Ивановны было немного, и изъ нихъ прежде всего слѣдуетъ упомянуть о Порфиріѣ Яковлевичѣ Стружкинѣ.

Порфирій Яковлевичъ былъ тотъ самый «свой человѣкъ», ко-

торый приносилъ Капитолинѣ Ивановнѣ книги,—старикъ лѣтъ семидесяти пяти по меньшей мѣрѣ, огромный, широкоплечій страшно сухой, съ костистымъ бритымъ лицомъ и большой, покрытой шапкой бѣлыхъ какъ лунь, но густыхъ и вьющихся волосъ, головою. Глаза у него были маленькіе, темные и очень зоркіе. Губы тонкія, такъ что иной разъ ихъ и совсѣмъ не было замѣтно. Носъ крючковатый, подбородокъ острый, выдающійся.

Вообще видъ Порфирій Яковлевичъ имѣлъ злой и страшноватый, такъ что дѣти его всегда боялись. Одѣвался онъ очень бѣдно и старомодно. Носилъ вытертый по швамъ длиннополый сюртукъ, на которомъ зачастую недоставало пуговицъ, не Богъ знаетъ какой чистоты манишку съ плохо накрахмаленными и отвисающими по обѣимъ сторонамъ его сухихъ скулистыхъ щекъ воротничками. Грубые, часто заплатаные сапоги, вытертыя и блестѣвшія на колѣняхъ брюки довершали его костюмъ. На головѣ у него и зимой и лѣтомъ былъ одинъ и тотъ-же засаленный картузъ, а на плечахъ—зимою до нельзя вытертая енотовая шуба, а лѣтомъ коротенькій плащъ на красной подкладкѣ, которая отъ времени превратилась въ бурую.

Единственное, чѣмъ любилъ щегольнуть Порфирій Яковлевичъ—были разноцвѣтные, затканные всякими узорами, атласные и бархатные жилеты, которыхъ въ его гардеробѣ насчитывалась цѣлая дюжина. Жилеты эти были привезены лѣтъ тридцать тому назадъ изъ-за границы и выиграны имъ въ карты, о чемъ онъ даже любилъ разсказывать. Конечно, теперь эти удивительные жилеты уже не блестѣли свѣжестью, но все-же составляли яркую противоположность съ остальными статьями туалета.

Поверхъ жилета Порфирій Яковлевичъ всегда развѣшивалъ толстый бисерный, небеснаго цвѣта шнурокъ отъ часовъ. Часы у него были большіе, серебряные, толстые, въ видѣ луковицы.

Происхожденіе свое Порфирій Яковлевичъ объяснялъ такъ:

«Дѣдъ былъ крѣпостнымъ, отецъ приказнымъ, а мы вотъ: братъ Семенъ Яковлевичъ въ Саратовѣ изъ себя барина разыгрываетъ, а я живу себѣ да хлѣбъ жую маленькимъ человѣкомъ, никому не мѣшаю, да и не люблю, чтобы мнѣ мѣшали...»

Ему, впрочемъ, никто и не могъ мѣшать. Былъ онъ старый холостякъ и жилъ въ крошечномъ домикѣ, гдѣ-то у Андроньевскаго монастыря. Была у него въ услуженіи кривая и глухая старуха, она готовила ему обѣдъ и охраняла домикъ во время его отсутствія. Кажется, никому еще не случалось заглянуть къ Порфирію Яковлевичу, хотя не разъ находились смѣльчаки, которые порывались это сдѣлать.

Звонка при домикѣ не полагалось, а стучать можно было

хоть цѣлый день безъ всякаго результата. Заслыша стукъ, Порфирій Яковлевичъ выглядывалъ изъ-за занавѣсокъ маленькаго окошка, убѣждался, что это стучитъ «татаринъ», то есть незваный гость, отходилъ отъ окошка и не подавалъ никакихъ признаковъ жизни.

Если-же кому-нибудь случалось явиться во время отсутствія хозяина изъ дома, то послѣдствія были тѣ-же—глухая старуха какъ есть ничего не слышала и не двигалась изъ своей крошечной, закоптѣлой кухни. Вслѣдствіе глухоты этой старухи, уже много лѣтъ тому назадъ, Порфирій Яковлевичъ завелъ двойной ключъ отъ наружной двери и только благодаря этому ключу могъ проникать въ свое жилище.

Одна Капитолина Ивановна разъ какъ-то, тоже ужъ очень давно, забралась къ своему старому пріятелю и была имъ впущена. Она очутилась въ двухъ маленькихъ и низенькихъ комнатахъ, гдѣ никогда, даже въ самую жаркую лѣтнюю пору, не выставлялись зимнія рамы и гдѣ издавна образовалась такая спертая атмосфера, что Капитолина Ивановна, привыкшая къ чистому воздуху и до крайности брезгливая, тотчасъ-же почувствовала, что у нея начинаетъ «першить» въ горлѣ.

Она съ нескрываемымъ отвращеніемъ оглядывала убранство жилья своего пріятеля. Все было пыльно, грязно. Въ первой комнатѣ стоялъ дырявый кожаный диванъ, шатающійся столъ, когда-то краснаго дерева, но теперь весь облупленный, испещренный глубокими бороздами отъ неизвѣстно съ какой цѣлью пробовавшихъ крѣпость его ножей и покрытый бѣлесоватыми слѣдами горячихъ чайниковъ и стакановъ.

На стѣнахъ съ обвисшими клочьями старыхъ обой красовались двѣ-три гравюры, содержаніе которыхъ нельзя было разглядѣть—до такой степени онѣ были запылены и засижены мухами. Вдоль одной стѣны, почти до самаго потолка, шли полки, завѣшанныя выцвѣтшимъ коленкоромъ. На этихъ полкахъ въ два ряда были разставлены книги. Въ углу стоялъ маленькій столикъ и на немъ лежалъ скрипичный футляръ.

Капитолина Ивановна заглянула въ слѣдующую комнату, увидѣла еще больше пыли, увидѣла кровать съ грязными подушками и еще болѣе грязнымъ стеганымъ одѣяломъ—и даже замахала руками.

— Что это, Порфирій Яковлевичъ, батюшка, какъ у тебя все скверно!—замѣтила она.—Вотъ ужъ не думала... умный ты человѣкъ! Да скажи мнѣ на милость,—умный человѣкъ развѣ такъ жить можетъ?.. Вѣдь, это мерзость!.. вѣдь, всякій нищій лучше твоего живетъ... вотъ ужъ не ожидала!..

Она брезгливо осмотрѣлась и, поднявъ свою черную шелковую

мантилью, съ видимымъ отвращеніемъ присѣла на кончикъ подставленнаго ей хозяиномъ стула.

— Скверно, батюшка, скверно!—проговорила она.—Да и духъ какой!..

Порфирій Яковлевичъ стоялъ передъ нею и только ухмылялся. Губы его совсѣмъ пропали, носъ почти сходился съ подбородкомъ и злое выраженіе лица стало еще злѣе.

— Ну, и скверно!..—наконецъ выговорилъ онъ:—такъ, вѣдь, я развѣ звалъ васъ къ себѣ, почтеннѣйшая Капитолина Ивановна? Вѣдь, не звалъ... Но разъ: сами пожаловали... а два: какой-же я умный человѣкъ?! Я медвѣдь, сами частенько изволили меня такъ обзывать,—вотъ въ берлогѣ и живу...

— То-то и есть, что во всякой берлогѣ чище, чѣмъ у тебя тутъ!—замѣтила Капитолина Ивановна и приподнялась со стула.

Ей рѣшительно было противно сидѣть. Она подошла къ полкамъ, осторожно, кончиками пальцевъ, отдернула пыльныя занавѣски и стала разглядывать книги.

— Ишь пыль-то, пыль!..—шептала она и опять у нея «першило» въ горлѣ.

— А книгъ-то у васъ много, Порфирій Яковлевичъ!..

— Много, матушка, много.

— Да и вижу я,—есть такія, какихъ я и не знаю... Что-же это ты мнѣ не приносишь, еще въ прошлый разъ просила я новенькаго, а вы говорите нѣтъ ничего... Какъ-же нѣтъ?..

— Да, вѣдь, тутъ все старое, матушка, старое...

— Для кого старое, а для меня новое...

И она, несмотря на пыль и свое отвращеніе, стала рыться въ книгахъ.

— Чѣмъ-же васъ, сударыня, угощать прикажете?—спросилъ хозяинъ,—у меня угощеніе плохое—чайку вотъ развѣ не выпить-ли?.. Прикажете, матушка? моя глухая тетеря мигомъ самоварчикъ вздуетъ...

Капитолина Ивановна обернулась и повела глазами на Порфирія Яковлевича.

— Нѣтъ, батюшка, я въ такой грязи твоей чай пить не стану.

— Ну, какъ хотите!—тотчасъ-же согласился хозяинъ.—А все-же такую почтенную гостью угостить надо... вѣдь, у меня никто, никто какъ есть не бываетъ... Сколько лѣтъ нога человѣческая сюда не вступала.

Огромный старикъ вдругъ оживился, глаза его блеснули, какая-то неопредѣленная и странная усмѣшка скривила тонкія губы.

— А вотъ что развѣ...—какъ-бы про себя шепнулъ онъ и подошелъ къ угольному столику.

Капитолина Ивановна все рылась въ книгахъ. Старикъ осторожно отперъ скрипичный футляръ, вынулъ скрипку и смычекъ, бережно обтеръ ихъ клѣтчатымъ носовымъ платкомъ, сталъ въ позу и провелъ смычкомъ по струнамъ.

— Это что?—почти даже съ испугомъ вскрикнула Капитолина Ивановна, обернулась—да такъ и застыла отъ изумленія.— Что это, Порфирій Яковлевичъ, никакъ ты со скрипицей? Въ музыканты записался?

Старикъ между тѣмъ подтянулъ двѣ-три струны, и внезапно пыльная, нищенская, душная комната огласилась медленно полившимися одинъ за другимъ чудными звуками.

Капитолина Ивановна широко раскрыла глаза и, уже не замѣчая пыли, позабывъ брезгливое чувство и першеніе въ горлѣ, присѣла на дырявый диванъ, не спуская глазъ съ виртуоза.

А онъ стоялъ и водилъ смычкомъ по струнамъ, и звуки лились то совсѣмъ почти замирая, то поднимаясь густой, полной волною.

Капитолина Ивановна слушала и никакъ не могла понять, что это такое, что говорятъ эти звуки. Но они говорили что-то, они назойливо и властно возбуждали все ея вниманіе, проникали ей до самаго сердца.

Наконецъ, мало-по-малу, все яснѣе и яснѣе становилось строгой и холодной старухѣ, что такое именно говорятъ эти звуки. Они захватили ее въ свою власть и, не боясь холода, вѣявшаго отъ ея стараго и злого разсудка, не боясь ея остраго языка и насмѣшекъ—взяли и унесли ее далеко, далеко, въ иной міръ, о которомъ она давно уже забыла...

Передъ нею разстилались пышныя поля, вставали лѣса и горы, яснѣла синева небесная, проносились дуновенія душистой лѣтней ночи, мигали звѣзды, плескали волны и какой-то незнакомый, но сладкій голосъ шепталъ тихія слова той самой любви, той самой страсти, надъ которою такъ привыкла смѣяться Капитолина Ивановна.

Но теперь она не смѣялась—она умиленно слушала...

И подъ конецъ показалось ей,—что вернулись старинные годы, тѣ годы, когда она была молода, когда она любила все то, на что теперь не обращала вниманія, когда на устахъ ея еще не было насмѣшки и когда юный, только-что пробуждавшійся разумъ не училъ ее презирать людей и ихъ дѣянія, и искать прежде всего во всемъ изнанку, темную сторону.

А звуки лились—бархатные, сладкіе звуки—и такъ ясно, на родномъ языкѣ твердили:

«Не все то правда, что кажется правдой, не все обманъ, что кажется обманомъ... и въ томъ, что ты считаешь обманомъ,—

есть великая святая правда, какой нѣтъ въ твоей холодной, злой правдѣ... Страсть—гроза могучая горячей лѣтней ночи... Любовь, любовь—великая вѣчная сила, любовь ко всему и ко всѣмъ—и безъ нея весь твой разумъ, весь твой опытъ, вся жизнь—только ложь, только обманъ и преходящее сновидѣніе!..»

Вдругъ оборвались и замерли сладкіе звуки...

Та-же душная, грязная комнатка. Порфирій Яковлевичъ укладываетъ скрипку въ футляръ.

Капитолина Ивановна совсѣмъ очнулась и почувствовала, что ея щеки мокры. отъ слезъ.

— Фу ты, пропасть! Да что это ты, Порфирій Яковлевичъ,—крикнула она:—да какъ-же это ты?. Да, вѣдь, вы, батюшка, музыкантъ, какъ есть музыкантъ настоящій!..

Порфирій Яковлевичъ стоялъ передъ нею съ блестящими глазами и ухмылялся. Только теперь его лицо уже не было злымъ—оно будто совсѣмъ преобразилось.

— Да, музыкантъ, матушка Капитолина Ивановна,—тихо отвѣтилъ онъ.

— Такъ какъ-же это?.. Къ чему-же вы отъ всѣхъ скрываете... и мнѣ ни разу въ жизни ни слова?..

— Чего-же я стану благовѣстить-то!.. Музыкантъ, такъ музыкантъ, да не ученый, для себя играю, одинъ себя слушаю... Можетъ, вы-то вотъ первый человѣкъ, кто меня слышалъ... развѣ сосѣди, такъ какіе тутъ сосѣди? И изъ-за двойныхъ рамъ, чай, по ту сторону улицы и то не слышно...

—, Ну, ужъ удивилъ!.. вотъ ужъ удивилъ!..—повторяла Капитолина Ивановна.—Спасибо, батюшка, за угощеніе, спасибо... А мнѣ пора и домой, шутка сказать,—вѣдь всю Москву ѣхала къ тебѣ, сколько времени ѣхала, да извозчика съ дуру отпустила, тутъ, чай, и не найти. Ну, спасибо, спасибо... А книжку вотъ эту я у тебя возьму... Когда-же свидимся, Порфирій Яковлевичъ? Подумайте только—третью недѣлю не навѣдывались, я и побезпокоилась: не захворалъ-ли...

— Точно-что мнѣ понездоровилось—оттого и не былъ—ломота вдругъ въ ногѣ, муравьинымъ спиртомъ всю недѣлю натиралъ ногу... Ну, теперь прошло... Безпремѣнно, матушка, у васъ на этихъ дняхъ буду.

— То-то-же, смотрите...

Старики распрощались, и Капитолина Ивановна, подбираясь и стараясь ни обо что не задѣть платьемъ, выбралась изъ домика.

Долго у нея въ ушахъ помимо воли звенѣли чудные звуки.

Съ этого дня Капитолина Ивановна уже никогда больше не порывалась посѣщать медвѣдя въ его берлогѣ, о которой вспоминала съ отвращеніемъ. Но она не разъ упрашивала Порфирія

Яковлевича принести съ собою скрипку и поиграть. И каждый разъ онъ рѣшительно отказывалъ ей въ этомъ.

— Что угодно, матушка,—говорилъ онъ:—что угодно прикажите—и исполню, а насчетъ скрипки—нѣтъ! И съ чего это я стану съ ней тащиться по городу? Срамъ, да и только!..

— Да, вѣдь, вы такъ играете, Порфирій Яковлевичъ, васъ заслушаться можно! Вотъ соберутся у меня ужо гости, а вы и сыграете... всѣмъ доставите удовольствіе, захвалятъ васъ... нарасхватъ приглашать станутъ, протрубятъ на всю Москву про вашу музыку...

Порфирій Яковлевичъ даже обижался.

— Что-же мнѣ на старости лѣтъ тапёромъ, штукмейстеромъ прикажете сдѣлаться?

— Фу, отецъ мой, какой ты вздоръ городишь, просто уши вянутъ!

— Да ужъ вздоръ, либо нѣтъ, а какъ доселѣ не игралъ я на потѣху, такъ и впредь не буду... Очень имъ нужна моя музыка, гостямъ-то вашимъ, да и много они въ ней смыслятъ! Для себя выучился, для себя играю, себя услаждаю... Человѣкъ я маленькій, темный, никому я не нуженъ и никто мнѣ не нуженъ... Что и вамъ-то сыгралъ—такъ теперь на себя пеняю... сдурилъ... сдурилъ... изъ одного почтенія къ вамъ...

— Знаю я, упрямый вы человѣкъ, Порфирій Яковлевичъ...— Ну, такъ вотъ что: коли не хотите при гостяхъ, принесите скрипку, запремъ мы окна и двери и мнѣ сыграйте... Хороша ваша музыка, хотѣлось-бы еще послушать.

— Мало-ли чего намъ хочется!.. Оставьте вы меня съ моей скрипкой,—ничего изъ того не выйдетъ.

— Тьфу!—съ досадой говорила Капитолина Ивановна:—ишь, вѣдь, упрямый какой... Ну, да если вамъ, сударь, угодно ломаться, такъ я на колѣнкахъ просить васъ не стану,—Богъ съ вами совсѣмъ и съ вашей музыкой... Пойдемте въ столовую, попробуйте—у меня нынче настоечка новая готова...

— Вотъ это дѣло!—радостно восклицалъ Порфирій Яковлевичъ, бывшій страстнымъ любителемъ всякихъ настоечекъ и закусокъ, особливо приготовленныхъ такой искусницей, какъ Капитолина Ивановна.

Такъ ей и не удалось уговорить упрямаго старика дать ей возможность снова послушать его музыки. Прошелъ годъ, другой, третій—и она позабыла про его скрипку. Позабыла про скрипку, а про грязь и нищету его берлоги вспоминала нерѣдко, получая отъ него для прочтенія книги, отъ которыхъ, какъ ей казалось,—пахло гнилью и плѣсенью. Въ такомъ случаѣ она всегда думала:

«Вѣдь, вотъ—славный человѣкъ, серьезный и какой скряга!

Глупость-то какая! Вѣдь, съ голоду чуть не умираетъ, копитъ деньги, капиталъ изрядный еще отъ отца получилъ, вѣдь, онъ теперь, пожалуй, удесятерилъ его, съ родными въ ссорѣ, кому оставитъ? Какъ собака издохнетъ на своихъ деньгахъ!.. Помраченіе!..»

Но высказывать ему свои мысли, противъ своего обыкновенія, она не рѣшалась, потому что, разъ какъ-то заговоривъ на эту тему, довела старика до бѣшенства.

Онъ, всегда почтительный и даже нѣсколько робкій съ нею, тутъ такъ расходился, что сталъ просто кричать.

— И кто это считалъ мои деньги?—захлебываясь и сверкая глазами, повторялъ онъ:—кто считалъ? Нѣтъ у меня денегъ... нищета!.. куска говядины иной разъ купить не на что—вотъ какія мои деньги...

— Врете, батюшка, врете, и стыдно это, особливо въ ваши годы!—съ изумленіемъ глядя на него, промолвила Капитолина Ивановна.

— А коли я вралемъ у васъ сталъ!—даже какъ-то взвизгнулъ старикъ:—такъ прощайте, Богъ съ вами, — надоѣлъ я вамъ, вижу!..

Онъ отвѣсилъ низкій поклонъ Капитолинѣ Ивановнѣ, схватилъ свой засаленный картузъ, дрожащими руками накинулъ на себя удивительный плащъ на красной подкладкѣ и ушелъ.

Ушелъ да и не возвращался цѣлыхъ два мѣсяца.

Капитолина Ивановна сначала дѣлала видъ, что не замѣчаетъ его отсутствія, но скоро должна была себѣ признаться, что скучаетъ по пріятелѣ, и когда онъ, тоже соскучившись, снова явился, она даже не показала ему вида, встрѣтивъ его какъ будто они самымъ дружескимъ образомъ простились только наканунѣ. И никогда она больше не заводила непріятнаго разговора.

Были-ли у Профирія Яковлевича деньги и сколько—конечно, никто не могъ навѣрно этого знать, но онъ всю жизнь прожилъ, какъ послѣдній бѣднякъ. Дома питался иногда по цѣлымъ днямъ только чаемъ да тюрькой, а когда чувствовалъ, что отощалъ, то шелъ обѣдать къ Капитолинѣ Ивановнѣ или къ кому другому изъ своихъ немногочисленныхъ знакомыхъ.

Устали онъ никогда не зналъ, не истратилъ кажется за полвѣка ни копѣйки на извозчика, измѣряя Москву огромными шагами своихъ длинныхъ ногъ.

Разстоянія для него не существовало. Иногда приходилось ему засидѣться у Капитолины Ивановны чуть-ли не до полуночи. На дворѣ лилъ дождь, ночь—зги не видно, по улицамъ море разливанное.

— Батюшка, да какъ-же это вы такую даль къ Андроньевскому, въ такую темень?—замѣчала Капитолина Ивановна, подходя къ окну и прислушиваясь, какъ завываетъ вѣтеръ, какъ бьетъ въ стекла дождь.—Да останьтесь переночевать... наверху въ свѣтелкѣ я вамъ постлать прикажу... Ишь, вѣдь, мы засидѣлись—полночь скоро...

— Ничего, матушка, ничего—не въ первый разъ,—спокойно отвѣчалъ Порфирій Яковлевичъ, нахлобучивъ свой картузъ и выбираясь на улицу.

И шагалъ онъ по лужамъ, какъ какое-то страшное привидѣніе, пугая запоздалыхъ пѣшеходовъ.

Привычка вѣчно ходить пѣшкомъ была въ немъ такъ велика, что съ нимъ даже случился одинъ маленькій анекдотъ: былъ онъ на свадьбѣ у знакомыхъ, свадьба была веселая, ужинъ прекрасный, выпилъ тоже изрядно Порфирій Яковлевичъ и захмелѣлъ, да такъ захмелѣлъ, что лыка не вяжетъ... Что съ нимъ дѣлать? Какъ въ такомъ видѣ пустить его къ Андроньевскому? Выискалось два добрыхъ человѣка, знакомыхъ, у которыхъ на всю ночь была нанята четырехмѣстная карета, взялись они доставить домой Профирія Яковлевича, усадили его въ карету, повезли. Ѣдутъ они, а Порфирій Яковлевичъ поднимаетъ то одну ногу, то другую и изрядно толкаетъ своихъ спутниковъ.

— Порфирій Яковлевичъ,—спрашиваютъ:—что вы такое дѣлаете?

— Какъ, что дѣлаю?—отвѣчаетъ онъ, едва ворочая языкомъ.

— Что вы насъ толкаете, да ногами ворочаете?

— Какъ, что дѣлаю? Домой иду...

И такъ онъ продолжалъ идти въ каретѣ до самаго дома...

Любимымъ развлеченіемъ Порфирія Яковлевича, кромѣ скрипки, которой невѣдомый виртуозъ посвящалъ иногда часа три-четыре въ день, было пребываніе у Сухаревой башни въ лавченкахъ букинистовъ. Онъ рылся тамъ въ книжномъ хламѣ и, найдя какую-нибудь книжку, казавшуюся ему интересной, по цѣлымъ часамъ торговался, пока ему ее, наконецъ, не уступали за безцѣнокъ, иной разъ за три копѣйки или пятакъ, чтобы только онъ отвязался.

«Вѣдь, душу всю вымотаетъ—ну, его къ Богу!», говорили про него букинисты.

Разъ въ году Порфирій Яковлевичъ разрѣшалъ себѣ огромную роскошь—онъ покупалъ «новыя» книги, то есть скупалъ прошлогодніе журналы. Навьюченный ими и нѣсколько даже сгибаясь подъ драгоцѣнной ношей, торжественно возвращался онъ къ себѣ въ берлогу и на нѣсколько дней уходилъ въ книги, читалъ запоемъ, пока все не прочитывалъ. А прочтетъ все—

нападетъ на него грусть, жаль затраченныхъ денегъ, и онъ начинаетъ выгадывать; даже чай почти перестаетъ пить, а если пьетъ такъ безъ сахару, и ходитъ обѣдать къ знакомымъ.

Въ обществѣ Порфирій Яковлевичъ былъ всегда мраченъ, внимательно слушалъ, но говорилъ очень мало, а иногда просто ограничивался какимъ-то мычаньемъ. Несмотря, однако, на его страшный и мрачный видъ, на молчаніе — его присутствіемъ обыкновенно не тяготились. Онъ умѣлъ молчать и стушевываться. Только съ одной Капитолиной Ивановной онъ иной разъ разговорится, и не видятъ они, какъ проходитъ время. Но случалось и такъ: просидитъ онъ у нея цѣлый день, и закуситъ и выпьетъ исправно, послѣ обѣда сядутъ они за преферансикъ, потомъ поужинаютъ, онъ распрощается, и зашагаетъ къ Андроньевскому. И только послѣ его ухода, Капитолина Ивановна спохватится:

«А, вѣдь, Порфирій-то Яковлевичъ нынче какъ есть ни одного слова не промолвилъ!»

V.

Анна Алексѣевна.

Между «своими людьми» Капитолины Ивановны по древности и постоянству дружбы второе мѣсто принадлежало Аннѣ Алексѣевнѣ Крапивиной. На видъ Анна Алексѣевна представляла изъ себя полную противоположность Капитолинѣ Ивановнѣ.

Это была старуха высокая, худая, съ огромными руками и ногами, съ лицомъ на рѣдкость безобразнымъ и вдобавокъ еще испещреннымъ слѣдами оспы. Но, все-же, если пристально вглядѣться въ это безобразное лицо—оно, малу-по-малу, начинало нравиться, такъ какъ въ немъ было что-то успокаивающее, какая-то почтенность и добродушіе.

Анна Алексѣевна неизмѣнно носила коричневое шерстяное платье, коротенькую черную тафтяную мантильку, а на головѣ черный тюлевый чепчикъ. Она была вдова, тоже почти непомнящая, когда потеряла мужа; на это, впрочемъ, она даже имѣла нѣкоторое право, такъ какъ покойникъ не оставилъ ей какъ есть ничего на память о себѣ, ни гроша, и она должна была сама зарабатывать кусокъ хлѣба.

И вотъ уже нѣсколько десятковъ лѣтъ, какъ она зарабатывала этотъ кусокъ хлѣба, помогая новорожденнымъ москвичамъ и москвичкамъ своего квартала вступать въ жизненный путь по всѣмъ правиламъ повивальнаго искусства. А искусство у Анны Алексѣевны, какъ давнымъ давно уже было рѣшено, оказалось

большое, до того большое, что, несмотря на ея непредставительную и безобразную наружность, ее приглашали не только въ богатые купеческіе дома, но и къ знатнымъ барамъ.

Правда, съ годами ея дѣятельность стала гораздо ограниченнѣе. Теперь она была черезчуръ уже стара, и ее замѣняли болѣе молодыми и подвижными «привиллегированными» особами. Но она не смущалась этимъ, такъ какъ успѣла скопить себѣ маленькій запасецъ на старость. Она ничуть не обижалась, и хотя ее покидали, но она не покидала дома своихъ прежнихъ паціентокъ и время отъ времени навѣщала ихъ не въ качествѣ офиціальнаго лица, а какъ старый другъ. Ее принимали, съ ней не церемонились, не стѣснялись, иногда ее просто не замѣчали.

Она зачастую приходила съ чернаго хода въ какой-нибудь большой богатый домъ, тихохонько, но спокойно и увѣренно пробиралась въ излюбленную, привычную для нея комнату, и если не встрѣчала никого изъ домашнихъ, то просила лакея или горничную доложить барынѣ, что, вотъ, молъ, пришла Анна Алексѣевна.

— Да барыни нѣтъ дома,—говорили ей.

— Кто-же дома у васъ нынче?

— Барышня, вотъ, никакъ дома, только онѣ видно заняты.

— И прекрасно, пусть барышня занимается... а я посижу, подожду, можетъ кто и подъѣдетъ...

И усаживалась Анна Алексѣевна самымъ скромнымъ образомъ гдѣ-нибудь въ уголку, складывала на груди руки и застывала, въ видѣ какого-то миѳическаго существа, на полчаса, на часъ, а то хоть и на два.

Если въ домѣ были дѣти — они непремѣнно заглядывали въ комнату, шушукались, изображая на своихъ лицахъ смѣсь любопытства, отвращенія и страха—и исчезали. Анна Алексѣевна ихъ къ себѣ не подзывала и не старалась вступать съ ними въ разговоръ. Она очень хорошо знала, что неблагодарныя дѣти, съ которыми она такъ искусно ладила и управлялась въ первые дни ихъ существованія, вырастая, начинаютъ ее бояться.

«Ну, и Богъ съ ними,—думала она:—ужъ коли Господь такой рожей наказалъ, такъ тутъ ничего не подѣлаешь!.. За что-же дѣточекъ смущать, если они за бабу-ягу меня принимаютъ... вырастутъ—поумнѣютъ... Христосъ съ ними!..»

Анна Алексѣевна старалась даже не глядѣть на нихъ, будто боялась, что сглазитъ.

Наконецъ, появлялась барышня.

— Ахъ, Анна Алексѣевна, это вы здѣсь? А мамаши дома нѣтъ... Здравствуйте...

Барышня подавляла въ себѣ нѣкоторую невольную брезгливость къ безобразной старухѣ и протягивала ей руку.

Анна Алексѣевна медленно поднималась изъ своего уголка.

— Знаю-съ,—говорила она:—что маменьки дома нѣтъ... вотъ и поджидаю... а вы, милая барышня, меня не стѣсняйтесь... Въ добромъ-ли здоровьи всѣ у васъ?

— Благодарю васъ, Анна Алексѣевна, всѣ здоровы... Дядя Миша изъ Петербурга пріѣхалъ... Въ четвергъ у насъ балъ будетъ...

Барышня, по привычкѣ, объявляла всѣ семейныя новости, а Анна Алексѣевна ее внимательно слушала и приговаривала:

— Такъ-съ... такъ-съ...

Сообщивъ новости, барышня забывала о присутствіи Анны Алексѣевны, уходила, приходила, а то, если ей бывало скучно, въ свою очередь начинала разспрашивать Анну Алексѣевну, что дѣлается на свѣтѣ.

Старуха удовлетворяла ея любопытство, на сколько считала это пригоднымъ.

Наконецъ, возвращалась барыня.

— А, это вы, Анна Алексѣевна! Очень рада васъ видѣть... Давно не заглядывали.

— Давненько, матушка, это точно, что давненько—вотъ и соскучилась... и думаю: дай зайду, погляжу, что тамъ дѣлается... а васъ и дома нѣтъ... я вотъ тутъ и поджидала.

— Хорошо сдѣлали, пойдемте ко мнѣ... да оставайтесь у насъ обѣдать.

— Покорно благодарю, матушка, покорно благодарю...

Анна Алексѣевна располагалась какъ дома и послѣ обѣда возвращалась къ себѣ, въ свои маленькія и чистенькія двѣ комнаты, гдѣ на каждомъ окошкѣ стояло по двѣ клѣтки съ канарейками, убѣждаясь, что ея запасъ свѣдѣній о дѣлахъ житейскихъ значительно прибавился. Она узнала всю подноготную—выдала мало, а получила много.

«Ишь, вѣдь, люди-то дурятъ!—думала она.—Посмотрѣть со стороны—тишь да гладь да Божья благодать... а копнешь... фу ты, пропасть—сору-то, сору-то сколько!..»

«Зайти развѣ къ Капитолинѣ Ивановнѣ?»—спохватывалась она и повертывала къ старому другу.

Капитолина Ивановна встрѣчала ее, по вечернему времени, въ столовой за самоваромъ.

— А вотъ и ты, мать моя, пожаловала!—говорила она.—Откуда?

— Отъ Патрикѣевыхъ!—протягивала Анна Алексѣевна, усаживаясь противъ хозяйки.—Весь день, почитай, тамъ просидѣла... обѣдала...

— Ну, что тамъ у нихъ? Разсказывай! Съ чѣмъ чай пить будемъ: съ медкомъ, что-ли? Вотъ свѣжій сотовый, или варенья не хочешь-ли какого?

— Съ медкомъ, матушка, варенье я нынче что-то совсѣмъ разлюбила... не тянетъ меня къ нему... Дѣла, дѣла у Патрикѣевыхъ... я вамъ скажу...

— А что такое?

— Михаила Петровича-то знаете, братецъ ейный, въ Петербургѣ служитъ... въ камергерскомъ чинѣ?

— Ну, какъ не знать, еще мальчишкой знала... шалберникъ!..

— Пріѣхалъ... съ женой разводится...

— Что ты, мать моя, полно!..

Капитолина Ивановна нѣсколько оживилась и видимо начинала интересоваться.

— Какъ разводится?! Вѣдь, они всего года три женаты, и она въ прошломъ году пріѣзжала, видѣла я ее—такая тихоня... красивая бабенка, и всѣ родные говорили, что съ мужемъ другъ на друга не надышутся.

— Такъ-съ, такъ-съ... ну, вотъ, и поди-жъ ты! То было въ прошломъ году, а въ нынѣшнемъ дружка себѣ завела... Такая исторія... срамъ!..

Она подробно передавала исторію.

— Кто-жъ это тебѣ, сама Патрикѣева сказала?

— Сама... сама... Да что еще это... вотъ Митенька Патрикѣевскій жениться надумалъ...

— Ишь вздоръ! Вѣдь, мальчишкѣ всего года двадцать два.

— То-то и есть...

— Да на комъ? Кто-же за него, за мальчишку такого пойдетъ?

— Нашлась таковская... вдовица молодая, Надежда Сергѣевна Невольская...

— Ахъ, негодница!—восклицаетъ Капитолина Ивановна.—Вѣдь, она совсѣмъ разгульная!.. Вѣдь, ужъ это я знаю, какія шашни за ней водятся!.. Чего-же родители-то смотрятъ? Неужто такъ и даютъ мальчишку на погибель?

— Старики въ горѣ... сама-то мнѣ разсказываетъ—плачетъ... характеръ у Митеньки бѣдовый, на стѣну лѣзетъ... Такая у нихъ кутерьма, что и сказать невозможно.

Послѣ двухъ часовъ бесѣды, весь запасъ пріобрѣтенныхъ Анной Алексѣевной свѣдѣній переданъ Капитолинѣ Ивановнѣ, все рѣшено, выяснено, всему подведены итоги и даны заключенія.

Наступаетъ нѣкоторое молчаніе. Обѣ старухи сидятъ другъ передъ другомъ, выпивая чуть-ли не двѣнадцатую чашку чаю съ медкомъ. Ихъ раскраснѣвшіяся старыя лица серьезны, и онѣ

имѣютъ видъ важныхъ государственныхъ людей, только что разобравшихся въ сложномъ и запутанномъ дѣлѣ.

— Ну, а еще что у тебя новенькаго, мать моя?—прерываетъ, наконецъ, молчаніе Капитолина Ивановна.

— Да что новенькаго! Видно, свѣтопреставленіе скоро—по всѣмъ домамъ такая кутерьма идетъ, такія чудеса творятся...

— Ужъ и свѣтопреставленіе! Видно у тебя, Анна Алексѣевна, отъ старости память вышибло... припомни-ка! Живемъ мы съ тобою на свѣтѣ не мало времени и всегда-то, всегда та-же кутерьма была... Это, вотъ, я зачастую слышу: въ прежнія времена, молъ, лучше было! Да, вѣдь, это такъ, зря, люди болтаютъ. Какія времена? когда лучше было? Можетъ, при царѣ Горохѣ, а на нашемъ вѣку все то-же. Моды вотъ эти дурацкія мѣняются, прежняго богатства что-то меньше стало, да замѣсто золота мишурою теперь пыль въ глаза пускать стали—это вѣрно... а каверзъ всякихъ по семьямъ да дурости людской сколько было, столько и осталось... а ты говоришь: свѣтопреставленіе!..

— Пожалуй, что и такъ,—соглашается, качая головою, Анна Алексѣевна.

— То-то же—такъ!.. Какія у тебя новости?

И начинаетъ передавать Анна Алексѣевна, что, вотъ, молъ, у тѣхъ-то дочка на прошлой недѣлѣ родилась, дѣвочка здоровая, только на правомъ плечѣ, на самомъ, что ни на есть видномъ мѣстѣ, большущее черное пятно.

— Даже мохнатое, матушка, мохнатое, ровно мышь!.. Мать-то плачетъ, говоритъ: вырастетъ дѣвочка, такъ кто-же съ такой мышью замужъ возьметъ, какъ ее въ люди будутъ показывать!..

— Вотъ дура-то!—замѣчаетъ Капитолина Ивановна:—нашла о чемъ плакать!

— А у Семеновыхъ, у Ивана Петровича, барышня ихняя, Анеточка, со студентомъ самурилась, а между тѣмъ женихъ хорошій навертывался, богатый....

— И по дѣломъ!.. Распустили дѣвку; я давно говорила: добромъ не кончится!—объявляетъ Капитолина Ивановна.

Къ концу вечера Капитолина Ивановна оказывается посвященной въ подноготную знакомыхъ и незнакомыхъ. А главное—знаетъ она, что все, сообщенное Анной Алексѣевной, вѣрно и, что свои знанія и наблюденія Анна Алексѣевна никому, кромѣ нея, не повѣряетъ. Посторонній человѣкъ хоть озолоти Анну Алексѣевну—ничего отъ нея не вывѣдаетъ, слова отъ нея не добьется. А передъ старымъ другомъ Капитолиной Ивановной нѣтъ у нея сдержки, нѣтъ тайнъ.

Знаетъ еще Капитолина Ивановна, что никто и подозрѣвать не можетъ объ ихъ бесѣдахъ за чайкомъ съ медкомъ.

И вотъ объясненіе репутаціи колдуньи, которую пріобрѣла себѣ Капитолина Ивановна. Вѣрной и неизмѣнной помощницей ея въ отгадываніи разныхъ запутанныхъ исторій и семейныхъ дѣлъ всегда оказывалась Анна Алексѣевна. Она доставляла ей матерьялъ и изъ матерьяла этого тонкій умъ Капитолины Ивановны выводилъ сложныя построенія.

VI.

Тайное совѣщаніе.

На слѣдующее утро послѣ посѣщенія Горбатова, Капитолина Ивановна по обычаю проснулась очень рано, по обычаю умывалась болѣе часа и извела нѣсколько ушатовъ воды. Но за самоварчикомъ сидѣла недолго. Даже кошки, несмотря на всѣ свои старанія, никакъ не могли обратить на себя ея милостиваго взора и такъ и отошли отъ стола несолоно хлебавши, безъ молока и булки.

Капитолина Ивановна прошла къ себѣ въ спальню, отперла шкафикъ, вынула изъ него два листа бумаги и два конверта старинную стальную чернильницу въ видѣ глобуса, который раскрывался на обѣ стороны посредствомъ устроенной у верхняго полюса пружинки; нѣсколько гусиныхъ перьевъ.

Разложила она все это на столикѣ возлѣ окошка, усѣлась и принялась писать.

Подобное занятіе было для нея крайне непривычно и составляло цѣлое событіе въ ея повседневной жизни. Единственная письменная работа ея была ежемѣсячное сведеніе счетовъ.

Несмотря на свою любовь къ литературѣ и на множество прочтенныхъ ею книгъ, Капитолина Ивановна писала довольно странными каракулями и при этомъ нисколько не стѣсняясь въ орѳографіи. Она писала такъ, какъ говорила, находя это простымъ и естественнымъ.

Да и перо-то она не держала какъ всѣ, а какъ-то стоймя И вся ея фигура во время писанья дѣлалась очень странной и комичной. Она выводила буквы не только перомъ, а безсознательно помогала работѣ губами и языкомъ, даже, по временамъ, на какомъ-нибудь трудномъ для нея словѣ, прищелкивала.

На первомъ листѣ она вывела:

«Милостивой государь мой, Порфирій Якавличъ. Прашу я васъ быть у миня нынче къ обеду беспременно, большая, да васъ есть надобность и при многа обяжите если ждать незаставите.

Посылаю нарошно Сидара дѣло спешное. Пребываю со всемъ моимъ къ вамъ доброжелательствомъ Капитолина Миронова».

И тутъ слѣдовалъ такой неожиданный и удивительный росчеркъ, что Капитолина Ивановна даже сама изумилась и нѣсколько времени какъ-бы съ недоумѣніемъ и любопытствомъ разглядывала дѣло руки своей. Письмо это она сложила аккуратно въ конвертъ и надписала:

«Порфирію Якавлечу».

Затѣмъ принялась за другой листъ бумаги. Но отъ непривычной работы рука ея уже утомилась и она совсѣмъ почти іероглифически вывела:

«Анна Алексѣевна, будь мать моя къ обеду нужно». И затѣмъ поставила К. М. и уже безъ росчерка.

На конвертѣ совсѣмъ ничего не надписала.

Окончивъ это дѣло, Капитолина Ивановна снова отперла шкафикъ, поставила въ него чернильницу, положила перья, вынула палку сургуча и огромную печать, на которой былъ вырѣзанъ летяшій голубь, довольно похожій на утку и имѣющій во рту письмо. Зажгла Капитолина Ивановна свѣчку, очень неискусно запечатала свои письма и поспѣшила какъ можно скорѣе задуть свѣчу, такъ какъ она не любила, чтобы свѣчки горѣли днемъ: это было одно изъ ея немногихъ, но упорныхъ суевѣрій.

Выйдя изъ спальни съ письмами, Капитолина Ивановна крикнула:

— Ей, Машка!

Машка тотчасъ-же появилась на зовъ.

— Кликни Сидора, да чтобы шелъ скорѣе!

Сидоръ былъ дворникъ Капитолины Ивановны, крошечный, мозглявый старикашка, сѣдой какъ лунь, котораго никогда не бывало ни видно, ни слышно въ домѣ, но который, тѣмъ не менѣе, уже многіе годы, и даже несмотря на свое пристрастіе къ хмельному, добросовѣстно исполнялъ обязанности дворника, плотника, садовника и огородника и поддерживалъ красоту дома и сада Капитолины Ивановны.

Сидоръ осторожно вошелъ въ корридоръ и остановился у двери въ столовую. Увидя Капитолину Ивановну, онъ отвѣсилъ ей глубокій поклонъ и проговорилъ хриплымъ голосомъ:

— Что приказать изволите?

— А вотъ что, Сидоръ, слушай ты, возьми вотъ эти два письма и сбѣгай... Это вотъ снеси къ Аннѣ Алексѣевнѣ, а это, гдѣ написано, смотри не перепутай! къ Порфирію Яковличу... знаешь—у Андроньевскаго...

Сидоръ почесалъ въ затылкѣ.

— Сбѣгать-то къ Аннѣ Алексѣевнѣ,—сказалъ онъ:—это я мигомъ, а вотъ къ Порфирію Яковличу...

— Знаю я, что не ближній свѣтъ,—перебила его Капитолина Ивановна,—ну, да сбѣгай... что тутъ, коли нужно! Да смотри ты—дорогой въ кабакъ не завертывай...

Она строго погрозила ему пальцемъ.

— Нужное письмо; и непремѣнно мнѣ отвѣтъ отъ него какъ можно скорѣе...

— Помилуйте, сударыня, — обиженно отозвался Сидоръ:—развѣ я въ кабакъ... статочное-ли дѣло: съ барскимъ порученіемъ, да въ кабакъ! А вотъ я такъ раздумываю—толкъ-то будетъ-ли, сударыня? Жилье Порфирія Яковлича мнѣ извѣстно, найти—найду, да сами изволите знать: не отпираютъ, не пущаютъ... какъ-бы не случилось того-же, что намедни (это намедни было пять лѣтъ тому назадъ),—такъ ужъ вы, сударыня, на мнѣ не взыскивайте, коли не потрафлю. Вѣдь, стучалъ я, стучалъ, какъ-бы себѣ отстучалъ, а такъ и ушелъ ни съ чѣмъ, такъ вотъ и думается: не отопрутъ, что-же я подѣлаю?

Капитолина Ивановна даже разсердилась.

— Вздоръ, пустое!—сказала она:—нужно, чтобы онъ прочиталъ это письмо и отвѣтъ далъ. Онъ до полудня всегда дома и ужъ поспѣши. Стучи и кричи: «письмо, молъ, отъ Капитолины Ивановны—отворите!»

Сидоръ опять почесалъ въ затылкѣ, но уже ничего не возразилъ. Онъ взялъ письма, не особенно дружелюбно посмотрѣлъ на нихъ и, молча, вышелъ.

Капитолина Ивановна отправилась въ садъ и занялась варкой варенья. Но и Машка и Лукерья замѣчали, что барынѣ какъ-то не по себѣ—разсѣяна она, задумывается, сидитъ—смотритъ на тазъ съ вареньемъ, а губами нѣтъ-нѣтъ—да и зашепчетъ что-то.

Вотъ уже полдень, вотъ уже второй часъ, а Сидоръ не возвращается. Капитолина Ивановна то и дѣло посылаетъ Машку узнать въ дворницкую и каждый разъ получаетъ отвѣтъ, что она пуста.

— Такъ и есть! Зашелъ въ кабакъ, нагрузился!.. Вотъ плюгавый старикашка—и послать-то никуда нельзя... Да еще ну какъ растерялъ письма.

— Прикажете, сударыня, ягоды сыпать?—спрашиваетъ Лукерья.

— Э, да чтобъ тебя и съ ягодами!..

Капитолина Ивановна совсѣмъ начинаетъ сердиться.

— Машка, бѣги—смотри—вернулся-ли Сидоръ.

Машка бѣжитъ и тотчасъ-же возвращается.

— Вернулся, сударыня...

— Такъ что-же онъ нейдетъ?

— Не можетъ...

— Какъ не можетъ? Отчего не можетъ?

— Стоитъ и ругается... Я ему говорю: иди, дѣдушка, барыня зоветъ!—а онъ мнѣ: не могу, говоритъ, картузъ потерялъ дорогой, не могу идти къ барынѣ...

— Тьфу ты пропасть, нуженъ мнѣ его картузъ!.. Пьянъ онъ?

— Совсѣмъ-съ, еле на ногахъ держится!—не безъ удовольствія отвѣчаетъ Машка, предчувствуя интересную сцену.

— Зови его, мерзляка, тащи его сидой, чтобы сейчасъ былъ здѣсь!..

Машка исчезаетъ. Проходитъ нѣсколько минутъ. Наконецъ неподалеку отъ бесѣдки, въ которой варится варенье, раздаются голоса—тоненькій голосокъ Машки и хриплое ворчанье Сидора. Вотъ онъ появляется, дѣйствительно еле держась на ногахъ, останавливается передъ Капитолиной Ивановной и клюетъ носомъ.

— Хорошъ!—презрительно произноситъ она.—Снесъ письмо?

— Шапку потерялъ!—отвѣчаетъ онъ.

— И по дѣломъ тебѣ, негодный пьянчуга! Что я тебѣ говорила, чтобы ты не смѣлъ въ кабакъ заходить? «Не зайду» барскимъ порученіемъ.» Что-же это ты за человѣкъ послѣ этого? Никакого стыда въ тебѣ. Отвѣчай: снесъ письма?

— Шапку потерялъ!—упорно говоритъ Сидоръ, усаживаясь на песокъ, скрестивъ ноги и невинно смотритъ на Капитолину Ивановну.

— Уведите его!—приказываетъ она Лукерьѣ и Машкѣ.

Онѣ его не безъ труда поднимаютъ и тащутъ отъ бесѣдки. Онъ не упирается и только повторяетъ:

— Шапку потерялъ!.. чер-р-рти!..

Лукерья и Машка, закрываясь рукой, чтобы барыня не замѣтила, фыркаютъ отъ сдерживаемаго смѣха.

Еще съ полчаса продолжается волненіе Капитолины Ивановны. Она ходитъ по садовымъ дорожкамъ своей медленной, перевалистой походкой, вся красная.

«Растерялъ письма, негодный пьянчуга!—время отъ времени повторяетъ она,—того и жди растерялъ!»

Но вотъ изъ-за кустовъ сирени въ глубинѣ садика показывается фигура Порфирія Яковлевича. Капитолина Ивановна радостно идетъ ему навстрѣчу.

— Получилъ письмо?—издали кричитъ она ему.

— Какъ-же, матушка, какъ-же, затѣмъ и поспѣшилъ... Что такое приключилось?

— Ничего не приключилось, здравствуйте... А ужъ я такъ боялась, что этотъ негодный Сидоръ вамъ письмо не доставилъ. Сейчасъ только вернулся пьянъ-пьянехонекъ.

— Это видно онъ на обратномъ пути. А ко мнѣ пришелъ трезвый, только крикъ на всю улицу поднялъ—я думалъ ужъ и ни вѣсть что такое у васъ. Да что-же, матушка, зачѣмъ я вамъ нынче надобенъ?..

— Ахъ, отвяжись, отецъ мой, потерпи малость, что за любопытство!.. Отдохни вотъ въ бесѣдкѣ... тамъ тѣнь—прохладно... А я пойду велю обѣдомъ поторопиться... подойдетъ Анна Алексѣевна... Ботвинья у меня нынче, бѣлорыбица такая, пальчики оближешь...

На лицѣ Порфирія Яковлевича изображается удовольствіе и онъ уходитъ въ бесѣдку, гдѣ дѣйствительно прохладно, гдѣ пахнетъ горячимъ вареньемъ и жужжатъ осы.

Скоро является Анна Алексѣевна, но и ей хозяйка не объясняетъ причины письменнаго зова. Скоро она приглашаетъ гостей въ столовую, гдѣ уже приготовлена закуска и большая миска съ зеленью и льдомъ, да кувшинъ пѣнистаго душистаго кваса для приготовленья ботвиньи. Вотъ Машка вноситъ блюдо съ жирной и бѣлой, какъ снѣгъ, бѣлорыбицей. Порфирій Яковлевичъ даже облизывается отъ предвкушаемаго удовольствія.

Обѣдъ проходитъ довольно молчаливо, всѣ трое ѣдятъ съ большимъ аппетитомъ, изрѣдка затрагивая спеціальные и тонкіе вопросы кулинарнаго искусства. Послѣ обѣда подается душистый черный кофе и нѣсколько маленькихъ граненыхъ графинчиковъ съ наливками.

— Несите-ка вы кофе и наливки въ гостиную на круглый столъ!—приказываетъ Капитолина Ивановна Лукерьѣ и Машкѣ.—Тамъ намъ будетъ лучше поговорить о дѣлѣ...—объясняетъ она гостямъ.

Ихъ любопытство, доведенное почти до нуля во время вкуснаго обѣда, внезапно поднимается сразу на тридцать градусовъ, и имъ даже становится жарко отъ этого любопытства.

«Что за дѣло такое? Капитолина Ивановна даромъ не напишетъ. Сколько ужъ лѣтъ ничего подобнаго не случалось.»

Вотъ они въ гостиной за круглымъ столомъ. Капитолина Ивановна запираетъ двери. Любопытство Порфирія Яковлевича и Анны Алексѣевны достигаетъ сорока градусовъ.

Капитолина Ивановна усаживается въ кресло, подвигаетъ къ себѣ чашку кофе, лицо ея принимаетъ особенно серьезное и строгое выраженіе. Порфирій Яковлевичъ и Анна Алексѣевна такъ и впиваются въ нее глазами.

— Звала я васъ нынче, наконецъ, начинаетъ хозяйка,—по большому дѣлу, хотѣла посовѣтоваться съ вами,—говоритъ она вполголоса и съ нѣкоторымъ таинственнымъ оттѣнкомъ.

— Что такое, матушка, что такое?

— А то, други мои, что старыя дѣла наши, о которыхъ мы такъ полагали, что они померли и забыты,—наружу всплываютъ. Знаете-ли кто у меня вчерась вотъ здѣсь, на этомъ самомъ мѣстѣ сидѣлъ?

— Кто такое... кто?.

— Горбатовъ, Борисъ Сергѣевичъ, покойнаго генерала Горбатова братецъ, тотъ самый, который за четырнадцатое декабря въ Сибирь сосланъ былъ...

Анна Алексѣевна всплеснула руками, а Порфирій Яковлевичъ промычалъ:

— Вотъ какъ!..

— Да, вотъ какъ! И какъ-бы вы думали зачѣмъ онъ ко мнѣ пожаловалъ?

— Ну, извѣстно зачѣмъ!—сказалъ Порфирій Яковлевичъ.— Такъ это тогда онъ Прыгунова подсылалъ, я, признаться сказать, такъ и думалъ.

Капитолина Ивановна усмѣхнулась.

— Большой мудрости не было догадаться! Да-съ, пожаловалъ ко мнѣ самъ своею персоною и требуетъ: подавай ему Сашеньку да Петрушу...

— Ну, и что-же вы?

— Само собою тоже самое—умерли, нѣтъ ихъ, похоронены. Такъ, вѣдь, онъ не вѣритъ. Отыщу, говоритъ; братъ, умирая, просилъ...

Порфирій Яковлевичъ усмѣхнулся.

— На смертномъ одрѣ раскаяніе видно взяло...

— Видно что такъ, отецъ мой, и вотъ теперь этотъ самый Борисъ Сергѣевичъ Горбатовъ, богачъ, какихъ немного въ русскомъ царствѣ, желаетъ разыскать своего незаконнорожденнаго племянника и озолотить его.

— Чудныя дѣла твои, Господи!—прошептала Анна Алексѣевна.

— Такъ-съ!—протянулъ Порфирій Яковлевичъ.—Вотъ, вѣдь, какое дѣло... Какъ-же вы, почтеннѣйшая Капитолина Ивановна, думаете, что-же теперь?!

— Что-же теперь!—повторила Капитолина Ивановна,—умерла наша Сашенька, умеръ Петруша, похоронили мы ихъ на Ваганьковскомъ, я еще въ прошломъ мѣсяцѣ къ нимъ на могилки ѣздила, да панихиду служила. И если господину Горбатову такъ ужъ надобно, и словамъ моимъ онъ не вѣритъ, такъ мы ему и доказательство смерти представить можемъ. Вѣдь такъ, Порфирій Яковлевичъ?

— Можно, безъ сомнѣнія можно,—отвѣтилъ Порфирій Яковлевичъ.

— Ну, вотъ на томъ я вчера и порѣшила, и совсѣмъ было

успокоилась. А нынче утромъ какъ встала, такъ и беретъ меня сомнѣніе. Горбатовъ-то мнѣ, знаете-ли что, хорошимъ человѣкомъ показался!

— Да, говорятъ, таковъ онъ и есть, слухомъ земля полнится,—сказалъ Порфирій Яковлевичъ.

— Вотъ то-то оно и есть, не въ богатствѣ счастіе, а могъ-бы быть нашъ Петруша и богатымъ, дядя ему большую-бы дорогу открылъ... Проснулась я—и все раздумываю. Почемъ знать, можетъ быть и впрямь отъ этого добраго дяди было-бы Петрушино счастье, думаю... одно слово—смущеніе! И такъ Горбатовъ дѣла этого не оставитъ. Прыгунову не удастся, другого найдетъ, вверхъ дномъ все перевернетъ,—съ деньгами, сами знаете, песчинку въ морѣ найти можно...

— Ну, нашу-то песчинку какъ сыскать!—глубокомысленно проговорилъ Порфирій Яковлевичъ.

— А ты что-же молчишь, мать моя?—обратилась Капитолина Ивановна къ Аннѣ Алексѣевнѣ.

— Да что-же, матушка, смутили вы меня, какъ есть совсѣмъ смутили... Страхъ беретъ, вѣдь, я тутъ не малую ролю сыграла, вѣдь, у меня все въ домѣ было. Вы вотъ теперь говорите: съ деньгами все можно—оно такъ и есть—вѣрно. А что, коли Горбатовъ до суда дойдетъ, вѣдь, этакъ мы всѣ поплатиться можемъ, вотъ какъ!..

— Такъ ты ужъ трусишь, Анна Алексѣевна?

— Какъ не трусить, какъ не трусить?.. Вишь ты какое дѣло! Правда-то, говорятъ, не рано такъ поздно всплываетъ—вотъ оно и всплываетъ. Ахъ, матушка, совсѣмъ, совсѣмъ вы меня смутили...

Анна Алексѣевна даже отодвинула отъ себя рюмочку съ наливкой и сидѣла, хлопая глазами.

Порфирій Яковлевичъ заговорилъ:

— Пугаться нечего! Какъ ни повертывай дѣло, а никакимъ манеромъ ничего онъ разузнать не можетъ. Какія тамъ доказательства... Нѣтъ, это вѣрно, бояться нечего...

— Конечно, бояться нечего,—сказала Капитолина Ивановна.— А только вотъ что пришло мнѣ въ голову... говорю я вамъ—хорошій человѣкъ Горбатовъ и простой человѣкъ, даромъ что богачъ и важный баринъ. Ни чуточку онъ не похожъ на нашихъ князей да графовъ, совсѣмъ простой. Не открыться-ли ему, а намъ пусть какъ знаетъ?.. Сдается мнѣ, бояться намъ его нечего именно въ такомъ разѣ нечего бояться, если мы ему на чистоту всю правду скажемъ.

Порфирій Яковлевичъ и Анна Алексѣевна сильно задумались нѣсколько минутъ продолжалось молчаніе. Затѣмъ Порфирій Яковлевичъ поднялъ голову и проговорилъ:

— Можетъ оно и такъ, можетъ вы это и вѣрно разсудили, Капитолина Ивановна. Только, по моему разумѣнію, намъ съ вами дѣла этого рѣшать никакъ невозможно, рѣшить это могутъ только Иванъ Ѳедоровичъ съ Марьей Семеновной.

— Само собою,—сказала Капитолина Ивановна. Затѣмъ я и звала васъ, обсудить сначала со всѣхъ сторонъ, а потомъ и имъ представить... ихъ дѣло... ихъ дѣло!.. а безъ васъ, не посудивъ съ вами, я къ нимъ идти не хотѣла... Такъ значитъ рѣшено?

— Да, да!—подтвердилъ Порфирій Яковлевичъ.

— А ты, мать моя, что на это скажешь?—обратилась Капитолина Ивановна къ Аннѣ Алексѣевнѣ.

— Да что я скажу, что мнѣ тутъ говорить? Какъ вы рѣшите—такъ и будетъ. А боязно мнѣ... все черезъ мои руки, все у меня въ домѣ...

— Ну, заладила! Совсѣмъ ты, сударыня, отъ старости поглупѣла, съ тобой видно и говорить нечего.

Капитолина Ивановна встала и отперла двери, показывая этимъ, что засѣданіе окончено.

VII.

Старая идиллія.

Въ одномъ изъ безчисленныхъ переулковъ между Пречистенкой и Арбатомъ, гдѣ послѣ пожара двѣнадцатаго года стало строить себѣ дома московское дворянство, помѣщался небольшой, но помѣстительный домъ Ивана Ѳедоровича Бородина. Но имѣя недвижимую собственность въ аристократическомъ кварталѣ, Бородинъ уже никакъ не принадлежалъ, несмотря на свое имя, напоминавшее поле знаменитой битвы, къ старому дворянству.

Онъ былъ потомственнымъ русскимъ дворяниномъ благодаря своей службѣ, за которую получилъ орденъ, давшій ему дворянское званіе. Происходилъ онъ отъ зажиточныхъ мѣщанъ города Калуги. Показалъ въ дѣтствѣ большую склонность къ чтенію и письму, а потому отецъ его и рѣшилъ:

«Ну, что-же, пущай и идетъ по ученой части! И въ этомъ званіи люди не пропадаютъ и хлѣбъ добываютъ».

Кончилъ Иванъ Ѳедоровичъ курсъ въ гимназіи, поступилъ въ университетъ, занимался математическими науками и затѣмъ какъ молодой человѣкъ, заявившій себя прилежаніемъ и знаніемъ передъ московскими профессорами и особливо ими рекомендованный, былъ принятъ учителемъ математики въ московскую гимназію.

Иванъ Ѳедоровичъ, человѣкъ нрава кроткаго и уживчиваго, пристрастился къ своему занятію и въ теченіе двадцати пяти лѣтъ аккуратно каждый день вдалбливалъ гимназистамъ разные корни, теоремы, синусы и косинусы. На его глазахъ созрѣвали поколѣнія московской молодежи и любилъ онъ эту молодежь отъ всего сердца. И его любили ученики, только такъ какъ онъ не умѣлъ быть строгимъ и твердости характера никакой не показывалъ, то любовь ихъ главнымъ образомъ выражалась въ томъ, что они немилосердно шумѣли въ его классѣ, не обращая никакого вниманія на его замѣчанія, и надували его самымъ непозволительнымъ образомъ. Нерѣдко даже они подсмѣивались надъ нимъ и подшучивали, позволяли себѣ съ нимъ разные фарсы. Пользуясь его замѣчательною разсѣянностью, они, напримѣръ, накладывали въ карманы его вицъ-мундира апельсинныя корки, старые бутерброды. Онъ ничего не замѣчалъ и всѣ эти запасы приносилъ домой, къ изумленію и ужасу своей супруги. Случалось нѣсколько разъ во время его двадцатипятилѣтняго учительства и такая гадость—скверные мальчишки накладывали ему въ карманы сырыя яйца, слѣдствіемъ чего, конечно, было то, что бѣдный Иванъ Ѳедоровичъ оказывался въ самомъ странномъ и соблазнительномъ видѣ. Но онъ все терпѣлъ и даже не сердился на гадкихъ мальчишекъ, разсуждая такъ, что они еще дѣти, глупы, а выростутъ — поумнѣютъ и самимъ стыдно будетъ вспомнить.

И онъ былъ правъ. При встрѣчахъ съ нимъ бывшіе ученики никогда его не обходили и кидались къ нему, какъ къ старому другу. Онъ каждаго узнавалъ, разспрашивалъ подробно и зазывалъ къ себѣ въ гости. Такимъ образомъ, у него въ домѣ иной разъ набиралось не мало народу.

Иванъ Ѳедоровичъ, поступивъ учителемъ въ гимназію, въ то-же время давалъ нѣсколько и приватныхъ уроковъ; а такъ какъ онъ былъ молодымъ человѣкомъ скромнымъ и пользовался репутаціей смиренника, то ему было поручено даже обучать ариѳметикѣ нѣкоторыхъ московскихъ барышенъ.

Въ одну изъ своихъ ученицъ, дочку заѣзжаго пензенскаго помѣщика, онъ вдругъ влюбился. Какъ съ нимъ случилась такая напасть—онъ и сообразить не могъ. До того времени онъ боялся женщинъ, старался избѣгать встрѣчъ съ ними и разговоровъ, а когда такое бѣгство оказывалось невозможнымъ, то конфузился краснѣлъ, не поднималъ глазъ.

Точно также онъ поступалъ и со своими ученицами, а тутъ вдругъ поднялъ глаза, да и увидѣлъ передъ собою юную бѣлокурую головку, нѣжныя розовыя щеки, тихую улыбку, выказывавшую рядъ ровненькихъ, бѣленькихъ зубовъ.

Непостижимое что-то совершилось съ Иваномъ Ѳедоровичемъ, не въ силахъ былъ онъ оторвать глазъ отъ этого милаго личика; сбился, спутался и никакъ не удавалось ему объяснить барышнѣ именованныя числа.

— Иванъ Ѳедоровичъ, что это вы на меня такъ странно смотрите?—проговорила барышня, а сама вдругъ вспыхнула какъ маковъ цвѣтъ.

Молодой учитель задрожалъ всѣмъ тѣломъ:

— Я ничего-съ!.. я такъ-съ... извините пожалуйста, Марья Семеновна...

Она засмѣялась такъ звонко и весело и сквозь смѣхъ проговорила:

— Чего-же вы извиняетесь? Вы меня ничѣмъ не обидѣли...

Но вдругъ, прекративъ смѣхъ и сдѣлавшись очень серьезной, прибавила:

— Такъ что-же такое именованныя числа, я все никакъ понять не могу, повторите пожалуйста?

Но ничего не вышло изъ этого урока; барышня такъ и не узнала, что такое именованныя числа.

Въ слѣдующій разъ Иванъ Ѳедоровичъ пришелъ такой блѣдный и грустный и уже не поднималъ глазъ на Марью Семеновну. Она ждала, ждала и не утерпѣла, спросила:

— Иванъ Ѳедоровичъ, отчего вы на меня глядѣть не хотите? вы на меня сердитесь?

Онъ привскочилъ на стулѣ какъ ужаленный.

— Я—на васъ сердиться! Я... помилуйте... да я, Марья Семеновна, я...

Онъ замолчалъ. И она ясно увидѣла, какъ на его глазахъ блеснули слезы. Ея доброе, милое личико стало еще добрѣе, и послѣ урока она крѣпко, крѣпко сжала руку Ивана Ѳедоровича.

Онъ выбѣжалъ изъ дома какъ сумасшедшій и часа три бѣгалъ по бульварамъ, самъ не понимая, гдѣ онъ, что съ нимъ такое дѣлается, и совсѣмъ забылъ, что онъ давно уже пропустилъ часъ очень выгоднаго урока.

Трудно было сговориться молодымъ людямъ. Иванъ Ѳедоровичъ даже и мечтать не смѣлъ о какихъ-нибудь серьезныхъ планахъ. Онъ жилъ настоящимъ. Онъ былъ счастливъ ея молчаливой улыбкой, пожатіемъ руки.

Она тоже дальше этого не шла. Такъ продолжалось цѣлую зиму.

Наконецъ пришло время кончить уроки: Марья Семеновна собиралась съ родителями въ деревню. Бѣдный Иванъ Ѳедоровичъ бродилъ какъ помѣшанный, считалъ дни.

«Боже мой, вѣдь, завтра послѣдній урокъ!» думалъ онъ.

Онъ не спалъ нѣсколько ночей, совсѣмъ отбился отъ ѣды и даже похудѣлъ, пожелтѣлъ. Наступилъ часъ послѣдняго урока. Марья Семеновна вышла къ нему съ покраснѣвшими глазами; она очевидно плакала.

Во время уроковъ очень часто присутствовала ея мать, добродушнѣйшая, толстѣйшая помѣщица средней руки, обожавшая единственную дочь. Былъ еще у нея сынъ-офицеръ, да тотъ со своимъ полкомъ находился гдѣ-то въ Польшѣ и по цѣлымъ годамъ не видался съ родителями.

Но на этотъ разъ они оказались одни. Маменька уѣхала за покупками, за запасами на лѣто, отецъ Марьи Семеновны, старый отставной полковникъ, большой крикунъ и говорунъ, вѣчно ходившій на распашку до неприличія, потому что ему всегда было душно, и не выпускавшій изо рта длиннаго чубука, еще за мѣсяцъ уѣхалъ въ деревню.

Иванъ Ѳедоровичъ, молча поздоровавшись съ барышней, хотѣлъ было уже приступить къ уроку и началъ было:

— Въ прошлый разъ мы остановились съ вами...

Но барышня перебила его.

— Иванъ Ѳедоровичъ, оставьте это,—сказала она:—поговоримте лучше. Вѣдь, вы знаете—мы уѣзжаемъ въ деревню и врядъ-ли вернемся будущей зимой въ Москву, такъ папенька сказалъ. Значитъ... значитъ мы съ вами простимся и можетъ быть болыше никогда не увидимся...

— Зачѣмъ-же вы это мнѣ говорите?—вдругъ воскликнулъ Иванъ Ѳедоровичъ съ такой силою, съ такой страстью, какой даже въ немъ предположить было невозможно.—Зачѣмъ говорите? Я и такъ измучился...

— Такъ вамъ скучно прощаться со мною?!—прошептала она заглядывая ему въ глаза своими нѣжными, печальными глазами.

— Марья Семеновна, да неужели вы не видите, что я умру, разставшись съ вами?

Она вдругъ зарыдала. Но это не были слезы горя.

Себя не помня, онъ кинулся къ ней и черезъ мигъ они были въ объятіяхъ другъ друга.

Въ это время раздался звонокъ. Они очнулись.

— Это маменька вернулась,—сказала Марья Семеновна:—пойдите къ ней, поговорите съ нею, милый!

Иванъ Ѳедоровичъ съ небесъ упалъ на землю.

— Да какъ-же я... какъ-же я посмѣю?..—шепталъ онъ.

— А не посмѣете—значитъ, меня не любите...—быстро проговорила Марья Семеновна и скрылась изъ комнаты.

Эти послѣднія слова ея мгновенно его наэлектризовали и когда, переваливаясь и обмахиваясь платкомъ, вошла «маменька»

Иванъ Ѳедоровичъ уже былъ инымъ человѣкомъ, чѣмъ тотъ, котораго всѣ знали.

Онъ кинулся къ «маменькѣ» и, весь красный, съ сверкающими глазами, съ нервной дрожью въ голосѣ, даже не поздоровавшись, объявилъ ей, что любитъ ея дочь и проситъ ея руки. Маменька остановилась и поглядѣла на него широко раскрытыми глазами.

— Да что это вы, батюшка, на меня накинулись, будто бѣлены объѣлись! Да поглядите вы на себя... вы сейчасъ кусаться станете! Поздоровайтесь хоть сначала...

Она протянула ему руку, которую онъ поцѣловалъ.

— Ну, а теперь садитесь и будемъ говорить.

Изъ этого пріема уже можно было видѣть, что маменька подготовлена. Марья Семеновна не дремала и, несмотря на всю свою дѣвическую скромность и немудреность, рѣшивъ, что любитъ Ивана Ѳедоровича, и отлично зная, что и онъ ее любитъ, мало-по-малу уговорила таки маменьку. Сначала старуха и слушать не хотѣла, объявила даже, что не будетъ пускать Бородина въ домъ и прекратитъ эти глупые уроки.

— Ишь, вѣдь, въ тихомъ-то омутѣ и впрямь, видно, черти водятся! На видъ такой скромный, глазъ не подыметъ... а, скажите пожалуйста—вонъ куда метнулъ!.. Да ты, Машенька, рехнулась, что-ли—подумай только: ты столбовая дворянка и не безприданница,—а онъ что—учителишка изъ мѣщанъ! Это я доподлинно знаю, мнѣ Капитолина Ивановна сказывала (Капитолина Ивановна, старая знакомая маменьки, и рекомеодовала ей Ивана Ѳедоровича). Такъ развѣ онъ тебѣ пара? не такого жениха тебѣ надо!

Но Марья Семеновна стала доказывать самымъ логичнымъ образомъ, то-есть слезами и поцѣлуями, что именно такого жениха ей надо, что ни за кого другого ни за что не пойдетъ и если ее не выдадутъ за Ивана Ѳедоровича, то она станетъ чахнуть и помретъ—вотъ какъ кузина Наденька, которая въ полгода извелась и сошла въ могилу, оттого что родители не выдали ее за любимаго человѣка.

Маменька при такомъ напоминаніи перепугалась не на шутку.

— Ахъ бѣды! И когда-же вы это успѣли? Кажется съ глазъ не спускала...

— Что успѣли, маменька? Ничего мы не успѣли. Онъ никогда мнѣ и слова не сказалъ... такого...

— Такъ что-же это ты? Можетъ, онъ вовсе о тебѣ не думаетъ!

— Ну, ужъ я знаю, знаю... онъ скромный... очень боится...

И каждый день у матери съ дочерью были такіе разговоры и кончилось тѣмъ, что маменька совсѣмъ убѣдилась, что дѣлать нечего—придется выдать дочку за учителя.

Теперь являлся другой вопросъ:

— А объ отцѣ-то ты и не подумала. Онъ не допуститъ, ни за что не допуститъ!.. Онъ свое столбовое дворянство знаешь какъ цѣнитъ?

— Ахъ ты, Боже мой, опять это! Да Иванъ Ѳедоровичъ... онъ ученый человѣкъ, онъ служитъ, онъ двадцать разъ дворяниномъ будетъ!.. Если вы станете уговаривать папеньку, такъ онъ согласится, навѣрно согласится, вѣдь, онъ меня любитъ, не захочетъ моей смерти.

Маменька подумала, подумала и рѣшила такъ, что папенька накричитъ, набурлитъ, а въ концѣ концовъ сдастся...

— Такъ вотъ вы какъ, Иванъ Ѳедоровичъ!—съ притворной строгостью сказала маменька Бородину, усаживаясь въ кресло и продолжая обмахиваться платкомъ:—ариѳметикѣ обучали мою дочку, а на умѣ другое было... Ну, да браниться съ вами не буду.—А вотъ что скажите вы мнѣ, сударь мой, мнѣ это знать нужно, потому тутъ не во мнѣ дѣло, а мужъ какъ скажетъ... Слышала я какъ будто вы не изъ дворянъ...

Иванъ Ѳедоровичъ нѣсколько смутился, но тотчасъ-же поднялъ глаза.

— Да,—сказалъ онъ:—отецъ мой былъ мѣщаниномъ, а я, какъ университетскій, какъ кандидатъ, имѣю личное дворянство.

— Личное! то-то же! Ну, а потомственное дворянство вы получить можете?

— По службѣ могу!..

И онъ объяснилъ ей все, что было надо.

Она покачала головою.

— Такъ слушайте меня, Иванъ Ѳедоровичъ,—рѣшила она,—что съ возу упало—то пропало: сдурила моя дочка—Богъ съ вами, человѣкъ вы хорошій и, коли любите ее душевно, я вашему счастью мѣшать не стану.

Иванъ Ѳедоровичъ схватилъ руки маменьки и покрывалъ ихъ восторженными поцѣлуями.

— Да не торопись ты, отецъ мой,—отбивалась она,—какъ мужъ рѣшитъ, можетъ, онъ и слышать про тебя не захочетъ. Вотъ мы поѣдемъ въ деревню и станемъ его уговаривать; не уговоримъ—дѣлать нечего, а уговоримъ—пришлю я тебѣ письмецо и пріѣзжай ты къ намъ въ деревню. Вѣдь, у тебя лѣто свободное?

— Конечно, свободное, конечно, свободное!—повторялъ Иванъ Ѳедоровичъ.

Все передъ нимъ было какъ въ туманѣ.

— А теперь уходи,—говорила между тѣмъ маменька:—и ни гугу! никому ни слова, коли ты честный человѣкъ, потому что еще неизвѣстно, какъ дѣло обернется. Уѣзжаемъ мы послѣ завтра,

утромъ зайди, пожалуй, проститься на минуту и смотри—виду не подай. А затѣмъ жди отъ насъ вѣсти...

Такъ все и сталось. Марья Семеновна уѣхала съ маменькой. Иванъ Ѳедоровичъ остался въ Москвѣ въ тревогѣ, въ ожиданіи. Онъ считалъ дни, часы и минуты. Прошли двѣ недѣли, три ненѣли, мѣсяцъ—онъ уже сталъ приходить въ отчаяніе, но вдругъ письмо. Сама Марья Семеновна писала:

«Иванъ Ѳедоровичъ, голубчикъ, трудно было, но все-же уладилось—папенька согласенъ, пріѣзжайте».

Небо съ овчинку показалось Ивану Ѳедоровичу. Онъ мигомъ собрался и помчался въ Пензенскую губернію.

VIII.

Жили-были.

Когда Иванъ Ѳедоровичъ, уже на склонѣ жизни, въ тихія минуты припоминалъ это далекое время, каждый разъ восторженныя слезы навертывались на глаза его, и онъ шепталъ:

«И за что мнѣ дано было такое счастье? Что я сдѣлалъ, чтобы заслужить его?!»

И, конечно, онъ не могъ понять, до какой степени онъ стоилъ своего скромнаго счастья. Онъ вотъ, напримѣръ, высоко цѣнилъ умъ своей супруги; но далекъ былъ отъ мысли, что главнымъ образомъ она выказала свой умъ, выбравъ его себѣ въ мужья и настаивая на томъ, чтобы ей разрѣшили выйти за него замужъ. Лучшаго мужа «маменька» и «папенька», конечно, никогда бы не могли найти для своей дочки.

Какъ былъ онъ восторженно влюбленъ въ нее, объясняя ей именованныя числа, такъ точно восторженно оставался влюбленнымъ и до старости. Марья Семеновна была для него олицетвореніемъ всѣхъ добродѣтелей, воплощеніемъ земной и чуть что ни небесной красоты. Что сказала и рѣшила Марья Семеновна—то было для него свято. Все, что исходило отъ нея, все, что дѣлалось ею—казалось ему произведеньемъ высшей мудрости. Никогда между ними не пробѣжало ни одной черной кошки, въ ихъ семейной жизни была такая тишь да гладь, да Божья благодать, что даже строгая Капитолина Ивановна, всегда искавшая и находившая оборотную сторону медали, ставила ихъ всѣмъ въ примѣръ.

— Вотъ Бородины,—говорила она:—скромные люди, звѣздъ съ неба не хватаютъ, пороху не выдумываютъ, а всѣмъ-бы нашимъ умникамъ да умницамъ у нихъ поучиться! на заглядѣнье

живутъ! У нихъ въ домѣ и духъ-то особенный: войдешь—такъ словно свѣжестью какой пахнетъ, вотъ какъ въ саду весною...

И этотъ весенній запахъ, чувствуемый Капитолиной Ивановной, Бородины сумѣли сохранить въ теченіе всей своей жизни.

«Папенька» и «маменька» купили молодымъ просторный, хорошій домъ, устроили имъ полную обстановку, такъ что никого имъ принять было не зазорно. Поговаривали въ первое время о томъ, что не бросить-ли Ивану Ѳедоровичу его учительства, гимназической службы, не найти-ли службы повиднѣе, чтобы выйти скорѣе въ люди. Но Иванъ Ѳедоровичъ находилъ, что онъ и такъ уже черезчуръ «вышелъ», что дальше и выше идти ему некуда, что при полномъ его счастьи и благополучіи питать въ себѣ еще какіе-нибудь честолюбивые замыслы—просто грѣхъ. Да и наконецъ онъ любилъ свое скромное дѣло, любилъ сквернихъ шалуновъ-мальчишекъ—и продолжалъ учительствовать. Но все-же «папенька» и «маменька», не на шутку терзавшіеся мыслью о «неблагородствѣ» своего зятя, при посредствѣ добрыхъ знакомыхъ, такъ подѣйствовали на гимназическое начальство, что Иванъ Ѳедоровичъ въ годъ своей женитьбы былъ награжденъ орденомъ. Этотъ орденъ давалъ ему всѣ права и привиллегіи потомственнаго дворянства. Впослѣдствіи это дворянство причинило ему, какъ увидимъ, не мало тревогъ...

Послѣ трехъ лѣтъ полнаго благополучія, пришло къ Бородинымъ высшее счастье, о которомъ они мечтали: родился у нихъ ребенокъ—сынокъ Миша. Марья Семеновна наглядѣться не могла на мальчика. Иванъ Ѳедоровичъ всѣ свои свободныя минуты посвящалъ ему и при этомъ выказывалъ такую нѣжность, такую почти женскую заботливость и умѣніе обращаться съ ребенкомъ, что Капитолина Ивановна, часто ихъ навѣщавшая, прозвала его «нянькой». Да и мальчикъ вышелъ славный, съ такими живыми глазами, съ курчавыми волосенками, такой бѣленькій, тихій и спокойный...

Ежегодно, когда наступало лѣто и въ гимназіи оканчивались экзамены, Бородины уѣзжали въ деревню на вакаціонное время. «Папенька» и «маменька» всегда настаивали, и особенно съ тѣхъ поръ, какъ родился Миша, чтобы Марья Семеновна подольше оставалась въ деревнѣ, на вольномъ воздухѣ; но она и слышать объ этомъ не хотѣла: она ни на одинъ день не разставалась съ мужемъ.

«Гдѣ мужъ—такъ и жена!—говорила она:—какъ я его одного отпущу въ Москву!. Да онъ совсѣмъ пропадетъ безъ меня!»

Иванъ Ѳедоровичъ благодарно взглядывалъ на жену, и они возвращались всегда вмѣстѣ, въ первой половинѣ августа, къ началу его классныхъ занятій.

Только одинъ разъ этотъ установившійся порядокъ былъ нарушенъ. Почти передъ самымъ отъѣздомъ въ деревню маленькій Миша сильно заболѣлъ. Двери Бородиныхъ заперлись для всѣхъ знакомыхъ, за исключеніемъ Капитолины Ивановны. Мальчикъ болѣлъ долго, потомъ было слышно, что онъ выздоровѣлъ. Только въ началѣ іюля Иванъ Ѳедоровичъ и Марья Семеновна уѣхали въ деревню совсѣмъ какъ-то тихомолкомъ.

Къ началу гимназическихъ занятій Иванъ Ѳедоровичъ вернулся одинъ, да такой мрачный, худой и блѣдный, что знакомые его такъ и ахнули.

— Батюшка, Иванъ Ѳедоровичъ, что съ вами, вѣдь, вы больные совсѣмъ, и какъ это Марья Семеновна васъ отпустила?

— Нѣтъ, я здоровъ!—печально отвѣчалъ онъ.

— Все-ли у васъ благополучно? Какъ лѣто провели?

— Ничего, все благополучно...

И при этихъ словахъ голосъ его дрожалъ и выраженіе лица становилось такимъ жалкимъ, такимъ безнадежнымъ.

— Ну, а какъ теперь вашъ Миша?—Совсѣмъ поправился послѣ болѣзни?

— Поправился, слава Богу... И Иванъ Ѳедоровичъ обрывалъ разговоръ.

Но всѣ замѣчали, что онъ груститъ и тоскуетъ, что у Бородиныхъ что-то неладно.

— Да и чего это Марья Семеновна такъ замѣшкалась въ деревнѣ?

Наконецъ поздно осенью она пріѣхала съ Мишей. Ее нашли еще болѣе измѣнившейся. Она просто постарѣла на нѣсколько лѣтъ. Знакомые иногда заставали ее съ глазами, видимо распухшими отъ слезъ, но она никому не повѣряла причины своей грусти.

— И что у нихъ тамъ такое—одному Богу извѣстно!.. Печальное было, видно, лѣто... Одному Мишѣ оно принесло пользу—перенесенная имъ болѣзнь видимо его совсѣмъ переродила, просто не узнать стало мальчика... Такъ выросъ, окрѣпъ, да и лицо какъ будто другое—глаза потемнѣли, одни только волосенки, попрежнему курчавые да мягкіе.

Но мальчика рѣдко кто и видѣлъ. Марья Семеновна сдѣлалась такая странная, прятала ото всѣхъ ребенка, будто боялась, что его сглазятъ.

Между тѣмъ время шло: стали проходить годы, и мало-помалу всѣ, знавшіе Бородиныхъ, конечно, забыли о томъ, что имъ показалось когда-то страннымъ и непонятнымъ. Марья Семеновна уже не плакала и не грустила, пополнѣла и поздоровѣла. Иванъ Ѳедоровичъ продолжалъ учительствовать, преклоняться передъ

женою и баловать сына. Только у него мало-по-малу развилась новая страсть, которая не особенно шла къ предмету его занятій, т. е. къ математикѣ, страсть это была—ботаника. Теперь онъ все свободное время проводилъ у себя въ саду, гдѣ настроилъ тепличекъ и парниковъ, выращивая удивительныя овощи и растенія.

Миша росъ, развивался; его уже больше ни отъ кого не прятали и всякій, приходившій въ домъ Бородиныхъ, имѣлъ полную возможность любоваться живымъ, красивымъ мальчикомъ.

— Какой славный у Бородиныхъ Миша выростаетъ,—говорили про него:—только вотъ ужъ не въ мать, не въ отца, крупный такой, черноглазый!

Прошло еще нѣсколько лѣтъ. Бородины уже не ѣздили лѣтомъ въ деревню, такъ какъ ни «папеньки», ни «маменьки» не было на свѣтѣ, а деревня принадлежала брату Марьи Семеновны, незнавшемуся съ сестрою. Послѣ смерти родителей этотъ братъ вышелъ въ отставку, переѣхалъ въ деревню, обдѣлилъ сестру при раздѣлѣ наслѣдства и затѣмъ прямо объявилъ ей, что она унизила себя своимъ замужествомъ. Конечно, послѣ этого о родственныхъ отношеніяхъ не могло быть и рѣчи. Поволновалась, поволновалась Марья Семеновна, но скоро успокоилась. Брата она почти не знала, такъ что ссора эта не причинила ей особеннаго горя. А что обманулъ онъ ее и присвоилъ часть родительскаго состоянія, которая должна была ей достаться—Богъ съ нимъ. Жили Бородины, ни въ чемъ не нуждаясь, въ своемъ домѣ, и былъ у нихъ припасенъ небольшой капиталецъ. Иванъ Ѳедоровичъ получалъ достаточно—хватитъ на ихъ вѣкъ, да и Мишѣ что-нибудь достанется. А Миша, Богъ дастъ, не пропадетъ, мальчикъ умный, способный, въ гимназіи хорошо учится.

Миша росъ и продолжалъ хорошо учиться. Затѣмъ поступилъ въ университетъ, кончилъ курсъ, потомъ уѣхалъ за границу. Родители ни въ чемъ ему не отказывали, и Марья Семеновна аккуратно высылала ему то во Францію, то въ Германію, то въ Италію всѣ проценты со своего капитала. Что-то ужъ очень долго Миша пробылъ за границей—болѣе двухъ лѣтъ. Наконецъ вернулся.

Послѣ первыхъ радостныхъ дней свиданія, отецъ осторожно и боязливо приступилъ къ разговору о предметѣ, который его видно тревожилъ—сталъ спрашивать сына, что-же онъ намѣренъ теперь съ собою дѣлать, гдѣ и какъ думаетъ служить?

Красавецъ Миша приподнялъ на отца свои черные глаза, которые почти всегда держалъ полузакрытыми, и проговорилъ:

— А вамъ, папенька, непремѣнно-бы хотѣлось, чтобы я служилъ?

— Другъ мой, какъ-же иначе? Зачѣмъ-же ты образованіе по-

лучилъ, если не для того, чтобы примѣнить его къ дѣлу? Вотъ ты болѣе двухъ лѣтъ провелъ за границей, я, мой милый, тебя не попрекаю и знаю, что ты не даромъ прожилъ это время, ты тамъ окончательно завершилъ свое образованіе, ты слушалъ лекціи знаменитыхъ европейскихъ ученыхъ. Все это прекрасно. Ну, а теперь надо начинать иную жизнь.

Михаилъ Ивановичъ совсѣмъ почти закрылъ глаза и задумался.

— Хорошо!—проговорилъ онъ:—я согласенъ съ вами... буду служить, только гдѣ?

Отецъ оживился.

— А ты полагаешь, мы съ матерью объ этомъ не подумали. Слава Богу, не безъ добрыхъ людей на свѣтѣ. Вотъ, Петръ Петровичъ Софоновъ, чай, помнишь... Знаешь, какое мѣсто теперь занимаетъ. Вѣдь, онъ изъ первыхъ старшихъ учениковъ моихъ и меня никогда не забываетъ... Еще недавно, какъ получилъ твое послѣднее письмо, я говорилъ съ нимъ о тебѣ, и онъ обѣщалъ тебя у себя пристроить.

— Что-же это—въ архивныя крысы!—равнодушно произнесъ Михаилъ Ивановичъ.

Отецъ опѣшилъ.

— Какъ это ты такъ говоришь, въ архивныя крысы! Къ чему тутъ крысы? Для начала службы самое лучшее и при твоемъ образованіи, полагаю я, для тебя подходящее, а дальше отъ тебя будетъ зависѣть... А ты вдругъ... крыса!..

Михаилъ Ивановичъ улыбнулся.

— Да, вѣдь, я это такъ, папенька—шутя!.. Мнѣ все равно... Если желаете, я и у Софонова служить буду.

На томъ они и порѣшили. Михаилъ Ивановичъ поступилъ на службу и остался въ родительскомъ домѣ. Ему былъ предоставленъ весь мезонинъ, состоящій изъ трехъ просторныхъ комнатъ, гдѣ онъ могъ располагать своимъ временемъ, какъ угодно, принимать, кого ему вздумается, возвращаться домой, никого не стѣсняя въ какой угодно часъ ночи, такъ какъ и ходъ въ мезонинъ былъ отдѣльный.

IX.

Михаилъ Ивановичъ.

Теперь со времени возвращенія Михаила Ивановича прошло уже нѣсколько лѣтъ, и въ эти годы въ домѣ Бородиныхъ совершились большія перемѣны. Но, прежде чѣмъ говорить объ этихъ перемѣнахъ, нужно нѣсколько познакомиться съ Михаиломъ Ивановичемъ.

По мѣрѣ того, какъ онъ выросталъ, по мнѣнію всѣхъ бывавшихъ въ домѣ у Бородиныхъ, онъ все болѣе и болѣе заслуживалъ названія «родительскаго утѣшенія», и по-истинѣ могъ считаться счастливцемъ. Мальчикъ онъ былъ очень здоровый, характеръ имѣлъ ровный и спокойный, способности къ ученію прекрасныя. Подъ родительскимъ кровомъ не зналъ онъ никакихъ бѣдъ и напастей, не извѣдалъ даже, что значитъ строгость. И отецъ и мать его баловали, окружали постоянной заботливостью, старались стѣснять его какъ можно меньше.

Другой бы на его мѣстѣ избаловался и сдѣлался непослушнымъ и своевольнымъ, но съ нимъ этого не случилось. Онъ, повидимому, очень рано научился цѣнить доброту своихъ родителей и никогда не злоупотреблялъ ею. Выросталъ онъ и развивался самымъ правильнымъ образомъ. Въ гимназіи сходился съ такими-же благовоспитанными и скромными мальчиками, какимъ былъ самъ.

Будучи студентомъ университета и съ удовольствіемъ слушая и записывая профессорскія лекціи, онъ, однако, не былъ изъ числа тѣхъ маменькиныхъ сынковъ, которые являлись въ университетъ съ провожатыми и изображали изъ себя невинныхъ агнцевъ. Иной разъ случалось, что Михаилъ Ивановичъ сильно покучивалъ и шумѣлъ въ пріятельской компаніи и даже раза два-три во время университескаго курса подвергался дисциплинарному наказанію. Но ничего грязнаго и неблагороднаго не было въ его кутежахъ и шалостяхъ. Да, и наконецъ, эти кутежи очень скоро прекращались, не оставляя по себѣ никакихъ слѣдовъ. Однако, онъ вспоминалъ объ нихъ съ пріятной улыбкой и безъ упрековъ совѣсти.

Только къ концу университетскаго курса въ его внутреннюю, спокойную и счастливую жизнь стало проникать какое-то недовольство, не то скука, и самъ онъ не замѣтилъ, откуда и какимъ образомъ появились вдругъ эти чувства. Все вокругъ него было по прежнему складно и ладно, та-же мирная и скромная семейная обстановка, тѣ-же добрые старики-родители, тѣ-же привычныя лица, которыхъ онъ съ дѣтства зналъ и любилъ, которыя и его любили. Но, бывало, прежде ему было хорошо и уютно въ этой обстановкѣ, а теперь нѣтъ-нѣтъ, да и покажется она ему черезчуръ сѣренькой и неприглядной. Онъ сталъ ко всему относиться критически. Иногда онъ ловилъ себя на недовольствѣ отцомъ и матерью. Иногда они казались ему не совсѣмъ такими, какими-бы онъ хотѣлъ ихъ видѣть.

Дѣло было въ томъ, что Михаилъ Ивановичъ попалъ не въ свое общество—онъ сдружился съ двумя молодыми людьми, принадлежавшими къ высшему московскому кругу, и черезъ нихъ

попалъ въ знатные и богатые дома. Онъ былъ такой красивый и приличный молодой человѣкъ и, благодаря стараніямъ и заботамъ Марьи Семеновны, даже очень недурно говорилъ по-французски, безъ чего въ этихъ домахъ обойтись было никакъ невозможно, не роняя своего достоинства.

И вотъ, внѣшній блескъ роскошной барской жизни, лоскъ и тактъ этихъ неизвѣстныхъ ему прежде людей произвели на него неотразимое впечатлѣніе. Онъ очень скоро усвоилъ себѣ пріемы свѣтскаго молодого человѣка, привычки, какихъ у него прежде не было. Онъ сталъ франтить и модничать. Онъ, вообще, такъ вдругъ измѣнился, что Капитолина Ивановна, какъ-то пристально и долго въ него вглядѣвшись, вдругъ обратилась къ нему съ такой фразой:

— Никакъ это ты, Мишенька, вороной сталъ въ павлиныхъ перьяхъ! Очнись, батюшка, не пристало тебѣ финта такого разыгрывать...

Михаилъ Ивановичъ съ изумленіемъ взглянулъ на старуху.

— Что это вы, Капитолина Ивановна, чѣмъ я ворона въ павлиныхъ перьяхъ?

— Да ужъ не вывертывайся! Насквозь я тебя вижу—попалъ къ богатымъ да знатнымъ людямъ—и рехнулся... Не ждала я отъ тебя такой дурости, почитала тебѣ умнѣе... Такъ-то... Что? Не нравится!—Ужъ не взыщи. Вѣдь, я тебя, балбеса, на рукахъ няньчила, носъ тебѣ утирала, такъ не стану съ тобой церемониться... А вотъ что я тебѣ скажу—одумайся-ка лучше, да отъ князей своихъ да графовъ подальше, ни къ чему путному это тебя не приведетъ. Знай сверчокъ свой шестокъ—въ томъ весь и умъ человѣка, чтобы умѣть оставаться на своемъ мѣстѣ. А вздумаешь на чужое мѣсто садиться—такъ сгонятъ и сраму не оберешься...

Сказала все это Капитолина Ивановна, а потомъ взяла, повернулась и ушла, такъ что и отвѣтить ничего не успѣлъ ей Михаилъ Ивановичъ. Да и отвѣта у него никакого не было. Смутила его и даже какъ будто нѣсколько испугала старуха, заставила задуматься.

«Какъ ворона въ павлиныхъ перьяхъ?!—думалъ онъ.—Какъ не на своемъ мѣстѣ?! Тамъ мнѣ хорошо, тамъ мнѣ вольно дышется, тамъ все такъ свѣтло, изящно, гармонично. И какимъ образомъ меня могутъ прогнать со срамомъ, когда принимаютъ какъ друга, когда считаютъ меня равнымъ себѣ?! Да и чѣмъ я имъ неравный?!. Что у меня незнатное имя, что я небогатъ... Но, вѣдь, они хорошо понимаютъ, что то и другое не зависитъ отъ человѣка и не можетъ дать ему особеннаго значенія!..»

Однако, какъ онъ себя ни успокаивалъ, а слова старухи за-

сѣли у него въ памяти. Онъ невольно сталъ внимательно вглядываться въ общество, которое считалъ теперь своимъ обществомъ, и очень скоро замѣтилъ, что ошибался во многомъ, что его хотя и принимали любезно, а своимъ не считали. Случай помогъ ему скоро окончательно въ этомъ убѣдиться.

Онъ увлекся одной молоденькой свѣтской дѣвушкой, которая, повидимому, выказывала ему большое вниманіе и всегда очень охотно съ нимъ бесѣдовала и даже танцовала. За этой дѣвушкой свѣтская молодежь очень ухаживала, и она позволяла за собой ухаживать. Поощренный примѣромъ пріятелей, и Михаилъ Ивановичъ вздумалъ показать ей, хотя и въ очень осторожной формѣ, свои нѣжныя чувства. Но тутъ случилось нѣчто странное: то, что она принимала отъ другихъ, гораздо менѣе его интересныхъ молодыхъ людей, того не только не приняла отъ него, но обдала его такой холодностью, что онъ не зналъ куда и дѣваться. Она мгновенно перестала совсѣмъ замѣчать его, и въ домѣ ея родителей такъ приняли бѣднаго юношу, что онъ ушелъ съ тѣмъ, чтобы больше никогда туда не вернуться, ушелъ съ чувствомъ глубоко оскорбленнаго самолюбія.

Затѣмъ онъ подслушалъ нѣсколько фразъ, сдѣлалъ нѣсколько сопоставленій, и оказалось, что Капитолина Ивановна права, что онъ ворона въ павлиныхъ перьяхъ.

Неизвѣстно, какъ-бы онъ покончилъ со своими великосвѣтскими знакомствами, если-бы это было въ другое время. Но время было для него горячее—послѣдніе выпускные экзамены. Онъ призвалъ къ себѣ на помощь всю силу воли, принялся за работу, выдержалъ экзамены прекрасно и поспѣшилъ уѣхать за границу.

Два года, проведенные имъ въ Европѣ, были для него какимъ-то долгимъ сномъ. Здоровый и энергичный, далекій отъ какого-бы то ни было пресыщенія жизнью, онъ жадно вглядывался во все новое, что ему встрѣчалось. Онъ изъѣздилъ Германію, Францію, Италію, побывалъ даже въ Греціи, даже въ Константинополѣ. И, несмотря на то, что Марья Семеновна аккуратно высылала ему деньги, жажда все видѣть, все знать и всюду быть оказалась въ немъ такъ велика, что для удовлетворенія этой жажды ему приходилось иногда просто почти бѣдствовать.

А ядъ, который онъ вкусилъ уже въ обществѣ, принятомъ имъ за свое общество, нѣтъ-нѣтъ да и начиналъ дѣйствовать. Михаилъ Ивановичъ уже не считалъ себя счастливымъ человѣкомъ, ему недоставало многаго, въ немъ не разъ поднималось желчное чувство, заговаривала мучительная зависть къ людямъ, которымъ все доступно и которые иногда вовсе недостойны этого.

«Зачѣмъ имъ—все, а мнѣ—такъ мало! Зачѣмъ то, что имъ само дается въ руки, не спрашивая, чувствуютъ ли они въ этомъ потребность, мнѣ, которому все это такъ нужно, дается съ трудомъ, съ лишеніями, а многое, главное—совсѣмъ никогда не можетъ достаться? Зачѣмъ эта несправедливость?»

Онъ старался гнать такія мысли и начиналъ успокаивать себя, начиналъ доказывать себѣ, что глупо и позорно мучиться всѣмъ этимъ, что это самое безплодное изъ всѣхъ мученій.

А ядъ все-таки же дѣйствовалъ и портилъ ему жизнь, развивалъ въ немъ болѣзненное равнодушіе.

«Все равно, какъ ни бейся, а ничего большаго не достигнешь—такъ лучше и не достигать ничего. Пусть такъ идетъ себѣ жизнь, день за днемъ, сѣренькая и блѣдная...»

Тогда ему приходило въ голову, что, вѣдь, есть люди, которые, безъ всякаго оружія въ рукахъ, берутъ все. Но онъ инстинктивно чувствовалъ, что не принадлежитъ къ такимъ людямъ, что безъ оружія не возьметъ многаго. Вотъ если-бы судьба дала хоть какое-нибудь оружіе—тогда можно было-бы побороться...

Вернулся Михаилъ Ивановичъ въ Москву именно въ самый разгаръ этого своего душевнаго разлада; поэтому-то онъ такъ равнодушно и отнесся къ дальнѣйшей судьбѣ своей. Но это была въ немъ болѣзнь, это былъ кризисъ, послѣ котораго, очевидно, началось выздоровленіе.

Михаилъ Ивановичъ уже теперь совсѣмъ отказался отъ свѣтскаго общества, да никто туда и не звалъ его. Теперь онъ пуще всего боялся изображать изъ себя ворону въ павлиныхъ перьяхъ. Онъ изъ всѣхъ силъ старался вернуться къ прежнимъ своимъ юнымъ впечатлѣніямъ и найти удовлетвореніе среди тихой жизни, бывшей его удѣломъ.

Повидимому, онъ достигъ цѣли, успокоился, нашелъ интересъ въ служебныхъ занятіяхъ, вошелъ въ сношенія съ людьми скромными, но образованными. Старался подавлять свои мечтанія, свое недовольство, старался жить такъ, какъ всѣ жили вокругъ него. И, наконецъ, къ великой радости отца и матери, онъ женился на очень милой дѣвушкѣ, еще ребенкомъ бывавшей въ домѣ Бородиныхъ.

Капитолина Ивановна приложила руку и къ женитьбѣ Мишеньки, какъ когда-то приложила ее къ женитьбѣ Ивана Ѳедоровича и Марьи Семеновны.

Молодой Бородинъ съ женою остались жить въ родительскомъ домѣ, гдѣ всѣмъ было довольно мѣста. Теперь у него уже былъ сынокъ и двѣ дочки. Онъ хорошо шелъ по службѣ,

и еслибы его спросили—доволенъ ли онъ своей жизнью—онъ искренно бы отвѣтилъ:

«Доволенъ, чего же мнѣ еще!»

Правда, остатки попавшаго когда-то въ него яда изрѣдка пошевеливались, но почти неслышно. Даже Капитолина Ивановна считала Мишеньку совсѣмъ здоровымъ.

X.

Абракадабра.

Олимпіада Петровна Прыгунова съ нѣкотораго времени находилась въ крайнемъ недоумѣніи и даже безпокойствѣ. Съ ея «грибомъ» творилось что-то странное. Хотя она и увѣряла, что онъ всю жизнь мыкался, но такого мыканья, какъ теперь—еще никогда не бывало.

Уже не говоря о непостижимой поѣздкѣ въ Петербургъ и о слѣдовавшей затѣмъ въ скоромъ времени поѣздкѣ въ Тамбовскую губернію; но и теперь, по возвращеніи въ Москву, мыканья Кодрата Кузьмича усиливались съ каждымъ днемъ. Его почти никогда не было дома. Онъ исчезалъ съ утра и возвращался иногда только поздно вечеромъ.

Олимпіада Петровна, издавна привыкшая къ скрытности мужа, хорошо знала, что когда онъ занятъ чьимъ-либо дѣломъ то добиться отъ него объясненія и подробностей дѣла до окончанія — вещь невозможная. Она исподволь научила себя не любопытствовать, однако, въ настоящемъ случаѣ, выходившемъ изъ ряду вонъ, въ виду неслыханнаго мыканья, любопытство ее сильно разбирало и она не разъ подъѣзжала къ мужу окольными путями, стараясь хоть немного объяснить себѣ, что все это значитъ. Кодратъ Кузьмичъ сразу проникалъ въ ея хитрость и поводилъ на нее строгимъ взглядомъ:

— Ну... ну-ну! чего ты?.. Чего понапрасну вертишься, чего тебя разбираетъ? Что-жъ ты думаешь сударыня, — я всѣхъ твоихъ подвоховъ не вижу—думаешь, проболтаюсь... Не жди ты этого!.. И вотъ что я тебѣ скажу, матушка: удержи ты твое любопытство бабье, не то совсѣмъ изведешься. Взгляни на себя, на что ты стала похожа—кости да кожа! А все отчего?—отъ празднаго любопытства!..

— А, да ну тебя совсѣмъ!—со вздохомъ произносила Олимпіада Петровна. — Знаю я, знаю, что ты каменный идолъ, что объ тебя голову расшибешь, а съ мѣста не сдвинешь... Да и не любопытствую я вовсе—очень мнѣ нужно твои глупыя дѣла

знать! Мыкайся, батюшка, коли охота на старости лѣтъ быть гончей собакой, а въ концѣ-концовъ тебя же оставятъ съ носомъ!

Она поджимала губы и уходила съ презрительнымъ видомъ. А любопытство все возрастало и не давало покоя. Она наблюдала и видѣла рѣшительныя чудеса.

Кодратъ Кузьмичъ совсѣмъ одурѣлъ. Кончилось тѣмъ, что онъ даже сталъ франтить. Почти ежедневно, выходя изъ дома, онъ облекался въ новый сюртукъ, повязывалъ себѣ на шею новый галстукъ, даже завелъ модную цилиндрическую шляпу и сталъ надѣвать перчатки, рего съ нимъ давно не случалось.

«И гдѣ это онъ пчопадаетъ!?»—безнадежно думала Олимпіада Петровна.

Если-бы она могла слѣдить за мужемъ, то узнала бы, что ея Кодратъ Кузьмичъ сдѣлался свѣтскимъ человѣкомъ, сталъ посѣщать дома людей, съ которыми не видался лѣтъ по двадцати. Если-бы она могла слѣдить за нимъ невидимкой, то невольно изумилась бы тому, что съ кѣмъ бы теперь Кодратъ Кузьмичъ ни говорилъ и какой бы разговоръ ни велъ, а разговоръ этотъ непремѣнно сводился на Капитолину Ивановну Миронову.

Кодратъ Кузьмичъ поднималъ старину; но хотя ему и удалось собрать объ этой старинѣ кой-какія свѣдѣнія, все-же онъ былъ недоволенъ.

Онъ почти ежедневно навѣщалъ Бориса Сергѣевича Горбатова; но каждый разъ объявлялъ ему, что дѣло идетъ туго.

— Старая баба такого тумана напустила,—говорилъ онъ:— ничего какъ есть разглядѣть невозможно!

Наконецъ, Борисъ Сергѣевичъ сказалъ ему, что собственно его дѣла всѣ въ Москвѣ кончены и, что если присутствіе его не нужно Прыгунову, то онъ уѣдетъ въ Петербургъ.

— И уѣзжайте, сударь, уѣзжайте, только понапрасну я васъ потревожилъ... Бѣдовая эта Мирониха, провела насъ да и только... И, вѣдь, хожу около клада, а какъ за него взяться—не умѣю! Слова такого нужнаго—«абракадабры» не нашелъ!..

— А не ошибаетесь ли вы, Кодратъ Кузьмичъ,—замѣтилъ Горбатовъ:—можетъ намъ съ вами только показалось, что она хитритъ и скрываетъ, можетъ дѣйствительно и мать и ребенокъ умерли!?

Кодратъ Кузьмичъ даже привскочилъ съ мѣста.

— Помилуйте! — забасилъ онъ:— да вы ли это мнѣ, Борисъ Сергѣевичъ, говорите, и я ли васъ слушаю? Не вы ли отъ нея вернулись при полной увѣренности, что она скрываетъ?

— Да, конечно, она была такъ смущена и потомъ нѣкоторыя слова ея мнѣ показались, да и теперь кажутся очень зага-

дочными. Но она могла, съ ея страннымъ характеромъ, просто хотѣть насъ одурачить.

— Полноте, полноте! перебилъ его Прыгуновъ. — Одурачиваетъ она насъ—это вѣрно, только въ иномъ смыслѣ. Ни разу въ жизни не попадалось мнѣ такого дѣла—путано, перепутано и запутано. Говорю я вамъ, государь мой, хожу кругомъ клада... и неужто не найду абракадабры?...

Онъ всталъ съ кресла и началъ ходить по комнатѣ, очевидно углубляясь въ свои мысли и комбинаціи.

— Да-съ,—снова заговорилъ онъ:—простр разума можно лишиться на такомъ дѣлѣ... Вѣдь,могила-съ... памятникъ: «раба Божья Александра и младенецъ Петръ»... и свидѣтельство о смерти, и все въ порядкѣ... И Капитолина Ивановна пріѣзжаетъ панихиду служить... Вѣдь,, сказать все свѣжему человѣку—разсмѣется—прямо за безумца меня почтетъ... Но вы меня хоть убейте,—живъ этотъ самый младенецъ Петръ... Начали мы съ вами одно, а выходитъ другое... Подмѣнили!.. Тутъ, такъ сказать, дѣяніе преступное! А поди докажи его безъ как й-нибудь абракадабры... да и съ абракадаброй-то, пожалуй, ровно ничего не докажешь...

Прошло еще дня три-четыре—и Прыгуновъ снова явился. На этотъ разъ Борисъ Сергѣевичъ сразу замѣтилъ въ немъ нѣчто особенное: онъ былъ необыкновенно серьезенъ и важенъ, и въ лицѣ его сказывалась даже какая-то таинственность.

— Я завтра или послѣзавтра собрался уѣзжать,—сказалъ Борисъ Сергѣевичъ;—но вы, кажется, сегодня имѣете что-то новое сообщить мнѣ... въ такомъ случаѣ, если это важно, я еще повременю... Съ чѣмъ же вы, почтеннѣйшій Кодратъ Кузьмичъ?

Прыгуновъ нѣсколько смутился и какъ-бы опѣшилъ.

— Какъ съ чѣмъ?—проговорилъ онъ.—Почему это вы изволите заключить, что у меня имѣется новость...

— По вашему виду мнѣ показалось...

Кодратъ Кузьмичъ махнулъ рукою.

— Что видъ!—не безъ нѣкоторой меланхоліи произнесъ онъ: — видъ бываетъ обманчивъ, да и вида особаго я не имѣю, ибо къ глубочайшему своему прискорбію, ни до чего особаго еще не дошелъ... А все-же бы я просилъ васъ, государь мой, повременить денька два-три отъѣздомъ въ Петербургъ...

— А что?

— Мысль такая новая пришла мнѣ въ голову... Повремените, можетъ дѣло наше и выгоритъ... Только какъ бы это... какъ бы?!..

Онъ приложилъ палецъ ко лбу и нѣсколько мгновеній обдумывалъ что-то.

— Ну-съ, это будетъ видно!—наконецъ сказалъ онъ. — Не то завтра, не то послѣзавтра я и мысль мою вамъ скажу, и рѣ-

шено тогда будетъ: дуракъ я или нѣтъ—коли дуракъ—казните!.. А теперь, вотъ что еще я вспомнилъ: изволи-ли вы говорить мнѣ о семейномъ архивѣ, находящемся тутъ у васъ, въ московскомъ домѣ, такъ вспомнилъ я,—есть у меня человѣкъ знающій, привычный, которому можно будетъ въ ваше отсутствіе поручить разборку архива.

— Кто-же это?!

— А это, видите-ли, нѣкій Михаилъ Ивановичъ Бородинъ. Онъ человѣкъ образованный и службу свою началъ по архивамъ.

— Позвольте, позвольте,—сказалъ Горбатовъ:—мнѣ уже объ немъ говорили и именно рекомендовали его. Такъ вы его знаете?!

— Какъ-же не знать. Съ дѣтства знаю.

— Вотъ, и прекрасно!!

— Да еще какъ прекрасно-то, государь мой, завтрашній день, если позволите, я съ нимъ къ вамъ и пріѣду.

— Только согласится ли онъ взять на себя эту работу?

— Согласится! Его хлѣбомъ не корми, а дай порыться въ старыхъ бумагахъ—страсть онъ это любитъ. Не далѣе-съ, какъ третьяго дня, я былъ у него и говорилъ съ нимъ и о вашемъ архивѣ.

— Ну, и отлично, я буду ждать и его и васъ завтра все утро. Очень радъ буду съ нимъ познакомиться.

Прыгуновъ сталъ прощаться.

— Куда-же это вы? Посидите, Кодратъ Кузьмичъ, потолкуемте.

— Нѣтъ, ужъ прощенія просимъ, пора мнѣ, пора... Ужъ до завтра-съ... Потерпите немножко, авось поймаемъ мы эту старую лисицу, Капитолину Ивановну...

— Да въ чемъ-же, наконецъ, дѣло? Теперь и вы принялись за мистификаціи,—сказалъ, улыбаясь, Борисъ Сергѣевичъ.

— Да-съ, мистификаціи, да ждать недолго, потерпите, не разспрашивайте, ужъ будьте милостивы, не разспрашивайте... а къ тому-же и страхъ беретъ—какъ бы мнѣ опять не опростоволоситься... такое дѣло со всѣхъ сторонъ оглядѣть надо...

Онъ принялъ еще болѣе таинственный видъ, простился съ хозяиномъ и въ глубокой задумчивости вышелъ изъ горбатовскаго дома.

«Абракадабра!—разсуждалъ онъ съ собою:—надо полагать, что точно: абракадабра... а все-же опаска не мѣшаетъ... и послѣ этого свиданія, можетъ, и виднѣе будетъ»...

На слѣдующее утро, въ двѣнадцатомъ часу, Кодратъ Кузьмичъ съ Михаиломъ Ивановичемъ Бородинымъ велѣли о себѣ доложить Горбатову и дожидались его въ большой залѣ. Боро-

динъ безъ всякихъ затрудненій согласился ѣхать съ Прыгуновымъ и заранѣе брался разобрать горбатовскій архивъ, въ которомъ, какъ ему уже давно было извѣстно, находилось не мало очень важныхъ историческихъ матеріаловъ и документовъ. Ему также не безынтересно было познакомиться со старымъ декабристомъ. Прохаживаясь теперь по большой залѣ съ Прыгуновымъ, онъ съ видимымъ удовольствіемъ разглядывалъ окружавшую его обстановку.

— Если-бы знали вы, Кодратъ Кузьмичъ, какъ я люблю эти старые барскіе дома,—говорилъ онъ.—Каждый разъ, какъ вхожу—испытываю особенное ощущеніе... Вѣдь, вотъ этотъ домъ, напримѣръ, какая прелесть! Взгляните—эта анфилада, эта старинная тяжелая мебель!.. Право, теперь совсѣмъ не умѣютъ жить и устраиваться богатые люди. Да, впрочемъ, пожалуй, и не то—пусть выстроютъ такой-же точно домъ и закажутъ по моделямъ такую-же точно обстановку,—будетъ совсѣмъ не то... Тутъ старымъ духомъ пахнетъ, тутъ года оставили свои слѣды. Знаете, я помню, когда былъ за границей, вошелъ разъ въ Венеціи въ старый, покинутый палаццо — такъ, вѣрите-ли, — цѣлую недѣлю каждый день ходилъ туда, оторваться не могъ. И странное дѣло, съ дѣтства у меня такая любовь къ стариннымъ домамъ, еще мальчикомъ былъ, все мечталъ, что вотъ буду жить въ такомъ домѣ.

— Такъ-съ, такъ-съ!—повторялъ Кодратъ Кузьмичъ.

Онъ былъ какъ на иголкахъ, и щеки его то и дѣло багровѣли. Въ это время старый, почтеннаго вида слуга имъ доложилъ, что Борисъ Сергѣевичъ ихъ «просятъ».

— Борисъ Сергѣевичъ вѣроятно въ библіотекѣ? — спросилъ Прыгуновъ.

— Никакъ нѣтъ-съ,—отвѣчалъ слуга.—Они въ настоящее время не одни, у нихъ гости... они просятъ васъ пройти въ портретную: гости уѣзжаютъ, и Борисъ Сергѣевичъ сею же минутою къ вамъ выйдетъ...

— Гдѣ-же это «портретная», проведи насъ, почтеннѣйшій,—говорилъ Кодратъ Кузьмичъ:—въ портретной этой мнѣ еще ни разу не довелось быть... Ишь, вѣдь, у васъ домъ-то какой! Въ немъ хоть мѣсяцъ цѣлый проживи, такъ и то того и жди—заблудишься...

— Это точно-съ,—сказалъ слуга:—домъ старинный-съ, какъ есть барскій, настоящій, прежнихъ временъ-съ; теперь, я чаю, такъ ужъ и не строютъ, разучились... Да и бары! Гдѣ-жъ такихъ баръ по нынѣшнему времени найти, какъ вотъ, для примѣра, нашъ покойный баринъ, Сергѣй Борисовичъ, царствіе ему небесное!..

— Такъ, такъ!—повторялъ Кодратъ Кузьмичъ, дѣлаясь снова тревожнымъ и машинально слѣдуя за слугою.

— Портретная въ такомъ домѣ—это обыкновенно самая интересная комната,—замѣтилъ Михаилъ Ивановичъ, внимательно и съ видимымъ удовольствіемъ разглядывавшій обстановку каждой комнаты, черезъ которую они проходили:—такая портретная, вѣдь, это, такъ сказать, живописная исторія рода... да и какіе удивительные портреты иногда попадаются!..

Слуга, все время шедшій съ почтительно наклоненной головою, поднялъ глаза на Михаила Ивановича, еще и еще разъ поглядѣлъ на него внимательно, даже какъ бы съ замѣшательствомъ; но потомъ вдругъ проговорилъ: «пожалуйте!»—и отперъ тяжелыя, высокія двери.

Прыгуновъ и Михаилъ Ивановичъ очутились въ обширной комнатѣ, выходившей окнами въ садъ, съ мягкой бархатной мебелью, широкими низенькими диванами, и стѣнами, почти до потолка увѣшанными портретами.

У Михаила Ивановича глаза разбѣжались; но онъ еще не успѣлъ сосредоточить своего вниманія на какомъ-нибудь портретѣ, какъ въ комнату вошелъ хозяинъ.

Михаилъ Ивановичъ почему-то представлялъ его себѣ человѣкомъ непремѣнно очень высокаго роста, осанистымъ и важнымъ, а потому не безъ изумленія взглянулъ на этого маленькаго красиваго старика съ серебряной бородою, съ такими ясными глазами и доброй улыбкой.

— Позвольте вамъ представить...—началъ было церемоннымъ тономъ Кодратъ Кузьмичъ; но почему-то осѣкся. Онъ взглянулъ на Бориса Сергѣевича—и слова замерли у него на губахъ.

Произошло что-то мгновенное и непостижимое.

Хозяинъ шелъ навстрѣчу гостю и уже любезно протягивалъ ему руку, очевидно, приготовляясь сказать что-то; но вдругъ протянутая рука опустилась, и Борисъ Сергѣевичъ отступилъ, глядя на Бородина, какъ на что-то сверхъестественное, какъ на привидѣніе. Потомъ взглядъ его перешелъ куда-то въ сторону. Михаилъ Ивановичъ, неуспѣвшій еще даже и удивиться—такъ все это было мгновенно,—невольно послѣдовалъ глазами за этимъ взглядомъ,—и невольное восклицаніе изумленія и почти ужаса вырвалось изъ груди его.

Прямо передъ нимъ, на стѣнѣ, освѣщенной солнцемъ и увѣшанной портретами, выступалъ большой портретъ въ широкой золотой рамѣ. На этотъ портретъ растерянно глядѣлъ Борисъ Сергѣевичъ, на этотъ портретъ взглянулъ и Бородинъ—и узналъ самого себя.

Сходство было поразительно: тѣ-же черты лица, тѣ-же во-

лосы, гѣ-же полузакрытые глаза... Сходство было до того поразительно, что Михаилъ Ивановичъ даже не замѣтилъ гвардейскаго мундира первыхъ годовъ царствованія императора Николая.

Онъ видѣлъ только будто свое отраженіе въ зеркалѣ и, мгновенно забывъ, гдѣ онъ и съ кѣмъ, чувствуя только необычайное волненіе, непонятный страхъ, онъ замирающимъ голосомъ произнесъ:

— Кто это? Чей это портретъ?

Но никто не отвѣчалъ ему.

XI.

Послѣднее слово разгадки.

Нѣсколько минутъ продолжалось тягостное молчаніе. Дѣйствующія лица этой нежданной сцены не отдавали себѣ отчета въ проходящихъ минутахъ, погруженныя въ свои быстро мѣнявшіяся ощущенія.

Борисъ Сергѣевичъ, послѣ перваго неожиданнаго потрясенія, произведеннаго замѣчательнымъ сходствомъ Бородина съ покойнымъ Владиміромъ Горбатовымъ, убѣдился, что передъ нимъ никто иной, какъ разыскиваемый имъ племянникъ, что это и есть та самая «абракадабра», которую такъ долго искалъ Прыгуновъ, и которую наконецъ нашелъ.

«Но какъ-же могъ онъ такъ... не предупредивъ? Это невыносимо... это глупо съ его стороны!.. Что дѣлать?»

Онъ сердито взглянулъ на Прыгунова, и въ то же время этотъ взглядъ требовалъ помощи...

Но старый дѣлецъ былъ растерянъ и смущенъ не менѣе его и представлялъ изъ себя жалкую фигуру. Онъ машинально вынулъ свою табакерку, но не раскрывалъ ее и только похлопывалъ по ней пальцами.

Еще за нѣсколько минутъ передъ тѣмъ онъ внутренно торжествовалъ. Онъ былъ у цѣли. Природное, развитое практикой чутье указало ему путь и привело именно къ тому мѣсту, гдѣ должно было заключаться открытіе смущавшей его тайны. Онъ долго ходилъ кругомъ да около и, убѣжденный въ томъ, что чутье его не обманываетъ, дѣйствовалъ со свойственной ему настойчивостью. Капитолина Ивановна оказалась запертою имъ въ магическомъ кругу, изъ котораго ей нельзя было выбраться. Вся ея прошлая жизнь, всѣ ея отношенія и особенности этихъ отношеній стали извѣстны Прыгунову.

Наконецъ, онъ сказалъ себѣ рѣшительно.

«Михаилъ Ивановичъ Бородинъ и есть тотъ самый младенецъ Петръ, коего мы ищемъ!.. подмѣнили! Только къ чему такое несообразное и противузаконное дѣяніе?»

Однако, онъ не сталъ на этомъ останавливаться и разбирать—рѣшивъ, что впослѣдствіи все и такъ будетъ видно. Онъ пожелалъ устроить маленькій «фортель», по его выраженію: свести Бородина съ Горбатовымъ, ничего заранѣе не объясняя. Молодой человѣкъ навѣрное понравится. А потомъ: «какъ, молъ, онъ показался вамъ, Борисъ Сергѣевичъ?» и «вотъ, молъ, кто это!..» «Прыгуновъ за дѣло зря не берется... до конца доводитъ!..»

«Вотъ и довелъ!! нечего сказать—умно! Въ такихъ дуракахъ еще не бывалъ ни разу въ жизни... И какъ было не заглянуть въ эту «портретную», какъ было не подумать о возможности сходства, когда и по собственнымъ и по чужимъ наблюденіямъ знаю, что дѣти любви весьма въ частыхъ случаяхъ бываютъ поразительно схожи со своими отцами... Бр! скверно!..»

И онъ все щелкалъ пальцами по табакеркѣ, и даже не смѣлъ глядѣть на портретъ, а глядѣлъ куда-то въ уголъ.

Между тѣмъ, Борисъ Сергѣевичъ, наконецъ, овладѣлъ собою. Онъ крѣпко сжалъ руку Бородина, усадилъ его, сказалъ, хоть и не твердымъ голосомъ, нѣсколько любезныхъ фразъ и просилъ извиненія за свое замѣшательство, вызванное поразившимъ его сходствомъ.

Но Михаилъ Ивановичъ все-же не могъ успокоиться! Ему было неловко, какъ еще никогда въ жизни. Его сердце отчего-то болѣзненно ныло, казалось—будто дышать нечѣмъ, хотѣлось на свѣжій воздухъ изъ этой одуряющей, какой-то заколдованной атмосферы.

А глаза такъ и тянуло къ портрету.

— Чей-же, чей это портретъ?—опять спросилъ онъ.

— Моего покойнаго брата,—отвѣчалъ хозяинъ.—Я видѣлъ его въ послѣдній разъ давно, передъ моей ссылкой... онъ былъ тогда приблизительно вашихъ лѣтъ... поэтому я такъ и пораженъ...

— Я пораженъ не менѣе вашего,—прошепталъ Михаилъ Ивановичъ, снова впиваясь глазами въ портретъ:—вѣдь, насколько я себя знаю, это... это я...

Онъ даже вздрогнулъ, потомъ постарался улыбнуться.

— Извините меня, Борисъ Сергѣевичъ,—мнѣ просто страшно... знаете—какъ человѣку, который видитъ свой двойникъ...

Въ это время въ сосѣдней комнатѣ послышались шаги, и на порогѣ показалась фигура того самаго почтеннаго слуги, который провожалъ гостей въ портретную.

— Что тамъ такое?—недовольнымъ тономъ спросилъ хозяинъ.

— Да вотъ, сударь,—объяснилъ слуга, васъ спрашиваютъ.

— Кто спрашиваетъ? Я не могу принять, я занятъ.

— Барыня, старушка, госпожа Миронова,. онѣ говорятъ: нужно васъ видѣть по важному дѣлу... говорятъ, что вамъ извѣстно...

Имя Мироновой поразило всѣхъ какъ громомъ, а главное Михаила Ивановича.

«Какъ? она!.. она здѣсь!?. Господи, да что-же это такое?..»

И ему, какъ онъ только что объяснилъ, стало просто страшно.

Борисъ Сергѣевичъ тревожно задумался. У него мелькало въ головѣ:

«Что-же дѣлать? Нечего! Это судьба!»

— Хорошо, я иду!—сказалъ онъ.—Извините!

Онъ направился къ двери.

Но не успѣлъ онъ сдѣлать нѣсколько шаговъ, какъ вся барровая, въ своей удивительной, похожей на будку шляпѣ, твердымъ и рѣшительнымъ шагомъ въ кабинетъ уже входила Капитолина Ивановна.

Она все знала. Она только на минуту не застала, явившись къ Бородинымъ, Михаила Ивановича и Прыгунова. Ей сказали, что Прыгуновъ увезъ «Мишеньку» къ Горбатову. Услыша это, она, не говоря ни слова, вышла изъ дома, сѣла на извозчика и велѣла везти себя на Басманную.

Капитолина Ивановна торопила извозчика:

— Эй ты, ванька, мчись во весь духъ! дуй свою клячу!—крикнула она такъ властно, что извозчикъ тотчасъ-же сталъ хлестать лошаденку, которая пустилась вскачь по взрытой, плохо мощеной улицѣ.

Капитолина Ивановна то и дѣло подскакивала какъ резиновый мячъ, сидя бокомъ на такъ называемой «гитарѣ»—экипажѣ-инструментѣ, теперь уже забытомъ, но тогда бывшемъ единственнымъ способомъ передвиженія московскихъ обывателей, не державшихъ своихъ экипажей и лошадей. Только она не обращала на это никакого вниманія—ей все казалось, что негодный ванька нарочно везетъ ее тихо, а потому она самымъ усерднымъ образомъ долбила его въ спину ручкой своего зонтика.

— Да пошелъ-же ты скорѣе, пошелъ, шельма, пошелъ!..—повторяла она.

Ванька молча дѣлалъ свое дѣло, то-есть погонялъ и нукалъ лошаденку, и только по временамъ передергивалъ плечами, когда его спинѣ ужъ черезчуръ доставалось отъ зонтика сердитой барыни.

Терпѣніе у него очевидно было большое, да и спина крѣпкая. Но все-же на полпути онъ не выдержалъ и обернулся.

— Полегче-бы, барыня! — добродушно сказалъ онъ: — вѣдь, спина-то у меня своя, не чужая, дырку въ ней продолбишь— пр-а продолбишь!.. Этакъ-то долбить не показано!

Капитолина Ивановна разсердилась.

— Скажи пожалуйста, вотъ нѣжности!—крикнула она.—Пошелъ, езопъ!.. Пошелъ скорѣе!..

И въ своемъ волненіи непричастная чувству жалости, она продолжала ему тыкать въ спину зонтикомъ. Добродушный ванька покорился горькой участи и ожесточенно сталъ погонять лошадь...

Подъѣхавъ къ дому Горбатова, Капитолина Ивановна кубаремъ скатилась съ «гитары», сунула ванькѣ двугривенный и, несмотря на свой нѣсколько странный видъ и будкообразную шляпу, произвела на отворившаго ей швейцара такое подавляющее впечатлѣніе, что онъ немедленно впустилъ ее, а старый слуга пошелъ о ней докладывать. Но она этимъ не ограничилась. Она храбро послѣдовала за старикомъ и, такимъ образомъ, очутилась въ портретной, Она остановилась и тотчасъ-же замѣтила всеобщее смущеніе. Потомъ быстрый взглядъ ея зоркихъ глазъ упалъ на освѣщенный солнцемъ портретъ.

Она торжественно раскланялась и развела руками.

— Добились-таки!..—вымолвила она:—подстроили!..

Кодратъ Кузьмичъ подошелъ къ ней, хотѣлъ что-то сказать, но она остранила его рукой и мрачно ему кинула:

— Съ вами, батюшка, я и говорить-то не стану!—почитала я васъ за хорошаго и умнаго человѣка, а такъ люди добрые не дѣлаютъ!..

— Ухъ, устала я... извините... сяду...—прибавила она, обращаясь къ Борису Сергѣевичу, и опустилась въ кресло.

Михаилъ Ивановичъ, не спускавшій съ нея глазъ, не проронившій ни одного слова, сдѣлался блѣденъ какъ полотно.

— Ради Бога, объясните мнѣ, что все это значитъ? Я въ себя придти не могу... у меня все въ головѣ путается...

Капитолина Ивановна не слышала его словъ. Она глядѣла на портретъ и, наконецъ, какъ-бы самой себѣ прошептала:

— Да-съ, съ этимъ ничего не подѣлаешь!!..

Кодратъ Кузьмичъ, приходившій все болѣе и болѣе въ ужасъ отъ дѣла рукъ своихъ, подошелъ къ старухѣ и шепнулъ ей:

— Онъ еще ничего не знаетъ, если находите нужнымъ—попытайтесь скрыть отъ него истину.

Она опять отмахнулась отъ него рукой, обдала его презрительнымъ взглядомъ и громко произнесла:

— Да-съ, скроешь... много скроешь!.. Заварили кашу—нахасхлебывать... Ну, что-же... я вотъ пришла... сѣла и сижу,

буду смотрѣть на васъ, умные люди... перехитрили меня... радуйтесь...

Потомъ она обратилась къ Горбатову.

— Ужъ извините меня, государь мой,—сказала она:—забралась незваной-непрошеной въ ваши хоромы...

— Очень жаль, что не забрались раньше,—грустно отвѣтилъ Борисъ Сергѣевичъ.—Напрасно вы не хотѣли быть откровенной со мною,—много тяжелаго можно было-бы избѣгнуть...

Капитолина Ивановна стала даже задыхаться отъ волненія—лицо ея поочередно перемѣняло всѣ цвѣта радуги и, наконецъ, сдѣлалось ярко-фіолетовымъ.

— Богъ мой!—крикнула она:—да, вѣдь, я такъ и порѣшила идти къ вамъ и по душѣ переговорить съ вами... все представить на ваше благоусмотрѣніе, такъ было рѣшено у насъ... всѣ рѣшили. А вотъ онъ... (она пальцемъ показала на Прыгунова)—дѣлецъ-то вашъ, умникъ, обрадовался, что дьяволъ, прости Господи, помогъ ему, и поспѣшилъ!..

Михаилъ Ивановичъ не могъ выдержать болѣе. Мучительная и тоскливая мысль, которая въ первую-же минуту, передъ этимъ страшнымъ портретомъ, неясно и безсознательно охватила его, теперь становилась для него все яснѣе и яснѣе. Передъ нимъ, изъ нахлынувшаго на него тумана, выяснился образъ его матери. Съ тѣхъ поръ какъ онъ ее помнилъ, образъ этой прекрасной, тихой и любящей матери, положившей всю душу въ семью—въ мужа и сына,—былъ для него чистъ и безупреченъ. Ему вспомнились далекіе годы дѣтства, когда эта мать сдувала съ него всякую пушинку, лелѣяла и берегла его, учила, говорила ему глубокимъ, растроганнымъ голосомъ тѣ простыя, но могучія слова справедливости, любви и вѣры, которыя, быть можетъ, не разъ спасали его въ трудныя минуты. И онъ только теперь понималъ, до какой степени всегда, ни на минуту не переставая, горячо любилъ онъ эту мать. Да, всегда ставилъ ее высоко, высоко надъ другими женщинами, несмотря на ея простоту и странности, развившіяся въ ней отъ долгой привычки къ довольно замкнутой сѣренькой жизни. И понялъ онъ, что оттого ставилъ ее такъ высоко, что уважалъ въ ней чистую женщину—образецъ семейныхъ добродѣтелей...

И что-же теперь? Этотъ страшный портретъ, общее смущеніе, появленіе Капитолины Ивановны—въ мигъ одинъ перевернули все—образъ матери исказился. Чувство тоски и стыда росло съ каждой минутой.

— Капитолина Ивановна! — крикнулъ онъ въ отчаяніи:— я смутился—это такъ нежданно, но я долженъ покончить съ такой слабостью... рано или поздно, нужно знать правду... и мо-

жетъ лучше, что я ее узнаю... Тяжело, но я постараюсь не судить мою мать за ея вину передъ мужемъ... скажите мнѣ все...

Капитолина Ивановна вскочила съ кресла, подняла руку и кинулась къ Бородину, съ очевидной цѣлью зажать ему ротъ. Глаза ея метали искры. Она даже затопала ногами.

— Молчи!.. нишкни!.. глупецъ ты этакой!..—даже какъ-то прошипѣла она.—Молчи, коли ничего не знаешь... Кого это судить? Какую мать? Это Марью Семеновну-то? Да она святая женщина... Она взростила тебя, лелѣяла, ты молиться на нее долженъ!..

Михаилъ Ивановичъ схватился рукой за голову. Онъ ничего не понималъ, туманъ только еще сгущался.

Но Капитолина Ивановна уже заговорила:

— Такъ они тебѣ ничего не сказали? Ну, такъ слушай!

— Да и вы слушайте, дѣлецъ-гробокопатель!..—метнула она въ сторону Прыгунова, начинавшаго мало-по-малу выходить изъ своего оцѣпенѣнія, принимавшаго ея нападки съ большимъ смиреніемъ и въ то же время, въ глубинѣ души, сгоравшаго отъ нетерпѣнія узнать, наконецъ, всѣ подробности.

Она подробно разсказала исторію бѣдной Сашеньки. Разсказала какъ Сашенька съ Петрушей привезены были ею въ Москву, какъ она помѣстила ихъ на первое время у пріятельницы своей, Анны Алексѣевны, какъ Сашенька, уже больная въ Петербургѣ, стала мало-по-малу чахнуть.

— Была она добрая-предобрая,—говорила Капитолина Ивановна:—и характеръ имѣла тихій и робкій. Къ соблазнителю своему привязалась всей душою, онъ только и былъ для нея одинъ на свѣтѣ, и въ слѣпотѣ своей почитала она его, противу всѣхъ видимостей, за ангела небеснаго. Долго не доходило до нея никакихъ слуховъ... да и какъ доходить! что была она и что онъ! хоть и въ одномъ городѣ, а почитай все равно какъ-бы на разныхъ планетахъ жили... А все-жъ таки кончилось тѣмъ, что узнала она всю правду, узнала...

— Сударыня, зачѣмъ эти подробности... Вѣдь, и такъ тяжело...—перебилъ ее Борисъ Сергѣевичъ, указывая ей глазами на Бородина, сидѣвшаго, опустивъ голову и съ помертвѣлымъ лицомъ.

Но ее только подзадорило это замѣчаніе.

— Не я начала, не я, а теперь ужъ пусть все знаетъ, все!

Она съ ненавистью взглянула на портретъ Владиміра Горбатова и продолжала:

— Узнала она, что онъ, собираясь жениться, соблазнилъ ее, а самъ говорилъ ей, что уже давно женатъ... Не повѣрила она такому его поступку, долго не вѣрила, а когда пришлось повѣ

рить, такъ вся душа ея перевернулась, руки на себя наложить хотѣла, потомъ ее и узнать нельзя было... онъ ей страшенъ сталъ... Да, во время я подоспѣла, чтобы отъ грѣха уберечь... Объ одномъ только она молила, чтобы я такъ ее спрятала, чтобы онъ ужъ никогда, никогда не могъ найти ее, а главное, чтобы не могъ найти Петрушу, умирая о томъ меня молила!..

Далѣе разсказала Капитолина Ивановна, какъ Марья Семеновна Бородина, счастливая жена и мать, приняла въ Сашенькѣ участіе, навѣщала ее, ласкала Петрушу, въ которомъ находила большое сходство съ своимъ Мишенькой. А потомъ бѣдная Сашенька умерла. Петруша остался на рукахъ Анны Алексѣевны. Заболѣлъ Миша Бородинъ, заболѣлъ и умеръ. И вотъ пришло ей въ голову спасти любимую ею Марью Семеновну отъ отчаянія, давъ ей вмѣсто умершаго другого сына, и въ то же время исполнить предсмертную мольбу Сашеньки.

— Еще Мишенька былъ живъ, только ужъ видно было, что не жилецъ онъ на свѣтѣ, какъ это пришло мнѣ въ голову, и чуяла я, что самъ Господь меня надоумилъ. Ужъ и не помню, что я такое говорила Марьѣ Семеновнѣ... Сперва она, въ горѣ своемъ да отчаяніи, и слушать меня не хотѣла, а потомъ вникать стала и осѣнило ее, а я настаиваю: «въ память Мишеньки сдѣлай доброе дѣло, пригрѣй неповиннаго сироту—счастье тебѣ будетъ, да и Мишенька, ангельчикъ, на томъ свѣтѣ радоваться станетъ.» Заплакала Марья Семеновна, а то и слезъ у нея не было, и смастерили мы тихонько, съ помощью старой няньки, это дѣло...

— Позвольте, Капитолина Ивановна,—не выдержавъ, перебилъ ее Прыгуновъ:—вѣдь, это вы преступленіе совершили! Да и къ чему? Ребенка можно было усыновить законнымъ порядкомъ...

— Какже?! Можно! Неужто думаете вы—мы это дѣло не обсудили?.. Иванъ-то Семенычъ о ту пору потомственное дворянство получилъ и усыновить ребенка не имѣлъ права.

— Дозволяется испрашивать въ такихъ случаяхъ высочайшее соизволеніе,—замѣтилъ Прыгуновъ.

— И это намъ было извѣстно... только, батюшка, барамъ важнымъ все легко, а мы люди маленькіе и до царя гдѣ-жъ намъ было добраться. А стали-бы добираться, такъ и совсѣмъ-бы ребенка потеряли... мнѣ ужъ извѣстно было, что его розыскиваютъ... И каждую ночь, вѣрите-ли, и я и Марья Семеновна Сашеньку во снѣ видѣли, три ночи подрядъ, ясно такъ... приходитъ и говоритъ: «спасите Петрушу, скройте его, скройте!» Вѣдь, съ такимъ дѣломъ ни дня мѣшкать нельзя было—ну и устроили... Казалось, все навѣки шито и крыто... Да такъ-бы оно и было,

коли-бы вы не стали его разыскивать... Ну, теперь что-же? Теперь судите насъ, старыхъ бабъ—въ Сибирь насъ, что-ли, на каторгу, какъ по-твоему выходитъ, законникъ?

И опять Прыгуновъ почувствовалъ на себѣ тяжелый взглядъ старухи и приникъ головою подъ этимъ взглядомъ.

Бородинъ, блѣдный какъ мертвецъ, подошелъ къ Капитолинѣ Ивановнѣ и вдругъ будто у него подкосились ноги, онъ упалъ передъ нею, склонилъ голову къ ней на колѣни, прижался къ строгой старухѣ, какъ бывало въ дни дѣтства, и неудержимо зарыдалъ, онъ, ни разу не плакавшій съ дѣтства.

Она положила ему на голову свою морщинистую, старую руку. У нея у самой закапали слезы.

— Молчи, дурачекъ, не плачь!—шептала она.—Все Богъ, все Богъ! Чего тебѣ плакать? Перемелется... несчастье-то было давно и давно его нѣтъ больше, только вонъ оно — со стѣны смотритъ!..

Между тѣмъ, эти прорвавшіяся нервныя рыданія облегчили Михаила Ивановича. Онъ поднялся, проговорилъ: «простите» и ни на кого не глядя уже хотѣлъ выйти изъ комнаты. Но тутъ Борисъ Сергѣевичъ заступилъ ему дорогу.

— Я не могу такъ отпустить васъ!—сказалъ онъ ему своимъ тихимъ, проникающимъ въ душу голосомъ и крѣпко взялъ его за обѣ руки.—Я безъ вины виноватъ въ горѣ, которое причинено вамъ сегодня... Да нѣтъ, все это не то... и къ чему эти фразы!.. Смотри на меня... смотри...

Михаилъ Ивановичъ невольно поднялъ глаза, встрѣтилъ ясный взглядъ старика, и разслышалъ его шопотъ:

— Вѣдь, я не чужой и ты не захочешь, чтобы я былъ чужимъ тебѣ, ты вернешься ко мнѣ успокоившись.

Въ этихъ словахъ было что-то властное, что-то магнетическое. Михаилъ Ивановичъ невольнымъ порывомъ приблизился къ Горбатову и онъ обнялись.

И выходилъ Бородинъ изъ этого дома, несмотря на весь свой туманъ, несмотря на тоску, все-же съ сознаніемъ чего-то добраго и хорошаго, что смягчало боль его измученнаго сердца.

XII.

Кровь.

Въ то время, какъ передъ портретомъ Владиміра Горбатова происходила тяжелая сцена, необдуманно устроенная Кодратомъ Кузьмичемъ Прыгуновымъ, въ домѣ Бородиныхъ чувствовалась большая тревога.

Вотъ уже три дня какъ мирная жизнь стариковъ Бородиныхъ была нарушена.

Иванъ Ѳедоровичъ, теперь уже превратившійся совсѣмъ въ старика, но все еще бодрый и живой, нѣсколько лѣтъ тому назадъ покинувъ гимназическую службу, исключительно предался своей страсти—огородничеству и садоводству. Онъ всѣ дни, особенно весною, лѣтомъ и въ началѣ осени, проводилъ въ своемъ саду и тепличкахъ, выращивая удивительные цвѣты и тыквы всевозможныхъ формъ и величинъ. Эти цвѣты и тыквы были теперь его наилучшими друзьями и излюбленными дѣтищами. Онъ слѣдилъ за ихъ ростомъ, лелѣялъ ихъ и даже бесѣдовалъ съ ними, такъ что Марья Семеновна не разъ упрекала его, что онъ любитъ ихъ больше, чѣмъ своихъ домашнихъ.

— Вѣдь, это даже просто грѣхъ!—говорила она.—Подумай только...

Онъ сознавалъ, какъ и всегда, что она права, что это «грѣхъ», что у него есть внучата, на которыхъ должна быть обращена вся его нѣжность, всѣ его заботы, но соблазнъ былъ превыше всякихъ разсужденій. Онъ вставалъ съ мыслью о развивающейся гигантской тюрбанообразной тыквѣ—и засыпалъ съ этими-же мыслями.

Марья Семеновна, уже давно давнымъ утратившая свою красоту, сѣденькая, худенькая старушка съ добрымъ и дряблымъ лицомъ, почитала себя можетъ быть еще болѣе счастливой, чѣмъ когда-либо. Она любила Мишенькину жену, въ которой видѣла повтореніе какъ-бы себя самой, обожала внучатъ. Весь ея день проходилъ въ заботахъ объ этихъ внучатахъ, въ тысячѣ мелочей домашней жизни. Но эти мелочи казались ей самыми важными вопросами, наполняли ея внутренній міръ.

Послѣ дѣятельно проведеннаго дня засыпала она съ яснымъ, счастливымъ сознаніемъ исполненнаго долга и полноты жизни. Случалось ей нѣсколько разъ просыпаться ночью, но и въ эти минуты, между двумя снами, она продолжала жить все той-же жизнью, думать о тѣхъ-же вопросахъ, тревожиться тѣми-же заботами...

Вотъ Ваня катался въ травѣ и напоролъ себѣ о черепокъ ногу!.. И мать и бабушка страшно перепугались. Бѣдный мальчикъ, въ первыя минуты при видѣ хлынувшей изъ раны крови, съ перепугу даже не кричалъ, а просто какъ-то замеръ... Сейчасъ ему приложили паутины, обвязали ногу, къ вечеру уже рану затянуло.

И Марья Семеновна, среди ночной тишины, среди столько лѣтъ привычной обстановки своей незатѣйливой, но просторной и уютной спальни, думаетъ о Ваниной ранѣ, о томъ, какія могутъ быть послѣдствія.

«Шрамъ, навѣрно шрамъ будетъ на всю жизнь! И откуда взялся такой черепокъ? Вычищаютъ садъ—сама слѣжу... и надоже было ребенку на этотъ черепокъ напороться!.. И, вѣдь, во всемъ саду, хоть объ закладъ побиться, нѣтъ другого черепка, навѣрно...»

У Машеньки прорѣзались послѣдніе зубы, тяжело рѣзались, жарокъ былъ сильный, теперь здорова...

«Какая она славная дѣвочка, веселая, черноглазая—въ отца будетъ!»—думается счастливой старушкѣ...

«Матушки! что-жъ это я?! Изъ ума вонъ—вѣдь, въ будущій вторникъ Машенькино рожденье... надо завтра-же непремѣнно въ лавки... игрушекъ купить...»

Бабушка начинаетъ, съ удовольствіемъ, отгоняющимъ сонъ, обдумывать, какія, именно, игрушки купить внучкѣ...

И такъ-то вотъ все шло день за днемъ, и казалось—конца не будетъ этой мирной жизни.

А между тѣмъ, три дня тому назадъ, пришла Капитолина Ивановна и вверхъ дномъ перевернула всю эту жизнь! Наскасала такихъ ужасовъ, что и Иванъ Ѳедоровичъ и Марья Семеновна просто остолбенѣли, даже долгое время не хотѣли вѣрить.

Но не вѣрить было нельзя.

Что-же это такое будетъ?!

Судили они и рядили весь вечеръ запершись въ маленькомъ кабинетѣ Ивана Ѳедоровича, запершись втроемъ съ Капитолиной Ивановной, благо дѣти уже отпили чай и собирались спать, а молодые Бородины были въ гостяхъ. Судили, рядили и порѣшили обратиться къ сердцу Бориса Сергѣевича Горбатова. Если онъ добрый человѣкъ, то не захочетъ ихъ общаго несчастья, не станетъ мучить и портить ихъ мирной семейной жизни.

— А пуще всего упрошу я его,—сказала Капитолина Ивановна:—чтобы онъ не пытался увидѣться съ Мишенькой, и уже предчувствую я, что будетъ съ его стороны большая загвоздка! А не слѣдъ Мишенькѣ попадать къ нимъ—узнаютъ его по сходству, узнаютъ!.. Вѣдь, вотъ я еще съ утра достала портретикъ, что послѣ Сашеньки остался—вѣдь, это какъ на смѣхъ, отцы мои, такое сходство!

Она вынула изъ кармана и положила передъ Бородиными тонкой работы медальонъ съ изображеніемъ Владиміра Горбатова. Они взглянули и вздрогнули—сходство съ ихъ Мишенькой было поразительное. Марья Семеновна и Иванъ Ѳедоровичъ видѣли медальонъ тогда еще, болѣе тридцати лѣтъ тому назадъ, но уже, конечно, давнымъ-давно забыли его.

Имъ стало жутко и больно.

Вотъ онъ, этотъ человѣкъ, давно умершій... Но онъ встаетъ изъ могилы и отнимаетъ у нихъ ихъ сына, ихъ истиннаго, законнаго сына, котораго они получили по великому праву любви и жалости, котораго возростили и взлелѣяли, который былъ утѣшеніемъ и отрадой всей ихъ жизни.

Всплакнула Марья Семеновна, да и Иванъ Ѳедоровичъ сидѣлъ совсѣмъ нахмурясь, забывъ о своихъ тюльпанахъ и тыквахъ.

Рѣшено было, что Капитолина Ивановна отправится къ Горбатову на этихъ-же дняхъ, завтра, не то послѣзавтра. Капитолина Ивановна позабыла, несмотря на всю свою мудрость, что теперь дорога каждая минута. Ужъ очень они были увѣрены, что все шито и крыто, что не сыщетъ старикъ Прыгуновъ «абракадабры», а главное не знали они, что этотъ Прыгуновъ, который до сего времени и знакомъ-то съ Бородинымъ не былъ, и въ домѣ у нихъ не бывалъ, а теперь, въ послѣднее время, уже два раза поднимался по лѣстницѣ въ мезонинъ къ Михаилу Ивановичу.

Михаилъ Ивановичъ былъ очень сообщителенъ и если-бы догадались спросить его, какой это «старый грибъ» былъ у него два раза—онъ, конечно, разсказалъ-бы о томъ, гдѣ и какимъ образомъ встрѣтился съ Пыгуновымъ, какъ разговорился съ нимъ, какъ старикъ заинтересовалъ его горбатовскимъ архивомъ. Но никто его объ этомъ не спрашивалъ и, какъ нарочно, жены его оба раза не было дома, когда приходилъ Прыгуновъ.

Прошло два тревожныхъ дня. Иванъ Ѳедоровичъ бродилъ, какъ въ воду опущенный, машинально, по привычкѣ обходилъ свои грядки, забирался въ теплички, но даже почти не замѣчалъ, что тюрбанообразная тыква превосходитъ его ожиданія, что темный тюльпанъ распустился во всей красѣ.

Марья Семеновна перестала думать о внучатахъ, и молодая Бородина—Надежда Николаевна, сильно изумлялась, глядя на стариковъ. Надежда Николаевна была веселаго нрава, а потому даже и подсмѣивалась внутри себя.

«Чудеса творятся! Старики помолодѣли — опять влюбились другъ въ друга, весь день не разстаются, прячутся по уголкамъ, шушукаются... Что-бы такое могло это значить? Или сюрпризъ какой-нибудь особенный готовятъ Мишѣ, а то и мнѣ пожалуй!»

Надежда Николаевна рѣшила во что-бы то ни стало разгадать эту мистерію и даже разсказала обо всѣхъ родительскихъ продѣлкахъ Михаилу Ивановичу, когда онъ вернулся домой вечеромъ. Но онъ былъ мало заинтересованъ ея извѣстіемъ, у него на этотъ разъ было свое дѣло, очевидно, очень его интересовавшее. Онъ сказалъ женѣ, что на слѣдующее утро отправ-

ляется съ однимъ человѣкомъ къ Горбатову, извѣстному возвращенному изъ Сибири декабристу, который въ настоящее время находится въ Москвѣ въ своемъ старинномъ домѣ.

— Зачѣмъ-же ты къ нему поѣдешь?—спросила жена.

— А затѣмъ, мой другъ, что онъ предлагаетъ мнѣ черезъ этого человѣка, съ которымъ я и поѣду, разобрать и привести въ порядокъ его семейный архивъ. А я, вотъ видишь-ли, уже два года думалъ и раздумывалъ—какъ-бы мнѣ познакомиться съ этимъ интереснымъ архивомъ...

— Ну, это значитъ—засядешь опять за свои старыя бумаги и слова отъ тебя по цѣлымъ мѣсяцамъ не добьешься!

Михаилъ Ивановичъ улыбнулся.

— Отчего не добьешься? Слова добьешься, а дѣло будетъ интересное—вотъ что! Давно у меня интереснаго дѣла не было.

— Ну да... да... Ахъ ты мой старый кротъ!—говорила Надежда Николаевна, весело заглядывая въ лицо мужа и прижимаясь къ нему.

Она ужасно «обожала» своего красавца Мишу. Она еще не успѣла остынуть среди мелочей и дрязгъ семейной жизни, тѣмъ болѣе, что Марья Семеновна постоянно отстраняла ее отъ этихъ дрязгъ и мелочей.

Утромъ Прыгуновъ явился рано за Михаиломъ Ивановичемъ, и въ то время какъ они еще находились въ мезонинѣ, Надежда Николаевна разсказывала старикамъ Бородинымъ о томъ, что она узнала вечеромъ отъ мужа. Ея слова произвели такое неожиданное и страшное впечатлѣніе, что она совсѣмъ растерялась.

Иванъ Ѳедоровичъ и Марья Семеновна буквально заметались и, безпорядочно перебивая другъ друга, повторяли:

— Что-же дѣлать? Его нельзя пустить! Надо остановить непремѣнно... Надя, другъ мой, позови его скорѣй, скажи что-нибудь...

— Ну, скажи, что мнѣ дурно!..—наконецъ, надумалась Марья Семеновна.

— Да что такое, маменька, что случилось?

Марья Семеновна, задыхаясь, едва проговорила:

— Потомъ узнаешь... Зови скорѣе, зови!

Надежда Николаевна, ничего не понимая, кинулась въ мезонинъ, но еще по дорогѣ горничная сказала ей, что Михаилъ Ивановичъ со старикомъ гостемъ уѣхали.

И въ то-же время у подъѣзда звонила Капитолина Ивановна. Надежда Николаевна и объявила ей, куда уѣхалъ Михаилъ Ивановичъ.

Капитолина Ивановна повернулась и исчезла. А молодая Бородина только развела руками.

— Часъ отъ часу не легче! Да они всѣ просто съ ума сошли!

Положеніе, въ которомъ она застала Ивана Ѳедоровича и Марью Семеновну, заставило ее еще болѣе призадуматься.

— Нѣтъ, не сошли съ ума,—вѣрно несчастье какое-нибудь! Какое? Что все это значитъ?

Она пристала къ нимъ, чтобы они ей все объяснили. Но они оба, подавляя свое мученіе и волненіе, нашли въ себѣ силу отдѣлаться отъ нея успокоительными фразами.

— Ничего, милочка, ничего, пожалуйста, не тревожься... все обойдется...

— Да что-же обойдется? Не мучьте вы меня! Господи, что обойдется?

— Такъ, дѣло одно, которое тебя вовсе не касается...

Иванъ Ѳедоровичъ просто убѣжалъ отъ нея въ свои теплички, заперся тамъ среди тюльпановъ и предался тревожнымъ мыслямъ. Скрылась и Марья Семеновна въ свою спальню, на ключъ заперла дверь и принялась молиться.

Надежда Николаевна обидѣлась и, не на шутку встревоженная, стала дожидаться мужа...

А онъ возвращался домой и не торопился. Онъ пошелъ пѣшкомъ. Онъ чувствовалъ, что ему нужно пройтись до утомленія и одуматься, освѣжить свою горѣвшую голову. Онъ шелъ медленно всю длинную дорогу отъ Басманной къ Арбату и его, всегда оживленнаго, ходившаго быстро, часто останавливавшагося по дорогѣ, обращавшаго на все вниманіе, всѣмъ интересовавшагося, никто-бы не узналъ теперь въ этомъ блѣдномъ, разсѣянномъ человѣкѣ, который шелъ и не видѣлъ окружающаго. Онъ нѣсколько разъ на пути своемъ чуть не попалъ подъ лошадей, не слышалъ, что кричатъ надъ самымъ ухомъ.

Но все-же мало-по-малу онъ начиналъ овладѣвать собою, начиналъ разбираться въ нахлынувшихъ на него ощущеніяхъ и мысляхъ.

Что-же это такое стряслось надъ нимъ сегодня? горе? несчастье? или нѣтъ никакого горя,—какъ увѣряла Капитолина Ивановна. Можетъ быть, и нѣтъ горя, но вся жизнь, и дѣтство, и юность, и мало-по-малу съ каждымъ годомъ уходящая молодость—были сномъ и обманомъ. Была семья, былъ отецъ и мать, а теперь ихъ нѣтъ... нѣтъ! Да развѣ это возможно?.. Вѣдь ничего не измѣнилось... все то-же самое...

«Конечно..! конечно...—твердилъ онъ себѣ.—Они мнѣ тѣ-же отецъ и мать... мои родные... милые...»

Онъ разсуждалъ, вдумывался и понималъ, что если любилъ ихъ до сихъ поръ, то теперь долженъ любить ихъ еще больше за все, что они для него сдѣлали. Все это было такъ, это было

ясно и просто, а между тѣмъ тоска продолжала щемить его сердце и эта тоска шептала:

«Все-же ты не ихъ сынъ, ты имъ чужой... ты не имѣешь на нихъ права! Они не отецъ тебѣ, не мать, а благодѣтели...»

«Благодѣтели! они?»

Тутъ было мучительное, терзавшее его противорѣчіе.

«Да и что-же такое я самъ? Самозванецъ!» — печально повторялъ онъ.

Передъ нимъ мелькала вся его жизнь, тѣ годы, когда ему такъ безумно хотѣлось имѣть все, все, что было въ рукахъ и во власти другихъ людей, съ которыми онъ когда-то столкнулся; но у него было очень мало и между этимъ немногимъ, больше всего, можетъ быть, онъ дорожилъ своимъ простымъ, но честнымъ именемъ. А вотъ и имени у него нѣтъ.—Что осталось? Что дано ему взамѣнъ потеряннаго?—Непризнаваемое родство съ одной изъ самыхъ старинныхъ и богатыхъ русскихъ фамилій! Этотъ красивый сѣдобородый старикъ, такъ нѣжно, такъ родственно его обнявшій, показавшійся ему очень добрымъ — его дядя. Этотъ архивъ, которымъ его заманили — это архивъ его предковъ!..

И вдругъ въ немъ сказалось дѣйствіе стараго, позабытаго яда. Онъ вспомнилъ блестящее высшее общество, которымъ когда-то увлекался и отъ котораго пришлось ему оторваться съ трудомъ, съ чувствомъ оскорбленнаго самолюбія. Ему казалось, что онъ уже и тогда чувствовалъ свою связь съ этимъ изящнымъ обществомъ. Вотъ почему онъ любилъ его, вотъ почему ему всегда такъ легко дышалось среди широкой жизни, среди роскоши и блеска. Это кровь говорила, кровь невѣдомаго отца, передавшаго ему всѣ свои черты!..

Ядъ поднимался.

«Я Горбатовъ!» мысленно повторялъ онъ и уходилъ въ глубь вѣковъ, въ ту глубь, надъ которой такъ часто отъ юности любилъ задумываться.

Ему припоминалась, какъ-будто сейчасъ она передъ нимъ была раскрыта, та страница «Исторіи Государства Россійскаго», гдѣ онъ въ первый разъ прочелъ имя боярина Горбатова.

Передъ нимъ проходили одна за другою яркія сцены...

... Битва съ татарами. Русскій воевода, закованный въ латы, на лихомъ конѣ, рубитъ враговъ направо и налѣво... рѣдѣютъ толпы степныхъ хищниковъ—православное воинство ликуетъ побѣду... Вождь опускаетъ свой кровавый мечъ, уста его шепчутъ молитву—это Горбатовъ...

... Низкіе расписные своды, восточный блескъ и роскошь... грозный царь съ измученнымъ и скорбнымъ лицомъ, съ подо-

зрительно бѣгающими глазами... Кругомъ любимцы—льстецы, и среди нихъ тучная фигура стараго боярина—упрямый лобъ, гордый взглядъ...

«Мы—сила земли русской!»—говоритъ бояринъ,—«и наше мѣсто рядомъ съ тобою, въ твоемъ совѣтѣ!»

«Вы крамольники... вы злодѣи!»—кричитъ царь.

«Не мы крамольники, а ты самъ окружилъ себя крамолой!..»

«Казнить его!..»

И казнятъ упрямаго боярина—и бояринъ этотъ—Горбатовъ...

Опять другія картины. Опять то боевая схватка, то рѣшеніе дѣлъ государскихъ — и вездѣ и всюду на первомъ планѣ—Горбатовы...

...Годы ломки и перестройки всего государственнаго зданія... «Брей бороду! Надѣвай кургузое нѣмецкое платье! Бѣгай, работай, поспѣвай! въ кургузомъ-то платьѣ — это сподручнѣе, въ длиннополомъ кафтанѣ только валяться да брюхо отращивать! Брей бороду, пузанъ!»—требуетъ властный голосъ великаго работника.

Но пузанъ-бояринъ стыдится себя окургузить, стыдится окорнать свою Богомъ данную красу мужескую — браду, годами посребренную. Непонятенъ ему голосъ державнаго работника, да и упрямство отъ отцовъ наслѣдовано великое...

Уходитъ бородачъ въ свои родовыя вотчины, зарывается тамъ отъ бѣла свѣта, чудачитъ и молится... и опять это Горбатовъ...

... Но сынъ бородача, уже въ нѣмецкомъ платьѣ, въ парикѣ на стриженой головѣ, работаетъ съ нѣмцами...

... Опять другія времена, другіе нравы...

Вспоминаются Михаилу Ивановичу разсказы москвичей, его знакомыхъ, о послѣднихъ Горбатовыхъ... Потомъ совсѣмъ меркнетъ блескъ славнаго имени, не слыхать и не видать теперь Горбатовыхъ... Одинъ только этотъ старикъ, возвращенный изъ Сибири... послѣдній...

И вдругъ старыя грёзы снова наплываютъ со всѣмъ своимъ соблазномъ.

«Дайте мнѣ средства!—шепчетъ Михаилъ Ивановичъ старую фразу, которую такъ часто повторялъ онъ лѣтъ десять тому назадъ.—Дайте какое-нибудь оружіе, тогда можно будетъ показать себя...»

«Да, многое можно сдѣлать, можно поработать для поднятія падающаго рода... и снова заблещетъ старое имя! Я Горбатовъ!..»

«Пойди, скажи имъ это!—вдругъ шепчетъ насмѣшливый голосъ.—Пойди скажи—и они разсмѣются надъ тобою, втопчутъ тебя въ грязь... И стыдъ, унесенный тобою когда-то изъ ихъ общества, покажется тебѣ ничѣмъ въ сравненіи съ этимъ новымъ

стыдомъ!.. Незаконный сынъ Горбатова и петербургской мѣщанки.— кто-же тебя признаетъ? Да и незаконнымъ-то сыномъ ты не смѣешь назваться—у тебя отецъ и мать! Что-же, подводить ихъ подъ отвѣтственность станешь, добиваясь своего позора?!»

Совсѣмъ подавленный, совсѣмъ разбитый вернулся домой Михаилъ Ивановичъ.

XIII.

Межъ огней.

Онъ прошелъ прямо къ себѣ въ мезонинъ и въ первой-же комнатѣ столкнулся съ женой, которая, такъ-таки ничего не добившись отъ стариковъ, въ нетерпѣніи и въ волненіи дожидалась его возвращенія. Увидя его блѣдное, измученное и странное лицо, она совсѣмъ ужъ испугалась. Она кинулась къ нему, охватила его шею руками и, сама блѣдная, прошептала:

— Господи, да что-же, наконецъ, случилось? Что у насъ дѣлается... не томи—скажи? Они отъ меня скрываютъ, я весь день промучилась здѣсь, тебя дожидаясь. Что-же это? разорились вы, что-ли? Весь капиталъ пропалъ?.. Я ума не приложу... Ну... ну, говори скорѣе!..

Онъ вздрогнулъ и невольно отъ нея отстранился. У него изъ головы вонъ вышло, что, вернувшись домой, ему придется отвѣчать на такіе разспросы. Что-же онъ можетъ, что онъ долженъ ей отвѣтить?! Зачѣмъ ей знать—нѣтъ, онъ ничего ей не скажетъ, ничего ни ей, ни имъ...

Все это разомъ мелькнуло у него въ головѣ и онъ принялъ твердую рѣшимость. Онъ нашелъ въ себѣ силу внутренно отряхнуться. Онъ поцѣловалъ жену и улыбнулся,

— Чего ты перепугалась? Не разорились мы и ничего такого нѣтъ... что отъ тебя скрываютъ и откуда ты взяла все это?

— Да не обманывай ты меня, посмотри, какое у тебя лицо. Что съ тобою?

Онъ поднялъ свои тяжелыя, плохо слушавшіяся его вѣки и взглянулъ ей прямо въ глаза.

— Ничего со мною... Ты говоришь про мое лицо, можетъ быть я блѣденъ, я очень усталъ, я былъ у Горбатова... сговорились мы насчетъ архива... Вышелъ я отъ него, захотѣлось пройтись—и вотъ пѣшкомъ съ Басманной... Давно много не ходилъ, съ непрывычки просто даже ослабѣлъ, голова кружится... Дай-ка мнѣ рюмку вина и объясни, что у васъ такое—я ничего не понимаю...

Надежда Николаевна въ недоумѣніи глядѣла на мужа.

«Что-же это онъ, комедію играетъ? Вѣдь, до сихъ поръ ничего не скрывалъ и обѣщалъ, сколько разъ обѣщалъ, что никогда не будетъ имѣть отъ меня тайны.. Что-же это теперь—или надо ему вѣрить?»

Она разсказала ему о впечатлѣніи, произведенномъ на стариковъ его отъѣздомъ къ Горбатову, о появленіи и таинственномъ исчезновеніи Капитолины Ивановны.

Онъ сдѣлалъ видъ, что изумленъ и пожалъ плечами.

— Ну, душа моя, я самъ тутъ ничего не понимаю и теперь ты ужъ и меня пугаешь... Если тебѣ они ничего не объяснили, можетъ быть объяснятъ мнѣ—постой, я пойду и спрошу ихъ...

Онъ пошелъ внизъ, а Надежда Николаевна осталась, все-таки не зная, вѣрить ему или нѣтъ.

«Неужели онъ лжетъ и притворяется? Зачѣмъ, съ какой стати, что ему скрывать отъ меня? Нѣтъ, нѣтъ, онъ должно быть, ничего и не знаетъ... онъ все время былъ совсѣмъ спокоенъ и вчера вечеромъ, и сегодня...»

А Михаилъ Ивановичъ, сходя внизъ, мучительно думалъ:

— Что-же я скажу имъ? Какъ съ ними встрѣчусь? Что мнѣ дѣлать?

Но оказалось, что Марьи Семеновны не было дома – она уѣхала, и онъ понялъ, что она уѣхала къ Капитолинѣ Ивановнѣ. Старикъ былъ въ саду, въ тепличкѣ.

Михаилъ Ивановичъ вышелъ въ садъ, къ нему кинулись игравшія передъ балкономъ дѣти. Онъ машинально поцѣловалъ ихъ и направился къ теплличкѣ. Путь былъ не великъ, всего два-три десятка сажень. Но Михаилъ Ивановичъ шелъ, едва передвигая ноги, шелъ какъ на казнь, такъ тяжело ему было встрѣтиться съ отцомъ.

Однако, эта встрѣча, во всякомъ случаѣ, часомъ раньше или позже, была неизбѣжна. Онъ подошелъ къ тепличкѣ, схватился за дверцу, рука его дрожала, сердце замирало. Онъ согнулся и перешагнулъ порогъ. Его охватилъ горячій, влажный воздухъ, пропитанный испареніями растеній.

На низенькой скамеечкѣ, среди цвѣтовъ и зелени, сидѣлъ, весь сгорбившись, Иванъ Ѳедоровичъ въ своемъ сѣренькомъ лѣтнемъ балахонѣ. Длинные сѣдые волосы, которые онъ со времени отставки почему-то пересталъ стричь и носилъ по плечамъ, обрамляли его старческое, гладко выбритое лицо. При видѣ Михаила Ивановича, онъ задрожалъ, поднялся со скамейки, да такъ и замеръ, совсѣмъ растерянный и не смѣя поднять глазъ, будто человѣкъ уличенный въ преступленіи.

Нѣсколько мгновеній они молча простояли другъ передъ другомъ. Затѣмъ Михаилъ Ивановичъ взялъ руку старика и прижалъ

ее къ губамъ своимъ. Иванъ Ѳедоровичъ свободной рукой обнялъ сына и почти громко заплакалъ.

— Мишенька... голубчикъ... только и могъ онъ выговорить сквозь слезы.

И опять молчаніе, и опять они стояли другъ передъ другомъ. Михаилъ Ивановичъ хотѣлъ говорить и не могъ. Снова нахлынула на него тоска, что-то какъ-будто путалось и обрывалось въ сердцѣ...

Вѣдь, ничего не измѣнилось, вѣдь, передъ нимъ тотъ-же самый любящій отецъ, какого зналъ онъ всю жизнь. Тотъ-же самый добрый чудакъ-отецъ, не дальній умомъ, не сильный характеромъ, но всегда чуткій сердцемъ, всегда отлично понимавшій все доброе и хорошее. Отецъ! отецъ,—но, вѣдь, это не отецъ, это чужой человѣкъ!..

И чувствовалъ Михаилъ Ивановичъ, что уже ничѣмъ не выбьетъ изъ себя этого мучительнаго и страннаго сознанія. Что-же теперь? Запуталась, запуталась жизнь, нѣтъ прежней тишины и не будетъ. Все, что было просто и естественно—теперь стало ложью, обманомъ, неестественностью...

Что сказать ему? вѣдь, онъ видитъ и такъ, что все извѣстно. Объясняться... какія-же могутъ быть объясненія...

Они ничего такъ и не сказали другъ другу.

Иванъ Ѳедоровичъ робко взглядывалъ на сына и тотчасъ-же отводилъ глаза. Но вдругъ, будто собравшись съ силами и что-то рѣшивъ, онъ заговорилъ:

— А я вотъ, Мишенька, хотѣлъ показать тебѣ новый цвѣтокъ кактуса, вчера еще распустился... Вотъ пойди-ка сюда, посмотри, сколько лѣтъ у меня, и это въ первый разъ!..

Михаилъ Ивановичъ, никогда не интересовавшійся цвѣтами, теперь такъ и накинулся на этотъ кактусъ, и сталъ разспрашивать отца о томъ, какая это порода, когда и долго-ли онъ цвѣтетъ, и тому подобное.

Иванъ Ѳедоровичъ объяснялъ съ оживленіемъ, лихорадочно.

Какъ-бы то ни было—этотъ цвѣтокъ кактуса разбилъ ледъ. Онъ былъ послѣдней соломенкой, за которую они оба ухватились и соломенка ихъ поддержала.

Выходя изъ теплички, Михаилъ Ивановичъ сказалъ:

— Надя перепугана, требуетъ объясненій... Я ей выдумаю какую-нибудь исторію...

Иванъ Ѳедоровичъ остановился и опять сильно вздрогнулъ.

— Да... да... Надя... выдумай... выдумай, голубчикъ, зачѣмъ ей... не надо...

Михаилъ Ивановичъ вернулся къ женѣ все съ тѣмъ-же блѣднымъ и страннымъ лицомъ, но, повидимому, спокойный.

— Да,—сказалъ онъ ей,—они очень встревожены, но совершенно напрасно... Они Богъ знаетъ что воображали...

— Что-же они могли воображать и при чемъ тутъ Горбатовъ? Зачѣмъ они такъ испугались тому, что ты къ нему ѣдешь?

Въ отвѣтъ на это Михаилъ Ивановичъ намекнулъ на какую-то туманную старую исторію, что будто отецъ Марьи Семеновны зналъ Горбатова, когда тотъ еще не былъ сосланъ въ Сибирь, что у нихъ были какія-то денежныя дѣла, какіе-то неоконченные счеты, что Марья Семеновна боится, какъ-бы Горбатовъ не заподозрилъ ея покойнаго отца въ нечестности. Но у Капитолины Ивановны хранятся письменныя и неопровержимыя доказательства противнаго...

— Я все это разберу и выясню дѣло. Маменька отправилась къ Капитолинѣ Ивановнѣ и, конечно, вернется съ этими документами...

Надежда Николаевна повѣрила исторіи, сплетенной мужемъ, и успокоилась. Но она удивлялась тому, что за обѣдомъ всѣ были молчаливы, что у Марьи Семеновны были заплаканы глаза, а вечеромъ она заперлась въ своей спальнѣ съ сыномъ и пробыли они тамъ долго, долго. И у Михаила Ивановича, когда онъ пришелъ къ женѣ и собирался спать, были глаза тоже какъ будто немного красны.

Она только спросила его:

— Что-же, ты видѣлъ эти бумаги? Онѣ убѣдительны?

— Да, да, слава Богу!—отвѣтилъ онъ.—Я завтра-же съ ними поѣду къ Горбатову.

Надежда Николаевна мирно заснула и не знала, что мужъ ея не сомкнулъ глазъ почти во всю ночь, что онъ даже нѣсколько разъ, врядъ-ли и самъ замѣчая это, вставалъ съ постели и сидѣлъ, понуря голову, очевидно думая тяжелыя и тревожныя думы.

Онъ, какъ и сказалъ, отправился на слѣдующій день къ Горбатову и, возвратясь, увѣрилъ ее, что дѣло благополучно кончено. Благополучно кончено,—а между тѣмъ Надежда Николаевна ясно видѣла, что въ домѣ происходитъ что-то сранное, что и Михаилъ Ивановичъ, и старики совсѣмъ не тѣ, что всѣ они какъ-то неестественны, какъ будто играютъ комедію.

Она продолжала свои наблюденія, и наконецъ рѣшила, что мужъ обманулъ ее, что отъ нея скрываютъ какую-то тайну. Она пристала къ Михаилу Ивановичу, пустила въ ходъ всѣ женскія уловки, подвергла его испытанію просьбъ, ласкъ, слезъ, негодованія, и, конечно, кончила тѣмъ, что побѣдила.

Онъ любилъ свою хорошенькую, влюбленную въ него жену, въ которой, несмотря на нѣсколько лѣтъ семейной жизни, сохранилось еще много дѣтскаго и наивнаго. Она родилась въ

скромной средѣ московскаго чиновничества, воспитывалась въ институтѣ, рано вышла замужъ. Но въ ней не было той мелочности, того неизящества, которое Михаилъ Ивановичъ терпѣть не могъ въ барышняхъ его круга.

Надежда Николаевна именно была изящна отъ природы, была добра и хотя ея образованіе и умственное развитіе сильно хромали, но природный тактъ былъ настолько значителенъ, что никогда она не заставляла краснѣть своего мужа ни на людяхъ, ни наединѣ.

Она не только продолжала оставаться въ него влюбленной, но и уважала его, ставила гораздо выше себя, умѣла вслушиваться въ его сужденія и запоминать ихъ, заставляла себя интересоваться всѣмъ, чѣмъ онъ интересовался—и достигала этого.

Она мало-по-малу становилась его послушной ученицей, въ нѣкоторомъ родѣ какъ-бы его повтореніемъ въ миніатюрѣ. Онъ понималъ это, чувствовалъ и былъ доволенъ своей Надей...

Ему самому, съ перваго-же дня, было тяжело имѣть отъ нея тайну. Да и наконецъ, нѣсколько дней, прошедшихъ со времени сцены въ горбатовскомъ домѣ, все-же заставили его хладнокровнѣе взглянуть на дѣло. Наконецъ, онъ задалъ себѣ вопросъ—зачѣмъ скрывать отъ жены? Она слишкомъ добрая и честная женщина, она не выдастъ его тайны, ничему не повредитъ.

Онъ ей во всемъ признался.

Надежда Николаевна слушала его, широко раскрывъ глаза, и въ первую минуту ей показалось даже, что онъ смѣется надъ нею, разсказываетъ ей сказку—такъ все это было невѣроятно. Но такой сказки онъ, вѣдь, не могъ выдумать. Она задумалась и вдругъ заплакала.

— Ну вотъ, ты и плачешь,—сказалъ онъ:—значитъ лучше-бы я молчалъ... И о чемъ ты плачешь?

Она удержала свои слезы, прижалась къ нему и прошептала:

— Я плачу потому, что ты не сказалъ мнѣ сразу и такъ долго скрывалъ отъ меня все это... И потому плачу, что какъ-же не плакать,—вѣдь, я понимаю, какъ тяжело и тебѣ, и имъ...

— Но ради Бога, Надя, ни слова имъ, пусть они думаютъ, что ты ничего не знаешь...

— Тебѣ нечего просить меня объ этомъ,—конечно, я не скажу имъ ни слова. Но что-же ты теперь будешь дѣлать, Миша?..

Она остановилась и вздрогнула.

Онъ замѣтилъ это и печально улыбнулся.

— Вотъ видишь—и тебѣ страшно,—сказалъ онъ:—назвала меня Мишей, а я даже и не Миша...

По его лицу скользнуло такое скорбное выраженіе, что она снова прижалась къ нему и стала крѣпко и горячо цѣловать его.

— Это пустяки, пустяки,—повторяла она:—тебѣ нечего объ этомъ думать, это только странно. И я знаю одно,—прибавила она:—что мы должны любить ихъ еще больше, еще больше цѣнить ихъ...

— Спасибо тебѣ за то, что ты такъ говоришь и думаешь,—произнесъ Михаилъ Ивановичъ, обнимая жену.

— Что-же ты будешь дѣлать?—повторила она свой вопросъ.

— Ничего,—сказалъ онъ.—Что-же мнѣ дѣлать.

— А твой... дядя... Горбатовъ? Ты теперь каждый день у него бываешь...

— Дядя! — задумчиво произнесъ Михаилъ Ивановичъ.— Онъ, кажется, дѣйствительно хочетъ быть для меня роднымъ... Онъ хорошій человѣкъ, я люблю его... Завтра онъ уѣзжаетъ, но зоветъ меня осенью въ Петербургъ...

— Ты поѣдешь? А какъ-же служба?

— Я еще ничего не знаю, но можетъ быть и службу теперешнюю оставлю... можетъ быть... онъ снова задумался,—въ нашей жизни будетъ большая перемѣна...

— Какая-же? Что такое?! Ты опять начинаешь скрывать,

— Нѣтъ, но подожди, я еще самъ ничего не знаю, у меня до сихъ поръ голова какъ въ туманѣ...

Надежда Николаевна поблѣднѣла, какая-то внезапная мысль мелькнула въ головѣ ея, и печальнымъ голосомъ произнесла она:

— Да, да, будутъ большія перемѣны, но къ лучшему-ли, Миша? Мнѣ становится страшно...

Слезы блеснули на ея глазахъ, не то тоска, не то неопредѣленное предчувствіе сжало ей сердце.

— Перемѣны!.. — шептала она.—Да зачѣмъ онѣ намъ? Мы жили хорошо; будемъ-ли жить лучше? А вдругъ...

Она запнулась.

— Что вдругъ?—спросилъ онъ, поднимая глаза и видя ея испуганное лицо:—чего ты еще боишься?

— Я боюсь, что ты меня теперь разлюбишь..,

— Побойся Бога! Какъ тебѣ не стыдно!—крикнулъ онъ хватая ея руки:—вѣдь, ты не ребенокъ, что за безумная мысль! Мнѣ кажется, теперь намъ болѣе, чѣмъ когда-либо, нужно быть вмѣстѣ... тѣснѣе...

Эти слова ее успокоили.

— Только смотри, ничего не скрывай отъ меня... знаешь, хоть у меня и умишко не Богъ знаетъ какой, но все-же—умъ хорошо, а два лучше...

А онъ что-то скрывалъ, въ его головѣ роились какія-то новыя мысли, новые планы. И Надежда Николаевна каждый день заставала его задумчивымъ.

Онъ рѣшительно измѣнился, да и всѣ въ домѣ измѣнились. Старики были скучны и даже какъ будто сразу постарѣли. Прежняя тихая и спокойная жизнь съ каждымъ днемъ невозвратно исчезала.

XIV.

Тѣ-же тревоги.

Борисъ Сергѣевичъ, засидѣвшись въ Москвѣ, уже давно покончилъ свои дѣла, спѣшилъ въ Петербургъ.

Онъ зналъ, что встрѣтитъ тамъ Николая, который извѣстилъ его о своемъ неожиданномъ, «по дѣламъ»—какъ писалъ онъ, отъѣздѣ изъ Горбатовскаго и о томъ, что у нихъ въ петербургскомъ домѣ все приготовлено для встрѣчи дорогого гостя.

Получилъ Борисъ Сергѣевичъ также два письма отъ Наташи. Это были большія, въ два и три листа, письма, мелко исписанныя ея красивымъ почеркомъ.

Она описывала подробно всѣ внѣшнія происшествія ихъ деревенской жизни во время отсутствія дяди. Описывала, въ нѣсколько комическомъ видѣ, собиравшихся у нихъ гостей-сосѣдей. Прерывала эти описанія какими-то туманными, отвлеченными сужденіями, которыя всякому показались-бы странными. Но Борисъ Сергѣевичъ ясно понималъ всѣ мысли своего новаго друга.

Прочитавъ эти два письма, онъ увидѣлъ всю внутренную жизнь Наташи; всѣ ея чувства. Она вскользь упомянула объ отъѣздѣ Николая и потомъ о немъ не было и слова. Но одна эта коротенькая фраза и это молчаніе разсказали Борису Сергѣевичу все, что произошло тамъ безъ него, въ Горбатовскомъ.

Онъ печально задумался надъ этими письмами и передъ нимъ вставалъ неотвязно вопросъ—что-же будетъ дальше? Чѣмъ разрѣшится эта тяжелая судьба? А, вѣдь, она должна-же разрѣшиться. Все это началось не теперь, а подготовлялось давно, росло невидно и не слышно, безсознательно для нихъ обоихъ, какъ и всегда подготовляется и ростетъ большое горе.

«Судьба!—повторилъ Борисъ Сергѣевичъ,—та самая судьба, которая и меня вела всю жизнь и складывала эту жизнь такъ, а не иначе... Что-же будетъ съ ними?»

Онъ понималъ и чувствовалъ, что гроза разразится скоро и не устоять подъ этой грозою тѣмъ, кого онъ уже искренно полюбилъ. Онъ знаетъ заранѣе, что близка погибель, что ударъ неминуемый и жестокій виситъ надъ милыми ему существами... Онъ знаетъ то, чего не знаютъ они, потому что вѣрно имъ ка-

жется, что многое еще въ ихъ власти!.. А въ ихъ власти что?— ничего!..

Онъ все это знаетъ—и нечѣмъ ему помочь имъ. Онъ видитъ двѣ разбитыхъ жизни, да и двѣ-ли только?

Вотъ онъ живетъ, наконецъ, сердцемъ. Онъ, такъ долго бывшій одинокимъ на свѣтѣ и такъ тяготившійся своимъ одиночествомъ, своимъ бездѣйствіемъ—живетъ и дѣйствуетъ. У него есть близкіе ему люди. Ихъ интересы дѣлаются его интересами—а развѣ жизнь его стала отъ этого краше?! Мелькнуло что-то свѣтлое—и угасло...

Онъ готовъ имъ всѣмъ отдать остатки своей жизни. отдать все, что только есть у него, но видно никому ничего этого не нужно. Онъ снова ожилъ только для того, чтобы убѣдиться, что жизнь—страданіе.

Онъ дѣлаетъ большое дѣло—освобождаетъ тысячи душъ крестьянъ, заботится о дальнѣйшемъ ихъ устройствѣ. Это дѣло справедливости, это осуществленіе старой мечты!..

Но нѣтъ-нѣтъ да и являются у него смущающія мысли. Вспоминаются ему слова Николая, а затѣмъ и вѣрнаго слуги Степана, который, передъ отъѣздомъ его изъ Горбатовскаго, узнавъ наконецъ, о томъ, что такое задумалъ баринъ, покачалъ головою и промолвилъ:

— Не ладно это, сударь Борисъ Сергѣевичъ, правое слово не ладно... Вотъ оно что значитъ отвычка—небось, кабы мы не прожили всѣ жизнь въ Сибири, такъ и жалости у васъ къ вашимъ людямъ было-бы больше, не стали-бы гнать ихъ отъ себя...

— Что ты такое бредишь, Степанъ? Какъ отъ себя гнать?

— А такъ-таки и гнать!—упрямо повторялъ Степанъ.—За вами имъ хорошо и тепло, какъ у Господа за пазухой, а отпустите вы ихъ на волю на эту—и невѣдомо еще что изъ этого выйдетъ! Можетъ, кому и точно въ прокъ пойдетъ, да не многимъ, а что многіе пропадутъ—это вѣрно...

— Ну, закаркала старая ворона!—промолвилъ Борисъ Сергѣевичъ.

— То-то, старая ворона!..

И Степанъ съ ворчаніемъ ушелъ.

Но какъ-бы то ни было, затѣянное дѣло приближалось къ благополучному окончанію.

Удалось и другое дѣло, за которымъ, главнымъ образомъ, и пріѣхалъ Борисъ Сергѣевичъ въ Москву—исполнилъ онъ завѣтъ брата, отыскалъ новаго племянника. Онъ ознакомился съ этимъ племянникомъ, призналъ въ немъ хорошаго человѣка, открылъ ему свое сердце, готовъ былъ оказать ему всяческую помощь. Но и тутъ помощи пока никакой очевидно не требовалось: Ми-

хаилъ Ивановичъ въ немъ не нуждался и онъ ясно видѣлъ это. Да и Капитолина Ивановна провожала его изъ Москвы такими словами:

— Ну, что-же, государь мой, добились вы своего, такъ рады, что-ли? Можетъ, вы и рады, только взгляните-ка на Мишеньку—просто не узнать его за это время—хмурый, осунулся. А ужъ со стариками его что дѣлается—смотрѣть тошно!.. Еще спасибо вамъ, что не заупрямились—туда не пожаловали... Поглядимъ, что дальше будетъ, думается такъ, что хорошаго-то мало. Тихо жили люди, на жизнь не жаловались, а теперь вотъ изъ колеи выбиты, совсѣмъ выбиты!..

Борисъ Сергѣевичъ не могъ не согласиться, что она, пожалуй, и права. И могъ онъ только успокоить себя тѣмъ, что, вѣдь, не зналъ онъ, какъ найдетъ этого племянника и думалъ найти его иначе. Онъ сваливалъ свою вину на Прыгунова, но отъ этого ему не становилось легче...

Въ Петербургѣ Борисъ Сергѣевичъ не намѣренъ былъ засиживаться. Онъ повидался кой съ кѣмъ изъ вліятельныхъ лицъ, принявшихъ его съ холодной любезностью. Онъ узналъ, что рѣшеніе его отпустить на волю всѣхъ своихъ крестьянъ «очень понравилось», ему было даже передано «удовольствіе».

Онъ не узнавалъ Петербурга и по нѣкоторымъ сдѣланнымъ наблюденіямъ убѣдился, что Николай былъ правъ.

Николая онъ засталъ такимъ мрачнымъ, такимъ раздражительнымъ. Не будь перваго впечатлѣнія, встрѣть онъ его такимъ, какимъ онъ былъ теперь, онъ бы только укрѣпился въ своихъ предвзятыхъ мысляхъ и чувствахъ. Но онъ видѣлъ Николая другимъ, отдалъ ему уже свое сердце и могъ теперь только скорбѣть.

Николай дѣйствительно начиналъ переживать мучительное время, въ сравненіи съ которымъ годы тоски и недовольства жизнью казались ему почти блаженными годами. Онъ пріѣхалъ изъ Горбатовскаго совсѣмъ какъ въ туманѣ; но рѣшился бороться съ собою и внутренно былъ возмущенъ той слабостью, которую въ себѣ чувствовалъ.

Онъ хотѣлъ забыть, уничтожить въ себѣ все то, что такъ неожиданно, какъ ему казалось, выросло, прорвалось наружу и подавило его...

«И когда-же это могло случиться... и какъ оно могло случиться... и какъ я смѣлъ допустить это?»—пытался онъ разбирать себя, и судить, и осуждать; но тутъ-же и чувствовалъ всю нелѣпость, всю фальшь такихъ сужденій и самоосужденій, и чувствовалъ, что вовсе не «вдругъ», а уже давно, давно, съ первой встрѣчи, съ первой минуты онъ любилъ Наташу.

Любилъ, когда увидѣлъ ее какъ невѣсту брата, любилъ, когда глядѣлъ какъ она обходила вокругъ аналоя съ Сергѣемъ, любилъ, когда она вошла въ ихъ домъ и когда онъ бесѣдовалъ съ нею какъ съ сестрой, и глядѣлъ на нее какъ на сестру...

Любилъ всегда, всегда, ни на минуту не переставая, любилъ все больше и больше съ каждой минутой, жилъ ею, думалъ только о томъ, какъ-бы ее увидѣть, или о томъ, какъ-бы избѣгнуть встрѣчи съ нею. И избѣгая встрѣчи, онъ въ то же время жаждалъ этой встрѣчи и ждалъ чутко, всѣмъ существомъ своимъ, чтобы она первая пришла къ нему. Если она приходила—онъ встрѣчалъ ее рѣзко, почти враждебно, а самъ замиралъ отъ блаженства и муки. Если она не приходила—онъ не выдерживалъ и самъ шелъ къ ней, еще болѣе рѣзкій, еще болѣе враждебный, ровно готовый и оскорбить ее, и безумно упасть передъ нею на колѣни.

И все это было такъ, потому что иначе не могло быть; только все это дѣлалось и росло безсознательно, онъ жилъ и двигался и дѣйствовалъ какъ во снѣ, а теперь, теперь все вспоминалъ и понималъ...

Послѣ этого страшнаго и блаженнаго вечера, послѣ встрѣчи въ бесѣдкѣ, онъ бѣжалъ, инстинктивно ища спасенія въ бѣгствѣ. Онъ чувствовалъ необходимость уйти куда-нибудь, окунуться въ тревожную дѣятельность, которая-бы увлекла, помогла забыться.

По возвращеніи въ Петербургъ, онъ объѣздилъ всѣхъ бывшихъ въ городѣ и въ окрестностяхъ знакомыхъ, сталъ видаться съ вліятельными «работавшими» въ то время людьми. Онъ казался особенно оживленнымъ, говорилъ много, горячо и увлекательно, развивалъ свои завѣтныя мысли, которыя, какъ онъ выразился въ своемъ первомъ разговорѣ съ дядей, заслужили порицаніе en haut lieu.

Онъ ужъ и прежде, когда хотѣлъ того, обращалъ на себя вниманіе. Теперь-же, въ этомъ исключительномъ, лихорадочномъ состояніи духа, онъ производилъ почти магнетическое дѣйствіе, получалъ рѣшительное вліяніе. Съ каждымъ днемъ разростался кружокъ, невольно признававшій его своимъ центромъ. Люди однихъ съ нимъ взглядовъ, но до послѣдняго времени не рѣшавшіеся высказывать этихъ взглядовъ изъ боязни прослыть «отсталыми», изъ увѣренности въ своемъ «одиночествѣ»—теперь, найдя въ немъ поддержку и увидя, что они вовсе не одиноки,—заговорили.

Кружокъ крѣпъ и получалъ вліяніе. Началась борьба. Новѣйшіе «дѣльцы», жаждавшіе «удивить Европу» и творить «блестящія страницы исторіи», силились представить кружокъ Николая

чуть что не врагами отечества и уже во всякомъ случаѣ крѣпостниками и ретроградами. Но настоящіе крѣпостники и ретрограды, въ свою очередь, были недовольны кружкомъ, ибо Николай и его единомышленники были вовсе не за старый строй и порядокъ. Они находили, что надо работать и строить—только осмотрительно, не на спѣхъ, не на показъ Европѣ, а прочно и своевременно.

Дни Николая проходили быстро въ этой закипѣвшей дѣятельности. Съ ранняго утра уже можно было видѣть экипажи, подъѣзжавшіе къ горбатовскому дому. Въ старой библіотекѣ то и дѣло устроивались невзначай какъ-бы даже засѣданія подъ предсѣдательствомъ молодого хозяина.

Здѣсь можно было встрѣтить и горячихъ молодыхъ людей, уже болѣе или менѣе обратившихъ на себя общее вниманіе, и престарѣлыхъ государственныхъ мужей—дѣятелей прошлаго царствованія. Но главнѣйшимъ образомъ сюда стремились и легко попадали съѣхавшіеся въ Петербургъ провинціалы, дворяне-помѣщики разныхъ губерній, имѣвшіе сказать свое слово, привезшіе съ собой болѣе или менѣе значительный запасъ опытности и наблюденій.

Николай умѣлъ сразу разгадывать новаго человѣка и если онъ представлялъ какого-нибудь провинціала своимъ петербургскимъ вліятельнымъ пріятелямъ, то навѣрное ужъ этотъ провинціалъ оказывался интереснымъ. Многіе изъ заслуженныхъ государственныхъ особъ, бывшіе до того времени искренно увѣренными, что они прекрасно знаютъ и понимаютъ дѣйствительное положеніе Россіи, должны были сознаться, что только тутъ, въ этой старой библіотекѣ, начинаютъ настоящее знакомство съ этимъ положеніемъ.

Здѣсь шли оживленные, серьезные споры, прочитывались различныя записки и замѣтки. Конечно, не разъ увлекались споромъ, отклонялись отъ главнаго предмета, стоявшаго на очереди; но Николай всегда умѣлъ вò-время позвонить въ свой незримый предсѣдательскій колокольчикъ, то-есть навести споръ на надлежащую дорогу. Самъ онъ говорилъ больше всѣхъ, съ постоянно возроставшимъ краснорѣчіемъ, и посѣтители засиживались въ библіотекѣ, не замѣчая какъ идетъ время.

Наконецъ, гости разъѣзжались и Николая уже дожидался экипажъ у подъѣзда. Онъ отправлялся куда-нибудь за городъ, къ кому-нибудь на дачу, и всюду приносилъ съ собою свой увѣренный тонъ, свои ясныя мысли. Возвращаясь домой вечеромъ, онъ находилъ у себя на письменномъ столѣ приглашенія на слѣдующій день, иной разъ быстро карандашемъ набросанныя строчки—извѣстія о томъ, что получены важныя новости. Эти

быстро набросанныя карандашемъ строчки были нѣчто вродѣ шифрованныхъ депешъ—кружокъ такъ уже спѣлся, что люди понимали другъ друга въ одномъ словѣ, въ одной буквѣ.

И такъ шли недѣли.

Но нерѣдко и въ старой библіотекѣ, и въ чьей-нибудь гостиной собесѣдники Николая взглядывали на него съ изумленіемъ—онъ вдругъ среди самаго интереснаго спора останавливался, терялся, замолкалъ. Его оживленное лицо становилось блѣднымъ, блестящіе глаза потухали, онъ начиналъ отвѣчать короткими фразами, а иногда даже очевидно не слыхалъ того, что ему говорили.

Нерѣдко, возвращаясь домой съ Острововъ, изъ Царскаго Села или Петергофа, полный только что высказанныхъ мыслей, онъ чувствовалъ, какъ эти мысли обрываются, какъ всякій интересъ къ дѣятельности, въ которую онъ окунулся, пропадаетъ безслѣдно и на его мѣсто врывается въ сердце и въ мозгъ тотъ мучительный, невыносимый міръ мыслей и ощущеній, отъ котораго онъ бѣжалъ, съ которымъ боролся и гналъ отъ себя и почти уже думалъ, что прогналъ далеко.

Опять и опять вставали передъ нимъ два женскихъ образа, да два: не одна Наташа, а и Мари. Онъ начиналъ теперь все чаще и чаще думать о Мари, и тутъ опять таки происходило нѣчто странное и мучительное. Онъ, самъ того не замѣчая, пересталъ негодовать на нее и она ужъ не казалась ему «чужою», какъ еще недавно. Ему не приходило въ голову обвинять ее, а себя оправдывать. Онъ почувствовалъ, что она передъ нимъ невиновата, что онъ не имѣлъ никакого права требовать отъ нея, чтобы она для него переродилась, стала иною, чѣмъ создала ее природа. А главное, главное, какова-бы ни была она, онъ созналъ, свою нерасторжимую связь съ нею и его всего наполнило чувство жалости къ ней, невыносимо мучительное чувство.

Иной разъ онъ бродилъ теперь по ея пустымъ комнатамъ, гдѣ все говорило объ ней, онъ взглядывалъ порою на ея портретъ и глядѣлъ долго, не отрываясь, будто впервые видѣлъ это красивое, спокойное лицо. Ему казалось, что онъ читаетъ нѣмой упрекъ въ ея глазахъ. Тоскливая жалость душила его. Если-бъ Мари очутилась теперь передъ нимъ—онъ-бы бросился къ ней на грудь и рыдалъ-бы, рыдалъ-бы...

Но вотъ будто голосъ какой-то, гдѣ-то, тамъ, глубоко, въ сердцѣ произносилъ завѣтное имя: «Наташа!»—и ему становилось просто страшно отъ огня всего его охватывавшей страсти. Тутъ уже не было жалости, тутъ была роковая, неумолимая сила, таившаяся всю жизнь, безъ исхода, безъ пищи—и теперь порвавшая свои оковы.

Онъ негодовалъ на себя, почти презиралъ себя, кидался къ своему рабочему столу, начиналъ писать, заставлялъ работать мозгъ. Но среди работы ему слышался то тихій голось Наташи, то шорохъ ея платья.

И онъ безнадежно хватался за свою горящую голову.

Борисъ Сергѣевичъ видѣлъ и понималъ борьбу, происходившую въ Николаѣ. Въ своихъ бесѣдахъ онъ не позволилъ себѣ ни одного намека и только всячески старался убѣдить его, что хандрить и тяготиться жизнью въ его годы не слѣдуетъ, что въ жизни во всякомъ случаѣ много дѣла, много большой работы, въ которой можно забыться и найти успокоеніе.

— Нѣтъ, тяжело жить, дядя!—мрачно отвѣчалъ ему Николай. — Конечно, вы правы: есть и дѣло, есть и работа, и я работаю...

— Да вы не глядите на меня, что я такой,—вдругъ спохватывался онъ.—Это я, можетъ быть, клевещу и на жизнь, и на себя... характеръ такой глупый, нервы, что-ли... Я съ жизнью долженъ справиться... и справлюсь...

Какъ-то Борисъ Сергѣевичъ сказалъ ему:

— Вотъ постой, я попытаюсь занять тебя Азіей. Теперь некогда, надо спѣшить въ Горбатовское, а вернемся сюда осенью, я тебѣ сообщу многое такое, что навѣрно тебя заинтересуетъ... Потерпи до осени.

— Охъ, ужъ эта осень!—невольно выговорилъ Николай.

По лицу его пробѣжало тоскливое выраженіе и онъ перемѣнилъ разговоръ...

Въ Горбатовскомъ Бориса Сергѣевича ждало не много радостей. Наташа была, пожалуй, еще плоше Николая. Она очевидно ломала себя всячески, ни на что не жаловалась, казалась спокойной, но поблѣднѣла и похудѣла. И по временамъ старикъ замѣчалъ такой странный, почти безумный взглядъ ея глазъ, что ему становилось за нее страшно. Съ нею онъ-бы заговорилъ, но она пуще всего боялась этихъ разговоровъ и не допускала ихъ.

Сергѣй теперь иногда по нѣсколько дней не бывалъ дома. Онъ уѣзжалъ на ярмарку, потомъ отправлялся на охоту. И Борисъ Сергѣевичъ не могъ не замѣтить, что только во время его отсутствія Наташа хоть нѣсколько спокойнѣе дышала.

Мари, повидимому, была все та-же. Она, какъ и всегда, показывалась рѣдко, почти всѣ дни проводила у себя, только Борисъ Сергѣевичъ замѣтилъ, что она часто призываетъ къ себѣ своего мальчика и подолгу остается съ нимъ, чего прежде не бывало.

Ко всему этому Катерина Михайловна постаралась отравить

послѣднія спокойныя минуты. Извѣстіе о томъ, что Борисъ Сергѣевичъ отпускаетъ на волю своихъ крестьянъ, поразило ее и довело до бѣшенства. Она не рѣшалась, конечно, высказать этого бѣшенства, но настроеніе ея духа становилось невыносимымъ. Она придиралась къ каждому слову, она преслѣдовала рѣшительно всѣхъ.

Атмосфера Горбатовскаго сдѣлалась совсѣмъ душной.

Наконецъ, Борису Сергѣевичу былъ приготовленъ послѣдній сюрпризъ. Какъ-то поздно вечеромъ, это было уже въ августѣ, ему не спалось и онъ вышелъ въ паркъ. Ночь была тихая и темная, только сквозь чащу деревьевъ мигали безчисленныя звѣзды. Въ аллеяхъ было совсѣмъ темно.

Борисъ Сергѣевичъ набрелъ на скамью, сѣлъ и задумался. Мало-по-малу эта ночь,—предвѣстница осени, навѣяла на него свою таинственную тишину, подняла въ немъ то тихое и грустное чувство, которое заставляетъ человѣка не то на яву, не то въ полуснѣ прислушиваться къ дыханію заснувшей природы, слышать въ этомъ дыханіи съ каждой минутой все яснѣющіе и яснѣющіе звуки и почти даже понимать смыслъ и значеніе ихъ.

Но на этотъ разъ Борису Сергѣевичу не удалось побесѣдовать съ природой.—Онъ былъ освобожденъ отъ чаръ ея новыми, совсѣмъ земными звуками. Онъ разслышалъ шаги, тихіе голоса, разслышалъ звукъ поцѣлуя.

Мимо него, въ темной аллеѣ, не замѣчая его присутствія, медленно проскользнули двѣ тѣни—и онъ узналъ въ нихъ Сергѣя и хорошенькую Лили...

XV.

Между мужемъ и женою.

Скучно и однообразно прошелъ конецъ лѣта въ Горбатовскомъ. Только дѣти веселились. Да и то не всѣ. Володя часто по цѣлымъ часамъ ходилъ мрачный и задумчивый, скрестивъ на груди руки и опустивъ голову. Его блѣдное, нѣжное личико выражало большую грусть. Ему казалось съ нѣкотораго времени, что все измѣнилось и стало не такимъ, какимъ было прежде. Пожаръ Знаменскаго произвелъ эту перемѣну—вмѣстѣ со старымъ домомъ сгорѣла вся прежняя жизнь.

Маленькая преступница Груня не выходила изъ головы мальчика. Онъ узналъ отъ дѣдушки, что она въ Москвѣ и поручена

добрымъ людямъ, что она была больна, но ее вылѣчили и скоро отдадутъ учиться въ пансіонъ.

«Значитъ Груня не будетъ простой горничной, ею уже никто не посмѣетъ помыкать, бить ее и мучить... Дѣдушка сказалъ, что онъ устроитъ всю ея жизнь и, конечно, онъ хорошо устроитъ, потому что онъ такой добрый...»

Только Володѣ теперь болѣе, чѣмъ когда-либо, не доставало его маленькой пріятельницы; ему иногда такъ хотѣлось ее увидѣть, поговорить съ нею, хорошенько разспросить ее, какъ это могло съ ней случиться такое ужасное, какъ могло прійти ей въ голову... Хотѣлось ему понять все это, да такъ хотѣлось, что иной разъ, высвободясь изъ-подъ надзора и бродя въ паркѣ, онъ начиналъ громко говорить съ Груней и ждалъ, что она вотъ, вотъ появится. Ему казалось иногда, что онъ уже какъ-будто даже слышитъ ея голосъ, чувствуетъ ея присутствіе. Мигъ—и раздвинутся вѣтки... покажется черноволосая головка...

Но Груня не являлась.

Да и не одна Груня его мучила. Пуще Груни мучила его мама Наташа. Она совсѣмъ теперь измѣнилась — такая-же добрая и ласковая, такъ-же крѣпко цѣлуетъ его; но она вѣрно больна. Онъ хорошо замѣчалъ, какъ она похудѣла; онъ инстинктивно слѣдилъ за нею и видѣлъ даже то, чего никто не видѣлъ. Онъ зналъ, что она часто плачетъ и скрываетъ отъ всѣхъ свои слезы. Долго не рѣшался онъ ее спросить, о чемъ она плачетъ; наконецъ, рѣшился.

Она испугалась, стала увѣрять его, что совсѣмъ здорова, что ей весело—и засмѣялась. Но это былъ такой нехорошій смѣхъ—и онъ ему не повѣрилъ.

Онъ все больше и больше начиналъ думать о томъ, что-же такое съ мамой Наташей? Она, конечно, больна... отчего-же никто не замѣчаетъ ея болѣзни? Вѣдь, если она больна, ей надо лѣчиться... доктора ее вылѣчатъ и она будетъ такая-же, какъ прежде.

Пуще всего его изумляло, какъ это отецъ ничего не замѣчаетъ. Вѣдь еслибы онъ замѣчалъ—онъ-бы встревожился, испугался, онъ не оставилъ-бы такъ маму и ужъ, конечно, былъ-бы всегда съ нею. А онъ теперь все рѣже и рѣже дома, уѣзжаетъ куда-то. Значитъ, ничего не замѣтъ.

Одинъ разъ ему даже пришло въ голову пойти и поговорить обо всемъ этомъ съ отцомъ; но какое-то, самимъ имъ несознаннное чувство, помѣшало...

Между тѣмъ, Володя ошибался. Сергѣй Владиміровичъ, несмотря на все свое легкомысліе и вѣчно одолѣвавшую его скуку, несмотря на постоянныя отлучки изъ дому, съ нѣкотораго вре-

мени тоже сталъ замѣчать большую перемѣну въ Наташѣ и, по временамъ, даже очень тревожился этой перемѣной. Ему казалось, что перемѣна эта началась съ того злополучнаго дня, когда онъ признался ей въ одной изъ своихъ провинностей.

Онъ чувствовалъ себя виноватымъ и такъ какъ мысль эта была ему тяжела, то онъ и старался отгонять ее отъ себя.

И никакія сознанія своей виновности, никакія тревоги за Наташу не мѣшали ему довести распущенность до послѣдней степени. Онъ продолжалъ домашнюю интригу съ Лили. Его капризъ къ этой миловидной, жеманной и довольно глупенькой дѣвушкѣ поддерживался двумя обстоятельствами. Хоть онъ и успѣлъ ужъ, одному ему извѣстными чарами заполонить ее какъ и почти всѣхъ женщинъ, на которыхъ обращалъ вниманіе, но она все еще не сдавалась окончательно и ускользала у него изъ рукъ въ ту минуту, когда онъ думалъ, что совсѣмъ поймалъ ее. При этомъ его извращенное, утомленное воображеніе, его одуряющая скука требовали новыхъ, сильныхъ ощущеній—и онъ находилъ эти ощущенія въ самой дерзости своей интриги, въ постоянной возможности попасться и въ мысли о томъ отвратительномъ положеніи, въ которомъ онъ окажется, если попадется...

Наконецъ, какъ-то войдя въ спальню, онъ увидалъ Наташу такой блѣдной, съ такимъ грустнымъ и измученнымъ лицомъ, что остановился какъ вкопанный. Ему просто стало страшно. Онъ мигомъ забылъ Лили, какъ-будто ее никогда не бывало на свѣтѣ...

Наташа теперь часто сидѣла одна въ спальнѣ, съ какой-нибудь книгой, которая, однако, оставалась открытой все на одной и той-же страницѣ.

При входѣ мужа, она подняла на него усталые глаза и тотчасъ-же ихъ опустила.

Съ каждымъ днемъ эта общая жизнь, присутствіе мужа—дѣлались для нея все невыносимѣе. И она не могла даже рѣшить, что̀ именно ужаснѣе и мучительнѣе—тоска-ли ея и любовь безумная, любовь къ человѣку, о которомъ она не смѣла думать и о которомъ, тѣмъ не менѣе, ежеминутно думала,—или близость мужа.

Она теперь дышала свободно только въ отсутствіи Сергѣя и радовалась, что эти отсутствія часты, что иной разъ по цѣлымъ днямъ она его не видитъ.

Когда онъ не возвращался ночевать домой, она даже нѣсколько оживлялась. Она рано уходила къ себѣ въ спальню, запиралась, и ей казалось, что она одна, одна въ цѣломъ свѣтѣ, и что никто и ничто не мѣшаетъ ей предаваться думамъ. Но

это были почти не думы, это были мучительно сладкія ощущенія. Передъ нею внезапно и властно вставалъ образъ Николая, ей казалось, что онъ тутъ, съ нею, что она почти его видитъ.

Она, какъ и маленькій Володя, начинала громко говорить съ нимъ, и онъ отвѣчалъ ей. И это были длинныя, длинныя бесѣды безъ словъ, которыхъ, конечно, не могъ-бы понять никто, но въ которыхъ для нея заключался цѣлый міръ...

Однако, изъ этого волшебнаго міра, ее часто выводилъ какой-нибудь внѣшній предметъ, попавшійся на глаза, какой-нибудь звукъ, раздавшійся въ ближнихъ комнатахъ или внѣ дома. И она словно просыпалась. Милый призракъ исчезалъ, дѣйствительность вступала въ свои права.

Она старалась разсуждать. Для нея было ясно, что прежняя жизнь, бывшая хотя и не особенно счастливой, но все-же нерѣдко дававшая ей довольство—навсегда кончена. Она знала навѣрно, что въ тотъ страшный часъ вечеромъ, въ бесѣдкѣ, она навсегда простилась съ Николаемъ. Довольно этой слабости, этой преступной слабости, сдѣлавшей то, что вотъ она такъ часто теперь сама себя ненавидитъ и презираетъ.

— Нѣтъ, ни одного слова теперь такого не будетъ сказано ею наединѣ съ Николаемъ и, вѣдь, самъ онъ не захочетъ ее мучить. Все сказано, все рѣшено, все кончено!..

Но теперь она чувствовала и понимала все яснѣе съ каждымъ днемъ, что если и можетъ побѣдить свою слабость, то не можетъ, не смѣетъ, не должна, да, не должна выносить дольше этихъ неестественныхъ, обманныхъ отношеній къ мужу. И еще больше, чѣмъ за ту минуту въ бесѣдкѣ, она презирала себя за то, что до сихъ поръ тянетъ это невыносимое положеніе. Уже нѣсколько разъ она порывалась начать — и не хватало силъ. Она и теперь безнадежно взглянула на него, въ то-же время проклиная себя и внутренно желая всѣмъ существомъ своимъ, чтобы онъ скорѣе ушелъ и оставилъ ее одну.

Но онъ не уходилъ. Онъ какъ-то неловко и опустивъ глаза присѣлъ въ кресло передъ нею и молчалъ.

— Что тебѣ, Сергѣй?—наконецъ, прошептала она.

— А то, Наташа, что я больше не могу этого видѣть!..— почти крикнулъ онъ.—Ты на себя не похожа!.. Ты больна...

Онъ взялъ ея руки, но она отстранилась отъ него и неудержимо зарыдала. Онъ совсѣмъ перепугался.

— Наташа!.. Наташа!..—шепталъ онъ: — да успокойся-же! Господи, что съ тобою? Ахъ, это я все надѣлалъ!.. Ахъ, я несчастный!

Онъ самъ готовъ былъ плакать.

— Наташа, да не стою я этого—разлюби меня, я не стою...

Онъ не зналъ, что говоритъ. Она вдругъ остановила рыданія и съ исказившимся лицомъ проговорила:

— Оставь меня... умоляю тебя, оставь меня совсѣмъ, совсѣмъ...

Она снова зарыдала и ломая руки, въ приливѣ безнадежности, то хватаясь за него, то отстраняя его, говорила:

— Оставь меня... мы не можемъ быть вмѣстѣ... я не могу любить тебя, какъ жена должна любить мужа...

Онъ пугался все больше и больше. Ему начинало казаться, что Наташа сходитъ съ ума.

— Успокойся,—твердилъ онъ:—ты сама не знаешь, что говоришь... ради Бога забудь все и прости меня... Клянусь тебѣ... никогда больше не будетъ дурного... Ну, хорошо... сдѣлаемъ вотъ что: уѣдемъ, уѣдемъ куда-нибудь вдвоемъ за границу...

Пытка Наташи росла. Ей надо было сказать ему все и въ то-же время она чувствовала, что не въ силахъ сдѣлать этого... Какъ она скажетъ? Какъ произнесетъ дорогое, страшное имя? Нѣтъ, она не можетъ, не можетъ!..

— Отпусти меня... я уѣду къ дядѣ Ивану Петровичу въ Москву... отпусти меня!—ухватилась она за мелькнувшую мысль.

— Зачѣмъ?.. Вѣдь, я-же говорю... уѣдемъ за границу...

— Боже мой!—воскликнула она, заломивъ руки:—совсѣмъ не то... я не могу, отпусти, оставь меня!

— Не то?—тихо повторилъ онъ.

Онъ замолчалъ, отстранился и взглянулъ на нее странно блеснувшими глазами.

— Не то!.. Значитъ... можетъ быть, ты любишь кого-нибудь?

Въ его голосѣ что-то оборвалось.

Наташа молча опустила голову.

Онъ глядѣлъ на нее сначала съ изумленіемъ, онъ ждалъ ея отвѣта. Но она молчитъ, молчитъ...

Онъ то краснѣлъ, то блѣднѣлъ. Онъ схватилъ ея холодную руку. Она ее вырвала и зарыдала.

— О, Боже мой!..—разслышалъ онъ сквозь ея рыданія.

Онъ простоялъ нѣсколько мгновеній неподвижно, не говоря ни слова и только продолжая глядѣть на нее широко раскрытыми глазами. Потомъ схватился за голову и выбѣжалъ изъ спальни.

XVI.

Судья.

Еще ни разу въ жизни не находился Сергѣй въ такомъ положеніи, еще ни разу въ жизни у него не было такъ смутно и такъ мучительно на душѣ. Онъ зналъ, что такое значитъ горе. Послѣ смерти первой жены онъ испыталъ его. Но вѣдь, это было ясное, опредѣленное горе — умерла жена, близкая женщина, съ которой онъ провелъ нѣсколько лѣтъ. Онъ къ ней привыкъ. Ему очень часто, особенно послѣ кутежа и утомительныхъ приключеній, бывало съ нею хорошо и тихо...

Онъ никогда не думалъ, что лишится ея, что останется одинъ, что не будетъ уже вокругъ него всей этой привычной, душистой атмосферы кокетливой и хорошенькой женщины. Она умерла такъ внезапно, такъ быстро. Онъ былъ пораженъ, и естественно,—страдалъ, плакалъ и метался.

Но затѣмъ съ каждымъ днемъ горе забывалось и скоро отъ него не осталось и слѣда въ сердцѣ Сергѣя. Иной разъ вспоминалось объ этой утратѣ, маленькая какая-нибудь сцена изъ прошлаго наводила мгновенно какъ-будто-бы облачко грусти: но это облачко тотчасъ-же пропадало.

«Охо-хо! грѣхи наши тяжкіе!..» скажетъ, бывало, Сергѣй и этимъ любимымъ своимъ восклицаніемъ покончитъ и съ тоской, и съ воспоминаніями...

Тутъ-же совсѣмъ не то—никто не умеръ. А тоска такъ и давитъ и на душѣ такъ скверно, скверно, что хоть иди да и топись!..

Онъ никогда въ жизни не думалъ о нравственныхъ вопросахъ, о морали. Никто ни въ дѣтствѣ, ни потомъ не заставлялъ его задумываться надъ такими вопросами; никакая, наконецъ, книга не остановила на нихъ его мысли уже потому, что никогда онъ и не читалъ книгъ.

Правда, у него была одна книга, составлявшая исключеніе; эту книгу онъ любилъ, постоянно имѣлъ при себѣ и давнымъ давно выучилъ ее наизусть. Это было «Горе отъ ума». Почему онъ такъ любилъ эту книгу—онъ и самъ не зналъ; но нерѣдко въ минуты скуки декламировалъ Грибоѣдовскія строки — и это, очевидно, доставляло ему удовольствіе. Ему просто нравились эти звуки, эти риѳмы, эти «словечки». Но онъ даже никогда не задумывался надъ смысломъ «Горя отъ ума», надъ выведенными въ немъ лицами...

...Какъ поглядишь, да посравнишь

Вѣкъ нынѣшній, и вѣкъ минувшій...

съ глубокомысленнымъ видомъ декламируетъ онъ, хотя слова эти не имѣютъ никакого отношенія къ его мыслямъ, они просто приходятъ на умъ и только...

Когда передъ Сергѣемъ передавали различные скандалы и сплетни, судили и рядили о дѣлахъ ближнихъ, кричали о безнравственности такого-то или такой-то—онъ никогда не принималъ участія въ подобныхъ разговорахъ и если уже непремѣнно долженъ былъ сказать что-нибудь, то говорилъ:

«Какое-же кому до этого дѣло? И чего судить—вѣдь, никому ни жарко, ни холодно отъ этого суда!.. Такъ-ли оно было? А если и такъ — почему-же это безнравственно?.. Просто такъ вышло!..»

Онъ пожималъ плечами, ему становилось скучно и онъ уходилъ отъ этихъ перетолковъ и пересудовъ. Самъ онъ никогда никого не осуждалъ. Люди у него дѣлились на тѣхъ, съ которыми скучно, и тѣхъ, съ которыми не скучно. Были еще близкіе—братъ, дѣти, наконецъ, въ послѣдніе годы, Наташа. Съ ними не было ни скучно, ни весело, а хорошо. Хорошо, да и то не всегда, съ дѣтьми, напримѣръ, было всегда хорошо, когда они только не слишкомъ приставали. Но съ Наташей иногда дѣлалось жутко, съ нею нельзя было быть совсѣмъ на распашку, не стѣсняясь; точно также и съ братомъ Николаемъ.

При этомъ Сергѣй иной разъ заставалъ себя на томъ, что онъ почему-то очень жалѣетъ и Наташу и брата. Иногда это чувство жалости становилось настолько сильно, что онъ замѣчалъ его; онъ всегда очень изумлялся — чего-же ихъ жалѣть? Но онъ все-же жалѣлъ ихъ.

И вотъ теперь, вырвавшись изъ спальни и очутившись у себя, на своей любимой кушеткѣ, онъ, среди поднявшейся въ немъ бури, думая о женѣ, о томъ, что сейчасъ произошло, невольно думалъ и о братѣ. Онъ вдругъ замѣтилъ, что и прежде всегда думалъ о нихъ «вмѣстѣ». Онъ только теперь въ первый разъ почти совсѣмъ ясно понималъ свои отношенія къ брату и женѣ.

Они особенные люди. Они совсѣмъ, совсѣмъ не такіе оба, какъ онъ. Передъ нимъ мелькнули нѣкоторыя минуты его семейной жизни... Наташа, прекрасная, ласковая, но холодная, какая-то далекая, какъ-будто чужая... Ему стало ясно, что она дѣлалась для него ближе, понятнѣе и роднѣе только тогда, когда онъ глядѣлъ на нее не какъ на жену, а какъ на друга... Ему припомнилась вся его скука, всѣ глупости, которыя онъ дѣлалъ со времени своей второй женитьбы...

Ему представился братъ и онъ поразился, какъ это до сихъ поръ не замѣчалъ, что Николай и Наташа такъ подходятъ другъ

къ другу, что если ихъ трудно понять, такъ они-то ужъ навѣрно должны хорошо понимать другъ друга.

Онъ вдругъ вздрогнулъ всѣмъ тѣломъ и кровь ударила ему въ голову.

«Значитъ, что-же? Значитъ она... его, его любитъ!»

И ему стало ясно, что они, встрѣтясь и сблизившись, должны были непремѣнно такъ кончить, что иначе не могло быть. Онъ вспомнилъ первое время женитьбы брата, эти смѣшные уроки съ Мари, ея жалобы, его унынiе. До сихъ поръ онъ никогда не вглядывался въ братнину семейную жизнь, а теперь ему вспомнились многія сцены, многія обстоятельства—и онъ ясно понялъ, что братъ никогда не былъ счастливъ съ женою.

«Проклятая, проклятая судьба!..—почти громко крикнулъ онъ. Но что-же теперь дѣлать? Что-же такое будетъ? Какъ-же Мари? Что если она узнаетъ? А вдругъ она уже знаетъ? Вѣдь вотъ-же Наташа почти сама сказала мнѣ, можетъ быть и онъ сказалъ уже ей... Вотъ почему онъ уѣхалъ. Но, вѣдь, мы опять черезъ двѣ, три недѣли будемъ вмѣстѣ. Ну что-же?.. Ну, уѣзжать, или имъ, или намъ—все равно это ни къ чему не приведетъ... Вѣдь, вотъ она уже теперь такъ истомилась...»

Тутъ онъ представилъ ее себѣ такою, какой видѣлъ за нѣсколько минутъ передъ тѣмъ въ спальнѣ — потрясенной, плачущей. И новое, мучительное, ядовитое чувство охватило его. Никогда еще, ни разу въ жизни не испытывалъ онъ ничего подобнаго. Наташа вдругъ представилась ему какъ-бы въ новомъ свѣтѣ, онъ какъ-будто только теперь понялъ всю ея женственную прелесть, все, чего до сихъ поръ не замѣчалъ въ ней или, вѣрнѣе, чему не придавалъ значенія, на что глядѣлъ иными глазами. Наташа, чистая, возвышенная, почти всегда сдержанная, казавшаяся ему даже холодной, была отъ него далека. Онъ не могъ до нея возвыситься, а она не могла снизойти къ нему—и они не понимали другъ друга. Она, какъ прекрасная статуя или картина, иногда заставляла его любоваться собою, но не возбуждала въ немъ горячей страсти. Теперь-же это не она, не прежняя Наташа! Картина вышла изъ рамы, статуя сошла съ пьедестала и превратилась въ живую, слабую женщину, въ такую, какихъ онъ понималъ, какихъ онъ зналъ, какія возбуждали и могли возбудить въ немъ страсть. Она не святая, не недоступная, она сама поддалась страсти, показала свою слабость. И на этомъ далекомъ отъ него солнцѣ оказались пятна, да и еще какія!..

Наташа, его жена, нарушила долгъ свой! Если-бы еще недавно, еще вчера кто-нибудь сказалъ ему, что это возможно—онъ не повѣрилъ-бы и засмѣялся. Она—и нарушеніе долга!.. Она и

любитъ другого... Это было несовмѣстимо, эта была нелѣпость... Но теперь онъ не могъ сомнѣваться...

Въ немъ сразу поднялось неизвѣданное имъ чувство ревности и вмѣстѣ съ этимъ, также быстро и внезапно, поднялась страсть къ этой новой Наташѣ, земной, слабой и ему понятной. Когда она представлялась ему его достояніемъ, его собственностью, которая никуда и никогда не уйдетъ отъ него, онъ сознавалъ всю цѣнность этой собственности, но она ему была какъ-то ненужна, нечего было дорожить ею, беречь, охранять—и такъ не уйдетъ. А теперь она ускользаетъ, онъ теряетъ ее...

И вотъ она стала соблазнять его, какъ никогда еще не соблазняла ни одна женщина. И онъ, въ порывѣ своего новаго чувства, нашелъ въ себѣ даже такія мысли, о какихъ не имѣлъ до сихъ поръ понятія.

«Какъ-же смѣетъ!—говорилъ онъ себѣ.—Вѣдь, она моя жена... моя... я не отдамъ ее... она должна... должна любить меня и никого больше... А онъ-то, этотъ любимый братъ!.. Какая измѣна... Но, вѣдь, я не отдамъ ее... не отдамъ... она должна, должна любить меня!..»

Страсть и ревность охватывали его все сильнѣе и сильнѣе. Кажется, если-бы Николай очутился тутъ, передъ нимъ, онъ бы задушилъ его своими могучими руками. Онъ Николая ставилъ такъ-же высоко, какъ и Наташу, теперь Николай такъ же какъ и она, упалъ на землю. Но если земная Наташа возбуждала въ немъ страсть—Николай сдѣлался ему противенъ.

Въ то-же время ему безумно захотѣлось услышать изъ устъ Наташи окончательное признаніе. Почти себя непомня, онъ кинулся опять въ спальню, распахнулъ дверь—и остановился.

Наташа безъ движенія лежала на постели, вокругъ нея хлопотали горничныя, тутъ-же находился, совсѣмъ встревоженный, Борисъ Сергѣевичъ съ какой-то стклянкой въ рукахъ. Сергѣй стоялъ не шевелясь, безсмысленно глядя на все, что вокругъ него дѣлалось.

Прошло нѣсколько мгновеній. Наташа, наконецъ, глубоко вздохнула, открыла глаза, что-то прошептала. Борисъ Сергѣевичъ подошелъ къ Сергѣю и тихо сказалъ ему:

— Ее надо теперь оставить... прошу тебя—уйди, и я сейчасъ приду къ тебѣ...

Сергѣй, самъ не понимая что съ нимъ дѣлается, молча и послушно вышелъ изъ спальни.

Черезъ нѣсколько минутъ Борисъ Сергѣевичъ вошелъ въ кабинетъ племянника. Между тѣмъ порывъ бѣшенства и страсти успѣлъ ужъ какъ-то застыть въ сердцѣ Сергѣя. Этотъ нежданный, никогда неизвѣданный порывъ сразу утомилъ его и теперь

оставалась только глухая тоска и тяжелое бездумье. Все какъ-то заволокло туманомъ и Сергѣй только время отъ времени машинально повторялъ себѣ:

«Что-же такое будетъ?»

— Что она? Что съ нею?—выговорилъ онъ, поднимая глаза на входившаго дядю.

Борисъ Сергѣевичъ былъ блѣденъ и сильно взволнованъ. Онъ тяжело опустился въ кресло, не зная какъ заговорить и о чемъ говорить.

— Я случайно вошелъ къ Наташѣ и засталъ ее въ ужасномъ положеніи, почти въ истерическомъ припадкѣ,—да, вѣдь, ты ее такъ и оставилъ. Ну, а потомъ она потеряла сознаніе.

— Она вамъ ничего не сказала?

— Я знаю, что вы объяснились... чувствуя крайнюю тяжесть,—проговорилъ Борисъ Сергѣевичъ.—Ахъ, да что тутъ, я давно уже все понимаю...

— Давно?.. И вы молчали!—воскликнулъ Сергѣй.

Старикъ печально пожалъ плечами.

— Что-же было говорить? Теперь вотъ, какъ это ни невыносимо, а я долженъ спросить тебя—что ты намѣренъ дѣлать?

У Сергѣя снова кровь бросилась въ голову.

— Такъ вы знаете, что она, эта женщина, которую всѣ считали святою... меня опозорила?—глухимъ голосомъ прошепталъ онъ.

Борисъ Сергѣевичъ вздрогнулъ, глаза его блеснули.

— Остановись!—перебилъ онъ.—Я не судья между вами; но если ты ужъ такъ говоришь, то я спрошу тебя: а ты то развѣ былъ ей годнымъ мужемъ? Ты ее не позорилъ? Не позоришь ее и теперь ежечасно съ этой Лили?..

Сергѣй опустилъ голову и молчалъ.

— Но нѣтъ, говорить не о чемъ... не о чемъ!..—продолжалъ Борисъ Сергѣевичъ:—въ такихъ дѣлахъ нельзя говорить, нельзя осуждать... это несчастье, страшное несчастье... мнѣ жаль и ее, и тебя, и всѣхъ... но помочь тутъ никто не можетъ. Скажи мнѣ одно, что ты намѣренъ дѣлать?

Сергѣй поднялъ на него затуманившіеся, ничего не выражавшіе, глаза и мрачно выговорилъ:

— Ничего я не знаю, что буду дѣлать и прошу васъ объ одномъ: никогда не касайтесь этого...

Онъ опустилъ голову, закрылъ руками лицо и Борисъ Сергѣевичъ ничего больше не могъ отъ него добиться.

XVII.

Мари.

ло-по-молу приближалось время переѣзда семьи Горбато-
ъ Петербургъ. Дни шли за днями и въ огромномъ домѣ
ѣло видъ полнаго благополучія. Разразившаяся и бывшая
номъ разгарѣ гроза оставалась незримой для посторон-
згляда. Даже Наташа, послѣ объясненія съ мужемъ и по-
рего обморока, не разболѣлась; напротивъ, она теперь
ы набралась силъ, совсѣмъ совладѣла съ собою, казалась
ной и Володя уже не заставалъ маму Наташу съ крас-
отъ слезъ глазами. Она не избѣгала его, искала даже
ъ со своимъ милымъ, умнымъ и страннымъ мальчикомъ.
олѣе чѣмъ когда-либо стала интересоваться и остальными
, ихъ занятіями, присутствовала въ классной при урокахъ
уза, англичанки и Лили.

Борисомъ Сергѣевичемъ она встрѣчалась часто и бесѣдо-
подолгу. Но ни разу ни она, ни онъ даже и близко не
или въ своихъ разговорахъ къ тяжелой темѣ.

ргѣя почти не было видно въ домѣ, а возвращаясь онъ
лъ встрѣчъ съ женой и разговоровъ съ нею. Когда-же
жно приходилось сталкиваться—говорилъ сдержанно и не
на нее.

а его не узнавала. Онъ былъ какъ-то совсѣмъ другимъ
комъ. Что онъ думалъ, что рѣшилъ—она не знала и ста-
не задумываться надъ этимъ; вообще старалась какъ
меньше думать. Ея сердце ныло, ныло—и только. Но эти
ельныя столкновенія съ мужемъ для нея были все-же ме-
учительны, чѣмъ столкновенія съ Мари, которая между
повидимому, нисколько ея не избѣгала. Она только, какъ
ось Наташѣ, глядѣла на нее по новому, пристальнымъ,
испытующимъ, но не гнѣвнымъ, а скорѣе грустнымъ
омъ.

ргѣй очевидно искалъ и находилъ себѣ развлеченія внѣ
Наташа имѣла поддержку въ горячей привязанности Бо-
Сергѣевича; Катерина Михайловна ни въ комъ не нужда-
а Мари была совсѣмъ одинока. Между тѣмъ за это время
ережила многое, быть можетъ даже пережила больше и
чѣмъ другіе. Въ ея внутреннемъ мірѣ произошла неж-
и полная перемѣна, хотя она ее и не сознавала. Она
отгадала своимъ женскимъ чутьемъ роковую для нея
долго сомнѣвалась и колебалась, сама себѣ не вѣрила,

старалась отгонять отъ себя навязчивыя и страшныя мысли. Но когда, наконецъ, окончательно убѣдилась, то вдругъ будто проснулась отъ сна, будто вся переродилась.

До послѣдняго времени, какъ мы уже знаемъ, Мари удовлетворялась апатичной, полусонной жизнью, вызываемой ея темпераментомъ, ея лѣнивымъ, никогда еще какъ слѣдуетъ не пробужденнымъ умомъ. Она ничего не желала и не искала, находя, что все у нея есть. Правда, не было счастья, наслажденья жизнью; но она давно знала или, по крайней мѣрѣ, увѣряла себя, что такого счастья, такого наслажденья не бываетъ, что оно приходитъ только въ юности, на короткое время, а затѣмъ начинаются будни. Но вѣдь и будни,—не дурная вещь и она была ими довольна. Она никогда себя не анализировала и вообще о себѣ не думала и не знала, что въ ней таится. Еслибы ее спросили: любитъ-ли она, и какъ любитъ своего мужа—она отвѣтила-бы, что любитъ какъ только можетъ любить, и удивилась-бы такому вопросу.

Она не вглядывалась въ него, не изучала его и давно уже позабыла прежнія странныя его требованія, смѣшные уроки и тому подобное. Это были юныя фантазіи—и только. Теперь же юность прошла, наступилъ благоразумный, зрѣлый возрастъ. Конечно, онъ самъ, если и вспоминаетъ свои прежнія фантазіи, то смѣется надъ ними. Она даже не замѣчала, какъ мало-помалу, уже въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ, между ними разорвалась внутренняя связь. Если онъ былъ недоволенъ ею, то она была имъ довольна, она считала его лучшимъ человѣкомъ и никогда даже во снѣ не вздумала предпочесть ему кого-либо. А мысль, что онъ полюбитъ другую, что этотъ установившійся, спокойный, хотя и будничный строй жизни можетъ нарушиться—никогда не приходила ей въ голову. И вотъ все это перевернулось, налетѣла гроза. Мари замкнулась въ себѣ и въ первый разъ у нея открылись глаза на многія вещи, въ первый разъ она стала себя анализировать, и себя и его. Только теперь она съ ужасомъ замѣтила какъ много измѣнилась съ перваго года ихъ семейная жизнь, только теперь она поняла иногда прорывавшіяся у него фразы. Его раздраженіе, его холодность — все это она приписывала настроенію духа, дурному характеру, нервности. Теперь она видѣла, что это было совсѣмъ другое. Она пробовала было обсуждать—кто-же виноватъ; но не могла этого. Чего тутъ рѣшать—несчастье разразилось и ничѣмъ не поможешь! Это несчастье разбудило ея душу, ея сердце и, сама того не замѣчая, она была уже не прежняя Мари. Она была способна теперь любить Николая такъ, какъ онъ желалъ когда-то. Она чувствовала вмѣстѣ съ тѣмъ

безконечный приливъ нѣжности къ своему мальчику; однимъ словомъ, она уже не спала, а жила. Зачѣмъ только эта жизнь началась такъ поздно, когда можетъ дать только одни страданія...

Но тутъ сказалось въ ней—то, чего трудно было ожидать. Понявъ свое несчастье, она не вознегодовала, не озлобилась, она только почувствовала себя страшно одинокой и безпомощной, ей захотѣлось чьего либо участія. Но кругомъ нея не было никого. Вмѣстѣ съ этой безпомощностью, съ этой одинокостью въ ней пробудилось и другое чувство. Это чувство было то самолюбіе, которое не позволяетъ человѣку унижаться, которое заставляетъ его держать высоко голову, скрывать ото всѣхъ свою боль, свои раны. И Мари тутъ показала всю свою невѣдомо откуда взявшуюся большую силу. Она держала себя съ такимъ тактомъ, съ такимъ достоинствомъ и даже кротостью, что никто не могъ-бы заподозрить ея гнетущей тоски, ея тяжелаго горя. Никто не зналъ, что, оставаясь одна, въ ночной тишинѣ, она уже не спала прежнимъ безмятежнымъ сномъ. Теперь нерѣдко сонъ этотъ прерывался и въ уединеніи спальни лились тихія слезы.

Она терпѣливо дожидалась переѣзда въ Петербургъ. Передъ нею не было никакой надежды; но въ Петербургѣ находилось единственное близкое ей существо, которому она могла повѣрить свое горе.

Наконецъ, день отъѣзда наступилъ. Къ огромному крыльцу дома стали подъѣзжать великолѣпные Ноевы ковчеги, то есть гигантскія кареты, запряженныя шестериками, кареты, въ которыхъ можно было не только обѣдать, пить чай, играть въ карты, но и спать самымъ удобнымъ образомъ. Да такъ обыкновенно и дѣлалось: на ночь эти кареты превращались въ кровати.

Вся семья размѣстилась. Дѣти торжествовали. Эти долгіе переѣзды, со всѣми дорожными маленькими приключеніями, со смѣной впечатлѣній, были для нихъ настоящимъ праздникомъ и долго потомъ вспоминались какъ волшебные сны.

И особенно дороги были эти переѣзды Володѣ. Горячее воображеніе его работало неустанно, нервная впечатлительность все воспринимала съ удвоенной силой. Онъ жилъ во время этихъ переѣздовъ лихорадочной жизнью.

Вотъ Горбатовы въ Петербургѣ.

Мари, хоть и очень утомленная дорогой, даже не захотѣла отдыхать. Она обыкновенно послѣ такого переѣзда отдыхала нѣсколько дней и долго жаловалась на усталость.

Теперь-же она, ни на что не обращая вниманія, не прикоснувшись къ своимъ вещамъ, приказала заложить экипажъ и поѣхала къ теткѣ своей, старой графинѣ Натасовой.

Старушка Натасова жила на Сергіевской, въ своемъ небольшомъ, но прекрасно, совсѣмъ по старинному устроенномъ домѣ. Она вела все ту-же однообразную, привычную ей жизнь, посѣщала знакомыхъ, показывалась, украшенная старинными бриллiантами, на оффиціальныхъ балахъ и раутахъ, принимала у себя разъ въ недѣлю избранный кружокъ, однимъ словомъ, поддерживала старыя связи и отношенія. Вліянія въ обществѣ она не имѣла, но петербургскій «beau monde» признавалъ ее «своею» по всѣмъ правамъ и никогда не отказывалъ ей въ знакахъ внѣшняго почтенія.

Это была пріятная старушка, образецъ благообразія и благопристойности. Она держала себя съ большимъ тактомъ, не позволяла себѣ лишняго слова, была большого мнѣнія о своемъ умѣ и о своихъ нравственныхъ качествахъ. Не выйдя замужъ и испытавъ въ молодости безнадежную любовь, она мало-по-малу примирилась со своимъ положеніемъ старой дѣвы и носила его съ достоинствомъ.

Племянницу свою, Мари, она искренно любила и считала ея счастіе дѣломъ рукъ своихъ, а что Мари была счастлива—въ этомъ она не сомнѣвалась. Она видѣла ее окруженною блескомъ и роскошью; при этомъ у нея красивый, умный мужъ, носящій знаменитое имя... Положимъ, онъ не дѣлаетъ особенной карьеры, но онъ еще молодъ, неизвѣстно чѣмъ еще кончитъ, да и наконецъ не всѣмъ-же быть министрами и посланниками... Гриша здоровый, хорошенькій мальчикъ. Этотъ Гриша ея крестникъ и будетъ ея наслѣдникомъ. Сама Мари такая полная, такая здоровая, никогда ни на что не жалуется, съ нею ласкова попрежнему—какого-же еще счастья надо!..

И вдругъ Мари явилась передъ нею съ утомленнымъ видомъ, поблѣднѣвшая, какъ-то особенно порывисто, необычно бросилась къ ней въ объятья и заплакала.

Мари плачетъ—это не даромъ, она не изъ слезливыхъ! не отъ радости-же свиданія плачетъ,—прежде и на болѣе долгое время разставались, а она никогда вѣдь не плакала...

Старушка крѣпко расцѣловала племянницу и тревожнымъ тономъ стала ее спрашивать, что съ нею такое.

— Я къ вамъ, тетя, прямо съ дороги,—начала Мари, удерживая слезы,—вотъ, какъ видите, и умыться хорошенько не успѣла, не успѣла оглядѣться... Мужа не видѣла... его не было дома, когда мы пріѣхали... А между тѣмъ онъ могъ-бы быть дома, могъ-бы насъ встрѣтить...

— Такъ ты изъ-за этого плачешь? — изумленно спросила старушка, — Богъ съ тобой, точно институтка! Вернись домой и увидишь, что мужъ тебя дожидается. Мало-ли что

его могло заставить выѣхать... какое-нибудь спѣшное дѣло по службѣ...

— Ахъ, не то, совсѣмъ не то!..—проговорила Мари.—Скажите, тетя, давно вы его видѣли?

— На-днях* какъ-то заѣзжалъ...

— И вы ничего не замѣтили?

Графиня задумалась.

— Какъ сказать,—ничего особеннаго...

— Да вы прямо, прямо мнѣ говорите, не скрывайте, отъ меня, сами увидите, какъ это важно!

— Да, ну вотъ видишь-ли, онъ мнѣ все время казался какимъ-то страннымъ, разсѣянный, усталый такой... Богъ его знаетъ, я даже, признаться, и ждала тебя, чтобы поговорить съ тобой о немъ. Мнѣ кажется, онъ нездоровъ...

— Ну вотъ видите, сами видите!

— Да что я вижу? Я еще ничего не вижу и нечего тебѣ пугаться. Если нездоровъ, усталъ отъ занятій, такъ надо ему полѣчиться, отпускъ взять что-ли, проѣхаться за границу. Скажи, пожалуйста, чего это онъ такъ рано изъ Горбатовскаго уѣхалъ?

— Отчего уѣхалъ? Тетя, я запру двери, мнѣ надо поговорить съ вами, только чтобы никто не слышалъ...

— Кому-же тутъ слышать. Да если хочешь, я прикажу никого не принимать...

Она дернула сонетку, отдала приказаніе явившемуся лакею и потомъ заперла дверь.

— Ты меня пугаешь, мой ангелъ,—что у васъ такое? Ума не могу приложить.

Мари кинулась къ ней,—охватила ея шею руками и снова заплакала.

— А то, тетя, что я очень, очень несчастна...

У нея снова брызнули слезы и она не могла продолжать.

— Голубчикъ мой, да что такое?—повторяла графиня уже, начавшая не на шутку тревожиться.

— Мужъ разлюбилъ меня...

Мари быстро вытерла слезы, сдѣлалась вдругъ даже какъ будто спокойной и тихимъ, но твердымъ голосомъ сказала теткѣ въ чемъ дѣло.

Графиня отшатнулась и широко раскрыла глаза.

— Что ты? что ты? Христосъ съ тобою! — замахала она руками.—Что ты вздоръ какой говоришь,—какъ тебѣ не стыдно, одумайся, Мари, вѣдь, ты благоразумная женщина—не ребенокъ, не дѣвочка!.. Помилуй, мой ангелъ, я и слышать-то этого не хочу... Какъ это можно!.. И стыдно, твой Николай не такой че-

ловѣкъ... пригрезилось тебѣ, да и удивляюсь я, какъ и пригрезиться-то такое могло!..

Мари печально усмѣхнулась.

— Вотъ вы не вѣрите, тетя, да и никто, конечно, не повѣритъ, а это правда, я не фантазирую нисколько, къ несчастью моему, и мало того, что онъ влюбленъ въ Наташу, да и она тоже... И что такое между ними—я не знаю. Но что они по крайней мѣрѣ объяснились—въ этомъ я увѣрена, увѣрена... это навѣрно!..

Графиня придти въ себя не могла, ушамъ своимъ не вѣрила. Не сошла-же вѣдь съ ума Мари и совсѣмъ не такая она фантазерка, и говоритъ такъ увѣренно, даже почти спокойно.

— Мари, если это такъ, такъ этой такой ужасъ, какой и въ бреду горячечномъ не превидится!.. Вѣдь, это позоръ... и въ такой семьѣ!.. Да и твоя belle soeur... можетъ-ли она быть такою?

— Ахъ, тетя, тетя!—прошептала Мари.—Что тутъ говорить о позорѣ... тутъ не позоръ, а несчастье... и навѣкъ... и непоправимо!..

Она безнадежно опустила голову.

Между тѣмъ графиня никакъ еще не могла въ себя прійти и ей все невѣрилось.

— Ахъ, какъ ты меня сразила! Ахъ, какъ сразила! Да нѣтъ, Мари,—голубушка ты моя, что-нибудь можетъ такое и мелькнуло, да и пропало... А ты изъ ревности и Богъ знаетъ, что себѣ представила!

Мари пожала плечами.

— Не было у меня никогда ревности и откуда-бы она взялась, а ужъ особенно къ ней—къ ней!.. Вѣдь развѣ я могла себѣ представить это? Слушайте, тетя, я вамъ все разскажу—и судите сами.

Она передала ей всѣ свои наблюденія, всѣ свои мысли.

Графиня слушала ее внимательно и въ концѣ концовъ должна была сознаться, что Мари не фантазируетъ, что дѣло во всякомъ случаѣ серьезно.

— Что-же теперь ты думаешь дѣлать? Вѣдь, нельзя это допустить!—вдругъ сказала она.

Мари взглянула на нее съ изумленіемъ.

— Какъ нельзя допустить?.. Тетя, да развѣ вы не видите, что всему конецъ... конецъ?

Голосъ ея дрогнулъ.

— Что ты, что ты! — воскликнула, порывисто подымаясь съ кресла, старушка:—какъ можно!.. Богъ дастъ—все еще поправимо... и хоть, конечно, я вижу теперь, что ты имѣешь основа-

ніе предполагать и страшиться, но это все надо разобрать... Знаешь что, Мари, рѣшила она, наконецъ, — я приглашу Николая къ себѣ и переговорю съ нимъ. Онъ до сихъ поръ выказывалъ мнѣ уваженіе и, наконецъ, надо же намъ знать, что онъ скажетъ, если говорить съ нимъ рѣшительно, — а я буду рѣшительна. Я добьюсь, я заставлю его сказать мнѣ всю правду.

Графиня заволновалась не на шутку, чего съ ней обыкновенно не случалось.

— Я не дамъ тебя въ обиду, мой ангелъ, не дамъ, будь увѣрена... нельзя этого... Нѣтъ, нѣтъ, онъ не уйдетъ отъ меня, не увернется... Боже мой, Боже мой! считала я его за хорошаго человѣка—и вдругъ такое!.. Вотъ ужъ правда, что не на кого нынче положиться... Люди то, люди какіе стали! Ахъ ты, Господи!.. Нѣтъ, моя дорогая, вотъ тебѣ рука моя—я этого такъ не оставлю...

Мари увидѣла, что тетка не ограничится словами.

«Но развѣ можно что-нибудь сдѣлать? Развѣ что-нибудь осталось? А вдругъ?...» подумала она и сердце ея сильно забилось.

Она уѣхала отъ старушки какъ-будто нѣсколько успокоенная. Она высказалась, нашла участіе, и при этомъ у нея мелькнула надежда. Она съ дѣтства привыкла считать тетку существомъ самымъ что ни на есть умнымъ и могущественнымъ.

«Что она захочетъ, то и сдѣлаетъ! Всегда такъ бывало», обыкновенно говорила она про графиню.

Эта дѣтская вѣра вернулась теперь, и Мари за нее ухватилась какъ за послѣднее спасеніе.

XVIII.

Не въ добрый часъ.

Графиня Натасова, говоря о себѣ, обыкновенно объявляла своимъ знакомымъ:

«Я, знаете, не люблю никакого шума, никакой спѣшки, но когда надо дѣйствовать — дѣйствую рѣшительно, и главное—не упуская минуты. Еще отъ дѣда слыхала, что Великій Петръ говорилъ: «Упущеніе времени смерти подобно». Такъ вотъ и я: въ важномъ дѣлѣ ни минуты, ни секунды не упущу!»

Теперь она доказала, что слова ея были не пустая похвальба, она, дѣйствительно, слѣдуетъ по стопамъ Преобразователя Россіи. Немедленно по отъѣздѣ племянницы она послала Николаю записку, въ которой самымъ убѣдительнымъ обра-

зомъ просила его «по наинужнѣйшему дѣлу» заѣхать къ ней вечеромъ.

«И пожалуйста сегодня, не завтра, а сегодня, очень, очень надобно, задержу не долго», писала она.

Посланному было приказано, если барина нѣтъ дома, непремѣнно дождаться его возвращенія и настоятельно просить отвѣта.

«Молъ графиня безъ отвѣта и возвращаться не приказали».

Николай догадался, что Мари была у тетки, и что приглашеніе это неспроста.

Онъ написалъ графинѣ, что желаніе ея будетъ исполнено и вечеромъ къ ней отправился.

Онъ даже радъ былъ куда-нибудь ѣхать, все равно куда, лишь бы не быть дома.

«Что-же это?—думалъ онъ.—Мари, онъ теперь зналъ это навѣрно, поняла все... но неужели она сказала теткѣ?..»

Сердце его ныло и въ то же время онъ чувствовалъ болѣзненное раздраженіе, какую-то безпредметную злобу. Онъ былъ расположенъ къ старой графинѣ, всегда съ нимъ ласковой. Она казалась ему благоразумной, она имѣла вліяніе на Мари. Но чѣмъ-же она теперь поможетъ?!..

Онъ ясно видѣлъ, что теперь настала пора разныхъ объясненій. Онъ видѣлъ это съ утра, хотя Мари не подала ему и виду. Она встрѣтилась съ нимъ какъ и всегда, только онъ все же замѣтилъ, что она слѣдила за каждымъ его словомъ, сказаннымъ Наташѣ.

Но слѣдить ей было незачѣмъ. Онъ и Наташа встрѣтились при всѣхъ и еслибы Сергѣй и Борисъ Сергѣевичъ ничего не знали, то уже, конечно, въ этотъ день не узнали бы ничего новаго.

И у Наташи и у Николая откуда-то взялась большая сила, большое спокойствіе. Они, очевидно, до чего-то додумались, пришли оба къ серьезнымъ рѣшеніямъ. И главное рѣшенія эти, хотя они и не сговаривались и хотя думали свои думы на разстояніи многихъ сотенъ верстъ другъ отъ друга, — были одинаковы. Они встрѣтились какъ близкіе друзья и родственники, безъ всякаго смущенія, прямо взглянули въ глаза другу другу и, казалось, вовсе не намѣрены были избѣгать встрѣчъ, какъ прежде.

Сергѣй, увидя брата, обнялъ его и поцѣловалъ; но Николай сразу почувствовалъ, что это не прежнее братское объятіе и для него уже не оставалось сомнѣнія въ томъ, что Сергѣй «все знаетъ». Онъ невольно опустилъ глаза и поблѣднѣлъ, отвѣчая на его привѣтствіе...

Весь день, и вотъ теперь, подъѣзжая къ дому графини Ната-

совой, онъ испыталъ ощущенія преступника, окруженнаго сыщиками и знающго, что ему ужъ нѣтъ возможности скрыться, что ему предстоитъ допросъ.

Едва сдерживая въ себѣ бѣшенство, онъ думалъ или, вѣрнѣе, не думалъ, а чувствовалъ, что онъ никого не впуститъ въ свой внутренній міръ, въ свои муки, что эти муки—его, и онъ долженъ самъ бороться съ ними.

Пуще же всего въ немъ говорило сознаніе необходимости отстранять отъ всего этого Наташу, не допустить, чтобы ихъ общаго несчастія грубо касались холодныя, чужія руки. Вѣдь, онъ не можетъ объяснить правду этимъ судьямъ, такъ чтобы они ее поняли. Ложь возмущала его гордую природу; но онъ видѣлъ, что надо будетъ лгать, лгать и лгать. Ему становилось невыносимо и душно. Совсѣмъ измученный и озлобленный, вошелъ онъ къ старой графинѣ.

Она встрѣтила его какъ-то натянуто и онъ, конечно, замѣтилъ это...

— Пойдемъ, Nicolas, ко мнѣ,—таинственно сказала она.

«Ко мнѣ»—значило въ маленькую уютную комнату, куда обыкновенно она рѣдко даже кого изъ родственниковъ впускала и гдѣ рѣшались только самые серьезные вопросы.

Онъ молча послѣдовалъ за нею.

«Боже мой! эти подготовленія, эти подходы!» раздражительно думалъ онъ.

Но она на этотъ разъ, проникнутая все тѣмъ-же убѣжденіемъ, что упущеніе времени смерти подобно, ни къ какимъ подходамъ не обратилась, а начала съ самой сути.

— Была у меня сегодня несчастная Мари,—сказала она строгимъ голосомъ.

— Несчастная Мари!—уныло повторилъ онъ—и тоска и страданіе изобразились на лицѣ его. — Если вы ее такъ называете, значитъ, вѣрно она сказала вамъ, что я причиной ея несчастія... Но, ma tante, вы сами не разъ говорили, что трудно быть судьей между мужемъ и женою...

— Да, да!..—протянула она обдавая его своимъ пристальнымъ и загорѣвшимся взглядомъ:—между мужемъ и женою судить трудно, и не слѣдуетъ, да, это я сама всегда говорила... но до извѣстной степени, Nicolas!..

— Она будто спохватилась и добавила:

До извѣстной степени, Николай Владиміровичъ...

Но онъ не замѣтилъ этого. Блѣдное лицо его какъ-бы совсѣмъ застыло. Онъ изо всѣхъ силъ старался казаться спокойнымъ и только нервная дрожь, пробѣгавшая по его тѣлу, выдавала его волненіе. Онъ проговорилъ глухимъ голосомъ:

— Вы звали меня и вотъ я у васъ... но мнѣ кажется, что это напрасно. Намъ лучше было бы не объясняться... право, это безполезно.

Графиня вспыхнула.

— Не напрасно и не безполезно!—рѣзко сказала она,—я не могу такъ этого оставить... Вы забываете, что Мари мнѣ племянница, самая близкая родня, что я ее воспитывала...

— Но мнѣ, вѣдь, Мари—жена... не забудьте и вы этого...

— Нѣтъ, я этого не забываю, а вотъ вы такъ точно забыли... да, забыли, въ этомъ все и дѣло! Я почитала васъ примѣрнымъ мужемъ и радовалась на счастье ваше съ Мари...

— Никогда не было этого счастья!—невольно, почти безсознательно прошепталъ онъ свою мысль.

Графиня всплеснула руками.

— А, такъ вотъ что вы сказали! Никогда не было счастья?.. Вы ею недовольны... вы ее не любите... такъ, вѣдь, объ этомъ, сударь, раньше нужно было думать. Васъ не обманомъ на ней женили, васъ никто не ловилъ... Вспомните, вы клялись мнѣ, да, клялись, что любите Мари пуще всего на свѣтѣ, что вѣкъ будете ей самымъ вѣрнымъ мужемъ!..

Николай пришелъ въ себя и грустно опустилъ голову.

— Да, это правда!—сказалъ онъ съ глубокимъ вздохомъ.

— То-то, что правда! Такъ за что-же вы ее измучили... за что вы ее обманываете?..

— Я еще разъ просилъ-бы васъ прекратить этотъ разговоръ,—сказалъ Николай.—Если Мари пришла къ какому-нибудь рѣшенію, пусть она сама скажетъ мнѣ—и я постараюсь исполнить ея волю... Я же, съ своей стороны, ни въ чемъ, ни въ чемъ не виню ее...

Графиня была такъ взволнована, что не обратила вниманія на смыслъ этихъ словъ.

— Еще-бы ты винилъ ее!—вдругъ забывая и «вы» и «Николай Владиміровичъ», воскликнула она.—Тебѣ то ужъ, батюшка, винить ее совсѣмъ не въ чемъ! Такой жены поискать во всемъ свѣтѣ—не найдешь. Да на нее только удивляться надо—молода, хороша, а живетъ будто монахиня, объ удовольствіяхъ и не думаетъ, вся въ тебѣ, да въ сынѣ. Въ чемъ-же тебѣ обвинять ее?

Николай самъ не замѣтилъ, какъ горько усмѣхнулся при этихъ словахъ. Но замѣтила это графиня и вспыхнула.

— Что за мефистофельскія усмѣшки? Да гдѣ-же это глаза мои были?.. Вѣдь, я все тебя за добраго и хорошаго человѣка считала, и только теперь вотъ, сегодня, сейчасъ, вижу каковъ ты!..

Николай начиналъ терять послѣднее терпѣніе. Его нервы натягивались невыносимо.

— Я никогда не увѣрялъ васъ, что я добрый и хорошій человѣкъ,—проговорилъ онъ.—Пожалуйста, скажите мнѣ, въ чемъ же, наконецъ, дѣло, въ чемъ мое преступленіе?

— Сейчасъ, сейчасъ и скажу, — опять вспыхнула графиня и даже привскочила съ низенькаго маленькаго диванчика, на которомъ сидѣла:—сейчасъ и скажу. Вы не только охладѣли къ женѣ, не только разлюбили ее, но вы допустили въ себѣ преступное чувство...

Лицо его потемнѣло, брови сдвинулись.

— Я знаю все,—продолжала она:—и не одна я, не одна Мари, а весь свѣтъ скоро узнаетъ, весь свѣтъ будетъ говорить объ этомъ!..

«Наташа... бѣдная Наташа!..» мелькнуло у него въ головѣ и онъ почувствовалъ, что готовъ задушить своими руками всякаго, кто осмѣлится ее оскорбить; но, вѣдь, вотъ ее уже оскорбляютъ!.. Ее оскорбляютъ, а онъ долженъ молчать!.. Да долженъ ли? Вѣдь, его молчаніе будетъ истолковано какъ признаніе... въ чемъ? Въ чемъ признаніе? Не въ ихъ общемъ несчастіи, не въ чувствѣ, которое выросло и созрѣло помимо ихъ воли, долго незамѣчаемое, неподозрѣваемое ими и теперь навсегда отравившее ихъ жизнь, а въ чемъ-то другомъ, въ чемъ ни онъ, ни Наташа, при теперешнихъ обстоятельствахъ, не могутъ быть виновны... Все исказится, все приметъ грязную форму... Нѣтъ, онъ не можетъ, не долженъ молчать, не долженъ—ради Наташи!..

Его раздраженіе вдругъ стихло. Онъ взглянулъ на графиню почти умоляющимъ взглядомъ.

Она не зла, быть можетъ она пойметъ...

— Если будутъ что говорить — будутъ клеветать! — сказалъ онъ.

— Будто бы!—протянула графиня, и отъ тона этихъ словъ, насмѣшливаго и презрительнаго, кровь снова бросилась ему въ голову.

Не будучи въ силахъ владѣть собою—онъ всталъ и пошелъ къ двери.

Но графиня его удержала. Она замѣтила, что сдѣлала ошибку, что только раздражила его и ничего не добилась.

Она заговорила совсѣмъ инымъ тономъ:

— Успокойтесь, Nicolas, ну извините, я погорячилась, можетъ быть, что-нибудь сказала не такъ... Но пойми,—вѣдь, дороже, ближе Мари у меня никого нѣтъ. Я не могу быть хладнокровна, когда дѣло касается ея счастья... Ну, успокойся же, извини. Поговоримъ спокойно.

— Если вы меня позвали, чтобы оскорблять, то я вамъ скажу: это недостойно васъ...

— Я не хочу оскорблять тебя... Послушай, вѣдь, ты знаешь— я тебя полюбила какъ родного. Я всегда соединяла тебя въ моихъ мысляхъ и въ моемъ сердцѣ съ Мари. Я всегда вѣрила, что ты истинно благородный человѣкъ. Скажи же мнѣ прямо, дай мнѣ честное слово, что у тебя нѣтъ ничего съ Nathalie... что ваши отношенія, просто дружескія, родственныя отношнія... Дай мнѣ честное слово—и я тебѣ повѣрю.

Она взяла и крѣпко сжала его руку и ловила его взглядъ. И она увидѣла, какъ онъ поблѣднѣлъ, какъ жестокое страданіе изобразилось на лицѣ его.

Нѣсколько секундъ онъ не могъ выговорить ни слова, наконецъ, произнесъ:

— Между мною и Nathalie нѣтъ и не можетъ быть ничего такого, за что намъ пришлось бы краснѣть. Nathalie... да, вѣдь, вы ее знаете... она неспособна ни на что дурное и Мари можетъ быть совершенно спокойна. Вы, наконецъ, сами должны понять, что то, въ чемъ вы теперь рѣшились меня подозрѣвать,—немыслимо... невозможно... и въ этомъ я вамъ даю честное слово...

— Хорошо, я тебѣ вѣрю,—сказала графиня:—но, вѣдь, не могла же Мари все это выдумать, вѣдь. есть что-нибудь?

У него опять затуманилась голова, опять тоска подступала къ сердцу и онъ горячо проговорилъ:

— Вы непремѣнно хотите заглянуть въ мою душу! вы въ ней найдете мучительное, невольное чувство—и больше ничего...

Графиня всей душой оскорбилась за племянницу.

— Ну, мой милый, это попросту значитъ, что жена надоѣла, не подходитъ,.. а вотъ другая—подходитъ... Мари бѣдная была и хороша, и мила, и прелестна... теперь она сдѣлалась никуда негодной, теперь другая стала и мила, и прелестна!..

— Да, конечно, если бы мнѣ досталась такая жена, я былъ бы самымъ счастливымъ человѣкомъ... Но она мнѣ не жена, а сестра и останется навсегда сестрою.

У графини опустились руки.

— А что-же будетъ дальше?—спросила она.

— Не знаю... ничего не будетъ... все то-же...

Въ его голосѣ она разслышала столько безнадежности, столько муки, что не будь дѣло въ Мари, она навѣрное его пожалѣла-бы. Но теперь у нея не могло быть жалости къ Николаю.

— Я больше ничего не могу сказать вамъ, а то, что сказалъ, могу повторить передъ всѣми... Я думалъ, что въ мою внутреннюю жизнь никто не вмѣшается... я думалъ самъ, на-

единѣ съ собою, пережить ее, никого не оскорбляя... Вы заставили меня говорить—и я скажу вамъ все. Очень серьзныя дѣла удерживаютъ меня на нѣкоторое время въ Петербургѣ... закончивъ ихъ—я думалъ уѣхать на нѣкоторое время, конечно, одинъ... Я можетъ быть вернулся-бы, побѣдивъ себя... Вы и Мари, очевидно, желаете иного, хоть я собственно не понимаю, чего вы желаете; я чувствую, что такъ будетъ хуже... Извините, я не могу больше говорить!—прибавилъ онъ.

У него мутилось передъ глазами.

Онъ поспѣшно простился съ графиней и вышелъ, даже не слыша того, что она ему говорила.

Оставшись одна, она крѣпко задумалась.

«Вотъ какой онъ! вотъ какой онъ! — повторяла она про себя.—Кто бы могъ думать? А я была въ немъ такъ увѣрена... Теперь, вѣдь и меня обвинять станутъ—я устроила свадьбу... Да кто-же ихъ знаетъ—всѣ они таковы, всѣ! на кого положиться можно?»

«Надо полагать, что ничего нѣтъ... Онъ такъ сказалъ, далъ слово; но, вѣдь, довольно и того признанія, что онъ сдѣлалъ... вѣдь, самъ такъ и говоритъ: жена никуда негодна, въ ней несчастье, а жена брата прелестна, сокровище—и съ ней было-бы счастье! Господи! да чтожъ это такое?»

Графиня даже стукнула своимъ маленькимъ кулакомъ по столу.

Она не вспоминала, что давно, давно въ ея молодые годы, она полюбила, и кого-же?—женатаго человѣка. Она былъ воспитана въ строгихъ правилахъ, знала себѣ цѣну и была горда. Никто не могъ ее никогда обвинить въ лишнемъ словѣ, въ лишнемъ жестѣ. Какъ-же могло съ ней случиться такое она не знала, знала только что любитъ со всею силою, на какую была способна.

Эта любовь принесла ей много горя; въ нѣсколько мѣсяцевъ она такъ вообще измѣнилась, что родные стали бояться за нее. Но она рѣшилась побѣдить свое сердце, она уже начала, мало-по-малу, находить утѣшеніе въ сознаніи исполненнаго долга...

И вдругъ она узнала, что ея тайна, которую она, казалось, такъ искустно ото всѣхъ скрывала, сдѣлалась городскою новостью. Она видѣла двусмысленные взгляды, слышала грубые намеки, наконецъ, убѣдилась, что на нее клевещутъ, что въ нее бросаютъ грязью. И кто-же бросалъ?! главнымъ образомъ тѣ, за которыми было много грѣховъ и много дѣйствительной грязи, прикрытой соблюденіемъ условныхъ приличій.

Въ ней поднялось негодованіе, и, вмѣстѣ съ этимъ, уже на-

чавшее было успокоиваться и замирать чувство вспыхнуло. Въ болѣзненномъ припадкѣ страсти и раздраженія она написала любимому человѣку, съ которымъ рѣшилась была никогда не встрѣчаться. Только благодаря случайности это письмо не попало ему въ руки, только случайность спасла ее отъ такого шага, который бы, вѣроятно, испортилъ всю жизнь ея...

Но графиня теперь не вспомнила ничего этого. Она рѣшила, что должна «заступиться» за Мари, думала, что надо кому-то открыть глаза» и что можно что-то «устроить».

Не откладывая, на слѣдующій-же день, она поѣхала къ Катеринѣ Михайловнѣ.

XIX.

Еще новый взглядъ.

Катерина Михайловна выслушала графиню съ большимъ вниманіемъ, но только вовсе не показалась ей возмущенной.

Графиня думала, что, открывая глаза «матери», она приведетъ ее въ ужасъ и отчаяніе, а потому даже всячески старалась ее «подготовить» и вообще говорила осторожно.

Спокойствіе Катерины Михайловны ее просто сразило.

— Вы такъ принимаете, chère amie, какъ-будто я вамъ разсказала какую-нибудь свѣтскую сплетню.

— Такъ оно почти и есть!—отвѣтила Катерина Михайловна.— Мари все это пригрезилось.

Она хотѣла сказать, что пригрезилось это Мари отъ зависти къ Наташѣ, но удержалась и только прибавила:

— Да, пригрезилось отъ ревности!

Тогда графиня, приберегавшая къ концу главное доказательство, передала ей слово въ слово весь свой разгоръ съ Николаемъ и, надо ей отдать справедливость, передала искустно, со всѣми оттѣнками.

Катерина Михайловна стала серьезна.

— Что-же вы послѣ этого скажете? Вѣдь, я не увѣряю, что между ними есть что-нибудь такое. Пока Богъ милостивъ—и я вѣрю честному слову вашего сына. Только, вѣдь, вы сами понимаете, какая это опасная игра...

— Да, да!—задумчиво проговорила Катерина Михайловна.— Вы мнѣ принесли дурную новость... и какъ-же это я ничего не замѣчала? Да, впрочемъ, и не могло мнѣ придти на умъ... А если подумать хорошенько, то теперь мнѣ объясняется многое, что казалось страннымъ... Да, да... они фантазеры, оба экзальтиру-

ются, только въ сущности намъ нечего уже такъ тревожиться... Мало-ли какой иногда вздоръ взбредетъ въ голову? Вѣдь, это, какъ-бы то ни было, игра взрослыхъ дѣтей. Позабавятся, помучаются, да и перестанутъ.

— А какъ-же Мари? Вы о ней забываете!—воскликнула графиня.

Катерина Михайловна пожала плечами.

— Я николько не забываю о Мари,—сказала она:—и мнѣ отъ всего сердца жаль ее; но чѣмъ-же я могу тутъ помочь? Я даже не могу себѣ представить, какъ я могу вмѣшаться... ma foi... c'est une affaire... vous comprenez...

— Но вѣдь, вы точно такъ-же, какъ и я знаете, что такое нашъ свѣтъ... Вѣдь, если и нѣтъ ничего, такъ рады придумать все дурное, а ужъ если найдутъ основаніе... Ахъ, Боже мой, подумайте, подумайте только!..

Съ этого-бы и должна была начать графиня. Она, наконецъ, нашла чѣмъ растрогать Катерину Михайловну и сейчасъ-же замѣтила дѣйствіе своихъ словъ по тому, какъ собесѣдница ея внезапно измѣнилась въ лицѣ и испуганно на нее взглянула.

— Да вы развѣ что-нибудь уже слышали?—съ дрожью въ голосѣ спросила она.

— Пока ничего, но какое-нибудь лишнее слово, взглядъ—и люди, радующіеся бѣдѣ ближняго, довольны...

— Да, конечно... oui, certainement, vous avez raison!—говорила Катерина Михайловна.—Только что-же мнѣ дѣлат ?

— Употребите все свое вліяніе... вы мать...

— Хорошо, хорошо, я подумаю... благодарю васъ, что предупредили меня... и я васъ только прошу, графиня, ради самого Бога, никому ни однимъ словомъ не заикнитесь, будьте какъ можно осторожнѣе, je vous supplie!..

— Къ чему вы мнѣ это говорите?—обиженно отвѣтила графиня. — Я люблю Мари не на словахъ, а на дѣлѣ... я всѣ мои силы употреблю, чтобы все было шито и крыто. Внушите имъ какъ знаете, внушите чѣмъ все это можетъ кончиться, куда они идутъ... будьте справедливы и къ бѣдной Мари... Она-то тутъ уже ни при чемъ, ни въ чемъ не виновата...

Въ это время Катеринѣ Михайловнѣ доложили о пріѣздѣ кого-то, и разговоръ былъ прерванъ.

Проводивъ гостей и оставшись одна въ своихъ комнатахъ, Катерина Михайловна принялась обдумывать сообщенную ей новость и снова изумилась, какъ это, въ самомъ дѣлѣ, она до сихъ поръ ничего не замѣтила. А вѣдь, кажется, на подобныя дѣла у нея было тонкое чутье.

Она припоминала все и съ каждой минутой убѣждалась, что такъ оно и есть, что дѣло серьезное.

Теперь понятны, совсѣмъ понятны странности въ обращеніи Николая съ Наташей, и ея лѣтняя болѣзнь, и его внезапный отъѣздъ изъ Горбатовскаго...

«Такъ вотъ какое дѣло!» — качала головою Катерина Михайловна.

«Да, что-жъ, оно вѣдь и понятно!—вдругъ рѣшила она и даже, какъ ни странно это, не безъ нѣкотораго внутренняго довольства.—Да, понятно! У Николая вкусъ хорошій—и только. Самъ виноватъ—вольно-же было жениться въ двадцать лѣтъ... Конечно, какая она ему жена!.. Je le savais bien!.. Я была права, что не могла одобрить эту женитьбу, безъ меня было сдѣлано, а я бы не допустила... Я вотъ нашла Наташу—и обоимъ братьямъ она пришлась по вкусу!..»

Именно такъ и выразилась про себя Катерина Михайловна.

«Да, да, къ Николаю она больше подходитъ, они совсѣмъ пара. Оба идеальничаютъ, оба въ небесахъ витаютъ и все-же оба на землю спустятся, если до сихъ поръ и не спустились...»

«Но какъ-же это, какъ-же я все это проглядѣла? И по дѣломъ Мари, по дѣломъ! Да и чего она такъ волновалась?»

«А Сергѣй?»—вдругъ вспомнила она.

Но про Сергѣя она очень хорошо знала, что онъ легкомысленно относится ко всему и ко всѣмъ, что онъ постоянно обманываетъ Наташу. Она вотъ проглядѣла эту исторію, а шурымуры Сергѣя съ Лили замѣтила съ самаго начала и глядѣла на это сквозь пальцы.

Теперь она рѣшила, что Сергѣя жалѣть нечего, онъ совсѣмъ не такой человѣкъ. Если и замѣтитъ, если и замѣтилъ, то махнетъ рукой и навѣрно не станетъ подымать бури, найдетъ себѣ еще новое какое-нибудь развлеченіе—и только.

«Что-жъ, au fond—все это въ порядкѣ вещей!—наконецъ, окончательно рѣшила Катерина Михайловна.—Да и развѣ у насъ это только?..»

Она вспомнила все, чего навидалась и чего наслышалась въ жизни.

«И хуже того бываетъ, гораздо хуже, да съ рукъ сходитъ. Только что-же это они—помѣшались, что-ли? Какъ это могли быть такъ неосторожны, и какъ это Мари замѣтила?.. Даже на нее не похоже! Да, началось съ зависти, отъ зависти, видно, даже сонъ прошелъ. Однако, надо-же ихъ образумить, пусть дѣлаютъ что хотятъ, но чтобы не было скандала... Боже избави!.. теперь только этого и недоставало!..»

Катерина Михайловна горько вздохнула и перешла къ инымъ мыслямъ.

У нея было другое горе, другая тяжесть; съ этой тяжестью

раздѣлаться было гораздо труднѣе, она томила ее и тѣмъ болѣе томила, что приходилось скрываться ото всѣхъ.

Это горе, эта тяжесть—былъ графъ Щапскій. Онъ поймалъ ее, заперъ въ клѣтку, и теперь она въ его власти, теперь онъ играетъ съ нею, какъ котъ съ мышью, и доводитъ ее до отчаянія.

Какъ она вынесла тогда въ Горбатовскомъ, какъ побѣдила себя, какъ не заболѣла потомъ—она не понимала. Она отдала этому извергу всѣ деньги, какія у нея были, и онъ уѣхалъ.

Но вотъ теперь, въ первый-же день по пріѣздѣ въ Петербургъ, онъ уже прислалъ ей письмо и въ немъ напоминалъ объ ихъ условіи, и требовалъ, чтобы она въ теченіе недѣли приготовила по меньшей мѣрѣ пятьдесятъ тысячъ. Ровно черезъ недѣлю онъ ей еще разъ напомнитъ, и если она не доставитъ ему эти деньги безотлагательно, то онъ приметъ мѣры...

Она отлично знала, что онъ не шутитъ. Но не знала она, откуда взять эти деньги: ихъ не было, а если-бы и были, онѣ нужны, ужасно нужны для дома.

Конечно, Борисъ Сергѣевичъ можетъ помочь, на него вся надежда. Но что будетъ, если онъ узнаетъ о графѣ Щапскомъ? А, вѣдь, онъ можетъ узнать, легко можетъ узнать,—этотъ негодный старикъ. Степанъ видѣлъ Щапскаго въ Горбатовскомъ... можетъ быть, онъ уже донесъ Борису Сергѣевичу, а если не донесъ, то только выжидаетъ... Да и наконецъ, ну и этотъ разъ удастся, достанетъ она деньги, кинетъ ихъ въ пасть звѣрю, онъ проглотитъ, а затѣмъ, немного подождавъ, опять придетъ за подачкой... и такъ безъ конца, безъ конца!..

«Вотъ и спокойствіе на старости лѣтъ! Да вѣдь, это каторга, это адъ... вѣчно подъ ножемъ, вѣчно дрожать, ждать такого ужаса! И что это будетъ, если изверг вздумаетъ появиться здѣсь въ домѣ, въ присутствіи Бориса, что это будетъ такое?»

«Боже мой, да что-же я, изъ ума вонъ!.. Вѣдь, старуха Натасова говорила о томъ, что Борису все извѣстно относительно Наташи и Николая... Что-же это, какъ онъ глядитъ? Вѣдь, не можетъ-же онъ относиться къ дѣлу такъ, какъ я, съ его фанаберіями? А тутъ, если еще появится Щапскій, что это такое будетъ?»

Она опустила голову, безпомощно уронила руки и заплакала.

«Да, вѣдь, ты же сама все это подготовила!»—шепнулъ ей неясный голосъ. Но она въ него не вслушивалась, она почитала себя страдалицей, жертвой. «И развѣ за себя? За сына, вѣдь, за Николая, за него всѣ эти муки, а мнѣ что, хоть-бы умереть... да, умереть, право лучше, чѣмъ такая жизнь!..»

Въ первый разъ пришла ей мысль о смерти и не испугала ее...

XX.

Въ новый путь.

— Итакъ, Мишенька, это рѣшено: ты уѣзжаешь въ Петербургъ?

— Да, Капитолина Ивановна, уѣзжаю.

Они сидѣли вдвоемъ, въ вылощенной маленькой гостиной Капитолины Ивановны, на жесткой старинной мебели. Блѣдный свѣтъ ненастнаго осенняго дня озарялъ скромную комнату. Мелкій частый дождь заливалъ стекла.

Капитолина Ивановна сдвинула на самый кончикъ носа круглыя серебряныя очки, ея пальцы машинально перебирали спицы чулка, который она вязала. Она то и дѣло поглядывала на собесѣдника. Лицо ея было не весело.

— И когда-же ты ѣдешь?

— Да думаю на этой недѣлѣ. Что это вы, Капитолина Ивановна, говорите такъ, точно вамъ не нравится моя поѣздка?

— И не нравится. Чему тутъ нравиться?

Она пожевала своимъ беззубымъ ртомъ и пристально, пристально, какъ-то прищуривъ одинъ глазъ, взглянула на Михаила Ивановича. Не хорошъ казался онъ ей въ послѣднее время, совсѣмъ не хорошъ, хотя она и не могла съ точностью объяснить себѣ, что именно ей въ немъ не нравится. Повидимому, онъ поступилъ хорошо, именно такъ, какъ и слѣдовало въ его положеніи. Все обошлось у Бородиныхъ тихо и ни одна душа не могла ничего замѣтить. Онъ не только не измѣнился въ отношеніи Ивана Ѳедоровича и Марьи Семеновны, но сталъ къ нимъ еще ласковѣе, еще внимательнѣе, точно такъ-же, какъ и жена его.

Онъ продолжалъ свой всегдашній образъ жизни. О далекомъ прошломъ, о недавнихъ открытіяхъ не было и помину, онъ ни разу больше ни о чемъ не спросилъ ни своихъ стариковъ, ни Капитолину Ивановну.

«Все это такъ, все это прекрасно!»—думала она; но каждый разъ, встрѣчаясь съ Михаиломъ Ивановичемъ, она замѣчала въ немъ какую-то странность.

«Да, можетъ, это мнѣ чудится только?»—спрашивала она себя; но тотчасъ-же убѣждалась, что ей вовсе не чудится, что съ Мишенькой дѣйствительно произошла большая перемѣна, что онъ не тотъ, что прежде.

А въ чемъ эта перемѣна и нельзя сказать, не объяснишь словами. Наконецъ она рѣшила, что онъ задумалъ что-то и таитъ про себя. И вотъ онъ пришелъ къ ней и объявляетъ, что ѣдетъ въ Петербургъ.

— Да зачѣмъ собственно тебѣ понадобилась эта поѣздка? Не виляй ты передо мною... Потолкуемъ, разберемъ хорошенько. Или, можетъ, я стара ужъ очень стала, изъ ума выжила? Вѣдь, чай ты такъ обо мнѣ теперь думаешь?..

— Вы знаете, что я этого не думаю, Капитолина Ивановна. Нѣжничать я не умѣю, доказывать и расписывать вамъ какъ я васъ цѣню и почитаю—мнѣ нечего...

Она ласково кивнула ему головою.

— Ну и спасибо тебѣ, а въ такомъ разѣ и потолкуемъ по душѣ, можетъ, мой старый умишко и пригодится тебѣ, можетъ, что и ладное присовѣтую...

— Мнѣ нечего скрываться,—сказалъ Михаилъ Ивановичъ:— эту поѣздку мы рѣшили еще съ Борисомъ Сергѣевичемъ, и онъ вотъ опять письмомъ зоветъ меня въ Петербургъ, пишетъ, что присмотрѣлся и составилъ для меня кое-какой планъ...

— Э-эхъ!—протянула Капитолина Ивановна:—какой-же такой планъ?

— Подробно онъ ничего не пишетъ... Онъ желаетъ, чтобы я расширилъ свою дѣятельность, чтобы я, однимъ словомъ, устроился. Передъ отъѣздомъ своимъ онъ, такъ сказать, сдѣлалъ мнѣ не мало комплиментовъ, и увѣрилъ меня, что если я приложу старанія, то съ его поддержкой могу многаго добиться...

— Что-жъ онъ тебя въ министры, что-ли, прочитъ?

— Нѣтъ, не въ министры, Капитолина Ивановна,—мнѣ этого и не надо. Много теперь большихъ денежныхъ промышленныхъ дѣлъ, банки разные открываются, общества, желѣзныя дороги строятся.

— Охъ, ужъ мнѣ эти банки, чугунки, общества!—махнула рукой Капитолина Ивановна.—И безъ нихъ жили люди, безъ нихъ стояла Россія и первымъ государствомъ въ Европѣ сдѣлалась... и богатства довольно было всякаго...

Михаилъ Ивановичъ улыбнулся.

— Да, конечно, и безъ всего этого можно было обходиться... и недурно было, а устроются желѣзныя дороги, банки и общества, такъ Богъ дастъ будетъ гораздо лучше... богатство всеобщее увеличится, все, что теперь зарыто, какъ кладъ, что недоступно, что даромъ лежитъ въ землѣ—все выйдетъ наружу и плодъ принесетъ... Ужъ вы съ этимъ не спорьте, Капитолина Ивановна,—это такъ!

— Не вѣрю!—упрямо твердила она.—Не къ лучшему все идетъ, а къ худшему... Ну, я то, конечно, не увижу, а вы вотъ увидите... можетъ, еще когда-нибудь и вспомнишь мои слова: не къ лучшему, а къ худшему, такъ и знай... Да нечего слова даромъ тратить—ты упрямъ, тебя не переспоришь... Такъ, такъ... значитъ,

это жадность тебя, батюшка, одолѣла—наживаться хочешь...

— Вовсе не жадность, а что наживаться хочу, такъ въ этомъ нѣтъ ничего позорнаго. У меня дѣти, пусть имъ живется шире и лучше, чѣмъ намъ. Вы вотъ твердите: не въ деньгахъ счастье!.. Оно конечно—не въ нихъ счастье; но деньги—великая вещь, съ деньгами многое можно сдѣлать—горы сдвинуть можно съ мѣста, да и пользу принести не малую не себѣ одному, а и многимъ...

— Не о хлѣбѣ единомъ живъ будетъ человѣкъ!—со вздохомъ прошептала Капитолина Ивановна.

— И это правда, и знаю я, что вы эти слова говорите не такъ, какъ говорятъ ихъ обыкновенно. Знаю я о чемъ вы думаете...

— Да знаешь-ли, дружокъ, точно-ли знаешь?..

— Вы желали-бы мнѣ, Капитолина Ивановна, внутренняго, душевнаго довольства пуще всякаго богатства—такъ-ли?

— Такъ, такъ...

— Ну, и на это опять я вамъ скажу: что у меня есть, то не отнимется, а внутренняго довольства послѣ... послѣ этихъ открытій у меня быть не можетъ.

— Выбрось ты дурь эту изъ головы, забудь, скажи, что это сонъ и кончено!

— И хотѣлъ-бы, да не могу, это свыше меня, ломалъ себя всячески — ничего не выходитъ... Такъ вотъ и говорю я: внутренняго довольства, то-есть полнаго спокойствія мнѣ не дождаться, и нужно занять себя чѣмъ-нибудь, уйти во что-нибудь важное, большое, именно позаботиться о хлѣбѣ, а когда жизнь наполнится, когда придутъ удачи—и на душѣ лучше станетъ...

— Охъ, не совсѣмъ-то ты хорошо говоришь, Мишенька! Все это въ тебѣ суета твоя, гордость въ тебѣ, тщеславіе.

Онъ пожалъ плечами.

— Можетъ быть, и такъ! Я и не выставляю себя добродѣтельнымъ человѣкомъ, такимъ вотъ, какъ тотъ, о которомъ говорится въ прописяхъ, подаренныхъ мнѣ вами, когда я былъ маленькимъ мальчикомъ... Вѣрно это въ крови у меня...

Она все жевала беззубымъ ртомъ.

«Въ крови!—подумалось ей.—Охъ, ужъ мнѣ эта кровь! Вотъ и сказалась!..»

— А ну какъ тебя ждутъ неудачи? Расквитаешься со всѣмъ старымъ, занесешься въ мечтаніяхъ, а получишь—шишь, сядешь между двумя стульями, ни Богу свѣчка, ни чорту кочерга! Тогда что?. Что-жъ это тебѣ ворожея какая, гадалка, что-ли, судьбу-то твою открыла? Такъ ты пріѣдешь въ Петербургъ, повертишь пальцемъ—дождь на тебя золотой посыпется?

— Ни въ чемъ я не увѣренъ, и если-бъ мнѣ предстояло только повертѣть пальцемъ, такъ я, можетъ быть, и не сталъ-бы

начинать—этакъ скучно... Мнѣ предстоитъ большая работа, вѣрно и черезъ неудачи придется пройти—такъ, вѣдь, въ этомъ настоящая жизнь. А что чего-нибудь достигну, я—расчитываю на это! Вѣдь, вы сами знаете, что я почти съ дѣтскихъ еще лѣтъ имѣлъ двѣ склонности...

— Да, да, какъ-же, знаю!—перебила Капитолина Ивановна.— Либо старыя книжки да грамотки разбирать, либо разныя выкладки съ копѣйками дѣлать... Копѣшникъ ты, какъ есть копѣшникъ!

— Что-жъ, и тутъ, можетъ, опять кровь... только съ другой стороны,—пересиливъ себя, но все-же невольно покраснѣвъ, сказалъ Михаилъ Ивановичъ. — Однако, знаете-ли вы, что я тѣ пять тысячъ, которыя заработалъ семь лѣтъ тому назадъ, уже устроилъ, а много-ли тутъ, въ Москвѣ, безъ ростовщическихъ гадостей сдѣлать можно? Иду я теперь своей прямой дорогой...

— Ну, и иди, только знай, что я тебя не могу благословить на эту дорогу... Желать тебѣ всякой удачи, золотыхъ горъ— это я буду, и грѣшная молитва моя за тебя будетъ, а коли неладное что съ тобой приключится — попомни старуху: молъ напередъ говорила... Охъ, горе мнѣ съ тобою! Да и твоихъ жаль пуще всего, пуще всего ихъ жаль... Не слѣдъ-бы тебѣ, Мишенька, покидать ихъ на старость... А то, вѣдь, это что-же—комедію ты теперь съ ними ломаешь? Люблю, молъ, и почитаю, и ублажаю всячески,—а самъ въ лѣсъ смотритъ... Ну, пріѣдешь ты въ Петербургъ... надолго-ли ѣдешь-то? Со службой своей какъ ты здѣшней?

— Беру отпускъ трехмѣсячный, а потомъ видно будетъ...

— То-то,—видно будетъ! Не вернешься ты, сударь, застрянешь въ Петербургѣ... извѣстно—жену, дѣтей перетянешь, а старики останутся здѣсь горе горевать... Подумай, вѣдь, это что-жъ такое? Просто надо сказать: безбожіе!

Она закипятилась, даже кинула на столъ свое вязаніе и сняла очки. Онъ опустилъ глаза и задумался.

— Ну вотъ и договорились!—продолжала она.—Вотъ этого-то я и боялась! И стыдно тебѣ, сударь, стыдно! Ужъ хоть ругайся ты, распроругайся, правду сказать должна тебѣ... совсѣмъ стыдно!..

— Не стыдите заранѣе, Капитолина Ивановна, у меня и въ мысляхъ нѣтъ покидать папеньку и маменьку...

— Въ мысляхъ нѣтъ, а самъ дѣлаешь такую пакость.

— Я еще ровно ничего не дѣлаю... Если мнѣ придется остаться въ Петербургѣ, такъ я надѣюсь, что и они туда всѣ переѣдутъ...

— Ну такъ, такъ, такъ и ждала!.. Что-же, сударь ты мой, можетъ, и меня въ свои новозданныя хоромы приглашать станешь?! Да ужъ за одно кстати и Порфирія Яковлевича, и Анну Алексѣевну... такъ, что-ли?.

— Конечно, и это хорошо было-бы! Васъ мнѣ очень недоставать будетъ.

Капитолина Ивановна поднялась съ мѣста и побагровѣла.

— Дуракъ ты! вотъ что я тебѣ скажу!—крикнула она.

— Спасибо за ласковое слово.

— Да еще какой дуракъ-то—и на свѣтѣ такихъ мало! А подумалъ-ли ты о томъ, что коли стараго человѣка взять да пересадить въ новую землю, такъ онъ тутъ-же и пропадетъ, зачахнетъ! Да понимаешь-ли ты, что человѣку нужно умереть въ томъ воздухѣ, въ какомъ онъ всю жизнь жилъ, на своемъ пригрѣтомъ мѣстѣ, что стараго человѣка пожалѣть надо! Я не о себѣ говорю, меня изъ моего гнѣзда никакими калачами не выманишь... и не только для тебя, дурака, а и ни для кого на свѣтѣ я изъ домишка своего не двинусь... А попробуй—тронь отсюда отца съ матерью... ну и умрутъ они, умрутъ съ тоски по своемъ гнѣздѣ!

— Да развѣ гнѣздо въ вещахъ? Я думаю, что ихъ гнѣздо въ семьѣ, въ насъ да въ дѣтяхъ... и гдѣ будемъ мы, тамъ и ихъ гнѣздо будетъ.

— Эхъ ты! жилъ себѣ, жилъ, нельзя сказать, чтобъ ужъ очень мало времени—вонъ на вискѣ-то ужъ сѣдой волосъ пробиваться началъ,—а того сообразить не можешь, что каждый человѣкъ созданъ по-своему... Оно точно, есть такіе люди, непосѣды, цыгане такіе, что имъ всю жизнь съ мѣста на мѣсто перебираться ничего не стоитъ, а есть и другіе люди: возьми, переведи ихъ на другое мѣсто—и пропадутъ. Такъ ты долженъ знать, что отецъ твой и мать изъ этихъ вторыхъ людей будутъ... Всю-то жизнь на одномъ мѣстѣ прожили, обстроились, обзавелись; каждая, вѣдь, пылинка, что вокругъ нихъ, имъ знакома, годами знакома... И вдругъ ихъ лишить всего этого! Да Иванъ Ѳедоровичъ, бѣдный, безъ огородца своего, безъ теплички что станетъ дѣлать? Фу, нѣтъ, это такая пакость, что хоть и ждала я, боялась многаго, а все-же тебя почитала разумнѣе да добрѣе.

Михаилъ Ивановичъ ничего не возражалъ, да и возражать ему было нечего. Онъ очень хорошо понималъ и чувствовалъ, что Капитолина Ивановна права, что дѣйствительно Иванъ Ѳедоровичъ и Марья Семеновна немыслимы въ другой обстановкѣ, чѣмъ та, которая ихъ окружаетъ многіе годы.

Онъ долженъ былъ упрекнуть себя не то что въ глупости, а въ иномъ, чего ему бы не хотѣлось въ себѣ видѣть. Да, онъ думалъ только о себѣ, а объ нихъ, старикахъ своихъ, не подумалъ. Онъ не разъ говорилъ себѣ мысленно за это время, да и Надѣ своей говорилъ, что теперь его обязанность любить ихъ и беречь пуще глаза, а между тѣмъ задумалъ ихъ погибель.

Нѣсколько мгновеній продолжалось молчаніе, во время котораго Капитолина Ивановна, переваливаясь и отдуваясь, ходила взадъ и впередъ по комнатѣ и метала грозные взгляды на Михаила Ивановича.

Наконецъ онъ проговорилъ:

— Вы правы, какъ и всегда, Капитолина Ивановна,—я дуракъ, какъ вы говорите, и, можетъ быть, даже еще хуже... Большое спасибо вамъ за то, что на разумъ меня наставили. Теперь я ужъ больше не заикнусь о переѣздѣ папеньки и маменьки въ Петербургъ.

Капитолина Ивановна развела руками:

— Прекрасно! А самъ-то все-же ѣдешь?

— Ѣду!..

— Такъ, значитъ, изъ огня да въ полымя? Изъ одной ихъ погибели, да въ другую?

— Нѣтъ; Капитолина Ивановна, я еще ничего не знаю и не могу рѣшить; но обѣщаюсь вамъ, что все у насъ какъ было, такъ и останется по-старому... Ни Надя, ни дѣти не тронутся отсюда... и если мнѣ придется всю мою дѣятельность имѣть въ Петербургѣ... ну, что-же, я стану кочевымъ человѣкомъ, благо это теперь возможно, и въ каждый свободный день буду въ Москву возвращаться... Довольны вы?

— Вижу я, что теперь уже ты меня за дуру почитаешь, батюшка!.. Чего мнѣ быть довольной, чего ты мнѣ очки-то втираешь, чего глаза отводишь? Выдумалъ фортель—и думаетъ: все рѣшилъ! Знаемъ мы эти переѣзды... Ну, и станешь, какъ угорѣлый, метаться... На долго тебя хватитъ! Въ полгода разболѣешься, а то на проклятой чугункѣ шею тебѣ свернутъ.

Михаилъ Иванозичъ подошелъ къ ней и съ улыбкой сталъ цѣловать ее въ то время, какъ она отъ него отбивалась.

— Да не задобривай... нечего лизаться... видно, ничего путнаго отъ тебя не добиться!..

— А вы не пророчьте разныхъ ужасовъ. Чего каркать? Вы не ворона, въ тонъ ей говорилъ онъ.—Ну, слушайте Капитолина Ивановна, тамъ видно будетъ что и какъ, только знайте, что мое неизмѣнное рѣшеніе не покидать папеньку и маменьку и что теперь, когда мнѣ все ясно, я даю вамъ слово, слышите—даю слово, что все будетъ по-старому и ничего не измѣнится у насъ въ домѣ. А объ остальномъ говорить теперь рано...

Капитолина Ивановна видимо успокоилась, взяла его за руку и, проговоривъ: «пойдемъ-ка, пойдемъ!»—повела его въ спальню.

— Вотъ Богъ!.. вотъ образа!—сказала она, указывая ему на кіотъ.—Въ Бога-то ты вѣришь?

— Вы знаете, что вѣрю.

— Ну, такъ побожись, побожись мнѣ, что отъ своихъ словъ не отступишься.

Онъ перекрестился.

— Теперь вотъ поцѣлуемся!

Они крѣпко обнялись.

— Что-же ты—прямо домой ѣдешь?

— Домой.

— Такъ подвези меня.

— Отлично...

— Ну и ступай въ гостиную, пожди, а я приберусь немного.

Онъ вышелъ изъ спальни и, поджидая ее, серьезно задумался.

«Что-то будетъ? Все усложняется, все запутывается... Но прежде всего старики, прежде всего!.. А идти впередъ надо...»

Онъ зналъ, что пойдетъ и во что-бы ни стало достигнетъ цѣли.

XXI.

И такъ нельзя.

Николай сидѣлъ на своемъ обычномъ мѣстѣ въ библіотекѣ. Онъ отвѣтилъ на полученныя письма, проглядѣлъ газеты и журналы, принялся было за чтеніе только что вышедшей книги по интересовавшему его вопросу, но вдругъ оставилъ книгу, опустилъ голову и забылся. Онъ не могъ-бы сказать, гдѣ бродили его мысли, а когда онъ сталъ сознавать ихъ, то прежде всего задалъ себѣ вопросъ: чего онъ ждетъ, зачѣмъ онъ здѣсь, откуда это, вотъ сейчасъ, явилась какъ будто надежда, что жить можно?

Уѣхать—это не трудно... все бросить, выйти въ отставку... дальше... дальше куда-нибудь, на край свѣта... но что-же это за жизнь будетъ? И къ чему такая жизнь, если Наташи нѣтъ—не съ нимъ, не съ нимъ—онъ никогда, ни на секунду не посмѣлъ объ этомъ подумать,—а только близко, подъ однимъ кровомъ. Вѣдь, оттого, вѣрно, ипоказалось ему возможнымъ жить, что она тутъ-же. А если нѣтъ ея—нѣтъ и жизни!

Онъ закрылъ глаза. Наташа, какъ живая, была передъ нимъ и его охватило ощущеніе ея близости. Открылъ глаза—ея нѣтъ; но все ему говорило о ней въ этой библіотекѣ.

Вотъ тутъ одинъ разъ Наташа сидѣла, вернувшись изъ театра. Они вернулись вмѣстѣ. Она была въ черномъ бархатномъ платьѣ съ вырѣзаннымъ корсажемъ. Онъ въ первый разъ замѣтилъ всю силу ея красоты и прелести. Онъ подошелъ къ ней и она ему улыбнулась... И потомъ долго, долго она представлялась ему въ этомъ черномъ бархатномъ платьѣ, съ бѣлой, будто мраморной шеей, на

которой горѣло и переливалось, какъ крупныя росинки, бриллiантовое ожерелье. Долго преслѣдовала его ея улыбка.

Сколько часовъ они проводили здѣсь вмѣстѣ!

Онъ переносился въ близкое прошлое и вспоминалъ подробно, подробно всѣ бесѣды съ нею, повторялъ каждое ея слово...

Онъ ничего не хотѣлъ больше какъ только, чтобы вернулись эти бесѣды, эти тихія минуты. Но, вѣдь, теперь ничего этого не будетъ, прошлое не вернется... Теперь все испорчено...

«Умереть, покончить съ собою»—мелькнуло въ головѣ его.

Но мысль о самоуничтоженіи всегда была ему противна, въ ней всегда ему казалось что-то унизительное, недостойное. И затѣмъ, хоть и безсознательно, но вѣрно-же было еще жаль жизни, потому что какъ-бы то ни было, а жизнь въ немъ била ключемъ. И до сихъ поръ, до самаго послѣдняго времени, все казалось ему, что несмотря на всѣ разочарованія, несмотря на всю неудавшуюся семейную обстановку, впереди есть что-то, что пока все это только такъ себѣ, какое-то подготовленіе къ чему-то, а настоящее, къ чему служитъ все это подготовленіемъ, еще будетъ, еще настанетъ...

«Но такъ жить нельзя... нельзя!»—съ безнадежностью и отчаяніемъ, изъ глубины своего существа, рѣшилъ онъ.

Онъ чувствовалъ, что его нервы натянуты до послѣдней степени: малѣйшее обращенное къ нему теперь слово, малѣйшій стукъ потрясали его. Ему какъ будто недоставало воздуха, нечѣмъ было дышать и это было чисто даже физическое ощущеніе.

«Нельзя такъ жить!.. Уѣхать, скорѣе, какъ можно скорѣе. Но куда? Зачѣмъ?»

Дверь тихо скрипнула, вошла Наташа.

— Здравствуй, Николай!—тихо сказала она, протягивая ему руку, которую онъ пожалъ какъ-то особенно торопливо, будто боялся къ ней прикоснуться.—А я думала, что тебя нѣтъ дома... Я здѣсь еще въ первый разъ по пріѣздѣ... Что это—новыя книги? Вотъ за этимъ-то я и пришла сюда. Покажи, что такое...

Она присѣла къ столу, стала разбирать книги и въ то-же время поднимала по временамъ на Николая глаза, въ которыхъ онъ ничего не видѣлъ, кромѣ доброты и спокойствія.

Она стала говорить ему о Горбатовскомъ, разсказала ему о томъ, какое впечатлѣніе произвелъ на всѣхъ поступокъ дяди—вольная, данная имъ своимъ крестьянамъ, и надѣленіе ихъ землею.

— Представь себѣ, они сначала долго не хотѣли вѣрить, потомъ стало дѣлаться съ ними что-то странное, они какъ будто были недовольны, бабы такъ даже въ три ручья плакали... И чѣмъ-же кончилось?.. Въ послѣдніе дни то и дѣло являлись разные мужики съ просьбами и жалобами... Вотъ имъ такую-то землю

отрѣзываютъ, а они хотятъ другую... и все въ этомъ родѣ, однимъ словомъ, остались недовольны!.. Бѣдный дядя цѣлые дни съ ними возился...

— Такъ оно и должно быть,—сказалъ Николай.—И вотъ увидишь, что этимъ еще не кончится, дядѣ предстоитъ не мало непріятностей и разочарованій... А, впрочемъ, все-же хорошо, что онъ такъ сдѣлалъ...

— Конечно, хорошо!—подтвердила Наташа.

Затѣмъ она стала говорить о дѣтяхъ. Разсказывала много о Володѣ, объ его странностяхъ.

Потомъ они стали переходить съ предмета на предметъ и кончилось тѣмъ, что оба совсѣмъ оживились. Николаю уже не было тяжело дышать. Онъ уже не думалъ о томъ, что нельзя такъ жить, напротивъ, ему вдругъ стало тихо, хорошо и спокойно.

Они продолжали оживленно разговаривать, когда въ библіотеку вошла Мари.

Она приблизилась къ нимъ своей тихой, плавной походкой и, повидимому, спокойно проговорила:

— Николай, я тебя ищу по всему дому, maman приходила и просила позвать тебя... Она ждетъ тебя у себя въ спальнѣ...

— Хорошо, я иду!—сказалъ онъ.

Лицо его затуманилось, опять тоска сдавила его сердце, опять нехватало воздуху для дыханія. Онъ нервно вздрогнулъ, и вышелъ изъ комнаты.

Мари подошла къ столу и придвинула себѣ только что покинутое Николаемъ кресло.

Наташа подняла глаза, встрѣтилась съ ея пристальнымъ взглядомъ. Она уже узнала этотъ *новый* взглядъ Мари, тихій, грустный, невыносимый. Она уже не разъ терпѣла пытку подъ этимъ взглядомъ и теперь ей стало такъ тяжело и неловко, что она невольно проговорила:

— Какъ ты странно смотришь, Мари.

Мари печально усмѣхнулась.

— Не знаю, что ты находишь страннаго... я гляжу какъ всегда...

Но Наташа уже не могла остановиться. Каждый нервъ болѣзненно трепеталъ въ ней. Въ послѣднее время она не мало работала надъ собою, она, повидимому, рѣшила самые мучительные вопросы. Она знала, что уничтожить въ себѣ овладѣвшее ею чувство она не можетъ, потому что это не въ ея власти; но знала также, что никто и никогда больше, и прежде всего Николай, не замѣтятъ этого чувства. Она будетъ скрывать его ото всѣхъ и отъ себя самой... Въ чемъ-же упрекнуть ее? Въ невольныхъ мысляхъ, въ невольныхъ чувствахъ, невѣдомо откуда приходя-

щихъ? Но развѣ можно упрекнуть человѣка, если онъ борется съ этими мыслями и чувствами, если онъ не даетъ имъ бороть себя, если онѣ не отражаются въ его сознательныхъ поступкахъ?

Но вотъ Мари передъ нею, глядитъ ей въ глаза—и она не можетъ выносить этого взгляда, и чувствуетъ себя виновной, преступной, униженной...

И хоть онѣ обѣ молчатъ теперь, но она знаетъ, почему-то навѣрное знаетъ, что Мари сейчасъ заговоритъ... Что она скажетъ? что можетъ сказать она?..

Наташа вся похолодѣла, готовясь къ этому невѣдомому, но неизбѣжному слову Мари. Она ждала его, какъ рокового, смертельнаго удара. Ея предчувствіе оправдалось.

Мари уже поднялась съ кресла, уже собиралась выйти изъ библіотеки—и вдругъ вернулась и остановилась передъ Наташей. Ея губы дрогнули, изъ глазъ брызнули слезы и тихо, едва слышно, она прорыдала:

— Такъ зачѣмъ-же ты у меня отняла его?

— Какъ отняла?—растерянно крикнула Наташа, хватаясь за голову.—Какъ отняла? Мари... Боже мой! Да неужели я когда-нибудь могла думать объ этомъ? Развѣ я знаю, какъ все это сдѣлалось со мною?..

— Если-бы онъ ничего не замѣтилъ съ твоей стороны...—начала Мари, но рыданія душили ее и она не могла договорить.

Наташа безумно глядѣла на нее своими широко раскрытыми, померкнувшими глазами. И нѣсколько мгновеній стояли онѣ такъ другъ передъ другомъ, безъ словъ, безъ мыслей, съ однимъ давящимъ сознаніемъ своего безвыходнаго горя.

И что-же бы онѣ могли еще сказать? Онѣ, во всякомъ случаѣ, не въ силахъ были ни судить, ни понять другъ друга...

Мари первая очнулась. Она подавила рыданія, быстро вытерла глаза, будто стыдясь своей слабости, и, слабо махнувъ рукою, вышла изъ библіотеки.

Когда Николай вошелъ къ матери—она встрѣтила его даже гораздо нѣжнѣе, чѣмъ обыкновенно, и серьезнымъ тономъ передала ему о своемъ разговорѣ съ графиней Натасовой.

Онъ даже сначала не нашелъ въ себѣ силу отвѣтить ей что либо. Она продолжала:

— Понимаешь, мой другъ, что я должна была, несмотря на то, какъ все это мнѣ тяжело, предупредить тебя... Да и, наконецъ, если ты уже говорилъ съ графиней, можешь поговорить и со мною... Я только боюсь за васъ, но ничего не знаю, и совсѣмъ не хотѣла-бы въ это вмѣшиваться... это вовсе не мое дѣло... Я не разбираю—какія такія у Мари основанія... но согласись, Nic las, что ты прежде всего обязанъ ее успокоить...

Иначе чѣмъ-же это кончится? Что будутъ говорить? Если т
ни себя и никого изъ насъ не жалѣешь, такъ пожалѣй хо
Наташу... Вѣдь, главнымъ образомъ все это на нее обрушитс
— Господи!—простоналъ Николай:—что обрушится? Что
дутъ говорить? Неужели вы въ самомъ дѣлѣ думаете.?
— Я говорю тебѣ: я ничего не думаю и не хочу думать,
не дѣти и я вамъ не судья... но только я прошу тебя... я,
конецъ, тебя умоляю, ради всего — будьте осторожны. Я в
ничего не замѣтила, а замѣчаютъ другіе...
— Maman!—глухимъ голосомъ сказалъ Николай:—въ мо
обращеніи съ Наташей никто и никогда не могъ замѣтить
чего, кромѣ родственныхъ отношеній... Но теперь нечего г
рить объ этомъ. Я вижу, что мнѣ остается одно: уѣхать к
можно скорѣе... и я это сдѣлаю...
Катерина Михайловна испугалась. Уѣхать, значитъ, отста
и именно тогда, когда начинается блестящая карьера. Она
знала объ успѣхахъ Николая и еще не далѣе, какъ накану
одна изъ ея свѣтскихъ пріятельницъ поздравляла ее и сул
Николаю въ близкомъ будущемъ очень видное служебное по
женіе. И слова эти были вовсе не желаніе сказать что-нибудь пр
ное матери о сынѣ. Катерина Михайловна знала, что если ея «bo
amie» такъ говоритъ, то ужъ не спроста, потому что она
ходится у самаго источника... Конечно, это было главное;
вѣдь, это и есть самый ужасный скандалъ... Что-же можетъ бы
хуже этого?
— Совсѣмъ не то!—горячо заговорила она.—Боже тебя и
бави уѣзжать—ты этимъ ничего не исправишь и только пог
бишь свою будущность! Оставайся; но только будь благораз
менъ и подумай хорошенько... Да, что тутъ говорить! Я вов
не хочу тебя раздражать, я не прошу у тебя никакихъ п
знаній... нравоученій тебѣ тоже не намѣрена читать, да ты, в
не сталъ-бы меня и слушать — я тебя знаю. Дѣлайте, что
тите, но только будьте осторожны, чтобы не къ чему б
придраться... А Мари ты успокой и Наташѣ объясни, что п
всего она должна стараться поддерживать съ нею добрыя отноше
Конечно, теперь это трудно, но умная женщина всегда сумѣе
Да, другъ мой, что дѣлать! Теперь ты видишь самъ, какъ я б
права, не одобряя твоего ранняго брака. А того, что сдѣл
не воротишь... Mais en tout cas il faut sauver les apparences
Николай весь дрожалъ, вслушиваясь въ слова матери. Н
нецъ, онъ не выдержалъ:
— Что́ вы такое говорите? Я ничего не понимаю!..
Катерина Михайловна не смутилась.
— Это твое дѣло; захочешь — поймешь. И все теперь,

зависитъ отъ васъ: и больше, знай разъ навсегда, я съ тобо ни о чемъ такомъ говорить не стану... и вида не подамъ. Н если вы не боитесь скандала и прямо на него идете — этого не потерплю.

Николай взглянулъ на мать съ ужасомъ и едва удержал отъ взрыва негодованія.

— Какъ можете вы такъ говорить со мною и давать м такіе совѣты?—наконецъ, произнесъ онъ.—Завтра-же я пода въ отставку...

— Опомнись!—воскликнула Катерина Михайловна, совсѣм уже испуганная выраженіемъ лица Николая.—Я думала, что т все-же хоть немного да благоразуменъ,. mais je vois—tu per complaitement la tête!.. Совѣтую придти въ себя, тогда, можетъ быть, и сообразишь, что только благодаренъ мнѣ долженъ быть за то, что я такъ говорю съ тобою,—другая мать, на моем мѣстѣ, не такъ-бы говорила...

— Да, не такъ!.. — прошепталъ онъ и поспѣшилъ скорѣе отъ нея.

Онъ шелъ, не замѣчая куда идетъ, и очнулся только въ библіотекѣ. Онъ увидѣлъ передъ собою блѣдное лицо Наташи съ лихорадочно блестѣвшими глазами.

— Наташа,—сказалъ онъ унылымъ, но твердымъ голосомъ.— наконецъ, я рѣшилъ то, что давно уже долженъ былъ рѣшить: я уѣзжаю...

Она подняла на него глаза; онъ не могъ вынести этого мучительнаго взгляда и опустилъ голову.

— Куда-же ты уѣдешь?

— Куда?! Я почемъ знаю?.. Да развѣ это не все равно?

— Нѣтъ... нѣтъ, это не то... и я совсѣмъ не то хотѣл ос сить тебя... Николай, слушай... сц

Она подошла къ нему.

— Слушай... поклянись мнѣ, что если ты уѣдешь, если теб станетъ очень тяжело, ты все-же никогда, никогда не покончиш съ жизнью...

Онъ вздрогнулъ. Какимъ образомъ мысль о самоубійств вставшая вдругъ теперь, вотъ сейчасъ, передъ нимъ—стала извѣстна?

А она повторяла:

— Поклянись мнѣ, что ты не убьешь себя... поклянись!..

Они не слышали какъ дверь въ библіотеку отворилась и замѣтили, что въ то время, какъ она произносила послѣдн слова, рядомъ съ ними былъ Сергѣй.

XXII.

Безъ выхода.

Въ эти четыре дня, съ пріѣзда въ Петербургъ, между Сергѣемъ и Николаемъ буквально не было произнесено ни слова, ни даже ни разу и не находились вмѣстѣ. Впрочемъ, и никто не видалъ Сергѣя. Онъ уѣзжалъ утромъ и возвращался среди ночи. Онъ побывалъ у всѣхъ своихъ старыхъ пріятелей, очутился въ прежнемъ офицерскомъ кружкѣ и убивалъ время за картами, въ попойкахъ, въ посѣщеніяхъ тѣхъ невѣдомыхъ полиціи мѣстъ, куда можно входить только съ очень туго набитымъ карманомъ и «съ особенной рекомендаціей». Сергѣю такая рекомендація оказывалась излишней — онъ издавна былъ вездѣ «своимъ человѣкомъ».

Теперь его уже не томила скука — томило другое, онъ понялъ, что̀ значитъ тоска.

Порывъ бѣшенства, вызванный въ немъ признаніемъ Наташи, прошелъ безслѣдно; но не проходила вспыхнувшая къ ней страсть. Онъ любилъ теперь ее какъ никогда еще никого въ жизни, и она была его жена, она принадлежала ему по всѣмъ человѣческимъ правамъ, а онъ зналъ, зналъ навѣрно, что любитъ ее безнадежно, что потерялъ ее навсегда. Онъ много думалъ объ этомъ и еще больше чувствовалъ, и вдругъ онъ понялъ, ясно и окончательно, что ничего теперь исправить не можетъ.

И когда онъ это понялъ, то, несмотря на всю свою страсть и тоску, пересталъ винить и Наташу, и брата. Онъ «отошелъ», давилъ Наташу на свободѣ, безъ упрековъ, безъ объясненій и денъ, а самъ жилъ день за днемъ, стараясь только забыться.

Теперь онъ какъ-то случайно заѣхалъ среди дня домой и еще болѣе случайно зашелъ въ библіотеку. Онъ слышалъ не только послѣднія слова Наташи, но и весь разговоръ ея съ Николаемъ.

Онъ видѣлъ какъ братъ вздрогнулъ, какъ онъ опустилъ глаза, замѣтивъ его присутствіе, видѣлъ, какой ужасъ изобразился на лицѣ Наташи, какъ она шатаясь вышла изъ библіотеки... Николай остался. Вотъ онъ, наконецъ, глядитъ на него... но, что это?—Онъ едва узналъ брата: такое у него измученное, измѣнившееся лицо, такіе страшные глаза...

— Ты слышалъ... я уѣзжаю, — проговорилъ Николай.

Онъ ничего не отвѣтилъ.

— Но нѣтъ, вѣдь, это невозможно такъ!—вдругъ отчаяннымъ стономъ вырвалось изъ груди Николая.—Братъ!.. если я

виновенъ въ томъ, что не замѣтилъ, какъ подкралось это безумiе, что не задушилъ его въ себѣ... моя казнь началась и ей конца не будетъ... Но такъ разстаться съ тобой я не могу... не могу!.. Еслибъ ты могъ понять, какое во всемъ этомъ ужасное, непостижимое противорѣчiе!..

— Я знаю это,—тихо и грустно сказалъ Сергѣй.—Я не виню тебя теперь... Ты ѣдешь... конечно, уѣзжай, если хочешь... только, вѣдь, это все равно—ты ничему не поможешь своимъ отъѣздомъ...

И эти два человѣка, хоть и ничуть не похожiе одинъ на другого, но всю жизнь прожившiе рядомъ, съ дѣтства привыкшiе любить другъ друга, замолчали и разошлись какъ чужiе...

Между тѣмъ Наташа едва нашла въ себѣ силу дойти до спальни и бросилась на кровать, совсѣмъ разбитая, съ горящей головою, вся въ лихорадкѣ. Она закрыла глаза и черезъ нѣсколько мгновенiй ей показалось даже, что она засыпаетъ.

Но это былъ не сонъ и даже не забытье, хотя все окружавшее исчезло и забылось.

Передъ нею былъ только Николай.

«Дорогой мой!..—шептала она,—что-же дѣлать? Я не виновата... ты терзаешься... ты страдаешь—и я не могу тебя успокоить... Ахъ, если-бы могла я.. я-бы сдѣлала все... все, чтобы только у тебя не было грустныхъ, мрачныхъ глазъ... этой печальной усмѣшки, которая каждый разъ разрываетъ мнѣ сердце... Милый, если-бы я только могла, я-бы стала ласкать и цѣловать тебя до тѣхъ поръ, пока-бы ты не улыбнулся мнѣ весело и счастливо... пока-бы твои глаза не блеснули тѣмъ свѣтомъ, который я видѣла въ нихъ когда-то, теперь давно такъ не вижу... Милый мой, я бы отдала тебѣ всю душу, всю жизнь... каждая мысль была-бы о тебѣ, и ты бы узналъ, что я совсѣмъ не такая, какой кажусь... ты бы узналъ, что я умѣю любить до самозабвенiя...»

«О, я не стала-бы тебя мучить ни любовью своей, ни ревностью... не стала-бы тебя преслѣдовать, не давать тебѣ покоя... бы говорила тебѣ, что надо жить не только для себя, но и я другихъ, и уже, конечно, не стала-бы мѣшать твоей жизни... о я не упустила-бы ни одной минуты, когда могла-бы тебѣ ть нужной... И ты нашелъ-бы меня всегда возлѣ себя... и я-бы училась понимать каждую твою мысль...»

«Уже давно я слыхала, что у тебя тяжелый, дурной характеръ... но я никогда этому не вѣрила... съ перваго дня не вѣрила и теперь знаю, что тебя никто не понялъ... и теперь могу только удивляться твоему терпѣнiю съ ними... Я-бы никогда не разсердила тебя... да... да... я сумѣла-бы сберечь тебя...»

«И ничего я не могу... и нельзя... и я не должна... не смѣю даже о тебѣ думать... Да нѣтъ-же, нѣтъ, кто запретитъ мнѣ

это? Кто имѣетъ такое право?.. Я люблю тебя... люблю!..»

Она открыла глаза, слезы такъ и лились одна за другою, тихія, мучительныя слезы... Ее охватила такая безнадежность, жизнь показалась ей такой невыносимой... страстное чувство, охватившее ее всю, возмутилось и она говорила себѣ:

«Да къ чему-же это все? Что все это значитъ? Почему только они правы? Почему мы должны погибать? Есть другая жизнь—и она возможна... Уйдемъ... уйдемъ, бросимъ ихъ... Посмѣемся надъ ними... Развѣ они чего-нибудь другого стоятъ? Уйдемъ на край свѣта, уйдемъ!..»

Она какъ-бы пришла въ себя и ужаснулась своимъ мыслямъ... Въ ней было теперь два существа, будто двѣ души, два сердца, два разсудка—и эти два существа отчаянно боролись другъ съ другомъ. И она чувствовала каждый ударъ этой борьбы, и каждый ударъ потрясалъ ее и доводилъ до изнеможенія...

Вотъ она ясно слышитъ строгій и неумолимый внутренній голосъ. Онъ повторяетъ ей давно знакомыя слова: нравственность, долгъ, таинство, нарушеніе клятвы... Слова эти звучатъ ей приговоромъ и она нѣмѣетъ и замираетъ передъ ними...

Но поднимается другой голосъ и шепчетъ:

«Все это здѣсь, все это для жалкаго земного существованія... а что оно такое, это существованіе, когда за нимъ безконечность жизни? Кратковременная неволя, быстро мелкающіе, какъ тѣнь, какъ призракъ, мѣсяцы и годы... Терпѣливо неси свои оковы и жди... онѣ спадутъ — и ты поймешь тогда все, что кажется теперь непонятнымъ и несправедливымъ, жестокимъ и горькимъ; поймешь откуда взялось то, что ты называешь горемъ и мукой, и зачѣмъ оно было неизбѣжно... И ты благословишь свою муку и горе за то, что онѣ омыли и расправили твои загрязненныя крылья... Ты оставишь здѣсь все, безъ сожалѣній и тревоги, и унесешь съ собой только лучшія мгновенія, только чистыя грезы, унесешь съ собой и любовь свою, но очищенную отъ земной грязи—и сама ты ее не узнаешь—такъ будетъ она свѣтла и радостна, и ужъ не помрачитъ ее никакое грубое прикосновеніе...»

Подъ шопотъ этого голоса Наташа затихла и ушла отъ дѣйствительности.

Можно себѣ представить, какъ прошелъ этотъ день въ старомъ горбатовскомъ домѣ и тѣмъ болѣе, что единственнаго человѣка, могущаго хоть нѣсколько облегчить положеніе нѣкоторымъ изъ лицъ этой глухой семейной драмы, не было—Борисъ Сергѣевичъ уѣхалъ съ утра и долженъ былъ вернуться только къ вечеру. Онъ обѣдалъ у одного изъ оставшихся въ живыхъ друзей его молодости, у князя Бѣльскаго.

Николай никуда не уѣхалъ. Онъ провелъ весь день у себя въ рабочемъ кабинетѣ, не вышелъ къ обѣду. Онъ не могъ ничего ѣсть, не могъ никого видѣть. Онъ велѣлъ принести себѣ чернаго кофе, всегда на него хорошо дѣйствовавшаго, и сидѣлъ, куря сигару, передъ своимъ бюро, машинально разбираясь въ бумагахъ, перечитывая старыя письма, которыхъ онъ теперь даже и не понималъ. Но ему нужно было что-нибудь дѣлать.

Вдругъ, это было уже въ послѣобѣденное время, кто-то пустучался въ его дверь. Онъ пошелъ, отперъ и съ изумленіемъ увидѣлъ передъ собою старика Степана.

— Что тебѣ надо, Степанъ?—спросилъ онъ рѣзкимъ тономъ.

Степанъ на него покосился.

— Простите, сударь, сдѣлайте божескую милость, простите, что васъ потревожилъ,—съ напускною робостью и въ сущности не безъ нѣкоторой язвительности, которой, впрочемъ, Николай не замѣтилъ, проговорилъ Степанъ,—запамятовалъ совсѣмъ, Борисъ Сергѣевичъ...

(Если-бы онъ говорилъ съ Сергѣемъ, то непремѣнно-бы сказалъ «дяденька», но тутъ, какъ онъ самъ увѣрялъ себя, у него языкъ не повертывался).

— Борисъ Сергѣевичъ какъ уѣзжали, приказали снести вашей милости вотъ эти тетради, а я и запамятовалъ, только сію минуточку и вспомнилъ... Ужъ простите, сдѣлайте божескую милость!.. Они сказали, что вы изволите знать, что это такое...

Николай взялъ тостыя переплетенныя тетради и сообразилъ:

— Да, да, знаю... спасибо...

Онъ заперъ дверь, положилъ тетради на столъ и просидѣлъ нѣсколько минутъ, опустивъ голову. Потомъ машинально раскрылъ первую тетрадь, началъ читать. Тетрадь была написана рукою Бориса Сергѣевича.

Это были сдѣланные имъ переводы со старинныхъ буддистскихъ книгъ, съ его объясненіями, примѣчаніями и тутъ-же, на поляхъ, приведенными имъ интересными разсказами о томъ, чего онъ самъ былъ свидѣтелемъ во время путешествія своего по Тибету.

Николай не замѣтилъ, какъ чтеніе мало-по-малу увлекло его и часъ проходилъ за часомъ, а онъ все разбиралъ дядины тетради и до того углубился въ чтеніе, что не замѣтилъ, какъ около полуночи дверь отворилась, заглянула Мари и опять скрылась.

Прошло еще больше часу, а онъ все читалъ. Наконецъ, утомленіе стало одолѣвать его, онъ закрылъ тетради и хотѣлъ было по обычаю потушить лампу и идти въ спальню. Но вдругъ остановился:

«Туда? теперь? Нѣтъ, ни за что!»—Ему невыносимо тяжело было видѣть Мари, и особенно теперь, когда имъ принято было безповоротное рѣшеніе.

Онъ подошелъ къ большому турецкому дивану, снялъ сюртукъ и легъ, рѣшившись провести ночь здѣсь, не раздѣваясь. Онъ закрылъ утомленные отъ долгаго чтенія рукописи глаза и лежалъ, прислушиваясь къ тому, какъ чикаютъ, обгоняя другъ друга, часы на каминѣ и на бюро.

Минуты проходили, онъ никакъ не могъ заснуть.

Вотъ скрипнула дверь, онъ открылъ глаза—въ кабинетъ входила Мари. Онъ сдѣлалъ надъ собою мучительное усиліе и закрылъ глаза снова, притворившись спящимъ.

«Авось она уйдетъ, авось не рѣшится тревожить, оставитъ...» Онъ чувствовалъ себя совсѣмъ не въ силахъ говорить съ нею.

Но Мари прямо подошла къ дивану, на которомъ онъ лежалъ, остановилась, прислушалась.

— Николай!

Онъ не шевельнулся. Тогда она стала будить его до тѣхъ поръ, пока онъ наконецъ не поднялся, трясясь какъ въ лихорадкѣ.

— Что такое? что? Мари, оставь меня, пожалуйста... Я ужасно усталъ и хочу спать,—сказалъ онъ.

Но она проговорила спокойнымъ голосомъ:

— Ужъ два часа. Ты заснулъ здѣсь, въ кабинетѣ, не раздѣваясь... Придти въ себя, потуши лампу, иди спать...

— Да, вѣдь, я спалъ. Зачѣмъ-же ты меня разбудила? Ну, хорошо... я скажу тебѣ: я нарочно здѣсь остался, потому что долженъ быть сегодня одинъ... Завтра... завтра поговоримъ.

— А, такъ вотъ что?—произнесла она.—Но, вѣдь, мы не свободны въ этомъ домѣ и поневолѣ должны соблюдать приличія... А ты будто нарочно это дѣлаешь для того, чтобы бросилось въ глаза всей прислугѣ... для того, чтобы, Богъ знаетъ что стали говорить...

Онъ всталъ съ дивана и нервно заходилъ по комнатѣ.

— Господи, пытка какая! Да что говорить? Пусть говорятъ! Хуже того, что есть, ничего не скажутъ... Оставь меня, уйди, умоляю тебя!..

Однако Мари была не та, какой онъ зналъ ее до сихъ поръ. Ужъ если она не заснула до двухъ часовъ, дожидаясь его, если она рѣшилась прійти сюда, очевидно для тяжелаго разговора, она, бывшая всегда готовой согласиться съ чѣмъ угодно, лишьбы избѣжать непріятныхъ объясненій, лишь-бы ее оставили въ покоѣ, такъ съ ней трудно было спорить

— Я не уйду!—сказала она.—Выслушай меня... Къ чему ждать? И теперь намъ никто не помѣшаетъ. Я хотѣла избѣжать этихъ ужасныхъ разговоровъ; но нельзя... все стало такъ невыносимо и я вижу, что такая жизнь не можетъ продолжаться... Да ты самъ—неужели считаешь ее возможной?

— Конечно, нѣтъ!—выговорилъ онъ.

— Такъ, значитъ, надо-же на что-нибудь рѣшиться...

— И я уже рѣшился... Я завтра утромъ подамъ прошеніе объ отставкѣ и уѣду.

— Какъ? что?—переспросила она, невольно блѣднѣя.—Уѣдешь... навсегда?

— Боже мой, почемъ-же я знаю?

— Послушай!—едва слышно начала Мари.—Я ни въ чемъ не хочу упрекать ни тебя, ни другихъ... это безполезно... но подумай прежде, чѣмъ рѣшиться на такой шагъ, который будетъ безповоротнымъ, не для себя я прошу, а для Гриши... Неужели ничего, какъ есть ничего не осталось отъ прошлаго?..

Ей очевидно было трудно говорить и связывать мысли. Она остановилась и заплакала, но такъ тихо, беззвучно.

— Мари!—воскликнулъ Николай, схватывая и крѣпко сжимая ея холодную руку:—какъ ничего не осталось отъ прошлаго? Все осталось— и въ этомъ мое невыносимое мученіе... Я ѣду потому, что иначе нельзя... и ты знаешь почему... Но какъ я объясню тебѣ, что я люблю тебя теперь, можетъ быть, больше, чѣмъ когда-либо, что ты мнѣ и дорога, и близка, что я чувствую и всегда буду чувствовать мою неразрывную связь съ тобою? Это, можетъ быть, безуміе, но это правда...

Она широко раскрыла глаза. Ея слезы остановились. Что такое онъ говоритъ?.. Любитъ! онъ ее любитъ! она близка, дорога ему! Неужели есть надежда?.. Или онъ смѣется надъ нею, или онъ лжетъ.

Но она, вѣдь, знала, что такъ смѣяться онъ неспособенъ, знала, что онъ никогда не лжетъ.

— Николай,—прошептала она: — такъ что-же, зачѣмъ-же тогда все это?

Ея голосъ поднялся и зазвучалъ страстными нотами.

— Я забуду все, все, какъ будто его никогда и не бывало... Я могу это, могу!.. Уѣдемъ вмѣстѣ, съ нашимъ мальчикомъ... Ты увидишь—все будетъ новое... Я ужъ не та, что прежде... Я сумѣю теперь любить тебя... Уѣдемъ...

Онъ оставилъ ея руку и глядѣлъ на нее тусклымъ взглядомъ.

— Это невозможно....

— Значитъ, ты ее, ее любишь!—простонала Мари, хватаясь за голову.—Зачѣмъ-же ты сейчасъ такъ безбожно солгалъ мнѣ?

— Я сказалъ правду... и я зналъ, вѣдь, что ты не можешь понять меня!

— Кто-же можетъ понять?.. Такъ, значитъ, все кончено?

Онъ ничего не могъ ей отвѣтить.

— Прощай!—едва выговорила она.

Сдерживая рыданія, она вышла изъ кабинета и заперла за собою дверь.

Онъ остался посреди комнаты и долго, долго стоялъ такъ, совсѣмъ подавленный безысходной, гнетущей тоскою...

— - —

XXIII.

Новый планъ.

Катерина Михайловна ошибалась, воображая, что старый Степанъ непремѣнно донесъ Борису Сергѣевичу о визитѣ Щапскаго въ Горбатовское. Если-бы онъ захотѣлъ это сдѣлать, то, конечно, сдѣлалъ-бы уже давно.

Но дѣло въ томъ, что Степанъ рѣшился никакими домашними дѣлами не досаждать своему барину. Ужъ больно плохи были эти дѣла и толковать о нихъ, значитъ понапрасну только мучить Бориса Сергѣевича. Измѣнить ничего нельзя, помочь ничему нѣтъ никакой возможности, остается только махнуть рукою.

Степанъ даже ужъ и пробовалъ махать рукою, да и это оказывалось не такъ-то легко.

«Нечего сказать, на хорошія дѣла пріѣхали! Просто не глядѣли-бы глаза, не слушали-бы уши. Въ тысячу разъ лучше было-бы оставаться тамъ, въ Сибири, потому что если тамъ и выходило что нибудь неладное, если и творили сосѣдскіе людишки какія ни на есть пакости, такъ, вѣдь, то были чужіе люди, по большей части даже нехристи, татарва азіатская... Дѣлаетъ онъ что-нибудь неладное—для него-же хуже—и только... Да и то, опять надо сказать, что, конечно, въ семьѣ не безъ урода, есть и тамъ негодяи, и разбойники часто, но хорошихъ людей все-же больше...»

Степанъ оставилъ тамъ даже истинныхъ пріятелей, о которыхъ теперь нерѣдко вспоминалъ съ грустью и любовью, несмотря на то, что у пріятелей этихъ глаза были какъ щелки, носъ пуговицей, скулы шишками, а бороденка словно рѣденькій конскій волосъ...

«Вотъ и въ Христа Спасителя не вѣруютъ,—думалъ объ этихъ своихъ пріятеляхъ Степанъ:—и болвану, прости Господи, какому-то шестирукому замѣсто Бога молятся, а душа-то, вѣдь, чистая, сердце справедливое, да жалостливое, совсѣмъ настоящіе хорошіе люди!»

«А тутъ—что это такое? Просто сердце кровью обливается... Вѣдь, это что-же... вѣдь, это все господа наши, Горбатовы, отъ корени Сергѣя Борисовича да Татьяны Владиміровны... такъ, по крайности, про всѣхъ про нихъ значится, а просто срамъ и по[illegible]!.. Охъ, ужъ и припекутъ-же тебя на томъ свѣтѣ, матушка

Катерина Михайловна, за все отвѣтъ дашь, отъ тебя все это происходитъ... ты все это въ семью нашу господскую пустила!..»

Степанъ отлично все замѣчалъ и видѣлъ, и ничего не ускользало отъ его проницательнаго взгляда изъ того, что творилось за это время въ Знаменскомъ и Горбатовскомъ. Узналъ онъ всю подноготную «настоящаго» барина, какъ онъ называлъ Сергѣя Владиміровича. Узналъ про всѣ его шашни и непотребства, и по сосѣдству, и въ домѣ—съ этой «вертихвосткой Лилишкой». Не ускользнуло отъ него и то неладное, что творилось промежъ Николая Владиміровича и Наташи.

«Какъ есть, какъ есть наказаніе Божье!—говорилъ онъ самъ съ собою.—А мы (онъ подразумѣвалъ Бориса Сергѣевича) какъ разъ на все это и пріѣхали, видно, мало насъ судьба гнала, видно, малою своего горя натерпѣлись — вотъ и въ чужомъ пиру похмѣлье. Да и опять нельзя сказать, что пиръ чужой, вѣдь, свой пиръ-то!.. Вотъ и спокойствіе на старость... И дуракъ-же я, дуракъ, что уговаривалъ изъ Сибири сюда ѣхать... Да неужто можно было такого ждать?»

Пріѣздъ Щапскаго въ Горбатовское окончательно сразилъ Степана. Онъ какъ увидалъ его да узналъ,—еле совладѣлъ съ собою, Богъ знаетъ что онъ бы далъ, чтобъ только возможно было хорошенько его побить, ну не до смерти—это все-же грѣшно, а такъ, что-бы навсегда помнилъ этотъ нежданный гость.

«Не издохъ еще д, сихъ поръ!.. Вѣдь, это, что-же такое! Вѣдь, теперь сраму не оберешься! Ну, да авось показалъ носъ—и провалится, не очень-то засидѣлся, видно, не больно хорошо его приняли... авось не покажется... И счастіе еще, что Бориса Сергѣевича нѣту дома—не выдержалъ бы онъ».

И Степанъ по долгимъ разсужденіямъ рѣшилъ молчать передъ Борисомъ Сергѣевичемъ.

«Нечего разстроивать его, коли самъ что видитъ и знаетъ—съ этимъ ужъ нечего дѣлать, а подбавлять ему горя на старость лѣтъ не стану».

Вопреки своему обычаю, онъ весь конецъ лѣта въ Горбатовскомъ, и теперь, въ эти первые дни по пріѣздѣ въ Петербургъ, не вступалъ со своимъ бариномъ ни въ какіе интимные разговоры.

Но если Катерина Михайловна ошибалась относительно Степана, она нисколько не преувеличивала опасности, грозившей со стороны Щапскаго. И этого мало: она даже не могла себѣ представить, до какой степени эта опасность велика.

Щапскій, очевидно, пріѣхалъ въ Петербургъ съ тѣмъ, чтобы здѣсь поселиться на долгое время. Онъ нанялъ себѣ квартиру на Конюшенной улицѣ и жилъ важнымъ бариномъ, какъ уже

отвыкъ было жить въ послѣдніе годы, скитаясь за границей и терпя неудачу за неудачей. Квартира его была меблирована и отдѣлана самымъ изысканнымъ образомъ. На конюшнѣ стояла четверка лошадей, а въ сараѣ помѣщались превосходные экипажи.

Все это было пріобрѣтено въ кредитъ. Графъ Щапскій умѣлъ пустить пыль въ глаза. Получивъ деньги отъ Катерины Михайловны, онъ замазалъ немного рты своихъ поставщиковъ и мало-по-малу совсѣмъ обживался въ Петербургѣ.

Онъ разыскалъ всѣхъ оставшихся въ живыхъ старыхъ знакомыхъ и пріятелей. Его видѣли въ англійскомъ клубѣ и театрахъ. Его снова приняли въ обществѣ и никому въ голову не могло придти, что это человѣкъ, единственно благодаря случаю не находившійся въ Сибири на каторгѣ, что это человѣкъ, сыгравшій хоть и тайную, но очень значительную роль въ польскомъ возстаніи, крупно замѣшанный во всевозможныхъ неблаговидныхъ продѣлкахъ за границей, имѣвшій дѣло съ итальянской, нѣмецкой, французской и англійской полиціей. Да и теперь онъ явился въ Петербургъ послѣ самой наглой продѣлки съ юнымъ и недалекимъ, поддавшимся ему богатымъ французскимъ маркизомъ. Онъ чуть было не пустилъ этого маркиза по міру. Но съ нѣкотораго времени судьба была противъ него. Его плутни раскрылись, и только благодаря своей находчивости онъ во-время исчезъ изъ Парижа и очутился въ Петербургѣ...

Съ каждымъ днемъ настроеніе его духа становилось веселѣе. Онъ дѣлался самоувѣренъ и, хотя значительно уставшій и измотавшійся, но еще разъ съ довѣріемъ отнесся къ своимъ силамъ и къ своей счастливой звѣздѣ.

«Еще можно пожить!»—думалъ онъ, возаращаясь вечеромъ на своихъ рысакахъ изъ клуба или отъ знакомыхъ.

Онъ былъ увѣренъ теперь, что еще разъ всѣхъ проведетъ и надуетъ. И всѣхъ, кого только захочетъ, заставитъ служить своимъ цѣлямъ.

«Всѣ они будутъ у меня въ рукахъ, всѣ!.. Еще какъ здѣсь отлично устроюсь!..»

Онъ заранѣе намѣчалъ свои будущія жертвы. Одна уже попалась. Онъ нѣсколько ошибся въ расчетѣ, такъ какъ не зналъ, что Катерина Михайловна разорена; но все-же не отказывался отъ мысли получить отъ нея, хоть и съ нѣкоторой проволочкой, всю назначенную имъ сумму.

А потомъ, когда сумма эта получится, можно будетъ и еще попросить надбавку.

Но этого мало: у него теперь созрѣлъ новый планъ: онъ рѣшился играть въ двойную игру и, вмѣстѣ съ Катериной Михайловной, сдѣлать своимъ вѣчнымъ данникомъ и Николая...

И вотъ этого-то никакъ не могла подозрѣвать, никакъ не могла додуматься до этого Катерина Михайловна, а между тѣмъ отвратительный планъ совсѣмъ уже былъ готовъ въ головѣ Щапскаго. Онъ успѣлъ навести всѣ необходимыя справки, подробно разузнавалъ обо всѣхъ отношеніяхъ и связяхъ Николая, объ его характерѣ. Пріятели и знакомые Николая, довольно плохо его понимавшіе, представили его Щапскому человѣкомъ очень гордымъ, даже преисполненнымъ высокаго мнѣнія о себѣ и непомѣрно кичащимся своимъ знаменитымъ именемъ.

Кто-то сказалъ ему:

«Николай Горбатовъ считаетъ себя такъ высоко стоящимъ, что даже не заботится о служебной карьерѣ, которую онъ могъ-бы легко сдѣлать, такъ какъ, когда захочетъ, то онъ человѣкъ ловкій и способный. Но ему кажется, что для Горбатова не нужна никакая карьера, что она ничего новаго не дастъ ему...»

Щапскій такъ и впился въ эти слова. Узнавъ, что Николай уѣхалъ изъ деревни и находится въ Петербургѣ, онъ сдѣлалъ ему визитъ. Николай, погруженный въ себя, переживавшій тяжелые дни, былъ въ этотъ часъ еще болѣе мраченъ и раздражителенъ, чѣмъ когда-либо. Онъ принялъ Щапскаго съ холодной любезностью и послѣ недолгаго разговора оправдалъ въ глазахъ его мнѣніе, имъ о немъ сдѣланное согласно полученнымъ сообщеніямъ.

Николай не торопился отдать визитъ этому новому знакомому, хотя новый знакомый и отрекомендовалъ себя старымъ другомъ и почему-то даже товарищемъ покойнаго Владиміра Сергѣевича. Но все-же, какъ-то вспомнивъ о Щапскомъ, онъ забросилъ ему свою карточку.

Щапскій, возвращаясь домой и найдя эту карточку у себя на столѣ, скривилъ губы въ усмѣшку.

«Гордецъ... пренебрегаетъ мною... Но не надолго!..»

Онъ никогда до этого возвращенія въ Россію не думалъ о своемъ сынѣ и теперь, увидавъ его, не почувствовалъ къ нему никакой любви, а напротивъ, какъ это ни странно, почувствовалъ къ нему скорѣе ненависть за эту мнимую его гордость, за это казавшееся ему презрѣніе къ нему.

Если-бы какой-нибудь другъ, котораго, впрочемъ, никогда не было, спросилъ графа Щапскаго въ откровенную минуту относительно его мнѣнія о самомъ себѣ, онъ навѣрное сказалъ-бы про себя: «я умный человѣкъ!»—и прибавилъ-бы: «и не злой, нисколько не злой».

Онъ бы сказалъ это совсѣмъ искренно, такъ какъ дѣйствительно считалъ себя по преимуществу умнымъ человѣкомъ, а о злобѣ и добротѣ не имѣлъ даже яснаго представленія.

Если-бы спросить его: считаетъ-ли онъ себя счастливымъ

или несчастнымъ, онъ, вспомнивъ всю свою жизнь, крайне разнообразную и до послѣднихъ лѣтъ исполненную всякихъ успѣховъ и удачъ въ достиженіи задуманныхъ цѣлей, все-же долженъ былъ-бы согласиться, что онъ человѣкъ несчастный. Это была правда.

Щапскій не зналъ ни отца, ни матери. Они умерли когда онъ былъ еще ребенкомъ. Онъ выросъ и воспитался въ рукахъ іезуитовъ и они подготовили въ немъ дѣятеля по своему вкусу. Они не разъ потомъ употребляли его для своихъ цѣлей и почти всегда удачно.

Конечно, въ природѣ его были уже извѣстные задатки, но школа тщательно развила эти задатки. Онъ вступилъ въ жизнь еще неопытный, еще ничего не испытавшій, но уже заранѣе пріученный презирать людей, глядѣть на нихъ, какъ на живой матеріалъ для построенія разныхъ хитрыхъ комбинацій, какъ на одно изъ средствъ къ достиженію земныхъ благъ. А въ обладаніи этими земными благами для него собственно и заключалась главная цѣль жизни, ея главный смыслъ.

И вотъ теперь, когда уже пришла старость, когда тѣло, бывшее для него всѣмъ, такъ имъ любимое, порядкомъ уже износилось и даже становилось ему порою въ тягость, онъ не имѣлъ главнѣйшаго, почти единственнаго утѣшенія, остающагося старымъ людямъ, не имѣлъ теплыхъ воспоминаній.

Онъ никого не любилъ въ жизни, ни за кого не страдалъ, никому не пожертвовалъ ничѣмъ. И, несмотря на то, что онъ считалъ себя умнымъ человѣкомъ, для него оставался непонятнымъ и закрытымъ цѣлый разнообразный и могучій міръ, при пониманіи котораго только и можетъ жить человѣкъ полной человѣческой жизнью. Но ему, незнакомому съ этимъ міромъ, оставалось видѣть въ жизни единственно борьбу за существованіе, торжество грубой силы, хота онъ и называлъ эту грубую силу—разумомъ.

Немудрено, что такой человѣкъ не выдѣлялъ своего сына,—положимъ, незнакомаго ему и не знавшаго о своемъ родствѣ съ нимъ, но все-же сына—изъ среды всѣхъ прочихъ людей, почитаемыхъ имъ пѣшками.

Вовсе не сознавая всей гнусности и неестественности своихъ поступковъ и плановъ, онъ рѣшился воспользоваться этимъ сыномъ, какъ пользовался и другими.

Онъ сказааъ себѣ: «я его заставлю служить мнѣ!»

И ему теперь казалось, что ничего нѣтъ легче, какъ исполнить это: стоитъ только открыть сыну истину, стоитъ ему доказать, что онъ его отецъ и что онъ можетъ, въ случаѣ чего-либо, заставить говорить объ этомъ весь городъ. Этотъ гордый, чван-

ный человѣкъ придетъ въ ужасъ и готовъ будетъ, конечно, на что угодно, лишь бы дѣло оставалось тайнымъ...

Какъ?—онъ,- носитель стариннаго, знаменитаго имени — и вдругъ превратится въ незаконнаго ребенка, въ «притчу» всего высшаго общества.

Нѣтъ, онъ не вынесетъ всего этого! За сохраненіе тайны онъ отдаетъ все—и тогда можно будетъ пользоваться и матерью, и сыномъ. Если у матери нѣтъ денегъ, найдутся у сына; если она не сумѣетъ достать, сумѣетъ достать онъ, благо у нихъ теперь въ рукахъ этотъ глупецъ-дядя, этотъ возвращенный декабристъ. Они разорены, но онъ богатъ, страшно богатъ, несмотря на то, что уменьшилъ теперь свое состояніе, отпустивъ на волю своихъ крестьянъ и надѣливъ ихъ землею. Пусть онъ доставляетъ имъ средства.

Теперь и онъ, этотъ Борисъ, превратится для него въ пѣшку, и онъ будетъ имъ пользоваться.

Планъ быстро созрѣлъ во всѣхъ мельчайшихъ подробностяхъ, и Щапскій рѣшилъ не откладывая привести его въ исполненіе.

XXIV.

Одно къ одному.

Въ это время Борисъ Сергѣевичъ былъ занятъ дѣлами своего новаго племянника, Михаила Ивановича. Конечно, онъ уже ясно видѣлъ, что для этого племянника было-бы гораздо лучше оставаться въ невѣдѣніи истины. Онъ могъ-бы и такъ быть ему полезнымъ, не отравляя его спокойствія, не лишая его той почвы, на которой онъ выросъ и уже, повидимому, укрѣпился.

Онъ продолжалъ негодовать на старика Прыгунова, начавшаго такъ хорошо дѣло и такъ его испортившаго. Но, по своему обыкновенію, онъ и виду не показалъ Кодрату Кузьмичу и самъ же его успокоивалъ. Прощаясь съ нимъ, онъ заставилъ его принять значительную сумму денегъ «за всѣ хлопоты и за успѣшное окончаніе дѣла».

Кодратъ Кузьмичъ думалъ было даже отказываться, найдя, что сумма эта черезчуръ велика; но Горбатовъ умѣлъ въ такихъ случаяхъ настаивать, да и потомъ—Кодрату Кузьмичу пришли на умъ всѣ его хозяйственныя потребности, нытье и убѣжденія жены, въ которыхъ было много правды, наконецъ, появленіе въ домѣ окончившей институтскій курсъ дочери —вѣдь, нужно ей же было, ее экипировать и побаловать!.. Скрѣпя сердце, онъ принялъ деньги.

Онъ былъ очень мраченъ эти послѣдніе дни пребыванія Бориса Сергѣевича въ Москвѣ, все вздыхалъ, дома ни съ кѣмъ не го-

ворилъ и находилъ единственное утѣшеніе съ своей приходской церкви, въ исполненіи обязанностей церковнаго старосты.

«Да, все это дѣло повернулось совсѣмъ не такъ, какъ-бы слѣдовало, но сдѣланнаго не воротишь!»—думалъ Борисъ Сергѣевичъ и рѣшился во что бы то ни стало принести Михаилу Ивановичу какъ можно больше существенной пользы.

Для того, чтобы понять, въ чемъ должна заключаться эта польза, онъ долженъ былъ прежде всего поближе познакомиться съ Михаиломъ Ивановичемъ. Онъ это и сдѣлалъ въ послѣдніе дни своего пребыванія въ Москвѣ. Они были почти неразлучны—и по крайней мѣрѣ у Бориса Сергѣевича явилось удовлетвореніе, что онъ нашелъ племянника своего совсѣмъ хорошимъ, а главное, солиднымъ человѣкомъ, способнымъ и благоразумнымъ.

«Онъ не избалованъ богатствомъ, не исчпорченъ жизнью, страстей особенныхъ у него нѣтъ, семейная жизнь его, повидимому, очень счастлива...»

Но въ разговорахъ съ Михаиломъ Ивановичемъ онъ понялъ, что, несмотря на все это, племяннику многаго недостаетъ и прежде всего недостаетъ широкой, крупной дѣятельности. Онъ подмѣтилъ въ немъ наклонности и способности финансиста.

«Ну, что-же,—говорилъ онъ самъ себѣ:—и отлично, пусть онъ устраиваетъ свое благосостояніе, и для себя и для дѣтей, для будущаго, а я ему помогу въ этомъ. Часть моего состоянія, все равно, принадлежитъ ему. Но такъ принимать отъ меня деньги онъ врядъ ли станетъ, а если я и заставлю его дѣлать это, то, во всякомъ случаѣ, не уничтоживъ въ немъ тяжелаго чувства. Тутъ же будетъ совсѣмъ другое. Онъ самъ станетъ работать, а я только помогу ему, довѣрю ему извѣстный капиталъ... Это будетъ не подарокъ...»

Вернувшись въ Петербургъ, Борисъ Сергѣевичъ, съ помощью нѣкоторыхъ старыхъ знакомыхъ, навелъ нужныя справки, разузналъ подробно о всякихъ возникавшихъ проектахъ и кончилъ тѣмъ, что заинтересовалъ Михаиломъ Ивановичемъ нѣкоторыхъ вліятельныхъ людей. Тогда онъ его сталъ звать въ Петербургъ.

«Дѣлать нечего, еще предстоитъ много тяжелаго, но уже разъ сдѣлана ошибка, возвращаться поздно: Михаилъ Ивановича не спрячешь. Конечно, тотчасъ-же здѣсь всѣ поймутъ, что онъ мнѣ не просто знакомый. Пожалуй, его моимъ сыномъ считать будутъ... Впрочемъ, это поразительное сходство съ братомъ... А Сергѣй?.. а Николай?.. Ну что-жъ, пусть узнаютъ и пусть полюбятъ Михаила Ивановича, — прежде всего справедливость! И, видно, все это такъ и надобно было...»

Михаилъ Ивановичъ пріѣхалъ въ Петербургъ. Ему пришлось выдержать тяжелую сцену прощанія съ родными. Со времени

своей давнишней поѣздки заграницу онъ почти никогда не отлучался изъ Москвы и теперь старикамъ казалось, что уже кончено, что Мишенька для нихъ потерянъ навсегда, что вотъ онъ уѣзжаетъ и никогда больше не вернется. Ему стоило не малаго труда увѣрить ихъ, что они ошибаются, что онъ никогда ихъ не покинетъ. Онъ объяснялъ имъ, что его ждетъ большое дѣло, котораго зависитъ будущность дѣтей.

Они его слушали, соглашались съ нимъ, рѣшились ничего не возражать ему, но внутри себя были такого мнѣнія, «что какой еще будущности? И такъ все хорошо, средствъ на все хватитъ».

Надежда Николаевна сначала было объявила, что ни за что его не пустить одного, что поѣдетъ съ нимъ. Ему даже это очень улыбалось; но потомъ они разсудили, что ей слѣдуетъ остаться со стариками. А если обстоятельства его задержатъ въ Петербургѣ, тогда будетъ видно. Она подчинилась благоразумію; но на сердцѣ у нея было тяжело. И хотя она, конечно, довѣряла своему Мишенькѣ, но все-же нѣтъ, нѣтъ, а и мелькнетъ прежняя мысль: «а что, если это на погибель? Что, если кончено теперь наше счастье? Если онъ тамъ забудетъ... разлюбитъ? Что если у него...» У нея даже являлась мысль о другой женщинѣ, которая вдругъ можетъ быть появится и отниметъ его у нея... И главное: вѣдь, она не знала, что тамъ такое, не могла себѣ представить эту новую его жизнь, эту дѣятельность и онѣ представлялись ей какими-то таинственными и страшными.

Какъ бы то ни было, Михаилъ Ивановичъ простился и уѣхалъ. Онъ казался бодрымъ, оживленнымъ и дѣйствительно былъ бодръ и вступалъ въ новую жизнь съ вѣрою въ свои силы, готовый къ борьбѣ, къ испытаніямъ. Испытанія должны были представиться сразу. Онъ зналъ что попадетъ въ домъ Горбатовыхъ, что встрѣтится со своими родными, съ братьями, которыхъ не зналъ и которые его не знали. Они встрѣтятся какъ чужіе и, вѣроятно, будутъ играть комедію другъ передъ другомъ. У него невольно пробуждалось какое-то непонятное чувство къ этимъ невѣдомымъ братьямъ.

А что, если они отнесутся къ нему свысока? И, вѣдь, это очень можетъ быть. И во всякомъ случаѣ его положеніе самое тяжелое, самое фальшивое. Нужно очень приготовиться, чтобы не быть жалкимъ, чтобы не быть смѣшнымъ, чтобы заставить уважать себя. Но вотъ, вѣдь, это первая проба, первое испытаніе и онъ долженъ доказать и себѣ, и другимъ, что въ немъ есть настоящая сила.

Михаилу Ивановичу было мучительно думать обо всемъ этомъ, но онъ кончилъ тѣмъ, что побѣдилъ въ себѣ всѣ тяжелыя, смущающія чувства и хотя не безъ волненія, но съ полнымъ само-

обладаніемъ явился въ старый, великолѣпный домъ Горбатовыхъ.

Между тѣмъ Борисъ Сергѣевичъ уже заочно познакомилъ съ нимъ племянниковъ. Онъ скрылъ отъ нихъ часть истины. Сдѣлалъ Михаила Ивановича нѣсколько старѣе. Эта невинная и необходимая, какъ ему казалось, ложь тѣмъ болѣе была возможна, что Михаилъ Ивановичъ, хотя и очень крѣпкій и здоровый человѣкъ, все-же казался нѣсколько старше своихъ лѣтъ.

Извѣстіе о скоромъ появленіи въ домѣ новаго человѣка, новаго родственника, котораго нельзя будетъ признать, но котораго взялъ подъ свое покровительство дядя; несмотря даже на тяжелыя обстоятельства, удручавшія всѣхъ членовъ семьи, произвело большое впечатлѣніе. Это впечатлѣніе было даже кстати. Оно хоть на нѣсколько часовъ заставило всѣхъ отойти отъ своей собственной жизни.

Пуще всѣхъ извѣстіе это поразило Катерину Михайловну. Ей, въ сущности, не было никакого дѣла, былъ-ли у ея покойнаго мужа незаконный сынъ или нѣтъ. Хоть десять, хоть двадцать—ей все равно! Но принимать этого сына у себя въ домѣ она не могла...

Между тѣмъ Борисъ Сергѣевичъ прямо сказалъ ей, что избѣгнуть этого, по сложившимся обстоятельствамъ, нельзя, что онъ проситъ ее быть спокойной и, если ей угодно, ей даже незачѣмъ видѣть Бородина; но если случайно она съ нимъ встрѣтится, то пусть вспомнитъ, что, вѣдь, онъ то ни въ чемъ не виноватъ.

Онъ просто Михаилъ Ивановичъ Бородинъ и ничего больше, а если ее поразитъ его сходство съ покойнымъ Владиміромъ, то ей, конечно, нечего этого выказывать. Онъ ее только долженъ предупредить объ этомъ сходствѣ.

Онъ показалъ ей даже дагерротипный портретъ Михаила Ивановича. Катерина Михайловна пришла въ ужасъ.

— Да, вѣдь, это вылитый Владиміръ!—воскликнула она.— Вы можете дѣлать все, что вамъ угодно, Борисъ, откапывать какихъ хотите... (она хотѣла употребить рѣзкое слово, но не договорила). Вы, очевидно, желаете скандала... Вы не думаете о положеніи Сергѣя и Николая... Дѣлайте, что угодно, впускайте въ этотъ домъ кого хотите, но меня увольте... я, конечно, къ нему не выйду...

Борису Сергѣевичу стало неловко. Онъ видѣлъ, что въ нѣкоторомъ отношеніи она даже и права. Но онъ уже, говоря съ нею, переговорилъ заранѣе съ ея сыновьями и все было рѣшено.

Едва онъ отъ нея вышелъ, какъ она предалась своему негодованію. Она была увѣрена, что онъ нарочно все это подстроилъ именно съ цѣлью оскорбить ее, да и не только ее, а и Сергѣя и Николая. Она была готова заподозрить его въ чемъ угодно.

«Да, да,—говорила она себѣ,—онъ только прикинулся. Онъ вовсе никого изъ нихъ не любитъ. Онъ пріѣхалъ не для того, чтобы найти семью, а для того, чтобы отомстить...»

До сихъ поръ она была увѣрена, что ея дѣти его единственные наслѣдники, что все его громадное состояніе, по всѣмъ правамъ, да и по желанію его, перейдетъ, конечно, къ нимъ. Она боялась сначала за Николая, но полагая, что комедія, сыгранная ею передъ Борисомъ Сергѣевичемъ, подѣйствовала, успокоилась на томъ, что онъ не захочетъ семейнаго позора.

А теперь что-же это? Можетъ быть, уже онъ заранѣе тамъ, въ Сибири, рѣшилъ ихъ всѣхъ обмануть и провести. Можетъ быть, у него уже все давно подстроено. Ея дѣти, пожалуй, ничего не увидятъ изъ его богатства: «онъ его раздастъ разнымъ найденышамъ, только чтобы намъ ничего не досталось...»

Вотъ ужъ онъ началъ. Онъ уже значительно уменьшилъ свое богатство этимъ дурацкимъ освобожденіемъ крестьянъ. Теперь является на сцену какой-то будто-бы сынъ Владиміра. Можетъ быть, онъ и есть сынъ Владиміра, и, вѣроятно, не одинъ у него былъ, но онъ нашелъ его и обрадовался...

Теперь онъ всѣхъ ихъ унизитъ, а этого незаконнаго сдѣлаетъ своимъ наслѣдникомъ. Почемъ знать, можетъ быть, онъ дойдетъ до того, что станетъ хлопотать даже о передачѣ ему родового имени...

Но тутъ Катерина Михайловна остановилась, невольно почувствовавъ, что, кажется, начинаетъ черезчуръ фантазировать.

«Нѣтъ, это было-бы слишкомъ... да и не согласятся. Странно, однако, отчего же онъ не выдастъ этого человѣка за своего собственнаго сына? Тогда бы, вѣдь, ему легче было-бы исполнить весь этотъ гнусный замыселъ».

Она задумалась надъ этимъ и сейчасъ-же поняла—отчего.

Конечно, для того, чтобы окончательно унизить ее и ея дѣтей! «Да, да, конечно! Не даромъ же я всегда сомнѣвалась въ его добродѣтеляхъ. Онъ хитеръ и страшно золъ!..»

И она не замѣчала, что обманываетъ сама себя, что именно она всегда была увѣрена въ добродѣтеляхъ Бориса Сергѣевича, въ его благородствѣ. А теперь на нее нашло просто какое-то затмѣніе... Черезчуръ она была измучена, черезчуръ стала всего бояться и всюду видѣла противъ себя враждебные замыслы.

Даже ея здоровье за это послѣднее время испортилось. Она страдала безсонницей, часто по цѣлымъ ночамъ не могла сомкнуть глазъ, а если и заснетъ, то начинаютъ ей грезиться такіе страшные сны, что она просыпается, вся покрытая хододнымъ потомъ, въ лихорадкѣ, въ безнадежномъ ужасѣ и отчаяніи...

И Сергѣй, и даже Николай отнеслись совсѣмъ иначе къ извѣ-

стію о томъ, что у нихъ есть братъ, хотя и незаконный, хотя и такой, родство съ которымъ нельзя будетъ признать, но все-же братъ.

Борисъ Сергѣевичъ, призвавъ ихъ обоихъ къ себѣ, откровенно объяснилъ имъ все, познакомилъ ихъ заочно съ Михаиломъ Ивановичемъ, разсказалъ всю необычайную исторію его жизни и обстоятельства, вслѣдствіе которыхъ онъ находилъ теперь излишнимъ скрывать отъ нихъ существованіе этого человѣка. Эти обстоятельства были: необыкновенное сходство съ ихъ отцомъ и всѣ послѣдствія непредусмотрительности Прыгунова.

— Вы сами теперь должны понять,—говорилъ онъ:—что я не могу принимать таинственнаго участія въ жизни Михаила Ивановича и уже тѣмъ менѣе могу пренебречь имъ. Я его полюбилъ и надѣюсь, друзья мои, что и вы его тоже полюбите. Онъ хорошій человѣкъ... и, вѣдь, какъ бы то ни было, мы должны быть его родными.

Племянники согласились съ дядей.

— Конечно, я могъ бы не звать его сюда,—продолжалъ онъ:—могъ бы оставить его въ Москвѣ; но надобно ли это? Мнѣ кажется, что теперь, рано или поздно, вы бы все равно узнали, а я всегда находилъ, что самое лучшее дѣйствовать прямо и открыто.

Онъ вглядывался въ племянниковъ, слѣдилъ за впечатлѣніемъ, произведеннымъ на нихъ. Конечно, если-бы все это произошло въ другое время, они, можетъ быть, были бы поражены и, главное, было бы больше разговоровъ. Теперь же общее горе если не уменьшало, то все-же измѣняло впечатлѣніе.

И Сергѣй, и Николай сначала почувствовали себя неловко; но затѣмъ рѣшили, что дядя правъ, и оба обѣщали ему отнестись къ Михаилу Ивановичу искренно и сердечно.

— Теперь, вѣдь, надѣюсь, не будетъ никакихъ объясненій?— проговорилъ Николай.

— Конечно, конечно!—воскликнулъ Борисъ Сергѣевичъ.— Если эти объясненія тяжелы для васъ, то для него еще гораздо тяжелѣе... Ну, спасибо, что вы меня поддержали!.. Впрочемъ, я въ васъ не сомнѣвался.

Николай задумался было надъ этой новостью, но скоро позабылъ о ней, снова вернувшись къ своей тоскѣ и рѣшимости уѣхать какъ можно скорѣе. Онъ уже подалъ въ отставку и дѣлалъ всѣ приготовленія къ далекому путешествію.

Куда онъ ѣдетъ—онъ еще не зналъ, онъ только такъ собирался, какъ будто ему ужъ не суждено вернуться въ Петербургъ. Онъ весь день не выходилъ изъ своего кабинета, тамъ и ночевалъ.

Сергѣй же кончилъ тѣмъ, что даже обрадовался этому нежданному родственнику, — мысли о немъ отвлекали его отъ всѣхъ

этихъ «исторій», какъ онъ, подбадривая себя, самъ себѣ называлъ то, что творилось теперь у нихъ въ домѣ.

Михаилъ Ивановичъ, въ первое же свое посѣщеніе дома Горбатовыхъ, увидѣлся съ братьями. Это свиданіе произошло, повидимому, совсѣмъ спокойно. Дядя ихъ познакомилъ какъ постороннихъ людей; они бесѣдовали другъ съ другомъ болѣе часу и Михаилъ Ивановичъ долженъ былъ сознаться, что у него славные братья.

Особенно понравился ему Сергѣй, крѣпко, крѣпко при прощаніи сжавшій его руку и не разъ во время разговора обращавшійся къ нему со своей доброй, всѣхъ побѣждавшей улыбкой.

Только Михаилъ Ивановичъ былъ все-же въ концѣ концовъ смущенъ: онъ замѣтилъ что-то неладное въ этомъ домѣ; въ особенности Николай показался ему совсѣмъ страннымъ. Онъ, конечно, ничего не зналъ и приписалъ всѣ замѣченныя имъ странности его появленію.

«Это и понятно!—говорилъ онъ себѣ.—И, наконецъ, никто же не заставляетъ меня ихъ тревожить. Я не стану бывать у нихъ—вотъ и все»...

Онъ, какъ-то внутренно встряхнувшись, принялся обсуждать все, что слышалъ отъ Бориса Сергѣевича, все что относилось до его «собственныхъ» дѣлъ.

На слѣдующій-же день, въ сопровожденіи дяди, онъ сдѣлалъ визитъ къ нѣкоторымъ лицамъ, отъ которыхъ зависѣлъ успѣхъ его начинавшейся дѣятельности. Онъ держалъ себя съ такимъ тактомъ, выказалъ въ обращенныхъ къ нему разговорахъ такую ясность мысли, такой практичный складъ ума, что произвелъ на всѣхъ самое выгодное впечатлѣніе.

Онъ первый-же и замѣтилъ это и рѣшилъ, что начало хорошо.

Отъ волненія онъ не спалъ почти всю ночь и то и дѣло заставалъ себя на размышленіяхъ о томъ, какіе результаты, какія выгоды и барыши можетъ принести такое-то и такое-то изъ дѣлъ, о которыхъ съ нимъ въ этотъ день говорили.

«Не о хлѣбѣ единомъ живъ будетъ человѣкъ!»—вспоминались ему слова Капитолины Ивановны, но онъ только снисходительно улыбался этому воспоминанію—и оно исчезало.

Онъ чувствовалъ, что у него выростаютъ крылья.

XXV.

Призывъ.

Покончить съ собою, насильственно прервать свою жизнь, вовсе нетрудно, когда эта жизнь стала въ тягость, когда чувствуется невыносимая, мучительная усталость, когда слабы нрав-

ственныя силы. Минута отчаянія, минута самозабвенія,—все какъ въ туманѣ, будто какая-то посторонняя, соблазняющая сила подталкиваетъ руку... Одинъ шагъ, одно движеніе — и кончено!.. и уже назадъ нельзя!..

Страданіе! Но о немъ не думается и оно мгновенно, а за этимъ мгновеніемъ конецъ всему: тоскѣ, усталости, слабости...

Умереть не трудно, но пережить извѣстныя минуты, часы и дни иногда требуетъ отъ человѣка огромной затраты нравственныхъ силъ, и послѣ такой затраты человѣкъ выходитъ совсѣмъ преображеннымъ. А потомъ, черезъ долгое время, когда уляжется старое горе, вспоминая его невольно приходитъ вопросъ: да откуда-же взялись эти силы? Какъ можно было пережить эти минуты, эти невыносимыя ощущенія? Какъ они не уничтожили, не сломили организма, какъ выдержалъ мозгъ, какъ не разорвалось сердце?..

Николай переживалъ теперь именно такія минуты, часы и дни. Какой-нибудь благоразумный, хладнокровный человѣкъ скажетъ: «ужъ будто его положеніе было такъ невыносимо? Что такое неудачная любовь въ борьбѣ съ долгомъ? Мало-ли у кого бываетъ неудачная любовь, мало-ли кто отказывается отъ призрака счастья, сознавая долгъ, а иногда даже и просто слѣдуя совѣтамъ разсудка, благоразумія?.. И люди отъ этого не ищутъ смерти, не сходятъ съ ума!.. И даже такого человѣка, какъ Николай, и жалѣть нечего. Кто-же виноватъ, что онъ рано женился, кто-же виноватъ, что онъ носится съ какой-то раздвоенной, непонятной любовью къ двумъ женщинамъ? Если онъ борется со своимъ сердцемъ, если не поддается своей страсти—ну и прекрасно, такъ и слѣдуетъ!..»

«Кто-жъ виноватъ?» Конечно, никто не виноватъ, да никто никого и не винитъ,—не винилъ и самъ Николай. Дѣло не въ обвиненіи, а въ болѣзни, въ мукахъ...

Николай былъ серьезно боленъ, болѣзнь его подготовлялась годами и теперь, очевидно, долженъ былъ произойти съ нимъ кризисъ, переломъ въ его жизни. А что страдалъ онъ глубоко—въ этомъ не могло быть сомнѣнія и въ страданіяхъ его не исключительно была причиной та стихійная сила, которая иныхъ людей даже и совсѣмъ не касается въ теченіе жизни, другихъ едва затрогиваетъ, а третьихъ ломитъ,—стихійная сила, называемая страстью любви, страшно могучая сила, наполняющая всю природу, вѣчно живая, несмотря на пренебрежительныя гримасы охладѣвшихъ, остывшихъ, недоступныхъ уже для нея организмовъ, вѣчно живая распорядительница природы...

Николай уже выдержалъ первый натискъ этой силы и устоялъ. Онъ хорошо зналъ, что не для него не разъ грезившееся

ему блаженство, онъ видѣлъ ясно, что не для него даже и тѣ скромные обрывки счастья, которые казались возможными еще такъ недавно.

Съ Наташей онъ уже простился; но ему приходилось проститься со всѣми и со всѣмъ, что ему было близко и дорого, и онъ все мучительнѣе чувствовалъ, до какой степени все это ему близко и дорого. Такъ что жъ, кто-же велитъ? Надо разстаться съ Наташей—и оставить себѣ все остальное, то-есть, конечно, прежде всего Мари и Гришу, если они дѣйствительно дороги.

Но что-жъ дѣлать, если эта здравая, повидимому, логика оказывалась для него непримѣнимой? «Такъ, значитъ, онъ сошелъ съ ума!..» Если-бы кто-нибудь ему сказалъ это, онъ, конечно, не сталъ-бы спорить...

Прошло нѣсколько дней. Онъ уже почти устроилъ свои дѣла... Еще недѣля—и онъ уѣдетъ. Онъ бы могъ уѣхать, если-бы хотѣлъ, хоть завтра, но, самъ того не замѣчая, тянулъ время, откладывалъ день за день, несмотря на всю невыносимость жизни въ этомъ домѣ.

Онъ былъ какъ въ туманѣ, но никто теперь не могъ замѣтить его душевнаго состоянія. Его выразительное лицо, обыкновенно выдававшее малѣйшія ощущенія, теперь превратилось въ какую-то неподвижную, застывшую маску. Онъ былъ похожъ на автомата и нѣсколько оживлялся только за чтеніемъ дядиныхъ тетрадей. Окончивъ это чтеніе, онъ принесъ тетради Борису Сергѣевичу и они весь вечеръ протолковали о необъяснимыхъ явленіяхъ, о которыхъ, главнымъ образомъ, говорилось въ этихъ тетрадяхъ. Борисъ Сергѣевичъ съ особеннымъ удовольствіемъ бесѣдовалъ теперь съ Николаемъ о такихъ вещахъ, о которыхъ никогда ни съ кѣмъ не говорилъ. Онъ разсказывалъ ему о мистическихъ грезахъ своей юности, о масонскихъ работахъ, объ изысканіяхъ, произведенныхъ имъ въ западной Европѣ, о читанныхъ имъ старыхъ кабалистическихъ книгахъ.

— Я имѣлъ обо всемъ этомъ уже нѣкоторое понятіе,—сказалъ Николай:—но до сихъ поръ думалъ, что все это только заблужденія человѣческаго разума, невольно и вѣчно ищущаго таинственности.

— Напрасно думалъ,—горячо перебилъ его Борисъ Сергѣевичъ.—Что истина завернута во всевозможное негодное тряпье—это вѣрно; но кто сумѣетъ хорошенько и терпѣливо размотать это тряпье—найдетъ ее... Я самъ, ко времени моей ссылки, былъ въ этомъ отношеніи совсѣмъ разочарованъ и до такой степени спутался, что порѣшилъ даже навсегда оставить эти занятія. Такъ и сдѣлалъ на нѣсколько лѣтъ. Но затѣмъ, въ Азіи совсѣмъ случайно, опять попалъ на ту-же дорогу... Я по-

комился съ однимъ очень страннымъ человѣкомъ, до того страннымъ, что и до сихъ поръ не могу себѣ объяснить его... Ты уже знакомъ съ нимъ по этимъ тетрадямъ...

— Нуръ-Сингъ?—спросилъ Николай.

— Да. Онъ индусъ и ведетъ свое происхожденіе отъ какой-то чуть не допотопной царской династіи. Я столкнулся съ нимъ во время своего путешествія по Тибету и никогда въ жизни не думалъ даже, что можно встрѣтить такого интереснаго человѣка. Каково было мое изумленіе, когда этотъ житель глубокихъ азіатскихъ дебрей совершенно ясно представилъ мнѣ положеніе нашей европейской науки! Онъ говорилъ со мной нѣсколько часовъ и мнѣ казалось, что я слышу самаго ученаго нѣмецкаго профессора, всю жизнь изучавшаго философію...

— Онъ никогда не былъ въ Европѣ?—спросилъ Николай.

— Увѣряетъ, что нѣтъ, и откуда онъ всему этому научился, какимъ способомъ—онъ мнѣ не сказалъ и это для меня, должно быть, навсегда останется тайной. Потомъ, убѣдивъ меня въ своихъ европейскихъ знаніяхъ, онъ вдругъ выставилъ передомною знанія совсѣмъ иного рода, уже мною почти тогда позабытыя, признанныя бредомъ. Правда, кое-что изъ этихъ знаній, изъ этого бреда, навязывалось ко мнѣ снова еще до встрѣчи съ нимъ, въ Сибири. Я былъ въ большой пріязни съ нѣкоторыми буддистскими ламами и, изучая азіатскіе языки, снова натолкнулся на когда-то занимавшія меня явленія. Но все это было очень поверхностно, все это опять-таки можно было свести къ фантазіи, къ суевѣріямъ и тому подобному. А вотъ онъ, этотъ Нуръ-Сингъ, говорилъ мнѣ совсѣмъ инымъ языкомъ, говорилъ какъ ученый кабалистъ... Я вспомнилъ многое изъ своихъ прежнихъ занятій, и, кажется, заинтересовалъ его. Когда онъ увидѣлъ, что я все-же очень далекъ отъ его міровоззрѣнія, онъ рѣшился поразить меня—и достигъ этой цѣли. Ты знаешь изъ моихъ тетрадей о необыкновенныхъ дѣйствіяхъ, произведенныхъ въ моемъ присутствіи этимъ человѣкомъ...

— Но, вѣдь, никакая самая волшебная сказка,—перебилъ Николай:—не сравнится съ тѣмъ, что вы описали! Вѣдь, этому никто, никто какъ есть не повѣритъ.

Борисъ Сергѣевичъ усмѣхнулся.

— Конечно, никто не повѣритъ! Поэтому я и не намѣреваюсь не только печатать эти тетради, но и кому-либо говорить о томъ, что въ нихъ написано. Только тебѣ одному я ихъ далъ и затѣмъ онѣ будутъ лежать подъ спудомъ и никто ихъ не увидитъ при моей жизни...

— Зачѣмъ же вы мнѣ ихъ дали? Развѣ вы думаете, что только я одинъ могу всему этому повѣрить?

— Да, я это думаю. Я знаю, напримѣръ, что вотъ теперь тебѣ даже самому кажется, что все это пустяки, что я—человѣкъ, обманутый ловкимъ фокусникомъ, а между тѣмъ, внутри тебя говоритъ что-то, что можетъ быть я и не обманутъ—и тебя все это сильно интересуетъ. Вѣдь, такъ? Вѣдь, правда?

— Да, конечно, правда. Но теперь я изумляюсь, какимъ это образомъ вы уѣхали изъ Азіи, дядя? Какъ вы могли покинуть этотъ міръ чудесъ? Я бы на вашемъ мѣстѣ ни за что не вернулся въ Россію.

— Кто-же тебѣ сказалъ, что я здѣсь навсегда останусь? Я долженъ былъ ѣхать, потому что мнѣ хотѣлось устроить своихъ крестьянъ, и потомъ—мнѣ хотѣлось увидать всѣхъ васъ...

— Много хорошаго увидали! — со вздохомъ вырвалось у Николая.

— Но все-же я не раскаяваюсь въ своемъ пріѣздѣ сюда, онъ былъ моей потребностью, я отогрѣлъ свое застывавшее сердце... Видишь-ли, я неспособенъ достигнуть высшаго равнодушнаго спокойствія, которое рекомендуетъ мой другъ Нуръ-Сингъ... Я человѣкъ земли и у меня все еще бьется и болитъ сердце... Но что я вернусь еще въ Азію—это мною уже почти рѣшено...

Вдругъ что-то новое мелькнуло въ лицѣ Николая.

Борисъ Сергѣевичъ замѣтилъ это.

— Что, все еще разбираютъ сомнѣнія, не вѣрится?

— Да, не вѣрится!—рѣшительно сказалъ Николай. — Я не могъ оторваться отъ вашихъ тетрадей, читалъ ихъ какъ описанія дѣйствительности, а между тѣмъ теперь вотъ, сейчасъ, чувствую, что все-же это для меня сказка. Да и потомъ, я не вижу конечнаго смысла этой сказки.

— Вотъ чего захотѣлъ? Такъ, сразу, въ нѣсколько дней! Да, вѣдь, это цѣлая огромная наука, а если вѣрить Нуръ-Сингу, то надо по меньшей мѣрѣ семь лѣтъ для того, чтобы человѣка подпустили только къ первому порогу знанія... Онъ говоритъ, что для того, чтобы познать часть истины, недостаточно человѣческой жизни...

— Ну, вотъ видите, вотъ ужъ и начинается сказка! Что они ловки, эти азіатскіе мудрецы, въ томъ не можетъ быть сомнѣнія, очень ловкіе и даже, можетъ быть, знаютъ то, чего мы еще не знаемъ, но что во всемъ этомъ много шарлатанства и обмана—это, мнѣ кажется, тоже вѣрно...

— Не знаю... не знаю!—повторялъ Борисъ Сергѣевичъ.—Да вотъ постой, я тебѣ дамъ еще одну книжку, то-есть не книжку, а опять тетрадь, мой переводъ, твореніе одного изъ ихъ мудрецовъ. Прочти и скажи, что объ этомъ думаешь.

Получивъ новую тетрадь, Николай ушелъ къ себѣ и засталъ

на своемъ письменномъ столѣ дожидавшееся его письмо. Онъ взглянулъ: почеркъ незнакомый. Письмо запечатано какой-то замысловатой гербовой печатью съ графской короной.

«Это еще отъ кого?»—подумалъ Николай и тотчасъ-же отбросилъ письмо, не распечатавъ его.

Онъ раскрылъ дядину тетрадь и началъ чтеніе.

Съ первыхъ словъ мистическая философія востока увлекла его. Хотя онъ и объяснилъ дядѣ, что все это сказка, но эта сказка очень гармонировала съ его теперешнимъ настроеніемъ.

Ему казалось, что со строкъ этой рукописи ему шепчетъ какой-то тихій, успокоивающій голосъ, что кто-то ему обѣщаетъ что-то, подаетъ какую-то неясную надежду.

И онъ жадно читалъ.

А между тѣмъ лежавшее рядомъ съ тетрадью письмо разъ, другой и третій бросилось ему въ глаза.

«Что это за печать? Что это за гербъ?» подумалъ онъ, протянулъ руку къ письму, разорвалъ конвертъ, развернулъ письмо, взглянулъ на подпись: «Графъ Щапскій».

Письмо коротенькое, французское. Николай пробѣжалъ его глазами. Въ письмѣ своемъ графъ Щапскій сообщалъ ему, что имъ необходимо увидѣться безъ свидѣтелей, по крайне важному для Николая дѣлу.

«Повѣрьте,—писалъ Щапскій:—что если-бы это дѣло не было дѣйствительно для васъ важнымъ, я бы не обратился къ вамъ. И наше свиданіе должно быть съ глазу на глазъ. А потому я убѣдительно прошу васъ сегодня вечеромъ ко мнѣ заѣхать, я весь вечеръ буду ждать васъ».

Николай раздражительно бросилъ письмо.

«Это еще что за таинственность? И теперь очень мнѣ нужно! Богъ съ нимъ совсѣмъ, ничего не можетъ быть важнаго, ничего не можетъ быть серьезнаго...»

Онъ рѣшилъ, что не поѣдетъ къ Щапскому. Наживетъ въ немъ себѣ врага? Ну такъ что-же, пусть. Онъ до сихъ поръ еще никогда не сдѣлалъ лишняго шага для избѣжанія вражды. А ужъ теперь-то—стоитъ-ли объ этомъ думать? Черезъ нѣсколько дней его не будетъ въ Петербургѣ.

А главное, Щапскій ему ужъ очень не нравился. За его изысканной любезностью онъ видѣлъ что-то до крайности фальшивое. Однимъ словомъ, чувство, называемое антипатіей, отталкивало его отъ этого человѣка.

XXVI.

Послѣднее испытаніе.

Графъ Щапскій не любилъ останавливаться на полпути. Рѣшивъ дѣйствовать какъ можно скорѣе, онъ только ждалъ, чтобы Катерина Михайловна доставила ему деньги.

Собрать пятьдесятъ тысячъ она не могла, но все-же послала двадцать тысячъ и объяснила ему въ запискѣ, что раньше какъ черезъ два мѣсяца у нея больше не будетъ денегъ. При этомъ она просила его не ѣхать къ нимъ.

«Я больна и не выхожу изъ своихъ комнатъ и все равно никого не могу принять».

Онъ умѣлъ читать между строкъ, и эта записка убѣдила его въ томъ, что она не лжетъ, что она дѣйствительно больше денегъ дать не можетъ и что два мѣсяца придется ждать.

Онъ нашелъ, что можно дать немножечко отдохнуть матери и что пришло время обратиться къ сыну.

Написавъ записку Николаю, онъ разсудилъ:

«Это, конечно, изумитъ и даже, пожалуй, раздражитъ его. Если онъ пріѣдетъ ко мнѣ—тѣмъ лучше, у меня, конечно, всего удобнѣе намъ объясниться. А, можетъ быть, онъ не пріѣдетъ, въ такомъ случаѣ вина не моя... А что если ему вздумается обратиться за объясненіями къ матери?»

Онъ даже нѣсколько встревожился при этой мысли, но тотчасъ-же успокоился и даже злая усмѣшка мелькнула на лицѣ его. «Ничего! Что-же она ему скажетъ? Перепугается, станетъ выдумывать что-нибудь, чтобы помѣшать нашему свиданію. Но тогда-то онъ ужъ навѣрное у меня будетъ! А если и не пріѣдетъ и не спроситъ у матери?.. Тогда я къ нему поѣду!»—рѣшилъ Щапскій.—«Съ такими документами, какіе у меня будутъ въ карманѣ, мнѣ открыта дорога всюду и бояться нечего. Да и чего-же бояться? Встрѣчи съ этимъ Борисомъ? Во-первыхъ, я могу выслѣдить когда его не будетъ дома, а потомъ я и его не испугаюсь, и уже, конечно, изъ всѣхъ одинъ я не потеряю самообладанія...» Есть люди очень злые и очень безнравственные, способные на самыя жестокія, на самыя грязныя дѣянія, но все-же нерѣдко медлящіе приведеніемъ ихъ въ исполненіе, не рѣшающіеся сдѣлать то, чего бы хотѣлось. Что ихъ останавливаетъ? Конечно не совѣсть, а страхъ передъ общественнымъ мнѣніемъ, передъ мнѣніемъ тѣхъ лицъ, которыя послѣ ихъ дѣянія наконецъ ихъ узнаютъ и назовутъ ихъ настоящимъ именемъ. А этого настоящаго ихъ имени они трепещутъ и стыдятся. Въ нихъ говоритъ

не совѣсть, но остатки «совѣстливости», сознаніе, что хотя они и поступаютъ извѣстнымъ образомъ, но поступаютъ дурно.

У графа Щапскаго такого сознанія никогда не было. Онъ считалъ себя всегда правымъ, а что такое значитъ совѣстливость—объ этомъ онъ не имѣлъ никакого понятія. Пусть его называютъ люди какъ имъ угодно: все дѣло въ томъ, чтобы они не имѣли возможности дѣйствительно повредить ему.

Поэтому и не мудренно, что, прождавъ весь вечеръ Николая и не получивъ не только его визита, но и никакого отвѣта, онъ рѣшился на слѣдующій день самъ навѣстить свою жертву. Катерина Михайловна написала ему, что больна и никого не принимаетъ. Прекрасно! Но онъ спроситъ прямо Николая Владиміровича и пройдетъ къ нему. А если онъ не захочетъ его принять? Тогда онъ напишетъ на своей карточкѣ и пошлетъ ему нѣсколько словъ, послѣ которыхъ уже навѣрно будетъ принятъ.

Но этихъ словъ ему писать не пришлось, такъ какъ Николай, когда ему доложили о пріѣздѣ Щапскаго, велѣлъ просить и принялъ его въ своемъ рабочемъ кабинетѣ.

— Извините меня,—сказалъ онъ, идя на встрѣчу Щапскому:— я получилъ вашу записку, но не могъ быть у васъ... Я очень занятъ... такъ какъ уѣзжаю.

«Глупая отговорка!—подумалъ Щапскій.—Могъ бы хоть написать». Но вглядѣвшись въ лицо Николая, онъ замѣтилъ его блѣдность, его совсѣмъ разстроенный видъ.

— Вы уѣзжаете? Куда?

— Заграницу.

— На долго?

— Не знаю...

«Вотъ и хорошо, что не сталъ откладывать»,—подумалъ Щапскій.

— Прошу васъ, садитесь, графъ! Что такое вы имѣете мнѣ передать? Я ничего не понялъ изъ вашей записки, да и не могу себѣ представить что-бы это такое было...

Щапскій сѣлъ въ указанное ему кресло и на мгновеніе задумался. Онъ еще разъ взглянулъ на Николая. Его блѣдный, измученный видъ снова изумилъ его, но не возбудилъ въ немъ ни малѣйшаго признака жалости.

— Я долженъ прежде всего разсказать вамъ одну исторію,— началъ онъ:—и прошу васъ выслушать ее до конца терпѣливо. Вы увидите, что это необходимо...

— Я васъ слушаю!—усталымъ и равнодушнымъ тономъ произнесъ Николай.

Щапскій умѣлъ хорошо говорить. Его французская рѣчь была изящна и выразительна.

Онъ сталъ передавать исторію любви одной молодой замужней женщины и одного молодого человѣка. На этотъ разъ ему вовсе не надо было показать себя въ настоящемъ свѣтѣ. Онъ, конечно, сегодня и не заикнется о своихъ требованіяхъ, все это придетъ и выяснится въ свое время и даже очень скоро. Но на первый разъ онъ долженъ сыграть маленькую и очень естественную комедію, представится нѣжнымъ отцомъ,—однимъ словомъ, началъ съ того, съ чего онъ началъ въ объясненіи своемъ съ Катериной Михайловной. Она не повѣрила, по тому что уже знала съ кѣмъ имѣетъ дѣло. Этотъ повѣритъ, а если и не повѣритъ, такъ не бѣда, и тамъ будетъ видно.

Онъ разсказывалъ, тутъ-же и выдумывая ее, горячую исторію фатальной страсти. И самъ того не подозрѣвая, говорилъ многое такое, что было именно теперь очень хорошо понятно Николаю. Николай слушалъ его красивую рѣчь и невольно отдавался ея обаянію, мучительному обаянію. Онъ снова переживалъ все, черезъ что прошелъ въ это послѣднее время. Мало-по-малу онъ сталъ такъ внимательно слушать, что даже сразу ему не пришло въ голову, что-же это такое ему разсказываютъ, къ чему все это?

Наконецъ, онъ сталъ соображать.

— Да кто-же эта женщина?—крикнулъ онъ, чувствуя какъ все въ немъ застыло, какъ отвращеніе и ужасъ мигомъ его наполнили.

Щапскій остановился и вынулъ изъ кармана нѣсколько писемъ.

Катерина Михайловна болѣе тридцати лѣтъ тому назадъ подготовила все это. Передъ рожденіемъ Николая, капризно влюбленная въ Щапскаго, видѣвшая, что онъ начинаетъ охладѣвать къ ней, что онъ вотъ-вотъ того и гляди уйдетъ изъ ея рукъ, она рѣшилась удержать его своимъ будущимъ ребенкомъ, «его» ребенкомъ.

Послѣ объясненія съ нимъ, котораго невольнымъ свидѣтелемъ былъ Борисъ Сергѣевичъ, и видя, что Щапскій не появляется у нихъ въ домѣ, она каждый день, съ настойчивостью своенравной нервной женщины, посылала ему пламенныя письма, и въ каждомъ изъ этихъ писемъ говорилось о будущемъ ребенкѣ, въ каждомъ изъ этихъ писемъ, бывшихъ, въ сущности, повтореніемъ одно другого, передавалась на всѣ лады исторія ихъ любви.

Она обѣщала посвятить ему всю жизнь, бросить для него мужа, свѣтъ, Петербургъ, уѣхать за нимъ куда угодно. Каждое изъ этихъ писемъ было объясненіемъ обстоятельствъ послѣдующей ея жизни.

Щапскій взялъ съ собою всего три, четыре письма изъ предосторожности. Но достаточно было и одного письма—оно все открыло-бы Николаю.

— Прочтите это!

Щапскій протянулъ Николаю мелко исписанные листки, и рука его дрожала, голосъ его будт , оборвался.

Если-бы Николай взглянулъ на него, онъ увидѣлъ-бы, что этотъ человѣкъ какъ-то особенно на него смотритъ: взглядъ старика долженъ былъ изображать нѣжность. Но Николай не глядѣлъ на него.

— Зачѣмъ мнѣ... зачѣмъ читать? Что такое?—не своимъ голосомъ говорилъ онъ, со страхомъ и отвращеніемъ отстраняя отъ себя протянутую руку съ письмами.

— Прочтите!—повторилъ Щапскій.

И было-ли въ его голосѣ нѣчто особенное, но вдругъ Николай, будто не по своей волѣ, а подъ какимъ-то неопредѣленнымъ давленіемъ, протянулъ руку къ письмамъ, поднесъ ихъ къ горѣвшей на столѣ, у котораго они сидѣли, лампѣ и взглянулъ. Онъ тотчасъ-же узналъ почеркъ матери, хорошо знакомый ему съ дѣтства по рѣдкимъ, но все-же время отъ времени получавшимся отъ нея изъ-за границы письмамъ.

«Что-же это? Лжетъ онъ, или нѣтъ?»

Передъ нимъ мелькнула его первая встрѣча съ Щапскимъ въ Горбатовскомъ, странный, разстроенный видъ матери, какая-то таинственность, бывшая въ этомъ посѣщеніи,—однимъ словомъ все то, на что онъ не обратилъ вниманія, занятый собою и своимъ горемъ, но что теперь не могло не броситься ему въ глаза.

«Господи! лучше ужъ разомъ...»

Онъ развернулъ первое письмо, прочелъ и уронилъ его на полъ.

Нѣсколько мгновеній онъ ничего не понималъ и не чувствовалъ, будто ударъ, страшный ударъ разразился надъ нимъ и оглушилъ его. Когда онъ очнулся отъ этого удара, то увидѣлъ передъ собою Щапскаго въ странной, неестественной позѣ, какъ будто стремящагося къ нему, какъ будто желающаго вотъ, вотъ охватить его и «взять себѣ», да, именно «взять себѣ».

И этотъ Щапскій, къ которому онъ съ первой-же минуты почувствовалъ антипатію, теперь былъ ему не только антипатиченъ, а просто страшенъ, отвратителенъ.

— Je suis votre père... vous êtes mon enfant!..—между тѣмъ патетически шепталъ Щапскій.

Но Николай уже и безъ этого его шопота понималъ что̀ все это значитъ. И въ то-же время этотъ человѣкъ казался ему все страшнѣе, все отвратительнѣе.

А Щапскій продолжалъ:

— Я давно, давно уже могъ-бы открыть это тебѣ, дорогое дитя мое, но все не рѣшался... Мнѣ было такъ тяжело... я не хотѣлъ тебя тревожить... не хотѣлъ заставлять тебя переживать эти тяжелыя минуты... Но вотъ не стало моихъ силъ... Я тебя

увидѣлъ, тамъ, въ Горбатовскомъ, увидѣлъ на мгновеніе... мнѣ хотѣлось принять тебя въ свои объятія... Вѣдь, ты одинъ, одинъ у меня на свѣтѣ! И я не смѣлъ... Ты былъ для меня чужимъ...

Николай неподвижно, съ опущенными глазами, съ безжизненнымъ лицомъ стоялъ передъ нимъ. Онъ продолжалъ:

— Только тогда я понялъ весь ужасъ моего положенія. Быть можетъ, я виноватъ, да, я виноватъ, но, вѣдь, это было заблужденіе молодости, это была фатальная страсть, въ которой человѣкъ не властенъ... И вотъ какое ужасное за нее наказаніе!.. Я старъ, я одинокъ... у меня есть сынъ... мой... мой сынъ, единственный, дорогой, любимый—и онъ меня не знаетъ!.. Дитя мое, прости старика... прости мою слабость... Но это было выше силъ моихъ... я не могъ... я долженъ былъ все открыть тебѣ... Можетъ быть, ты отъ меня не отвернешься... Мы будемъ скрывать отъ свѣта нашу тайну... Но ты будешь знать, что у тебя отецъ, для котораго ты все, и я... я не буду одинокъ въ мои послѣдніе годы, и, умирая, я умру съ отрадной мыслью, что добрая сыновняя рука закроетъ мнѣ глаза... Прости-же меня, прости... и обними, дай мнѣ прижать тебя къ сердцу!..

Николай вздрогнулъ и поднялъ на него горящіе глаза. Онъ хотѣлъ говорить, но языкъ его не слушался. Онъ только инстинктивно все дальше и дальше отодвигался отъ этого человѣка, простиравшаго къ нему объятія.

— Ты уходишь отъ меня? Ты не хочешь простить отца?.. У тебя нѣтъ къ нему жалости?—шепталъ Щапскій.

Николай получилъ наконецъ способность говорить.

— Отецъ!!—проскрежеталъ онъ.—Вы у меня все отняли и вы... вы мнѣ отецъ?! Что вы сдѣлали... гдѣ вы были?.. Кто вы, чтобы я могъ назвать васъ отцомъ?.. Я васъ не знаю!.. Вы отецъ!.. Если-бы вы были мнѣ отецъ, вы не пришли-бы теперь ко мнѣ... вы-бы знали, что вы со мной дѣлаете... вы-бы меня пожалѣли... Но мнѣ не нужно вашей жалости... я васъ не знаю и не хочу знать... Уйдите отъ меня, уйдите... оставьте меня скорѣе... сейчасъ... я васъ не знаю—слышите?.. Не знаю!.. Вы не отецъ мнѣ!..

Какъ отъ ужаснаго привидѣнія онъ отстранялся отъ этого человѣка.

— Уйдите!—крикнулъ онъ въ послѣдній разъ и такая сила прозвучала въ его голосѣ, что Щапскій попятился къ двери.

Онъ понялъ, что оставаться больше не можетъ, что говорить теперь нельзя. Онъ уходилъ. Но уходя онъ бросилъ Николаю послѣднюю фразу:

— А, я не отецъ!.. Ты отъ меня отказываешься! Ну, такъ увидишь, я заставлю тебя признать меня...

Онъ скрылся.

Но Николаю еще долго казалось, что онъ видитъ передъ собою это ужасное лицо, слышитъ этотъ отвратительный голосъ, чувствуетъ присутствіе, давящее присутствіе этого человѣка.

И долго онъ дрожалъ всѣмъ тѣломъ, не въ силахъ будучи собраться съ мыслями.

«Отецъ... онъ... онъ отецъ!»—громко, наконецъ, крикнулъ онъ.

Его взглядъ упалъ на столъ, туда, гдѣ должны были лежать письма, но писемъ не было—Щапскій не позабылъ унести ихъ съ собою. «И она... она мать моя?!»

Вдругъ ему пришло въ голову: «что-же, развѣ я одинъ? Вѣдь, много такихъ... это часто бываетъ...» Онъ вспомнилъ того человѣка, котораго до сихъ поръ считалъ своимъ отцомъ.

«Вѣдь, я никогда не любилъ его! Да любилъ-ли я когда-нибудь и мать? Я всегда долженъ былъ ломать себя съ нею... При ней мнѣ тяжело... всегда мнѣ было тяжело...»

Снова невыносимое, отвратительное ощущеніе охватило его. Онъ снова повторялъ:

«Онъ... онъ—отецъ! Этотъ ужасный человѣкъ... Да кто-же я?»

Онъ чувствовалъ одно: что этого пережить нельзя и не слѣдуетъ. «Вотъ къ чему все клонилось, вотъ въ чемъ исходъ... вотъ что значитъ вся эта жизнь... вся эта тоска.»

У него кружилась, туманилась голова, подкашивались ноги. И вдругъ ему ясно послышалось какъ чей-то голосъ надъ самымъ его ухомъ произнесъ: «конецъ! конецъ!»

Онъ даже оглянулся, но никого не было. Онъ былъ одинъ въ тихой обширной комнатѣ, блѣдно освѣщаемой большой лампой подъ абажуромъ.

Со всѣхъ сторонъ его будто стало заволакивать чѣмъ-то невидимымъ, какою-то сѣтью и стало тянуть куда-то. Онъ хотѣлъ бороться, хотѣлъ удержаться на мѣстѣ—и не могъ, и двинулся шатаясь къ своему бюро, открылъ одинъ изъ многочисленныхъ ящиковъ, вынулъ свой всегда заряженный револьверъ, потомъ подошелъ къ столу, къ лампѣ, осмотрѣлъ револьверъ, взвелъ курокъ и приподнялъ руку...

XXVII.

Случай.

Никакое воображеніе не можетъ придумать тѣхъ, повидимому совсѣмъ невѣроятныхъ, стеченій обстоятельствъ, какія представляетъ жизнь, если только внимательно въ нее вглядѣться. Всего легче назвать эти необыкновенныя стеченія обстоятельствъ слу-

чаемъ—«случай—и все тутъ!»—и можно на этомъ успокоиться.

Но найдется не мало людей во всѣхъ слояхъ общества, во всѣхъ странахъ, на всѣхъ ступеняхъ умственнаго развитія, которые не признаютъ случая и не вѣрятъ въ это безсмысленное слово. Одни изъ такихъ людей случай замѣняютъ понятіемъ Божества, Провидѣнія, другіе указываютъ на психическіе законы, еще до сихъ поръ очень мало изслѣдованные нами, но все болѣе и болѣе, такъ сказать, навязывающіеся на изслѣдованія, останавливающіе на себѣ вниманіе непредубѣжденнаго наблюдателя жизни.

Безъ всякаго сомнѣнія, большинство человѣческихъ организмовъ остаются глухи и почти нечувствительны ко всему, что касается области духовной жизни. Но врядъ-ли найдется такой человѣкъ, который-бы могъ сказать искренно, что ни разу не встрѣтился съ чѣмъ-нибудь страннымъ, непонятнымъ, необъяснимымъ.

И съ другой стороны, безспорно существуютъ люди, и ихъ гораздо больше, чѣмъ можетъ показаться съ перваго раза, которые способны ощущать и даже понимать то, чего другіе не ощущаютъ и не понимаютъ.

Къ числу такихъ людей принадлежалъ и Борисъ Сергѣевичъ. Съ нимъ иной разъ, съ самаго дѣтства, творились странныя вещи и онъ поневолѣ вѣрилъ, напримѣръ, въ предчувствіе.

Вотъ и теперь съ нимъ случилась странная вещь, случающаяся, однако, съ весьма многими.

Онъ сидѣлъ у себя погруженный въ невеселыя мысли, какъ вдругъ почувствовалъ необыкновенное безпокойство. Безпокойство это возростало съ каждой минутой, переходило въ тоску и, наконецъ, даже въ чисто физическое, мучительное ощущеніе въ сердцѣ. Онъ бросилъ книгу, которую читалъ; нѣсколько разъ тревожно прошелся по комнатѣ. Но тоска и безпокойство не проходили и онъ наконецъ, понялъ, что это не спроста, что есть что-то особенное, что теперь совершается или готовится совершиться что-то важное и близкое ему, какое-то несчастіе. Вѣдь, это ужъ не въ первый разъ онъ испытывалъ именно такое ощущеніе. Это предчувствіе бѣды и оно его никогда не обманывало.

Не мудрено теперь быть бѣдѣ, бѣда виситъ въ воздухѣ, много бѣдъ уже собралось надъ этимъ кровомъ. Но что-же еще? Что еще новое?

Внезапно ему пришла мысль о Николаѣ, ему захотѣлось во что-бы то ни стало сейчасъ, какъ можно скорѣе его увидѣть.

Онъ поспѣшно всталъ и скорымъ шагомъ отправился въ комнаты Николая.

Если-бы онъ не нашелъ его тамъ, если-бы оказалось, что онъ уѣхалъ, онъ бы, кажется, отправился его разыскивать по всему

городу. Онъ подошелъ къ двери кабинета и быстро, будто его подталкивало что-то, распахнулъ эту дверь. Передъ нимъ стоялъ Николай, освѣщенный блѣднымъ свѣтомъ лампы, съ револьверомъ въ рукѣ, съ помертвѣлымъ лицомъ и безумными, ничего не видящими глазами.

У Бориса Сергѣевича захватило духъ. Еще секунда, другая— и онъ бы опоздалъ! Онъ подбѣжалъ къ Николаю, схватилъ его за руку, вырвалъ у него револьверъ.

Тотъ, очевидно, не понималъ, что такое происходитъ.

Но вотъ онъ узналъ дядю, тяжелый вздохъ вырвался изъ груди его.

— Зачѣмъ вы мнѣ помѣшали?—дико озираясь, прошепталъ онъ.

— Николай, другъ мой, опомнись, приди въ себя, собери все мужество, будь человѣкомъ!..

Онъ самъ не зналъ, что говоритъ, но говорилъ, не выпуская Николая. Онъ заставилъ его сѣсть и самъ сѣлъ рядомъ съ нимъ и продолжалъ говорить, уговаривать, успокоивать. Крѣпко его обнялъ.

Мало-по-малу Николай сталъ приходить въ себя, сталъ какъ-то отогрѣваться отъ этой искренней, горячей ласки, отъ этого участія.

— Да знаете-ли вы—кто былъ здѣсь?..—выговорилъ онъ.

— Кто? кто былъ?

— Былъ мой... мой отецъ!!

— Успокойся!—еще нѣжнѣе, еще крѣпче его обнимая, говорилъ Борисъ Сергѣевичъ. — Ты усталъ, ты измученъ, у тебя нервы разстроились... тебѣ померещилось...

— Не померещилось... не съ того свѣта отецъ... другой отецъ...

Борисъ Сергѣевичъ вздрогнулъ.

— Одумайся, очнись! Что ты говоришь?

— Спросите мою мать, пусть она вамъ скажетъ, кто мой отецъ. Я вамъ чужой... не родной... О Боже!—простоналъ онъ, хватаясь за грудь.

— Да это ложь!.. Не вѣрь... не вѣрь!..

— Онъ показалъ мнѣ ея письма... и потомъ... я самъ... нѣтъ... я знаю, что это правда... Зачѣмъ вы меня остановили?

Борисъ Сергѣевичъ припомнилъ комедію, которую разыграла съ нимъ въ Знаменскомъ по его пріѣздѣ Катерина Михайловна, и теперь самъ сталъ играть ту-же комедію, воспользовавшись ея урокомъ. Онъ сдѣлалъ все, чтобы разубѣдить его. Онъ не пожалѣлъ его матери, да если-бы и захотѣлъ, то не могъ-бы доказать ея невинность, но она сама ему дала возможность поселить въ умѣ Николая сомнѣніе, и Борисъ Сергѣевичъ не успокоился до тѣхъ поръ, пока не увидѣлъ, что сомнѣніе это поселено и

что Николай ухватился за него какъ за послѣднее спасеніе.

Наконецъ, Борисъ Сергѣевичъ убѣдился, что опасаться теперь нечего, что припадокъ слабости прошелъ и что Николай даже самъ стыдится этого припадка.

— Я даю вамъ слово,—сказалъ Николай: — что никогда не допущу въ себѣ этой трусости... Не бойтесь за меня, я даю вамъ слово... я буду жить... но какъ жить? гдѣ? чѣмъ? Помогите мнѣ... Куда мнѣ скрыться? Куда уйти отъ всего и отъ всѣхъ?..

Борисъ Сергѣевичъ уже самъ рѣшилъ, что нечего теперь требовать отъ Николая невозможнаго. А это невозможное заключалось въ томъ, чтобы онъ уѣхалъ изъ Петербурга съ женою и сыномъ—этого онъ не вынесетъ... Нужно время — время сдѣлаетъ свое дѣло. А теперь ему дѣйствительно необходимо окунуться въ какую-нибудь совсѣмъ новую, совсѣмъ иную жизнь, пережить совсѣмъ неожиданныя впечатлѣнія.

— Уѣзжай не на западъ, а на востокъ!—сказалъ ему онъ.— Я не даромъ тебѣ далъ мои тетради. Уѣзжай туда, гдѣ, можетъ быть, еще до сихъ поръ не ступала нога европейца. Тебя тамъ ждутъ...

— Кто ждетъ?

— Не далѣе какъ сегодня я получилъ странное письмо... Постой, я принесу тебѣ его...

Онъ ушелъ и вернулся съ письмомъ на англійскомъ языкѣ. Это писалъ Нуръ-Сингъ. Письмо было краткои въ немъ значилось: «вы ушли, но вы скоро пришлете ко мнѣ близкаго вамъ человѣка и онъ найдетъ здѣсь то, что ему надо. Я жду его...»

— Вы ничего обо мнѣ ему не говорили и не писали?—спросилъ Николай.

— Не говорилъ, потому-что когда его видѣлъ — не зналъ еще тебя... И не писалъ. Разсуди самъ, если-бы я написалъ ему послѣ нашей встрѣчи съ тобою, то врядъ-ли-бы ужъ могъ получить отъ него отвѣтъ. Но если и можно-бы было получить отвѣтъ, я даю тебѣ слово, что по возвращеніи въ Россію не только о тебѣ, но и совсѣмъ не писалъ ему. Если-бы я не зналъ его, то это письмо меня очень-бы удивило, но теперь я не удивляюсь. Поѣзжай и, можетъ быть, мы съ тобою встрѣтимся за много тысячъ верстъ отсюда.

— Да, я поѣду къ вашему Нуръ-Сингу. Видно, это судьба моя!..

— Мнѣ кажется, онъ вылѣчитъ тебя отъ тоски и примиритъ съ жизнью,—сказалъ Борисъ Сергѣевичъ.

— Я ничего не знаю и даже не стану ни о чемъ думать,—сказалъ Николай:—но это такъ далеко... такъ далеко, что только туда и лежитъ мнѣ дорога!..

Они стали говорить объ этой дорогѣ, и Николай рѣшилъ,

что теперь уже не будетъ откладывать отъѣзда, что выѣдетъ черезъ два дня.

XXVIII.

Что тамъ?

Графъ Щапскій, непризнанный и выгнанный сыномъ, не чувствовалъ ничего, кромѣ злобы. Но и злобу, какъ и всѣ свои ощущенія, онъ умѣлъ скрывать.

«Нахальный, надутый дуракъ!—подумалъ онъ про Николая.—И, вѣдь, есть люди, которые считаютъ его умнымъ! Если-бы у него была хоть капля смысла, развѣ-бы онъ поступилъ такъ? Вѣдь, не могъ-же онъ вообразить, что я все выдумалъ, что я не отецъ его? Письма слишкомъ ясны, слишкомъ краснорѣчивы, и, наконецъ, слова его и видъ показывали, что онъ повѣрилъ... Глупецъ! могъ-бы припрятать на часъ, другой свою надутую спѣсь, могъ-бы притвориться... только-бы выигралъ...»

Никакъ не могъ понять графъ Щапскій того, что должно было произойти въ душѣ Николая, всего этого ада, который онъ въ немъ поднялъ. «Ему-же, хуже, ему-же хуже!» повторялъ онъ про себя.

Но скоро онъ долженъ былъ сознаться, что Николай все-же заставилъ его нѣсколько опѣшить, что дѣло повернулось вовсе не особенно хорошо, и что «тѣмъ хуже для него»—только фраза. Онъ видѣлъ теперь, что еще разъ обращаться прямо къ Николаю—ужъ нечего и думать, ничего изъ этого не выйдетъ. Да и вотъ, вѣдь, онъ ѣдетъ. Куда ѣдетъ? Надолго-ли?

«А все-же, въ концѣ-концовъ, онъ будетъ вынужденъ выплачивать мнѣ пенсію! Я на него подѣйствую черезъ мать...»

Онъ на слѣдующее же утро послалъ Катеринѣ Михайловнѣ письмо, въ которомъ объявлялъ, что былъ у нихъ наканунѣ и все открылъ сыну, такъ какъ она не желаетъ исполнять своихъ обязательствъ. «Этотъ молодой человѣкъ» очень дурно къ нему отнесся и оскорбилъ его такъ, что онъ забыть этого не въ состояніи. Онъ рѣшилъ все кончить тихо и мирно, «между своими», но если съ нимъ такъ обращаются, если не признаютъ его «естественныхъ» правъ, то онъ ничего не скроетъ отъ общества. Катерина Михайловна должна знать, что онъ выше всякихъ предразсудковъ, что онъ презираетъ общественное мнѣніе и что ему нѣтъ никакого дѣла до того, что́ будутъ говорить собственно о немъ. Но, можетъ быть, ей и ея сыну это не все равно. Зачѣмъ-же въ такомъ случаѣ она его обманываетъ, зачѣмъ ея сынъ оскорбилъ его?

Но даже, несмотря на этотъ обманъ и оскорбленіе, онъ и теперь готовъ на уступку. Онъ будетъ молчать, если они исполнятъ свою прямую относительно него обязанность: помогутъ ему расплатиться съ долгами, которыхъ у него на триста тысячъ рублей, а затѣмъ дадутъ ему возможность пристойно жить, съ помощью ежегодной пенсіи въ двадцать пять тысячъ рублей. Незначительность этой суммы, при ихъ состояніи, показываетъ, что онъ не желаетъ злоупотреблять своими правами...

Онъ не задумался послать это письмо. «Она навѣрное его уничтожитъ... Ну, и пусть ихъ, даже лучше, если онъ съ ними развяжется... Эти сцены, комедіи, переписка ему надоѣдаютъ... Сдѣлать форменное условіе и отдать письма—вотъ и все...»

Катерина Михайловна, получивъ письмо, въ первую минуту просто не повѣрила глазамъ своимъ. «Да нѣтъ, этого не можетъ быть!»

Но, вѣдь, она знала Щапскаго, она должна была ему повѣрить. «Все такъ и есть: его угрозы—не шутки, онъ на все способенъ!.. Совершилось-таки самое страшное, чего она боялась... Но самое-ли страшное? Онъ грозитъ послѣднимъ!..»

Катерина Михайловна схватила это письмо, скомкала его, подошла къ топившемуся камину и бросила письмо въ огонь.

«Какъ-же это?... Что-же Николай?..»

Все рушится, все, со всѣхъ сторонъ...

«Вѣдь, вотъ и онъ, какъ и Сергѣй, вышелъ въ отставку, собрался уѣзжать... еще бы два, три дня, онъ уѣхалъ-бы—ничего-бы этого не было... Извергъ поспѣшилъ!. Николай... Николай...»

Въ ней пробудилось что-то похожее на любовь къ этому несчастному сыну, заговорила, наконецъ, совѣсть.

Она стояла блѣдная, похолодѣвшая... потомъ обѣими руками схватилась за грудь. Ей спирало дыханіе, въ глазахъ мутилось. Холодъ, страшный холодъ леденилъ ее всю, проникалъ, какъ ей казалось, до самыхъ костей...

Вся комната, всѣ предметы закружились передъ нею. Она едва дотащилась до сонетки, дернула ее и почти безъ чувствъ упала въ кресло.

Когда на звонокъ вбѣжала ея старшая горничная, то перепугалась, увидя барыню въ такомъ положеніи.

Катерина Михайловна слабымъ голосомъ приказала перенести себя на кровать и раздѣть. Послали за докторомъ. Черезъ два часа по всему дому было извѣстно, что Катерина Михайловна серьезно больна. Въ ея спальнѣ перебывали всѣ, за исключеніемъ Николая. Онъ зналъ, что она больна, но не шелъ и она не звала его...

На слѣдующее утро Николай долженъ былъ ѣхать. Всѣ распоряженія уже были сдѣланы, все было приготовлено. Онъ ѣхалъ теперь въ Москву, а оттуда дальше и дальше, на югъ и на во-

стокъ. Онъ не бралъ съ собою никого изъ прислуги, ѣхалъ совсѣмъ одинъ.

Весь вечеръ онъ провелъ у себя, запершись, писалъ что-то, писалъ нѣсколько часовъ сряду. Наконецъ, у него стало рябить передъ глазами. Часовая стрѣлка показывала половину второго. Онъ положилъ перо, взглянулъ на нѣсколько большихъ листовъ почтовой бумаги, исписанныхъ имъ, и потомъ порывистымъ движеніемъ руки разорвалъ всѣ эти листы и бросилъ ихъ на догоравшіе угли камина.

Черезъ нѣсколько секундъ листки вспыхнули и скоро отъ нихъ осталась только легкая, коробившаяся кучка пепла, съ пробѣгавшими по ней искорками.

Это было послѣднее его прощеніе съ Наташей. Поддаваясь невольному движенію, онъ излилъ передъ нею все, чѣмъ было полно его сердце. Это была горячая, страстная, мучительная рѣчь. Это была исповѣдь тоски и мрака, наполнявшихъ его душу. Онъ не могъ не высказать ей всего этого. Но когда написалъ, когда все было кончено, когда сказалось послѣднее слово муки и страсти,—онъ внезапно рѣшилъ, что не оставитъ ей листовъ этихъ, что не долженъ, не смѣетъ...

Онъ провелъ рукой по своему блѣдному лбу, покрытому каплями холоднаго пота, зажегъ свѣчку и, неслышно ступая мягкими туфлями по коврамъ, вышелъ изъ комнаты.

Въ домѣ все было тихо: ни звука, ни шороха. Онъ прошелъ нѣсколько пустыхъ комнатъ и остановился передъ дверью въ спальню. Онъ уже нѣсколько дней не переступалъ порога этой комнаты. Онъ отворилъ дверь и вошелъ, поставилъ свѣчку на маленькій рабочій столикъ Мари.

«Она спитъ! — подумалъ онъ:—спитъ! Хорошо что можетъ спать!» Онъ подошелъ къ кровати. Слабый отблескъ свѣчи и лампады озарялъ лицо Мари. Она спала крѣпко, но лицо ея было теперь блѣдно, выраженіе не то грусти, не то усталости застыло на немъ. Николай склонился надъ нею, нѣсколько мгновеній глядѣлъ на нее. Она мѣрно дышала. У него защемило сердце. Ему невольно вспомнилось иное время, давно прошедшее, невозвратное время...

Тихая слеза скатилась съ его щеки и упала на красивую, бѣлую руку Мари.

Онъ припалъ къ этой рукѣ дрожащими губами, потомъ тихо отошелъ отъ кровати, взялъ свѣчу и вышелъ.

Но онъ не вернулся въ свой рабочій кабинетъ, который былъ теперь и его спальней. Онъ пошелъ дальше длиннымъ коридоромъ и отворилъ дверь въ комнату, гдѣ помѣщался Гриша съ Володей и гувернеромъ.

И здѣсь была полная тишина; французъ и мальчики крѣпко

спали. Николай подошелъ къ кровати Гриши и опустился передъ нею на колѣни, приложивъ свое мокрое отъ незамѣчаемыхъ имъ слезъ лицо къ разгорѣвшейся щекѣ мальчика.

Гриша шевельнулся, потянулся, проговорилъ что-то невнятное. Николай перекрестилъ его и хотѣлъ уже выйти, какъ вдругъ замѣтилъ Володю, который сидѣлъ на своей кровати и большими, широко раскрытыми, изумленными глазами глядѣлъ на него.

— Дядя, это вы?—даже съ испугомъ выговорилъ онъ.

Николай подошелъ къ нему, крѣпко его обнялъ и поцѣловалъ.

— Ты знаешь, я уѣзжаю завтра... Прощай, будь здоровъ, учись хорошенько, будь всегда добрымъ... будь друженъ съ Гришей... люби его!.. Обѣщаешь?

Володя обвилъ своими тонкими рученками шею дяди и заплакалъ.

— Я очень люблю Гришу и всегда буду любить его!—сквозь слезы прошепталъ онъ.—Дядя, милый, зачѣмъ вы уѣзжаете? Возвращайтесь скорѣе!..

Николай перекрестилъ и его—и почти выбѣжалъ изъ комнаты.

Но и теперь онъ не вернулся къ себѣ, сошелъ въ нижній этажъ, къ Борису Сергѣевичу. Старикъ не спалъ и видимо поджидалъ его—и еще часа два проговорили они. Борисъ Сергѣевичъ далъ ему письма къ своимъ азіатскимъ друзьямъ, далъ послѣднія наставленія...

Николай такъ и не ложился въ эту ночь и утромъ вышелъ съ потухшими глазами, со осунувшимся и постарѣвшимъ лицомъ. Но онъ, повидимому, былъ спокоенъ. Онъ отправился въ спальню матери съ ней проститься.

Онъ въ первый разъ еще ее видѣлъ послѣ ужаснаго появленія Щапскаго. Катерина Михайловна лежала на кровати совсѣмъ съежившаяся, маленькая. При видѣ сына она закрыла глаза и протянула ему руку.

— Уѣзжаешь?— прошептала она.

— Да...

— Ну, прощай... да хранитъ тебя Богъ!

Онъ наклонился къ ея рукѣ и прикоснулся къ ней холодными губами.

Она перекрестила его, съ трудомъ приподнялась, поцѣловала его въ лобъ.

— Прощай, больше не увидимся!—разслышалъ онъ ея шопотъ.

«Вѣдь, мать! мать!!»—отдалось ему въ сердце.

Онъ еще разъ взялъ ея руку и припалъ къ ней долгимъ поцѣлуемъ. Рыданія вырвались изъ груди Катерины Михайловны.

«Прости! прости!!»—хотѣла она сказать ему, но губы ея только беззвучно шевелились. Онъ вышелъ...

Мари простилась съ мужемъ, повидимому, спокойно; но по-

томъ заперлась у себя и плакала, горько, тихо плакала, какъ никогда не плакала въ жизни.

Николай прошелъ въ дѣтскія комнаты, торопливо, быстро простился съ дѣтьми, даже будто не взглянулъ на оторопѣвшаго Гришу...

Борисъ Сергѣевичъ и Сергѣй ѣхали съ нимъ до первой станціи. Наташа вышла, едва держась на ногахъ. Они ни слова не сказали, и только въ послѣднюю секунду, когда ихъ руки разжимались, они взглянули другъ на друга.

— Прощай!—какъ безумный крикнулъ Николай и кинулся отъ нея.

Вотъ его нѣтъ... Издали замираютъ шаги... все пусто. Наташа схватилась за сердце. Она почувствовала, что тамъ, въ груди у нея оборвалось что-то. Она упала въ кресло, опустила голову, и такъ осталась часъ, другой, третій... Въ комнату входили, къ ней обращались, но она ничего не слышала.

Въ петербургскомъ большомъ свѣтѣ потолковали о непонятныхъ событіяхъ въ семьѣ Горбатовыхъ. Дѣйствительно, въ этомъ домѣ происходило что-то странное. Зачѣмъ это Николай Владиміровичъ вышелъ въ отставку?

Старшій братъ ему не примѣръ, тотъ хоть и хорошій малый, но лѣнивый и пустой. А, вѣдь, у младшаго способности, онъ сталъ выдѣляться, на него обратили вниманіе. И хотя, благодаря его рѣзкости и невоздержности на языкъ, у него нашлись враги, люди нерасположенные, не раздѣляющіе его взглядовъ, находящіе эти взгляды даже вредными по «теперешнему времени», но были также и друзья, единомышленники, теперь смущенные и негодовавшіе, что онъ покинулъ и ихъ и дѣло.

Ему открывалась, какъ-бы то ни было, прочная карьера, и онъ, конечно, зналъ это. И вдругъ все бросилъ, взялъ чистую отставку—и уѣхалъ!

Куда уѣхалъ? Никто не зналъ. О немъ не было ни слуху, ни духу.

Подъ предлогомъ болѣзни Катерины Михайловны, горбатовскій домъ былъ закрытъ для всѣхъ: тамъ никого не принимали. Мари и Наташа не показывались въ обществѣ.

Кое-кто видалъ только изрѣдка Сергѣя, да и то мелькомъ. Онъ показывался и исчезалъ, и ничего нельзя было отъ него добиться. Затѣмъ стало извѣстно, что онъ совсѣмъ погибшій человѣкъ. Время отъ времени о немъ разсказывали самыя скандалезныя исторіи; такъ, напримѣръ, онъ не стыдясь нѣсколько разъ показывался на Невскомъ и въ театрахъ подъ руку съ хо-

рошенькой особой, долго жившей у него въ домѣ, въ качествѣ гувернантки его дѣтей, и многимъ хорошо извѣстной; теперь она жила «сама по себѣ», и онъ тратилъ на нее большія деньги.

Онъ кутилъ напропалую, сталъ даже пить, а что всего хуже, предался страсти къ карточной игрѣ, да и какой игрѣ — азартной. Разсказывали, что онъ проигрываетъ огромныя суммы...

Впрочемъ, о Горбатовыхъ поговорили немного и, мало-помалу, стали о нихъ забывать. Семья эта уже давно не играла видной роли въ обществѣ. Конечно, старикъ Горбатовъ могъ-бы поддержать, если-бы хотѣлъ, блескъ стараго дома, но онъ, очевидно, не хотѣлъ этого. Онъ велъ уединенную жизнь и видался только съ немногими старыми друзьями...

Прошло нѣсколько мѣсяцевъ. Проболѣвъ всю зиму, къ веснѣ Катерина Михайловна почувствовала себя совсѣмъ дурно. Она уже не строила никакихъ плановъ, ни на что не надѣялась. Она превратилась почти совсѣмъ въ автоматъ, и врядъ-ли хорошенько понимала, что кругомъ нея дѣлается. Одно только, что она понимала, что чувствовала—это ужасъ къ графу Щапскому.

Еще осенью, черезъ нѣсколько недѣль по отъѣздѣ Николая, она позвала къ себѣ Бориса Сергѣевича и разсказала ему о своихъ вынужденныхъ сношеніяхъ съ «этимъ человѣкомъ» и о его требованіяхъ.

Борисъ Сергѣевичъ ее успокоилъ, обѣщавъ все устроить, и дѣйствительно, какъ ему ни было это противно, онъ рѣшился отправиться къ Щапскому.

Тотъ между тѣмъ видѣлъ, что обстоятельства повернулись противъ него: Николая нѣтъ въ Петербургѣ, Катерина Михайловна умираетъ... Если умретъ, кто-же выдастъ ему деньги, кто подпишетъ обязательство выплачивать ему пенсію? Вотъ она уже на два его письма не даетъ никакого отвѣта.

Онъ считалъ это дѣло, такъ хорошо, какъ ему казалось, устроившееся было, уже совсѣмъ потерянным, когда къ нему явился Борисъ Сергѣевичъ. Поэтому неудивительно, что онъ оказался очень сговорчивымъ и, получивъ отъ щедротъ Горбатова не сотни тысячъ, а всего двадцать, отдалъ ему всѣ письма.

Борисъ Сергѣевичъ принесъ больной все, что получилъ отъ Щапскаго.

Своей слабой, худой рукою она сжала его руку и прошептала:

— Теперь я умру спокойно!

Но все-же спокойно не пришлось ей умереть. Въ послѣдніе дни своей жизни она очень мучилась, металась въ бреду, ее томили и душили страшные кошмары. Она никого не узнавала и разговаривала съ людьми, которыхъ уже давно не было на свѣтѣ...

Мари по отъѣздѣ Николая сначала хотѣла было ѣхать съ

Гришей за границу; но потомъ, по совѣту тетки, осталась въ Петербургѣ.

Въ ней стала развиваться религіозность, которой прежде совсѣмъ не было замѣтно. Французскіе романы были навсегда забыты и ихъ замѣнили книги духовнаго содержанія. Вмѣстѣ съ этимъ она начала благотворительную дѣятельность—и помогала она бѣднякамъ не холодно, не «по принципу», а вкладывая въ это дѣло свое пробудившееся и страдавшее сердце...

Часто послѣ встрѣчъ съ Наташей, послѣ разговоровъ съ нею, Борисъ Сергѣевичъ возвращался къ себѣ совсѣмъ разстроенный. Онъ ясно видѣлъ, что мало хорошаго: Наташа увядала и слабѣла.

Если-бы послѣ всего, что ей пришлось пережить, она вынесла какую-нибудь серьезную острую болѣзнь, то, быть можетъ, и вернулась-бы къ жизни. Такъ, по крайней мѣрѣ, нерѣдко бываетъ. Но она не заболѣла тогда.

Со дня отъѣзда Николая въ ней никто не могъ даже ничего особеннаго замѣтить; напротивъ, она казалась спокойной, настроеніе ея духа было всегда ровное, она ко всѣмъ и ко всему относилась кротко и терпѣливо...

Но жизнь ее томила, жизнь потеряла для нея всякій смыслъ...

Наконецъ, ко всему присоединилось еще поведеніе Сергѣя. Хотя она и не знала о немъ многаго, но все-же до нея кое-что достигало. Ей было извѣстно, что онъ возвращается домой часто только къ утру, а то и совсѣмъ не ночуетъ дома. Она знала, что дядя уже нѣсколько разъ заплатилъ его долги, случайно узнавъ про нихъ.

Послѣ смерти Катерины Михайловны, Мари съ Гришей остались въ Петербургѣ, а Борисъ Сергѣевичъ, Наташа и дѣти Сергѣя перебрались въ московскій домъ съ тѣмъ, чтобы лѣто провести въ Горбатовскомъ.

Сергѣй обѣщалъ тоже на все лѣто пріѣхать въ деревню.

Наташа слабѣла съ каждымъ днемъ; но Борисъ Сергѣевичъ все-же не терялъ надежду, что деревенскій воздухъ, въ соединеніи съ его азіатскими лѣкарствами, принесетъ ей пользу.

Онъ забылъ всѣ свои планы, не думалъ теперь о возвращеніи въ Азію. Онъ былъ поглощенъ Наташей и рѣшился не покидать ее ни на минуту.

Отъ Николая получались время отъ времени письма. Послѣднее было изъ Константинополя, куда онъ попалъ совсѣмъ случайно. Но изъ этого письма ничего нельзя было заключить: оно было наполнено только нѣкоторыми распоряженіями.

Борисъ Сергѣевичъ видѣлъ, что куда ни взглянешь, вездѣ плохо. Даже найденный имъ племянникъ, Михаилъ Ивановичъ, его не радовалъ.

«Конечно, онъ отличный человѣкъ,—думалъ про него Борисъ Сергѣевичъ:—и благородный человѣкъ, и добрый, и съ большимъ тактомъ, но все-же съ нимъ какъ-то холодно, ужъ черезчуръ онъ практиченъ, черезчуръ дѣловитъ, только и слышишь отъ него: промышленная компанія, акціи... облигаціи...»

Но, вѣдь, самъ-то Борисъ Сергѣевичъ былъ неисправимымъ идеалистомъ, человѣкомъ черезчуръ ужъ непрактичнымъ, непригоднымъ къ требованіямъ вѣка, къ вопросамъ новой, закипѣвшей тогда въ Россіи жизни.

Такъ, по крайней мѣрѣ, о немъ думалъ Михаилъ Ивановичъ. И тотъ, и другой, конечно, были правы со своей точки зрѣнія.

Михаилъ Ивановичъ дѣйствительно весь ушелъ въ открытую ему дядей дѣятельность и съ каждымъ днемъ его положеніе упрочивалось и упрочивалось. Дѣльцамъ, среди которыхъ онъ теперь вращался, было только странно и непонятно, какъ это такой благоразумный, такъ хорошо понимающій дѣло человѣкъ— и вдругъ теряетъ время, чуть не каждый мѣсяцъ уѣзжаетъ въ Москву.

Они, конечно, не знали, что этими странными поѣздками ихъ новый товарищъ-дѣлецъ исполняетъ долгъ свой и что когда эти поѣздки прекратятся — Михаилъ Ивановичъ вырветъ изъ себя лучшую частицу своей внутренней жизни.

Но и Надежда Николаевна, по настоянію мужа остававшаяся въ Москвѣ, и старики Бородины были увѣрены, что «Мишенька» измѣниться не можетъ: каждый разъ, возвращаясь изъ Петербурга, онъ выказывалъ имъ всѣмъ большую любовь, большую о нихъ заботливость.

Одна только Капитолина Ивановна начинала скептически относиться къ своему любимцу и, сидя за чайнымъ столомъ въ обществѣ Порфирія Яковлевича, Анны Алексѣевны и двухъ старыхъ котовъ, нерѣдко повторяла:

— Портится нашъ Мишенька, совсѣмъ портится! Съѣдятъ его эти проклятыя деньги, помните мое слово—совсѣмъ съѣдятъ! А оставили-бы въ насъ покоѣ, не стали-бы поднимать старую пыль— и совсѣмъ-бы хорошій человѣкъ вышелъ... Такъ-ли я говорю? а?..»

Анна Алексѣевна, утирая свернутымъ въ комочекъ миткалевымъ платкомъ свое рябое, лоснившееся отъ «десятой чашечки» лицо, повторяла: «такъ, матушка, такъ!» Порфирій Яковлевичъ молча покачалъ огромной кудластой головою, а коты, неподвижные какъ египетскія изваянія, пристально, не мигая, глядѣли на Капитолину Ивановну и только изрѣдка поводили усами.

Тихій предразсвѣтный часъ. Небольшой, утомленный долгимъ путемъ караванъ тянется спаленной зноемъ степью. Верблюды однообразнымъ движеніемъ, мѣрно, будто къ люлькѣ, качаютъ на своихъ выносливыхъ спинахъ путниковъ.

На далекомъ горизонтѣ уже свѣтаетъ и мало-по-малу начинаютъ обрисовываться въ туманѣ далекія горы.

Одинъ изъ путниковъ, утомленный больше другихъ, и часа на два забывшійся сномъ, теперь проснулся. Онъ чувствовалъ слабость и боль во всѣхъ членахъ отъ непривычнаго, томительнаго пути. Его мучила жажда; лицо его было блѣдно и печально.

Онъ оглядѣлся. Вокругъ все тотъ-же пустынный просторъ, все та-же неподвижная, мертвая природа...

Но вотъ его взоръ остановился на далекихъ, туманныхъ очертаніяхъ, на свѣтлѣющемъ небѣ. Онъ забылъ все и долго глядѣлъ впередъ, туда, на востокъ...

Теперь уже близко, близко... Но что тамъ... что тамъ, за этими горами?

И вдругъ, среди пустынной тишины, онъ разслышалъ несущійся къ нему издали навстрѣчу чистый музыкальный звукъ, будто чья-то незримая рука медленно перебирала струны арфы... Ближе, ближе... вотъ уже подъ самымъ ухомъ звенитъ струна...

Тихій голосъ шепчетъ:

«Все обманъ и ничтожество, все—игра преходящихъ формъ, смѣняющихъ одна другую... Будь выше земного обмана, выше того, что, въ своемъ жалкомъ невѣдѣніи, ты называешь бѣдою и горемъ, страданіемъ и утратой... Отрѣшись отъ земного праха!.. Гляди смѣлѣе, гляди назадъ съ равнодушіемъ, а впередъ—съ надеждой... Будь достоинъ принять и вмѣстить въ себя вѣчную мудрость, безтрепетно встрѣчай первые, посылаемые тебѣ лучи мірового солнца!..»

Путникъ вздрогнулъ. Кто-жъ говоритъ это? Откуда эти звуки?...

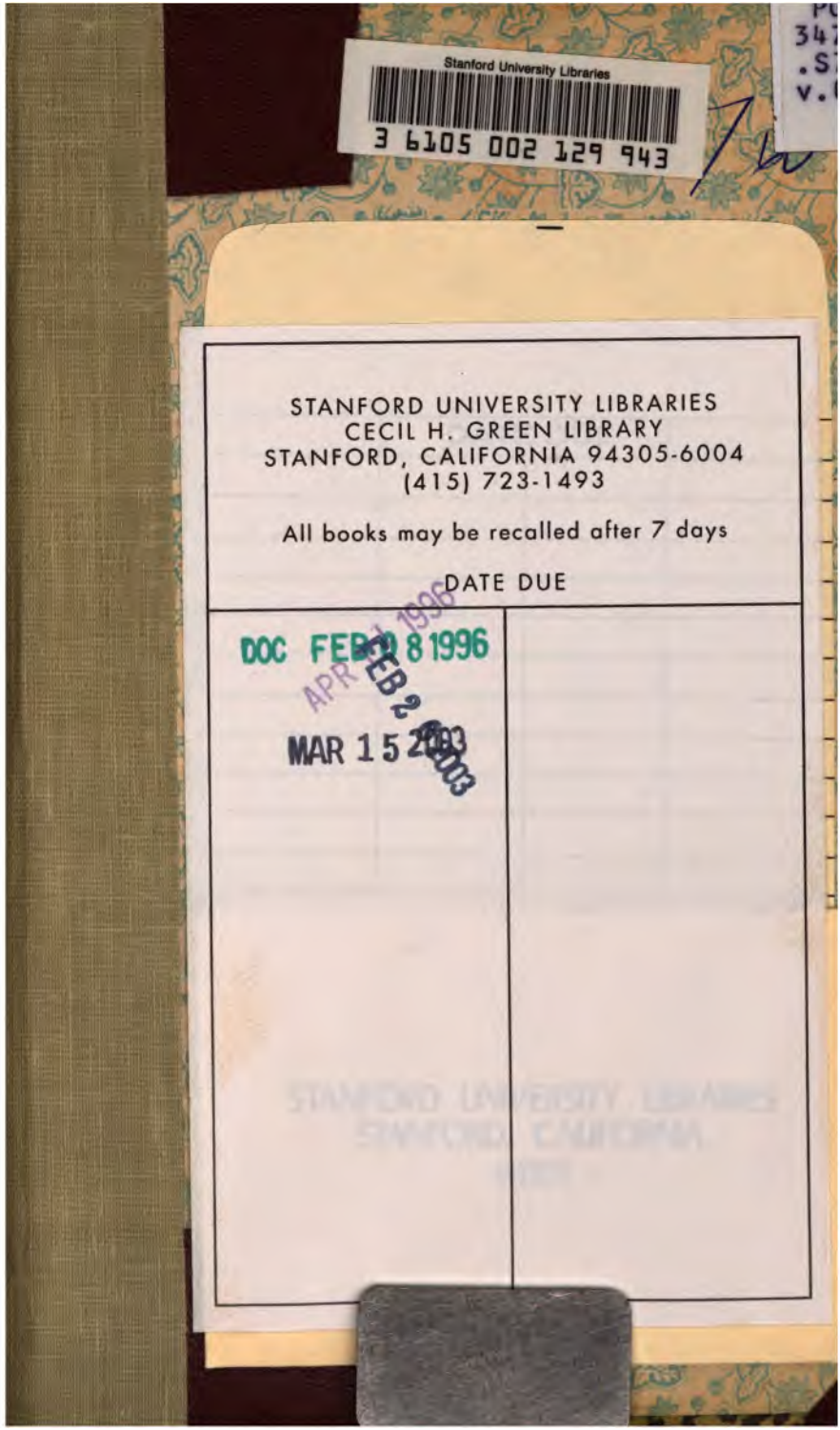
Но голосъ все звучалъ, повторяя тѣ-же слова и мало-по-малу они проникли въ сердце, становились понятными разуму...

Востокъ уже горѣлъ... и вотъ, будто разорвавъ оковы тумана, хлынулъ потокъ золотого свѣта...

Верблюды остановились. Вся степь ожила, а издали, во всей могучей красотѣ своей, выступала у подножья горъ роскошная, одѣтая вѣчной зеленью природа, будто радостно встрѣчая пришельца...

Конецъ.

1884 г.


Stanford University Libraries
3 6105 002 129 943
STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES
CECIL H. GREEN LIBRARY
STANFORD, CALIFORNIA 94305-6004
(415) 723-1493
All books may be recalled after 7 days
DATE DUE
DOC FEB 28 1996
APR 1 1996
FEB 2 2003
MAR 15 2003